ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ

Сергей Есенин

Что это такое?



ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ДЕТСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА"



Черёмуха

Черёмуха душистая
С весною расцвела
И ветки золотистые,
Что кудри, завила.

Для маленьких

Александр Блок

СНЕГ ДА СНЕГ

Стихи

Художник В. Бритвин

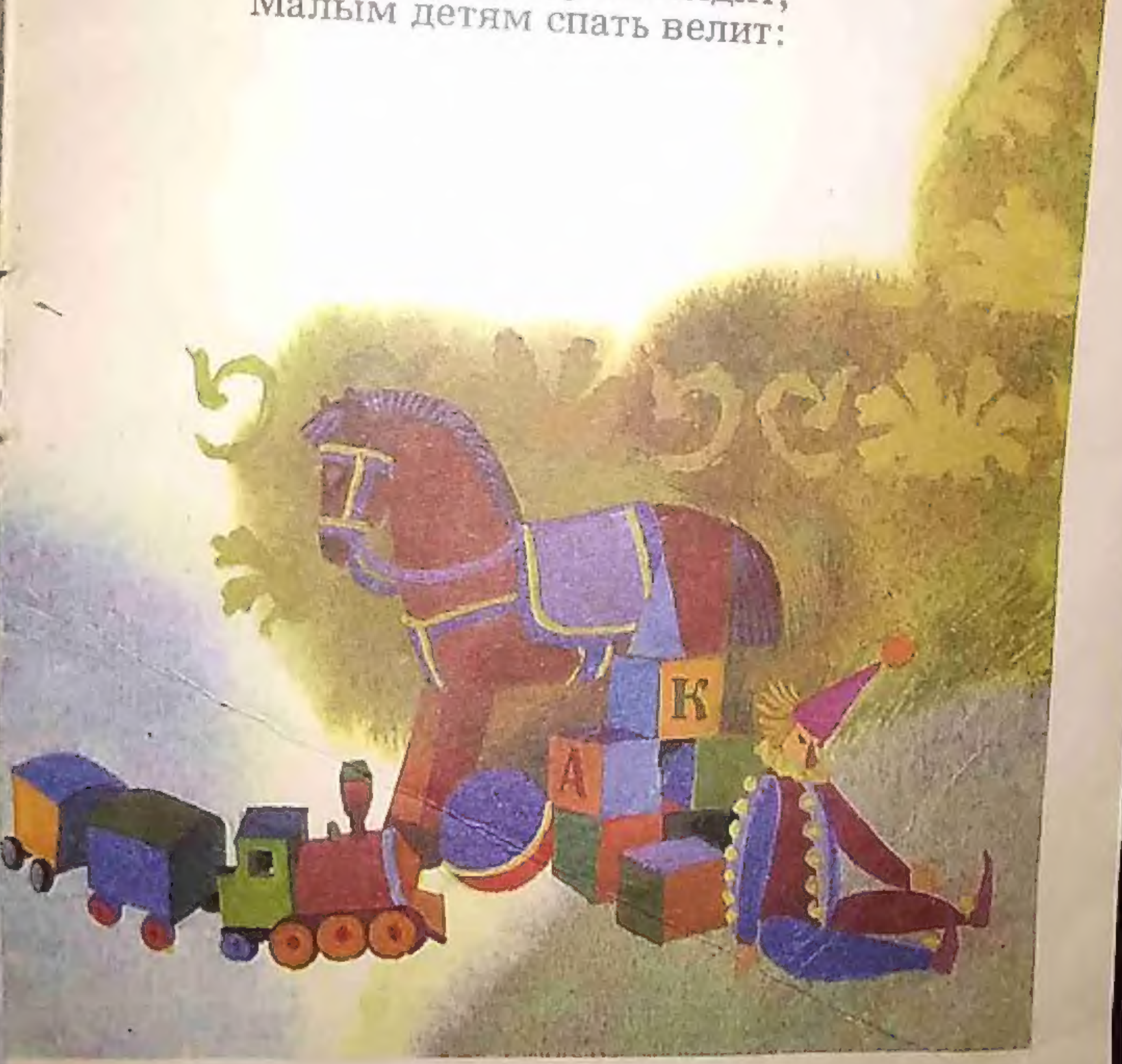


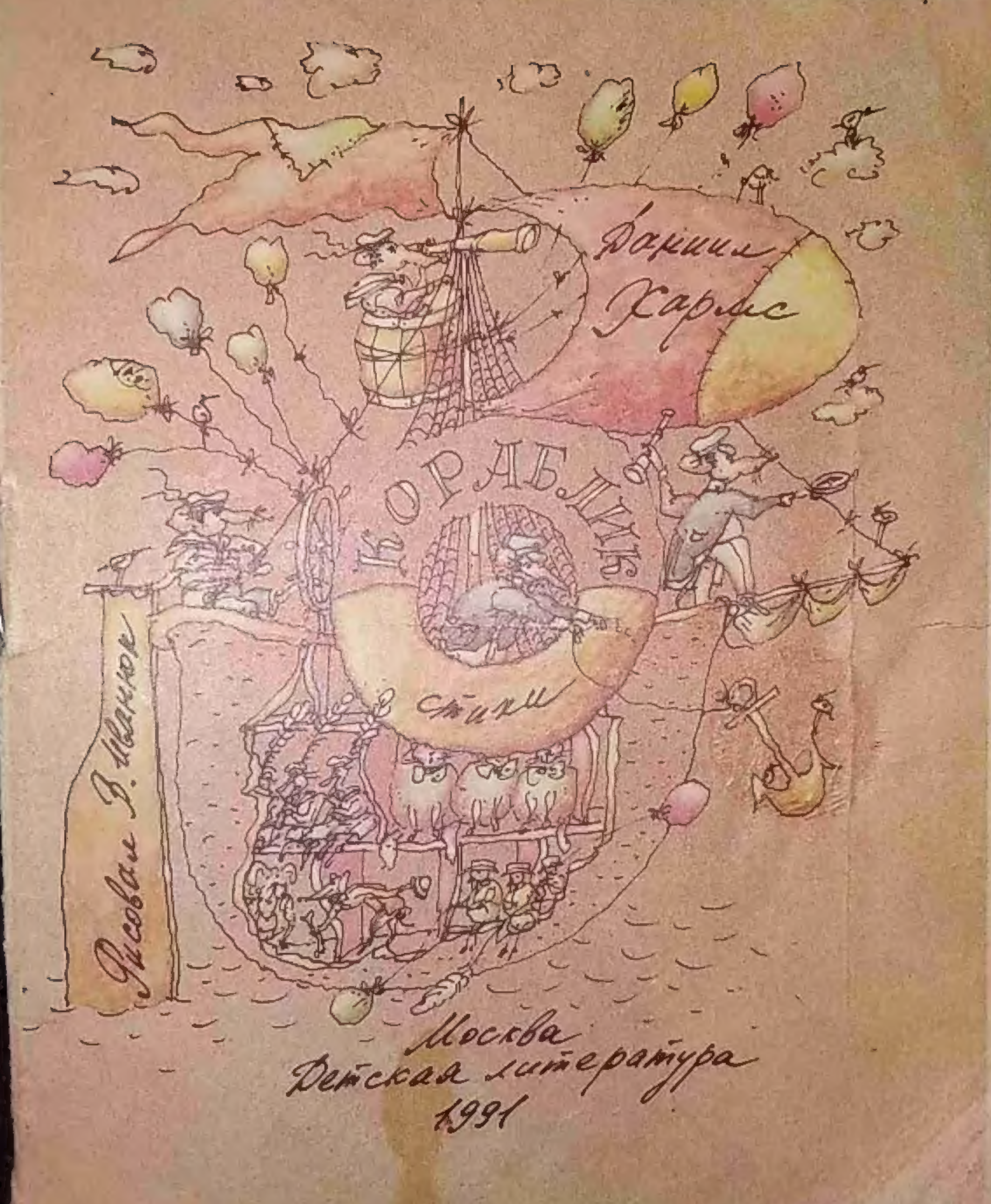
Москва „Детская литература" 1990

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ

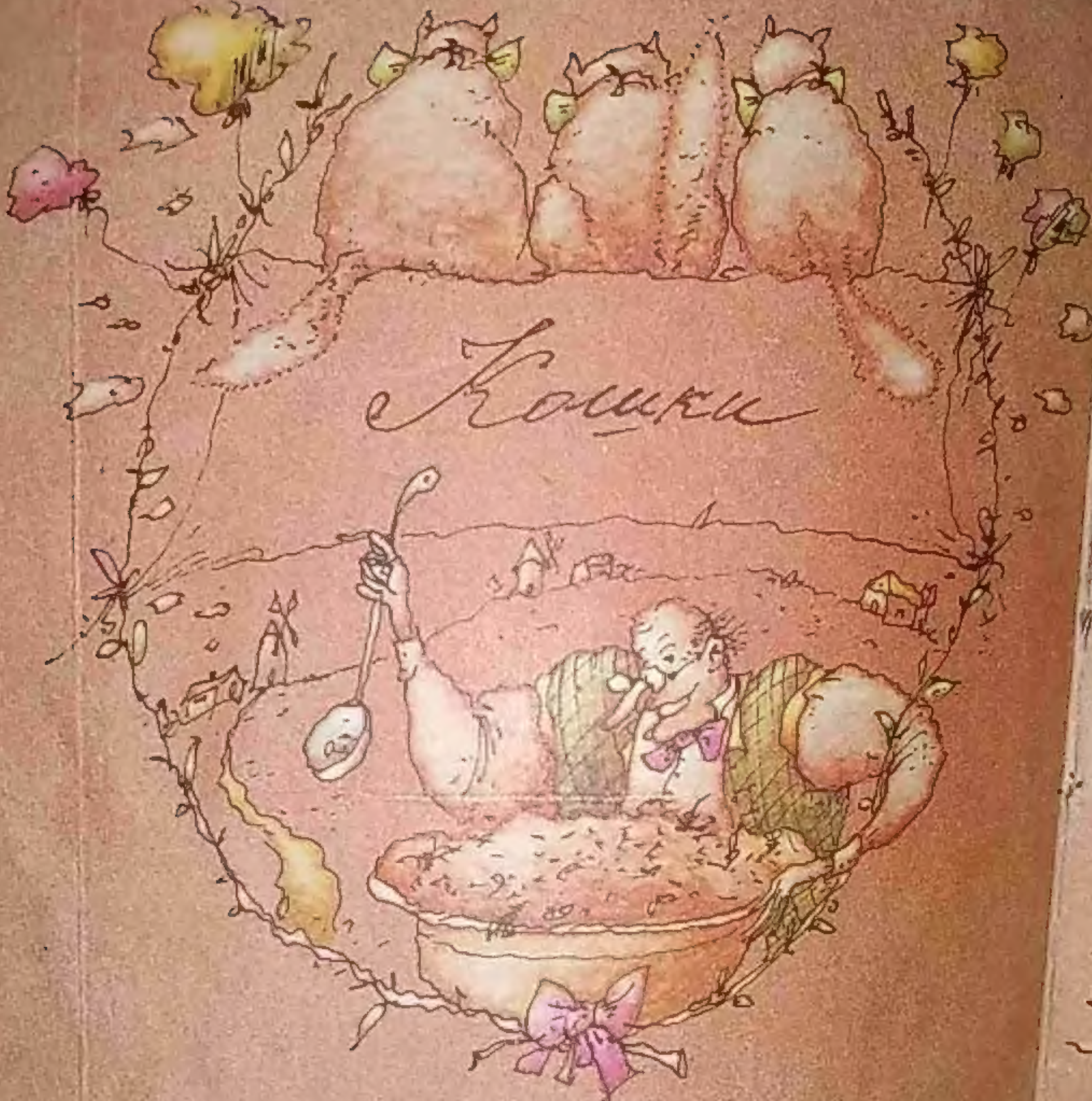
В небе звёздочки горят,
В речке струйки говорят,

К нам в окно луна глядит,
Малым детям спать велит:





Даниил
Хармс
КОРАБЛИК
стихи
Рисовал Э. Шанюк
Москва
Детская литература
1991



Однажды по дорожке
Я шёл к себе домой.
Смотрю и вижу: кошки
Сидят ко мне спиной.



Я крикнул: – Эй вы, кошки!
Пойдёмте-ка со мной,
Пойдёмте по дорожке,
Пойдёмте-ка домой.

Скорей пойдёмте, кошки,
А я вам на обед
Из лука и картошки
Устрою винегрет.

– Ах, нет! – сказали кошки. –
Останемся мы тут! –
Уселись на дорожке
И дальше не идут.



Бульдог и таксик

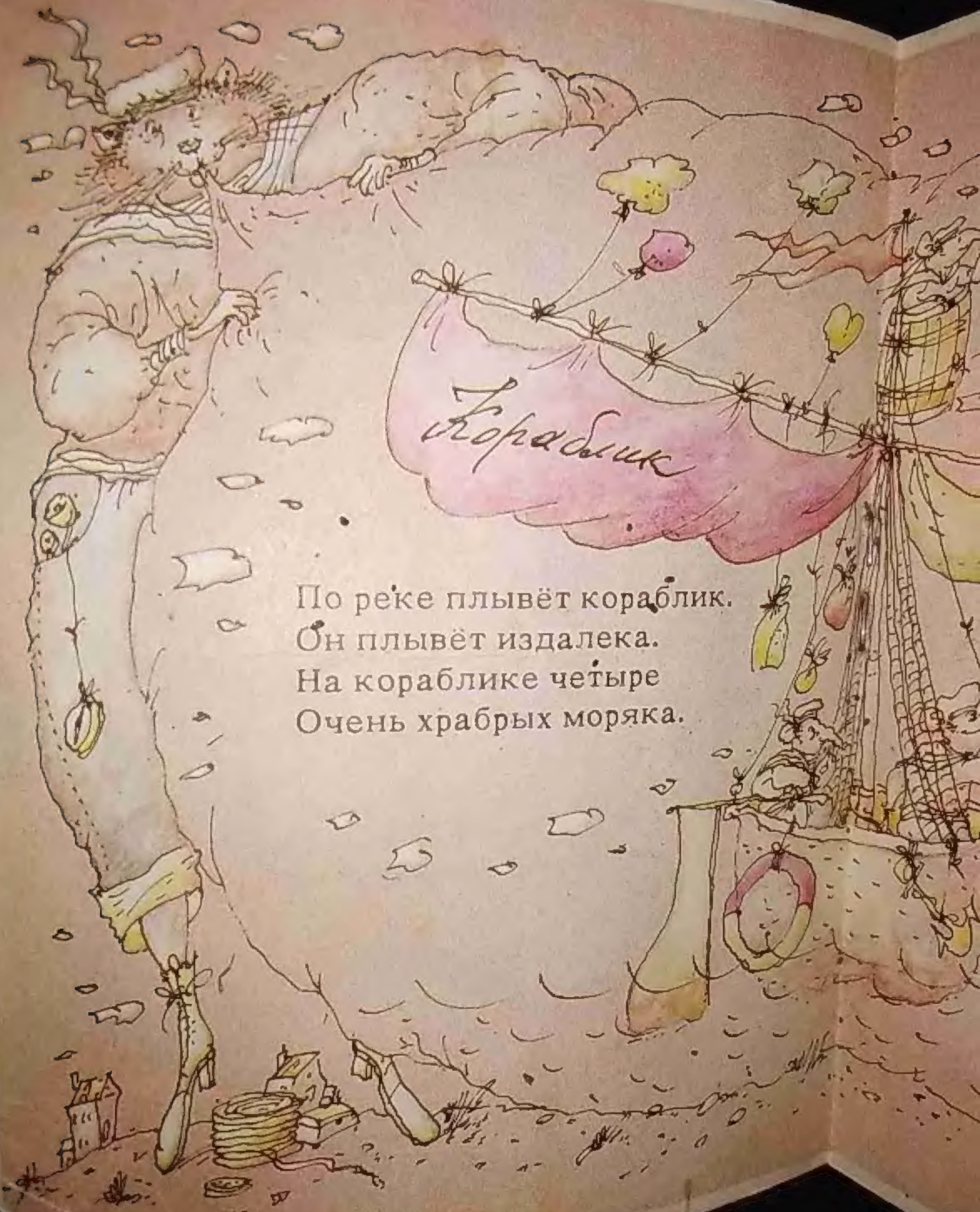
Над косточкой сидит бульдог,
Привязанный к столбу.
Подходит таксик маленький,
С морщинками на лбу.
„Послушайте, бульдог, бульдог! –
Сказал незваный гость. –
Позвольте мне, бульдог, бульдог,
Докушать эту кость".



Рычит бульдог на таксика:
„Не дам вам ничего!"
Бежит бульдог за таксиком,
А таксик от него.

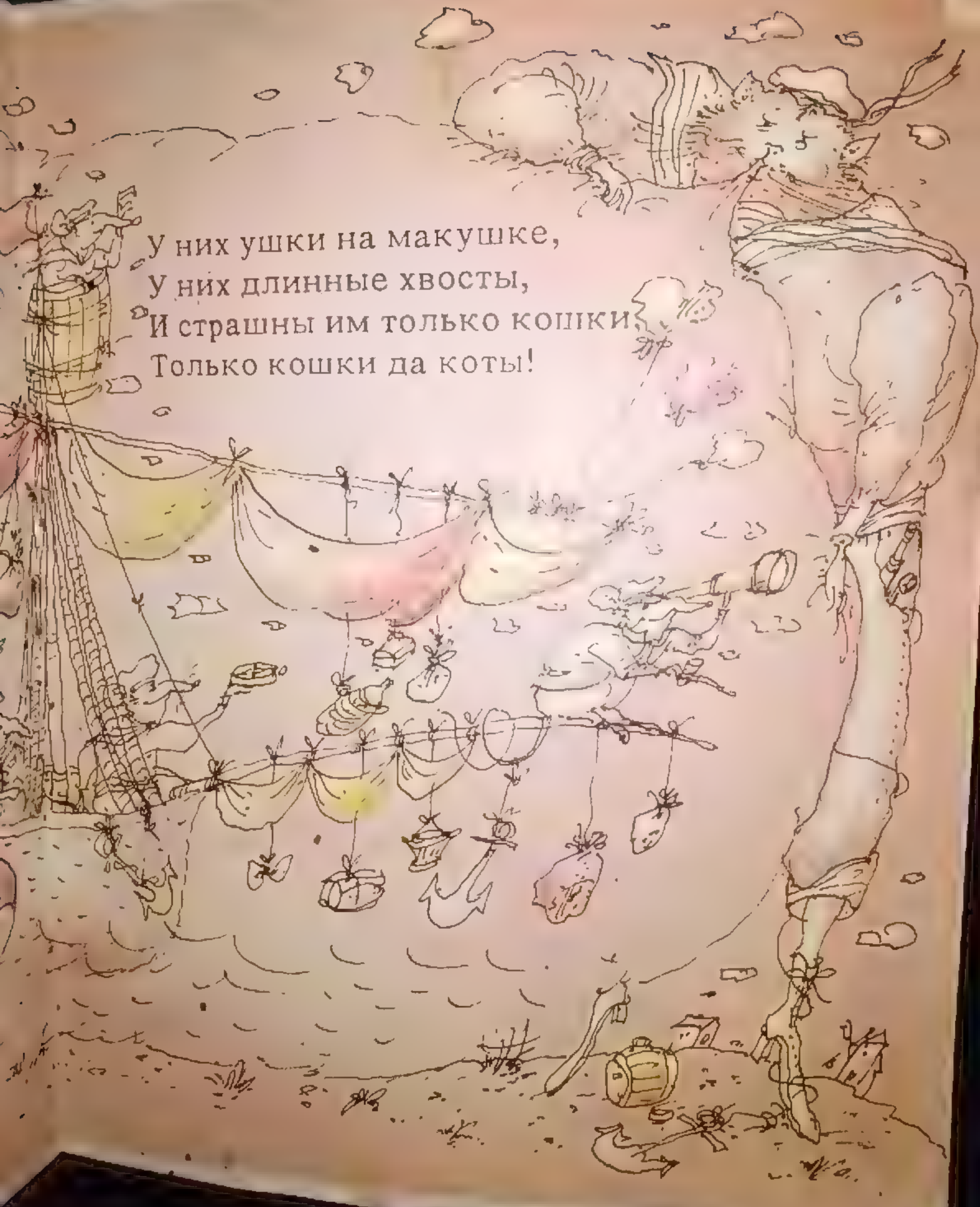
Бегут они вокруг столба.
Как лев, бульдог рычит.
И цепь стучит вокруг столба,
Вокруг столба стучит.

Теперь бульдогу косточку
Не взять уже никак.
А таксик, взявши косточку,
Сказал бульдогу так:
„Пора мне на свидание,
Уж восемь без пяти.
Как поздно! До свидания!
Сидите на цепи!"



Кораблик

По реке плывёт кораблик.
Он плывёт издалека.
На кораблике четыре
Очень храбрых моряка.



У них ушки на макушке,
У них длинные хвосты,
И страшны им только кошки,
Только кошки да коты!



Несчастная кошка порезала лапу,
Сидит и ни шагу не может ступить.

Скорей, чтобы вылечить кошкину лапу,
Воздушные шарики надо купить!

И сразу столпился народ на дороге,
Шумит, и кричит, и на кошку глядит.

А кошка отчасти идёт по дороге,
Отчасти по воздуху плавно летит!

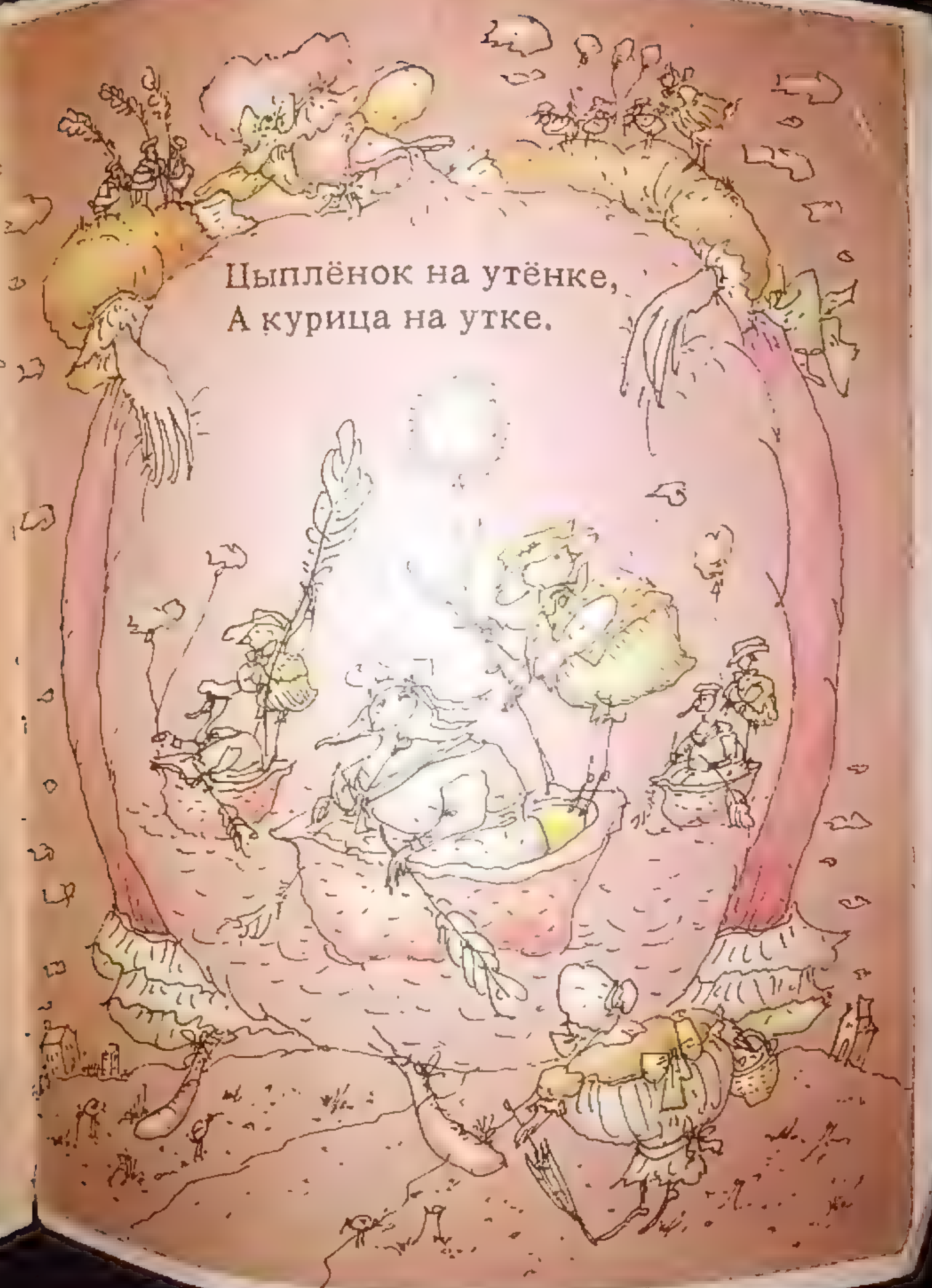




Речку переплыли
Ровно в полминутки:

Цыплёнок на утёнке,
Цыплёнок на утёнке,

Цыплёнок на утёнке,
А курица на утке.





ББК 84.Р7-44
Г 83

СОДЕРЖАНИЕ

Для среднего и старшего школьного возраста
Литературно-художественное издание

НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ ГРИГОРЬЕВ
ЛЕНИНСКИЙ БРОНЕВИК

Художник Алексей Владимирович Смирнов

Редактор Л. Симова. Художественный редактор Я. Олийнык.
Технический редактор К. Кучерявая.
Корректоры Л. Колпакова, Н. Чеботарь.
ИБ № 4285

Сдано в набор 31.08.89. Подписано к печати 15.03.90. Формат $60\times90^1/_{16}$. Бумага книжно-журнальная. Гарнитура школьная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,00. Уч.-изд. л. 13,45. Усл. кр.-отт. 16,31. Тираж 75.000. Заказ 91389. Цена 70 коп.

Издательство «Литература артистикэ», 277004, Кишинев, пр Ленина, 180

Полиграфкомбинат Государственного комитета Молдавской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли г. Кишинев, ул. Берзарина, 35.

Григорьев Николай Федорович

Г 83 Ленинский броневик: Повести и рассказы: Для сред. и ст. школ. возраста / Худож. А. Смирнов.— Кишинев: Лит. артистикэ, 1990.— 256 с.: ил.— (Наш Ильич).
ISBN 5—368—00290—4

В книгу вошли повести и рассказы о В. И. Ленине и его соратниках («Первые листы», «Ленинский броневик», «Илья Николаевич», «Рядом с Ильичем», «Поручение» и др.)

Г $\frac{4803010201—79}{М756(10)—90}$ 242—90

ББК 84.Р7-44

ISBN 5—368—00290—4

РЯДОМ С ИЛЬИЧЕМ

Рассказ

Это была молодая двадцатичетырехлетняя женщина — невысокая, круглолицая, с ярким взглядом голубых глаз, общительная, добросердечная.

Август 1917 года застал ее бухгалтером на службе в Скобелевском комитете. Комитет изыскивал средства для помощи семьям увечных и вдовам убитых на фронте солдат, продавал граммофонные пластинки, открытки.

Одевалась, как интеллигентная женщина среднего достатка той поры: светлое летнее платье, соломенная шляпка с цветной лентой по тулье, перчатки. На груди — медальон, в нем портреты отца и матери. В руках ридикюль (сумочка) и всегда книга.

Это Лидия Петровна Парвиайнен.

Вот что она рассказала:

— Все мы, Парвиайнены, питерские. Отец Петр Генрихович работал литейщиком на Охте. Но труд был тяжелый, отец не выдержал, заболел. Потянуло его к земле, и в тысяча девятьсот двенадцатом году мы поселились в Финляндии, близ Териок, в деревне Ялкала. Деревушка была небольшая: одиннадцать домов на берегу озера. Наш домик стоял отдельно, на горе, возле леса.

Перед домом был садик — семь яблонь, рябина, кусты крыжовника. Приобрел отец небольшой участок земли, занялся хлебопашеством, а одновременно и отхожим промыслом, иначе бы не свести концы с концами: чинил и перекладывал печи у дачников, красил заборы, ни от какого дела не отказывался.

Там и жила наша многочисленная семья.

А я с мужем жила в Петрограде. Звали его Эйно Абрамович Рахья. Он вначале был слесарем, потом выучился на механика. Восемнадцатилетним парнем, в тысяча девятьсот

третьем году, вступил в большевистскую партию. В тысяча девятьсот пятом году на партийной конференции в Тампере познакомился с Лениным.

А теперь, в тысяча девятьсот семнадцатом, волновался, узнает ли его Владимир Ильич после той давней и короткой встречи?..

Когда третьего апреля Ленин вернулся из эмиграции в Петроград,он сразу же на Финляндском вокзале узнал Рахью.

Эйно был счастлив. А я радовалась за него...

Стал Рахья встречаться с Лениным. В кармане Эйно был револьвер, чтобы в случае опасности защитить Ленина. Старательно выполнял Эйно все поручения Владимира Ильича.

А после июльских кровавых дней связь эта оборвалась.

Рахья потерял покой. Где Владимир Ильич? Если он ушел в подполье — есть ли рядом с ним человек, который способен обеспечить его безопасность, как это сделал бы он, Рахья?

Совсем извелся в догадках Эйно. И вдруг назначает ему встречу Александр Васильевич Шотман, тоже финн по национальности, член партии с тысяча восемьсот девяносто восьмого года. На прогулке за городом Шотман сказал, что имеет поручение переправить одного человека (это был Ленин) через границу, в Финляндию. А секрет раскрывает для того, чтобы Рахья помог осуществить эту сложную и небезопасную для Ленина транспортную операцию.

Перед этим Ленин скрывался в шалаше за озером Разлив, на участке для покоса у рабочего Сестрорецкого завода Николая Александровича Емельянова. Отсюда Владимир Ильич продолжал руководить всей работой партии, сюда к нему нелегально приезжали Я. М. Свердлов, Ф. Э. Дзержинский, Г. К. Орджоникидзе и другие члены ЦК.

В августе положение стало опасным: Временное правительство усиленно разыскивало Ленина. В Сестрорецк прибыл карательный отряд с целью найти Ленина.

ЦК решил, что безопаснее всего Ленину будет в Финляндии.

Владимир Ильич, чтобы не быть узнанным ищейками Временного правительства, сбрил усы и бороду, надел парик, поверх кепку — и в таком виде сфотографировался. Фотографическую карточку наклеили на заводской пропуск, тис-

нули печать — и Владимир Ильич превратился в Константина Петровича Иванова...

Рахья и Шотман стали готовиться к выполнению важного задания ЦК. Попробовали незаметно подойти к границе у реки Сестры, но натолкнулись на стражу — многочисленную и бдительную. В те августовские дни тысяча девятьсот семнадцатого года всякого рода стражники, юнкера и офицеры проявляли особое служебное рвение: ведь за поимку Ленина глава Временного правительства Керенский назначил огромную награду — двести тысяч рублей золотом.

Поняв, что границу не перейти, Шотман и Рахья решили переправить Ленина на поезде.

Нужна была пробная поездка. Сели в поезд. Оба с настоящими документами — и обнаружили, что в поезде, идущем в Финляндию, проверка пассажиров строжайшая.

А Владимир Ильич с поддельным документом! Как быть?

Был у Эйно знакомый машинист — Гуго Ялава. Рахья и Шотман пошли к нему в гости. Посидели, понаблюдали, в каком Ялава настроении, наконец, спрашивают:

— Ну как, старый конспиратор, возьмешься перевезти через границу одного человека? Предупреждаем, случай ответственный и опасный. Сможешь?

Ялава человек серьезный. Все взвесил. Но согласился.

Тут же втроем разработали план действий. Константина Петровича Иванова решено было провезти на паровозе под видом кочегара: на паровоз юнкера обычно не заглядывали.

Вечером (это было не позднее пятого августа),— продолжает свой рассказ Лидия Петровна Парвиайнен,— освободившись от дежурства в Скобелевском комитете, я поехала на Финляндский вокзал. И, как было условлено, села в четвертый от паровоза вагон поезда номер семьдесят один (впереди, в третьем вагоне, должен был ехать Рахья, во втором Шотман).

Едем. Станция Удельная. Тусклый свет керосиновых станционных фонарей. Всматриваюсь в кусты вокруг станции: Эйно сказал, что Ленин и его спутники будут дожидаться в кустах... Да, вот они. Мелькнули как тени — и к поезду.

Остановка всего две минуты. Гудок... Поехали.

Станция Белоостров. В нескольких шагах — граница с Финляндией.

Едва поезд остановился, защелкали дверные запоры. Это запирали вагоны, по таможенным правилам. Вошли таможенные чиновники и предложили раскрыть чемоданы. Запрещено было ввозить в Финляндию водку и сахар.

Одновременно с таможенниками в вагон вошли вооруженные юнкера. Эти занялись проверкой документов.

Едва юнкера удалились, я в отпертую дверь выскакиваю на перрон. Вижу Эйно. От сердца отлегло...

Эйно стоял в конце платформы, перед первым вагоном. А паровоза не было, его отцепили, и он поехал набирать воду. Я, как бы прогуливаясь, поравнялась с мужем, и он шепнул мне, что все благополучно.

Остановка в Белоострове ввиду всяческих проверок перед границей была невероятно долгой: двадцать минут!

На перроне — вооруженные отряды юнкеров, требуют предъявить документы.

Однако время остановки истекает. Дан первый звонок поезду. Вот станционный колокол ударил два раза, а паровоза еще нет.

Лишь с третьим звонком паровоз быстро подъехал к составу, подцепил его и тут же тронулся в путь. Задерживать поезд в эти минуты никто не имел права. Через границу поезд должен проследовать строго по расписанию.

Рассказ Лидии Петровны дополнил ее брат Эверт Петрович, также проживающий в Ленинграде, рабочий завода имени Козицкого.

— Ночью не спали. Брат Иоганн поехал на вокзал в Териоки. Приедет гость хороший — с сестрой нашей и с Эйно Рахья. Когда стемнело — в это время часов в десять уже темно,— мы, двое младших в семье мальчишек и сестренка Анна, ухитрились не пойти спать. Остались ждать приезда сестры и гостя. Мы, мальчишки, то и дело прикладывали ухо к земле и первыми услышали стук колес. «Тулеват! — закричали.— Едут!»

Все вышли во двор. У папы фонарь — простой, деревенский, со свечой внутри. В хозяйстве этот фонарь требовался на каждом шагу: то к лошади с ним ночью надо пойти, то к корове, да мало ли.

Телега въехала во двор, и при свете фонаря мы наконец

увидели гостя. Костюм на нем грязный, в пятнах, на голове кепка. А сам веселый,— видно, доволен, что приехал, разговаривает о чем-то, смеется... (Мы, ребята, по-русски тогда не понимали). Со всеми поздоровался за руку — даже с нами, ребятишками. Папа и мама пригласили гостя в дом.

Лидия Петровна вспоминает:

— Почти каждую субботу к нам кто-нибудь приезжал из города. Гуляли, купались, а то и в лес уходили с мишенью: рабочие учились стрелять. Ночевали эти ребята и в бане у нас, и в сарае.

Но Владимира Ильича надо было устроить иначе. Я заранее спросила родителей: может ли приехать писатель, которому хочется отдохнуть немного за городом и поработать? Отец и мать не возражали против такого гостя, но задумались: «Где же его поместить? В доме негде, разве что в пристройке?»

К дому была прирублена, как мы ее называли, «молочница»: маленькое, узенькое помещение. Зимой там кур держали, летом использовали тоже для хозяйственных надобностей.

Решили устроить гостя в «молочнице».

Мама, когда вошли в дом, сказала гостю:

— Константин Петрович, затоплена баня, не желаете ли попариться?

Надо было видеть, как обрадовался Владимир Ильич, ведь полтора месяца жил в шалаше...

Рахья собрал все, что требовалось для бани, надрал из рогожного мешка мочалы — и оба отправились мыться.

Потом сели за стол. Мама предложила кофе и поставила блюдо с финскими пирожками, которые пекла по субботам к воскресенью. Пирожки эти у нас делались из ржаной муки, обычно с рисом, пшеном или с картофельной начинкой. Мама заделывала их как-то по-особенному: пирожок по краю получался в рубчиках, которые аппетитно хрустели на зубах. Подаются горячими, едят их, намазывая маслом.

Владимир Ильич ел и нахваливал пирожки.

— Анна Михайловна,— сказал он маме,— замечательно приготовлено.

Мама, угостив гостя, ушла, и за столом осталось нас

четверо: Владимир Ильич, мой отец, я и Рахья.

— Константин Петрович,— заговорил отец,— как там в Питере?

Слушал, слушал, что рассказывает гость, всматривался в него и вдруг объявил:

— А я знаю, кто вы! Вы — Ленин!

Владимир Ильич умолк. Напряженно улыбаясь, смотрел на отца.

Отец доброжелательно кивнул Ленину, повел гостя в «молочницу», где была приготовлена для него постель.

Наступило воскресенье. После завтрака мы все большой компанией, взрослые и дети, пошли гулять. Владимир Ильич был весел, шутил — чувствовалось, что он по-настоящему отдыхает. Отец, не считаясь с воскресеньем, спозаранку запряг нашу Тяхти и отправился в поле.

Гуляя, мы и отца навестили. Он пахал.

Владимир Ильич сидел с нами на траве и с интересом наблюдал, как у нас пашут. Потом посмотрел на соху вблизи.

А финская соха тяжелая, из деревянных кряжей. В землю вонзается как бы раздвоенное коровье копыто, на обоих кончиках которого по стальному резцу.

Отец за четыре-пять лет жизни в Ялкале уже приобрел крестьянскую сноровку, пахал без видимых усилий, и борозда из-под сохи шла ровная, прямая.

Владимир Ильич ступил на пашню:

— Дайте-ка, Петр Генрихович, я попробую!

Гость проложил борозду, вторую взялся нарезать, потом третью, стараясь каждую выравнивать...

Потный, запыхавшийся, уступил место у сохи хозяину:

— Спасибо, Петр Генрихович!

Кроме швейной была в нашем доме еще одна машинка — чтобы собирать бруснику. Сделана из проволоки, по виду напоминала мышеловку. Походишь с ней по зарослям брусники, откроешь крышку — и высыпай богатую добычу. Владимиру Ильичу машинка очень понравилась. А когда он узнал, что придумал и сделал машинку отец, принялся хвалить его: «Петр Генрихович, вот это техника, а вы сами — изобретатель!»

...После Лидии Петровны слово берет ее брат Эверт. Он вспоминает:

В семье у нас, среди братьев и сестер, я и Вернер были самыми младшими: Вернеру семь, мне девять — я только что в школу пошел. Мы оба не понимали по-русски...

Но Владимир Ильич знал несколько финских слов — и у нас кое-как наладился разговор.

Он все писал у себя в «молочнице». Много писал, быстро и мелкими буквами. Но нет-нет да и выйдет отдохнуть. А я с Вернером тут как тут. Конечно, и Нетти, наша дворовая собака, уже прыгает, лает, просится в компанию.

— Эверт, Вернер, идемте гулять,— обращается к нам Владимир Ильич и берет каждого из нас за руку.

Пытаемся выяснить, куда хочет пойти гость: в лес или на озеро? Если решено в лес — бежим надеть сандалии, а на озеро идем босиком.

— Пунаненмария!— подсказывает Владимир Ильич (то есть по бруснику идем, в лес).

С собой у нас проволочная машинка, корзины. В ту пору брусника была очень сочная, спелая. Выйдем на удачное место — все поле красное, только бери!

Вернемся из леса, Владимир Ильич опять сидит среди молочной посуды,пишет. Выйдет оттуда — а мы бегом к нему.

На озеро ходили, катались втроем на лодке. Владимир Ильич всегда на веслах.

Купались. Он глубже идет, а мы остаемся на мелком месте. Очень хорошо плавал — быстро и подолгу.

Удочки были у нас самодельные. Покажем Владимиру Ильичу — идет с нами на рыбалку. Иногда с берега удили, порой с лодки. Окуней приносили изрядно, вполне хватало на семейный обед.

— В воскресенье вечером, как обычно, уезжаю в город,— вновь вступает в разговор Лидия Петровна.— До следующей субботы. А Владимир Ильич меня просит в четверг привезти почту. Я сразу подумала: «А разрешит ли отец прислать за мной в Териоки лошадь: день-то рабочий...»

— Пожалуйста,— сказал отец,— лошадь будет. Раз надо, так надо.

В городе выполнила поручение Владимира Ильича, встретилась с Надеждой Константиновной Крупской, получила для Ленина смену белья и письма. В четверг, чуть свет, собралась в дорогу, чтобы успеть обратно этим же утром:



к десяти часам мне на работу.

Рано утром уже сидела у Владимира Ильича в «молочнице». Дает мне узенькие записки, а на них дроби: три четверти, семь восьмых, одиннадцать двенадцатых... А из слов только: «да», «нет», «если»...

Поняла, что это шифр, и забеспокоилась: «Куда же эти записки подальше, понадежнее спрятать в дороге?»

Спрашиваю:

— В карман зашить?

— Да нет,— отвечает Владимир Ильич. А потом интересуется:— Книжку читаете в поезде?

А у меня как раз с собой книжка.

— Заложите эти листочки в разных местах в книжку и запомните страницы.

Всю дорогу я твердила мысленно номера страниц, между которыми спрятаны в книжке шесть ленинских записок.

В тот же день я передала их Надежде Константиновне.

С первого дня пребывания в Ялкале Владимир Ильич попросил, чтобы ему доставляли из Петрограда все выходившие там газеты. И доставка тотчас была налажена. Через верных людей из поездных бригад. Пакет с газетами прибывал на станцию Териоки, а там принимал его мой восемнадцатилетний брат Эдвард и на велосипеде мчался домой.

Когда я в третий раз приехала из города в Ялкалу к Владимиру Ильичу, даже испугалась: «Где же он?» Навстречу мне — пастор: бородатый мужчина, очки в золотой оправе, в руках синяя фетровая шляпа. Пастор рассмеялся, и тут только я по голосу узнала, что это Владимир Ильич.

Брат Эдвард, доставлявший все дни Владимиру Ильичу газеты, на этот раз готовился выполнить другое поручение. Решено было доставить Ленина в Териоки на станцию не прежней дорогой в двенадцать верст, а напрямик, через озеро: этот путь почти вдвое короче, да и безопаснее.

— Анна Михайловна! Петр Генрихович! Большое вам спасибо за все!— благодарил Владимир Ильич.— Хорошо я у вас поработал! Спасибо! Киитоксия!

...Год 1968-й. Декабрь. Я в ленинградской квартире Лидии Петровны Парвиайнен. Она недавно возвратилась из Рязани и других городов Российской Федерации, куда была пригла-

шена для выступлений. Сейчас позволила себе чуточку отдохнуть, чтобы затем вновь и вновь, откликаясь на нескончаемые запросы и приглашения, идти и ехать к рабочим, к морякам и солдатам, к студентам и школьникам, чтобы рассказывать тысячам слушателей о жизни Владимира Ильича и о встречах с ним.

В речи Лидии Петровны приятная напевность. Гляжу я в лицо этой семидесятипятилетней женщины, еще только седеющей, и вижу, как при воспоминании о Ленине горячим блеском загораются глаза ее и становятся совсем голубыми, как в далекой молодости, когда она была отважной связной Ленина.

Показывает мне Лидия Петровна удостоверение на ее имя за подписью Ленина, написанное от руки. На угловом штампе: Председатель Совета Народных Комиссаров, дата: 21.IV.1918 г. Текст: «Дано настоящее удостоверение Лидии Петровне Парвиайнен, живущей в Петрограде, Петроградская сторона, по Певческому пер., дом № 3, кв. № 344, в том, что ее вызывают по надобностям правительства в Москву.

Проезд в Москву должен быть разрешен Л. П. Парвиайнен немедленно...»

Удостоверение написано вскоре после переезда Советского правительства из Петрограда в Москву. Что хотел Ленин предложить Лидии Петровне — осталось неизвестным... Она в Москву не поехала. Уже собралась, да не пришлось.

В то время в Финляндии на рабочих обрушился белый террор, и финские коммунисты бежали в Петроград. Людям надо было опомниться, организоваться, наметить в новых условиях задачи своей деятельности, а они среди русских «без языка»! Решили, что выручить их может только Лидия Парвиайнен, свой товарищ, коммунистка, одинаково свободно владеющая и финским и русским языками.

Финские коммунисты написали Ленину: «Не можем обойтись без Парвиайнен ни дня!..»

Лидия Петровна была энергична и неутомима. Прощаясь, она сказала мне, что должна побывать в сибирском селе Шушенском и что столь дальняя поездка ее ничуть не затруднит.

Я и не думал тогда, что это была моя последняя встреча с Лидией Петровной.

ПОРУЧЕНИЕ

Рассказ

Звали его Духвинский-Осипов. Молодой питерский рабочий. Был он счастлив, получив лично от Ленина, в Смольном, важное боевое задание...

Расторопный парень так и скатился с третьего этажа по ступеням лестницы. Кликнул из караулки подмогу — и по каменным плитам коридора прогремели шаги двух десятков красногвардейцев.

Несколько минут — и грузовик с вооруженными людьми, погасив из предосторожности фары, уже мчался по ночным улицам Петрограда. Порой вслед красногвардейцам летели пули, но задержаться, чтобы посчитаться с врагом, было некогда. У Духвинского только и в мыслях: как бы поскорее и со всей точностью выполнить поручение Владимира Ильича...

Что же это было за поручение?

Но сперва несколько слов о самом Духвинском. Ведь Владимир Ильич доверял не каждому.

Иван Духвинский был большевиком уже с трехлетним партийным стажем. А самому едва перевалило за двадцать. Когда после свержения самодержавия партия стала легальной, он на память о подпольной работе свою кличку Осипов присоединил к фамилии — и получился Духвинский-Осипов.

Внешне это был сухой и как бы даже черствый человек, с крупным подбородком и тонкими губами. А в глазах — огонь. Дело партии было для него превыше всего.

В июльские дни, когда Временное правительство, сбросив маску «демократического», обрушилось на большевиков, попал в тюрьму и Иван Васильевич Духвинский-Осипов. Взяли его прямо из особняка Кшесинской. Иван Васильевич

в ту пору работал в военной организации Петроградского комитета партии.

После тюрьмы Духвинский-Осипов во Пскове. Здесь его знали еще по подпольной работе и теперь встретили как желанного посланца питерских большевиков. А затем избрали делегатом на II Всероссийский съезд Советов.

Духвинскому еще не доводилось бывать в Смольном. Но, войдя в толпу солдат, красногвардейцев, матросов, увидев их радостные лица, услышав смех и забористые песни, понял: «Эти — за большевистские Советы! И уже готовы к бою!»

Ему указали стол, где регистрируют делегатов,— и Духвинский уже в объятиях партийных товарищей. «А, Осипов! Помогай-ка, берись за дело, видишь, рук не хватает!» Тут же его определили в мандатную комиссию.

Комиссия устроилась на втором этаже, в небольшой комнате, что напротив актового зала.

В зал, где когда-то танцевали институтки, а порой появлялся и сам царь, заглядывали любопытные. Там шли приготовления к съезду. Приносили и расставляли для делегатов стулья, табуреты, скамьи. Строгие белые колонны обрамляли кумачом. И это было не только красиво: на старинной колоннаде словно запылали языки пламени...

В мандатной комиссии меньшевики и эсеры подсчитывали своих делегатов, большевики — своих. К Духвинскому кто-то наклонился и вполголоса: «Много ли наших? Дай точную цифру».

Иван Васильевич вскинул глаза, увидел знакомого,— и на вопросительный его взгляд товарищ еще тише ответил: «Ленин спрашивает».

Духвинский едва не вспрыгнул от радости: «Ленин в Смольном! Дорогой Ильич, о котором с июльских дней ничего не было известно!» Но — конспиративная выучка: он мгновенно овладел собой. И понял: если не объявляют о приезде Ленина,— значит, и он, большевик, обязан хранить тайну.

Тут же с превеликим удовольствием Духвинский дал справку о том, что среди зарегистрированных делегатов преобладают большевики.

Было это поздним вечером 24 октября. Делегаты собрались еще далеко не все, впереди еще целый день: открытие

съезда готовили на вечер 25-го. И хотя было уже маловероятным, чтобы меньшевики и эсеры взяли на съезде верх, Ленин продолжал пристально изучать состав прибывающих делегатов.

Давал Духвинский сведения. Для Владимира Ильича. Но это еще не ленинское поручение, о котором мы заговорили вначале...

Между тем город жил в тревоге. Стало известно, что Временное правительство выводит из Петрограда преданные революции полки. Взамен с фронта спешат какие-то другие... Что за люди? Обманутые Керенским. А что им в Петрограде делать?

И тут открылся замысел контрреволюции: захватить Смольный, перебить большевиков, а затем хватать, расстреливать и вешать рабочих, солдат, матросов, которые не с Временным правительством.

И Керенский не медлил. Отдал приказ для начала разгромить редакцию и типографию газеты «Рабочий путь». Это была газета большевистской партии. Сила против нее выступила грозная: юнкера в сопровождении броневиков. Но какова отвага красногвардейцев! Едва обученные держать винтовку, они грудью встали на защиту родной ленинской газеты. Броневики повернули и ушли. Разбежались юнкера. «Рабочий путь» вышел, как и в предыдущие дни. Правда, с некоторым опозданием: в 11 часов утра. Газета тут же призвала свергнуть изменившее революции правительство Керенского.

На заводах, на фабриках, в воинских частях, по призыву из Смольного, тысячи и тысячи людей стали готовиться к бою; заалели на улицах знамена с пролетарскими лозунгами.

Но и Временное правительство наращивало силы. По вызову Керенского, ему на помощь спешили эшелоны с фронта...

Близилась смертельная схватка старого и нового миров. И тут даже не у каждого из большевиков выдерживали нервы. Стали раздаваться малодушные голоса: «Страшно, как бы нас не смяли... Не подождать ли, что скажет съезд Советов?»

А Ленин в ответ: «Я пишу эти строки вечером 24-го, поло-

жение донельзя критическое, теперь уже поистине, промедление смерти подобно...»

Это было знаменитое письмо вождя к членам ЦК партии. И колебаниям — конец. Восстание против власти буржуазии началось. Ленин встал во главе восстания.

* * *

Иван Васильевич Духвинский-Осипов в гуще событий. Он уже не в мандатной сидит — дежурит в Военно-революционном комитете. А это — штаб восстания.

Сурова, тягостна вооруженная борьба, но она для человека — источник неизъяснимого счастья, если он встал за правое дело. В массах бойцов подхватили партийное слово «товарищ» — и как страстно, с какой новой силой оно звучало! «Товарищ» — это значило: «Мы с тобой одинаково мыслим и одинаково целимся во врага, моя грудь — щит для тебя, но знаю, что и ты заслонишь меня от вражьей пули. А случится мне пасть в бою — подхватишь из моих рук знамя Ленина!»

Восстание ширилось... Враг уже выбит с вокзалов, в руках красногвардейцев телеграф, почта, мосты через Неву...

Духвинский уже не на дежурстве в комитете. Он — комиссар Николаевского вокзала — следит, чтобы вражеские эшелоны не ворвались в Петроград. Это, к слову сказать, уже третья его должность за сутки. Но и прокомиссарил не долго. Через два часа потребовали его обратно, в Смольный, а вокзалом занялся другой товарищ.

«Теперь,— сказали ему,— вот твой стол. Сейчас самый важный. Будешь принимать донесения о ходе восстания». И не успел Духвинский освоиться со своей новой, четвертой со вчерашнего дня, должностью, как к нему привели троих парней в щеголеватых кожаных костюмах.

Оказалось — из вражеского стана: вели броневики к Зимнему, на усиление охраны дворца. А сейчас стоят, ухмыляются: «Мы,— говорят,— с броневиками заблудились». «Это в городе-то? — не поверил Духвинский.— На наших прямых улицах заблудились?» Еще шире улыбаются: «А может, мы нарочно к вам свернули?»

Тут появился Анатолий Васильевич Луначарский и вывел Духвинского из затруднения: забрал бравых молодцев с собой.

Это уже не первые, кто отказался служить Временному правительству. «Заблудившиеся» броневики встали на сторону народа.

Утром 25 октября, по призыву из Смольного, в Неву вошел крейсер «Аврора» и еще некоторые боевые корабли. На гранитные набережные высадился пятитысячный десант кронштадтских матросов.

Перевес сил восставших стал очевидным — и в 10 часов утра 25-го типографии выпустили написанное Лениным обращение:

«К гражданам России. Временное правительство низложено... Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского Правительства, — это дело обеспечено...»

Между тем Временное правительство словно не видело происходящего. Засев в Зимнем дворце и окружив себя войсками, министры-капиталисты все еще надеялись, что с фронта придет выручка, — и тогда большевикам-«смутьянам» несдобровать!

10.45 вечера, по существу, уже ночь. Меньшевик Дан, по праву старейшего депутата, открывает II Всероссийский съезд Советов. Вялая речь: на скамьях большевиков молчание, одинокие хлопки на скамьях меньшевиков и эсеров. Съезд медлит, к делам не приступает... В мыслях делегатов — Зимний. От этой крепости еще всего можно ожидать! А меньшевики, хотя и пришли на съезд, — всей душой с министрами, что в Зимнем...

Делегата Духвинского-Осипова вызвали из зала заседаний и коротко, как пароль: «К Владимиру Ильичу!»

Духвинский — на третьем этаже. Дверь. Красногвардеец в штатском, но с винтовкой останавливает для выяснения: «Кто такой?»

И вот Духвинский перед Лениным. Он так рад встрече, что лицо так и расплылось в улыбке. Стоит, пялится на Владимира Ильича... Но Ленин быстро взглянул на него, чуть нахмурился — и Духвинский, опомнившись, конфузно





пробормотал: «Извините, Владимир Ильич... Велели явиться?»

Ленин сидел за столом. Перед ним — план Петрограда, испещренный красными пометками. Здесь же, в комнате, были Свердлов, Луначарский, Бубнов и еще кто-то, которых Духвинский не успел рассмотреть: он сосредоточенно глядел на план, по которому Владимир Ильич стал двигать свою руку с карандашом. Карандаш остановился у прямоугольничка, обозначавшего Зимний дворец, здесь, на чистом еще месте, Ленин поставил жирную красную точку.

— Товарищ Духвинский,— Ленин посмотрел в глаза,— ясно вам? Отправляйтесь на Дворцовую площадь — да не один, а с людьми,— узнайте, как обстоят там дела, и передайте Антонову-Овсеенко, Подвойскому, Еремееву, Чудновскому, чтобы немедленно приступили к взятию Зимнего!

Вот оно, это поручение Ленина, запомнившееся Духвинскому на всю жизнь.

Он его выполнил. Грузовик, в котором он с группой бойцов помчался из Смольного, сквозь строгие красногвардейские заставы с трудом пробился на Невский, доехал до угла Морской — а тут уже сплошь войска.

Духвинский со своим отрядом спешился; чтобы поскорее найти названных Лениным товарищей, разослал во все стороны гонцов. Сам с оставшимися у него бойцами двинулся вперед. Миновал арку Главного штаба... Тут его сзади обругали. «Ложись!— крикнули ему.— Не на бульваре разгуливаешь!» Он спохватился: и в самом деле посвистывали пули...

У подножия Александровской колонны увидел цепь и ползком, прямо по грязи — туда. Повезло Ивану Васильевичу: здесь оказался Чудновский.

Григорий Исаакович послал во дворец ультиматум, но министры Временного тянули с ответом. Духвинский передал распоряжение Ленина — и все переменилось. Выстрел «Авроры»— и красногвардейцы, матросы, солдаты пошли на штурм.

Вскоре эта последняя крепость русской буржуазии пала, и Чудновский арестовал министров-капиталистов. Керенского среди них не оказалось — он еще днем бежал, переодевшись в женское платье.

Духвинский не сразу возвратился в Смольный. Он и сам разгорелся — участвовал в штурме. А когда вернулся — стены Смольного, показалось ему, сотрясаются от оваций. В белоколонном зале перед делегатами II Всероссийского съезда Советов выступал Ленин...

Духвинский и в последующие дни выполнял поручения Владимира Ильича, но уже как сотрудник приемной Председателя Совета Народных Комиссаров.

Затем работал в ЧК. В гражданскую войну был на фронте. Потом вернулся в мирный уже Ленинград.

Когда знаменитый наш режиссер Эйзенштейн ставил картину «Октябрь», Иван Васильевич Духвинский был приглашен как консультант.

Закончил он свой жизненный путь на посту директора одного из ленинградских заводов.

В Ленинграде же, в Музее Великой Октябрьской социалистической революции, хранятся его краткие воспоминания о службе в Смольном.

КЛЯТВА НА ВЕРНОСТЬ

Рассказ

Топкий берег озера Разлив сейчас покрыт асфальтом. К услугам туристов автобус. Сошел с поезда — и через несколько минут у шалаша Ленина. На коротком, двухкилометровом пути проносятся, обгоняя автобус или навстречу ему, легковые машины. Туристам заботливо предоставлены все удобства в путешествии к шалашу. По-видимому, так и надо...

Но берег Разлива был мне милее в его естественном состоянии. Идешь, бывало, тропинкой, след которой то и дело пропадает в траве. Журчат ручьи, стекая из болота в озеро. На мелководье у берега вдруг блеснет, как рассыпанные иголки, рыбья мелкота и исчезнет в глубине. В густых болотных зарослях крякнет неосторожная, еще молодая утка — и на «полуслове» умолкает: видать, почуяла все-таки человека или от мамы-кряквы влетело за беспечность.

Шагаешь по берегу, и еще задолго до того, как среди ветвей проглянет шалаш, тебя осеняет радость предстоящего свидания с Ильичем... Как любил он природу, и сколько им самим исхожено земли!

И невольно среди туристов, устремляющихся к шалашу, выделяешь группы пешеходов. Одежда и обувь пропылились, глаза жадно примечают каждый кустик, камень, кочку, пенек. Все, все, что видят здесь эти люди, на всю жизнь останется в их памяти.

Расскажу, почему я сам предпочитаю ходить в Разлив пешком. Вспоминается это место в дни ленинградской блокады...

Однажды наше подразделение вывели с передовой. Было приказано следовать в тыл, двинув с собой снегоочистители. Стояли морозы, навалило много снегу, вдобавок не-

КЛЯТВА НА ВЕРНОСТЬ

Рассказ

Топкий берег озера Разлив сейчас покрыт асфальтом. К услугам туристов автобус. Сошел с поезда — и через несколько минут у шалаша Ленина. На коротком, двухкилометровом пути проносятся, обгоняя автобус или навстречу ему, легковые машины. Туристам заботливо предоставлены все удобства в путешествии к шалашу. По-видимому, так и надо...

Но берег Разлива был мне милее в его естественном состоянии. Идешь, бывало, тропинкой, след которой то и дело пропадает в траве. Журчат ручьи, стекая из болота в озеро. На мелководье у берега вдруг блеснет, как рассыпанные иголки, рыбья мелкота и исчезнет в глубине. В густых болотных зарослях крякнет неосторожная, еще молодая утка — и на «полуслове» умолкает: видать, почуяла все-таки человека или от мамы-кряквы влетело за беспечность.

Шагаешь по берегу, и еще задолго до того, как среди ветвей проглянет шалаш, тебя осеняет радость предстоящего свидания с Ильичем... Как любил он природу, и сколько им самим исхожено земли!

И невольно среди туристов, устремляющихся к шалашу, выделяешь группы пешеходов. Одежда и обувь пропылились, глаза жадно примечают каждый кустик, камень, кочку, пенек. Все, все, что видят здесь эти люди, на всю жизнь останется в их памяти.

Расскажу, почему я сам предпочитаю ходить в Разлив пешком. Вспоминается это место в дни ленинградской блокады...

Однажды наше подразделение вывели с передовой. Было приказано следовать в тыл, двинув с собой снегоочистители. Стояли морозы, навалило много снегу, вдобавок не-

сколько дней и ночей свирепствовала вьюга. Дороги, служившие для подвоза к передовым линиям боеприпасов и продовольствия, сделались непроезжими, а иные и совсем пропали под снежным покровом. Все это очень осложнило боевую деятельность войск, и саперы всего фронта — а нас немало — были брошены в бой против снегов.

Саперы расчищали дороги, и, признаться, для моего подразделения оказалось неожиданным, что нас послали в сторону от дорог, к озеру Разлив. Недоумение возросло, когда близ места назначения мы повстречали артиллерийский полк, передвигавшийся по тылам. И как раз он шел со стороны Разлива. Если артиллерия прошла, значит, путь в порядке? А мы со снегоочистителями... Непонятно! Но приказ есть приказ — обязаны прибыть в Разлив.

Чтобы стало ясно дальнейшее, надо представить себе этот полк. Я видел его в самом начале войны. Он имел орудия на конной тяге. Это обеспечивало в условиях болот повышенную маневренность: кони способны лихо развернуть орудия на такой позиции, где механическая тяга увязла бы. Ах, что это были за кони!.. Рослые, с могучей грудью. Шея дугой. А ноги такие мохнатые, будто над копытами у коней морские клеши. Идет четверка таких коней, пританцовывает, словно и тяжесть орудия ей нипочем, азартно разбрасывает с удил хлопья пены... Даже танкисты, даже летчики, на что уж люди, связанные с высокой техникой, и те встречали и провожали полк восхищенными глазами.

Я не видел полка несколько месяцев. А когда теперь вот увидел, не поверил глазам. В артиллерийских упряжках на месте коней сами артиллеристы. Одни толпой облепили дышло и тянут вперед орудие, другие, теснясь, нажимают сзади, помогая руками, обернутыми в тряпки, вращаться орудийным колесам. Лица у бойцов изможденные, с глубокими, темными глазницами — печать блокадной голодовки. А кони, широкогрудые, мохноногие кони, где же они? Видно, тяжелые бои пришлось вынести полку в блокаде, если не осталось в нем ни одного коня.

...И все-таки орудия двигались в строгом порядке, безостановочно, выдерживая уставную дистанцию. Но каких это стоило усилий людям!

Впереди полка колыхалось развернутое бархатное знамя.

Там же с высоко вскинутой головой шагал командир. Взгляд его выражал и гордость за своих людей, и затаенное страдание. «Посмей только кто-нибудь понасмешничать над полком,— предостерегал этот взгляд,— только посмей!»

Прокаленные морозом стволы орудий были пушистыми от инея. Все артиллеристы, и молодые, и старые, одинаково выглядели седоусыми и белобородыми. Даже шинели от клубившегося в тесноте дыхания густо заиндевели. И стоило полку совсем немного удалиться от нас, как и орудия и люди словно растворились в снежном безбрежье. Только алая капелька знамени как бы продолжала плыть в воздухе.

Полк прошел. А рассказ о нем, собственно, только здесь и начинается.

Когда наше подразделение, приближаясь к Разливу, сделало последний привал, навстречу вышел проводник от дивизии. Он и уточнил задание. Оказывается, из-за снежных заносов прекратился доступ к ленинскому шалашу. А дорогу туда надо держать открытой. Перебрасываемые с Большой земли в осажденный город для пополнения молодые бойцы требуют, чтобы их прежде всего свезли к шалашу. Присягая на верность Родине у шалаша, солдат как бы самому Ленину давал клятву победить или умереть.

Пока наши механики готовили снегоочистители к делу, мы, несколько человек, встали на лыжи, чтобы ознакомиться с предстоящей работой. Двигались, увязая в сугробах, и то и дело путаясь ногами в прутьях лозняка, тонких, как силки. Вдруг покатились вниз. Глядим, мы во рву. Нет, это не ров... Мы стоим на очищенной от снега, промерзшей поверхности болота. По всему видно, что здесь совсем недавно тоже высились сугробы: а глубина снега — мы смерили — достигала двух метров. И вот видим, снежные горы раздвинуты в стороны... Что за чудовищная сила действовала здесь? Машины? Но на размятых, истоптанных снежных откосах многочисленные следы падения людей...

Все разъяснилось у памятника. Здесь, перед гранитным шалашом — монументом, воздвигнутым ленинградскими рабочими в X годовщину Октября,— мы увидели на земле немецкую каску. Сквозь каску был вбит в землю прочный березовый кол. И на нем на фанерной доске надпись, сделанная разными почерками:

ТОВАРИЩ ЛЕНИН! БУДЬ СПОКОЕН ЗА НАС.
КЛЯНЕМСЯ: ЛЕНИНГРАДА ИМ НЕ ВИДАТЬ.
БЕРЕЗОВЫЙ КОЛ В БАШКУ ФАШИСТОВ!

Молодые бойцы-призывники,
а также старослужащие Н-ского
конно-артиллерийского полка».

Мы переглянулись как виноватые. Хотя и не в чем было себя упрекать: пришли в срок, без опоздания, приказ выполнили точно. И все-таки была на душе горечь. Не дождались артиллеристы саперов. Не дождались снегоочистителей. Сами проложили дорогу к ленинскому шалашу. Да еще с орудиями, в полном строю... Не дождались...

И вдруг мне подумалось: а может быть, они и не желали помощи?

ХОРОШО ОТТОЧЕННЫЕ КАРАНДАШИ

Рассказ

Илья Николаевич в облаке морозного воздуха вошел в переднюю. На нем тулуп до полу, а высокий воротник как забор вокруг головы; медвежья шапка — по самые глаза, так что и лица не видать.

Дети выбежали навстречу — и радостно:

— Папа приехал! Папа приехал!

Из тулупа прогудело:

— А может быть, это не папа... Ууу-ууу!..

— Ай! — взвизгнула Оленька и отскочила.— Кто же это?

— Чу-удище! — дразнясь, протянул Володя и подбежал к отцу.— Неужели не узнала? И не стыдно?

Девятилетний Володя очень любил сестренку Олю, веселую попрыгунью, и, наверное, поэтому часто над ней подтрунивал.

Торопливо вошла Мария Александровна. На ходу выдворила из передней самых маленьких: «Митя и Маняша, в комнаты, в комнаты... Еще простудитесь! Вот разденем папу — и увидите его».

Илья Николаевич долго ехал на лошадях. А зима ведь — снег да мороз. Хоть и в меха одет, а окоченел; пальцами не шевельнуть — не то что самому раздеться.

Мария Александровна принялась расстегивать на тулупе крючки, а они железные да еще обледенели... Измаешься!

А Володя только и ждал, чтобы тулуп распахнулся. Сразу — рраз за рукав и присел: тянет на себя рукав, тянет... А Оленьку послал за другой тянуть; девочка обняла другой рукав и повисла на нем.

Тут тяжелый бараний тулуп как рухнет — да обоим на головы! Хохот, визг под тулупом — затеяли игру.

Но баловство не к месту. Отец стоит с посиневшим лицом, с бороды, с усов обирает сосульки.

— Володя,— сказала мать,— папе надо согреться. Беги, скажи, чтобы самовар поставили!

Мальчик выскочил из-под тулупа.

— Я сам поставлю самовар, я умею угли разжечь!— И стремглав на кухню.

Оленька, конечно, вслед за ним. Она старалась ни в чем не отставать от брата.

На столе шумит, пофыркивая, самовар.

Илья Николаевич блаженно улыбается. Он уже согрелся чаем, лицо порозовело, глаза сонливо прищуриваются.

Сам себе удивляется.

— Никак,— говорит,— с дороги не напиться!

И Мария Александровна, сидя за самоваром, опять наполняет мужу его любимый стакан в подстаканнике.

Губы Ильи Николаевича тянутся к ароматному чаю, а глоток сделать не просто: правую руку захватила полуторагодовалая Маняша и качает ее как куклу; на левое плечо Митя навалился и дышит отцу в ухо; сбоку прижался Володя, с другого Оля залезает под мышку.

Все твердят в одиночку и хором:

— Папа, когда же ты начнешь рассказывать?

Мария Александровна смеется:

— Дети, вы же раздавите папу! Дайте ему хоть чай-то допить!

Илья Николаевич с самого первого снега не был дома, а уже ползимы. Сел в возок с будочкой, которая прикрывает от снега и ветра, сказал кучеру: «Трогай!» Скрипнули полозья, брякнул колокольчик под рукой — и помчались быстрые кони! Возок с отцом как растаял в снежной пыли...

Дети уже едва помнили, как его проводили.

— Папа, ну расскажи...— затянули они, облепив отца.— Ты опять видел тех же мальчиков и девочек или уже других? Прошлый раз про чувашских школьников рассказывал, а сегодня про кого будет?

Илья Николаевич наконец допил свой чай.

— И сегодня, дети, расскажу. Про одного мальчика-мордвина.

— А как его зовут?— спросил шестилетний Митя.



— А лет ему сколько?— пожелала узнать Оля.

Володя спросил, хорошо ли этот мальчик учится.

Маняша тоже открыла рот, но сказала только: «А-а-а?..» Вопрос у нее не выговорился. Отец поцеловал девочку и с рук на руки передал матери.

Потом ответил всем сразу:

— Мальчика зовут Ваня Смирнов. Ему девять лет, как нашему Володе. Но Володя нынче осенью поступил в гимназию, пройдет восемь классов, будет образованным человеком. А Ваня Смирнов в сельской школе, там всего-то два класса — и те бедняге окончить не удастся. А мальчик способный и учится хорошо.

— Папа, но как же так?— удивился Володя и забеспокоился:— А Ване можно помочь? Ты ему помог, папа?

Илья Николаевич поднялся из-за стола.

— Дети,— сказал он, гладя каждого по голове,— я рад, что дома. Я очень соскучился по вас. Но я устал с дороги, даже глаза слипаются... Давайте отложим нашу беседу до вечера. Хорошо?

— До вечера, до вечера!— подхватила Мария Александровна.— Папа должен отдохнуть. А вы, пожалуйста, занимайтесь каждый своими делами.

Взяла мужа под руку, и они медленно пошли из столовой, разговаривая. У родителей после долгой разлуки ведь тоже, наверное, есть о чем поговорить!

* * *

Мария Александровна уложила Илью Николаевича на диван в кабинете, накрыла его пледом.

— Спи.

А он ее за руку и в кресло:

— Не уходи, Маша! Я так все время беспокоился за тебя и детей! Все здоровы?

— Здоровы, здоровы,— поспешила ответить Мария Александровна.— Напрасно тревожился.

— Вот и хорошо!— уже весело сказал Илья Николаевич и стал расспрашивать о домашних делах. Про дрова спросил: — Как бы,— говорит,— не пришлось прикупить дров — зима-то ныне вон какая лютая!

Про картошку спросил, про яблоки из сада. Все это было заложено в погреб на хранение. Но ведь морозы!..

Илья Николаевич задумался: «Этот злодей со снежной бородой, чего доброго, и продукты наши испортит, каково нам зимой! Нет, надо его перехитрить, перехитрить...» — И предложил жене:

— Вот что сделаем: в погреб накидаем рогож. И застелем рогожами картошку и яблоки. И капусту... И все, что там есть. Согласна?

— Хорошо придумал,— сказала Мария Александровна.— Рогож у нас хватит.

Однако Илья Николаевич не успокаивается. Домой ведь приехал, в семью. Спросил заботливо:

— А как сами-то, одеты-обуты?

— Все мы в тепле, Илюша, не беспокойся,— ответила Мария Александровна.— Что из одежды поизносилось у детей —сама вычинила. А валенки всем нам караульщик подшил. Взял недорого. Ты его, Илюша, знаешь.

Илья Николаевич:

— Как же, как же... Гулко ночами стучит в колотушку! Знакомы. Отставной солдат. В рукопашной с врагом глаз потерял, да и рука изувечена... Севастопольской обороны герой, а на человека жалко смотреть: одет по-нищенски. Досыта, говорит, только в солдатах и едал... Это хорошо, Маша, что ты дала ему заработать.

Говорят муж с женой, говорят — не наговорятся. И уж, конечно, Илья Николаевич про цветы спросил. Выводить и сажать цветы — любимое у Марии Александровны занятие.

Еще с зимы, когда день начинает прибывать и все чаще заглядывает в окна солнце, в квартире на подоконниках появляются ящики с землей. Разносили их и устанавливали вместе с мамой дети. Как это интересно, как весело!

Володя раньше всех смекал, куда что лучше поставить.

— Мама,— просил он,— ты не ходи все время по пятам. Мы сами.

И Мария Александровна, улыбнувшись, отступала. Она знала, если Володя берется за дело — выполнит все аккуратно. И Оля старается, и Митя. А то, бывает, Володя и Аню притащит за руку, и Сашу. Оба много старше его, посмеиваются над Володиными хлопотами, но тоже берутся ему помогать.

Проходит немного времени. В комнатах тепло, да еще солнышко — земля в ящиках разомлеет: можно сажать семена. Какие они разные!

Когда мама высыпает их из пакетиков, чтобы перед посадкой вымочить в стаканчиках с водой, дети собираются вокруг стола. И начинается угадывание: из какого семечка что вырастет? Вот будто маленький ежик свернулся в комок: это семечко астры, большого нарядного цветка. А вот едва приметные семена-крючочки: цветы из них тоже вырастают простенькие, но как пахнут: лучше всех! Это резеда. Черные маковинки — ну, из них понятно, что вырастет. А это что за семена, будто лодочки, только совсем малюсенькие...

— Володя, ты, наверное, знаешь? Ну иди же сюда, объясни!

Посадили семена. Теперь каждое утро дети, замирая, заглядывают в ящики. И — ура! — выклюнулся первый носик. Кто его обнаружил? Конечно, жаркий спор между детьми...

А настанут теплые дни — и ящики, уже полные зелени, вынесут в сад, чтобы рассадить эту зелень по клумбам.

— Илюша,— сказала Мария Александровна,— семена у меня еще в пакетиках, рано их трогать.— И улыбнулась: — Сейчас еще мороз сажает цветы. Взгляни-ка, какие серебряные и алмазные сады на оконных стеклах!

* * *

Илья Николаевич продолжал лежать на диване, отдыхая.

Мария Александровна сидела рядом. На коленях у нее уже была корзиночка с рукодельем. Она не умела сидеть сложа руки.

— И спать не хочется...— сказал Илья Николаевич.— Мэри, не нарадуюсь, что я дома!

Он поднял глаза к потолку, потом посмотрел на окна, расписанные морозом, на свой письменный стол, за которым так давно не занимался, на керосиновую лампу под стеклянным зеленым абажуром, которая ползимы стоит холодной, даже керосин в ней наполовину высох...

Илья Николаевич встрепенулся и сел на диване.

— Мэри...— сказал он грустно.— Не могу видеть, как она скучает.

— Кто скучает?— не поняла Мария Александровна.

— Да она же, мой верный друг во всех моих занятиях! Она, она...— И Илья Николаевич протянул руки к настольной лампе, как бы желая ее обнять.

Это получилось очень смешно. Мария Александровна рассмеялась. А Илья Николаевич прямо-таки покатывался от смеха: он был выдумщик на шутки.

— А Володя в тебя растет,— сказала Мария Александровна.— Такой же шутник и забавник. С ним всегда весело.

Зимние сумерки сгущаются быстро.

Илья Николаевич встал и провозгласил торжественно:

— Зажигается лампа! Довольно бедняге скучать!

— Обожди, обожди!— И Мария Александровна долила керосину.

После этого Илья Николаевич снял с горелки стекло, огоньком спички коснулся фитиля — и комната озарилась мягким зеленоватым светом.

— А теперь...— Илья Николаевич устроился поудобнее на диване,— теперь про Володю. Рассказывай все. Но раньше всего о гимназии: как он там, привыкает ли?.. Меня это очень заботило. Ведь только подумать: жил мальчик под крылышком матери, в кругу братьев и сестер, со своей няней дружил неразлучно... И вдруг гимназия — все вокруг чужие. В классе шум, гам, потасовки, тридцать незнакомых мальчуганов, а он один...

— И еще ростом мал,— вставила Мария Александровна.— Оказался самым маленьким в классе.

Илья Николаевич окончательно расстроился.

— Вот видишь как...— пробормотал он.— Значит, и обидеть могли... То-то мне было неспокойно в дороге!

Мария Александровна рассмеялась.

Илья Николаевич посмотрел на нее с удивлением.

Тогда она, смеясь, воскликнула:

— Илюша, все было не так! Совсем, совсем не так!

И рассказала про Володю-гимназиста.

* * *

Прозвонил колокольчик. Урок кончился, учитель вышел из класса. Перемена! Гимназистам-первоклашкам выбежать бы в коридор, попрыгать, порезвиться, в чехарду поиграть.



Но в дверь просунулся верзила — класса из четвертого, наверно, или даже из пятого. Вошел и объявил:

— Малявки! Выкладывай завтраки. Вот сюда.— И он показал на учительский стол.— Живо, живо! А то всех оставлю без перемены!

Володя Ульянов удивился. Подошел к старшекласснику, а тот уже запихивает в рот чужие завтраки: выбирает, которые повкуснее, остальные отбрасывает прочь.

Володя вежливо спросил:

— Скажите, пожалуйста, почему вы отбираете у нас завтраки? Потому что вы сильнее? Но это несправедливо!

Верзила посмотрел сверху вниз на рыжеватого мальчика и бросил в него кружком колбасы:

— Брысь! Еще задираться вздумал?

Жирная лепешка угодила Володе в лицо, измазала щеку, губы. Мальчик остолбенел: никто никогда над ним так не насмехался... От обиды выступили слезы.

Сжав зубы, чтобы не расплакаться, он подступил к верзиле. Сам еще не мог понять, что надо сделать. Но когда тот замахнулся кулаком, Володя первым ударил, да так метко, что верзилу скрючило. Охает, не может дух перевести...

Мальчики в классе замерли. «Что-то будет теперь... Страшно».

А один из них закричал, затопал ногами:

— Ульянов, берегись! Убьет тебя... Убьет!

Да, верзила был страшен.

Губы злобно сжаты, глаза кровью налились. Выставив вперед кулачищи, он двинулся на Володю.

Тут уже все закричали:

— Отстань! Не смей! И не стыдно маленького?.. Беги, Ульянов, беги!

Многие из ребят сами кинулись к двери.

Толкнулись — а дверь заперта...

Перестали кричать. В ужасе смотрели, чем все кончится.

А Володе Ульянову как раз маленький рост и помог. У верзилы руки, как жерди длинные.

Пока-то размахнется! Норовит ударить, а Володя брык — и в сторону. Маленький да верткий — от ударов уклоняется, а сам верзиле уже наставил синяков.

В классе обрадовались, кричат, смеются:

— Ульянов! Твоя берет! Лупи его, лупи!

А Володя:

— Хватит. Не желаю драться. Противно!

Достал платок и принялся вытирать раскрасневшееся лицо, шею. Ребята кинулись поправлять на нем измявшийся мундир.

— Спасибо,— сказал Володя.— А теперь вытурить его надо отсюда. Беремся вместе!

Обернулся — а где же он? Верзилы и след простыл.

Видать, не понравилось ему сражаться с рыжеватым мальчиком.

* * *

Все это рассказала мужу Мария Александровна.

Илья Николаевич, улыбаясь, погладил бороду.

— Ай да Володя,— сказал он,— вот ты каков в гимназии!.. Драку не одобряю. Но молодец: за товарищей постоял, да и себя в обиду не дал. Молодец, сынок!

А Мария Александровна:

— Меня порадовала скромность Володи. Заступился за товарищей, при этом одолел сильного парня — и хоть бы слово кому-нибудь. Иной на его месте расхвастался бы. А Володя только Оленьке и сказал о своей победе. А девочка с испугу ко мне.

Потом Мария Александровна рассказала мужу, что Володя, надев гимназический мундир, сразу как бы повзрослел. Составил себе расписание, когда готовить уроки, когда ходить на каток, а когда книжку почитать. И не ошибается: выдерживает расписание час в час.

— Был шалунишкой,— добавила Мария Александровна,— а теперь совсем серьезный мальчик.

* * *

— Ой, как тянется время!

Володя и Оля томились в ожидании вечера. Папа обещал рассказать про деревенского мальчика Ваню Смирнова... Ну, скоро ли?

— А папа еще в баню пойде-ет...— тоненьким пискливым

голоском завела Оля, нарочно запищала, чтобы брату было противнее, а то скучно.— У папы только после бани наступит вече-ер...

Володя поморщился:

— Не щеми уши...

Он теребил себя за губу — что-то думал... И вдруг глаза мальчика загорелись, он даже рот приоткрыл — вот-вот скажет что-то интересное...

— Ну же, ну!— радостно встревожилась Оля.— Что придумал, говори!

Володя покрутил рукой, устроил мельницу и выпалил:

— Ох, как мы скоротаем время! Брыкаска будет тебя есть.

Девочка поскучнела:

— Уже надоели твои брыкаски.

Володя сделал большие глаза и шепотом:

— Совсем новая! Еще не было таких.

Здесь надо объяснить, что такое «брыкаска». Эта игра придумана была Володей, как и многие другие игры. От брыкаски не уберечься. Даже проглотить может, кого захочет. Облизнется — и нет Оленьки. Облизнется — и нет Мити. Но бывает брыкаска и ласковая, как вздумается.

В брыкаску рядился Володя. Был в доме старенький полушубок, который уже и не носили.

Вывернет его Володя шерстью наружу, напялит на себя, а сам на четвереньки — вот и брыкаска.

Удирать от брыкаски надо, прятаться, а то как зарычит волком, как захохочет филином, как цапнет за ногу или за волосы...

— А как это по-новому?— заспрашивала Оля.

— Сама увидишь,— уклонялся Володя от ответа.

Стали ждать, когда отец уйдет в баню.

Вот Илья Николаевич взял узелок с бельем, сухой березовый веник под мышку... Ушел.

И мама ушла куда-то.

В квартире только Володя, Оля и Митя. Маняша не считается — она в комнате у няни.

— Брыкаска начинается!— провозглашает Володя и велит гасить лампу в зале. Но Оля протестует: «Страшно будет!» — и лампу, не гася, выставляют в прихожую.

— Митю зови!

Митя очень чувствительный мальчик. Когда мама садится за рояль и дети поют хором, Митя нет-нет да испортит музыку. «Жил-был у бабушки серенький козлик...» — это все поют ровно, но когда доходят до слов: «Остались от козлика рожки да ножки» — Митя всхлипывает и заливается слезами. Портит песенку.

А вот «брыкаску» Митя не испортит. В «брыкаске» хоть навзрыд реви — от этого только играть интереснее!

Оля и Митя, взявшись для храбрости за руки, вошли в полутемную залу.

— Чур, не подсматривать! — сказал Володя, закрывая за ними дверь. А сам — в прихожую. Сгреб в охапку отцовский тулуп, приподнял его — ух, тяжел! — да и повалился вместе с тулупом на пол. Не унести!

Володя подлез под тулуп, встал на четвереньки. «Утащу, — думает, — на спине!» И стал похож на черепаху: не расстаться с тулупом, будто сросся с ним! Володя встал, ухватил тулуп за его длинный рукав и поволок в зал.

Новой брыкаски не получилось. Да беда невелика! Разостлали тулуп на полу шерстью вверх — и пошла потеха!.. Кувыркаются, а то друг на дружку: «Куча мала!» — или Володя на руки встанет... Мех густой, пушистый, до чего же хорошо повозиться: еще мягче, чем летом на травке!

Когда все трое выплясывали дикий танец команчей, в дверях показалась вынесенная в прихожую лампа. Абажур на ней круглый как шар, и Володе на мгновение показалось, что лампа плывет по воздуху.

— Ага, соскучилась? — крикнул он, смеясь. — Иди, лампа, к нам, здесь веселее! — Да и прикусил язык. Это отец с лампой; сам в халате — после бани он всегда в халате.

Команчи замерли от неожиданности.

— Это что же здесь происходит? — строго спросил отец и вдруг увидел на полу свой тулуп. — Безобразники! — уже вскричал он и поспешно поставил лампу.

Илья Николаевич кинулся поднимать тулуп. Тут как одуванчики поплыли в воздухе комочки вытоптанной шерсти.

Отец только головой покачал. Взял тулуп на плечо и вышел из залы.

Володя за ним.

— Папа, это я виноват.

Отец принялся укладывать тулуп на место. Володя ви-

дел только спину. «Ужасно как долго укладывает!» — нетерпеливо подумал мальчик.

Наконец отец обернулся. Сказал со вздохом:

— А я-то думал, что ты остепенился... В гимназию пошел — фуражка, мундир форменный! А у тебя все еще те же детские проказы... Огорчен я, очень огорчен!

Отец и сын стояли друг против друга.

Володя сказал печально:

— Теперь я уже не услышу про Ваню Смирнова... Потому что ты должен меня наказать.

Отец возразил:

— Можешь сам себя наказывать. А про Ваню Смирнова расскажу. Свои обещания я всегда выполняю.

Володе бы обрадоваться: «Услышит, услышит про Ваню!» А он чуть не плачет. И брыкаска не получилась, и тулуп извозил. Никуда он не годный мальчишка!

Отец взял сына за плечо и повел в кабинет.

— Садись к столу.

Володя сел. И тут же подумал: «Сидеть или не сидеть — не все ли равно?»

На письменном столе был стаканчик с карандашами. Отец выбрал один из карандашей и показал Володе:

— Взгляни, как очинен — в иголочку! А как вокруг графита дерево обточено — это же прелесть! Как на токарном станке! Кто же это у нас такой мастер?

Володя, краснея от смущения, опустил голову. Но тут же взглянул на отца, и карие глаза его засветились мальчишеской радостью.

— Папа, в гимназии я чиню карандаши друзьям. А тебе...— Тут Володя прервал себя, раздумывая. Он очень любил отца, но не знал, как это выразить. Наконец нашелся.— Папа,— сказал он,— но не должны же быть твои карандаши отточены хуже, чем у гимназистов!

* * *

После ужина собрались послушать Илью Николаевича.

Володя, Оля и Митя вспрыгнули на три стула, сели рядом. Но Оленька тут же загримасничала, говоря братьям: «Ой, далеко вы... Хочу ближе!..»

Все сдвинулись, прижались друг к другу — и третий стул оказался лишним.

Его подхватил вошедший брат Саша, поиграл им в воздухе и с шутливым поклоном подал сестре Ане.

Мария Александровна села рядом с мужем.

Илья Николаевич, раздумывая, потрогал усы, бороду, медленно провел ладонью по голове... Потом сказал, что за долгую свою поездку по губернии он столько повидал интересного, что не знает, с чего и рассказ начать.

Володя, волнуясь, поднял руку, как в классе:

— Про Ваню Смирнова!

— И я хочу про Ваню,— поддержала Оленька.

— Про Ваню,— повторил за нею Митя.

Старший брат Саша сказал, улыбнувшись:

— Ну что ж, здесь голос народа. Присоединяюсь.

— А я, как Саша,— кивнула Аня.

— Отлично,— сказал Илья Николаевич.— Про Ваню так про Ваню. С этого и начнем. Но я что-то уже говорил об этом мальчике... Напомните-ка.

Тут Володя, Оля и Митя, перебивая друг друга, сказали, что Ваня Смирнов хороший ученик, но очень бедный, поэтому его хотели выгнать из школы, но папа, потому что он инспектор, выгнать Ваню не позволил...

Илья Николаевич рассмеялся:

— Ну, вы, дети, уже успели нафантазировать. Никто Ваню из школы не выгонял... Впрочем, от этого ему не легче... Но лучше расскажу все по порядку.

Приехал Илья Николаевич в село Промазино — это далеко от Симбирска, в Алатырском уезде. Заходит в школу, а навстречу ему ученик.

— Куда же ты?— остановил он мальчика.— Удираешь с уроков?

Тот молчит. Переминается с ноги на ногу. А на ногах-то лапотки плохонькие, на плечах кофта женская не по росту.

Илья Николаевич не удивился такой одежде: понял, что мальчик из бедной крестьянской семьи. А бедняк во что только не обрядит ребенка — лишь бы в мороз до школы добежал! А там, мол, отогреется.

Одежде не удивился — удивился Илья Николаевич, увидев на спине у мальчика дорожную котомку.

Спросил уже в беспокойстве:

— Это куда же ты собрался, паренек?

Мальчик поднял голову. Лицо широкое. Глаза черные, блестят как капельки чернил. Спросил с любопытством:

— А вы кто сами будете? Из города?

— Из города,— ответил Илья Николаевич.

— Начальство?

— Начальство,— улыбнулся Илья Николаевич.— Вот слежу, чтобы ученики не удирали с уроков.

Мальчик движением плеча встряхнул котомку, хотя там и встряхивать-то было нечего: пустая. И протянул жалобно:

— А я совсе-ем ухожу... Больше нельзя мне в школу... До свиданья.

И — за порог.

Но Илья Николаевич удержал беглеца. «Видать, набедокурил,— подумал он.— А потом испугался что учитель накажет, и ходу отсюда...»

Тем временем уроки кончились, и ватага ребятишек, прогремев ногами на деревянном крылечке, рассеялась по деревне.

Илья Николаевич привел беглеца к учителю.

— Он набедокурил у вас?

— Нет,— отвечает учитель.— Ваня Смирнов поведения примерного.

— Значит, ленив, не желает учиться?

— Нет,— опять говорит учитель,— Смирнов прилежный и толковый ученик.

Илья Николаевич только руками развел:

— Ничего не понимаю! Объясните.

— Извольте.— И учитель стал рассказывать про мальчика. Родом из глухой мордовской деревушки, где ни одного грамотного. А Ване захотелось в школу. Два дня шагал из своего Палитова, так деревенька называется. Сел мальчик за парту...

Тут учитель покосился на Ваню, который устроился на табуретке:

— Выйди-ка, Смирнов. О тебе разговор.

Но Илья Николаевич удержал мальчика за плечо:

— Пусть послушает. Если он умен — наш разговор ему только на пользу.



Учитель продолжал:

— Сел Смирнов за парту. И в устном счете, и в чтении, и в письме пошел впереди других. Похвальный лист мы ему выдали — и ну, какой веселый побежал домой! А на вторую зиму мальчика, гляжу, не узнать. Задумчивый, товарищей сторонится. Зовут на перемене: «Айда в снежки!» Бывало, он первым на улицу, а тут шапку возьмет да в угол — и лицо в шапку...

Илья Николаевич перебил:

— Что же случилось у мальчика? Вы его спрашивали?

— Один раз разревелся,— сказал учитель,— а то бы не добиться толку! Все внесли за правоучение, а Смирнов не несет. «Напомни,— говорю,— маме, чтобы уплатила шесть рублей. Иначе в школу не буду пускать». А он — в слезы. «Не возьму я у матери шести рублей. Она и без того пухнет с голоду... Выгоняйте из школы!»

Учитель повернулся к мальчику:

— Так это было, Смирнов? Но я же тебя не выгнал?

Мальчик позевывал и болтал ногами. Скучен ему был этот разговор старших. Говорят, говорят, а что толку? Словами делу не поможешь.

Он встал с табуретки и сказал городскому начальнику:

— Мне бы засветло выйти. А то ночью в наших местах волки бродят... Чем отобьюсь? Тогда кудели мне давайте и спичек коробок.

Илья Николаевич рассмеялся:

— Однако, какой деловитый!.. Только погоди, Ваня, с куделью да со спичками. Сперва расскажи, что у тебя дома. С матерью живешь? Кто еще в семье?

— Мать да тетка, а из мужиков только я один.— И рассказал мальчик про горестную свою бедняцкую жизнь.

Ни лошади дома, ни коровы — значит, в поле не выедешь, хлеба своего не посеешь. А есть-то надо. Идет мать к помещику, кланяется, выпрашивает мешок муки до святок. А чем этот долг отдать? Помещик велит холстами.

В избе у матери ткацкий стан, крестьянской работы — из бревен. Ох, и тяжел на ходу! Чуть свет, а мать уже у стана. Стучит, стучит ремизками, гоняет челнок с правой руки на левую и обратно... К полудню умается. Тут тетка садится к стану... И так допоздна, до третьих петухов. Почти что и

спать им не приходится.

Ткут да ткут, ткут да ткут... Но вот ведь какая у помещика арифметика: никак за мешок муки с ним не рассчитаться!

Рассказал все это Ваня Смирнов. Нахмурился:

— Нет у матери шести рублей. Отпустите. Домой пойду.

Илья Николаевич:

— Но учиться ты хочешь? Или уже расхотелось? Неужели твоя деревня Палитово так и останется без грамотного человека?

Мальчик вдруг схватился руками за лицо да как заревет...

Его не трогали: проплачется, станет легче.

Притих наконец.

— Можно, пойду умоюсь?

Голоса мальчишеского не узнать: бас себе наревел.

Вернулся и опять вскарабкался на табуретку.

Илья Николаевич, улыбаясь, подсел к мальчику.

— Снимай, Ваня, котомку. Оставайся. Будешь учиться. Я начальник и освобождаю тебя от платы. Забудь про шесть рублей.

Но мальчику надо и в другом помочь. Зимой, в школьное время, он живет тут же, в Промзино. Хозяйка держит его на квартире, кормит, поит и требует за это в месяц два рубля с полтиной.

Илья Николаевич вынул бумажник и дал из своих денег учителю, попросил, чтобы учитель каждый месяц расплачивался с хозяйкой Вани Смирнова.

* * *

Илья Николаевич закончил свой рассказ. Обвел глазами слушателей.

Митя уже давно сорвался с места и, пряча слезы, уткнулся головой в колени матери. У Оленьки словно розы расцвели на щеках, но девочка крепилась, не заплакала.

Старшие — Аня и Саша — сидели, задумчиво опустив головы.

Отец, помолчав, добавил:

— Дети, и я сейчас, как наяву, вижу перед собой лицо Вани Смирнова. Как счастлив был он, узнав, что остается в школе! Как просиял весь... Не нахожу слов описать эти минуты! А как рады были за мальчика мы с учителем...

Все по-прежнему молчат.

А Володя:

— Папа, ты позволишь мне что-то подарить Ване Смирнову?

— Конечно, сынок,— отозвался Илья Николаевич.

— Тогда я сейчас!— И Володя,сбегав к себе в комнату, вернулся с пеналом в руках и с квадратной дощечкой.

Сел к столу, принялся за дело. Раскрыл перочинный ножик. Выбрал в пенале целый карандаш, взял в левую руку и приставил концом к дощечке.

— Ножик у меня острый, хорошо берет!— сказал Володя. И в самом деле: стружка пошла с карандаша ровными завитушками.

За спиной Володи уже стоял отец. Подошли и Саша с Аней. Встала на цыпочки Оленька. Подошла Мария Александровна, и Митя прибежал. Все с интересом глядели, как ловко Володя оттачивает карандаш.

— Теперь,— сказал он,— заостряю черный носик...

— Графит,— подсказал отец.

— Графит,— повторил за ним Володя.— Готов графит. А теперь...

С этими словами мальчик поставил ножик на ребро и принялся обскабливать очиненный карандаш. Из-под лезвия ножа уже не стружка падала, а лишь древесная пыль.

— Все!— закончил дело мальчик.

Отец взял карандаш и поднял перед глазами, осматривая.

— Выточен абсолютно правильный конус! Удостоверяю как математик. Молодец, сынок!

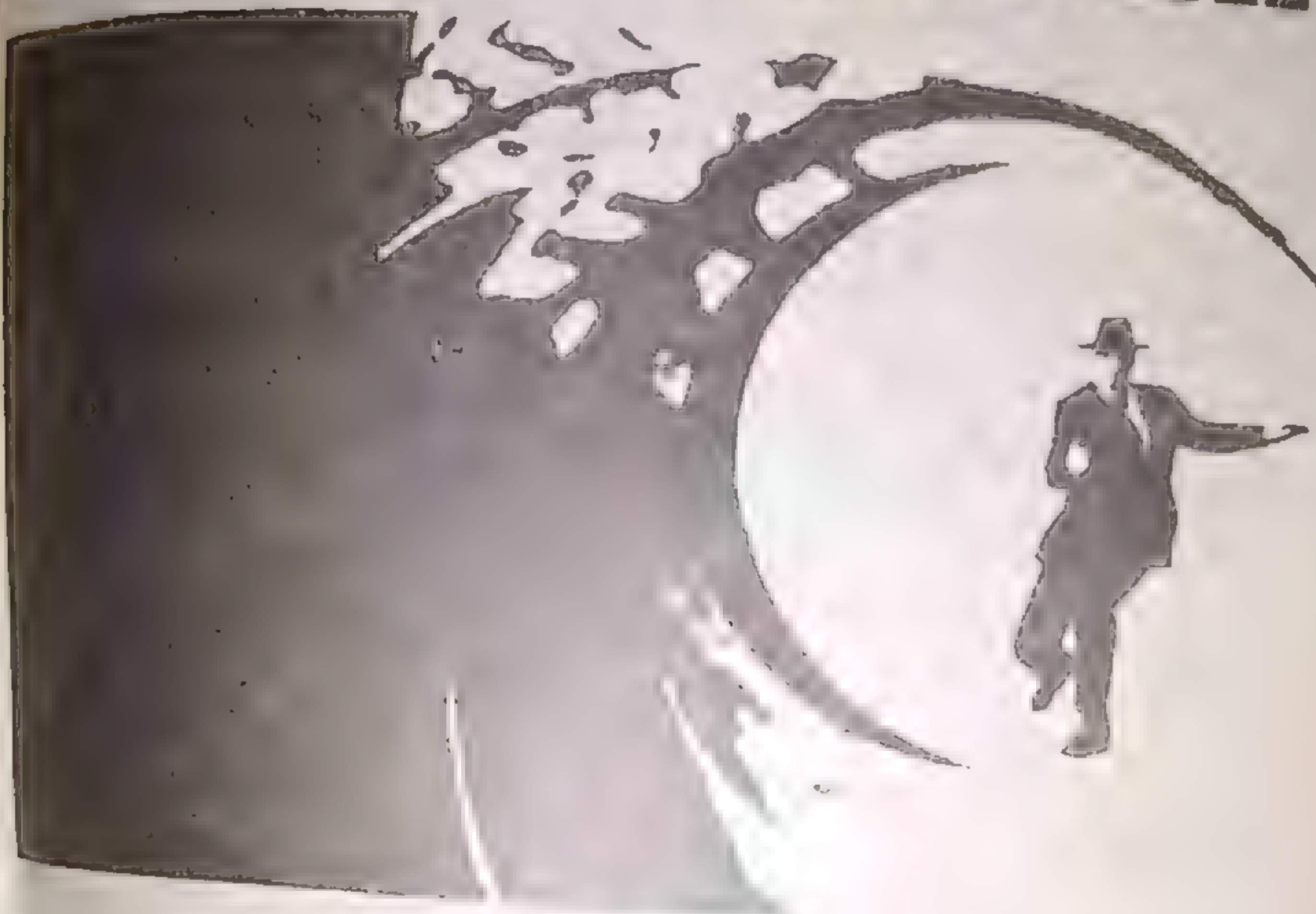
А Володя:

— Папа, ты уже догадался, для кого этот карандаш?

— Кажется, догадываюсь.

— Папа!— пылко сказал Володя.— Я Ване Смирнову полный пенал наточу карандашей. А когда он все испишет, пусть опять пришлет мне... Я ему всегда-всегда буду оттачивать карандаши!

ИЭН ФЛЕМИНГ



ДЖЕЙМС БОНД 007

СБОРНИК РАССКАЗОВ
Перевод с английского

РИГА «ВАГА» 1991

ЦЕНА ИЗУМРУДНОГО ШАРА

Был необычно жаркий для начала июня день. Джеймс Бонд отложил в сторону черный карандаш, которым обычно делал пометки в бумагах, приходящих в отдел 00, и скинул пиджак. Он не потрудился повесить его ни на спинку стула, ни тем более на вешалку, которую его секретарша Мэри Гуднайт недавно купила за свой счет (вот чертовка!) и повесила за зеленой дверью его кабинета, в приемной. Он просто бросил пиджак на пол. Незачем содержать его в безупречном виде, кому нужна эта идиотская опрятность! Никаких признаков настоящего дела, мир как будто вымер. Уже несколько недель ни одного стоящего сообщения, ни одного значительного события. Раз[illegible] новостей» пустовали, а ведь именно они придают интерес [illegible] хоть разнюхивали что-то про семейные скандалы), а совер[illegible] бюллетеню.

Бонд не выносил такие перио[illegible] затишья. С огромным трудом он заставил себя сосредоточиться на зуб[illegible]дробительном отчете научно-исследовательского отдела об использовании русскими цианида, заряжаемого в самый дешевый детский пистолет. Струя, направленная в лицо, оказывает мгновенное действие. Жертвам нападения старше двадцати пяти лет в отчете рекомендовалось удирать вверх по лестнице или, на худой конец, постараться уклониться. Тогда можно отделаться легким сердечным приступом.

Внезапно зазвонил красный телефон. Это было настолько неожиданно, что рука Бонда автоматически дернулась под мышку, за пистолетом. Осознав, что тревога ложная, он испытал сильное разочарование. На втором звонке он снял трубку.

— Сэр?

— Сэр...

Бонд встал со стула и поднял пиджак. Одеваясь, он старался собраться с мыслями. Перед этим он почти дремал за столом, и сейчас ему надо было прийти в себя. Проходя через приемную, Бонд с трудом подавил в себе желание взъерошить золотистые волосы на манящем затылке Мэри Гуднайт.

Он сказал ей: «М», — и выскочил в коридор. Миновав расположенный по соседству отдел коммуникаций, из-за дверей которого доносились

звонки телефонов и приглушенный свист, он вышел к лифту и поднялся на восьмой этаж.

Лицо мисс Манипенни ничего не выражало. Обычно, если она что-нибудь знала, это можно было прочесть по ее лицу: восторг, удивление, или, когда у Бонда были неприятности, ободрение, а порой и гнев. Сейчас приветливая улыбка не предвещала ничего интересного. Отметив это, Бонд решил, что предстоит нудная работа, смирился и вошел в кабинет, где уже не раз решалась его судьба.

В кабинете был посетитель. Он сидел слева от М. Незнакомец мельком взглянул на Бонда, когда тот вошел и сел напротив него на свое обычное место за столом, обитым красной кожей.

— Доктор Фэншоу, вы, полагаю, не знакомы с полковником Бондом из отдела исследований, — сказал М.

Бонд привык к подобным эвфемизмам. Для посторонних отдел 00 просто не существовал.

Он встал и протянул руку. Доктор Фэншоу тоже поднялся, коснулся руки Бонда и быстро сел. Вид у него был такой, словно он только что потрогал лапу крокодила. Судя по всему, это был эксперт — человек, которого интересуют только факты, теории, явления, но отнюдь не человеческие существа. Бонду очень хотелось, чтобы М побыстрее ввел его в курс дела, оставив на время дурацкую привычку сначала поводить сотрудника за нос, а затем неожиданно озадачить. Но тут Бонд вспомнил, как десять минут назад изнывал от скуки, и подумал, что М тоже человек, ему тоже невмоготу июньская жара и затянувшееся безделье. Если уж возникла проблема или хотя бы проблемка, он, чтобы развеять скуку, разыграет настоящий спектакль.

Посетитель был румяным упитанным мужчиной средних лет. Одет он был, пожалуй, несколько щеголевато, в неоэдвардианском стиле — темно-синий пиджак на четырех пуговицах с отвернутыми манжетами, жемчужная булавка в шелковом галстуке, белоснежный воротничок, запонки с античными монетами в манжетах рубашки, пенсне на толстом черном шнурке. «Из литературных кругов, — подумал Бонд, — наверное, критик, бакалавр, возможно, с гомосексуальными наклонностями».

Наконец М прервал многозначительное молчание.

— Доктор Фэншоу — известный специалист по антикварным ювелирным изделиям. Кроме того, — разумеется, строго между нами, — доктор — советник Королевской таможни и Скотленд-Ярда по этим вопросам. К нам его направили наши друзья из отдела МИ-5. Дело касается мисс Фройденштайн.

Брови Бонда поползли вверх. Мария Фройденштайн была секретным

агентом советской разведки в самом сердце секретной службы. Она числилась в отделе коммуникаций, но была наглухо изолирована от него в специально для нее созданном подразделении. Ее обязанности ограничивались работой с «пурпурным шифром», который тоже выдумали специально для нее. Шесть раз в день она кодировала и отправляла в Вашингтон, в штаб-квартиру, длиннющие сводки секретной информации. Эти сводки готовили для нее в поте лица сотрудники 100-го отдела, который занимается агентами, ведущими двойную игру. В мешанину легко проверяемых фактов, раскрытие которых не приносило вреда, время от времени вставляли крупицы важнейшей дезинформации.

Когда Мария Фройденштайн поступила на службу, было уже известно, что она — советский агент. Ей позволили получить доступ к «пурпурному шифру», и канал дезинформации начал работать. Русские перехватывали сообщения, успешно их расшифровывали и таким образом получали «сведения», выгодные секретной службе.

Это была совершенно секретная операция. Она проводилась с большой осторожностью, и благодаря этому все шло гладко вот уже три года. Если Мария Фройденштайн и набирала еще какое-то количество информации из беспечной болтовни в баре, что ж, это неизбежная в таких случаях плата. Слава Богу, она была недостаточно привлекательна, чтобы заводить любовные связи, вот это было бы действительно опасно.

М повернулся к доктору Фэншоу.

— Может быть, доктор, вы будете столь любезны и расскажете полковнику Бонду о чем идет речь?

— Конечно, конечно. — Фэншоу быстро взглянул на Бонда и снова уставился на свои ботинки. — Видите ли... э-э... полковник, без сомнений вы слышали о человеке по имени Фаберже? Это знаменитый русский ювелир.

— Да, до революции он делал великолепные пасхальные яйца для царской семьи.

— Вы правы, этим он тоже занимался. Но помимо пасхальных яиц он сделал множество других вещей, которые сейчас считаются шедеврами. На современных аукционах лучшие образцы продаются за бешеные деньги — 50 000 фунтов и более. Недавно в нашу страну прибыло одно из самых удивительных его изделий — так называемый «Изумрудный шар» — наивысшее достижение его искусства, о котором до сих пор было известно лишь из записей великого мастера. Это сокровище прибыло заказной бандеролью из Парижа и было адресовано женщине, которую вы хорошо знаете, — мисс Марии Фройденштайн.

— Очень милый подарочек. Могу я поинтересоваться, доктор, как вы узнали об этом?

— Как вам уже сообщил ваш шеф, я являюсь консультантом таможни и акциза Ее Величества по вопросам, касающимся антикварных драгоценностей и других произведений исскуства такого рода. Объявленная ценность посылки составляла сто тысяч фунтов. Это показалось нам необычным. Есть способы незаметного вскрытия таких посылок. Упаковку вскрыли — конечно же, с разрешения министерства внутренних дел, — и я был приглашен, чтобы осмотреть содержимое и оценить его. Я сразу узнал «Изумрудный шар», описание которого и эскиз приводит Кеннет Сноумен в книге, посвященной работам Фаберже. Объявленная цена, может быть, даже несколько занижена. Но мне кажется, что особый интерес представляет вложенный в посылку документ, составленный на русском и французском языках и объясняющий происхождение этого бесценного предмета.

Фэншоу указал на фотографию, лежащую на столе перед М. На ней было изображено что-то вроде генеалогического древа.

— Я сделал копию. Если коротко, там написано, что шар был куплен дедушкой мисс Фройденштайн непосредственно у Фаберже в 1917 году. Не сомневаюсь, что его целью было вложить деньги во что-нибудь очень ценное и небольшое. После его смерти в 1918 году шар перешел к его брату, а затем, в 1950, — к матери мисс Фройденштайн. Как выяснилось, она покинула Россию ребенком и жила в белоэмигрантских кругах в Париже. Она никогда не была замужем, но имела незаконнорожденную дочь Марию. В прошлом году она скончалась, и кто-то из ее друзей, а быть может, судебный исполнитель, — бумага не подписана — направил драгоценность ее теперешнему законному владельцу, мисс Марии Фройденштайн. У меня не нашлось формальных оснований, чтобы обратиться к девушке за объяснениями, хотя вы можете себе представить, как я был заинтригован. Но вот в прошлом месяце стало известно, что на аукционе Сотбис эта вещь, описанная как «собственность дамы», будет продана. Аукцион состоится через неделю. По поручению Британского музея и... э-э... других заинтересованных сторон я предпринял некоторые осторожные шаги и встретился с этой дамой. Она совершенно спокойно повторила мне сомнительную историю, содержащуюся в документе. Тогда же я выяснил, что она работает в министерстве обороны, и это еще усилило мои подозрения. Мягко говоря, странно, что молодая сотрудница, занятая, по-видимому, секретной работой, вдруг получает из-за границы подарок стоимостью более ста тысяч фунтов. Я поговорил с одним из старших офицеров службы МИ-5, с которым сталкивался по делам таможни Ее Величества, и он, как и положено, направил меня в ваше... э-э... заведение. Вот, собственно, и все, полковник.

Фэншоу развел руками и бросил быстрый взгляд на Бонда.

— Благодарю вас, доктор, — после недолгой паузы произнес М. — Еще парочка вопросов, и я не буду вас больше задерживать. Скажите, вы исследовали эту вещицу, можете подтвердить ее подлинность?

Фэншоу оторвался от своих ботинок. Он поднял глаза и заговорил куда-то в левое плечо М.

— Ну, конечно. Кроме меня ее проверял мистер Сноумен из фирмы «Вартски» — крупнейших в мире знатоков и торговцев изделиями Фаберже. Нет никаких сомнений, что перед нами тот самый пропавший шедевр, единственным свидетельством о существовании которого был эскиз самого мастера.

— А что вы скажете о прилагаемом документе? Что о нем говорят эксперты?

— Его подлинность также не вызывает сомнений. Высочайшие образцы искусства Фаберже почти всегда передавались по родству. По словам мисс Фройденштайн, ее дед до революции был весьма состоятельным человеком, ему принадлежала фарфоровая фабрика. Практически все изделия Фаберже попали за границу. Только несколько вещей осталось в Кремле, в каталогах о них говорится просто как об «образцах дореволюционного ювелирного искусства». Советские власти всегда относились к ним как к безделушкам для капиталистов. Официально они презирают эти вещи так же, как презирают и свою великолепную коллекцию французских импрессионистов.

— Выходит, у Советов еще остается несколько работ этого самого Фаберже. Возможно ли, чтобы изумрудная штука, о которой идет речь, пролежала все эти годы в секретных хранилищах Кремля?

— Конечно. Запасники Кремля очень богаты. Никто не знает, что в них скрывается. Они только недавно выставили кое-что, но только то, что хотели выставить.

М затянулся трубкой. Сквозь дым его взгляд казался рассеянным и не слишком заинтересованным.

— Так что же, теоретически никто не мешает извлечь изумрудный шарик из кремлевских подвалов, снабдить его липовой историей для подтверждения права собственности и переправить за границу в виде платы друзьям России за некие особые услуги?

— Совершенно верно. Это простейший способ вознаградить кого-либо без риска переводить крупные суммы на его или ее банковский счет.

— Да, но при этом денежная величина вознаграждения зависит от продажной стоимости вещи, например, от аукционной цены?

— Разумеется.

— А как вы считаете, за какую цену сможет быть продана эта вещь у Сотбис?

— Это невозможно предугадать. Фирма «Вартски» наверняка будет предлагать очень высокую цену. Но они, естественно, никогда не скажут, действуют ли на свой страх и риск или по чьему-нибудь поручению. Многое будет зависеть от того, как на них нажмут те, кто играет на понижение. В любом случае, полагаю, цена будет не ниже ста тысяч фунтов.

— Гм, — лицо М помрачнело. — Дороговатый кусок изумруда.

Доктор Фэншоу был ошеломлен таким неприкрытым мещанством. Теперь он смотрел М прямо в лицо, пытаясь увещевать его.

— Дорогой мой, вы что же, рассматриваете шедевр Гойи, проданный у Сотбис за сто сорок тысяч фунтов стерлингов и попавший в Национальную галерею, только как дороговатый кусок холста с красками, как вы изволили выразиться?

— Простите меня, доктор Фэншоу. — В голосе М зазвучали нотки примирения. — Я выразился неудачно. У меня никогда не было времени на то, чтобы интересоваться произведениями искусства, а жалованья морского офицера не хватало на их приобретение. Просто я поражен ценами на аукционах в наши дни.

— Вы имеете право думать, как вам угодно, сэр, — обиженно буркнул искусствовед.

Бонд решил, что пора выручать М. Ему не терпелось выпроводить поскорее Фэншоу из кабинета и заняться профессиональными аспектами этого странного дела. Он встал и обратился к М:

— Сэр, думаю, я узнал все, что нужно. Не сомневаюсь, скоро все дело разрешится самым простым образом («Как бы не так, разрешится оно!»), и одна из ваших сотрудниц станет очень счастливой женщиной. Но со стороны доктора Фэншоу было очень любезно ввести нас в курс дела.

Он повернулся к Фэншоу.

— Вы позволите, мы отвезем вас на своей машине?

— Нет, благодарю вас, большое спасибо. Я с удовольствием пройдусь по парку пешком.

Они обменялись рукопожатиями, пожелали друг другу всего наилучшего, и Бонд пошел проводить доктора. Когда через несколько минут он вернулся в кабинет, М уже достал из стола толстую папку, помеченную красной звездочкой, и полностью погрузился в нее. Бонд уселся на свое место и стал ждать. Ни один звук не проникал в кабинет, и тишину нарушало лишь шуршанье бумаги. Потом и оно прекратилось, когда М извлек из папки плотный голубой лист и стал внимательно изучать мелкий текст на обеих его сторонах. На таких бланках велись личные дела сотрудников службы, а красная звездочка означала гриф «совершенно секретно».

Наконец он вложил бумагу обратно в папку и поднял глаза на Бонда.

— Да, — сказал он, и во взгляде его был заметен интерес. — Все сходится. Девушка родилась в Париже в 1935 году. Во время войны ее мать была активной участницей Сопротивления. Помогала в организации Маршрута спасения и позже, используя его, бежала. После войны девочка училась с Сорбонне, потом получила работу в нашем посольстве, в отделе морского атташе, в качестве переводчика. Остальное вам известно. Она была скомпрометирована — какая-то грязная любовная история — одним из друзей матери, который к этому времени уже работал на НКВД. После этого она работала уже под их контролем. Она подала прошение, следуя, понятно, инструкциям, о предоставлении ей британского гражданства. Учитывая отличные характеристики, выданные в посольстве, и участие ее матери в Сопротивлении, гражданство ей предоставили. Это произошло в 1959 году. Потом министерство иностранных дел рекомендовало ее нам. Но в этот момент Мария совершила крупную ошибку. Перед поступлением к нам она попросила предоставить ей отпуск на один год, и тут же от агентуры Хатчинсона мы узнали, что она проходит курс обучения в Ленинградской разведшколе. По-видимому, она проходила обычный тренинг, а мы тем временем решили, что с ней делать дальше. В отделе 100 разработали операцию «Пурпурный шифр», остальное вы знаете. Три года она работала на КГБ в нашей штаб-квартире и теперь получила вознаграждение — эту изумрудную штуковину за сто тысяч. И это очень важно по двум причинам. Во-первых, теперь мы можем быть уверены, что противник полностью попался на операцию «Пурпурный шифр», раз они платят такие бешеные деньги. Признаться, приятное известие. В свою очередь это означает, что мы можем подогреть для них это блюдо и перейти к дезинформации третьей, а может быть, даже второй ступени.

Во-вторых, прояснилось кое-что, чего мы до сих пор не понимали, а именно: почему эта девушка никогда ничего не получала за свои услуги. Она имеет счета у Глина и Миллса, но на них поступает лишь ежемесячная зарплата в размере пятидесяти фунтов. Она и живет соответственно. А теперь она получает жалованье — огромную сумму денег в виде небольшой безделушки. Так что все складывается вполне удовлетворительно.

М потянулся к пепельнице, сделанной из двенадцатидюймовой гильзы, выбил и продул свою трубку с видом человека, довольного проделанной работой.

Бонд заерзал на стуле. Смертельно хотелось затянуться сигаретой, но об этом нельзя было и мечтать. Хоть бы одну затяжку, чтобы собраться с мыслями. Он чувствовал, что здесь есть какие-то неувязки, по крайней мере одна.

— Фиксировали ли мы когда-нибудь ее контакты со связным, сэр? Как она получает инструкции?

— Она в них не нуждается, — сказал М нетерпливо, возясь с трубкой. — Получив шифр, она может работать без всяких инструкций. Черт с ним, со связным, и так вся служба занята ею шесть раз в день. Что еще они должны передавать ей? Я сомневаюсь, что люди КГБ в Лондоне вообще знают о ее существовании. Разве что резидент, но мы даже не знаем, кто он. Нужно время, чтобы выявить его.

Внезапно Бонда осенило. В голове как будто сработал кинопроектор, прокручивая кадры из фильма. Он сказал уверенно:

— Очень возможно, что аукцион у Сотбис поможет нам найти его.

— О чем вы, черт возьми, говорите, 007? Объяснитесь, пожалуйста.

— Пожалуйста, сэр. — Голос Бонда был спокоен и тверд. — Вы помните, что говорил доктор Фэншоу о людях, которые стоят за спиной «Вартски» и поднимают цену? Если русские действительно плохо разбираются в Фаберже, они, скорее всего, не знают и реальной стоимости этой вещи. КГБ, похоже, вообще не разбирается в этих делах. Они думают, что стоимость шарика определяется лишь ценой изумруда, допустим, десять или двенадцать тысяч фунтов. Эта сумма больше подходит для такого случая, чем та, которую назвал доктор Фэншоу. Если резидент — единственный, кто знает о девушке, то он — единственный, кто знает, сколько ей должны заплатить. Иными словами, он и будет поднимать цену. Он придет к Сотбис, я уверен в этом. Мы опознаем его, и у нас будет достаточно оснований выслать его домой. Он даже не будет знать, на чем погорел. И КГБ не будет знать. Если я пойду на аукцион и заставлю его выдать себя, а в зале будут установлены камеры и мы все запишем, то можно в течение недели добиться, чтобы министерство иностранных дел объявило его «персона нон грата». А резиденты на дороге не валяются. Может пройти несколько месяцев, прежде чем КГБ найдет ему замену.

— Не исключено, что в ваших словах что-то есть, — протянул М задумчиво. Он повернулся на стуле и долго смотрел в окно на изрезанный лондонский горизонт. Потом сказал через плечо:

— Хорошо, 007. Отправляйтесь к начальнику штаба и запускайте всю машину. А я утрясу все с пятым. Это их территория, но птичка-то наша. Там никаких сложностей быть не должно. Но смотрите, сами не увлекайтесь, у меня нет лишних денег.

— Не беспокойтесь, сэр, — Бонд поднялся и быстро вышел из комнаты. Пожалуй, он здорово все придумал, и теперь ему было интересно, что же выйдет из этой затеи. Очень не хотелось бы разочаровывать М.

Контора «Вартски» размещалась в скромном современном здании на Риджент-стрит, 138. Глядя на неброскую витрину с украшениями, трудно было предположить, что она принадлежит крупнейшим в мире торговцам изделиями Фаберже. Интерьер тоже был достаточно прост — серый ковер,

панели из явора на стенах, несколько непритязательных витрин — и никакой роскоши, ничего ультрамодного. Зато несколько грамот от королевы, королевы-матери, короля Греции Павла и короля Дании Фредерика IX подтверждали, что это не заурядная ювелирная лавка.

Бонд попросил представить его мистеру Кеннету Сноумену. К нему вышел симпатичный, хорошо одетый мужчина лет сорока. Бонд начал официально.

— Я из криминальной полиции. Не смогли бы вы уделить мне немного времени? Вот мое удостоверение. Меня зовут Джеймс Бонд. Но при необходимости вы можете связываться непосредственно с сэром Рональдом Вэллансом или его секретарем. Я здесь не совсем по линии Скотленд-Ярда, но по связанным с ним делам.

Умные, внимательные глаза, казалось, даже не смотрели на Бонда. Сноумен улыбнулся.

— Давайте спустимся вниз. Здесь сейчас начнутся переговоры с нашими американскими партнерами из «Старой России» на Пятой авеню.

— Знакомое место, — отозвался Бонд. — Там полно великолепных икон и тому подобных вещей. Это недалеко от «Пьера».

— Совершенно верно. — Мистер Сноумен был само спокойствие.

По узкой, покрытой толстым ковром лестнице он провел Бонда вниз, в большую комнату, уставленную светящимися витринами, в которых находились подлинные сокровища фирмы. Золото, бриллианты, другие драгоценные камни мерцали за стеклами вдоль стен комнаты.

— Присаживайтесь, пожалуйста. Сигарету?

Бонд закурил свою.

— Я хотел поговорить об изделии Фаберже, которое завтра будет на аукционе у Сотбис, об «Изумрудном шаре».

— А-а, да-да. — Взгляд Сноумена стал тревожным. — Я надеюсь, с ним ничего не случилось?

— Нет, по вашей части с ним все в порядке. А вот мы очень заинтересовались предстоящей продажей. Нам стало кое-что известно о владелице сокровища — мисс Фройденштайн. Мы думаем, что возможны попытки искусственно поднять цену. Нас интересует человек, который попытается это сделать, блефуя, разумеется, ведь известно, что именно ваша фирма собирается играть первую скрипку в этом оркестре.

— М-м, да-а, — сказал Сноумен задумчиво. — Мы, конечно, рассчитываем остаться последними... Но вещь будет продаваться за огромные деньги. Между нами говоря, мы догадываемся, что «В и А» собираются потягаться, может быть, еще «Метрополитен». Не их ли хотите в чем-то уличить? Если да, то можете не беспокоиться — жульничество не в их правилах.

— Нет, речь идет не о жульничестве. — Бонд пытался понять, как далеко можно зайти с этим человеком, насколько можно ему довериться. Люди, бережно относящиеся к собственным секретам, не всегда так же щепетильны по отношению к чужим. Бонд взял со стола пластинку из дерева и слоновой кости. На ней было написано:

Дурно, дурно, говорит покупатель,
А когда отойдет, хвалится.

Книга Притчей Соломоновых, XX, 14

Бонд с удовольствием прочел изречение.

— За этими словами — вся история рынка, продавца и покупателя, — сказал он и посмотрел Сноумену прямо в глаза. — Нам нужны ваше чутье и интуиция. Согласны ли вы помочь нам?

— Конечно. Если вы объясните, чем я могу помочь. — Сноумен сделал успокаивающее движение рукой. — Если вас беспокоит, что эти сведения секретны, то не волнуйтесь, ювелиры привыкли к тайнам. Думаю, Скотленд-Ярд мог бы выдать нашей фирме письменное свидетельство об этом. Одному Богу известно, сколько тайн прошло через нас за последние несколько лет.

— А если я сообщу вам, что я из министерства обороны?

— Это все равно, — ответил Сноумен, — вы можете полностью положиться на меня!

У Бонда сложилось благоприятное мнение об этом человеке. Он перешел к делу.

— Ну и отлично. Все, что я расскажу вам, является государственной тайной. Мы предполагаем, что человек, который будет играть на повышение, — советский агент. Моя задача опознать его. Боюсь, что больше ничего не могу вам сказать. Впрочем, больше вам знать и не нужно. Все, чего я хочу, — пойти завтра вечером на аукцион и с вашей помощью узнать, кто из присутствующих — тот, кто нас интересует. Медалей обещать не могу, но будем весьма признательны.

— Конечно, конечно! — Глаза мистера Кеннета Сноумена горели энтузиазмом. — Я буду счастлив помочь вам, чем смогу. Но, — на лице его отразилось сомнение, — возможно, это будет не так просто. Проводить аукцион будет Петер Уилсон, глава фирмы «Сотбис». Он единственный, кто мог бы сказать что-нибудь наверняка, если покупатель захочет остаться неизвестным. Существуют десятки способов предложить цену, не делая ни малейшего движения. Перед торгами покупатель сообщает свой способ, код, так сказать, Петеру Уилсону. Однако Петеру и в голову не придет раскрыть его кому бы то ни было, потому что это выведет покупателя из игры, станет известен его «потолок». Так что это — тайна за семью печатями. Но только не в том случае, если вы пойдете со мной. По всей

видимости, я буду задавать ход гонки. Я уже знаю, как далеко могу зайти — между прочим, по поручению клиента, — но моя задача значительно упростилась бы, если бы я знал, сколько готов заплатить мой соперник. В этом смысле то, что вы мне сообщили, — большое подспорье. Я предупрежу своего клиента, чтобы он еще выше поднял планку. Если у этого вашего парня крепкие нервы, он может здорово поднять меня. Но, разумеется, на поле будут и другие участники игры. Похоже, вечерок будет жаркий. Готовится телетрансляция, приглашены миллионеры, герцоги и герцогини, так что все будет очень празднично. Фирма «Сотбис» здорово поднаторела в таких вещах. Слов нет, реклама великолепная. Ей-богу, если бы они узнали, что в зале присутствуют «рыцари плаща и кинжала», поднялся бы грандиозный шум! Ну, хорошо, что еще мы должны сделать? Или только опознать его?

— Да, только опознать. За сколько, как вы думаете, может уйти эта вещь?

Мистер Сноумен в задумчивости постучал по зубам золотым карандашиком.

— Видите ли, в этом вопросе я вынужден хранить молчание. Я знаю свой предел, но это тайна моего клиента. — Он замолчал, обдумывая ответ. — Ну, скажем так, если она уйдет меньше, чем за сто тысяч, мы будем крайне удивлены.

— Понятно, — сказал Бонд. — Ну а как я попаду на аукцион?

Мистер Сноумен достал элегантный бумажник из крокодиловой кожи и извлек оттуда два пригласительных билета. Один он протянул Бонду.

— Это билет для моей жены. Я достану для нее другой. В-5 — хорошее место в середине. У меня — В-6.

Бонд взял билет. Текст на нем гласил:

Сотбис и К°
Аукцион
Шкатулка великолепных ювелирных изделий
и
Уникальный образец искусства Карла Фаберже
Собственность дамы
Пропуск на одно лицо в Главный аукционный зал
Вторник, 20 июня, 21.30
Вход с Сент-Джордж-стрит

— Это не тот старый в георгианском стиле вход с Бонд-стрит, — прокомментировал Сноумен. — Там теперь одностороннее движение, и они сделали навес и постелили ковры у заднего выхода. А теперь, — он поднялся со стула, — не хотите ли взглянуть на кое-какие изделия Фаберже? У нас здесь есть несколько образцов, приобретенных моим отцом

в России в 1927 году. Это позволит вам получить хоть некоторое представление о той вещи, из-за которой весь этот шум. Хотя, конечно, «Изумрудный шар» несравненно лучше всего, что я могу вам показать, кроме, пожалуй, «Императорских пасхальных яиц».

Через некоторое время ослепленный сверканием бриллиантов, блеском золота разных оттенков, мягким сиянием полупрозрачных эмалей Джеймс Бонд вышел из пещеры Алладина под Риджент-стрит и направился в свой офис в невзрачном здании неподалеку от Уайт-холла. Остаток дня он провел за скучнейшей работой, стараясь предусмотреть все детали операции по опознанию и фотографированию в переполненном зале человека, у которого пока не было ни лица, ни имени, но про которого было известно, что он главный советский шпион в Лондоне.

С каждым часом следующего дня напряжение Бонда нарастало. Он нашел предлог, чтобы зайти в отдел коммуникаций и заглянуть в комнатку, где Мария Фройденштайн с двумя помощницами работала на шифровальном аппарате. Они готовили и отправляли шифрованные «пурпурным шифром» сообщения. Бонд взял в руки несколько листов — он имел право доступа почти ко всем материалам в штаб-квартире — и пробежал глазами аккуратно разделенный на параграфы документ. Через полчаса-час его — непрочитанным — подошьет к делу младший клерк ЦРУ в Вашингтоне. В то же самое время в Москве его с интересом возьмет в руки высокопоставленный офицер КГБ.

Бонд пошутил с двумя юными девицами, сидящими в комнате. Мисс Фройденштайн взглянула на него поверх аппарата и отделалась вежливой улыбкой. У Бонда по телу пробежали мурашки от такой близости к предательству, мраку и смертельной тайне, скрывающимся под легкой светлой блузкой. Она была непривлекательна, эта девушка с бледной, угреватой кожей и черными волосами, выглядевшая как бы неумытой. Такая девушка, скорее всего, нелюбима, у нее мало друзей, она живет в постоянной готовности дать отпор — наверное, из-за своей незаконнорожденности и обиды на все человечество. Может быть, единственной радостью в ее жизни была страшная тайна, которую она хранила в своей плоской груди — сознание того, что она умнее всех окружающих, что ей ежедневно удается побеждать весь этот мир, мир, который презирает или просто игнорирует ее за то, что она некрасива, не зная ее истинной силы. Когда-нибудь они горько пожалеют об этом! Ну что ж, для невротиков это типично — месть «гадкого утенка» обществу.

Бонд шел по коридору к своему кабинету. Сегодня вечером девчонка разбогатеет. Ей заплатят в тысячи раз больше, чем тридцать сребреников. Может быть, деньги изменят ее характер, принесут ей счастье. Она сможет позволить себе посещать лучшие косметические кабинеты, покупать

лучшую одежду, снимет отличную квартиру. Правда, М сказал, что собирается усложнить операцию, перейти на более опасный уровень дезинформации. Это очень рискованное дело. Один неверный шаг, неосторожная ложь в сообщении, которое можно проверить, и противник почует неладное. Еще одна ошибка после этого, и они поймут, что обмануты, что их водили за нос все три года. Такое постыдное открытие повлечет за собой быструю месть. Они сочтут, что Мария Фройденштайн вела двойную игру, работая как на русских, так и на англичан. Ее неизбежно и быстро уберут, не исключено, что при помощи того самого пистолета с цианидом, о котором Бонд читал накануне.

Глядя из окна на деревья Риджент-парка, Бонд пожал плечами. Слава Богу, это уже не его дело. Судьба девушки не в его власти. Она втянута в грязную машину шпионажа, и счастье, если она успеет использовать хоть десятую часть того, что через несколько часов принесет ей аукцион.

Вся Джордж-стрит за зданием Сотбис была забита личными автомобилями и такси. Бонд рассчитался с таксистом и присоединился к толпе, медленно проходящей под навесом и вверх по ступенькам. Один из одетых в униформу швейцаров, проверив билет, вручил ему каталог аукциона. Затем Бонд вместе с возбужденной, разодетой толпой поднялся по лестнице, прошел по галерее и вошел в Главный аукционный зал, который был уже полон. Он нашел свое место рядом со Сноуменом, писавшим какие-то цифры в блокноте на коленях, и осмотрелся.

Высокий зал был размером, наверное, с теннисный корт. Он нес на себе отпечаток прошлого, и мягкий свет двух больших старинных люстр резко контрастировал с косыми лучами заходящего солнца, пробивающимися через застекленный сводчатый потолок. Картины и гобелены разных времен висели на оливково-зеленых стенах.

Множество теле- и кинооператоров сгрудились со своим оборудованием в центре зала на огромном помосте, покрытом ковром со сценами из охотничьей жизни. Там где-то и «оператор» из отдела МИ-5 с удостоверением «Пресса», выданным «Санди таймс». Не менее сотни дельцов ювелирного бизнеса и просто зрителей сидели на небольших позолоченных стульях. Все взгляды с напряженным вниманием были обращены на худощавого, прекрасно выглядевшего аукционера, стоявшего на деревянном возвышении в безупречной визитке с красной гвоздикой в петлице. Он вел аукцион ровным негромким голосом, без жестикуляции.

— Пятнадцать тысяч фунтов. Шестнадцать. — Пауза. Взгляд на кого-то в первом ряду. — Против вас, сэр. — Легкий взмах поднятым каталогом. — Семнадцать тысяч предлагается. Восемнадцать. Девятнадцать. Предлагают двадцать тысяч фунтов. — Негромкий голос звучал холодно и

неспешно, в то время как присутствующие в зале знаками сигнализировали о своей причастности к священнодействию.

— Что он продает? — спросил Бонд, открывая свой каталог.

— 40-й лот, — ответил Сноумен. — Бриллиантовую заколку, которую помощник держит на черном бархатном лотке. Думаю, она уйдет за двадцать пять тысяч. Итальянец соревнуется с четой французов. Если бы не это, они взяли бы ее за двадцать. Я дошел только до пятнадцати. Хотелось получить эту вещицу. Прекрасные камни. Однако, похоже, все закончилось.

Да, так оно и было. Цена остановилась на двадцати пяти тысячах, и молоток, движимый вроде бы не рукой аукционера, а собственной тяжестью, с негромким стуком возвестил об этом.

— Вещь ваша, сэр, — возвестил Петер Уилсон, и клерк-помощник поспешил по проходу, чтобы подтвердить права плательщика.

— Я разочарован, — сказал Бонд.

Сноумен оторвал взгляд от каталога:

— Почему?

— До сих пор я никогда не был на аукционе и всегда полагал, что аукционер должен три раза ударить молотком и трижды провозгласить: «Продано, продано, продано», — как будто для того, чтобы дать участникам последний шанс.

Сноумен рассмеялся.

— Такую процедуру еще можно встретить где-нибудь в графствах или в Ирландии, но в аукционных залах Лондона я не видел этого с тех пор, как посещаю их.

— Жаль. Это добавляло драматизма.

— Через несколько минут драматизма будет с лихвой. А перед этим представлением будет еще один лот.

Один из помощников с благоговейным видом вынес на черном бархатном лотке блестящую массу рубинов и бриллиантов. Бонд взглянул в каталог, где под заголовком «Лот 41» было написано:

ПАРА КРАСИВЕЙШИХ БРАСЛЕТОВ ТОНКОЙ РАБОТЫ С РУБИНАМИ И БРИЛЛИАНТАМИ. Передняя сторона каждого имеет форму эллипса и состоит из одного большого рубина и двух поменьше, обрамленных бриллиантами. Боковые и тыльная части выполнены из одиночных звеньев, оплетенных ажурной лентой с бриллиантами, которая выходит из золотого цветка с рубином в центре. Застежка в форме эллипса.

Согласно семейному преданию, этот лот был собственностью миссис Фитцхерберт (1756—1837), которая состояла в браке с принцем Уэльским (впоследствии король Георг IV), что окончательно установлено в 1905 году, когда был вскрыт с разрешения королевы запечатанный конверт,

хранившийся в Коуттс-банке с 1833 года, и в нем были обнаружены брачный контракт и другие убедительные документы.

Вероятно, эти браслеты были подарены миссис Фитцхерберт своей племяннице, про которую герцог Орлеанский сказал, что она — «прелестнейшая девушка Англии».

Пока ставки росли, Бонд соскользнул со своего места и пошел по проходу в конец зала, откуда непоместившиеся зрители расходились по новой галерее и вестибюлю, чтобы следить за ходом аукциона по внутреннему телевидению. Он прочесывал взглядом толпу, выискивая знакомое лицо кого-нибудь из двухсот служащих советского посольства, чьи фотографии, полученные скрытой камерой, он внимательно изучал несколько последних дней. Но среди публики, в которой легко различались деловые люди, коллекционеры-любители и те, кого можно назвать богатыми искателями развлечений, не было ни одного знакомого лица, за исключением тех, чьи фотографии встречались в разделах светской хроники. Одно или два желтоватых лица могли быть русскими, но с такой же вероятностью они могли принадлежать полудюжине европейских народов. Было и несколько человек в темных очках, но это ничего не значит, ведь темные очки давно не являются средством маскировки. Бонд вернулся на свое место. Оставалось надеяться, что человек, ради которого он пришел сюда, проявит себя, когда начнутся торги.

— Предлагают четырнадцать тысяч. Пятнадцать. Пятнадцать тысяч. — Молоток опустился. — Вещь ваша, сэр.

По залу прокатился шум возбуждения, зашелестели каталоги. Сноумен вытер лоб белым шелковым платком и повернулся к Бонду.

— Теперь многое зависит от вас. Я буду участвовать в торгах, а у нас существует неписаное правило, что оглядываться на соперника — дурной тон. Я смогу увидеть этого человека, только если он сидит впереди меня, но не похоже, что это так, здесь почти все — торговцы. Вы можете смотреть по сторонам сколько угодно. Нужно перехватить взгляд Петера Уилсона, постараться понять, на кого он смотрит или кто смотрит на него. Если вы найдете такого человека, а это, думаю, будет непросто, замечайте каждое его движение, даже самое незначительное. Все, что он будет делать — почесывать голову, пощипывать мочку уха — все это может быть условным знаком, о котором он договорился с Петером Уилсоном. Боюсь, это вряд ли будет что-нибудь очевидное, вроде взмахов каталогом. Вы согласны со мной? И не забывайте, что он может вообще не делать никаких движений до самого конца, пока не сочтет, что поднял меня достаточно высоко, а затем откажется от борьбы. Запомните, — Сноумен улыбнулся, — когда мы выйдем на финишную прямую, я постараюсь настолько разогреть его, чтобы он как-нибудь проявил себя. Скорее всего,

к этому моменту нас останется только двое. — Он выглядел несколько загадочным. — Вы должны молиться, чтобы это было так.

По уверенному тону Сноумена Бонд понял, что ему поручено купить «Изумрудный шар» за любые деньги.

В зале стало неожиданно тихо, когда на сцену торжественно вынесли и установили перед трибуной аукционера высокий постамент, покрытый черным бархатом. Затем на него водрузили роскошный овальный футляр из материала, похожего на белый бархат. Старший помощник в униформе серого цвета с темно-красной отделкой с благоговением вынул оттуда лот 42, положил его на черный бархат и убрал футляр. Полированный изумруд величиной с крокетный мяч сиял неестественно чистым зеленым огнем со своей подставки тончайшей работы. На его поверхности и на опаловых меридианах разноцветными огнями поблескивали драгоценные камни. Зал ахнул от восхищения. Даже помощники и эксперты, сидящие рядом с аукционером, привычные к драгоценностям королевских фамилий Европы, подались вперед, завороженные красотой ювелирного чуда.

Джеймс Бонд посмотрел в каталог. Там жирным шрифтом и в приторно-сладком тоне сообщалось следующее:

«Зеленый шар».
Изготовлен в 1917 году Карлом Фаберже
для русского господина,
теперь является собственностью его внучки.
Лот 42. Одно из самых значительных изделий
Фаберже — «Зеленый шар».

Сфера, высеченная из необычайно большого куска сибирского изумруда, весом около тысячи трехсот каратов, великолепного цвета и прозрачности, изображает земной шар в извитой, тонкой работы золотой оправе. Подставка, щедро украшенная бриллиантами розовидной грани и небольшими яркими изумрудами, представляет собой настольные часы.

Вокруг оправы шесть золотых амуров резвятся среди облаков, которые очень натуралистично выполнены из матового горного хрусталя с тонкими прожилками из крошечных бриллиантов.

Сам шар, на поверхности которого со скрупулезной точностью воспроизведена карта мира, причем главные города отмечены крупными бриллиантами в золотых гнездах, вращается на оси, управляемой часовым механизмом работы Г. Мозера. Механизм скрыт в основании, поверх которого идет золотой пояс, украшенный опаловыми устрицами на фоне перламутрового узора. На циферблате часов бледной сепией нанесены римские цифры. Время указывает цвета голубиной крови бирманский рубин треугольной формы весом около пяти каратов.

Высота — 7,5 дюймов. Мастер — Хенрих Вигстрем. В оригинальном

футляре из белого бархата овальной формы. Замок, расположенный в основании футляра, запирается золотым ключом.

Тема этого великолепного произведения та же, что пятнадцатью годами раньше вдохновила Фаберже на создание миниатюрного глобуса, который является частью королевской коллекции в Садринхэме (см.: Кеннет А. Сноумен «Искусство Карла Фаберже», иллюстрация 280.)

Внимательно осмотрев зал, Уилсон негромко стукнул молотком.

— Лот сорок два. Образец искусства Карла Фаберже. — Пауза, и сразу же: — Сто тысяч фунтов.

В зале раздались аплодисменты. Камеры развернулись на одного из молодых людей, сидевших на возвышении слева от аукционера. Он вел переговоры по телефону. Сноумен прокомментировал:

— Это один из молодых сотрудников Сотбис. Он на прямой линии с Америкой. Думаю, предложение сделал «Метрополитен», хотя, конечно, это может быть и еще кто-нибудь. Пора и мне браться за дело. — Сноумен взмахнул свернутым каталогом.

— Еще десять, — сказал аукционер. Человек у телефона кивнул. — Двадцать.

Снова взмах Сноумена.

— Тридцать.

На этот раз человек у телефона разговаривал дольше, чем раньше. Возможно, пытался предсказать, как высоко может подняться цена. Потом он слегка покачал головой, и взгляд Петера Уилсона обратился в зал.

— Предлагают сто тридцать тысяч фунтов, — повторил он негромко.

Наклонясь к Бонду, Сноумен прошептал:

— Теперь вы должны смотреть в оба. Похоже, Америка сошла с дистанции. Самое время ему начать поднимать меня.

Бонд покинул свое место, прошел по проходу и встал в группе репортеров в углу, слева от трибуны. Теперь Уилсон всматривался в правый дальний угол зала. Бонд не уловил там никакого движения, а аукционер уже возвестил: «Сорок тысяч фунтов», — и смотрел на Сноумена. После долгой паузы тот поднял пять пальцев. Бонд понял, что Сноумен пытается раскрыть противника, явно демонстрируя нежелание бороться, как бы намекая, что уже близок предел его возможностей.

— Сто сорок пять тысяч. — Снова пронизывающий взгляд устремлен в конец зала. Снова никакого движения. Однако, как и раньше, какой-то обмен сигналами произошел. — Сто пятьдесят тысяч фунтов.

В зале послышался шепот комментаторов и отдельные хлопки. В этот раз ответ Сноумена последовал с еще большей задержкой. Аукционер уже дважды повторил последнее предложение, наконец, он взглянул

прямо на Сноумена: «Против вас, сэр». И только тогда Сноумен поднял пять пальцев.

— Сто пятьдесят пять тысяч фунтов.

Лоб Бонда покрылся потом. Торг, очевидно, подходит к концу, а он ровным счетом ничего не выяснил. Аукционер повторил предложение.

На этот раз в конце зала было чуть заметное движение. Коренастый человек поднял руку и мгновенным движением снял темные очки. У него была абсолютно серая внешность, без всяких примет. Такое лицо может быть у банковского клерка, агента страховой компании или врача. По-видимому, это и был заранее обусловленный с аукционером знак. Пока темные очки были надеты, он прибавлял по десять тысяч. То, что он их снял, означало прекращение борьбы.

Бонд бросил взгляд на операторов. Фотограф из отдела МИ-5 был начеку. Он заметил движение и медленно навел аппарат. Когда сработала вспышка, Бонд отправился на свое место и, усевшись, прошептал Сноумену:

— Мы засекли его. Свяжемся завтра. Большое спасибо.

Сноумен только кивнул. Он не сводил глаз с аукционера.

Бонд встал и пошел вдоль прохода. Аукционер за его спиной произнес в третий раз: «Предлагается сто пятьдесят пять тысяч фунтов», — затем с негромким стуком упал молоток, и — «Ваше, сэр».

Бонд пробрался в конец зала еще до того, как все поднялись и начали аплодировать стоя. Его добыча пробиралась среди позолоченных стульев, снова надев темные очки. Бонд тоже надел очки и, смешавшись с беззаботно болтающей толпой, стал спускаться по лестнице за спиной этого человека. Пепельные волосы почти полностью закрывали его коротковатую шею, мочки ушей были плотно прижаты. Он был слегка сутул, а может быть, нарочно горбился, чтобы изменить внешность. И тут Бонд вспомнил его! Это был Петр Малиновский. Он занимал в посольстве должность атташе по вопросам сельского хозяйства. Вот так!

На улице этот человек пошел быстрым шагом по направлению к Кондуит-стрит. Бонд не спеша сел в подъехавшее такси и сказал водителю:

— Это он. Спокойнее, спокойнее.

— Есть, сэр, — ответил «таксист» из отдела МИ-5, отъезжая от тротуара.

Человек сел в такси на Бонд-стрит. В оживленном вечернем движении сесть ему на хвост не составляло труда. По мере продвижения по городу уверенность Бонда в правильности своей догадки росла. Он с удовлетворением отметил, что такси повернуло к северу от Парка и направилось вдоль Бейсуотера. Оставался один вопрос, повернет ли оно через частный вход в Кенсингтон Пэлэс Гарденс, где первый особняк по левой

стороне — здание советского посольства. Если да — дело сделано. Двум полисменам, охраняющим вход в посольство, даны соответствующие инструкции. Они должны установить, вошел ли в советское посольство пассажир первого такси.

В этом случае свидетельства сотрудников секретной службы Бонда и оператора из МИ-5 будет вполне достаточно для министерства иностранных дел, чтобы объявить товарища Петра Малиновского «персона нон грата» по причине его шпионской деятельности и послать его укладывать чемоданы. В жестокой шахматной партии, которую играет секретная служба, русские потеряют ферзя. Посещение аукциона не пройдет даром, на нем стала известна истинная цена «Изумрудного шара».

Первое такси повернуло к большим железным воротам. Бонд мрачно усмехнулся и удовлетворенно откинулся на спинку сидения.

— Спасибо, приятель. В штаб-квартиру, пожалуйста.

ГРЯЗНАЯ РАБОТА

Джеймс Бонд занял позицию на пятисотярдном огневом рубеже известного стрельбища «Сенчури рейндж» в Бисли. В траве рядом с ним был вбит белый столбик с отметкой «4.4». Те же цифры повторялись на насыпи далеко впереди, над одиночной мишенью. На таком расстоянии в поздних летних сумерках шестифутовый квадрат выглядел размером с почтовую марку. Но инфакрасный оптический прицел, установленный на винтовке Бонда, позволял ему отчетливо видеть расстилавшуюся перед ним картину. Он различал даже бледно-голубой и бежевый цвета, в которые была окрашена мишень, а шестидюймовый полукруглый «бык» казался размером с половинку луны, уже встававшей в темном небе над отдаленной вершиной Чобхемского хребта.

Предыдущий выстрел Бонда был не очень удачным: пуля ушла влево. Он еще раз взглянул на желто-голубые ветровые флажки. Они вытянулись на запад, поперек стрельбища. За те полчаса, что прошли с начала стрельбы, ветер усилился. Бонд увеличил поправку на ветер. Он сдвинул корректор прицела на два щелчка вправо и снова поймал цель в перекрестье. Потом лег поудобнее, осторожно вставил указательный палец в скобу, положил его на гладкую поверхность спускового крючка, задержал дыхание и очень-очень мягко нажал.

Над пустынным стрельбищем прогремел выстрел. Мишень нырнула в траншею, и сразу же на ее месте появился макет. На сей раз черная полоска располагалась в правом нижнем, а не в левом нижнем углу: цель поражена.

— Хорошо. — Голос начальника стрельбища прозвучал откуда-то сзади и сверху от Бонда. — С этим закончили.

Мишень опять уже была над землей. Бонд прижался щекой к теплому дереву приклада и прильнул к резиновому окуляру прицела. Он развел ноги еще на дюйм, вытер правую руку о брюки и взялся за рукоятку, расположенную прямо под защитной скобой. Сейчас последует скорострельная серия из пяти выстрелов. Интересно, сколько он промажет... Бонд про себя решил: ни разу. Великолепное оружие, которое сумел раздобыть

для него оружейник, давало реальную возможность снять стоящего в полный рост человека с расстояния в одну милю.

Это была винтовка 308-го калибра для стрельбы по экспериментальным мишеням, сделанная у Винчестера специально для американских стрелков — участников чемпионатов мира. Изогнутый алюминиевый упор на задней части приклада вкладывался под мышку и позволял фиксировать винтовку плечом. Под центром тяжести располагалось устройство, позволяющее закрепить оружие на специальной опоре. Оружейник установил на винчестер пятизарядный магазин. Он уверял, что если делать перерыв между выстрелами около двух секунд, чтобы восстановить положение винтовки, то промахов не будет даже на расстоянии в пятьсот ярдов. Однако для такой работы, которая ожидает Бонда, пауза в две секунды может оказаться роковой, если он промахнется первым выстрелом. Правда, М обещал, что расстояние не превысит трехсот ярдов. Надо уменьшить интервал до одной секунды — почти непрерывный огонь.

— Готовы?

— Да.

— Даю отсчет. Внимание! Пять, четыре, три, два, один. Огонь!

Земля вздрогнула, воздух зазвенел, когда пять бешено вращающихся медно-никелевых вихрей пронзили темноту. Мишень поползла вниз и тут же вернулась, украшенная четырьмя белыми кружками, расположенными один подле другого на полукруге «быка». Пятого кружка, даже черного, что означало бы «молоко», не было.

— Последний выстрел пришелся ниже, — сказал начальник стрельбища, снимая очки ночного видения. — Спасибо за подарочек. Обычно в конце года мы просеиваем песок из этой насыпи. Меньше пятнадцати тонн свинца и меди не бывает. А это неплохие деньги.

Бонд поднялся на ноги. Капрал Менцис из оружейного отдела вышел из павильона и наклонился, чтобы снять винчестер с опоры. Он глянул на Бонда с легкой иронией: — Вы чуть поспешили, сэр. Последнюю пулю даже не нашли, она куда-то ускакала.

— Знаю, капрал. Хотел проверить, можно ли стрелять так быстро. Претензий к оружию нет, оно просто великолепно. Пожалуйста, так и передайте оружейнику. Ну а теперь мне, пожалуй, пора. Вы доберетесь в Лондон сами?

— Да, конечно. Доброй ночи, сэр.

Начальник стрельбища протянул Бонду листок с результатами стрельбы: сначала два пристрелочных выстрела, затем по десять зачетных, через каждую сотню ярдов до пятисот.

— Отличные результаты для такой видимости. Вы просто обязаны приехать сюда на будущий год и принять участие в соревнованиях на Приз

Королевы. Теперь это общебританские соревнования, они открыты для всех любителей.

— Спасибо. Беда в том, что я не так уж много времени провожу в Англии. — Бонд взглянул на башню вдали. Там начали опускать красный предупредительный флаг и сигнальный диск, что означало окончание стрельбы. Стрелки башенных часов показывали четверть десятого.

— Благодарю вас за помощь. Жаль, не удастся пропустить с вами по стаканчику — у меня в Лондоне назначена встреча. Отложим до Приза Королевы, о котором вы говорили. Идет?

Начальник стрельбища молча кивнул. Ему хотелось побольше узнать о человеке, который появился здесь совершенно неожиданно после шквала звонков из министерства обороны, выбил свыше девяноста процентов очков на всех дистанциях, и это после того, как стрельбище было закрыто на ночь и видимость стала никудышной. С чего бы это ему, только-только назначенному на эту должность, было приказано при этом присутствовать? И с какой стати он должен был выставить для Бонда на пятистах ярдах шестидюймового «быка» вместо обычного пятнадцатидюймового? К чему вся эта суматоха с сигнальными флажками и диском, которыми пользуются только при официальных церемониях? Чтобы произвести впечатление на этого человека? Придать оттенок важности его упражнениям в стрельбе? Бонд. Старший офицер Джеймс Бонд. В Национальной Ассоциации стрельбы наверняка есть сведения обо всех, кто способен так стрелять. Не забыть бы позвонить им. Отличное время для деловой встречи в Лондоне выбрал этот Бонд. Не иначе как девушка. На неприметном лице начальника стрельбища появилось раздраженное выражение. Ясное дело, молодчикам такого сорта позволительно выбирать себе подружек, которые им нравятся.

Они прошли сквозь ряд помещений в конце стрельбища и через роскошный вестибюль вышли к машине Бонда. Она стояла как раз против копии известной картины Лэндсира «Бегущий олень», выбитой пулями на железе.

— Славная игрушка, — сказал начальник стрельбища. — Никогда не видел «континенталь» с таким кузовом, видно, делали по особому заказу?

— Да. Это спортивная модель, двухместная. Но у нее багажник слишком мал. Пришлось заказать у Муллинера настоящую двухместную машину с большим багажником. Ладно, всего хорошего и еще раз спасибо.

Резко взревел двигатель, из-под задних колес брызнул гравий. Начальник стрельбища проводил глазами красные огни, изчезнувшие на Кингс-авеню в направлении Лондона, затем повернулся на каблуках и отправился искать капрала Менциса в надежде хоть что-нибудь разузнать у него. Дохлое дело. Капрал был столь же молчалив, как громоз-

зкий ящик из красного дерева, который он старательно запихивал в «лендровер» цвета хаки без армейских опознавательных знаков. А вскоре и «лендровер» загрохотал по дороге вслед за Бондом.

Начальник стрельбища, который был в звании майора, уже давно и безуспешно добивался повышения. В отвратительном настроении он направился в библиотеку Национальной Ассоциации стрельбы в надежде обнаружить там то, что его так заинтересовало под указателем «Дж. Бонд».

Джеймс Бонд ехал не на свидание с девушкой. Его ждала другая встреча: он должен был успеть на рейс Британской Европейской авиакомпании в Ганновер и Берлин. Пока он покрывал милю за милей в направлении Лондонского аэропорта, расталкивая другие машины так, словно боялся, что не успеет пропустить несколько порций перед отлетом, мысли его были далеко от дороги. Уже в который раз он обдумывал события, заставившие его сейчас спешить на свидание с самолетом. Но и это только промежуточная встреча. Главное рандеву состоится в одну из ближайших трех ночей в Берлине с человеком, которого ему предстояло увидеть и убить.

Бонд почувствовал неладное еще днем, когда, войдя в кабинет М, не услышал обычных приветствий. Шеф сидел боком к нему у противоположного конца длинного стола. В своем жестком, отогнутом вниз воротничке М походил на священника, углубившегося в мрачные размышления. Поникшие уголки губ свидетельствовали о крайней степени озабоченности. Наконец он повернулся на стуле лицом к Бонду и бросил на него оценивающий взгляд. «Словно для того, — подумал Бонд, — чтобы проверить, правильно ли у него завязан галстук, в порядке ли прическа». Он начал говорить быстро, жестко, обрывая концы фраз, будто хотел, как можно скорее освободиться и от всего сказанного и от Бонда.

— Речь идет о номере 272. Надежный человек. Вы с ним не встречались. С какой целью он был заслан на Новую Землю после войны, вам понятно. Сейчас он пытается выбраться оттуда, набитый информацией. Сведения о ракетах, ядерных вооружениях. Они планируют серию новых ядерных испытаний на 1961 год. Хотят продемонстрировать Западу силу и повлиять на Берлин. Пока сведения расплывчаты, но в Форин офис говорят, что если они подтвердятся, то это катастрофа. Теряет всякий смысл Женевская конференция, вся эта болтовня о ядерном разоружении коммунистического блока не стоит и выеденного яйца.

272-й уже добрался до Берлина. Но у него на хвосте висит практически весь КГБ и, разумеется, службы безопасности Восточной Германии. Он скрывается где-то в городе. За все время ему удалось передать нам одно

письмо: он намеревается перейти границу от шести до семи часов вечера в один из трех ближайших дней. Он указал и место перехода. Беда в том, — лицо М еще более омрачилось, — что курьер, которым он пользовался, вел двойную игру. Служба вчера раскрыла его. Совершенно случайно. Очень повезло с одним из шифров КГБ. Курьера, разумеется, будут судить, но делу это не поможет. Им известно, что 272-й будет переходить границу. Они знают, когда. Знают, где. Собственно, они знают ровно столько же, сколько и мы. Шифр, который мы раскрыли, — однодневный, но весь радиообмен за этот день у нас в кармане. Они собираются убить его при переходе границы. При пересечении улицы, по которой проходит граница, в точке, указанной им в записке. Предусмотрена целая операция под названием «Экстаз». Они привлекли к работе своего лучшего снайпера по кличке «Курок». Больше мы ничего о нем не знаем. Наши люди в Западном Берлине полагают, что это тот же человек, который и раньше работал в таких условиях. Я имею в виду стрельбу с дальних дистанций через границу. «Курок» будет стеречь этот район каждый вечер. Его задача — пристрелить 272-го. Вообще-то говоря, они предпочли бы решить эту проблему проще — при помощи пулеметов или чего-нибудь в этом духе. Но в Берлине сейчас тихо, и, очевидно, дана команда не поднимать шумихи.

— Так или иначе, — М повел плечами, — все уверены, что «Курком» должен заняться абсолютно надежный человек, следовательно, так оно и должно быть.

— Куда я должен прибыть, сэр?

Задавая этот вопрос, Бонд догадывался об ответе. Догадывался он и о том, почему М не нравилась вся эта затея. Похоже, предстоит грязная работа. Бонда выбрали для ее выполнения, поскольку он из отдела 00. Но Бонд хотел, чтобы М назвал все своими именами. Судя по всему, это будет неприятный приказ, просто отвратительный. Он не желал услышать его от кого-нибудь из офицеров отдела или даже от начальника штаба. Предстоит убийство? Ну что ж, пусть М, черт возьми, так и скажет.

— Куда вы должны прибыть, 007? — М холодно взглянул на него через стол. — Вы знаете, куда должны прибыть. Вы должны убить этого снайпера. Вы должны убить его прежде, чем он убьет 272-го. Вам понятно?

Чистые голубые глаза М оставались холодными как лед. Но Бонд знал, что только огромным усилием воли ему удается сохранить видимое спокойствие. М ненавидел посылать своих людей на убийство. Но когда это было неизбежно, делал это в виде жесткого, холодного приказа. И Бонд знал, почему М хотел снять часть ответственности с плеч подчиненного. Поэтому Бонд решил помочь ему и не затягивать объяснения. Обстоятельства дела были ему ясны. Он встал.

— Все в порядке, сэр. Полагаю, начальник штаба даст мне необходимую информацию. С вашего разрешения я бы хотел пойти немного попрактиковаться. Промаха быть не должно.

— Он повернулся и пошел к двери. Вслед ему раздался негромкий голос М: — Извини, что поручаю это дело тебе. Гнусная работа. Но выполнена она должна быть чисто.

— Я сделаю все, что в моих силах, сэр.

Джеймс Бонд вышел и закрыл за собой дверь. Задание было ему не по душе, но он предпочитал выполнить его сам, а не поручать это другому.

Начальник штаба посочувствовал Бонду.

— Жаль, что это дело досталось тебе, Джеймс, — сказал он. — Но Тэнкери прямо сказал, что у него в западноберлинском филиале нет никого, кто бы справился с этим, а солдаты регулярной армии не обязаны выполнять такие задания. В Британской ассоциации стрелков полно снайперов, но живая мишень требует нервов покрепче. Короче, я позвонил в Бисли и заказал тренировку для тебя на сегодня, на восемь пятнадцать, когда стрельбище уже закроется. Видимость будет примерно такая же, как в Берлине часом раньше. Ор[illegible]йник раздобыл тебе инструмент для настоящей прицельной [illegible] его с одним из своих людей. В Бисли ты, по[illegible] своим ходом. Тебе заказан билет на ночной рейс БЕА [illegible] и поедешь по этому адресу. — Он протянул Бонду [illegible] — П[illegible]имешься на четвертый этаж, там тебя будет ж[illegible] Тэнкери. Ну а потом, боюсь, тебе придется просто сидеть и ждать в течение трех дней.

— А оружие? Мне что, нести его через немецкую таможню в сумке для гольфа?

— Оружие доставит Форин офис по своим каналам. Ты его получишь завтра днем. — Начальник штаба потянулся за блокнотом. — Ну ладно, думаю, тебе лучше пойти пострелять. А я дам знать Тэнкери, что все складывается нормально.

Джеймс Бонд глянул на слабо освещенный голубым светом циферблат часов на приборной доске. Десять пятнадцать. Если повезет, завтра в это время все будет кончено. В конце концов в этой игре жизнь «Курка» поставлена на карту против жизни 272-го. Строго говоря, это нельзя назвать убийством. Хотя и очень близко к нему.

Возле небольшого ресторанчика он, взревев двигателем, круто повернул на тормозах и направил автомобиль к отдаленным огням Лондонского аэропорта.

Уродливое шестиэтажное здание одиноко стояло на углу Кох-штрассе и Вильгельм-штрассе. Место после давних бомбежек было пустынно. Бонд

отпустил такси. Высокие заросли сорняков и полуразрушенные стены тянулись вдоль широкой безлюдной улицы, освещенной гирляндой желтоватых дуговых ламп.

На четвертом этаже Бонд нажал кнопку звонка и почти сразу услышал щелчок дверного замка. Дверь сама захлопнулась за ним, и по грубому цементному полу без ковра он прошел к лифту давно устаревшей конструкции. Запах капусты, дешевых сигар и затхлости напомнил ему другие многоквартирные дома Германии и Центральной Европы. Все это и даже скрип и толчки медленного лифта были частью плана, разработанного М. Бонду в нем отводилась роль снаряда, выпущенного по дальней цели. Он должен был попасть в точку и тем самым решить множество проблем. Ну что ж, на этот раз хоть люди, которые его встречают, на его стороне. Сейчас ему нечего опасаться верхней площадки лестницы.

Номер 2-й западноберлинского центра секретной службы оказался худощавым подтянутым мужчиной примерно сорока лет. Одет он был в соответствии со своей профессией: хорошо сшитый, подогнанный по фигуре твидовый костюм в темно-зеленую косую полоску, неяркая светлая рубашка и галстук с эмблемой школы, в данном случае — Вайкхэмиста. Этот галстук и банальные приветствия в маленькой пыльной прихожей вконец испортили Бонду настроение и без того не самое веселое. С такого типа людьми он сталкивался не раз. Оплот безопасности граждан, зубрила и любимчик учителей в Винчестере, хорошист в Оксфорде. Потом война, работа в штабе, которую он выполнял с завидной педантичностью, скорее всего, в отделе безопасности. После этого — Союзнический комитет управления в Германии, где его привлекли к работе в особом отделе. И как венец карьеры его, идеального исполнителя, имеющего к тому же категорию секретности A1, его, жаждавшего романтики и остроты жизни, принимают в секретную службу.

В рискованном деле, которое ему предстояло, Бонд нуждался в выдержанном, трезво мыслящем помощнике. Капитан Пол Сендер вполне удовлетворял этим требованиям. Он, не без внутреннего недовольства заданием, согласился взяться за это дело. Теперь ученик Вайкхэмиста скрывал свои чувства за вежливым банальным разговором. Он провел Бонда по квартире и показал все, что приготовил для исполнителя.

В просторной спальне стояли две кровати, на кухне были припасены консервы, молоко, масло, чай, ветчина, хлеб и даже бутылка «Димпл Хейг». Единственной особенностью спальни было то, что одна из широких кроватей стояла у большого окна, закрытого занавесками, и на ней под покрывалом лежали три матраса.

— Хотите взглянуть на поле боя? — предложил капитан Сендер. — А потом я расскажу, что приготовил для нас противник.

— Идет. — Бонд устал, но ему очень не хотелось идти спать, не узнав деталей предстоящего дела.

Капитан Сендер погасил лампу. Уличный свет просачивался сквозь занавешенное окно.

— Не надо открывать занавески, — сказал Сендер. — Не исключено, что они контролируют эту зону, чтобы перехватить 272-го. Если вы просто ляжете на кровать и просунете под занавески голову, я расскажу, что вы видите. Посмотрите налево.

Окно состояло из двух частей, нижняя была открыта. Лежа на куче матрасов, Бонд почувствовал себя почти как на огневом рубеже в «Сенчури рейндж». Только теперь перед его глазами было пустынное после бомбежки, густо поросшее бурьяном пространство, а за ним — яркие огни Циммер-штрассе, граница с Восточным Берлином. До нее было примерно сто пятьдесят ярдов. Сзади раздался негромкий голос капитана Сендера. Это напомнило Бонду спиритический сеанс.

— Перед вами разбомбленное поле. На нем много естественных укрытий. Оно тянется на сто тридцать ярдов до самой границы. Граница — улица. Дальше — полоса еще более поврежденной земли на вражеской территории. Это одно из немногих мест в городе, так сильно пострадавших от бомбежки. Заросли бурьяна, разрушенные здания тянутся по обе стороны границы. Поэтому 272-й и выбрал этот маршрут. Он намерен проползти через завалы на той стороне и сделать бросок через Циммерштрассе до нашего пустыря. Сложность в том, что ему надо проскочить тридцать ярдов ярко освещенной границы. Это зона, где должно произойти убийство. Все верно?

— Да, — ответил Бонд негромко. Близость врага взволновала и насторожила его.

— Слева от вас — новое десятиэтажное здание. Это Дом министерств, мозговой центр Восточного Берлина. Видите, сколько окон светится? Эти парни трудятся усердно — рабочий день круглые сутки. Большинство из них остаются на всю ночь. На окна, где горит свет, по-моему, можно не обращать внимания. Почти наверняка «Курок» будет стрелять из темного окна. Видите черный квадрат на углу, над перекрестком? В этих четырех окнах не было света вчера вечером, и сегодня они темные. На мой взгляд, это наиболее подходящая позиция для срельбы. Расстояние отсюда — триста—триста десять ярдов. У меня есть точные цифры, если нужно, я вам потом покажу. Вообще-то вы можете больше ни о чем особенно не беспокоиться. Улица ночью пустынна, если не считать патруля, который проезжает через каждые полчаса — автомашина с прожектором в сопровождении двух мотоциклистов. Вчера между шестью и семью вечера — время, когда и должно все произойти, — несколько человек входили и

выходили через боковую дверь здания. Я думаю, обычная картина. Похоже на обслуживающий персонал. До этого тоже ничего особенного не происходило. Обычный для правительственного здания поток входящих и выходящих людей. Если бы не этот чертов женский оркестр. Они играли в концертном зале, было очень шумно. Часть здания принадлежит министерству культуры.

Вот и все. Никого из людей, которых мы знаем, никаких признаков, что готовится операция такого рода. Но ничего этого может и не произойти. Там работают очень аккуратные ребята. Так или иначе, присматривайтесь повнимательнее и не забывайте, что сейчас темнее, чем будет завтра около шести вечера. Но общее представление о ситуации вы можете получить.

Бонд получил общее представление, и все увиденное стояло у него перед глазами еще долго после того, как его сосед уснул и негромко захрапел, изредка причмокивая. «Вайкхеммистский храп», — подумал Бонд с раздражением.

Да, он представлял себе общую картину — внезапное движение среди темных руин на той стороне реки света, пауза, потом сумасшедший зигзагообразный спринт человека под слепящими дуговыми лампами, треск выстрелов... А дальше — или неуклюжее падение посреди широкой улицы, или бросок вперед и громкий шелест бурьяна, шум каменных обломков уже на этой стороне. Мгновенная смерть или возвращение домой... Да, вызов брошен! Сколько времени понадобится, чтобы заметить русского снайпера в одном из темных окон и убить его? Пять секунд, десять?

На рассвете, когда занавешенное окно начало розоветь, мрачные мысли совсем одолели Бонда. Он тихо прошел в ванную и оглядел ряд склянок с лекарствами, которые заботливая секретная служба приготовила, дабы держать своего исполнителя в хорошей форме. Выбрал туинал, запил две красно-голубые пилюли стаканом воды и вернулся в постель. Через несколько минут он спал как убитый.

Проснулся он около полудня. Квартира была пуста. Бонд раздвинул шторы. Был обычный для Пруссии серый пейзаж. Бонд, стоя подальше от окна, смотрел на однообразный пейзаж Берлина, прислушивался к звону трамвая и отдаленному шуму наземной линии метро, делающей большой разворот у станции «Зоо». С неохотой перевел взгляд на место, что так внимательно изучал вчера вечером, и отметил про себя, что сорняки между развалинами такие же, как в Лондоне, — иван-чай, щавель.

Бонд направился на кухню. Рядом с батоном хлеба лежала записка: «Мой друг (принятое в секретной службе выражение, означающее в данном случае шефа капитана Сендера) считает, что ничего страшного не произойдет, если вы выйдете на улицу. Но к семнадцати ноль-ноль вы

должны быть на месте. Ваше имущество (иными словами — оружие) уже прибыло, посыльный доставит его сегодня после обеда. П. Сендер».

Бонд зажег газ и, посмеиваясь над профессиональными традициями, сжег записку. Затем приготовил солидную порцию яичницы с беконом и тосты с маслом. Чашка кофе, сдобренная виски, составила ей хорошую компанию. Покончив с завтраком, Бонд принял душ, побрился, оделся в серый неброский костюм, типичный для среднего европейца, который специально с этой целью привез с собой. Бросил взгляд на разворошенную постель, решил, что черт с ней, спустился на лифте и вышел из дома.

Берлин всегда казался Бонду угрюмым, недружелюбным городом, который в западной своей части как бы покрыт тонким слоем показного глянца вроде хромированных деталей на американских автомобилях. Дойдя до Курфюрстендамм, он зашел в кафе «Маркуардт», выпил чашечку кофе эспрессо и принялся угрюмо рассматривать серую толпу пешеходов, ожидавших зеленого света светофора, в то время как сверкающий поток машин заканчивал очередную кадриль на оживленном перекрестке. На улице было холодно, резкий восточный ветер вздувал юбки женщин и плащи куда-то спешащих мужчин с неизменными «дипломатами» в руках. В кафе было уютнее. Настенные обогреватели озаряли помещение красноватым светом и придавали странное выражение лицам завсегдатаев, поглощающих свои обычные «одну чашечку кофе и десять стаканов воды», читающих свободную прессу или углубившихся в деловые бумаги.

Бонд, стараясь не думать о вечере, никак не мог решить, как ему распорядиться послеобеденным временем. Он долго выбирал между визитом в известный всем швейцарам и водителям такси коричневый дом на Клаузевиц-штрассе и поездкой в Ванзее с энергичной прогулкой по Грюневальду. Добродетель восторжествовала. Бонд расплатился, вышел на улицу и взял такси до станции «Зоо».

Приятные на вид молодые деревца, обрамляющие длинное озеро, уже тронуло дыхание осени, и среди их зелени мелькали желтые листья. Два часа Бонд усердно прогуливался по усыпанным опавшими листьями тропинкам, потом выбрал ресторанчик с застекленной верандой над озером и с удовольствием перекусил. Трапеза его состояла из двойной порции тушеной сельди в масле с колечками лука и двух «молле мит корн» (берлинский вариант «ерша» — двойной шнапс, жадно запиваемый пивом «Ловенбрау»). Отправляясь на метро в сторону центра, он почувствовал себя значительно бодрее.

Неподалеку от дома копался в двигателе черного «опелькапитана» неопределенного вида молодой человек, не вылезавший из-под капота,

пока Бонд не вошел в здание. Капитан Сендер успокоил Бонда. Это был его «друг» — капрал из транспортного отдела службы в Западном Берлине. Он «поколдовал» над двигателем автомобиля, и теперь каждый вечер с шести до семи готов по сигналу Сендера произвести серию громких выхлопов. Это нужно для звукомаскировки выстрелов Бонда. Иначе соседи могут вызвать полицию и придется вступать в неприятные объяснения. Здание находится в американском секторе, и хотя американские друзья всячески содействуют службе в Западном Берлине, в их интересах, чтобы дело было сделано чисто, без лишнего шума и последствий.

Трюк с автомобилем произвел на Бонда хорошее впечатление. Понравились ему и приготовления, сделанные в квартире. У изголовья его высокой кровати, которой вскоре предстояло стать огневой позицией, рядом с подоконником, упираясь концом ствола в занавеску, стоял на опоре винчестер. Его деревянные и металлические детали, а также корпус оптического прицела были выкрашены в глубокий черный цвет. На кровати, напоминая зловещий карнавальный костюм, лежала черная вельветовая рубашка с капюшоном. В [illegible] были широкие прорези для глаз и рта. Это напоминало [illegible] изображения испанской инквизиции или анонимных [illegible] времен Великой французской революции. На кровати капитана Сендера лежал точно такой же балахон, а на подоконнике — две пары очков ночного видения и микрофон переносной рации.

Лицо капитана Сендера выдавало беспокойство и напряжение. Он сообщил, что из управления службы нет никаких новостей, и, насколько ему известно, пока изменений в плане не произошло. Не хочет ли Бонд поесть? Может быть, чашку чая? Или каких-нибудь транквилизаторов? В ванной комнате есть нужные препараты.

Бонд изобразил на лице бодрость и спокойствие, вежливо поблагодарил и принялся рассказывать о том, как провел день. Рассказывая, он вдруг ощутил, как кровь толчками движется по артерии в области солнечного сплетения. Напряжение нарастало в нем, словно кто-то накручивал в организме часовую пружину. Стремясь взять себя в руки, он закруглил рассказ и улегся на кровать с немецким бестселлером, который купил во время прогулки. Тем временем Сендер нервно ходил по квартире, то и дело поглядывая на часы и беспрерывно куря «Кент» через (вот чистоплюй!) мундштук «Данхилл».

Бонд выбрал книгу из-за эффектной картинки на обложке. Его привлекла полуобнаженная девица, привязанная ремнями к кровати и, судя по лицу, очень этим довольная. Книга называлась «Фердербт, фердаммт, ферратен». Приставка «фер» означала, что девушка была не только обманута, обесчещена и проклята, но что она вполне сознательно допустила

все эти несчастья. На какое-то время Бонд забыл обо всем, погрузившись в переживания графини Лизелотты Мютценбахер. К его крайнему неудовольствию, Сендер прервал чтение, сообщив, что уже половина шестого и им следует занять свои места.

Бонд снял пиджак, галстук, положил в рот две пластинки жевательной резинки и надел капюшон. Сендер выключил свет. Бонд лег на кровать, приложил глаз к окуляру прицела и осторожно отодвинул нижний край занавески себе на плечи.

Несмотря на наступившие сумерки, вид из окна на пустырь, через год получивший название «Контрольно-пропускной пункт «Чарли», напоминал хорошо знакомую фотографию. Буйные заросли перед домом, залитая светом пограничная улица, за ней — снова пустырь, а слева — Дом министерств со светлыми и темными окнами. Бонд внимательно осмотрел окрестности, медленно перемещая оптический прицел вместе с винтовкой регулировочными винтами на опоре. Все было как прежде, только тоненький людской ручеек тянулся из министерств к Вильгельм-штрассе. Бонд еще раз перевел взгляд на четыре темных окна. Пожалуй, Сендер прав, они и в самом деле могли служить огневыми точками противника. Шторы раздвинуты, а нижняя часть рамы в одном окне поднята вверх. И хотя Бонд не мог различить, что происходит внутри, ему казалось, что в этих черных ящиках нет никакого движения.

Между тем на улице внизу движение оживилось. По тротуару ко входу в здание строем промаршировал женский оркестр. Десятка два смеющихся девушек несли портфели с партитурами, струнные и духовые инструменты, четверо — барабаны. Они были веселы и беззаботны, как на прогулке. «Удивительно, — подумал Бонд, — есть еще люди, которых радует жизнь в советском секторе». В тот же момент его взгляд упал на девушку, несущую виолончель. Жующие челюсти Бонда на мгновение замерли, а затем инстинктивно продолжили работу, пока он вращал винты, чтобы зафиксировать прицел и держать девушку в поле зрения.

Она была ростом выше остальных. Ее длинные прямые волосы падали на плечи, в свете дуговых ламп они блестели, как расплавленное золото. Девушка шла довольно быстрой, слегка волнующей походкой и несла футляр с виолончелью с такой легкостью, будто он не тяжелее скрипки. Все как бы летело в воздухе — юбка, ноги, волосы. Казалось, она наполнена движением, жизнью, счастьем и беззаботностью. Она что-то сказала весело идущим рядом девушкам, и те звонко рассмеялись в ответ. Когда она вместе со всеми повернула ко входу в здание, уличные лампы на мгновение выхватили из темноты прекрасное белое лицо. Но вот она исчезла, и Бонд вдруг понял, что ему от этого стало грустно. Чушь, этого просто не может быть! Такого с ним не случалось со времен его юности. И

вот сейчас эта девушка, которую он и видел-то издали, которую не разглядел толком, вызвала в нем острый приступ желания, какого-то животного магнетизма. Бонд угрюмо посмотрел на светящийся циферблат часов. Пять пятьдесят. Осталось всего десять минут. Никакие машины у входа в Дом министерств не останавливались. Ни одного из тех зловещих безликих черных ЗИМов, которые он ожидал увидеть. Усилием воли Бонд отогнал от себя мысли о девушке и сосредоточился на предстоящей задаче. Ну же, черт возьми! Дело прежде всего.

Изнутри здания глухо донеслись привычные звуки настраивающегося оркестра. Музыканты настраивали инструменты по одной ноте фортепьяно — чистый одинокий звук, пауза, а потом — шквал мелодий, словно оркестранты соревнуются друг с другом. В этой сумятице звуков Бонд уловил смутно знакомую мелодию.

— Половецкие пляски из «Князя Игоря» [illegible] — отрывисто бросил капитан Сендер. — Между прочим, [illegible] — И вдруг вскрикнул: — Смотрите! Правое нижнее [illegible] окно!

Бонд прильнул к окуляру [illegible] было какое-то движение. Что-то темное и [illegible] наружу. Ствол! Он двигался плавно [illegible], будто примериваясь, простреливается ли вся Циммер [illegible] -стырями. Затем невидимый стрелок в комнате, казалось, [illegible] увиденным и зафиксировал оружие. Судя по всему, опора была такая же, как у Бонда.

— Какое это оружие? — в голосе капитана Сендера чувствовалось не свойственное ему волнение. «Да успокойся же ты, черт бы тебя побрал, — подумал Бонд. — Это я должен нервничать». Он прищурил глаза и мгновенно привел винчестер в боевую готовность. «Конечно, это он. Полностью надежная машина, лучшее, что у них есть».

— Калашников, — сказал он отрывисто. — Автомат, тридцать патронов 7,62 миллиметра. Любимое оружие русских. Они собираются подавить нас огнем. Отличное решение. Мы должны убрать снайпера очень быстро, иначе из 272-го сделают просто фарш. Вы следите за улицей, отмечайте любое движение в развалинах. Я беру на себя окно и снайпера. Он должен высунуться, чтобы стрелять. Его друзья, полагаю, корректируют стрельбу из-за спины, а может, и из всех четырех окон. Мы-то ожидали, что они прибегнут к разного рода уловкам; кто бы мог подумать, что они хотят залить все свинцом! Хотя следовало это предвидеть. Не просто при таком освещении попасть в бегущего человека, стреляя одиночными выстрелами!

Бонд еще какое-то время поколдовал над винтами горизонтального и вертикального перемещения и добился полного совпадения перекрестья прицела с той точкой в комнате, где, как полагал, должна находиться грудь снайпера. Голова — менее надежная мишень.

Лицо Бонда покрылось капельками пота, резина окуляра стала скользкой. Но это его не беспокоило. Главное — руки, указательный палец, который должен быть сухим. По мере того как проходили минуты, Бонд все чаще прикрывал глаза, чтобы не уставали, менял положение рук и ног, не давая им онеметь, прислушивался к музыке, которая успокаивала нервы.

Время тянулось медленно. «Сколько ей может быть лет? Немногим больше двадцати — скажем, двадцать три. Это спокойствие, беззаботность, неуловимые признаки властности в легкой походке — должно быть, она хорошего происхождения. Возможно, из старой прусской семьи, а может, потомок польской или даже русской аристократии. Какого черта она выбрала виолончель? Все-таки в этом инструменте есть что-то непристойное. Бонд представил себе, как девушка сидит в неуклюжей позе, зажав между ног похожую на [illegible] виолончель, и испытал неловкость. Правда, Судже [illegible] выглядеть элегантной, как, впрочем, и другим девушкам [illegible]. [illegible] лучше придумали бы для женщин другой способ игр[illegible] инструменте, что-нибудь наподобие дамского [illegible] для верховой езды.

— Семь часов. — [illegible] прервал поток его мыслей. — На той стороне тихо. Небольшое движени[illegible]чается на нашей стороне, возле убежища рядом с границей. Это группа приема — два отличных парня из нашего отдела. Нам лучше оставаться на месте, пока они не уйдут. Дайте мне знать, когда на той стороне уберут оружие.

— Хорошо.

Было половина восьмого вечера, когда автомат исчез в глубине темной комнаты. Одно за другим закрылись четыре окна. Леденящая душу игра была прервана на ночь. 272-й остался в укрытии. Впереди еще два таких вечера!

Бонд медленно, стараясь не делать резких движений, снял с плеч и ствола винчестера занавеску. Встал на ноги, снял накидку с капюшоном, направился в ванную, разделся и принял душ. Потом одну за другой выпил две большие порции виски со льдом и стал ждать, пока смолкнут звуки оркестра. (По мнению знатока, Сендера, «Князь Игорь», танец № 17). Когда в восемь часов музыка, наконец, смолкла, он обратился к Сендеру, который строчил отчет шефу: — Хочу взглянуть еще разок. Эта высокая блондинка с виолончелью меня заинтересовала.

— Не обратил на нее внимания, — ответил Сендер и пошел на кухню.

За чаем, предположил Бонд. А может, за виски. Он снова надел свой балахон, занял боевую позицию и навел оптический прицел на подъезд министерства. Да, вот они выходят, но совсем не так беззаботно и больше не смеясь. Устали, наверное. Девушка шла вместе со всеми, менее ожив-

ленная, чем два с половиной часа назад, но все той же легкой, колдовской походкой. Бонд смотрел на развевающиеся золотые волосы и коричневый плащ до тех пор, пока они не исчезли в синих сумерках Вильгельм-штрассе. Интересно, где она живет? В какой-нибудь маленькой убогой комнатенке в пригороде? Или в привилегированных апартаментах на уродливой, облицованной, как общественный туалет, Сталин-аллее?

Бонд откинулся назад. Черт возьми, вполне может статься, что она живет где-нибудь совсем рядом, в двух шагах отсюда. Интересно, она замужем? Или у нее любовник? Да ну ее к дьяволу! Эта штучка не для него.

Следующие день и вечер почти ничем не отличались от предыдущего. Пользуясь оптическим прицелом, Бонд еще дважды «встречался» с неизвестной девушкой. Все остальное было просто убиванием времени, но напряжение нарастало. С наступлением третьего, решающего дня, казалось, туман сгустился в маленькой комнате, и было трудно дышать.

Весь этот день Бонд, как лунатик, бродил по музеям, картинным галереям, зоопарку и кинотеатрам. Он почти не замечал ничего вокруг. В глазах у него стояли девушка с виолончелью, четыре черных квадрата, ствол автомата Калашникова, а за ним — человек, которого он должен сегодня вечером убить.

Вернувшись в квартиру ровно в пять, Бонд постарался сократить до минимума общение с капитаном Сендером. Перед тем как натянуть мерзкий, пропахший потом балахон, он налил себе хорошую порцию виски. Сендер попытался было его отговорить, но, когда понял, что это бесполезно, стал угрожать, что свяжется с шефом и доложит ему о нарушении дисциплины.

— Послушайте, старина, — сказал Бонд устало. — Мне поручено убить человека сегодня вечером. Не вам. Мне. Так что будьте хорошим парнем и помалкивайте, ладно? Когда все будет кончено, вы можете рассказывать Тэнкери все, что заблагорассудится. Думаете, мне нравится эта работа? По-вашему, если мой номер начинается с двух нулей, это все? Я буду счастлив, если вы поможете мне уйти из отдела 00. Я тогда усядусь на каком-нибудь местечке поуютнее и примусь за мемуары, как нормальный штабист. Договорились?

Бонд залпом опрокинул виски, с наслаждением, чувствуя, как тепло разливается по желудку и наполняет блаженством все тело, и плюхнулся на кровать.

Капитан Сендер, сохраняя ледяное молчание, отправился на кухню и, судя по доносившимся оттуда звукам, занялся приготовлением неизменного чая.

Бонд чувствовал, как целебный напиток приводит в порядок его расша-

лившиеся нервы. Ну что, Лизелотта, как, черт побери, ты собираешься выбираться из этой переделки?

Было ровно 6.05, когда капитан Сендер со своего поста возбужденно зашептал: — Бонд, там, за дорогой, какое-то движение. Сейчас он замер, ждет. Нет, снова движется, стараясь не высовываться. Перед ним густой бурьян, целое поле. Господи! Он продирается через кусты. Они шевелятся! Господи, помоги! Хоть бы они там подумали, что это ветер. Так, он прополз, лежит на земле. Они как-нибудь реагируют?

— Нет, — ответил Бонд звенящим от напряжения голосом. — Он далеко от границы?

— Ему надо пройти еще около пятидесяти ярдов. — Голос капитана Сендера был хриплым от возбуждения. — Кругом обломки, но часть пути совершенно открыта. Дальше — большой кусок стены, прямо рядом с тротуаром. Ему придется перелезть через нее. Здесь они не промахнутся. Вот сейчас! Десять ярдов прополз, еще десять. Сейчас он будет хорошо виден! Приготовься! Сейчас он может в любой момент сделать бросок!

Бонд почувствовал, как [illegible] заливало лицо и спину. Он выбрал момент, быстро вытер руки о накидку и снова прильнул к винчестеру, не сводя палец со спускового крючка.

— Что-то двигается в комнате за автоматом. Сейчас они начнут стрелять. Дайте команду, чтобы заводили опель!

Бонд услышал, как прозвучала в микрофон условная команда и внизу на улице завелась машина. Двигатель ее взревел, и раздалась серия оглушительных выхлопов. У Бонда часто застучало в висках.

В темной комнате напротив определенно происходило какое-то движение. Над автоматом показалась рука в темной перчатке.

— Вот! — закричал Сендер. — Сейчас! Он бежит к стене! Он за ней! Собирается прыгать!

В ту же секунду Бонд увидел через прицел голову «Курка» — ясный профиль и золотой колокол волос на прикладе автомата Калашникова! Она была в перекрестье, можно сказать, она уже была мертва!

Пальцы Бонда лихорадочно скользнули вниз, к подстроечным винтам, чуть повернули их, и, едва из ствола автомата полыхнуло желтое пламя, Бонд нажал на спусковой крючок.

Пуля, смертельная на расстоянии в триста десять ярдов, должна была попасть в ту точку, где приклад соединялся с опорой, то есть в левую руку. Автомат слетел с подставки, врезался в противоположную оконную раму и вылетел из окна. Перевернулся несколько раз и грохнулся на середину улицы.

— Все! — закричал капитан Сендер. — Все, он здесь, на этой стороне! Боже! Удалось!

— Вниз! — рявкнул Бонд и отскочил от кровати. В одном из темных окон вспыхнул прожектор, луч его уперся в их окно. В ту же секунду затрещали выстрелы. Пули свистели по комнате, рвали занавески, врезались в оконную раму, стучали по стенам.

Сквозь дьявольскую свистопляску Бонд расслышал шум ездившего туда-сюда по улице «опеля» и звуки оркестра, доносившиеся с той стороны. Они как-то странно совпадали в его сознании. Ну, конечно, оркестр создавал шум внутри Дома министерств; как и тарахтенье «опеля», он обеспечивал звуковое прикрытие выстрелов на той стороне. Выстрелов «Курка». Неужели «она» таскала свое оружие в футляре от виолончели? Неужели весь оркестр состоял из сотрудниц КГБ? В других футлярах, наверное, тоже было оружие, а в четырех барабанах — прожекторы. А настоящие инструменты спокойно ждали в концертном зале. Слишком хитро, слишком фантастично? Возможно. Но насчет той девушки сомнений нет. Сквозь прицел Бонду удалось видеть даже ее большой, с длинными ресницами, прищуренный глаз. Ранил ли он ее? Почти наверняка, в левую руку. У него не было ни малейшего шанса увидеть ее, посмотреть, как она выглядит, осталась ли с оркестром. Никогда больше он не увидит ее. Их окно превратилось теперь в смертельный капкан. Словно для того, чтобы подчеркнуть это, случайная пуля угодила в механизм винчестера, уже перевернутого и разбитого. Расплавленный свинец брызнул на руку Бонда. Бонд крепко выругался от боли. И вдруг, как по команде, стрельба прекратилась. В комнате повисла звенящая тишина.

Капитан Сендер выполз из-под кровати, вытряхивая из волос осколки битого стекла. По стеклу, усеявшему пол, они проползли через разбитую дверь на кухню. Кухонные окна выходили на другую сторону, здесь можно было зажечь свет.

— Вы не ранены? — спросил Бонд.

— Нет, а с вами все в порядке? — Светлые глаза Сендера лихорадочно блестели от пережитого волнения. Был в них, как показалось Бонду, и какой-то оттенок осуждения.

— Да. Только попало на руку от какой-то пули. Дайте кусок пластыря.

Бонд прошел в ванную. Когда он вышел оттуда, то застал капитана Сендера сидящим рядом с рацией, которую ему удалось вытащить из комнаты, и говорящим в микрофон:

— Все кончено. 272-й в порядке. Присылайте бронированную машину, и как можно быстрее. Буду счастлив выбраться отсюда, да и 007-й должен написать отчет о происшедшем. Договорились? Тогда все. Конец связи.

Сендер повернулся к Бонду. Сухим, официальным тоном, в котором тем не менее проскользнули виноватые нотки, он сказал:

— Боюсь, в центре потребуют от вас письменных объяснений, почему вы не убрали этого парня. Я вынужден был сказать, что видел, как вы в последний момент изменили цель. Вы дали «Курку» время выстрелить. Счастье 272-го, что он вовремя начал рывок. От стены за его спиной только куски полетели. Как прикажете понимать?

Бонд знал, что он может выдумать тысячу причин, снимающих с него ответственность. Вместо этого он налил себе виски, сделал большой глоток, поставил стакан и посмотрел капитану Сендеру прямо в глаза.

— «Курок» оказался женщиной.

— Ну и что? В КГБ много агентов-женщин, в том числе и женщин-снайперов. Меня это совершенно не удивляет. Русские женские команды всегда хорошо выступают на чемпионатах мира по стрельбе. На последнем, в Москве, они заняли все первые места, оставив позади семь стран. Я даже помню два имени — Донская и Ломова, отличные стрелки. Может быть, эта — одна из них. Как она выглядела? Опишите, я попробую вспомнить.

— У нее светлые волосы. Это та девушка из оркестра, которая носила виолончель. В футляре, наверное, был автомат. А оркестр, кстати, был нужен, чтобы заглушить выстрелы.

— А-а, — протянул Сендер, — та самая, которую вы приметили еще в первый день?

— Вот именно.

— Извините, но это я тоже должен отметить в отчете. У вас был четкий приказ уничтожить «Курка».

Подъехала машина. Дважды прозвонил звонок. Сендер встал.

— Ну ладно, пошли. — Он избегал взгляда Бонда и смущенно рассматривал его плечо. — Простите меня за отчет. Поймите, это моя обязанность. Вы должны были убрать снайпера, кто бы он ни был.

Бонд встал. Почему-то ему вдруг расхотелось покидать эту тесную, вонючую, разрушенную недавним боем квартирку, где в течение трех дней у него был роман без взаимности с неизвестной девушкой — вражеским агентом, исполняющим свой долг так же, как Бонд исполнял свой. Бедняжка! Теперь у нее будет гораздо больше неприятностей, чем у него. Наверное, ей предстоит военный трибунал, она ведь провалила задание. А может быть, ее просто выкинут из КГБ.

Бонд пожал плечами. Во всяком случае, им не следует убивать ее, он ведь не стал этого делать.

— Ладно, — произнес он устало. — При некотором везении это будет стоить мне номера с двумя нулями. А своему шефу передайте, чтобы не беспокоился. Эта девчонка не будет больше снайпером. Скорее всего, она лишилась руки. Да и нервы ее больше не годятся для такой работы. Я погасил в ней огонь. По-моему, этого достаточно. Пошли.

кого детства — о том, что после смерти людей души их поселяются на звездах, каждая душа на особой звезде.

Но, боже, как холодно, как одиноко и тоскливо на этих звездах, подумал я. И почему бы душам погибших на войне из этой деревни не поселиться в собственных домах, за которые они отдали жизнь?

И едва я подумал так, как тотчас же мертвые дома, чернеющие под ярким, алмазным небом, представились мне сказочными бревенчатыми мавзолеями, в каждом из которых покоится душа погибшего на войне хозяина — солдата.

Бревенчатые мавзолеи... По всей России...

1978

ДОРОГАМИ СУВОРОВА

Сказки про Райозеро нам начали сказывать еще в Новгороде. Места бес[illegible], райские: светлые, нетронутые сосняки, синие [illegible], упирающиеся в небо, грибов да ягод всяких [illegible] уж само-то озеро так и вовсе небывальщина — в одном году есть, а в другом нету, вместе с рыбой под землю уходит. Одно плохо: пути-дороги туда заказаны

— Кем заказаны? Какой такой кощей там сидит?

— А вот именно что кощей. Только имя-то у этого кощея нынешнее — бездорожье. Что вы хотите, на стыке двух районов, самая что ни на есть лесная глухота...

— Ну а раньше?

— Чего раньше?

— Были раньше дороги?

— Тю, спрашиваешь! Сам Александр Васильевич на тройке разъезжал.

— Это какой же Александр Васильевич?

— Какой, какой... Один у нас, на Новгородчине, Александр Васильевич, которого все знают: граф Рымникский, князь Италийский. Имение у него в тех краях было, а может, так, для огляду ездил...

Новгородские россказни крепко запали нам в голову, тем более что по мере продвижения по области они обрастали все новыми и новыми подробностями, и вот когда мы с приятелем оказались в райгородке, от которого ближе всего до сказочного озера, мы чуть ли не с порога заговорили о поездке туда.

— Нет, нет, — замахали на нас руками, — пустая затея. Не проехать.

Но тут уж взвились мы. Как это не проехать? В каком веке живем? Да вы что, дорогие товарищи!

И в конце концов пристыженным дорогим товарищам ничего не оставалось как уступить. Короче, нам дали самую сильную машину из легковых — зеленый с крытым кузовом «УАЗ», на бортах которого внушительно краснели кресты «скорой помощи», и самого надежного и опытного шофера, который, по словам секретаря райкома, просто вырос на здешних дорогах.

Однако сам шофер, человек далеко уже немолодой, сел за баранку без всякого энтузиазма. А когда мы стали выезжать из города, начал даже склонять нас к объездному маршруту: дескать, хоть и подлиннее будет, да зато надежно. А прямая дорога — кто когда по ней ездил...

Я вспылил:

— Суворов ездил! — И, чтобы раз и навсегда покончить с этим, просто скомандовал: — Прямо!

Картина была зна[illegible]презнакомая: сперва шумная, стремите[illegible] — асфальтовое шоссе, соединяющее область со столицей, потом поворот на грунтовку — и жизн[illegible]лась до размеров ручья.

Но тут еще [illegible], как говорится, «на поряде»: были жилые дере[illegible], был скот, поля, трактора, грузовики [illegible]. И так продолжалось километров двадцать [illegible] двадцать пять, а потом последняя автобусная остановка — и прощай, жизнь, прощай, белый свет. Ухаб направо, ухаб налево, одна гнилая мостовина, другая, третья, потом грязь-болотина — кидай все что попало под колеса, а иначе загорай тут, пока не выручит какой-нибудь случайный трактор, а потом еще одна пытка — ольха и береза.

Поэты на все лады славословят и сюсюкают песенное дерево, возведя его в поэтический символ России: ах, белая, ах, кудрявая... А мы эту белую да кудрявую кляли самыми последними словами. Разрослась, сдавила дорогу с обеих сторон и бац-бац по кузову, по стеклам. Как будто тебя вместе с машиной гонят сквозь березовый строй...

Час двадцать пять минут понадобилось нам, чтобы преодолеть перегон в три километра — вот какие скорости мы развили.

В заброшенной деревне — мертвая тишина среди бела дня, только вой и стон от разъяренных слепней и оводов, тучей набросившихся на нас, — мы напились из колодца холодной, но уже с привкусом подгнившего сруба воды и двинулись дальше.

И опять те же муки российского бездорожья, опять пустые, задичавшие деревни, иные от ветхости уже развалившиеся, рассыпавшиеся, а иные — из матерого леса-кругляша — как крепости. И самое удивительное — все дома в таких крепостях без замков, без запоров: заходи и живи. И все, все как при хозяевах в избах, когда даже самовар с чашками на столе стоит. Так и кажется, что хозяева в какой-то великой спешке выскочили из дому и вот-вот вернутся назад.

— Ничего не понимаю, — сердился наш шофер, который, как потом оказалось, был коренной горожанин. — Всю жизнь слышу: крестьянин — собственник, крестьянин — жадюга. А тут что видим?

Но была, была одна радость и на нашем пути. Раз выезжаем из чащобы дремучего ольшаника (березовая порка к тому времени нам казалась уже лаской) и глазам не верим: золотая сказка!

Да, да, впереди холмик — каравай из чистейшего золота (как потом оказалось, наглухо сорняком, сурепкой, зарос), а на том холмике-каравае деревенька в пять-шесть дворов, да такая веселая, такая ладная, что сразу решаем: жилая.

И точно, в деревеньке были люди — старик со старухой. Живые, натуральные. Сидят себе на крылечке рубленом в тени под навесиком и во все глаза, как на какую-то невидаль, как на чертей, смотрят на нас, вылезающих из машины. А мы и в самом деле походили на чертей — грязные, запотелые и угорелые: всю дорогу из-за слепней и оводов не открывали окон.

— Да откуда вы, родимые? — ласково, нараспев, совсем-совсем в духе старинной сказки заговорила старуха и начала подниматься. Наверняка затем, чтобы поставить самовар и собрать на стол.

Мы наотрез отказались. Во-первых, немного подкрепились в предыдущей деревне, а во-вторых, нам и некогда было. Солнце уже клонилось к лесу, а где оно, это Райозеро? Сколько еще до него?

— До Райозера-то недалеко, — сказал старик. — За Сосёнками. Верст пять отселева. Только ведь не попасть.

— Это почему же? Как не попасть? — петухом вскинул голову шофер. Он к этому времени тоже заразился нашей страстью.

— А потому что ничейная территория.

— Какая-какая?

— Ничейная. Ну, по-военному навроде как нейтральная полоса. Ни нашего района, ни соседнего. Ничья.

— Да ты, дедко, в уме ли? — напролом пошел шофер. — Что за территория, которая никому не принадлежит? Война, что ли, у вас тут?

— По карте-то она принадлежит. Да на ней-то никто не живет. Дороги нету.

— Даже такой дороги, какой ехали сюда?

— Ну сюда-то худо-бедно и трактора и грузовики ходят, а чтобы от нас к Райозеру ездили — не помню.

— А раньше, в старые времена? — это уж мы с приятелем начали допытываться.

— Раньше-то как не ездили. И дорога была, и на каждой версте хутора стояли, — рассудительно добавила старуха.

— Ну раз раньше дорога была, — сказал шофер, — порядок. Давай, дед, залезай в карету, проводишь нас.

— Куда ему, — [illegible] старуха. — Без ног сидит. До ветру-то без меня не сходить. Разве что я сколько провожу.

— А где же это ты, дед, ноги-то потерял? — полюбопытствовал шофер.

— На почте, — ответила за мужа старуха. — Тринадцать годков по деревням почту носил, а каково по снегу-то на лыжах? Вот в снегах-то в этих он и оставил ноги. Да еще обходчиком сколько лет был. Должность такая в совхозе, — старух по деревням проведывать: кака жива, кака умерла, кака при смерти. Ведь в иной деревне одна старушонка всю зиму мается.

— И вы зимой одни в деревне?

— Одни, как не одни. Снегом да сугробами закладет по самую крышу, всю зиму, как Папанин на Северном полюсе, сидим. Осенью муки на тракторе завезут, и до весны вдвоем кукуем.

Шофер наставительно сказал:

— Надо бросать эти единоличные-то замашки, вот что я тебе, бабка, скажу. Переехали бы на централку (есть у вас центральная-то усадьба тут?) — и жили бы себе припеваючи, с утра до ночи телек смотрели.

— Нет уж, — сказала старуха и вдруг всплакнула. — поздно нам на чужую-то сторону ехать. В своем дому помирать будем.

— Да и приказ вроде как есть, по радио говорили — чтобы поворот, значит, на старые места сделать.

Старуха, до сих пор такая тихая и благочестивая, тут вдруг вспылила — на больную мозоль наступил старик.

— Сиди! Говорить-то можно, язык без костей, а ты смотри, что в жизни-то деется. — Она кивнула на незасеянные вокруг, в желтой сурепке поля и пошла к нашей машине: дескать, раз надумали ехать дальше, так надо ехать, а не речи разговаривать. А то солнышко в ельник скатится — куда попали?

По щетинистой, выкошенной луговине, по которой когда-то проходил тракт (еще кое-где можно было угадать старую колею), мы выехали за деревню и нырнули в серый душный ольшаник.

— Тут спуск будет, — предупредила шофера старуха. Она сидела с ним спереди.

— Вижу, бабка.

Передние колеса машины на секунду повисли в воздухе, она вздыбилась, как норовистая лошадь перед препятствием, но все обошлось благополучно — сползли, съехали как на брюхе. А дальше стоп — место для подвига Сусанина или, как еще сказал наш шофер, место для партизанской базы: ни взад, ни вперед. Желтая болотина с выгоревшей на солнце осокой, ольха, ельник со всех сторон. И тучи, серые тучи слепней и комарья.

Старуха было пустила слезу: дескать, давно ли еще они тут колхозное сено подымали, а теперь вот во что превратилась пожня, — но шофер круто оборвал ее:

— Ты не сказки нам сказывай, а говори лучше, как отсюда выбраться.

Посередке болота белыми костями лежал старый березовый настил, по которому когда-то ездили. Но сейчас он захрустел, захрупал от ветхости, едва мы на него ступили.

Может, попробовать болотину в других местах? Может, там она потверже?

Мы пробовали, вдоль и поперек месили болото, пробовали гатить болото заново — не одну ель, не одну березу свалили. Все бесполезно — вперед не пройти.

А все-таки на другой день мы добрались до Райозера. И добралась не окружным путем, а той же самой дорогой, по которой ездил Суворов.

Правда, для этого нам пришлось пересесть с «УАЗа» на вездеход.

1980—1981

КУСТ РУКОТВОРНЫЙ

Ивану Андреевичу Данилову, народному учителю

От Пеши, где я обосновался тем летом, до Слуды всего шестьдесят километров, да и то рекой, а почтовым трактом, или горой, как больше говорят на Севере, и того не будет, а у меня такое ощущение было — на другую планету попал: везде, по всем деревням (а Слуда — это целый куст деревень) гремят топоры, визжат пилы, весело пахнет древесной стружкой. Строительство! Строят скотные дворы, складские помещения, жилые дома. И когда? В какое время? В самый разгар сенокосной страды. В ту пору, когда в деревне испокон веку прекращаются не только всякие работы, а, можно сказать, вымирает сама жизнь: все, и стар и мал, выезжают на пожню.

Поразил меня и зеленый наряд Слуды.

В Пеше в жаркий летний день сгоришь, покамест от одного конца до другого доберешься: ни одного кустика. А тут, в Слуде, тополя над головой. Кипят, шумят на ветру — не то стая птичья крыльями бьет, не то море волной играет.

Я не сомневался: виновник всему в Слуде директор совхоза Василий Степанович Латышев. Двадцать пять лет назад начал он как председатель самого захудалого в районе колхоза (вместе с доярками подвешивал на веревках коров-доходяг), а ныне весь район к нему учиться ездит — какая еще аттестация нужна?

И такого же мнения были люди, но только не сам Василий Степанович.

— Хорошо бы, хорошо бы въехать в местные святцы отцом новой Слуды, — сказал он с легкой усмешкой, — да нет, не получится. Не от меня пошла жить нынешняя Слуда.

ФЕДОР АБРАМОВ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



АРХАНГЕЛЬСК
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1985

мастера современной прозы

ИТАЛО КАЛЬВИНО

ОБЛАКО СМОГА



Это был период в моей жизни, когда ничто на свете не имело для меня никакого значения. Как раз тогда я и приехал, чтобы обосноваться в этом городе. Впрочем, «обосноваться» — не то слово. У меня не было ни малейшего желания обосновываться. Напротив, мне хотелось, чтобы вокруг меня все оставалось зыбким и непостоянным. Мне казалось, что только это поможет мне сохранить внутреннее равновесие, так сказать, внутреннюю основательность, хотя, по правде говоря, я понятия не имел, в чем она состоит. Вот почему, использовав целую цепочку рекомендаций и получив предложение занять место редактора в журнале «Проблемы очистки воздуха», я переехал в этот город и стал искать квартиру.

Кому не известно, что едва ты сошел с поезда и очутился в незнакомом городе, то для тебя он весь в привокзальном районе.

[illegible] и кружишь, и тебе все время попадаются улицы одна [illegible] и непригляднее другой, неизменно оказываешься среди каких-то мастерских, складов, кабачков с цинковыми стойками, грузовиков, извергающих тебе в лицо клубы ядовитого дыма; перекладываешь чемодан из одной руки в другую и чувствуешь, что белье противно липнет к спине, а потные руки отекли и не слипаются, ты взвинчен, нервничаешь, и все, что проходит у тебя перед глазами, тоже как бы взвинчено и изломано. Как раз на такой улице я и приискал себе подходящую меблированную комнату. Я шел, то и дело останавливаясь, чтобы перехватить чемодан другой рукой, и вдруг увидел у одного из подъездов две грозди болтающихся на веревочках картонных прямоугольников, вырезанных из обувных коробок, с печатями в углу и коряво написанными объявлениями о сдаче комнат. Я вошел. На каждой лестнице, на каждом этаже сдавалось по нескольку комнат. Выбрав лестницу «В», я поднялся на второй этаж и позвонил.

Комната была самая обыкновенная, немного темноватая, потому что единственное ее окно выходило во двор. Собственно, это было не окно, а дверь, которая вела на огражденную ржавыми перилами галерею, тянувшуюся вокруг двора, так что комната была совершенно изолирована от остальной квартиры. Однако, чтобы попасть в нее, надо было пройти через несколько дверей, которые всегда были заперты на ключ. Хозяйка, синьорина Маргарити, была глуха и потому имела все основания опасаться воров. Ванна отсутствовала, уборная, представлявшая собой дощатую будочку, помещалась на галерее. В комнате стоял умывальник, над которым торчал один водопроводный кран. Горячей воды не было. Впрочем, чего же мне еще искать? Плата меня устраивала, потому что комната дороже была бы мне не по карману, а дешевле я, пожалуй, и не нашел бы; кроме того, именно здесь я и мог обрести те зыбкость и непостоянство, к которым стремился.

— Да-да, я готов,— сказал я синьорине Маргарити, которая, решив, что я спрашиваю ее, как быть в случае холодов, указала на печку.

Я уже разглядел все, что нужно, и теперь мог оставить чемодан и уйти. Но прежде я подошел к умывальнику и повернул кран. Еще на вокзале я мечтал вымыть руки, но мне лень было открывать чемодан и доставать мыло, и я решил только слегка сполоснуть их.

— О, что же вы не сказали? Я вам сию минуту принесу полотенце! — воскликнула синьорина Маргарити.

Она выбежала из комнаты и, вернувшись с хорошо выглаженным полотенцем, повесила его на спинку стула. Чтобы освежиться, я плеснул немного воды в лицо и, ничуть не освежившись, стал вытираться полотенцем. Тут наконец хозяйка поняла, что я беру комнату.

— Ах, так вы согласны! Значит, снимаете? Вот и хорошо!

…жалуйста, переодевайтесь, распаковывайте чемодан, располагайтесь как дома, вот тут вешалка, давайте мне пальто!

Пальто я не снял, потому что собирался уходить. У меня оставалась последняя забота — сказать хозяйке, что мне нужен книжный шкаф, поскольку вскоре должен был прийти ящик с моими книгами, той скромной библиотечкой, которую мне удалось собрать, несмотря на беспорядочную жизнь. После долгих усилий мне наконец удалось объяснить глухой, чего я хочу. Поняв, в чем дело, она повела меня в свои комнаты, показала маленькую этажерку, где лежали ее коробки для рукоделья, шкатулочки с катушками, выкройки и образцы вышивок, и объяснила, что может освободить ее и перенести в мою комнату. Я вышел на улицу.

Журнал «Проблемы очистки воздуха» был органом одной частной компании. В редакцию этого журнала мне и предстояло сейчас явиться, чтобы ознакомиться со своими обязанностями. Новая работа, другой город… Будь я немного помоложе или имей чуть больше оптимизма, все это меня бы воодушевило, взбодрило. Но сейчас… сейчас я видел только окружавшие меня серость, убожество и желал погрузиться в них с головой — не потому, что примирился с ними, нет, просто это мне нравилось, мне было даже приятно лишний раз убедиться в том, что жизнь и не может быть иной. Я доходил до того, что, выбирая дорогу, старался блуждать самыми захолустными, узенькими, безымянными переулками, хотя иной раз было бы гораздо проще выйти на большие улицы со сверкающими витринами и шикарными кафе. Но мне было жаль покидать прохожих с изможденными лицами, убогие фасады дешевеньких закусочных, затхлые лавчонки, жаль отрешиться от звуков, постоянно сопровождающих человека на узеньких улицах,— от грохота трамваев, визга тормозящих грузовиков и шипения паяльников, доносившегося из подворотен. И если бы я вдруг расстался с окружавшими меня усталостью и скрежетом, то, пожалуй, стал бы придавать слишком большое значение усталости и скрежету, которые я носил в себе.

Но чтобы добраться по указанному адресу, мне все же пришлось в какой-то момент вступить в другой, аристократический, утопающий в зелени район, застроенный старинными особняками, район, где на тихих улицах почти не было машин и где главные магистрали были настолько широки, что транспорт на них не скапливался и двигался почти бесшумно. Наступала осень. Некоторые деревья стояли все в золоте. Вдоль тротуаров тянулись уже не стены домов, а литые решетки оград, за которыми были видны ряды кустов, клумбы, усыпанные гравием аллейки и в центре высились нарядные дома с лепными украшениями — нечто среднее между дворцами и загородными виллами. Я и здесь чувствовал свою отстраненность, но несколько иного рода: я больше не узнавал себя в окружающих предметах и не смог бы угадать по ним будущее. Не то чтобы я верил в приметы, но для впечатлительного человека, оказавшегося в незнакомом месте,

[illegible] попавшаяся на глаза вещь всегда что-то значит и в каком-то смысле примета.

Потому-то, наверно, я и был немного сбит с толку, когда, войдя в помещение, нашел вовсе не то, что ожидал. Передо мной были залы фамильного дворца с зеркалами, консолями, мраморными каминами, коврами и штофными обоями (правда, сама мебель была уже из нынешней эпохи, вполне подходящая для учреждения двадцатого века, да и освещение вполне современное — лампы дневного света). Мне сразу же стало как-то неловко за мое новое жилище — такое убогое и темное. Это чувство усилилось, когда меня провели в кабинет главы компании, инженера Кордá, который немедленно меня принял, встретив с преувеличенной сердечностью, как равного себе не только по общественному и служебному положению — что уже было для меня невыносимо,— но и по опыту и знанию тех проблем, которыми занималась компания и журнал «Проблемы очистки воздуха». И хотя, если говорить откровенно, работу в этом журнале я считал не более чем случайным, временным занятием, за которое берешься только потому, что нужно что-то делать,и о котором говоришь с усмешкой, все-таки пришлось притворяться, будто я всю жизнь мечтал работать именно здесь.

Инженеру Корда было лет пятьдесят; подтянутый, с черными усами, он явно принадлежал к тому типу людей, которые, несмотря ни на что, навсегда сохранили моложавый вид и с которыми у меня никогда не было ничего общего. Все в инженере Корда: и манера говорить, и одежда (на нем был безукоризненный серый костюм и ослепительной белизны рубашка), и жесты (чтобы придать словам бóльшую весомость, он размахивал рукой с зажатой между пальцами сигаретой) — все свидетельствовало о том, что он человек энергичный, обходительный, жизнерадостный и свободный от предрассудков. Он показал выпущенные без меня номера «Проблем очистки воздуха», подготовленные им (он был главным редактором журнала) совместно с заведующим отделом печати доктором Авандеро (мне его представили позже, и он оказался одним из тех субъектов, которые говорят так, словно читают речь, заранее отпечатанную на машинке). Номеров было немного, все тоненькие, и чувствовалось, что делали их дилетанты. Воспользовавшись своими скромными сведениями о том, как выпускаются журналы, я осторожно и, само собой разумеется, не критикуя уже сделанную работу стал объяснять ему, каким, на мой взгляд, должен быть журнал и какие бы я предложил технические усовершенствования. Я решил взять тот же тон, что был у него: тон человека практического, уверенного в том, что он может принести пользу, и с удовлетворением заметил, что мы начинаем понимать друг друга. С удовлетворением, потому что чем больше я притворялся деятельным оптимистом, тем больше думал о той нищей комнатушке, которую только что снял, об убогих улицах, о том назойливом, разъедающем душу чувстве,

[illegible] в кости внутри, о моем полнейшем безразличии ко всему [illegible]ете, и мне казалось, что мы только играем в авторитет, что [illegible] у инженера Корда и доктора Аванцеро я превращаю в бесформенную кучу пыли все их знания и опыт в области техники и промышленности, а они даже не замечают этого, и Корда, [illegible]шевившись, согласно кивает.

— Великолепно! Значит, вы с завтрашнего дня. Непременно. Договорились. А пока...— говорил мне Корда,— пока, чтобы ввести вас в курс дела...

Чтобы ввести меня в курс дела, он собирался дать мне на прочтение протокол их последнего конгресса.

— Вот.— Он подвел меня к одному из шкафов, в котором высились стопы отпечатанных на гектографе докладов.— Видите? Возьмите, пожалуйста, вот этот, затем вот этот, а этот у вас уже есть? Ну вот, пересчитайте, все ли,— говорил он, вытаскивая нужные тетради и складывая их на столе.

И тут я увидел, что с каждой из них взлетает облачко пыли и на каждой от самого легкого прикосновения пальцев остаются следы. Инженер Корда тоже заметил это. Теперь, перед тем как взять очередную тетрадку, он легонько дул на нее и старался незаметно встряхнуть, делая вид, будто это выходит нечаянно и он не догадывается, что листы запылены. Он внимательно следил за тем, чтобы ненароком не коснуться пальцем первой страницы какого-нибудь доклада, но стоило ему задеть ее кончиком ногтя, и на листе появлялась изломанная белая полоска, благодаря которой сразу было видно, что бумага совсем серая от покрывающего ее тончайшего слоя пыли. И все-таки, несмотря на все меры предосторожности, кончики пальцев у него, видимо, становились грязными. Чувствуя это, он все время пытался их обтереть, то подгибая к ладони, то вытирая большим пальцем и в результате пачкая пылью всю руку. Тогда он машинально опускал ее, словно желая вытереть о свои серые фланелевые брюки, но вовремя спохватывался и снова брался за доклады. Так мы передавали друг другу эти тетрадки, растопырив пальцы и стараясь брать за самый краешек, будто это были листья крапивы, и при этом не переставали улыбаться, радостно соглашаясь друг с другом, снова улыбаться и наперебой восклицать:

— О да, очень интересный конгресс! О, какая благородная деятельность!

Однако я заметил, что инженер все больше чувствует себя не в своей тарелке. Он был уже не так уверен в себе, как раньше, и с трудом выдерживал мой торжествующий взгляд, торжествующий и в то же время отчаянный, потому что все получалось именно так, как я думал.

Заснул я поздно. Комната, сперва показавшаяся такой тихой, ночью наполнялась всевозможными звуками, которые я мало-

[illegible] начинал распознавать. Временами до меня доносился искаженный динамиком голос, отдававший какие-то неразборчивые распоряжения. Задремав, я тотчас же просыпался с мыслью, что еду в поезде, потому что по интонации и тембру голос не отличался от выкриков вокзальных громкоговорителей, долетающих ночью до слуха дремлющих пассажиров. Я начал прислушиваться, и в конце концов мне удалось разобрать некоторые слова.

— Два раза равиоли[1] под соусом...— гремел динамик.— Один бифштекс... Одну вырезку...

Комната помещалась как раз над кухней пивного бара «Урбано Раттацци», где горячие блюда подавались даже после полуночи. Приняв заказ, официанты прямо от стойки через микрофон передавали его поварам. Часто в комнату врывался из бара приглушенный гомон или слышалось нестройное пение какой-нибудь компании. А вообще это было приличное, довольно дорогое заведение — всякий сброд в такие не ходит. Редко случалось, чтобы кто-нибудь из посетителей, напившись, устроил среди ночи дебош и начал опрокидывать столики с посудой. Голоса, которые я слышал сквозь дрему, голоса чужой бессонной жизни, казались глухими, бесцветными, лишенными живых интонаций, словно доносившимися из тумана, а гнусавый голос динамика был полон безропотной тоски.

— На гарнир жареный картофель!.. Будут когда-нибудь готовы равиоли?..

Около половины третьего бар «Урбано Раттацци» опускал гофрированные жалюзи. Из кухонной двери выходили официанты; подняв воротники пальто, надетых поверх форменных тирольских курток, они, переговариваясь, проходили по двору. Около трех двор наполнялся грохотом железа — подсобные рабочие выволакивали с кухни пустые тяжелые бидоны из-под пива; они катили их, опрокинув набок, складывали, со звоном ударяя друг о друга, а потом принимались мыть. Этот народ терпеть не мог тишины. Они, несомненно, на почасовой оплате, поэтому работали с прохладцей, посвистывая, и битых два часа неистово гремели гулкими цинковыми чудовищами. Около шести утра во двор въезжал грузовик пивоваренного завода, привозил полные бидоны и забирал пустые. К этому времени в зале «Урбано Раттацци» уже гудели электрополотеры: начинался новый день.

В минуты тишины, глубокой ночью, из погруженных во мрак комнат синьорины Маргарити вдруг вырывалось частое-частое бормотание, смешки, вопросы и ответы, произносимые одним и тем же пронзительным женским фальцетом. Все, что думала, глухая говорила вслух: она не умела различать эти два действия и потому в любой час дня или даже проснувшись среди ночи принималась беседовать сама с собой и, одолеваемая своими

---

[1] Итальянское блюдо, похожее на русские пельмени.

...угрызениями, разыгрывала в лицах [illegible]. К счастью, она тараторила с таким пылом, что [illegible] было разобрать, однако трудно было избавиться от неприятного чувства, будто ты подслушиваешь чужие [illegible].

Когда, неожиданно зайдя в кухню, чтобы попросить горячей воды для бритья (стука она не слышала, поэтому я вынужден был попадаться ей на глаза, чтобы известить о своем присутствии), я видел ее через зеркало — она разговаривала со своим отражением, улыбалась ему, строила гримасы или же рассказывала себе какие-то истории, сидя на стуле и вперив взгляд в пустоту. В этом случае она тотчас спохватывалась и говорила: «Вот заговорилась тут с котом...» или «Ах, извините, не заметила вас, [illegible]...» (она была очень набожна); но чаще всего она вовсе не отдавала себе отчета в том, что ее слышат.

Многие ее тирады действительно были обращены к коту. Она могла говорить с ним часами. Иногда по вечерам она [illegible] у окна и, поджидая, когда он вернется домой после своих скитаний по балконам, крышам и чердакам, не переставая [illegible]: «Кис-кис-кис... котя-котя-котя...» «Котя» был тощим диким котом с черной шерстью, которая после каждой его прогулки становилась пепельно-серой, словно он вбирал в себя всю пыль и сажу квартала. Завидев меня издали, он опрометью мчался прочь и прятался под какую-нибудь мебель, как будто я собирался по меньшей мере дать ему пинка, на самом деле я даже не глядел в его сторону. Зато, как видно, в мое отсутствие он частенько забирался ко мне в комнату. Воротничок и манишка свежевыстиранной белой рубашки, которую хозяйка раскладывала на мраморной крышке комода, вечно были испещрены черными кошачьими следами. Я начинал кричать и ругаться, но, опомнившись, замолкал — ведь глухая все равно меня не слышала — и, захватив рубашку, нес ее на половину хозяйки, чтобы она своими глазами увидела это безобразие. Она сокрушенно всплескивала руками, бросалась искать кота, чтобы примерно наказать его, и принималась мне объяснять, что, по всей вероятности, в тот момент, когда она входила ко мне, чтобы положить рубашку, кот незаметно прошмыгнул следом, и она заперла его в комнате, а потом он захотел выйти, обнаружил, что дверь заперта, и со злости прыгнул на комод.

У меня было всего три рубашки, и мне то и дело приходилось отдавать их в стирку. Не знаю почему, то ли жизнь, которую я вел, была слишком неустроенной, то ли в редакции, где я работал, надо было убирать получше, но только к середине дня рубашка на мне оказывалась совершенно грязной. К тому же мне частенько приходилось отправляться на службу с кошачьими следами на воротничке.

Нередко я находил эти следы даже на подушке. Видно, кот [illegible] оказался запертым в комнате, потому что прошмыгнул за

синьориной Маргарити, которая приходила по вечерам перестелить постель.

Впрочем, стоило ли удивляться, что кот был такой грязный? Ведь достаточно было положить руку на балконные перила, как на ладони отпечатывалась черная полоса. Каждый раз, когда я возвращался домой, повозившись предварительно с ключами у четырех внутренних и висячих замков и дважды просунув пальцы между планками жалюзи, чтобы открыть и снова закрыть свою дверь-окно, руки мои становились такими грязными, что, очутившись наконец в комнате, я поднимал их кверху, чтобы чего-нибудь не запачкать, и прежде всего направлялся к умывальнику.

Вымыв и вытерев руки, я сразу чувствовал огромное облегчение, как будто вновь обрел их после долгого перерыва, и принимался трогать и переставлять те немногие предметы, которые меня окружали. Надо сказать, синьорина Маргарити держала комнату в относительной чистоте. Пыль она вытирала каждый день, но когда мне случалось прикоснуться к такому месту, до которого она не могла дотянуться (она была очень маленького роста, с короткими ручками), как пальцы у меня опять покрывались пушистым слоем пыли, и надо было снова мыть руки.

Хуже всего обстояло с книгами. Я аккуратно разложил их на этажерке синьорины Маргарити и только благодаря им чувствовал себя в этой комнате до некоторой степени дома. Работа моя оставляла мне достаточно свободного времени, и я с удовольствием провел бы часок-другой за чтением. Но, по-видимому, ни одна вещь не способна так пропитываться пылью, как книги. Если я брал с полки одну из них, то, прежде чем открыть, должен был со всех сторон обтереть ее тряпкой, а потом еще хорошенько постукать ею обо что-нибудь, причем каждый раз из нее вылетало целое облако пыли. Затем я снова мыл руки и только после этого ложился на кровать и принимался за чтение. Но стоило перевернуть несколько страниц, и я убеждался, что все мои старания пропали даром, так как пальцы вскоре покрывались сперва едва заметным, а потом все более толстым и густым налетом пыли, отравляя мне всякое удовольствие от чтения. Я вставал, шел к умывальнику, еще раз ополаскивал руки, но теперь уже чувствовал, что пропылилась и рубашка, и вообще вся одежда. Мне хотелось почитать еще немного, но теперь у меня были чистые руки — жалко было их пачкать. И я в конце концов решал уйти.

Само собой разумеется, выходя, я повторял все манипуляции с жалюзи, перилами, замками, и руки у меня становились еще грязнее, чем прежде; но тут уж я ничего не мог поделать — надо было терпеть до тех пор, пока я не приходил на службу. Добравшись до редакции, я немедленно бежал в уборную мыть руки. Однако висевшее там полотенце было все в пятнах, и, прикасаясь к нему руками, я не столько вытирал их, сколько снова пачкал.

Первые дни своей службы я посвятил тому, чтобы навести порядок на отведенном мне письменном столе, который загромождала целая гора всякой всячины — каких-то рукописей, писем, папок, старых газет. Очевидно, до моего прихода на этот стол сваливали без разбору все, чему не могли найти постоянного места. Сперва я решил было совершенно освободить его от бумаг, но, начав разбираться, обнаружил, что среди них немало материалов, нужных для журнала и вообще довольно интересных; я дал себе слово поизучить их более обстоятельно. Словом, уборка кончилась тем, что я не только ничего не выбросил, но к старым бумагам добавил много новых. Правда, теперь все это уже не валялось бесформенной грудой, а было приведено в порядок, который я старался поддерживать. Понятно, что все завалявшиеся на столе бумаги были насквозь пропылены, и от них набирались пыли только что положенные мною кипы. Ревниво охраняя наведенный порядок, я приказал уборщицам ничего не трогать на моем столе; это привело к тому, что каждый день на бумаги садился тонкий слой пыли и даже новые писчие принадлежности — белые листы, конверты с грифом фирмы — меньше чем за неделю приобретали такой жалкий и грязный вид, что до них противно было дотронуться.

В ящиках стола творилось то же самое. Там десятилетиями наслаивались друг на друга пропыленные кипы бумаг — свидетельство того, что мой стол имел уже немалый стаж службы в разных государственных и частных конторах. Что бы я ни делал за этим столом, через несколько минут я уже ощущал потребность вымыть руки.

А вот у моего коллеги, доктора Авандеро, руки — хрупкие, изящные, но вместе с тем лишенные чрезмерной нервной чувствительности — всегда оставались чистыми, выхоленными, с блестящими белыми, ровно подрезанными ногтями.

— Простите,— решился я как-то спросить его,— неужели у вас не бывает, что, как только вы посидите немного здесь, за столом, руки сразу становятся... вот, полюбуйтесь, видите, какие грязные?

— По-видимому, доктор,— по своему обычаю сокрушенно ответил Авандеро,— вы брались за какие-нибудь вещи или бумаги, с которых недостаточно хорошо стерли пыль. Если позволите, я дам вам совет. Видите ли, самое лучшее — чтобы на столе никогда не было ни одной бумажки.

И в самом деле, на безукоризненно чистом полированном столе Авандеро не было абсолютно ничего, кроме того материала, с которым он в данный момент работал, и шариковой ручки, которую держал в руке.

— Эту привычку,— добавил он,— весьма ценит директор.

Действительно, инженер Корда как-то говорил мне, что если на столе у руководителя нет ни одной бумажки, то сразу видно, что этот руководитель никогда не запускает дел и способен

быстро решить любую проблему.

Но самого Корда никогда не бывало на месте, а если он и появлялся изредка в своем кабинете, то не больше чем на четверть часа. Он сразу же требовал статистические данные и графики, вычерчиваемые на огромных листах бумаги, отдавал быстрые и не очень конкретные распоряжения подчиненным, распределял задания, нисколько не заботясь о том, кому достанется более легкое, а кому потруднее, молниеносно диктовал стенографистке несколько писем, подписывал готовую к отправке корреспонденцию и исчезал.

А вот Авандеро, наоборот, с утра до вечера просиживал в редакции с таким видом, будто трудится не покладая рук, заваливал работой стенографисток и машинисток и при этом умудрялся все делать так, чтобы ни одна бумажка не задерживалась у него на столе больше десяти минут. Этого уж я никак не мог вынести и принялся подсматривать за ним. Вскоре я заметил, что, полежав некоторое время у него на столе, бумаги неизменно перекочевывали к кому-нибудь другому и там оседали. Однажды я застиг его в тот момент, когда он, повертев в руках несколько писем и не зная, что с ними делать, подошел к моему столу (я как раз в это время вышел, чтобы вымыть руки), положил их среди других бумаг и прикрыл папкой. После этого, вытащив из кармана носовой платок, он обтер руки и вновь уселся перед своей шариковой ручкой, лежащей параллельно краю девственно чистого листа бумаги.

Я имел полную возможность войти и поставить его в глупое положение. Но мне достаточно было увидеть это, достаточно было убедиться, что все обстоит именно так, как я предполагал.

Я входил к себе в комнату через балкон, поэтому остальная часть квартиры оставалась для меня в полном смысле слова белым пятном. Синьорина Маргарити жила одна, сдавая две соседние комнаты, выходившие во двор. Одну из них занимал я, что же касается другого жильца, то о его существовании я догадывался только по тяжелым шагам, долетавшим ко мне через стену рано утром и глубокой ночью. Он, как я узнал, служил сержантом в полиции, и днем его никогда не бывало дома. Вся остальная — судя по всему, достаточно просторная — часть квартиры оставалась в полном распоряжении синьорины Маргарити.

Иной раз мне приходилось разыскивать ее, чтобы позвать к телефону. Звонка для нее не существовало, и в конце концов отвечать должен был я. Но голос в трубке она слышала достаточно хорошо, и длинные беседы с приятельницами по приходской общине были одним из главных ее развлечений.

— К телефону! Синьорина Маргарити! Вас просят к телефону! — кричал я ей в дверь.

Однако кричать, а тем более стучать к ней было совершенно

бесполезно. Надо было идти и разыскивать ее; во время своих блужданий по хозяйской половине я воочию убедился в существовании длинного ряда комнат — гостиных, столовых, загроможденных обветшалой, но претенциозной мебелью, абажурами, разными безделушками, картинками в рамках, статуэтками и календарями. Во всех комнатах царили идеальный порядок и чистота — везде блестел натертый паркет и сияли белоснежные чехлы на креслах. Вот уж где не было ни пылинки.

В какой-нибудь из дальних комнат я находил наконец синьорину Маргарити. В косынке и вылинявшем халатике она самозабвенно полировала паркет или протирала мебель. Я принимался неистово махать руками в сторону телефона, глухая бежала в коридор и заводила свои бесконечные разговоры, по интонации ничем не отличавшиеся от ее бесед с котом.

Я возвращался к себе в комнату, замечал на подставке умывальника или на абажуре слой пыли чуть не в палец толщиной, и меня охватывала страшная ярость. Эта женщина целыми днями только тем и занималась, что наводила чистоту и порядок в своих комнатах, а у меня не удосужилась хотя бы смахнуть пыль! Круто повернувшись, я снова направлялся к хозяйке с твердым намерением выразить ей свое возмущение — если не на словах, то хотя бы пользуясь жестами и гримасами,— и заставал ее в кухне. Тут было еще грязнее, чем у меня в комнате. На столе заляпанная, потертая клеенка, в буфете немытые чашки, пол черный от грязи, с расшатанными кафельными плитками. И у меня опускались руки: я понимал, что кухня была единственным во всей квартире местом, где синьорина Маргарити действительно жила, а все остальное, все эти разукрашенные, без конца подметаемые и натираемые комнаты были чем-то вроде произведения искусства, в которое она вкладывала свои мечты о красоте; и, желая сохранить их идеальное совершенство, она обрекала себя на то, чтобы никогда в них не жить, чтобы входить туда не хозяйкой, а лишь прислугой и чтобы оставшиеся после уборки часы проводить в грязи и пыли.

«Проблемы очистки воздуха» выходили два раза в месяц и имели подзаголовок: «От дыма, от вредных химических испарений и продуктов сгорания». Журнал был органом КОАГИПР — «Компании по очистке атмосферы городов и промышленных центров». КОАГИПР был связан с родственными организациями других стран, присылавшими свои бюллетени и брошюры. Нередко созывались международные конгрессы, посвященные прежде всего обсуждению остро стоящей проблемы смога.

Мне никогда не приходилось заниматься подобными вопросами, но я знал, что выпускать такой специальный журнал легче, чем кажется на первый взгляд. Для этого, как правило, просматривают иностранные журналы, некоторые статьи переводят, к

ним добавляют заметки, полученные из агентства газетных вырезок,— и вот уже готова информационная часть. Кроме того, всегда находятся два-три специалиста, готовые в любой момент прислать нужную статейку, или какой-нибудь изобретатель, желающий оповестить всех об очередном своем творении, просит напечатать в виде статьи описание его нового патента. Да и компания со своей стороны, как ни мизерна ее деятельность, всегда может поместить какое-нибудь сообщение о текущих задачах — его набирают обычно жирным шрифтом. А когда проходит какой-либо конгресс, то ему посвящается по меньшей мере номер от первой до последней страницы, и еще останутся доклады и отчеты, которые можно растянуть на несколько номеров, если нечем будет заполнить три-четыре полосы.

Писать передовицу входит в обязанность главного редактора, он же президент компании. Однако инженер Корда, вечно до предела занятый (он был членом правления многих предприятий и компании мог уделять лишь ничтожную часть своего времени), тут же перепоручил это дело мне. Я должен был развить в ней идеи, которые он изложил мне с присущей ему ясностью и лаконизмом. Статью надлежало подготовить к его приезду. Разъезжал он много, так как его предприятия были разбросаны чуть ли не по всей стране. Но из всей его обширной деятельности президентство в КОАГИПРе - должность почетная, но ничего, кроме почета, не приносившая — давало ему, по его словам, самое большое удовлетворение, «ибо,— пояснил он,— это битва, которую я веду из идейных соображений».

У меня, напротив, никаких идейных соображений не было, и я совершенно не хотел их иметь. Единственное, чего я хотел,— это написать статью, которая бы ему понравилась, чтобы сохранить за собой место — оно было не лучше и не хуже всякого другого — и свой образ жизни, потому что он тоже был не лучше и не хуже любого возможного образа жизни. Я уже ознакомился с тезисами инженера Корда («Если бы все последовали нашему примеру, атмосфера была бы уже чистой...»), с его излюбленными формулировками («Мы не утописты, пусть каждый имеет это в виду, мы деловые люди, которые...») и готовился писать именно так, как он ожидал, слово в слово. А что я еще должен был написать? То, что думал, до чего дошел собственным умом? Хорошенькая бы вышла статья, уверяю вас! Какой в ней был бы оптимистический взгляд на весь этот деловой мир — мир людей, приносящих пользу! Но стоило мне перевернуть вверх ногами свое душевное состояние (сделать это я мог без труда — достаточно было обозлиться на себя самого), и я уже чувствовал вдохновение, необходимое для того, чтобы написать передовицу в стиле моего президента.

«Мы уже стоим на пороге разрешения проблемы летучих продуктов сгорания,— писал я,— и оно наступит, непременно наступит,— я отчетливо представлял удовлетворенную улыбку на

...инженера,— и тем скорее, чем более ясное понимание ...учит действенный импульс, данный технике Частной Инициативой — (в этом месте инженер, по всей вероятности, взмахнет рукой, чтобы выделить мою мысль),— со стороны органов Государства, к которым уже столько раз взывали...»

Это место я прочел вслух доктору Авандеро. Пока я читал, Авандеро смотрел на меня с обычной своей бесцветно-вежливой миной, и его маленькие холеные ручки ни разу не сдвинулись с чистого листа бумаги, лежавшего в центре его письменного стола.

— Ну что скажете? Вам не нравится?

— Нет, что вы, что вы!..— поспешно проговорил он.

— Тогда послушайте конец: «Возражая тем, кто предрекает промышленной цивилизации самое мрачное и катастрофическое будущее, мы утверждаем, что никогда не возникнет (как, впрочем, никогда в действительности и не возникало) противоречия между свободным и закономерным расширением промышленности и требованиями необходимой для человеческого организма гигиены,— читая, я несколько раз бросал взгляд на Авандеро, но он не отрывал глаз от листа бумаги перед собой,— между дымом наших неутомимых заводских труб и голубизной и зеленью несравненных красот нашей природы...» Ну, как по-вашему?..

Некоторое время Авандеро без всякого выражения смотрел на меня, не разжимая губ.

— По-моему,— сказал он,— ваша статья, несомненно, очень хорошо выражает самую суть... скажем так, конечной цели, которую выдвигает наша компания. Действительно, всеми силами стремиться...

— Хм,— пробормотал я.

Признаться, я ожидал, что даже такой церемонный субъект, как мой коллега, не станет все же прибегать к подобным выкрутасам, чтобы похвалить мою статью.

Дня через два, как только вернулся инженер Корда, я явился к нему и отдал передовицу. Он при мне внимательно прочитал ее, дойдя до последней строчки, аккуратно собрал листы, словно собирался прочесть еще раз, но вместо этого сказал:

— Хорошо.— Подумал немного и повторил:— Хорошо.— Еще немного помолчал и добавил:— Вы молоды.

И, как видно ожидая, что я стану возражать, хоть я и не думал этого делать, быстро заговорил:

— Нет, я, позвольте вам заметить, вовсе не собираюсь критиковать вас. Вы молоды, полны веры, смотрите далеко вперед. Но положение, позвольте вам заметить, очень серьезно, да-да, гораздо серьезнее, чем можно заключить из вашей статьи. Будем говорить начистоту: опасность отравления атмосферы больших городов чрезвычайно велика. Положение тяжелое, это подтверждают результаты анализов. Именно потому, что проблема так сложна, мы и работаем здесь над ее разрешением. Если мы ее не решим, то наши города задохнутся в облаке смога.— Он

поднялся и начал ходить взад и вперед по комнате.— Мы не скрываем трудностей. Мы не похожи на других — на тех, которые обязаны были бы прежде всего заниматься этим делом, а на самом деле на него плюют. Хуже того — ставят нам палки в колеса.— Он остановился против меня и, понизив голос, продолжал: — Именно потому, что вы молоды, вы, возможно, полагаете, что все с нами согласны. Нет! Наоборот! Нас очень мало. И на нас нападают со всех сторон. Да-с, молодой человек! Со всех сторон. И все-таки мы не опускаем руки. Мы во всеуслышание говорим об опасности. Мы действуем, наконец. Решаем проблему. Вот что я хотел бы ясно услышать в вашей статье. Вы поняли?

Да, я отлично понял. В своем озлоблении, притворяясь, что стою на точке зрения, противоположной моей собственной, я хватил через край. Но теперь-то уж я сумею правильно расставить акценты в моей статье. Новая передовица должна была лежать на столе у инженера через три дня. Я переписал ее с начала до конца. Две трети статьи заняла мрачная картина европейских городов, пожираемых смогом, одну треть я отвел на описание образцового города, нашего города, светлого, богатого кислородом, где разумные и целенаправленные усилия различных звеньев не разобщены, и так далее.

Чтобы легче было сосредоточиться, я писал статью дома, лежа на кровати. Луч солнца, косо спускавшийся в колодец во дворе, пробирался через стекла в комнату, и я видел, как сквозь него проносились мириады неосязаемых пылинок. Одеяло, на котором я лежал, наверно, было сплошь пропитано ими. Еще немного, думал я, и оно покроется таким же черным налетом, как планки жалюзи и перила галереи.

Доктор Авандеро, когда я дал ему почитать свою новую статью, отнесся к ней, как мне показалось, чуть доброжелательнее, чем к первой.

— Этот контраст,— сказал он,— контраст между положением в нашем городе и в других городах, который, я уверен, вы ввели по указанию президента, по-настоящему удался вам

— Нет-нет, инженер мне ничего не говорил, это моя находка,— возразил я, немного уязвленный тем, что коллега не считает меня способным самостоятельно мыслить.

Реакция Корда явилась для меня неожиданностью. Он положил отпечатанные листы на стол и покачал головой.

— Нет, мы не поняли друг друга, не поняли друг друга,— быстро сказал он и принялся засыпать меня цифрами, характеризующими объем промышленного производства в нашем городе, количество угля и нефти, сжигаемых ежедневно, число двигателей внутреннего сгорания, каждый день появляющихся на улицах. Потом он перешел к метеорологическим данным, а после этого молниеносно сравнил те и другие показатели с показателями крупнейших европейских городов.— Мы живем в огромном задымленном промышленном центре. Вы понимаете? А отсюда ясно,

...есть также и у нас, и не меньше, чем в любом другом ... Так можно ли утверждать, уподобляясь конкурирующим с ... городам в нашей собственной стране, что у нас смога ... , чем у них? Нет, нельзя, и об этом вы можете совершенно ... написать в своей статье, и не только можете, но ... должны написать! В нашем городе проблема загрязненности ... стоит острее, чем где бы то ни было, но в то же время ... делаем больше, чем кто бы то ни было, для того, чтобы быть ... высоте положения. В то же самое время, вы понимаете?

Я понимал, но понимал также, что нам никогда не понять друг друга. Эти почерневшие фасады домов, эти мутные стекла, эти подоконники, на которые нельзя облокотиться, эти расплывчатые пятна вместо человеческих лиц, эта мгла, которая теперь, в самый разгар осени, уже не ощущалась как влажное дыхание непогоды, а стала как бы принадлежностью, свойством самих предметов, словно каждое живое существо, каждая вещь день ото дня становились все более бесформенными, обесцвечивались и мертвели,— словом, все то, что для меня было олицетворением всеобщей нищеты, для таких, как он, служило, по-видимому, признаком богатства, превосходства и могущества и вместе с тем кричало об опасности уничтожения, о трагедии и тем самым давало возможность этим людям топтаться на месте, чувствуя себя исполненными героического величия.

Я в третий раз переписал статью. Теперь она получилась. Только самый конец («Итак, мы находимся перед лицом проблемы, таящей в себе страшную опасность для общества. Решим ли мы ее?») вызвал у инженера Корда некоторые возражения.

— Не слишком ли это неуверенно?— спросил он.— Не отнимет ли это у читателя убежденность в том, что проблема будет решена?

Проще всего было убрать вопросительный знак. «И мы ее решим». Вот так, без всяких вопросительных знаков — спокойная уверенность.

— А не покажется ли, что мы слишком уж спокойно относимся к этому вопросу?— снова возразил Корд.— Словно это самая заурядная проблема, которую можно решить административным путем?

В таком случае следовало повторить фразу дважды. Один раз с вопросительным знаком, один раз без него: «Решим ли мы ее? Мы ее решим».

Да, но так, возможно, подумают, будто мы откладываем это решение на далекое будущее. Тогда мы попробовали поставить все в настоящем времени. «Решаем ли мы ее? Мы ее решаем». В таком виде фраза не звучала.

Всякий, кто пробовал писать, знает, как это нелегко: переставишь одну-единственную запятую, и приходится подыскивать другое слово, потом изменять конструкцию всего предложения, и вот уже все разлетается вдребезги. Мы проспорили полчаса. Пот...

[illegible] и президента поставить шифры и ответ в разных временах. [illegible] ли мы ее? Мы ее решили. Президент был в восторге [illegible] и мои способности ни разу не были [illegible] [illegible]

Как-то ночью меня разбудил телефон. Звонки были долгими — вызывала междугородная. Я зажег свет, было около трех. И прежде чем я решил встать, раньше чем бросился в коридор и схватил в темноте телефонную трубку, в первое же мгновение, как только до меня сквозь сон смутно долетел телефонный звонок, я уже знал, что это Клаудия.

И вот сейчас из трубки выплескивался ее голос, словно долетавший с другой планеты, и мне казалось, будто у меня перед глазами, еще полными сна, мелькают и гаснут искорки и слепящие вспышки, тотчас же снова превращающиеся в переливы ее голоса, полного той драматической взволнованности, которую она вкладывала во все, о чем бы ни говорила, и которая теперь настигла меня даже здесь, в убогом коридоре синьорины Маргарити. И вдруг я понял: никогда я не сомневался в том, что Клаудия найдет меня, больше того, только ее звонка и ждал я все последние месяцы.

Она даже не подумала спросить, как я жил все это время, как случилось, что я оказался здесь, даже не объяснила, как ей удалось меня найти. Ей нужно было со всеми подробностями рассказать мне тьму вещей, которые, как все ее дела, были крайне запутанны и связаны со сферами, совершенно мне неведомыми и чуждыми.

— Ты мне нужен, сейчас же, немедленно! Приезжай с первым поездом.

— Да, но у меня тут служба... Компания...

— А-а! Так ты, наверно, увидишь коммендаторе... Скажи ему...

— Да нет, пойми, я всего-навсего...

— Милый, приезжай, приезжай сейчас, хорошо?

Как объяснить ей, что я разговариваю из такого места, где все покрыто пылью, где планки жалюзи обросли шершавой черной коростой, что на моих воротничках черные кошачьи следы, что только в этом мире я и могу жить, что во всей вселенной только он подходит для меня, а тот, в котором живет она, может показаться мне реальным только благодаря оптическому обману? Да она бы меня и слушать не стала. Она слишком привыкла смотреть на все сверху вниз и, вполне естественно, просто не заметила бы убожества теперешней моей жизни. И вообще наши отношения, разве не были они плодом этой ее высокомерной рассеянности? Именно рассеянность не позволяла Клаудии ясно понять, что я лишь скромный провинциальный журналист без будущего, без всякого честолюбия, и заставляла ее по-прежнему

казался то мне так, будто я принадлежал к аристократическо кругу богачей и людей искусства, где она все время вращалась, и однажды летом я был ей представлен благодаря чистейшей случайности, какие нередко приключаются на курортах. Да она и не хотела этого понимать, потому что в таком случае ей пришлось бы признаться себе в том, что она ошиблась. И Клаудия продолжала приписывать мне достоинства, влияние и вкусы, которых я был начисто лишен. Вопрос о том, кто я на самом деле, был, в сущности, мелочью, однако в мелочах она не терпела опровержений.

Ее голос становился все нежнее, сердечнее — наступал тот момент, которого я, сам себе в том не признаваясь, все время ждал, потому что такие порывы обычно сметали все перегородки между нами и как бы оставляли нас наедине друг с другом; в такие минуты нам обоим было все равно, кто мы. Однако едва мы успели сказать друг другу несколько нежных слов, как сзади, за стеклянной дверью, зажегся свет и послышался глухой кашель. Эта застекленная дверь, возле которой висел телефон, вела к моему соседу, полицейскому. Моментально понизив голос, я договорил прерванную фразу, но теперь, когда я знал, что меня подслушивают, естественная сдержанность заставляла меня выбирать менее пылкие выражения, и наконец я дошел до того, что стал бормотать какие-то холодные, невнятные фразы. Свет за стеклянной дверью погас, но тут начались упреки на другом конце провода:

— Что ты такое говоришь? Говори громче! И это все, что ты хотел мне сказать?

— Но я же не один...

— Как? С кем же ты?

— Да нет, послушай, здесь... понимаешь, я разбудил соседей, сейчас поздно...

Теперь она сердилась. Не таких объяснений ждала она от меня; ей хотелось, чтобы я откликнулся иначе, более горячо, так, чтобы вдруг улетучилось как дым разделявшее нас расстояние. Но все мои ответы были осторожными, жалобными, заискивающими.

— Но послушай, Клаудия, не надо так, я тебя уверяю, умоляю тебя, Клаудия, я...

В комнате сержанта снова зажегся свет. Мои любовные признания превратились в нытье, я что-то бормотал, почти прижав трубку к губам.

Рабочие во дворе катали пустые бидоны из-под пива. Из темных комнат синьорины Маргарити доносилось невнятное бормотание, прерываемое короткими взрывами смеха, словно у нее были гости.

Сержант разразился проклятиями на своем южном диалекте. Я стоял босиком на кафельном полу, а с другого конца провода страстный голос Клаудии тянулся ко мне, и я со своим бессвяз-

[illegible] жестом пытался броситься ей навстречу, но каждый раз когда нам удавалось перекинуть друг к другу шаткий мостик, как он тут же разлетался в щепки, и слова любви, раздавленные грубым напором обстоятельств, дробились одно за другим, превращаясь в мертвую пыль недомолвок.

С той поры телефон стал звонить в любой час дня и ночи, и в темный коридор рыжим пламенем, испещренным черными провалами пауз, врывался голос Клаудии. Он врывался слепым прыжком леопарда, который не знает, что перед ним ловушка, и потом следующим прыжком уже выскакивает на свободу, даже не заметив предательской западни. Зато я, мечущийся между нежностью и болью, радостью и злостью, я-то видел, как ее голос смешивается с окружающим убожеством и запустением, как смешивается с ревом громкоговорителя в баре «Урбано Раттацци», выкрикивающего: «Один раз равиоли в бульоне», с грязными тарелками синьорины Маргарити в раковине умывальника, и мне казалось, что вот-вот и сама Клаудия замарается всем этим. Но нет, она уносилась прочь по незримым проводам, так ничего и не заметив, и я снова оказывался один на один с пустотой, оставшейся после ее исчезновения.

Иногда Клаудия была весела, беззаботна, смеялась, отвечала невпопад, пыталась подшутить надо мной, и я под конец заражался ее весельем, но в этих случаях мне было еще горше видеть унылый двор и пыль, потому что я готов был поддаться искушению и признать, что жизнь может быть совсем иной.

Иногда же, наоборот, Клаудия казалась подавленной, охваченной какой-то лихорадочной тоской, и эта ее тоска делала еще безрадостнее мое обиталище, мою работу в журнале «Проблемы очистки воздуха», и, не в силах освободиться от своего угнетенного состояния, я жил ожиданием нового, еще более трагического телефонного звонка, ждал, что он разбудит меня в самый глухой час ночи, и, когда вместо этого ее голос, долетавший до меня, оказывался неожиданно веселым или томным, словно она уже совсем не помнила о безысходном отчаянии, владевшем ею накануне вечером, я, прежде чем почувствовать облегчение, еще некоторое время пребывал в совершенной растерянности.

— Алло, ты меня хорошо слышишь? Откуда ты звонишь, из Таормины?

— Да, я здесь с друзьями. Здесь восхитительно! Вылетай немедленно!..

Клаудия звонила всегда из разных городов и каждый раз, тоскуя или радуясь жизни, обязательно требовала, чтобы я немедленно примчался к ней и разделил с ней это ее настроение. Я принимался подробнейшим образом объяснять сй, почему для меня сейчас абсолютно немыслимо двинуться в путь, но она никогда не давала мне договорить, тотчас же перескакивала на

другую тему, чаще всего обрушиваясь на меня с обвинительной речью или вдруг ни с того ни с сего разражаясь взволнованной тирадой по поводу каких-то моих выражений, которые я, сам того не заметив, употребил в разговоре и которые показались ей отвратительными или, напротив, очаровательными.

Когда время разговора кончалось и телефонистки дневной или ночной смены, подключаясь к нам, говорили: «Разъединяем», Клаудия, не задумываясь, словно мы обо всем уже договорились, бросала: «Так в котором часу ты приезжаешь?» Я, запинаясь, принимался что-то бормотать в ответ, и мы решали окончательно договориться в следующий раз, когда она мне позвонит или когда я ей позвоню. Я был уверен, что за это время у Клаудии семь раз переменятся планы, и хотя необходимость в моем немедленном приезде останется, но уже при других условиях, а это оправдает новые отсрочки. И все же в глубине души я чувствовал нечто вроде угрызений совести, так как, положа руку на сердце, не мог сказать, что у меня нет совершенно никакой возможности поехать: ведь я мог, например, попросить аванс в счет будущего месяца и под каким-нибудь благовидным предлогом получить отпуск дня на три, на четыре,— но меня одолевали сомнения, и я грыз себя за свою нерешительность.

Синьорина Маргарити ровно ничего не слышала. Если, проходя по коридору, она видела меня у телефона, то молча кивала мне, не подозревая о тех бурях, что бушевали у меня в душе в эту минуту. Ее жилец, наоборот, из своей комнаты слышал абсолютно все и по своей должности полицейского, должно быть, обращал внимание на малейшее мое движение. К счастью, его почти никогда не бывало дома, и порой наши телефонные разговоры становились по-настоящему свободными и непринужденными: если настроение Клаудии располагало к этому, между нами снова возникала та атмосфера внутренней близости, когда каждое слово звучит теплее, доверчивее и будит самый горячий отклик. Иногда же, напротив, случалось так, что она была в самом нежном расположении духа, а я находился в осаде и мог отвечать только односложными восклицаниями, туманными, уклончивыми фразами, потому что за дверью, на расстоянии одного метра, торчал сержант полиции. Однажды он даже приоткрыл дверь, высунул в коридор свою черную усатую голову и окинул меня любопытным взглядом. Надо сказать, что при других обстоятельствах я попросту не обратил бы внимания на этого человека, однако, когда мы, оба в пижамах, впервые столкнулись лицом к лицу среди ночи в этой дыре — я уже полчаса объяснялся в любви по междугородному телефону, а он недавно вернулся домой с дежурства,— мы, конечно, сразу же возненавидели друг друга.

В разговорах Клаудии частенько проскальзывали громкие имена людей, с которыми она постоянно общалась. Я же, во-первых, ровным счетом никого не знаю, во-вторых, терпеть не

могу привлекать к себе внимание. Поэтому, если мне все же приходилось отвечать ей, я старался не называть имен, говорил обиняками, а она, не понимая, что все это значит, выходила из себя. Кроме того, я всегда держался подальше от политики именно потому, что не люблю выставлять себя напоказ, а сейчас, когда я зависел от компании, контролируемой государством, я тем более поставил себе за правило ничего не знать ни о правых, ни о левых. А Клаудии как-то вечером вдруг взбрело в голову спросить меня об известных депутатах. Надо было что-то отвечать немедля, не задумываясь, а за дверью находился тот сержант.

— Первый, которого ты назвала, да-да, первый,— пробормотал я.

— Кто? Кого ты имеешь в виду?

— Да вот этого — ну, того, что потолще... нет, того, что пониже...

Одним словом, я ее любил. И был несчастен. Но разве она могла понять мое несчастье? Есть люди, которые обрекают себя на самое серое, самое убогое существование из-за того, что пережили какое-то горе, какую-то неудачу, однако есть и другие, которые поступают так потому, что не в силах выдержать слишком большое счастье, выпавшее на их долю.

Я питался в одном из недорогих ресторанчиков, которые в этом городе всегда содержат выходцы из Тосканы. Их семьи связаны между собой родственными узами, а девушки, работающие в этих ресторанах официантками,— все до одной уроженки деревни Альтопашо. Они проводят здесь всю молодость, никогда не забывая об Альтопашо и держась особняком; по вечерам ходят гулять только с парнями из Альтопашо, которые работают при кухне в тех же ресторанах или на заводиках и в механических мастерских, но и в этом случае держатся поближе к ресторанчикам, которые для них нечто вроде околиц их деревни. Рано или поздно эти девушки и парни женятся, некоторые возвращаются в Альтопашо, другие оседают в городе, работают в ресторанах своих родственников и односельчан в надежде в один прекрасный день открыть собственное дело.

Известно, кто питается в таких ресторанах. Если не считать случайных посетителей, сюда ходят главным образом холостые служащие, старые девы из контор, несколько студентов и военных. Все здесь знают друг друга, между столиками завязываются разговоры, потом организуются общие столы, и наконец, у людей, которые в общем-то не поддерживают знакомства, входит в привычку обедать вместе.

Ни один из завсегдатаев никогда не упустит случая пошутить с официантками. Шутки, понятно, самые добродушные: тосканок спрашивают об их суженых, обмениваются остротами, а если не находится подходящей темы для беседы, обращаются к телевидению, обсуждают, кто из актеров, участвовавших в последних

программах, симпатичный и кто несимпатичный.

Что до меня, то я никогда не заговаривал с официантками и обращался к ним только затем, чтобы заказать обед. А поскольку я сидел на диете, заказы мои были всегда одинаковы — спагетти с маслом и отварное мясо с зеленью. Я никогда не называл девушек по именам (хотя даже я в конце концов запомнил все имена) и предпочитал всем одинаково говорить «синьорина», только чтобы не подумали, будто я с ними на короткой ноге, и вообще чтобы показать, что в этот ресторанчик я попал случайно, к завсегдатаям не принадлежу и, даже если буду еще бог знает сколько времени каждый день заходить сюда, все-таки предпочитаю чувствовать себя прохожим, который сегодня здесь, завтра там. Так мне было спокойнее.

Не то чтобы эти девушки были мне неприятны, нет, напротив, и официантки, и постоянные посетители этого заведения были приятные, симпатичные люди, и всегдашняя сердечная атмосфера, царившая вокруг, мне нравилась, больше того, мне бы, наверное, чего-то не хватало, не будь здесь такой атмосферы, и все же я предпочитал наслаждаться ею со стороны. Я избегал вступать в разговоры с завсегдатаями ресторана, старался даже не здороваться, потому что известно, к чему ведут такие знакомства. Завязать их ничего не стоит, а потом оказываешься связанным по рукам и ногам. Кто-нибудь спрашивает: «Что вы делаете сегодня вечером?» — и вот ты уже сидишь вместе со всеми у телевизора или в кино. С этого вечера ты попадаешь в компанию людей, совершенно тебе безразличных, ты принужден рассказывать о своих делах и, хочешь не хочешь, слушать рассказы о чужих.

Я старался выбирать пустой столик, разворачивал утреннюю или вечернюю газету (я покупал ее по дороге на работу, просматривал заголовки, а чтение откладывал до обеда, когда сяду за столик в ресторане) и принимался читать ее от строчки до строчки. Газета помогала мне и в тех случаях, когда свободных столиков не было и приходилось довольствоваться столиком, за которым уже кто-то сидел. Я углублялся в чтение, и никто не приставал ко мне с разговорами. Но вообще я старался всегда устроиться за отдельным столом и из-за этого усвоил себе привычку опаздывать к обеденному часу и являться, когда основной массы посетителей уже не было в ресторане.

Правда, тут имелось свое неудобство — крошки. Частенько мне случалось занимать столик, который только-только освободился и был усыпан крошками. Сидя за таким столом, я избегал смотреть на него до тех пор, пока не приходила официантка, не уносила прочь грязные тарелки и стаканы, не обмахивала скатерть и не стелила новую бумажную салфетку. Иногда это делалось наспех и между скатертью и бумажной салфеткой оставались хлебные крошки, действовавшие мне на нервы.

Выбирая время, скажем, для завтрака, лучше всего заметить

[illegible], когда официантки, думая, что все посетители уже прошли, [illegible]тельно прибирают в кафе, готовят столики к вечеру, после чего вся семья — и хозяева, и официантки, и повара, и кухонные рабочие — накрывает общий стол и садится наконец поесть сама. Как раз в этот момент я обычно и входил в ресторан со словами:

— О, я, наверно, слишком поздно, вы уже не сможете меня покормить?

— Как так не сможем? Располагайтесь, пожалуйста, где вам удобно. Лиза, займись доктором.

Я усаживался за чистый столик, один из поваров возвращался на кухню, я читал газету, спокойно ел и слушал, как за общим столом смеются, шутят и рассказывают разные истории, случившиеся в Альтопашо. Порой мне приходилось по четверть часа ждать следующего блюда, так как официантки, сидя поодаль, ели, болтая между собой. Иногда я даже решался напомнить им о себе:

— Синьорина, апельсин...

— Сию минуту! — тотчас отзывались они. — Анна, сходи ты! Или ты, Лиза!

Но меня все это устраивало, я был доволен.

Покончив с едой и чтением, я выходил из ресторана, унося с собой свернутую в трубку газету, возвращался домой, поднимался к себе в комнату, бросал газету на кровать и мыл руки. Моего прихода уже дожидалась синьорина Маргарити. Заметив, что я пришел, она подстерегала минуту, когда я снова уходил из дому, и, едва я оказывался за дверью, входила ко мне в комнату и брала газету. Не решаясь попросить ее у меня, она уносила газету потихоньку и так же потихоньку снова клала ее на кровать до моего возвращения. Можно было подумать, что она стыдится своего желания просмотреть газету, считает его проявлением легкомысленного любопытства. Как выяснилось, она читала один-единственный раздел — извещения о смерти.

Однажды, вернувшись домой, я застал ее с газетой в руках. Она страшно смутилась и решила, что должна оправдаться передо мной.

— Вы уж извините меня, — забормотала она, — я у вас иногда беру газету, смотрю, кто умер, потому что, знаете, иной раз встречаются знакомые среди усопших...

Моя идея — завтракать и обедать как можно позже — приводила к тому, что иногда, например в те вечера, когда я ходил в кино, я и вовсе не попадал в свой ресторанчик. Немного обалдевший после фильма, я выходил на улицу, когда вокруг неоновых вывесок уже собиралась густая осенняя мгла, помещавшая город в иное измерение. Взглянув на часы, я говорил себе, что в маленьких ресторанчиках я, пожалуй, ничего уже для себя не найду или что теперь я все равно выбился из своего

привычного графика и мне едва ли удастся снова войти в него, и принимал решение поужинать в пивном баре «Урбано Раттацци», в нижнем этаже моего дома.

Войти с улицы в бар значило не просто перейти от тьмы к свету, войти туда значило оказаться совсем в другом мире, вступить из расплывчатого, разреженного, зыбкого мира улицы в мир прочных форм, весомых объемов, сверкающих яркими красками поверхностей, в мир, где рядом с пурпуром ветчины, которую резали на стойке, мелькала зелень тирольских курток на официантах и горело золото пива. В зале всегда было полно народу. На улице я привык смотреть на прохожих как на безликие тени, да и себя представлял тенью, одной из многих теней, скользящих мимо домов. А здесь передо мной вдруг открывалась целая вереница лиц, мужских и женских, ярких, как плоды, и каждое из них не походило на все остальные, и все были чужими. Какое-то время я еще надеялся сохранить среди них безликость призрака, но вскоре убеждался, что и сам стал таким же, как они, обрел настолько отчетливый внешний вид, что даже мог разглядеть в зеркале черные точечки отросшей с утра бороды. Здесь негде было укрыться. Даже дым, поднимавшийся от бесчисленных сигарет и плотным облаком заволакивающий потолок, существовал как бы сам по себе, имел свои, четко очерченные границы, свою плотность и нисколько не изменял окружающих предметов.

Протолкавшись к стойке, возле которой всегда толпился народ, я поворачивался спиной к залу, к смеху и выкрикам, летящим от каждого столика, садился на первый освободившийся табурет и пытался завладеть вниманием официанта, чтобы получить квадратную картонную тарелочку, кружку пива и меню. Я понимал, что нелегко заставить его выслушать меня здесь, в баре «Урбано Раттацци», за которым я наблюдал из ночи в ночь, каждый час жизни которого был мне так хорошо известен, чей гомон (сейчас в нем терялся и мой голос) каждый вечер пробирался ко мне в комнату, перелетая через ржавые перила.

— Клецки в масле, пожалуйста,— говорил я.

Наконец официант за стойкой обращал на меня внимание, наклонялся к микрофону и отчеканивал:

— Один раз клецки в масле!

В памяти у меня тут же возникал механический крик динамика в кухне, и мне казалось, что я в одно и то же время сижу здесь, у стойки, и лежу на кровати там, наверху, в своей комнате, слушая эту частую очередь слов, которые, сталкиваясь, перемешиваясь со звоном стаканов и звяканьем приборов, носились между веселыми компаниями пьющих и едящих людей, я пытался раздробить их, уловить тот гул, что преследовал меня каждый вечер.

Сквозь отчетливые линии и краски этой стороны мира я постепенно различал его оборотную сторону — единственную, где

16—2279

я чувствовал себя дома. А может быть, оборотная сторона, изнанка, была именно здесь, среди сияющих огней и широко открытых глаз, в то время как единственной стороной, которая что-то значила, лицом всех вещей была как раз та, что скрывалась в тени? Может быть, и бар «Урбано Раттацци» существовал лишь затем, чтобы я мог слышать в темноте грохот пустых бидонов и искаженный до неузнаваемости голос, выкрикивающий: «Один раз клецки в масле!» — или затем, чтобы разорвать задернувший улицу туман неоновым светом вывески и яркими квадратами запотевших витрин со смутно вырисовывающимися за ними силуэтами людей?

Как-то утром меня разбудил телефонный звонок Клаудии. Однако это был не вызов междугородной станции: Клаудия была в городе, на вокзале, она только что приехала и звала меня, так как, выходя из спального вагона, в котором ехала, потеряла один из своих многочисленных чемоданов.

Я примчался как раз в тот момент, когда она во главе целого кортежа носильщиков выходила из здания вокзала. В ее безмятежной улыбке не было и следа того волнения, которым она заразила меня всего несколько минут назад, когда звонила по телефону. Она, как всегда, была очень красива и весьма элегантна. Каждый раз при виде ее у меня дух захватывало, словно за то время, что мы не встречались, я умудрялся забыть, какая она. Сейчас она неожиданно объявила, что без ума от этого города, и одобрила мое решение поселиться здесь. Стоял свинцово-пасмурный день, а Клаудия восхищалась светом и яркими красками улиц.

Она заказала номер в одной из самых больших гостиниц. Для меня войти в холл, обратиться к портье, потребовать, чтобы он по телефону дал знать о нашем прибытии, подняться в сопровождении грума в лифте было истинной пыткой, насилием над собой. То, что Клаудия якобы по каким-то своим делам, а на самом деле, видимо, только для того, чтобы побыть со мной, решила на несколько дней приехать в этот город, очень растрогало меня, растрогало и в то же время повергло в смущение, потому что уж теперь-то между ее образом жизни и моим разверзнется настоящая бездна.

Как бы там ни было, но в это хлопотливое утро я с честью сумел выпутаться из положения, справился со всеми делами и даже улучил минутку забежать на службу и взять аванс в счет следующего месяца, дабы без боязни встретить все, что мне уготовано в эти несколько дней. В первую очередь надо было решить вопрос, куда возить ее обедать,— ни о роскошных ресторанах, ни о каких-либо заведениях в народном стиле у меня никаких сведений не было. Для начала я решил съездить с ней на холм.

Я взял такси. Только теперь я обнаружил, что в этом городе каждый, чей заработок превышает установленную цифру, обяза-

тельно имел собственную машину (она была даже у моего коллеги Авандеро). У меня же машины не было, да я бы никогда и не научился водить ее. До сих пор я не придавал таким вещам никакого значения, но теперь мне приходилось краснеть перед Клаудией. Однако она приняла это как должное, потому что, как она выразилась, доверить мне машину — значит наверняка попасть в аварию. К моей величайшей обиде, она даже не скрывала, что невысоко ставит мои деловые качества и уважает меня совсем за другие достоинства — за какие именно, я так и не смог уразуметь.

Итак, мы взяли такси. Нам попался старенький, разболтанный автомобиль и не менее древний водитель. Я попытался представить это в юмористическом свете, шутливо пожаловавшись на то, что жизнь вечно подсовывает мне одни обломки и развалины, но Клаудию убогий вид нашего такси ничуть не огорчил, как будто она вообще подобным вещам не придавала значения, и я не знал, то ли мне облегченно вздохнуть, то ли посетовать, что теперь я совсем уже брошен на произвол судьбы.

Машина взбиралась по зеленому склону холма, огибавшего восточную часть города. День прояснился, и все вокруг было залито золотистым осенним светом. Окрестные долины тоже одевались в золотые цвета. Я обнял Клаудию. Если бы я сумел раствориться в том чувстве, которое она мне дарила, то, может, мне и удалось бы постичь эту зеленую и золотую жизнь, что бежала сейчас расплывчатыми образами (обняв Клаудию, я снял очки) по обе стороны дороги.

Прежде чем отправиться в тратторию, я приказал старику шоферу отвезти нас к видовой площадке на вершине холма. Мы вышли из машины. Клаудия была в черной шляпе с широкими полями. Ступив на землю, она быстро повернулась на каблуках, и от этого движения складки ее широкой юбки разлетелись веером. Я же метался взад и вперед, то показывая ей на белесые пики Альп, выплывавшие из небесного океана (не умея отличить одну вершину от другой, я называл их наугад), то на волнистый, прихотливый рельеф холмов с разбросанными там и сям деревнями, дорогами и речушками, то на лежавший внизу город, похожий на мозаику, составленную из ровных рядов матовых и поблескивающих на солнце квадратиков. Не знаю уж, что было тому причиной — шляпа и широкая юбка Клаудии или открывавшаяся передо мной панорама, но только я вдруг с необыкновенной остротой ощутил необъятность здешних просторов. Для осенней поры небо было довольно чистым и светлым, хотя и не везде воздух оставался таким прозрачным, как в зените: у подножия гор стлалась мглистая дымка, над речками клубился белый плотный туман, а выше бежали подгоняемые ветром цепочки причудливых облаков. Мы стояли рядом, опершись о парапет. Я обнял ее за талию и при виде этой пестроты расстилавшихся передо мной пейзажей сразу же почувствовал непреодолимое желание пофилософствовать и обозлился на себя, потому что

почти ничего не знал ни о здешних местах, ни о местной природе. У Клаудии, наоборот, поток новых впечатлений мог в любую минуту вызвать неожиданную смену настроения, или бурный взрыв, или просто замечания, совершенно не относящиеся к тому, что было у нее перед глазами. И вдруг я увидел это.

— Смотри! — воскликнул я, схватив Клаудию за руку. — Видишь, там, внизу?

— Что?

— Вон там, ниже. Смотри! Движется!

— Да что там такое? Что ты увидел?

Как объяснить ей, что это было? От облаков или тумана, которые в зависимости от того, как конденсируется влага в холодных струях воздуха, бывают то серыми, то синеватыми, то белесыми, а подчас даже черными, оно отличалось разве что особым, каким-то неопределенным цветом, то ли коричневатым, то ли буро-черным, — вернее, даже не цветом, а оттенком, грязным оттенком, который, казалось, иногда сгущался по краям, иногда в центре, пачкал все облако, меняя его плотность (этим оно также отличалось от остальных облаков), делая тяжелым, заставляя льнуть к самой земле, к разноцветному пространству города, над которым оно медленно проползало, на какое-то время затемняя одну его часть, а потом снова открывая ее, но при этом оставляло за собой лохматый широкий след, тянувшийся словно бесконечные грязные волокна.

— Смог! — крикнул я Клаудии. — Видишь? Это облако смога!

Но она уже не слушала меня — ее вниманием завладела стайка птиц, летящая в небе.

Я же, свесив голову над парапетом, впервые в жизни смотрел со стороны на то облако, которое ежечасно окутывало меня, в котором жил я и которое жило во мне; и, глядя на него, я знал, что из всего окружающего меня многообразного мира только оно одно имеет для меня значение.

Вечером я повел Клаудию поужинать в бар «Урбано Раттацци», так как не знал ни одного заведения, кроме тех, где обеды отпускались по твердым ценам, и боялся попасть в такой ресторан, где пришлось бы оставить все деньги. Стоило мне прийти в бар «Урбано Раттацци» с такой женщиной, как Клаудия, как там все изменилось: тирольские куртки забегали как заведенные, нам отвели хороший столик, к которому со всех концов зала устремились тележки с шоколадом, сигаретами и прочей мелочью. Я старался держаться с непринужденностью опытного кавалера, но меня ни на минуту не оставляла мысль о том, что все давно уже узнали жильца, снимающего комнатку с окном во двор, и посетителя, который всегда наспех съедает свой нехитрый ужин за стойкой. От всех этих мыслей я стал неловким, то и дело говорил глупости и очень скоро вывел Клаудию из себя. Мы начали ссориться, и довольно бурно; наши голоса тонули в шуме, наполнявшем бар, на нас были обращены глаза не только

официантов, готовых повиноваться каждому знаку Клаудии, но и многих посетителей бара, которых очень заинтриговало, как такая красивая, элегантная и независимая женщина могла появиться в компании столь незначительного субъекта. Приглядевшись, я понял, что окружающие отлично слышат каждую нашу фразу, тем более, что Клаудия, которой вся эта публика была более чем безразлична, вовсе не собиралась маскировать нашу ссору. Мне казалось, все только того и ждут, чтобы Клаудия, окончательно рассердившись, встала и ушла, бросив меня одного, чтобы я снова стал тем безвестным, незначительным человеком, каким был всегда: такой человек привлекает к себе не больше внимания, чем пятно сырости на стене.

Однако, как всегда у нас бывало в таких случаях, за ссорой последовало нежное примирение. Это произошло в конце ужина, и Клаудия, зная, что я живу где-то поблизости, вдруг сказала:

— Я зайду к тебе.

Откровенно говоря, я зазвал Клаудию в «Урбано Раттацци» только потому, что этот бар был единственным известным мне заведением с твердыми ценами, а вовсе не потому, что он находился в моем доме. Больше того, у меня сжималось сердце при одной мысли о том, что, заглянув в подворотню, она сразу составит себе представление о доме, в котором я обитаю, и уповал только на ее рассеянность.

И вот она хочет подняться ко мне. Чтобы показать ей всю нелепость этой затеи, я принялся описывать в самых мрачных красках грязь и убожество моего жилища. Но, поднимаясь по лестнице и проходя по балкону, она отмечала одни только достоинства старинной и вовсе не отталкивающей, на ее взгляд, архитектуры и ту разумность, с какой планировались старые квартиры.

— Что ты мне наговорил?! — воскликнула она, когда мы вошли в комнату. — Превосходная комната! Чего тебе еще надо?

Раньше, чем помочь ей снять пальто, я подошел к умывальнику, потому что, входя, как всегда, перепачкал руки. А вот она — нет. Ее руки словно пушинки летали среди пыльной мебели, по-прежнему оставаясь чистыми.

Скоро комнату наполнили необычные предметы — шляпка с вуалеткой, горжетка, бархатное платье, нижняя юбка из блестящего шелка, атласные туфельки, шелковые чулки, — и каждый из этих предметов я старался сразу же повесить в шкаф или положить в ящик комода, иначе, как мне представлялось, их тут же покроет налет копоти.

И вот уже белая фигурка Клаудии лежит на кровати, на той самой кровати, по которой достаточно хлопнуть рукой, чтобы к потолку взлетело облако пыли. Она протянула руку к этажерке, стоявшей рядом, взяла книгу...

— Осторожно, она пыльная!

Но она уже открыла ее, полистала немного и небрежно

выронила из рук. Я смотрел на ее грудь, еще совсем юную, терзался мыслью, что на нее уже осыпалась пыль, осевшая между страницами книги. Протянув руки, я коснулся этих упругих холмиков движением, которое можно было принять за ласку, но которое в действительности было вызвано желанием стереть ту незаметную глазу пыль, что успела слететь с бумаги.

Нет, ее кожа была бархатной, свежей, чистой. Но я видел, как в конусе света, падавшего от лампы, танцуют мельчайшие пылинки, которые, оседая, конечно же, попадают на Клаудию. И я бросился к ней и сжал в объятиях, движимый главным образом желанием закрыть ее, защитить, спасти от пыли, принять всю эту пыль на себя.

После того как она уехала, немного разочарованная: мое общество наскучило ей, несмотря на то что она по-прежнему упорно приписывала своим ближним блеск, который на самом деле был только отражением ее собственного блеска,— я с удвоенным рвением взялся за редакционную работу, отчасти потому, что из-за приезда Клаудии мне пришлось порядком запустить дела и нужно было наверстывать упущенное, готовя очередной номер журнала, отчасти чтобы не думать о ней, а отчасти и потому, что вопросы, освещаемые на страницах «Проблем очистки воздуха», стали для меня теперь уже не такими далекими и неинтересными, как раньше.

У меня еще не было передовицы, но на этот раз инженер Корда не оставил мне никаких инструкций.

— Попробуйте сами. Прошу вас!— сказал он.

Я принялся строчить обычную зажигательную тираду, но мало-помалу увлекся описанием облака смога, тяжело плывущего по городским крышам, такого, каким я увидел его недавно. Я описывал жизнь, окутанную этим облаком, фасады старых домов, где каждый выступ, каждая ниша покрывались густым черным налетом, и фасады новых, современных зданий, гладкие, одноцветные прямоугольники, которые постепенно приобретают серый оттенок, словно белые воротнички конторских служащих, проработавших полдня среди пыльных бумаг. Я писал о том, что пока еще есть и, может быть, всегда будут люди, живущие за пределами облака смога. Такой человек может пройти через это облако, даже на некоторое время задержаться в самой его середине, и ни единая струйка дыма, ни единая крупинка угля не коснется его лица, не нарушит особого ритма его жизни, не испортит его красоты — красоты этого существа из другого мира; но важно не то, что находится за пределами облака смога, а то, что ютится в нем, в его недрах. Только погрузившись в самое сердце облака, только вдыхая по утрам мглистый воздух наших городов (надвигающаяся зима уже заворачивала утренние улицы в непроницаемую вату тумана), можно до конца постичь правду и,

таким образом, обрести освобождение. Все эти фразы были не что иное, как спор с Клаудией, я тотчас понял это и тут же разорвал статью, даже не показав ее Авандеро.

Доктора Авандеро я до сих пор не мог понять как следует. В понедельник утром я, придя, как всегда, на работу, увидел там своего коллегу, но в каком виде? Загоревшего! Да, вместо знакомого лица, напоминавшего цветом отварную рыбу, перед моими глазами была красно-бурая физиономия со следами ожогов на лбу и скулах.

— Что это с тобой случилось? — спросил я. (С недавнего времени мы перешли с ним на «ты».)

— Ходил на лыжах. По первому снегу. Снег великолепный, сухой, сыпучий. Едем вместе в воскресенье?

С этого дня Авандеро избрал меня наперсником, которому поверял свою страсть к лыжам. Я не оговорился, именно наперсником, потому что в его разговорах о лыжном спорте звучало нечто большее, чем просто пристрастие к филигранной технике и отточенности движений, ко всем этим креплениям и мазям, к пейзажу, превращенному в чистую белую страницу,— это была война, которую он, безупречный, старательный чиновник, втайне вел со своей службой, война, проявлявшаяся в снисходительных смешках и ехидных замечаниях.

— Вот где истинная «очистка воздуха». А весь смог я оставляю вам! — говорил он и тотчас спохватывался: — Я, конечно, шучу...

Но я понимал, что даже этот столь преданный компании сотрудник совершенно не верит ни в нее, ни в идеи инженера Корда.

Как-то в субботу после обеда я встретил Авандеро с лыжами на плече, в шапочке с козырьком, торчавшим, словно клюв скворца. Мой коллега спешил к автобусу, который уже осаждала толпа лыжников и лыжниц.

— Остаешься в городе? — спросил он, кивнув мне с обычным своим самодовольным видом.

— Я — да. Какой смысл ехать? Завтра вечером все равно возвращаться на каторгу.

— А какой смысл жить в городе, если нет возможности убраться отсюда хоть на субботу и воскресенье? — возразил он, нахмурившись под своим козырьком, и стал суетиться около автобуса, предлагая новый способ укладывать лыжи в багажнике на крыше.

Авандеро, подобно сотням тысяч людей, всю неделю старательно выполняющих свою нудную работу только для того, чтобы иметь возможность сбежать от нее в выходные дни, смотрел на город как на гиблое место, как на машину для добывания средств, позволяющих сбежать на несколько часов и снова вернуться в город. После зимних месяцев, которые он посвящал лыжам, для Авандеро начиналась пора загородных

поездок, потом рыбалка, форель, потом подходил летний отпуск — море, горы и фотоаппарат. Теперь, узнав его покороче, я уже начинал довольно подробно представлять себе историю его жизни: она была историей транспортных средств. Сперва велосипед с мотором, потом мопед, потом мотоцикл, сейчас малолитражка, а будущие годы приближались под знаком новых автомобилей, все более комфортабельных и мощных.

Очередной номер «Проблем очистки воздуха» пора было сдавать в печать, а инженер Корда все еще не проглядел корректуру. В тот день я ожидал его в редакции, но он так и не появился и только под вечер позвонил мне по телефону, прося привезти ему корректуру в контору завода ВАФД, откуда он не может отлучиться. Он даже прислал за мной свою машину с шофером.

ВАФД принадлежал к числу тех предприятий, где Корда был членом правления. Забившись в глубину огромного лимузина, с пакетом на коленях, я промчался по незнакомым улицам окраины, проехал вдоль глухой стены, приветствуемый охраной завода, миновал широкие литые ворота и высадился у лестницы, ведущей в помещение дирекции.

Инженер Корда, окруженный руководителями завода, сидел за письменным столом в своем кабинете и просматривал какие-то графики или производственные планы, вычерченные на огромных, заваливших весь стол листах ватмана.

— Извините, доктор, одну минуту,— сказал он мне.— Сейчас я буду к вашим услугам.

Я смотрел на стену у него за спиной. Она была вся из стекла — гигантское окно, за которым простиралась панорама завода и дыбились в туманном вечернем сумраке неясные тени. На переднем плане выделялся силуэт цепного транспортера, поднимавшего наверх огромные бадьи чего-то серого — думаю, чугунного порошка. Железные черпаки лезли вверх непрерывными толчками, слегка покачиваясь, и мне казалось, что кучи, выступавшие над их краями, незаметно меняют свою форму и над ними при каждом толчке взлетают в воздух едва заметные облачка пыли, разлетающиеся повсюду и оседающие даже на огромном окне кабинета инженера Корда.

В этот момент Корда попросил зажечь свет, и на темном фоне вечернего неба стекла мгновенно стали похожи на листы мелкой наждачной бумаги. Окна, несомненно, были покрыты тонким налетом чугунной пыли, сверкавшей сейчас, словно серебряная россыпь Млечного Пути. Тени, что отпечатывались на стеклах, вдруг исчезли, и от этого еще отчетливее стали видны на заднем плане силуэты заводских труб, увенчанные красноватыми отблесками, а по контрасту с этим багровым заревом еще чернее казались чернильные крылья дыма, закрывавшие все небо, и еще

стремительнее взлетали и кружились в воздухе раскаленные крупинки угля.

Но вот Корда взялся за корректуру «Проблем очистки воздуха» и, тотчас перенесшись в сферу иных идеалов и иных стремлений, волнующих его как главу КОАГИПРа, принялся вместе со мной и руководителями ВАФДа обсуждать статьи журнала. Сколько раз, встречаясь с ним в помещениях компании, я, поддаваясь естественному для подчиненного духу противоречия, мысленно объявлял себя сторонником смога, его тайным агентом, пробравшимся в штаб противника, но лишь теперь я понял, насколько глупой была эта игра. Инженер Корда — вот кто истинный хозяин смога, вот кто дышит смогом на весь город, и КОАГИПР — это тоже детище смога, рожденное необходимостью дать тем, кто работает ради процветания хозяев смога, надежду на жизнь, в которой будет что-то, кроме смога, и в то же время прославляющее его могущество.

Корда остался доволен номером и пожелал отвезти меня домой на своей машине. Вечер был пропитан густым туманом. Шофер вел машину медленно, так как, кроме редких фонарей, мелькавших тусклыми пятнами, вокруг ничего нельзя было разглядеть. В порыве оптимизма президент смелыми штрихами рисовал город будущего: кварталы-сады, заводы в окружении клумб и водоемов, специальные устройства, сметающие с неба дым заводских труб. Разглагольствуя так, он то и дело тыкал пальцем в начинавшуюся прямо за стеклами машины пустоту, словно все, что рисовалось его воображению, уже было претворено там в действительность. Я слушал его с каким-то непонятным чувством — то ли с ужасом, то ли с восхищением: в этом человеке ловкий промышленник уживался с мечтателем, и один не мог обойтись без другого.

Неожиданно мне показалось, что я узнаю знакомые места.

— Остановитесь, остановитесь здесь, я приехал,— сказал я шоферу.

Пожелав президенту всего хорошего и поблагодарив, я вышел из машины. Но как только она отъехала, я заметил, что ошибся. Я вылез в совершенно незнакомом районе, а вокруг ничего не было видно.

Я по-прежнему питался в своем ресторанчике, сидя в одиночестве под прикрытием газеты. Некоторое время спустя я заметил еще одного посетителя, который поступал точно так же. Иногда, не найдя свободного места, мы садились за один столик и отгораживались друг от друга развернутыми газетами. Мы читали разные газеты. Я всегда покупал самую влиятельную в городе газету, которую читали все. Да и зачем мне было читать другую? Чтобы кто-то сказал, что я не такой, как все; или (если бы я вдруг стал читать газету моего соседа по столу) что у меня

особые политические убеждения? Я старался держаться подальше от политики и политических партий, но иногда по вечерам случалось так, что, сидя за одним столиком с этим нелюдимым посетителем, я откладывал газету, и он, протягивая к ней руку, спрашивал: «Разрешите?», а потом, указывая на свою, добавлял: «Может быть, хотите почитать эту?»

Таким образом я познакомился с его газетой, которая, если так можно выразиться, представляла собою изнанку моей. И не столько потому, что поддерживала противоположные идеи, но также и потому, что освещала вопросы, которые для любой другой газеты попросту не существовали. В ней, скажем, сообщалось об увольнениях служащих, о машинистах, потерявших руку при смазке зубчатых передач (помещались их портреты), печатались таблицы, где приводились данные о бюджете рабочих семей, и тому подобное. Но главное ее отличие заключалось не в этом. Любая газета прежде всего старается блеснуть великолепным изложением материала и привлечь читателя пикантными историями, например сообщениями о разводах светских красавиц, в этой же все статьи были написаны одинаковым, шаблонным языком, а заголовки всегда подчеркивали только отрицательную сторону явлений. Даже шрифт в этой газете был однообразно серый и утомительно густой. И тут у меня мелькнула мысль: «Ба! А ведь мне нравится».

Я попробовал выразить это мнение своему соседу, остерегаясь, разумеется, толковать отдельные статьи и высказывания (он уже как-то пытался спрашивать, что я думаю об одном сообщении из Азии) и в то же время стараясь смягчить отрицательную сторону своей оценки, так как он показался мне человеком, не склонным принимать критику, а ввязываться с ним в спор у меня не было никакой охоты.

Однако вместо того, чтобы спорить, он словно продолжал мыслить вслух, и его слова сделали бесполезной и даже неуместной мою оценку газеты.

— Знаете,— сказал он,— наша газета пока что делается не так, как следовало бы. Во всяком случае, она не такая, какой я хотел бы ее видеть.

Мой собеседник был молодой человек небольшого роста, но очень пропорционально сложенный. Его темные вьющиеся волосы были очень тщательно причесаны, а совсем еще мальчишеское лицо, бледное, с нежно-розовым румянцем на щеках, тонкими правильными чертами и длинными черными ресницами, отличалось сдержанно-важным, почти надменным выражением. Одевался он с чрезвычайной, даже несколько изысканной аккуратностью.

— В ней еще слишком много общих мест,— продолжал он,— ей еще недостает конкретности, особенно там, где речь идет о наших проблемах. Она еще слишком похожа на другие газеты. Ту газету, о которой я мечтаю, должны были бы делать в основном

сами читатели. Она должна стараться давать всегда научно обоснованную, точную информацию обо всем, что происходит в мире производства.

— Вы работаете техником на каком-нибудь заводе?—спросил я.

— Я кадровый рабочий.

Мы познакомились. Его звали Омар Базалуцци. Узнав, что я работаю в КОАГИПРе, он заинтересовался, потому что ему нужны были некоторые данные, которые он мог бы использовать в одной из своих корреспонденций. Я назвал ему кое-какие печатные материалы (так или иначе доступные всем); ему, во всяком случае, я с улыбкой заметил, что не открываю никаких редакционных секретов; он, вынув маленький блокнотик, аккуратно записал всю сообщенную мною библиографию.

— Я занимаюсь тем, что изучаю всевозможные статистические данные,— сказал он.— Наша организация очень отстает в этом.

Мы уже одевались, собираясь уходить. У Базалуцци было спортивное пальто элегантного покроя и берет из непромокаемой ткани.

— Очень отстает,— повторил он,— хотя, по-моему, это должен быть основной раздел.

— А работа оставляет вам время, чтобы заниматься всем этим?—спросил я его.

— Видите ли,— сказал он (он всегда отвечал немного свысока, этаким менторским тоном),— здесь все дело в методичности. Восемь часов в день у меня забирает завод, кроме того, каждый вечер, даже по воскресеньям, обязательно бывает какое-нибудь собрание. Поэтому просто нужно уметь организовать работу. Вот я создал кружки по изучению статистики для молодых рабочих нашего завода...

— И много у вас... таких, как вы?

— Мало. И чем дальше, тем становится меньше. Нас одного за другим выставляют за ворота. В один прекрасный день вы увидите здесь,— он показал на газету,— мою фотографию и под ней подпись: «Еще один уволенный. Новая жертва репрессий».

Мы шагали по холодной ночной улице. Я съежился в своем пальто и поднял воротник. Омар Базалуцци шел спокойно, высоко подняв голову, из его тонко очерченных губ вырывались маленькие облачка пара; часто он вынимал руку из кармана, чтобы подчеркнуть какую-нибудь свою мысль, и при этом останавливался, словно не мог идти дальше до тех пор, пока не изложит ее ясно и четко.

Я больше не слушал его. Я шел и думал, что такие, как Омар Базалуцци, не ищут случая убежать от продымленной серости, окружающей их, нет, она создает для них особые моральные ценности, диктует новые внутренние нормы поведения.

— Смог...— сказал я.

— Смог? Да, я знаю, Корда хочет быть современным предпри-
нимателем... мечтает очистить городской воздух. Но пусть попро-
бует рассказать об этом своим рабочим! Уж если кто и займется
очисткой воздуха, то только не он. Главное здесь — социальная
структура. Если нам удастся изменить ее, то и проблема смога
будет решена. И решим ее мы, а не они.

Он пригласил меня зайти вместе с ним на профсоюзную
конференцию, где собрались представители различных предпри-
ятий города. Я сел в дальнем углу прокуренного зала. Омар
Базалуцци занял место за столом президиума рядом с мужчинами,
каждый из которых был гораздо старше него. Зал не отапливал-
ся: все сидели в пальто и шляпах.

Каждый, кто получал слово, поднимался, подходил к столу
президиума и говорил, стоя перед ним. У всех была одна и та же
манера обращаться к аудитории — безличная, лишенная выраже-
ния, все начинали выступления и связывали свои мысли одними и
теми же формулами, как видно общеупотребительными. По гулу,
возникавшему в зале, я догадывался, что нанесен удачный
полемический удар, однако никто не спорил открыто, и каждый
начинал с того, что присоединялся к выступавшим ранее. Мне
казалось, что выпады многих ораторов направлены в первую
очередь против Омара Базалуцци. Юноша, непринужденно, немно-
го боком сидевший за столом президиума, вытащил из кармана
кожаный кисет, короткую английскую трубку, не спеша, медлен-
ными движениями маленьких рук набил ее и принялся сосредото-
ченно курить, полузакрыв глаза и подперев щеку рукой.

Комнату все больше заволакивало табачным дымом. Кто-то
предложил открыть на минуту верхнюю фрамугу окна. Порывы
холодного ветра разогнали дым, но зато с улицы начал заползать
туман, и скоро почти совсем нельзя было разглядеть, что
делается в противоположном конце зала. Со своего места в
заднем ряду я не отрываясь глядел на маячившие передо мной
неподвижные, скованные холодом спины людей, на поднятые
воротники, на закутавшиеся в пальто тени за столом президиума и
на огромного, словно медведь, человека, который говорил, стоя у
стола, смотрел на плывущий по залу туман, окутывавший,
пронизывавший не только всех этих людей, но даже их слова, их
каменное упорство.

В феврале ко мне снова приехала Клаудия. Мы пошли
позавтракать в дорогой ресторан, приютившийся в глубине парка
у реки. Сидя в зале, мы смотрели на заросшие берега, на деревья,
на бледное небо — весь пейзаж был полон какого-то старомодного
изящества.

Мы спорили о красоте и никак не могли прийти к единому
мнению.

— Люди утратили чувство красоты, — говорила Клаудия.

— Люди выдумывают красоту непрерывно, каждую минуту,— говорил я.

— Красота всегда красота, она вечна.

— Чтобы родилась красота, нужен толчок.

— Да, но греки!

— Что греки?

— Красота — это цивилизация!

— И отсюда...

— Вот и получается...

Так мы могли спорить до завтрашнего дня.

— Этот парк, эта река...

«Этот парк, эта река,— думал я,— в нашей жизни они оттеснены куда-то в сторону, могут быть разве что мимолетным утешением. Нет, старая красота не может устоять перед новым уродством».

— Этот угорь...

Посреди ресторанного зала стоял стеклянный ящик аквариума, в котором плавали большие угри.

— Смотри!

У аквариума остановилось несколько важных посетителей — богатое семейство, любители со вкусом поесть: мать, отец, взрослая дочь, сын-подросток. Вместе с ними подошел метрдотель, огромный, тучный, во фраке и ослепительно белой манишке. В руках он держал сетку, похожую на детский сачок для ловли бабочек. Все семейство внимательно, без улыбки разглядывало плававших рыб. Но вот синьора подняла руку и указала на одного из угрей. Метрдотель погрузил в аквариум свой сачок, быстро подцепил выбранную рыбу, вытащил ее из воды и направился в кухню, держа перед собой, как копье, потяжелевшую сетку, в которой бился, извиваясь, обреченный угорь. Семья проводила его взглядом, потом уселась за стол и стала ждать, когда рыба вернется к ней, должным образом приготовленная.

— Жестокость...

— Цивилизация...

— Все вокруг жестоко...

Мы решили не вызывать такси и пошли пешком. Газоны, стволы деревьев были подернуты еле заметной влажной дымкой, поднимавшейся с реки. Здесь эта дымка еще казалась дыханием природы. Клаудия шла, закутавшись в меховую шубку с откинутым на плечи воротником, спрятав руки в муфту, а волосы под большую пушистую шапку. Мы были лишь маленькой деталью картины, двумя силуэтами влюбленных.

— Красота...

— Твоя красота...

— К чему она? Разве что...

Я сказал:

— Красота вечна.

— Ага! Теперь ты говоришь то же, что и я?

— Нет, как раз наоборот.

— С тобой совершенно невозможно спорить.

Она отстранилась, словно решив идти одна. По траве стлалась тонкая полоса тумана, и закутанная в меха фигурка Клаудии, двигавшаяся передо мной по аллее, казалось, плыла над землей.

Вечером я проводил Клаудию в гостиницу. Войдя в холл, мы увидели, что он полон мужчин в смокингах и декольтированных дам. Шла карнавальная неделя, и в салоне гостиницы устраивался благотворительный бал.

— Какая прелесть! Ты пойдешь со мной? Я только схожу переоденусь в вечернее платье.

Я не создан для балов-маскарадов и чувствовал себя не в своей тарелке.

— Но мы не приглашены,— пробормотал я.— К тому же я не в черном костюме...

— Я не нуждаюсь в приглашениях. А ты мой кавалер.

Она побежала переодеваться. Я остался внизу и стоял как потерянный. В холле было много девушек, впервые в жизни надевших вечернее платье. Готовясь переступить порог салона, они пудрили носики и возбужденно шушукались. Я встал в сторонку, надеясь сойти за посыльного, которого направили сюда с пакетом.

Но вот дверь лифта распахнулась. Появилась Клаудия в длинном, до пола, платье, с ниткой жемчуга на розовой груди и в полумаске, поблескивавшей брильянтиками. Пришлось расстаться с ролью посыльного. Я встал рядом с ней.

Вот и салон. Все глаза впились в Клаудию. Я раздобыл себе нечто вроде бумажной маски с длинным носом. Мы пошли танцевать. Мы с Клаудией кружились, а все остальные пары расступались, чтобы видеть ее. Я же, почти не умея танцевать, все время старался замешаться в толпу, из-за чего наш танец очень напоминал игру в прятки. Клаудия заметила, что у меня кислый вид и что я совершенно не умею веселиться.

Танец кончился. Направляясь к своему столику, мы столкнулись с группой беседующих мужчин.

— Ба!

Я увидел перед собой инженера Корда. Он был во фраке и в оранжевой бумажной шляпе. Мне пришлось остановиться и поздороваться с ним.

— Неужели это и вправду вы, доктор? Я смотрю и глазам не верю!— говорил он, не отрывая взгляда от Клаудии, и я понимал, что он хотел сказать: он никак не ожидал встретить меня здесь с такой женщиной, да еще в обычном моем наряде, в том самом пиджаке, в каком я хожу на работу.

Мне ничего не оставалось, как представить его Клаудии. Корда поцеловал ей руку и в свою очередь представил ей пожилых синьоров, которые стояли вместе с ним. Клаудия, как всегда рассеянная и высокомерная, пропустила их имена мимо

ушей, я же, наоборот, то и дело мысленно восклицал: «Ах, черт! Подумать только, такие персоны!» Все это были крупные промышленники. Потом Корда представил меня:

— Доктор — редактор нашего журнала, вы знаете, «Проблемы очистки воздуха»... совершенно верно, руководимого мной...

Мне было ясно, что все они немного робеют перед Клаудией и оттого говорят чушь. Это придало мне смелости.

Я видел, что назревает некое событие, иными словами, я не мог не заметить, что Корда так и подмывает пригласить Клаудию на танец. Поэтому, сказав: «Ну что же, мы еще увидимся, не правда ли?» — я сделал общий поклон и снова потащил Клаудию в отведенную для танцев часть зала.

— Да подожди, ты же не знаешь этого танца! Ты только вслушайся. Теперь понимаешь, что это такое?

Но я понимал только одно: что своим появлением рядом с Клаудией я несколько подпортил им праздник, хотя, быть может, они и сами не сумели еще понять каким образом. И это было единственное приятное впечатление от всего бала.

— Ча-ча-ча!..— напевал я, притворяясь, будто делаю нужные па, о которых не имел ни малейшего представления, на самом же деле лишь слегка поддерживая Клаудию за руку и стараясь не мешать ей двигаться, как она хочет.

Да и почему бы мне не повеселиться? Ведь здесь карнавал. Беспорядочные вопли труб слились в дикую какофонию; пригоршни конфетти, словно обломки штукатурки, барабанили по фракам и обнаженным плечам женщин, забиваясь под декольте и за крахмальные воротнички; гирлянды звезд из блестящей канители тянулись от люстр до самого пола, где их пинали, сваливая в комки, шаркающие ноги танцующих; эти гирлянды свисали сверху, словно жилы, вытянутые из тела, словно скелеты голой арматуры, болтающиеся среди обвалившихся стен, среди всеобщего разрушения.

— Вы приемлете этот отвратительный мир таким, какой он есть, поскольку знаете, что должны его разрушить,— сказал я Омару Базалуцци отчасти для того, чтобы его подзадорить, иначе было бы неинтересно разговаривать.

— Одну минуту,— сказал Омар, ставя на стол чашечку кофе, которую уже поднес было к губам,— мы же не говорим: чем хуже, тем лучше. Мы — за улучшение. Мы не реформисты и не сторонники крайних мер.

Я говорил о своем, он — о своем. С того дня когда я вместе с Клаудией побывал в парке, меня преследовало желание найти новое толкование мира, которое придало бы какой-то смысл нашему серому существованию, отстояло бы утрачиваемую красоту, спасло бы ее.

— Новое лицо мира...

Юноша открыл черную кожаную папку и вытащил из нее иллюстрированный журнал.

— Видите?

Это была серия фотографий. Несколько человек, принадлежащих, видимо, к одной из азиатских народностей, в меховых шапках и сапогах, со счастливым видом ловили рыбу. На другой фотографии те же люди были сняты в школе: учитель показывал им изображенные на простыне буквы непонятного алфавита. На следующем снимке был запечатлен праздник. У каждого на голове был бумажный дракон, и среди этих драконов двигался трактор, над которым был укреплен транспарант. На последней фотографии двое рабочих в таких же меховых шапках работали за токарным станком.

— Видите? — повторил Омар. — Вот оно — другое лицо мира.

Я посмотрел на Базалуцци.

— Но вы ведь не ходите в меховых шапках, не ловите осетров, не играете с драконами.

— Ну и что же?

— А то, что у вас нет с ними ничего общего, кроме этого, конечно, — я показал на токарный станок, — вот это у вас уже есть.

— Э, нет, у нас будет так же, как там, потому что у нас изменится сознание. Так же, как и они, мы прежде станем иными внутренне, а затем уже внешне...

Говоря это, Базалуцци продолжал листать журнал. На одной странице были фотографии доменных печей и рабочих с очками на лбу и суровыми лицами.

— Да, тогда тоже будут трудности, — говорил он. — не надо обольщаться и думать, что не сегодня завтра... Оно еще долго будет тяжелым, производство... Но мы сделаем шаг вперед... Такие, например, вещи, какие случаются сейчас, уже не повторятся...

Тут он снова принялся говорить о том, о чем говорил всегда, — о проблемах, изо дня в день волновавших его.

Я понял: ему не так уж важно, наступит или не наступит тот большой день, самое основное для Омара — это избранный им путь, с которого он уже не свернет.

— Шероховатости, понятно, будут всегда... Глупо надеяться на рай земной... Ведь и сами мы не ангелы.

Интересно, стали бы святые жить иначе, если бы знали, что им не уготовано райское блаженство?

— Меня уволили на прошлой неделе, — заметил вдруг Омар Базалуцци.

— И как же вы теперь?

— Работаю в профсоюзе. Может быть, еще до зимы там освободится постоянное место.

[illegible] ему надо было на [illegible] ВАФТ, где утром начались серьезные волнения.

— Пойдете со мной? — спросил он.

— Э! Вот туда-то как раз я и не могу показаться, думаю, вы понимаете почему.

— Я тоже не могу туда показаться. Мое появление там скомпрометировало бы товарищей. Встретимся в кафе, неподалеку от завода.

Я пошел с ним. Из окна третьесортного кафе мы видели рабочих, расходившихся после смены; некоторые, выходя за ворота, вели рядом велосипеды, другие набивались в трамваи. И у каждого на лице было написано только одно — желание поспать. Несколько человек, вероятно предупрежденных заранее, поодиночке заходили в кафе и тотчас же направлялись к Омару. Скоро вокруг его столика в углу собралась небольшая группа рабочих и завязался оживленный разговор.

Ничего не понимая в их делах, я стал наблюдать за рабочими, стараясь определить, чем отличаются лица тех, что целым роем высыпали сейчас за ограду завода и, без сомнения, не помышляли ни о чем, кроме семьи и воскресного отдыха, от тех, что задержались с Омаром, то есть от самых упорных и ожесточенных. Но сколько я ни всматривался, мне не удавалось уловить ни малейшего различия: и у тех и у других лица были одинаковые — пожилые или преждевременно повзрослевшие, лица детей одной жизни. То, что их отличало, крылось, видимо, внутри.

Тогда я принялся всматриваться в лица и вслушиваться в слова рабочих, сидевших рядом с Омаром. Мне хотелось узнать, отличаются ли чем-нибудь люди, живущие мыслью о том, что «наступит день», от таких, для которых, как для Омара, ничего не менялось от того, наступит этот день или нет. И пришел к выводу, что их тоже нельзя отличить друг от друга, как видно потому, что все они принадлежали ко второй категории, даже те, кого на первый взгляд можно было отнести к первым из-за их нетерпеливости или словоохотливости.

Теперь я уже не знал, на что мне смотреть, и принялся глядеть на небо. Был один из первых дней ранней весны, и над домами городской окраины простиралось сияющее голубизной безоблачное небо. Но, приглядевшись хорошенько, я различил на нем похожие на тени разводы, как на старой пожелтевшей фотографии. Да, небо над городом не очищалось даже в самую хорошую погоду.

Омар Базалуцци надел темные очки в огромной толстой оправе и продолжал что-то говорить окружавшим его людям, подробно, обстоятельно, высокомерно и немного в нос.

Я напечатал в «Проблемах очистки воздуха» взятую из одной иностранной газеты заметку о загрязнении атмосферы радиоактивными осадками после атомных испытаний. Заметка была набрана петитом, и инженер Корда, просматривая корректуру, не

обратил на нее внимания. Когда же он наткнулся на нее в свежем номере журнала, то немедленно послал за мной.

— Боже праведный, неужели же я должен проверять каждую мелочь? У меня же не сто глаз! — воскликнул он. — Как вам могло прийти в голову напечатать такую заметку? Ведь наша компания не занимается этими вопросами. Только этого нам не хватает! Напечатать, не сказав мне ни слова, да еще на такую щекотливую тему! Теперь будут говорить, что мы занимаемся пропагандой!

Я что-то пробормотал в свое оправдание.

— Видите ли, здесь ведь тоже идет речь о загрязнении воздуха, вы извините, но я думал...

Я уже был на пороге, когда Корда снова окликнул меня.

— Послушайте, доктор, а вы-то сами верите в эти радиоактивные осадки? То есть что они действительно уже представляют собой такую серьезную опасность?

Мне были известны некоторые выводы конгресса ученых, и я рассказал о них. Корда слушал, кивая головой, раздосадованный.

— Подумать только, в какое ужасное время нам приходится жить, дорогой доктор! — посетовал он и вдруг стал прежним, хорошо знакомым мне Корда. — Это опасность, дорогой доктор, и мы должны во что бы то ни стало избежать ее, потому что слишком многое поставлено на карту, да, дорогой мой, слишком многое! — Несколько минут он сидел, опустив голову, потом заговорил снова: — Я не хочу переоценивать наши заслуги, но в своей области мы делаем то, что должны делать, свою лепту мы вносим, в своей области мы на высоте положения.

— Это несомненно, синьор Корда. Я убежден в этом.

Мы посмотрели друг на друга смущенно, но оба не были вполне искренни в своем смущении. По сравнению с гигантской радиоактивной тучей облако смога стало казаться нам совсем маленьким, не облаком, а еле заметным облачком, крошечным барашком.

Прибавив несколько общих фраз, свидетельствующих о моей благонамеренности, я оставил кабинет инженера Корда, и на сей раз не сумев понять до конца, воюет ли он против облака или за него. С того дня я не допускал в заголовках никаких упоминаний об атомных взрывах или радиоактивности, но в то же время старался в каждом номере, в разделе технической информации, проталкивать кое-какие сообщения по этому вопросу. Кроме того, в некоторых статьях вместе со сведениями о процентном содержании в городском воздухе угля или нефти и об их отрицательном воздействии на организм я помещал и данные относительно районов, подвергшихся радиации. Ни Корда, ни кто-либо другой не делали мне теперь никаких замечаний, но это не столько радовало меня, сколько укрепляло во мнении, что до «Проблем очистки воздуха» решительно никому нет дела.

У меня уже накопилась целая папка материалов об атомной радиации, так как, просматривая газеты и выбирая наметанным

глазом сообщения и статьи, которые могли пригодиться для журнала, я всегда находил что-нибудь на эту тему, вырезал и складывал в отдельную папку. Кроме того, от агентства, присылавшего компании газетные вырезки на тему «загрязнение атмосферы», приходило все больше материалов об атомной бомбе, в то время как вырезок, где говорилось бы о смоге, становилось все меньше и меньше.

Таким образом, получалось, что мне каждый день попадали на глаза то статистические данные о страшных болезнях, то рассказы о рыбаках, застигнутых в открытом море смертоносной тучей, или о подопытных животных, родившихся с двумя головами после экспериментов с ураном. Я поднимал глаза от газет и смотрел в окно. На дворе уже наступил июнь, а лета все не было. Погода стояла тяжелая. Дни были придавлены мутной мглой. В полуденные часы город наполнялся каким-то апокалипсическим сиянием, а прохожие казались тенями, сфотографированными в подземном царстве после того, как душа оставила их бренные тела.

Времена года словно изменили свою привычную очередность, по Европе один за другим проносились сильнейшие циклоны. Начало лета ознаменовалось грозами, несколько дней воздух был перенасыщен электричеством, потом неделями лили дожди, время от времени прерывавшиеся неожиданной жарой, которая ни с того ни с сего сменялась поистине мартовскими холодами. Газеты всячески отрицали, что эти атмосферные беспорядки вызваны атомными взрывами. Только отдельные, очень немногие ученые как будто склонялись к тому, чтобы признать такое влияние (впрочем, неизвестно, насколько им можно было верить). Зато анонимные слухи, расползавшиеся среди обывателей, которые, как известно, всегда готовы принять на веру самые невероятные вещи, упорно поддерживали именно эту версию.

Мне уже стала действовать на нервы синьорина Маргарити, которая каждое утро пускалась в дурацкие рассуждения об атомной бомбе, предупреждая меня, что и сегодня нужно захватить зонт. Но все же, открывая жалюзи и взглянув на наш свинцово-серый двор, где в неверном свете переплетались частой решеткой темные линии и квадраты, я испытывал невольное желание отступить назад и спрятаться под крышу, как будто именно сейчас, в этот момент, с неба сыплются невидимые частицы смертоносной пыли.

Это бремя недомолвок, превращаясь в суеверие, всей своей тяжестью давило на самые обыденные разговоры о том, какая нынче погода, на те самые разговоры, которые испокон веков считались наиболее безобидными. Люди избегали говорить о погоде, а уж если приходилось упомянуть о том, что идет дождь или проясняется, то об этом говорили чуть ли не со стыдом, будто чувствовали, что умалчивают о какой-то мрачной, лежащей на всех ответственности. Авандеро, который всю неделю готовил-

…ч к воскресной поездке за город, относился к погоде с деланным безразличием. Но я видел, что это его безразличие фальшивое, рабское.

Я сделал номер «Проблем очистки воздуха», в котором не было ни одной статьи, где не говорилось бы о радиоактивных осадках. Но и на этот раз обошлось без нотаций. Нет, я не мог сказать, что журнала никто не читает, читать читали, но вещи такого рода стали теперь привычными. И, даже если бы появилось сообщение, что в скором времени придет конец роду человеческому, оно никого бы не взволновало.

Даже в еженедельниках, посвященных самым злободневным вопросам, стали теперь появляться статьи, от которых мороз подирал по коже. Но люди, казалось, интересовались только цветными фотографиями улыбающихся девиц на обложках. В одном из таких журналов появилась фотография Клаудии в купальном костюме, лежащей на водных лыжах. Я пришпилил эту обложку четырьмя кнопками на стену своей комнаты.

Каждый день по утрам и среди дня я направлялся в тихий район с широкими спокойными бульварами, где находилась редакция. Подходя к этому району, я иногда вспоминал тот осенний день, когда впервые пришел сюда и во всем, что попадалось мне на глаза, старался увидеть некое предзнаменование, все казалось мне слишком светлым и чистым для моего тогдашнего настроения. Да и теперь мой взгляд искал только предзнаменования, другого я просто не в состоянии был увидеть. Предзнаменования чего? Кто знает? Одно предзнаменование указывало на другое, и так до бесконечности.

Иногда мне случалось встречать там нагруженную мешками двуколку, которую тащил по противоположной стороне улицы усталый мул. Иной раз я видел эту двуколку у какого-нибудь подъезда: между оглоблями, понуро опустив голову, стоял мул, а на куче белых мешков сидела девочка.

Потом я заметил, что не одна, а множество таких тележек разъезжает по улицам этого квартала. Трудно сказать, когда я стал обращать на них внимание. Иногда на глаза попадается тьма вещей, но их как бы не замечаешь. Они могут даже как-то поразить тебя, и все-таки ты их не заметишь, пока в один прекрасный момент тебе не придет в голову связать одну вещь с другой, и тогда сразу все приобретает смысл.

При виде этих тележек у меня становилось как-то светлее на душе: мне достаточно было встретить такую не совсем обычную штуку, как сельская двуколка, заехавшая в город, забитый автомобилями, чтобы вспомнить, что не все в мире скроено на один манер.

И вот мало-помалу я начал присматриваться к этим тележкам. На вершине белой горы мешков обычно сидела девочка с косичками и читала журнальчик, потом из подворотни выходил мужчина с двумя мешками, клал их поверх других на тележку, поворачивал ручку тормоза, негромко кричал мулу: «Н-но-о!», тележка вместе с девочкой, которая, не слезая с кучи мешков, продолжала читать, катилась дальше, останавливалась у другого подъезда, мужчина снимал сверху несколько мешков и вместе с ними скрывался в дверях.

Немного дальше, по противоположной стороне улицы, двигалась еще одна тележка. Там в кузове сидел старичок, а по домам ходила женщина, сновавшая вверх и вниз по лестницам с огромными тюками на голове.

Я стал замечать, что в те дни, когда мне встречались тележки, я чувствовал себя веселее и увереннее, чем обычно, и что это всегда случалось по понедельникам — в тот день, когда по городу разъезжают прачки, развозя пакеты с чистым бельем и увозя узлы с грязным.

Когда я это осознал, тележки уже не ускользали от моего взгляда. Теперь поутру, направляясь на работу и заметив одну из них, я не успевал еще воскликнуть про себя: «Э, да ведь нынче понедельник!», как тотчас же на противоположной стороне показывалась другая, сопровождаемая тявкающей собачонкой, и третья, которая скрывалась уже за горбом круто спускавшейся вниз улицы, так что видна была только груда желто-белых полосатых мешков.

Как-то после работы я сел в трамвай, который шел по другим улицам, гораздо более шумным и многолюдным. Но и здесь на перекрестке внезапно задержался весь транспорт, пережидая, пока тележка, развозившая белье и лениво катившаяся на своих огромных колесах с длинными спицами, переедет улицу. Я заглянул в один из боковых переулков: там, примостившись у края тротуара, стоял мул, а мужчина в соломенной шляпе снимал с тележки пакеты с бельем.

В тот день я возвращался домой кружным путем, и, по каким бы улицам ни шел, мне все время попадались тележки прачек. Я чувствовал, что это для жителей города что-то вроде праздника — все были счастливы избавиться от белья, прокопченного дымом, и хоть ненадолго почувствовать себя чистыми.

В следующий понедельник мне захотелось проследить за прачками, чтобы узнать, куда они уезжают, сдав чистое белье и забрав грязное. Некоторое время я шел наудачу то за одной тележкой, то за другой и вскоре понял, что все они в конечном счете движутся в определенном направлении, к одним и тем же улицам. Встречаясь на этих улицах, они выстраивались в колонну, возчики степенно здоровались и перекидывались спокойными шуточками. Я продолжал идти за ними, иногда надолго теряя их из виду, пока окончательно не выбился из сил. Но прежде чем

вернуться восвояси, я убедился, что существует целый поселок прачек — все они были из предместья, именуемого Барка Бертулла.

Туда-то я и отправился как-то вечером. Миновав мост через речку, я вдруг оказался посреди полей. Правда, вдоль проезжей дороги еще тянулись дома, но за ними все было зелено. Никакого намека на прачечную. На берегах каналов, перегороженных запрудами, виднелись тенистые, увитые виноградом навесы сельских кабачков. Я зашагал дальше, все время озираясь по сторонам, заглядывая за решетчатые заборчики, просматривая каждую тропинку.

Постепенно дома кончились, и за дорогой побежали ряды тополей, отмечавшие берега прорытых на каждом шагу каналов. А вдалеке, за тополями, я увидел луговину, словно плывущую под белыми парусами,— там висело белье.

Я пошел по тропинке. Во всю ширину раскинувшихся по обе стороны полян на высоте человеческого роста были натянуты веревки, плотно увешанные простынями и пододеяльниками всего города, еще сырыми и бесформенными, неотличимо одинаковыми, в мелких морщинках, которые образовывались на материи от теплых лучей солнца. Вокруг, куда ни глянь, тянулись длинные белые коридоры белья. Некоторые поляны были голыми, но их тоже разлиновали параллельные линии веревок, и от этого они казались виноградниками, лишенными лоз.

Я бродил между этими свежевыстиранными полями, и вдруг взрыв смеха заставил меня обернуться. На берегу одного из каналов, у запруды, возвышался настил, и оттуда, высоко над моей головой, выглядывали раскрасневшиеся лица прачек — стройных девушек и толстых старух в платках; там раздавался смех, звенели голоса, пестрели разноцветные платья, мелькали закатанные выше локтей рукава, прыгали груди под кофточками у молодых, ходили взад и вперед округлые руки все в хлопьях мыльной пены, ловко подхватывались на согнутые локти скрученные жгуты отжатого белья. Тут и там мужчины в соломенных шляпах выгружали из корзин белье, складывая его отдельными аккуратными кучами, или наравне с прачками орудовали большими квадратными кусками марсельского мыла и били деревянными вальками.

Теперь я увидел все, что хотел. Сказать им мне было нечего, да и к чему соваться не в свое дело? Я пошел назад. По краю дороги торчали жиденькие пучки травы, и я старался ступать по ней, чтобы не запылить ботинок и держаться подальше от проезжавших грузовиков. Я провожал глазами ручейки проточной воды, которые мелькали между лугами, живыми изгородями и тополями, глядел на низкие строения с вывеской: «Паровая прачечная. Прачечный кооператив Барка Бертулла», на лужайки, по которым, словно во время сбора винограда, ходили женщины с корзинами и снимали с веревок высохшее белье, на озаренную

солнцем деревенскую зелень, проглядывавшую между белыми рядами простынь, и на воду, что сбегала вниз, вздуваясь голубоватыми пузырями. Конечно, это не бог весть что, но мне, не искавшему ничего, кроме образов, которые запечатлелись бы у меня в голове, довольно было и этого.



ПУТЬ В ШТАБ

Лес был редкий, почти начисто выжженный пожарами. Он серел обгоревшими пнями и казался красноватым от сухих игл пиний. Двое — вооруженный и безоружный — шли по лесу, петляя между деревьями и спускаясь вниз.

— В штаб,— говорил вооруженный.— Пошли в штаб. Полчаса ходу, самое большее.

— А потом?

— Что — потом?

— Я говорю, потом меня отпустят? — спросил безоружный. Он внимательно выслушивал ответ, не пропуская ни единого слова, словно пытаясь уловить фальшивую ноту.

— Конечно, отпустят,— сказал вооруженный.— Я отдам документы в батальон, они там сверят их со списком, и вы сможете вернуться домой.

Безоружный покачал головой. Он был мрачно настроен.

— Эх, долго это протянется, я знаю...— Он сказал так, возможно, лишь для того, чтобы еще раз услышать: «Вас тут же отпустят, уверяю».

— Я рассчитывал,— добавил он,— я рассчитывал к вечеру быть уже дома. Ладно. Потерплю.

— Говорят вам, поспесте,— сказал вооруженный.— Они там только составят протокол и отпустят вас. Надо же, чтобы они вычеркнули ваше имя из списка шпионов.

— У вас есть список шпионов?

— Еще бы. Мы знаем всех, кто шпионит. И берем их одного за другим.

— И мое имя внесено в список?

— Да. В список внесено и ваше имя. Теперь надо его вычеркнуть, а то вас могут взять еще раз.

— Тогда нужно, чтобы я пошел туда и объяснил им все как есть.

— Затем мы и идем. Надо, чтобы они посмотрели, проверили.

— Но ведь теперь,— сказал безоружный,— теперь-то вы знаете, что я из ваших, что я вовсе не шпионил.

— Конечно. Теперь мы знаем. Теперь вы можете быть спокойны.

Безоружный кивнул и огляделся вокруг. Они вышли на большую поляну, кое-где поросшую опаленными пожаром пиниями и чахлыми лиственницами, заваленную опавшими ветками. Они теряли, снова находили и опять теряли тропинку. Шли они словно наугад. Безоружный не узнавал этих мест. Вечер спускался легкими волнами тумана — внизу лес уже совсем потонул во мраке.

То, что они сошли с тропинки, обеспокоило его. Видя, что другой бредет наудачу, он попытался свернуть вправо, туда, где, как ему казалось, проходила тропинка. Другой, как бы случайно, тоже свернул вправо. Он шел за ним следом, беря то влево, то вправо, в зависимости от того, где легче было идти.

Безоружный решился спросить:

— А где штаб?

— Мы идем туда,— ответил вооруженный.— Придем — увидите.

— А в каких местах, в каком районе, ну хотя бы приблизительно?

— Как вам сказать, в каком месте, в каком районе,— ответил вооруженный.— Штаб там, где штаб. Понимаете?

Да, он понимал; он знал, что к чему, этот безоружный. И все-таки спросил:

— А нет дороги, которая ведет туда?

Другой ответил:

— Дороги? Видите ли, дорога всегда куда-нибудь да ведет. Но в штаб не ходят по дорогам. Понимаете?

Безоружный понимал: он знал, что к чему; он был пройдоха.

Он спросил:

— Вы часто ходите в штаб?

— Часто,— сказал вооруженный.— Я хожу туда часто.

У него было печальное лицо и потухший взгляд. Он плохо знал эти места. По временам казалось, что он заблудился, но он все-таки шел, словно это его совсем не трогало.

— Вас послали проводить меня, потому что вы в наряде? — спросил безоружный, внимательно оглядев его.

— Это моя работа — провожать вас,— ответил он.— Я провожаю людей в штаб.

— Вы связной?

— Да,— ответил вооруженный.— Я связной.

«Странный связной,— подумал безоружный.— Связной, который не знает, куда идти. Впрочем,— решил безоружный,— он не хочет идти по дороге, чтобы я не узнал, где штаб. Он не доверяет мне». Это дурной знак — то, что ему все еще не доверяют. Безоружный упрямо думал об этом. Но этот дурной знак вселял уверенность в том, что его действительно ведут в штаб и что его отпустят. Гораздо худшее сулил лес, который делался все гуще и из которого не было видно выхода. Гораздо страшнее были молчание и печаль вооруженного человека.

— Секретаря тоже вы провожали в штаб? И братьев мельника? И учительницу? — Он выпалил это одним духом, не задумываясь. Это был самый страшный вопрос, ответ на который должен был решить для него все: муниципальный секретарь, братья мельника, учительница — все это были те, кого увели и кто больше не вернулись; никто о них так ничего и не узнал.

— Секретарь был фашист,— сказал вооруженный,— братья мельника служили в милиции, а учительница — во вспомогательных войсках.

— Я просто хотел узнать о них, ведь они не вернулись.

— Ладно,— оборвал его вооруженный.— Они были, кем были. А вы тот, кто вы есть. И нечего тут сравнивать.

— Конечно,— согласился безоружный.— Нечего сравнивать. Я спросил о них просто так, из любопытства.

Он почувствовал в себе уверенность, этот безоружный. Он самый большой пройдоха во всем селенье — его не проведешь. Другие — секретарь и учительница — не вернулись, но он-то, конечно, вернется. «Я великий камарад,— скажет он сержанту.— Партизан капут, меня нет. Я капут всех партизан». Может быть, сержант посмеется.

Однако обгоревшим деревьям не было конца, и в мыслях безоружного человека возникали неясность и неизвестность, словно прогалины посреди леса.

— Я не знаю ничего толком о секретаре и об остальных. Я связной.

— Но в штабе-то о них знают,— упорствовал безоружный.

— Конечно. Вот вы и спросите о них в штабе. Там о них знают.

Настал вечер. Идти приходилось осторожно, выбирая, куда поставить ногу, чтобы не споткнуться о притаившиеся в густом кустарнике камни. И надо было тщательно следить за тем, как в смутной тревоге одна за другой возникают мысли, чтобы не оказаться вдруг наедине со своим страхом.

Если бы они считали его шпионом, то, конечно, не оставили бы вот так в лесу с этим человеком, который, по-видимому, не обращает на него никакого внимания. Он бы мог удрать от него когда угодно. А если он вдруг попытается бежать, что сделает тот, другой?

Спускаясь между деревьями, безоружный стал мало-помалу увеличивать расстояние между собой и тем, другим. Он сворачивал вправо, когда тот сворачивал влево. Вооруженный по-прежнему, казалось, не обращал на него ни малейшего внимания. Так они шли по редкому лесу, один поодаль от другого. Иногда они даже теряли друг друга из виду, скрываясь за пнями и зарослями кустарника. Но потом безоружный вдруг снова видел над собой вооруженного. Казалось, тот шел сам по себе, и все же всякий раз оказывался возле него.

До сих пор безоружный думал: «Если только они отпустят меня хотя бы на минуту, им меня уж не поймать». Теперь он стал думать: «Если мне удастся удрать от него, то...» И мысленно он уже видел немцев, немцев, построенных в колонны, немцев в грузовиках и в танках. Для других картина эта означала смерть, но для него она значила спасенье, для него — пройдохи, человека, которого не проведешь.

Они оставили позади себя поляны и перелески и вошли в густой зеленый лес, пощаженный пожарами. Земля в нем была покрыта сухими иглами пиний. Вооруженный остался где-то позади, вероятно, он пошел другой дорогой. Тогда безоружный осторожно, затаив дыхание, ускорил шаг; он углублялся все дальше в чащу, пробираясь вниз по обрывам среди пиний. Он убегал и уже сам понимал, что убегает. На него напал страх. Он заметил, что ушел слишком далеко и что тот, другой, несомненно, уже догадался, что он решил убежать, и, конечно, теперь преследует его. Оставалось только бежать дальше. Ему не поздоровится, если он опять попадет к нему в лапы — теперь, после того как он пытался удрать.

Он обернулся на шорох позади себя: в нескольких метрах от него был вооруженный, который шел своей спокойной, ленивой походкой. В руке он держал автомат. Он сказал:

— Вон там должна быть кратчайшая дорога,— и сделал ему знак идти вперед.

Снова все стало как прежде. Снова неясность и неизвестность: то ли все хорошо, то ли все плохо; лес, вместо того чтобы кончиться, стал еще гуще; этот человек, не сказав ни слова, чуть не дал ему убежать.

Он спросил:

— А что, этот лес никогда не кончится?

— Только обойдем вон тот холм — и мы пришли,— сказал другой.— Не бойтесь, к ночи вы будете дома.

— А меня правда отпустят домой? Меня не оставят, скажем, как заложника?

— Мы не немцы, чтобы брать заложников. Самое большее, у вас могут взять в залог башмаки, ведь все мы полубосые.

Безоружный принялся ворчать, словно больше всего на свете боялся именно за свои башмаки. Но в глубине души он обрадовался. Каждая подробность, касающаяся его дальнейшей судьбы,—

хорошая или плохая — придавала ему немного уверенности.

— Послушайте, — сказал вооруженный, — раз уж вы так беспокоитесь, сделаем вот что: наденьте мои башмаки, пока мы не придем в штаб, они у меня совсем износились, и никто их у вас не возьмет. Я надену ваши, а когда буду провожать вас обратно, верну их вам.

Теперь все понял бы даже младенец. Вооруженный хотел заполучить его башмаки. Ладно, он, безоружный, отдаст ему башмаки, он знает, что к чему, и рад, что может отделаться так дешево. «Я великий камарад, — скажет он сержанту. — Я отдал им башмаки, и они меня отпустили». Может быть, сержант подарит ему пару высоких сапог, какие носят немецкие солдаты.

— Так вы не задерживаете у себя никого? Не берете ни заложников, ни пленных? Вы не оставили у себя даже секретаря муниципалитета и других?

— Секретарь приказал схватить трех наших товарищей, братья мельника участвовали в облавах, учительница спала с офицерами из десятой дивизии.

Безоружный снова остановился. Он сказал:

— Но ведь вы не считаете, что я тоже шпион? Вы привели меня сюда не для того, чтобы убить? — Он оскалил зубы, пытаясь улыбнуться.

— Если бы мы считали, что вы шпион, — сказал вооруженный, — я просто сделал бы так. — Он снял предохранитель. — И вот так. — Он прицелился ему в спину и сделал вид, будто стреляет.

«Ну вот, — подумал шпион, — он не выстрелил».

Но тот, другой, не опустил автомат. Вместо этого он нажал на гашетку.

«Очередь, он выпустил очередь», — успел подумать шпион. А когда на него обрушились нескончаемые удары огненного кулака, у него еще промелькнула мысль: «Он думает, что убил меня, а я жив».

Он упал лицом на землю, и последнее, что увидел, были обутые в его башмаки ноги, перешагнувшие через него.

Он остался лежать в чаще леса. Рот его был наполнен иглами. Через два часа его уже всего облепили муравьи.

рил себе, что нет ничего глупее, чем бегать, как курица с отрезанной головой,— именно это сравнение пришло ему на ум. Ну что же, раз все равно суждено замерзнуть, то лучше уж держать себя пристойно. Вместе с этим внезапно обретенным покоем пришли первые предвестники сонливости. Неплохо, подумал он, заснуть насмерть. Точно под наркозом. Замерзнуть вовсе не так страшно, как думают. Бывает смерть куда хуже.

Он представил себе, как товарищи завтра найдут его, и вдруг увидел самого себя: он идет вместе с ними по тропе, разыскивая свое тело. И вместе с ними он огибает поворот дороги и видит себя лежащим на снегу. Он отделился от самого себя и, стоя среди товарищей, смотрит на свое распростертое тело. А мороз нешуточный, что и говорить. Вот вернусь в Штаты и расскажу дома, что такое настоящий холод, подумал он. Потом ему примерещился старик с Серного ручья. Он ясно видел его: тот сидел, греясь у огня, и спокойно покуривал трубку.

— Ты был прав, старый хрыч, безусловно прав,— пробормотал он, обращаясь к старику.

Потом он погрузился в такой сладостный и успокоительный сон, какого не знавал за всю свою жизнь. Собака сидела против него и ждала. Короткий день угасал в долгих, медлительных сумерках. Костра не предвиделось, и, кроме того, опыт подсказывал собаке, что не бывает так, чтобы человек сидел на снегу и не разводил огня. Когда сумерки сгустились, тоска по огню с такой силой овладела собакой, что она, горбясь и беспокойно переступая лапами, тихонько заскулила и тут же прижала уши в ожидании сердитого окрика. Но человек молчал. Немного погодя собака заскулила громче. Потом, подождав еще немного, подползла к человеку и почуяла запах смерти. Собака попятилась от него, шерсть у нее встала дыбом. Она еще помедлила, протяжно воя под яркими звездами, которые кувыркались и приплясывали в морозном небе. Потом повернулась и быстро побежала по снежной тропе к знакомому лагерю, где были другие податели корма и огня.

НАМ-БОК — ЛЖЕЦ

— Байдарка, правда байдарка! Байдарка, и в ней человек! Глядите, как он неуклюже ворочает веслом!

Старая Баск-Ва-Ван приподнялась на колени, дрожа от слабости и волнения, и посмотрела в море.

— Нам-Бок всегда неуклюже работал веслом,— пробормотала она в раздумье, прикрыв ладонью глаза от солнца и глядя на сверкающую серебром поверхность воды.— Нам-Бок всегда был неуклюжий. Я помню...

Но женщины и дети громко расхохотались, и в их хохоте слышалась добродушная насмешка; голос старухи затих, и только губы шевелились беззвучно.

Кугах оторвался от своей работы (он был занят резьбой по кости), поднял голову и посмотрел туда, куда указывал взгляд Баск-Ва-Ван. Да, это была байдарка, и она шла к берегу, хотя временами ее и относило далеко в сторону. Сидевший в ней греб решительными, но неумелыми движениями и приближался зигзагообразно, с трудом преодолевая сопротивление. Голова Кугаха снова склонилась над работой, и на моржовом клыке он вырезал спинной плавник такой рыбы, какие никогда не плавали ни в одном море.

— Это, наверно, резчик из соседнего селения едет посоветоваться со мной, как вырезывать на кости разные изображения,— сказал он наконец.— Но он неуклюжий человек. Никогда он не научится.

— Это Нам-Бок,— повторила старая Баск-Ва-Ван.— Неужели я не узнаю своего сына? — раздраженно выкрикнула она.— Говорю вам: это Нам-Бок.

— Ты это говорила каждое лето,— ласково стала увещевать ее одна из женщин.— Чуть только море очистится ото льда, ты садилась на берегу и целыми днями смотрела в море; и про всякую лодку ты говорила: «Это Нам-Бок». Нам-Бок умер, о Баск-Ва-Ван, а мертвые не возвращаются. Невозможно, чтобы мертвый вернулся.

— Нам-Бок! — закричала старуха так громко и пронзительно, что все с удивлением оглянулись на нее.

Шатаясь, она встала на ноги и заковыляла по песку. По дороге она споткнулась о лежавшего на солнышке младенца, мать бросилась унимать его и пустила вслед старухе грубые ругательства, но та не обратила на нее внимания. Ребятишки, обгоняя ее, помчались к берегу, а когда байдарка, едва не опрокинувшись из-за неловкости гребца, подъехала ближе, за ребятишками потянулись и женщины. Кугах отложил моржовый клык в сторону и тоже пошел, тяжело опираясь на свою дубинку, а за ним, по двое и по трое, двинулись мужчины.

Байдарка повернулась бортом, и ее непременно захлестнуло бы прибоем, если б один из голых юнцов не вбежал в воду и не вытащил ее за нос далеко на песок. Человек поднялся и пытливо оглядел стоявших перед ним жителей селения. Полосатая фуфайка, грязная и изношенная, свободно облегала его широкие плечи, шея по-матросски была повязана красным бумажным платком. Рыбачья шапка на коротко остриженной голове, грубые бумажные штаны и тяжелые сапоги дополняли его наряд.

Несмотря на все это, он был удивительным

вением для этих простых рыбаков с дельты Великого Юкона; всю жизнь перед глазами у них было Берингово море, и за все это время они видели только двух белых — переписчика населения и заблудившегося иезуитского священника. Они были народ бедный — ни золота в их земле не было, ни ценных мехов на продажу, поэтому белые и близко не подходили к их берегу. К тому же в этой стороне моря тысячелетиями скоплялись наносы горных пород Аляски, так что корабли садились на мель, даже еще не увидав земли. Вследствие этого болотистое побережье с его глубокими заливами и множеством низменных островков никогда не посещалось большими кораблями белых людей и рыбачье племя не имело понятия об их существовании.

Кугах-резчик внезапно стал отступать, зацепился за собственную дубинку и упал.

— Нам-Бок! — закричал он, отчаянно барахтаясь и стараясь подняться.— Нам-Бок, унесенный морем, вернулся!

Мужчины и женщины попятились, ребятишки обратились в бегство, прошмыгнув между ног взрослых. Один Опи-Куон, как и подобает старшине селения, проявил храбрость. Он вышел вперед и долго и внимательно разглядывал пришельца.

— Это в самом деле Нам-Бок,— сказал он наконец, и женщины, поняв по его голосу, что сомнений больше нет, завыли от суеверного ужаса и отступили еще дальше.

Губы пришельца нерешительно раскрылись, и смуглое горло задвигалось, силясь вытолкнуть застревавшие слова.

— Ля-ля, это Нам-Бок! — бормотала Баск-Ва-Ван, заглядывая ему в лицо.— Я всегда говорила, что Нам-Бок вернется.

— Да, Нам-Бок вернулся.

На этот раз говорил сам Нам-Бок; он перешагнул через борт байдарки и стоял одной ногой на суше, другой — на своем суденышке. Опять его горло задвигалось и напряглось, и видно было, что он с трудом подыскивает забытые слова. И когда он их наконец выговорил, они были странны на слух и гортанные звуки сопровождались каким-то причмокиванием.

— Привет, о братья,— сказал он,— братья тех лет, когда я жил среди вас и попутный ветер еще не унес меня в море.

Он ступил на песок и другой ногой, но Опи-Куон замахал на него руками.

— Ты умер, Нам-Бок,— сказал он.

Нам-Бок рассмеялся.

— Взгляни, какой я толстый.

— Мертвые не бывают толстыми,— согласился Опи-Куон.— Ты хорошо упитан, но это странно. Еще ни один человек, ушедший с береговым ветром, не возвращался по пятам лет.

— Я возвратился,— просто ответил Нам-Бок.

— Тогда, быть может, ты — тень. Проходящая тень Нам-Бока, который был. Тени возвращаются.

— Я голоден. Тени не едят.

Но Опи-Куон был смущен и в мучительном сомнении провел рукой по лбу. Нам-Бок тоже был смущён; он обводил глазами лица стоявших перед ним рыбаков и в них не видел привета. Мужчины и женщины шепотом переговаривались между собой. Дети робко жались за спины старших, а собаки, ощетинившись, показывали ему клыки и подозрительно нюхали воздух.

— Я родила тебя, Нам-Бок, и кормила тебя грудью, когда ты был маленький,— жалостливо молвила Баск-Ва-Ван, подходя ближе.— И тень ты или не тень, я и теперь дам тебе поесть.

Нам-Бок шагнул было к ней, но испуганные и угрожающие возгласы заставили его остановиться. Он сказал на непонятном языке что-то очень похожее на «о черт!» и добавил:

— Я человек, а не тень.

— Что можно знать, когда дело касается неведомого? — спросил Опи-Куон отчасти у самого себя, отчасти обращаясь к своим соплеменникам.— Сейчас мы есть, но один вздох — и нас нет. Если человек может обратиться в тень, то почему тень не может обратиться в человека? Нам-Бок был, но его нет. Это мы знаем, но мы не знаем — Нам-Бок ты или его тень?

Нам-Бок откашлялся и ответил так:

— В давно прошедшие времена, Опи-Куон, отец твоего отца ушел и возвратился по пятам лет. И ему не отказали в месте у очага. Говорили...— Он значительно помолчал, и все замерли, ожидая, что он скажет.— Говорили,— повторил он внушительно, рассчитывая на эффект своих слов,— что Сипсип, его жена, принесла ему двоих сыновей после его возвращения.

— Но он не вверялся береговому ветру,— возразил Опи-Куон.— Он ушел в глубь суши, а это так уж положено, что по суше человек может ходить сколько угодно.

— Так же точно и по морю. Но не в том дело. Говорили... будто отец твоего отца рассказывал удивительные истории о том, что он видел.

— Да, он рассказывал удивительные истории.

— Мне тоже есть что порассказать,— хитро заявил Нам-Бок. И, заметив колебания слушателей, добавил:— Я привез и подарки.

Он достал из своей лодки шаль дивной мягкости и окраски и набросил ее на плечи матери. У женщин вырвался дружный вздох восхищения, а старая Баск-Ва-Ван стала щупать и гладить рукой яркую ткань, напевая от восторга, как ребенок.

— У него есть что рассказать,— пробормотал Кугах.

— И он привез подарки,— откликнулись женщины.

Опи-Куон видел, что его соплеменникам не

терпится послушать чудесные рассказы, да и его самого разбирало любопытство.

— Улов был хороший,— сказал он рассудительно,— и жира у нас вдоволь. Так пойдем, Нам-Бок, попируем.

Двое мужчин взвалили байдарку на плечи и понесли ее к костру. Нам-Бок шел рядом с Опи-Куоном, прочие жители селения следовали за ними, и только несколько женщин задержались на минутку, чтобы любовно потрогать шаль.

Пока шел пир, разговору было мало, зато много любопытных взглядов украдкой было брошено на сына Баск-Ва-Ван. Это стесняло его, но не потому, что он был скромного нрава, а потому, что вонь тюленьего жира лишила его аппетита; ему же во что бы то ни стало хотелось скрыть это обстоятельство.

— Ешь, ты голоден,— приказал Опи-Куон, и Нам-Бок, закрыв глаза, сунул руку в горшок с тухлой рыбой.

— Ля-ля, не стесняйся. Тюленей этот год было много, а сильные мужчины всегда голодны.

И Баск-Ва-Ван обмакнула в жир особенно отвратительный кусок рыбы и, закапав все кругом, нежно протянула его сыну.

Однако некоторые зловещие симптомы скоро оповестили Нам-Бока, что желудок его не так вынослив, как в былые времена, и он в отчаянии поспешил набить трубку и закурить. Люди шумно ели и наблюдали за ним. Немногие из них могли похвастаться близким знакомством с этим драгоценным зельем, хотя оно порой попадало к ним — понемножку и самого скверного сорта — от северных эскимосов в обмен на другие товары. Кугах, сидевший рядом с ним, дал ему понять, что и он не прочь бы разок затянуться, и в промежутке между двумя кусками рыбы вложил в рот янтарный мундштук и принялся посасывать его вымазанными жиром губами. Увидав это, Нам-Бок дрожащей рукой схватился за живот и отвел протянутую обратно трубку. Пусть Кугах оставит трубку себе, сказал он, потому что он с самого начала намеревался почтить его этим подношением. И все стали облизывать пальцы и хвалить щедрость Нам-Бока.

Опи-Куон поднялся.

— А теперь, о Нам-Бок, пир кончен, и мы хотим послушать об удивительных вещах, которые ты видел.

Рыбаки захлопали в ладоши и, разложив около себя свою работу, приготовились слушать. Мужчины строгали копья и занимались резьбой по кости, а женщины соскабливали жир с котиковых шкур и разминали их или шили одежду нитками из сухожилий. Нам-Бок окинул взглядом всю эту картину и не увидел в ней той прелести, какую, по воспоминаниям, ожидал найти. В годы своих скитаний он с удовольствием рисовал себе такую именно картину, но сейчас, когда она была перед его глазами, он чувствовал разочарование. Убогая и жалкая жизнь, думалось ему; она не идет ни в какое сравнение с жизнью, к которой он теперь привык. Все-таки кое-что он им расскажет, он откроет им глаза, и при этой мысли у него у самого глаза заблестели.

— Братья,— начал он с благодушным самодовольством человека, готовящегося рассказать о своих подвигах.— Братья, когда много лет назад я ушел от вас, было позднее лето и погода стояла такая точно, какая обещает быть сейчас. Вы все помните тот день — чайки летали низко, с суши дул сильный ветер, и я был бессилен против него на своей байдарке. Я плотно затянул покрышку, чтобы вода не попала внутрь, и всю ночь боролся с бурей. А утром земли уже не было видно — одно море, и ветер с суши попрежнему крепко держал меня в руках и гнал перед собой. Три раза ночь сменялась бледным рассветом, а земли все не было видно, и береговой ветер все не отпускал меня. И когда наступил четвертый день, я был как безумный. Я не мог работать веслом, потому что ослабел от голода, а голова моя кружилась и кружилась — так меня мучила жажда. Но море уже утихло и дул теплый южный ветер, и когда я посмотрел вокруг, то увидел такое зрелище, что подумал, не сошел ли я и вправду с ума.

Нам-Бок остановился, чтобы вытащить волоконце лососины, застрявшее в зубах, а окружавшие его мужчины и женщины ждали, праздно опустив руки и вытянув шеи.

— Это была лодка, большая лодка. Если все лодки, какие я когда-либо видел, сложить в одну лодку, она все-таки не будет такая большая.

Послышались возгласы сомнения, и Кугах, насчитывавший много лет жизни, покачал головой.

— Если б каждая байдарка была все равно что песчинка,— продолжал утверждать Нам-Бок,— и если б байдарок было столько, сколько есть песчинок на этом берегу, и то из них не составилась бы такая большая лодка, какую я увидал на четвертый день. Это была очень большая лодка, и называлась она шхуна. Я увидел, что эта чудесная лодка, эта большая шхуна идет прямо на меня, а на ней люди...

— Стой, о Нам-Бок! — воскликнул Опи-Куон.— Какие это были люди? Большие люди?

— Нет, они были, как ты и я.

— Большая лодка шла быстро?

— Да.

— Лодка была большая, люди маленькие,— отметил для точности эти данные Опи-Куон.— И люди гребли длинными веслами?

Нам-Бок усмехнулся.

— Весел не было вовсе,— сказал он.

Разинутые рты открылись еще шире, и наступила продолжительная тишина. Опи-Куон

попросил у Кугаха трубку и несколько раз задумчиво затянулся. Одна из молодых женщин нервно хихикнула, чем навлекла на себя гневные взгляды.

— Значит, весел не было? — тихо спросил Опи-Куон, возвращая трубку.

— Южный ветер дул сзади,— пояснил Нам-Бок.

— Но от одного ветра быстро не поплывешь.

— У шхуны были крылья — вот так.

Он набросал на песке схему мачт и парусов, и мужчины столпились вокруг и стали изучать ее. Дул резкий ветер, и для большей наглядности. Нам-Бок схватил за концы материнскую шаль и растянул ее против ветра, так что она надулась, как парус. Баск-Ва-Ван отбивалась, бранясь, но внезапно ветер подхватил ее и понес к берегу; шагах в двадцати, еле дыша, она упала на кучу прибитых морем щепок. Мужчины крякали с понимающим видом, но Кугах вдруг откинул назад свою седую голову.

— Хо! Хо! — расхохотался он.— Одна глупость эта твоя большая лодка! Чистая глупость! Игрушка ветра! Куда ветер, туда и она. Ни один человек в этой лодке не знает, к какому берегу ему придется пристать, потому что она плывет всегда по ветру, а ветер дует куда ему вздумается, и никому не известно, в какую сторону он подует сейчас.

— Да, это так,— важно подтвердил Опи-Куон.— По ветру идти легко, но когда ветер противный, человеку приходится сильно бороться; а раз весел у этих людей на большой лодке не было, значит, они вовсе не могли бороться.

— Очень им нужно было бороться! — сердито воскликнул Нам-Бок.— Шхуна идет и против ветра.

— А что, ты говорил, заставляет шх... шх... шхуну двигаться? — спросил Кугах, нарочно запинаясь на незнакомом слове.

— Ветер,— последовал нетерпеливый ответ.

— Ветер заставляет шх... шх... шхуну двигаться против ветра? — Тут старый Кугах без стеснения подмигнул Опи-Куону и под общий смех продолжал:— Ветер дует с юга, а шхуну гонит на юг. Ветер дует против ветра. Ветер дует сразу и в ту и в другую сторону. Это очень просто. Мы поняли, Нам-Бок. Мы ясно поняли.

— Ты — дурак!

— Уста твои говорят правду,— ответил Кугах кротко.— Я слишком долго не мог понять самую простую вещь.

Лицо Нам-Бока помрачнело, и он быстро проговорил какие-то слова, которых раньше они никогда не слыхали. Все снова принялись — кто за работу, кто за очистку шкур, но он крепко сжал губы, чтобы не вырвались у него речи, которым все равно никто не поверит.

— Эта шх... шх... шхуна,— невозмутимо спросил Кугах,— она была сделана из большого дерева?

— Она была сделана из многих деревьев,— отрезал Нам-Бок.— Она была очень большая.

Он опять угрюмо замолчал, а Опи-Куон подтолкнул Кугаха, который в недоверчивом изумлении покачал головой и прошептал:

— Удивительное дело.

Нам-Бок попался на удочку.

— Это еще что,— сказал он легкомысленно,— а вот посмотрели бы вы на *пароход*. Во сколько раз байдарка больше песчинки, во сколько раз шхуна больше байдарки, во столько раз пароход больше шхуны. К тому же пароход сделан из железа. Он весь железный.

— Нет, нет, Нам-Бок,— воскликнул старшина,— как это может быть? Железо всегда идет ко дну. Вот послушай: у старшины соседнего селения я выменял нож, и вчера нож выскользнул у меня из рук и сразу пошел вниз, в самую глубь моря. Всему есть свой закон. Никогда не бывало, чтоб хоть единая вещь не имела закона. Это мы знаем. Больше того: мы знаем, что для всех одинаковых вещей закон один, и потому для всего железного закон тоже один. Так что отрекись от своих слов, Нам-Бок, чтоб мы не потеряли к тебе уважения.

— Но это так,— стоял на своем Нам-Бок.— Пароход весь железный, а не тонет.

— Нет, нет, этого не может быть.

— Я видел своими глазами.

— Это противно природе вещей.

— Но скажи мне, Нам-Бок,— перебил Кугах, опасаясь, как бы рассказ на этом не прекратился.— Скажи мне, как эти люди находят дорогу в море, если не видно берега, которого можно держаться?

— Солнце показывает им дорогу.

— Но как?

— У старшины шхуны есть одна такая вещь, через которую можно смотреть на солнце, и вот в полдень он берет ее, и смотрит, и заставляет солнце сойти с неба на край земли.

— Но это колдовство! — ошеломленный таким святотатством, закричал Опи-Куон. Мужчины в ужасе подняли руки, женщины завыли.— Это гнусное колдовство! Очень нехорошо отклонять великое солнце от его пути: оно прогоняет ночь и дает нам тюленей, лососину и тепло.

— Что из того, что это колдовство? — грубо спросил Нам-Бок.— Я тоже смотрел сквозь эту вещь на солнце и заставлял солнце сходить с неба.

Сидевшие близко от него поспешно отодвинулись назад, а одна из женщин накрыла лицо ребенка, лежавшего у ее груди, чтобы на него не упал взгляд Нам-Бока.

— Что же было на утро четвертого дня, о Нам-Бок? — осторожно напомнил Кугах.— На утро четвертого дня, когда шх... шх... шхуна погналась за тобой?

— Во мне так мало оставалось сил, что я не мог уйти от нее. И вот меня взяли на борт,

влили в горло воду и дали хорошую пищу. Братья мои, вы видели только двух белых людей. А на шхуне люди все были белые, и было их столько, сколько у меня пальцев на руках и ногах. И когда я увидел, что они добры, я осмелел и решил все запомнить, чтобы потом рассказать вам, что я видел. И они научили меня своей работе, и кормили хорошей пищей, и отвели мне место для сна.

И мы день за днем плыли по морю и каждый день старшина стаскивал солнце с неба и заставлял его говорить, где мы находимся. И когда море бывало милостиво, мы охотились на котиков, и я очень удивлялся, потому что эти люди выбрасывали мясо и жир и оставляли себе только шкуры.

Опи-Куон свирепо скривил рот и готов уже был разразиться бранью против подобной расточительности, но Кугах толчком заставил его сидеть смирно.

— Потом наступило трудное время — солнце ушло и мороз стал больно обжигать кожу; и тогда старшина повернул шхуну носом на юг. Долгие дни плыли мы на юг и на восток, ни разу не увидав земли, и вот уже стали приближаться к селению, откуда все они были родом...

— Почем они знали, что приближаются? — спросил Опи-Куон, который больше не в силах был сдерживаться.— Ведь земли не было видно.

Нам-Бок метнул на него яростный взгляд.

— Разве я не сказал, что старшина спускал солнце с неба?

Но Кугах успокоил его, и Нам-Бок продолжал:

— Так вот, я говорю, когда мы стали приближаться к тому селению, разразилась сильная буря, и в темноте ночи мы были беспомощны и не знали, где находимся...

— Ты только что говорил, что старшина знал...

— Молчи, Опи-Куон! Ты — дурак и не понимаешь. Я говорю, в темноте ночи мы были беспомощны, и вдруг сквозь рев бури я услыхал звук прибоя. И тотчас со страшным треском мы обо что-то ударились, и я очутился в воде и поплыл. Берег весь был скалистый, и скалы тянулись на много миль, и только в одном месте была узенькая песчаная полоска, но мне суждено было погрузить руки в песок и выбраться из бурунов. Другие, должно быть, разбились о скалы, потому что ни одного из них не оказалось на берегу, кроме старшины,— и того я узнал только по кольцу на пальце.

Когда наступил день и я убедился, что от шхуны ничего не осталось, я обратил свой взгляд на сушу и пошел в глубь ее, чтобы добыть себе пищу и увидеть человеческие лица. И когда я подошел к жилью, то меня впустили и дали поесть, потому что белые люди добры, а я выучился говорить на их языке. И дом, в который я попал, был больше, чем все дома, построенные нами, и больше тех, что до нас строили себе наши отцы.

— Велик же был этот дом,— сказал Кугах, скрывая свое недоверие под видом изумления.

— И на постройку его пошло много деревьев,— в тон ему подхватил Опи-Куон.

— Этот дом — еще пустяки,— пренебрежительно пожал плечами Нам-Бок.— Как наши дома малы по сравнению с ним, так этот дом был мал по сравнению с теми, что я увидел потом.

— И люди там тоже были большие?

— Нет, люди были как ты и я,— отвечал Нам-Бок.— Я срезал себе палку, чтобы мне было удобно ходить, и, помня, что я обо всем должен рассказать вам, братья, я на каждого из живших в этом доме сделал на своей палке по зарубке. И я прожил там много дней и работал, и за это мне давали деньги,— вы не знаете, что это такое, но это очень хорошая вещь.

И однажды я ушел с этого места и отправился еще дальше. И по дороге я встречал много народа и стал делать на палке зарубки поменьше, чтобы всем хватало места. И вдруг я увидел что-то совсем удивительное. На земле передо мной лежала железная полоса толщиной в мою руку, а через широкий шаг от нее лежала другая железная полоса...

— Значит, ты стал богатым человеком,— заключил Опи-Куон,— потому что железо дороже всего на свете. Из этих полос получилось бы много ножей.

— Но это железо было не мое.

— Это была находка, а то, что найдено, по закону принадлежит тому, кто нашел.

— Нет, не так. Эти полосы положили белые люди. Кроме того, полосы эти такие длинные, что ни один человек не мог бы их унести,— такие длинные, что, сколько я ни смотрел, конца им не видел.

— Нам-Бок, не слишком ли это много железа? — предостерегающе заметил Опи-Куон.

— Да, мне самому трудно было поверить, хотя они лежали перед моими глазами; но глаза меня не обманывали. Я стоял и смотрел и вдруг услышал...— Он быстро повернулся к старшине.— Опи-Куон, ты знаешь, как ревет разгневанный морской лев? Представь себе столько морских львов, сколько волн в море, и представь себе, что все эти морские львы соединились в одного льва, и вот если б заревел один такой лев, то рев его был бы подобен тому, который я услышал.

Рыбаки в изумлении громко вскрикнули, а у Опи-Куона челюсть отвисла и так и осталась висеть.

— И вдалеке я увидел чудовище, равное тысяче китов. Оно было одноглазое и изрыгало дым и фыркало оглушительно громко. У меня от страха задрожали ноги, но я побежал по тропинке между железными полосами. А оно приближалось с быстротой ветра, это чудовище; и толь-

не я успел отскочить в сторону, как оно обдало мне лицо своим горячим дыханием...

Опи-Куон овладел собой, челюсть его стала на место, и он спросил:

— А потом? Что же было потом, о Нам-Бок?

— Потом оно промчалось по железным полосам мимо меня и не причинило мне вреда; а когда ноги у меня перестали трястись, оно уже исчезло из вида. И в той стороне это самое обыкновенное дело. Этих чудовищ не боятся даже женщины и дети, и люди заставляют их там работать.

— Как мы заставляем работать наших собак? — спросил Кугах, и глаза его недоверчиво блеснули.

— Да, как мы заставляем работать наших собак.

— А как разводятся эти... эти чудовища? — поинтересовался Опи-Куон.

— Они не разводятся вовсе. Люди искусно делают их из железа и кормят камнями и поят водой. Камни превращаются в огонь, вода — в пар, а этот пар и есть дыхание их ноздрей и...

— Хватит, хватит, о Нам-Бок,— прервал его Опи-Куон.— Расскажи нам о других чудесах. Мы устали от таких, которых мы не понимаем.

— Вы не понимаете? — в отчаянии вскричал Нам-Бок.

— Нет, не понимаем,— уныло откликнулись и мужчины и женщины.— Мы не можем понять.

Нам-Бок подумал о сложных машинах, которые разом и жнут и молотят, и о машинах, показывающих изображения живых людей, и о машинах, из которых исходят человеческие голоса,— и ему стало ясно, что его народ ни за что этого не поймет.

— А могу я сказать, что я ездил по стране на таком железном чудовище? — спросил он с горечью.

Опи-Куон развел руками, не пытаясь скрыть свое недоверие.

— Говори, говори. Говори, что хочешь. Мы слушаем.

— Так вот, я поехал на железном чудовище и дал за это деньги...

— Ты же сказал, что его кормят камнями.

— И еще я сказал тебе, дурак, что деньги — это такая вещь, о которой ты понятия не имеешь. Итак, я поехал на этом чудовище через всю страну и проезжал мимо многих селений, пока не приехал в большое селение на морском заливе. Дома там поднимали свои крыши к самым звездам небесным, и мимо них тянулись облака, и везде было полно дыма. И шум в этом селении был — как шум бурного моря, а народу было столько, что я бросил свою палку и перестал и думать о том, чтобы делать зарубки.

— Если бы ты делал маленькие зарубки,— укоризненно заметил Кугах,— ты мог бы рассказать нам все в точности.

— Если бы я делал маленькие зарубки! — вне себя накинулся на него Нам-Бок.— Слушай, Кугах, ты, который только и умеешь, что царапать на кости! Если б я делал даже самые маленькие зарубки, то не хватило бы не только той палки, но и двадцати палок — нет, не хватило бы всех бревен, когда-либо выброшенных прибоем на берег между этим селением и соседним. И если б всех вас с женщинами и детьми было в двадцать раз больше и если б у каждого было по двадцати рук и в каждой руке палка и нож, все равно невозможно было бы сделать зарубки на всех людей, которых я видел,— так много их было и так быстро проходили они мимо меня.

— На всем свете не может быть столько народа,— возразил Опи-Куон, ибо он был ошеломлен и не мог охватить умом таких громадных количеств.

— А что ты знаешь обо всем свете и о том, как он велик? — спросил Нам-Бок.

— Но не может быть столько народа в одном месте.

— Кто ты такой, чтобы решать, что может быть и чего не может быть?

— Да ведь ясно, что в одном месте не может быть столько народа. Их лодки запрудили бы все море, так что негде было бы повернуться. И каждый день они вылавливали бы из моря всю рыбу — и все равно на всех бы ее не хватало.

— Казалось бы, оно так,— ответил Нам-Бок, заканчивая беседу.— И, однако, это правда. Я видел все собственными глазами и потому бросил свою палку.

Он зевнул во весь рот и поднялся.

— Я приплыл издалека. День был долгий, и я устал. Сейчас я лягу спать, а завтра мы еще поговорим о том, что я видел.

Баск-Ва-Ван боязливо заковыляла вперед, гордясь своим удивительным сыном и в то же время испытывая перед ним благоговейный ужас. Она привела его в свою хижину и уложила на жирный вонючий мех. Но мужчины остались у костра, чтобы держать совет, и много на этом совете было перешептываний и приглушенных споров.

Прошел час, и другой — Нам-Бок спал, а разговор у костра все продолжался. Вечернее солнце склонялось к северу и в одиннадцать часов стало почти прямо на севере. Тогда старшина и резчик по кости покинули совет и разбудили Нам-Бока. Он, мигая со сна, взглянул им в лица и повернулся на другой бок. Но Опи-Куон решительно схватил его за плечо и беззлобно, но решительно начал трясти, пока он совсем не пришел в себя.

— Ну-ну, Нам-Бок, вставай! — приказал он.— Пора!

— Опять есть? — вскричал Нам-Бок.— Нет, я не голоден. Ешьте сами и дайте мне спать.

— Пора уходить! — заревел Кугах.

Но Опи-Куон был не так резок.

— Ты в паре со мной ходил на байдарке, когда мы были мальчиками,— сказал он.— Мы вместе первый раз охотились на тюленей и вытаскивали лососей из западни. И ты возвратил меня к жизни, Нам-Бок, когда море сомкнулось надо мной и меня стало затягивать под черные скалы. Вместе мы голодали и дрогли от холода и заползали вдвоем под одну шкуру и лежали рядом, тесно прижавшись друг к дружке. Из-за всего этого, из-за того, что я дружил с тобой, мне очень жалко, что ты возвратился к нам таким необыкновенным лжецом. Мы ничего не понимаем, и головы у нас кружатся от всего, что ты рассказал. Это нехорошо, и в совете было много толков. И мы решили, что ты должен уйти, чтобы не смущать нас и не туманить нам разум необъяснимыми вещами.

— Все вещи, о которых ты говорил,— все это тени,— подхватил Кугах.— Ты принес их из мира теней — и в мир теней должен возвратить их. Твоя байдарка готова, и люди племени ждут. Они не уснут спокойно, пока ты не уйдешь.

Нам-Бок растерянно смотрел на старшину, но прислушивался к его словам.

— Если ты Нам-Бок,— говорил Опи-Куон,— то ты поразительный и опасный лжец; если ты тень Нам-Бока — то ты говорил о тенях, а живым людям не годится знать то, что касается теней. Мы думаем, что то большое селение, о котором ты нам рассказал,— это жилище теней. Там витают души мертвых; ибо мертвых много, а живых мало. Мертвые не возвращаются. Ни один мертвый еще не вернулся, ты — первый, с твоими удивительными рассказами. Не подобает мертвым возвращаться, и если мы это допустим, нам грозит большая беда.

Нам-Бок хорошо знал свой народ и понимал, что решение совета непреложно. Поэтому он покорно пошел к берегу, где его посадили в его байдарку и в руку ему всунули весло. Отбившийся от стаи дикий гусь одиноко кричал где-то над морем, и волны прибоя с глухим плеском разбивались о песок. Мутные сумерки нависли над землей и водою, а на севере слабо тлело тусклое солнце, окутанное кроваво-красным туманом. Чайки летали низко. Дул резкий и холодный береговой ветер, и черные, клубящиеся тучи предвещали непогоду.

— Из моря ты вышел,— точно произнося заклинание, нараспев проговорил Опи-Куон,— и в море уходишь. Так восстановится равновесие вещей, и все придет в законный порядок.

Баск-Ва-Ван, прихрамывая, подошла к пенящемуся краю воды и закричала:

— Благословляю тебя, Нам-Бок, ибо ты вспомнил меня.

Но Кугах, оттолкнув байдарку от берега, сорвал шаль с плеч старухи и кинул ее Нам-Боку.

— Мне холодно в долгие зимние ночи,— жалобно простонала она,— мороз так и пробирает старые кости.

— Эта вещь — тень,— ответил резчик, а тень тебя не согреет.

Нам-Бок встал, чтобы его голос донесся до нее.

— О Баск-Ва-Ван, мать, родившая меня! — воскликнул он.— Слушай слова Нам-Бока, твоего сына. В байдарке хватит места для двоих, и он хочет, чтобы ты ушла с ним. Там, куда он держит путь, вдоволь и рыбы и жиру. Мороз туда не приходит, и жизнь там легка, и железные вещи работают за человека. Пойдем со мной, о Баск-Ва-Ван!

С минуту она колебалась, а байдарку тем временем все быстрей относило от берега; тогда она собрала силы и крикнула высоким, дребезжащим голосом:

— Я стара, Нам-Бок, и скоро отойду в жилище теней. Но мне не хочется уходить раньше, чем пришел мой срок. Я стара, Нам-Бок, и мне страшно.

Луч света брызнул на сумрачное море и озарил лодку и человека сиянием пурпура и золота. Рыбаки притихли, и только слышался шум ветра да крики низко летавших чаек.

ВЕЛИКИЙ КУДЕСНИК

В поселке было неладно. Женщины без умолку тараторили высокими, пронзительными голосами. Мужчины хмурились и недоверчиво косились по сторонам, и даже собаки в беспокойстве бродили кругом, смутно чуя тревожный дух, овладевший всем поселком, и готовясь умчаться в лес при первом внешнем признаке беды. Подозрение носилось в воздухе. Каждый был не уверен в своем соседе и при этом знал, что и в нем точно так же не уверены остальные. Дети и те присмирели, а маленький Ди-Иа, виновник всего происшедшего, получив основательную трепку сперва от Гунии, своей матери, а потом и от отца, Боуна, забился под опрокинутую лодку на берегу и мрачно взирал оттуда на мир, время от времени тихонько всхлипывая.

А в довершение несчастья шаман Скунду был в немилости, и нельзя было прибегнуть к его всем известному колдовскому искусству, чтобы обнаружить преступника. С месяц назад, когда племя собиралось на потлач в Тонкин, где Чаку-Джим спускал все накопленное за двадцать лет, шаман Скунду предсказал попутный южный ветер. И что же? В назначенный день поднялся вдруг северный ветер, да такой сильный, что из трех лодок, первыми отчаливших от берега, одну снесло в открытое море, а две другие вдребезги разбились о скалы, и при этом утонул ребенок. Скунду потом объяснял, что при гадании вышла ошибка — не за ту веревку дернул. Но люди не стали его слушать: щедрые приношения

— Б — е, бе, идут овцы по тропе!

Пришлось жене его из школы забирать, и на другой день отправился Хуан опять в поле. Встречает по дороге всадника, тот его спрашивает:

— Скажи-ка приятель, не находил ты тут случайно кошелька?

— Как же, как же, находил, — отвечает Хуан.

— И что же ты с ним сделал?

— Домой отнес, Марии отдал. Только она сказала, ни на что те кругляшки не годятся, даже на цепочку не нанижешь.

— Ах, вот оно что. Знаешь, я бы глянул на них. Ты не проводишь меня к себе домой?

Привел его Хуан. А тот и говорит Марии, чтобы вернула кошелек, он-де его обронил. Мария в ответ:

— Какой кошелек? Знать ничего не знаю.

А Хуан ей:

— Да как же, Мария? Помнишь, ты меня тогда еще в школу послала?

Подивился проезжий, что эдакий дурачок в школу ходит. А потом и не такое услышал:

— Ну, помнишь, когда пончики с неба падали, а наша ослица обедню служила?

Тут всадник и говорит:

— Простите, хозяйка, зря я вас побеспокоил.

И отправился восвояси, а плутовка Мария с деньгами осталась и купила мужу отару овец, вдвое больше прежней.

УЧЕНИК ВОЛШЕБНИКА

Был у одной женщины сынок по имени Перикин, смышленый не по годам. Раз ему мать и говорит:

— Пора бы тебе, сынок, обучаться какому-нибудь ремеслу, стать на ноги. Что тебе по сердцу?

— Я бы в чародеи пошел. Очень меня интересует черная магия.

Отыскала мать волшебника.

— Возьмешь, — спрашивает, — сынка в ученики?

— Возьму, — отвечает, — но с одним условием.

— Это с каким же?

— А вот с каким: если через год придешь ты за сыном, но его не узнаешь, остаться ему у меня навечно.

— Будь по-твоему, — согласилась женщина.

Вот пришло время, обратился Перикин в голубя, порх тайком к матери, да и говорит:

— Как придешь за мной, волшебник превратит всех учеников в голубей. Насыплет он на пол маиса, а голуби ну его клевать! Я же к зерну и не притронусь. Попрыгаю, покружусь вокруг, да и только. Спросит учитель, узнала ль ты меня, ты и кивни на самого непоседливого.

Пришла мать к волшебнику, указал он ей на стайку голубей и допытывает:

— Один из этих голубей — твой сын. Скажи, который?

— Да тот, что все подпрыгивает. Догадаться-то легче легкого, ему и мальчонкой на месте не сиделось.

— Твоя правда, сеньора. Забирай его себе, он теперь в колдовстве побольше моего смыслит.

Прихватил Перикин с собою лучшую колдовскую книгу волшебника и говорит матери:

— Моя теперь колдовская книга, поможет она нам разбогатеть. Завтра ярмарка. Превращусь я в корову, а ты продай ее за полторы сотни дукатов. Да смотри, не отдавай заодно бубенчик: в нем я и схоронюсь.

Привела мать корову на ярмарку, подходит покупатель, прицениватся:

— Сколько возьмешь за корову, голубушка?

— Полторы сотни дукатов, без бубенчика: он не продается.

— По рукам.

Вернулся крестьянин с коровой к себе, отвел ее в хлев. Приходит наутро задать ей корм, а пеструхи-то и след простыл.

— Теперь я в коня превращусь, — говорит Перикин. — Веди его на ярмарку и проси за него триста дукатов. Только уздечку сбереги, в ней я схоронюсь.

Тем временем заметил волшебник пропажу волшебной книги и враз смекнул:

— Не иначе, дело рук Перикина. Завтра ярмарка, этот плут наверняка туда явится. Поглядим, кто из нас хитрее.

Пришел он на ярмарку, видит — мать Перикина коня продает.

— Сколько, — спрашивает, — возьмешь за коня?

— Триста дукатов.

— На, держи.

— Да, но уздечка не продается! — спохватилась женщина.

— Я купил его с уздечкой.

— Нет!

— Да!

Случилось тут судье мимо проходить: он скажи, что чародей прав. А тот вскочил на коня, хлестанул его плеткой и воскликнул:

— Ну, держись, Перикин. Заплатишь ты мне за книгу!

Повелел он сыновьям отвести коня в стойло и строго-настрого запретил его кормить и снимать с него уздечку. Но конь так жалостно мотал головой и шевелил губами, что дети смилостивились:

— Бедняга! Каково-то ему в уздечке! Давай ее снимем!

Не успели они снять уздечку, обратился конь в форель и бултых в реку.

Увидал это волшебник, обернулся змеей — и в погоню. Форель и меж камней скользила, и в водопады кидалась, а не ушла от змеи: та настигла ее возле самой мельницы.

Обратилась тут форель в голубку, а змея тотчас орлом стала, тогда голубка мошкой обернулась и слетела в окошко к принцессе. Стал Перикин снова человеком, да и говорит красавице:

— Превращусь я сейчас в перстенек на твоей ручке. Войдет сюда человек, попросит отдать перстенек, ты не перечь, а перстенек-то с пальчика и срони, пусть он на кусочки разлетится! Наступи на самый крупный осколочек, а как шевельнется он, убери ногу.

Превратился Перикин в перстенек и прыг принцессе на пальчик. Вошел тут человек: отдай, говорит, принцесса, колечко. Та колечко ему протянула, да выронила, оно об пол ударилось и разлетелось на кусочки, а принцесса на самый крупный осколочек и наступила.

Превратился человек в курицу и ну осколки клевать. Тут осколочек под принцессиной ногой и шевельнулся, обернулся лисицей и съел курицу.

А потом Перикин вновь стал человеком, повенчался с принцессой, и стали они жить-поживать.

ЦВЕТОК-СТРАСТОЦВЕТ

Жил на свете король с тремя сыновьями, жил, горя не знал, но вот как-то заболел и стал слепнуть. И сказали доктора: одно лишь может его излечить — цветок-страстоцвет. Да вот беда, неведомо, где тот цветок растет.

Послал тут король своих сыновей по всей земле — кто отыщет, тому и королевством владеть.

Первым оседлал коня старший брат. Едет он, едет, а навстречу старая нищенка.

— Подай, — говорит, — мне, бедной, кусок хлеба.

А он ей в ответ:

— Прочь с дороги, старая ведьма!

Поехал было дальше, да вскоре стряслась с ним беда: сбился старший брат с пути и заплутался.

Ждал, ждал средний брат старшего — не дождался. Оседлал он коня и пустился на поиски цветка. Повстречалась и ему старая нищенка.

— Дай, — говорит, — мне кусок хлеба.

А он ей в ответ:

— Прочь с дороги, старая ведьма!

Ждет-пождет младший брат, не видать старших. Вскочил на коня и отправился попытать счастья. Встретилась ему старая нищенка, попросила хлеба, он и отдал ей всю ковригу.

— Куда, сынок, путь держишь? — спрашивает старуха.

— Ищу я цветок-страстоцвет — отца от недуга избавить.

— Возьми-ка вот это яйцо, — говорит нищенка, — разобьешь его о черный камень, что лежит посреди дороги. Камень расколется, и увидишь прекрасный сад, а сторожем в нем — лев. Если глаза у зверя открыты, входи смело: он спит. Если же закрыты — берегись.

Вскоре и впрямь подъехал младший брат к черному камню. Разбил он о камень яйцо, камень раскололся, и открылся юноше сад дивной красоты, а в самой глубине — цветок-страстоцвет, белый весь, с райским запахом, так и светится.

Глянул королевич, глаза у льва открыты. Без страха прошел он мимо и сорвал волшебный цветок.

На обратном пути повстречались ему оба брата. Наскучило им без толку по свету бродить, вот и присели они у обочины дух перевести. Сперва-то братья порадовались младшему брату и колдовскому цветку, да после призадумались: а не лучше ли убить младшего братца, самим привезти цветок ко двору и поделить меж собой отцовы владенья? Так и сделали: убили бедного, закопали, а чудо-цветок с собой увезли. Только не приметили братья — один пальчик младшего королевича землей не покрыло.

Остался он на виду, вырос из него тростник. Шел мимо пастушок, срезал тот тростник, смастерил себе дудочку, дунул в нее, а она как запоет:

Не играй, пастух, на дудке –
знает дудочка секрет,
как меня сгубили братья
за цветочек-страстоцвет!

Шел пастушок, шел, да и пришел в город. Король-то к тому времени от слепоты излечился. Услыхал он песенку и призвал пастуха к себе. Взял у него дудочку, приложил к губам, дудочка и запела:

Не играй, отец, на дудке –
разгласишь на целый свет,
как меня убили братья
за цветочек-страстоцвет!

Тут король обо всем догадался. Поспешил он к месту, где рос тростник, выкопал из могилы младшенького — тот и ожил. Оставил король королевство младшему сыну, а двух старших изгнал из дворца.

НЕВЕСТА ТРЕХ ЖЕНИХОВ

Была у отца дочь — раскрасавица, да, на беду, упрямица и строптивица. Раз посватались к ней трое юно-

В ту пору третий юноша брел берегом моря. Вдруг выбросили волны на берег огромный сундук. Раскрылся сундук, и вышло из него народу несметное множество, а последним вылез старенький старичок и прямиком к юноше.

— Купи, — говорит, — у меня этот сундук.

— Да к чему он мне? Разве что на топку сгодится?

— Ну уж нет! — отвечает старик. — Есть у сундука дивное свойство: вмиг переносит он владельца, куда тот пожелает. Это святая правда, спроси-ка у тех людей, они только что из Испании.

Убедился юноша, что старик не лжет, и раскошелился — купил сундук по дорогой цене.

На другой день встретились молодые люди. Довольны своими покупками, решили — пора назад, в Испанию.

Первый рассказал про волшебное зеркальце.

— Стоит, — говорит, — пожелать, и увидишь в нем, кого захочешь.

Вынул он зеркальце — взглянуть на красавицу, что никак не могла решить, кому из троих юношей отдать предпочтение. Да вот горе — увидали они ее мертвой в гробу!

— Есть у меня животворный бальзам! — воскликнул второй юноша. — Но пока доберемся, бедняжку уже похоронят.

— Есть у меня сундучок-скороход! — обрадовался третий. — В один миг домчит нас в Испанию!

Влезли они в сундук и оглянуться не успели, как очутились на родине.

Отвели их в комнату, где лежала неподвижно красавица. Окропили ей губы чудесным бальзамом, она и поднялась. Обернулась к отцу и говорит:

— Ну, что? Теперь ты и сам видишь: все трое хороши, как тут выберешь?

ЧЕРТ-ЖЕНИШОК

Была у одного графа дочь, редкая красавица, и пришла ей пора замуж идти. Одно плохо: оказалась девушка большой привередой — в любом женихе изъян отыщет. Раз она и говорит:

— Хочу в мужья маркиза — серебряные губы, золотые зубы.

Проведал про это черт и смекнул: «Выдам-ка я себя за маркиза и женюсь на графской дочке!» Сказано — сделано. В один прекрасный день является он во дворец. Граф, как увидел его, тотчас послал за дочерью.

— Вот, — говорит, — тот, кто тебе нужен.

— Не думала я, что сыщется такой, — отвечает дочка, — но слово свое сдержу.

Назначили они свадьбу на завтра.

А у невесты была любимая ласточка. И прощебетала птичка:

Это вовсе не маркиз. С чертом свел твой каприз!

Но строптивица и ухом не повела. Ласточка трижды пропела свою песенку. Тут девушка ей и говорит:

— Ты, верно, боишься, что я не возьму тебя с собой в замок мужа. Успокойся, я с тобой не расстанусь. А пока помолчи!

Настал день свадьбы. Прилетел черт в санках по воздуху, нарядный, зубы золотые, губы серебряные. С ним целая свита бесов и ведьм. Разодеты все, точно вельможи.

После венчания усадил черт молодую жену в сани, и понеслись они под облаками. Позабыла гордячка о верной подружке ласточке, а та следом летит.

— Куда ты меня везешь, муженек? — всполошилась графская дочка. — Что за путь-дорога, в толк не возьму!

— Не тревожься, женушка, — отвечает черт. — Сейчас приедем!

Вот примчались они в замок. Запер черт жену в комнатушку, сам в подпол спустился, а там у него котел с кипятком. Захохотал черт:

— У меня обычай свой: раз — крепись, два — смирись, три — в похлебку головой!

И принялся изо всех колотить в потолок. Затрещали доски, вот-вот проломятся. Несдобровать тогда девушке — того и гляди, в кипяток рухнет!

Вдруг ласточка порх в окно!

— Твоя правда, милая! — говорит ей графская дочка. — Это вовсе не маркиз. С чертом свел меня каприз! Разыщи скорей отца, дай ему знать о моей беде!

Улетела ласточка, а черт опять:

— У меня обычай свой: раз — крепись, два — смирись, три — в похлебку головой!

А сам знай в потолок колотит, вот-вот проломит.

Рассказала ласточка графу, какая беда приключилась с его дочкой, поспешил он на выручку, ворвался в замок, вызволил девушку, а на ее месте куклу оставил. Затрещали тут доски, проломились, и кукла бултых в котел!

Принялся черт помешивать свое дьявольское варево, помешивает да приговаривает:

Дочка графа, это ложь —
я ведь вовсе не маркиз!
Дочка графа, ты умрешь —
с чертом свел тебя каприз!

Повторил он это трижды и запустил ложку в котел — проверить, хороша ли похлебка. Глядь, а в котле-то старая кукла. Понял рогатый, что его провели, прыг в сани и вместе со своей свитой прямиком к графскому дворцу. А там его уж ждут-дожидаются: таких тумаков черт отведал, что хвост поджал и скорей назад — в преисподнюю!

ПТИЦЫ ГРАФИНИ МОРАЛЕС

В мрачном замке жил богатый и знатный граф Альфонсо Моралес с дочерью и второй женой. Удивительно хороша была жена графа — графиня Инезилья, но взгляд ее почти всегда был гордым и суровым, и действительно, сердце у нее было недоброе. У графа от первого брака была дочка, семнадцатилетняя Мерседес. Как пышный цветок, расцветала красавица девушка в замке старого Моралеса... Мачеха не любила ее, хотя она сама была хороша, как чудная звездная ночь. Инезилья завидовала молодости девушки, прекрасной, как весеннее свежее утро.

— Этот дворец я дарю тебе, — сказала птица. — У тебя будут слуги и служанки, все необходимое. Теперь я дам тебе еще три перышка из моего хохолка, вырви их, не бойся, мне не будет больно. Самое большое из них храни всегда. Когда к этому острову будут подплывать чужие и враждебные тебе люди, махни им, и тогда дворец, сад и деревья, вся эта прелесть и роскошь скроются на время, чужеземцы увидят только серые, скучные скалы. Второе перышко, покороче, брось в воздух, когда у тебя появится какое-нибудь желание. Я и мои птицы исполним его. Третье, самое маленькое, брось, когда ты пожелаешь еще чего-нибудь...

Птица улетела, графиня счастливо зажила в своем дворце, но она часто вспоминала о добром пастушонке Леоне который выручил ее из беды, и однажды подбросила маленькое перышко в воздух и пожелала, чтобы птицы перенесли его на остров. Действительно, прилетели птицы миллионы птиц. Выслушали приказание графини, кивнули ей головами и улетели.

Вскоре они принесли к ней пастушонка. Через несколько месяцев Мерседес обвенчалась с ним, и молодые супруги весело зажили во дворце.

Но Мерседес часто вспоминала об отце, и ей очень хотелось видеть его. Она бросила в воздух самое коротенькое перышко и, когда появились птицы, попросила их принести к ней отца и старую няню. Птицы исполнили и это желание Мерседес. Нет слов описать радость свидания, только няня все приговаривала:

- Святая мадонна, уж как я боялась, когда эти птицы тащили меня через море... А теперь я рада видеть тебя, ох, как рада.

Мерседес рассказала отцу, как ее преследовала графиня Инезилья, и он не захотел возвращаться в свой замок. Так и живут они все вместе на чудном острове

СВЯЩЕННИК-ПРИЗРАК

Густые темные облака закрыли луну. Свистит и завывает ветер в утесах скалистой Сьерра-Невады. Подле очага бедного дома сидит старый священник дон Педро и

греет озябшие руки. В церкви, которая стоит неподалеку от его маленького дома, пусто и темно. Он только что окончил вечернюю мессу, но из-за непогоды почти никто из окрестных жителей не пришел помолиться святому Яго, покровителю ее главного алтаря.

Вот послышался стук в дверь. Старуха, служанка патера, открыла ее, и в комнату вошел озябший мальчик.

— Отец, отец мой, — заговорил он, — стоит бурный ненастный вечер, но не откажи исполнить мою просьбу... Я пришел из деревушки Кампаньона Эрмоза, меня прислала старая Хуанита.

— Как? — удивился священник, — Хуанита? Та, которая не боялась Бога, не стыдилась людей, та, чье сердце было как камень, а язык как ядовитое жало скорпиона? Зачем ей понадобился священник в такое ненастье?

— Отец, Хуанита — моя тетка. Всю жизнь она жила неправедно, но теперь, в смертный час, в ее сердце проснулось раскаяние. Ей хочется примириться с Богом, принять святое причастие и с облегченной душой встретить великую минуту.

Не говоря ни слова, священник поднялся с места, велел своей старой служанке Сильвии приготовить осла, взял запасные дары, молитвенник и сказал мальчику:

— Мой долг прийти на помощь жаждущей покаяния бедной душе, только тебе придется вести моего осла. Глаза мои плохо видят, я не могу управлять им в этой темноте, а своего старого слугу я отпустил сегодня.

Через несколько минут по крутой горной тропинке шел мальчик и вел осла, на котором сидел престарелый священник. По узким ущельям и по крутым спускам, по неудобным подъемам осторожно пробиралось умное животное. Наконец путники очутились в густом дубовом лесу. Жутко было мальчику, но старик ничего не боялся. Он только читал молитвы и молил Господа вовремя привести его к умирающей и помочь ему успокоить душу и облегчить сердце старой грешницы. Дон Педро был до того погружен в молитвы и благочестивые мысли, что точно проснулся, когда какие-то люди остановили осла, его самого схватили за руки и вытащили из седла. Это были разбойники. С криком отчаяния мальчик бросился бежать и вскоре скрылся в соседних кустах.

— Ну, старый, где у тебя деньги? — закричал атаман.

— У меня ничего нет, кроме молитвенника и запасных даров, которые я вез к умирающей.

Тем не менее разбойники обыскали патера, отняли у него тощий кошелек с несколькими медными монетами, взяли святыню — дарохранительницу и с досады, что не нашли ничего больше, стали бить старика и смеяться над ним.

— Я слышал, — сказал один из них, — что этот старик колдун. Недаром он такой старый.

— Мне же говорили, — обратился другой к атаману, — что у него где-то в горах спрятаны несметные богатства.

— Ну, потолкуем, что с ним делать, — сказал атаман, — а пока до поры до времени свяжем его и положим на траву.

Старику связали ноги и руки. Он не сопротивлялся, да и не стоило бороться. Он был один, а их — семь человек, и все такие рослые, здоровые малые.

Отойдя в сторону, разбойники принялись совещаться. Они долго спорили, кричали, бранились, наконец решили подвергнуть священника ужасной пытке — привязать его повыше к дереву и разложить под ним костер, чтобы огонь жег подошвы его ног.

— Тогда старый колдун сознается, куда он запрятал свои богатства, — с усмешкой сказал жестокий атаман и подошел к дону Педро.

Между тем старик священник не думал о своей судьбе. Он горевал только, что ему не удалось попасть к Хуаните, и мысленно молил Господа отпустить ей грехи и успокоить ее грешную душу.

— Ну, — сказал атаман, — готовься, старикашка. Если ты сейчас не скажешь, где спрятаны твои деньги и богатства, мы разложим под твоими ногами огонь, и он заставит тебя сознаться.

— У меня одно сокровище — моя вера. Одно богатство — любовь к людям и молитва, — спокойно ответил дон Педро. — Не бери же греха на душу, не мучь беззащитного старика, лучше отпусти меня. Я тороплюсь к умирающей. Мне нужно успокоить ее, и я боюсь опоздать в Кампаньону Эрмозу.

— Старый скряга, — проворчал атаман. — Не хочешь сознаваться, пеняй же на себя!

И через мгновение горящие угли жгли обнаженные ноги дона Педро. Его лицо исказилось от жестокой боли, но он, забывая о себе, продолжал сжимать слабые старческие руки и молил Господа послать утешение и покой умирающей Хуаните. Брошенный разбойниками осел мирно щипал траву, не понимая, что происходит с его бедным хозяином.

Разбойники, уставшие за день от грабежей и бесчинств, заснули, и только атаман сидел, помешивая угли, однако скоро и его голова упала на грудь, а веки крепко сомкнулись. Ему показалось, что спал он только минуту, но вдруг он почувствовал, что кто-то дотронулся до его плеча. Атаман открыл испуганные глаза. Возле него никого не было. В лесу распространялся белесый свет утра. На листьях, на траве блестели крупные капли росы. Ее было много, как никогда. Он обернулся в сторону дуба и разложенного костра и увидел, что огня нет, что даже головешки почернели и что старец, прикрученный веревками к стволу столетнего дуба, каким-то чудом соскользнул к его подножию и, оставаясь привязанным, не то спал, не то молился. Изумленный атаман повернулся к своим товарищам. Они спали, как мертвые. Старый осел священника, развесив уши, дремал невдалеке от потухшего костра. В лесу просыпались птицы. И вот в зелени чащи что-то шевельнулось. Атаман увидел какую-то фигуру, и вскоре на каменистой дорожке появился старый осел, а на нем сидел священник, как две капли воды похожий на привязанного к дереву дона Педро, только радостный и улыбающийся. Посмотрев на атамана светлым взглядом, священник поднял благословляющую руку и произнес:

Хуанита умерла счастливая, прощенная Богом.

Атаман вскрикнул, бросился будить своих товарищей, но когда он снова посмотрел в сторону чудесного видения, оно уже исчезло. К дубу по-прежнему был привязан старик, который не то спал, не то молился, а возле него дремал осел.

Потрясенный атаман бросился к дону Педро, быстро развязал веревки на его затекших руках, упал перед ним на колени и закричал:

— Ты святой, отец мой! Сила твоей веры совершила чудо. С этого дня я брошу свое ужасное ремесло, обращусь к Богу, только умоли его простить меня.

На ногах дона Педро не оказалось ни ран, ни ожогов, но он был слаб. Ничего не отвечая атаману, старик опустился на колени и стал молиться. Через несколько минут опять послышался шум в чаще, и вскоре на каменистой тропинке показался племянник Хуаниты.

— Ах, — закричал он, увидев старика Педро и разбойников. — Отец мой, ты опять попался в руки этих людей, а я-то так радовался, что ты освободился и, приехав к нам в Эрмозу, утешил и успокоил мою умиравшую тетку. Как же они тебя опять захватили?

Услышав это, атаман зарыдал, закрыв лицо руками.

Разбойники с почестями проводили дона Педро до его дома. С этого дня они перестали убивать и грабить, стараясь добрыми делами загладить свои прежние преступления. Атаман же на месте, где произошло чудо, выстроил церковь в честь святого Петра, а сам ушел в Палестину и сделался там братом милосердия, чтобы ухаживать за самыми несчастными из людей — за прокаженными.

ХУАН АРРАДА

В давние времена, когда в Испании еще властвовали мусульмане-мавры, жил старый купец Аррада, у которого был сын, шестнадцатилетний Хуан. Купец рассылал по всей Испании свои товары, нагруженные на прекрасных сильных мулов, и сын его, молодой Хуан, нередко сам сопровождал вереницу вьючных животных.

Однажды, когда молодой Хуан и его слуги переправлялись на мулах через горы и стройные животные, покачивая длинными красными кистями на узлах и позванивая серебряными колокольчиками, ловко ступали по каменным громадам, из ущелья показались разбойники. Заблестели кривые сабли, замелькали фески, чалмы и тюрбаны. Хуан понял, что это мавры. Его люди храбро бились, но разбойников было такое множество, что одни из проводников пали в бою, другие попали в плен. Разбойники захватили все товары, мулов с их уборами, Хуана и его оставшихся в живых слуг, которых и продали в рабство богатым маврам. Хуан был так красив, молод и силен, что его купили для самого

гранадского калифа. Молодого человека отвели в калифский дворец. Там он работал в саду: окапывал деревья, чистил фонтаны, бившие струями кристально чистой воды, подвязывал дивные благоухающие цветы и вообще исполнял всякие садовые работы. Это было нетрудно, но тоска по родным, по дому и прежней жизни угнетала молодого человека. Днем он усердно работал, а по ночам часто плакал. Он вел себя так хорошо, работал так усердно, что по приказанию калифа ему предоставили полную свободу. Днем и ночью он мог бродить по калифскому саду и по дворам, только не смел выходить за стены, да этого и сделать было нельзя, потому что толстая ограда поднималась очень высоко, а все ворота охранялись стражниками.

Однажды в светлую лунную ночь Хуану не спалось. Както особенно ясно вспомнилась ему прежняя привольная жизнь у отца и до смерти захотелось на волю. Он встал с циновки и вышел из сарайчика, в котором жил вместе с остальными рабами, во двор. Луна светила ярко. Темные тени от кипарисов неподвижно лежали на плитах мощеного двора, посредине его бил прекрасный фонтан, струи которого с журчанием падали в гранитный бассейн. Из одного двора Хуан переходил в другой, из другого в третий. Наконец он присел у подножия большой черной скалы, поднимавшейся над стеной, и глубоко задумался об отце и о том, как, вероятно, страдал этот несчастный старик, и горько-горько заплакал.

И вдруг откуда-то послышался голос.

— Хуан! Хуан!

Хуан огляделся вокруг. Кругом никого не было.

— Хуан, Хуан, — послышалось еще раз как бы снизу.

Молодой человек опустил глаза и у основания башни, над самыми плитами двора, увидел небольшое окошко, загороженное железной решеткой, и сухую морщинистую руку, схватившуюся за одну из ее перекладин. Хуан стал на колени и приник лицом к окну. В темноте подземелья белело что-то.

— Кто звал меня? — спросил Хуан Аррала.

— Это я, старый Диего-мудрец. Я долго жил у калифа, и милостиво глядели на меня его очи. Но не угодил я юной Сулейме, супруге моего господина, за то, что обличал ее в

тщеславии, щегольстве и расточительности. Она уговорила калифа не слушать больше своего старого слугу, и он повелел бросить меня в подземную темницу и сковать мои руки, а пока их тяготят оковы, не свободен также и дух мой, и нет у меня силы с помощью знаний и мудрости открыть замки и запоры. Юный Хуан Аррала, сними с моих рук оковы, и тогда я освобожу тебя и себя и в награду дам тебе тот великий дар, который ты выберешь сам. Только знай, пока руки мои не свободны, малейший шум может призвать сюда стражников, и тогда тебе не миновать лютой казни! Если ты не побоишься подвергнуть жизнь опасности и освободить меня, ты тоже, может быть, будешь свободен. Если же стражники придут — ты погибнешь.

— Согласен, — сказал Аррала. — Что мне жизнь без свободы? Скажи, что нужно сделать?

— Возьми камень и постарайся разбить оковы на моих руках, сперва на левой, потом на правой.

Хуан отыскал возле водоема большой камень и снова вернулся к темнице. Бледная рука, тесно охваченная кольцом, просунулась сквозь решетку. Хуан ударил камнем по железному браслету. Боже, какой поднялся звон! Казалось, тысячи кузнецов изо всей силы били по наковальням. Никогда не думал Хуан, что от одного удара мог раздаться такой грохот. Он похолодел от страха, огляделся. Все вокруг было спокойно.

«Все равно, — подумал молодой человек, — раз я начал, нужно закончить».

Он второй раз ударил по браслету, и обруч распался. Левая рука старика освободилась. Старик подвигал пальцами, с удовольствием пошевелил кистью и, подав вторую руку Хуану, сказал:

— Теперь правую.

«Боже, какой страшный звон поднимется опять», — подумал Хуан и сильно ударил по железному обручу, но не послышалось ни звука. Казалось, камень упал на толстый слой ковров. Обруч рассыпался на множество кусков. Глаза старика заблестели. Он сложил руки ладонями вместе и, отставив большие пальцы, сделал ими какой-то таинственный знак. В ту же секунду решетки бесшумно выпали из камней, как зубы изо рта старой собаки, и окно выросло, превратив-

шись в удобную дверь. Вскоре Диего-мудрец уже стоял рядом с Хуаном, и юноша невольно залюбовался его высокой фигурой и длинной белой бородой, падавшей ниже колен. Уверенно ступая, прошел он с молодым человеком через дворы и подвел его к боковым чугунным воротам. Сделав новый таинственный знак обеими руками, он прикоснулся к их тяжелым створкам. Без скрипа, тихонько отворились ворота, и мудрец с Хуаном прошли мимо крепко спящих стражников. На улицах спавшего города все было тихо, никто не остановил их. Вот они миновали сады и дворцы предместий и очутились в горах.

— Тут мы в безопасности, отец мой, — сказал Хуан. — Я устал, отдохнем.

— Иди, иди, — ответил старик, — днем выспишься, а теперь я должен показать тебе мой первый дар.

Пастбища и леса остались позади. Путники карабкались по утесам, наконец старик сказал:

— Здесь!

Он ввел Хуана в глубокую темную пещеру, поднял руку, и пещера внезапно засияла. Изумленный Хуан увидел, что она украшена резными сводами и колоннами из топаза, берилла, аметиста и других прозрачных сверкавших камней. По углам грудами лежали отшлифованные бриллианты, сапфиры, изумруды, рубины, играя тысячами цветов под лучами света, лившегося на них неизвестно откуда, сверху, снизу, со всех сторон. Посредине стоял стол, покрытый затканной золотом и серебром бархатной скатертью, а на нем красовались золотые чеканные кубки невиданной красоты и серебряные кувшины, украшенные эмалью, осыпанные бирюзой и топазами. Но это еще было не все. Старик хлопнул в ладони, и в глубине пещеры открылась длинная галерея, отделанная малахитом. По ней побежали крошечные черные мохнатые карлики, полумедвежата-полулюди, одетые в красные одежды и с громадными мешками на плечах. Сбрасывая мешки на пол перед Хуаном, они развертывали их и высыпали перед ним груды золотых и серебряных монет, чудесные жемчужины, ожерелья, браслеты и другие украшения.

— Если захочешь, все это богатство будет твое, — сказал старик.

«Хочу, хочу, — подумал было Хуан, так как в эту минуту вспомнил, что не только себе принесет пользу богатством, но поможет и обедневшим товарищам, и другим беднякам. — Хочу, хо...» — чуть было не выговорили его губы, но старик сказал:

— Погоди, Хуан, не торопись.

И он вывел его из пещеры.

Всходило розовое солнце. Поев ягод ежевики, напившись свежей ключевой воды, Аррада лег на мягкий мох и заснул до вечера, так велел ему старик.

Когда он проснулся, на потемневшем синем небе уже загорались звездочки и из-за гор блестел край серебряной полной луны. И над Хуаном стоял Диего-мудрец и говорил ему:

— Пойдем, пойдем. Пора, пора.

Все выше и выше поднимались они, все круче и круче делалась тропинка. Камни сыпались из-под ног Хуана, подскакивая, скатываясь в глубокие пропасти, и с глухим шумом падали с утеса на утес. Кругом были одни голые скалы. Устал Хуан и тяжело дышал. Старик подвел его к высокой отвесной скале, гладкой, как отполированная стена.

«Куда привел меня старик? — подумал Хуан. — Дальше и дороги нет. Нет даже и тропинки».

Но старик высоко поднял руки над головой, развел ими в стороны, странно пошевелил сухими белыми пальцами, и вот в каменной стене открылась узкая дверь. Едва старик и Аррада успели пройти через нее, как она снова закрылась за ними, но Хуан и не взглянул назад. Он увидел чудную картину. Перед ним лежал великолепный, облитый солнечным сиянием город с дворцами, с садами. На его широких площадях били дивные фонтаны, стройные пальмы с широкими раскидистыми листьями, лапчатые аралии, мимозы с благоуханными желтыми цветами и другие красивые деревья окаймляли широкие улицы. В садах пели птицы, по улицам двигались стройные ряды конных и пеших воинов, а на холме, вдали, поднимался роскошный царский дворец с золоченой крышей. Вокруг толпились важные сановники, горожане в богатых одеждах, женщины с малютками на руках, простой народ, нищие. И все ждали кого-то, все робко и с почтением оглядывались вокруг.

— Кого они ждут? — спросил Хуан.

— Тебя, — ответил Диего. — Если ты захочешь, ты станешь царем этой счастливой и богатой страны. В твоих руках будет возможность дать много пищи сердцу доброго человека.

«Сделай меня царем», — хотел крикнуть Аррала и шевельнул уже губами, но старик остановил его.

— Погоди, не торопись, — сказал мудрец. — Когда ты увидишь мой третий дар, ты сам рассудишь, который из них окажется для тебя привлекательнее.

Говоря так, старик вывел его из чудесного города, снова раскрыл дверь в каменном утесе и, когда забрезжил рассвет, накормил дикой малиной и уложил спать.

С наступлением мрака Диего, как и накануне, разбудил Хуана и повел его с собой. Стояла неприветная ночь, темные облака закрывали луну. Ветер свистел в камнях.

На этот раз старик вел Хуана не к вершинам гор, а к их подножию. По обрывистым склонам, по узким тропинкам, по скользким, влажным от тумана камням спускались они в сырые черные ущелья все ниже, ниже, так что Хуану чудилось, будто они идут в глубь земли. Наконец они очутились на берегу ручья, который медленно, точно сонный, тек по узкой лощине. Утесы сближались, и вскоре их острия стали почти касаться друг друга. Образовался мрачный темный свод.

«Сейчас, — подумал Хуан, — сейчас чудесный старик покажет мне что-нибудь удивительное. Уж те два дара были хороши, хороши ослепительно, как же должен быть прекрасен этот последний, третий, если он приказывал мне дожидаться его!» И точно в ответ на эту мысль он услышал тихие, нерадостные звуки. Навстречу несся стон. Хуан сделал несколько шагов и остановился. Со всех сторон глядели на него страдающие глаза, отовсюду к нему тянулись исхудалые, дрожащие руки. Глаза молили о помощи, руки искали опоры... По бледным щекам струились слезы. Воздух дрожал от рыданий, и в этом печальном хоре Хуан различал голоса детей, юношей, людей взрослых, стариков, старух... Сердце его сжималось от жалости, но он не знал, к кому броситься, кого попытаться утешить.

— Зачем привел ты меня в это ужасное место? — спросил Хуан. — Неужели в благодарность за услугу ты хочешь сделать меня господином царства слез и несчастья?

— Нет, — ответил старик, — я только хочу показать тебе действие того дара, который собираюсь предложить тебе.

С этими словами он надел на палец Хуана большой перстень с крупным камнем, из которого сверкали разные лучи: розовый, красный, голубой, лиловый, сиреневый, дымчатый, оранжевый, и прибавил:

— Дотронься им до головы этого рыдающего мальчика.

Хуан исполнил приказание Диего, и на глазах малютки мгновенно высохли слезы, он улыбнулся. Хуан уже сам провел перстнем по дрожащей голове дряхлого старика и вместо выражения отчаяния увидел на его лице отпечаток тихой грусти.

— Это камень сердца, камень утешения. С ним ты будешь богаче любого богача, могущественнее самого сильного властителя. Никакие сокровища в мире не дадут тебе таких высоких наслаждений, никакой трон не даст такой силы над людьми, как этот камень ласки, камень доброго слова. При помощи его ты будешь придавать мужество впавшим в отчаяние, спасать людей, изнемогающих от горя...

Хуан опустился на колени перед Диего и сказал ему:

— Благодарю тебя, отец.

Диего вывел его из ущелья и велел лечь спать. Еще стояла ночь, и Хуан тотчас же заснул, а когда проснулся, уже светило яркое солнце. Аррада открыл глаза и с удивлением оглянулся. Он лежал на срезанных виноградных сухих ветках возле ворот отцовского дома, а на руке его играл и переливался в золотом перстне чудесный камень сердца.



Кид окинул взглядом судей, заметил, как смягчилось выражение их лиц, и поднял кружку.

— Так выпьем же за того, кто в пути этой ночью! За то, чтобы ему хватило пищи, чтобы собаки его не сдали, чтобы спички его не отсырели. Да поможет ему господь, пусть во всем ему будет удача, а...

— А королевской полиции — посрамление! — докончил Беттлз под грохот опустевших кружек.

ДОЧЬ СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ

— Вы... как это говорится... лодырь! Вы, лодырь, хотите стать моим мужем? Напрасный старанья. Никогда, о нет, никогда не станет моим мужем лодырь!

Так Джой Молино заявила без обиняков Джеку Харрингтону; ту же мысль, и не далее как накануне, она высказала Луи Савою, только в более банальной форме и на своем родном языке.

— Послушайте, Джой...

— Нет, нет! Почему должна я слушать лодырь? Это очень плохо — ходить за мной по пятам, торчать у меня в хижине и не делать никаких дел. Где вы возьмете еда для famille?[1] Почему у вас нет зольотой песок? У других польный карман.

— Но я работаю, как вол, Джой. День изо дня рыскаю по Юкону и по притокам. Вот и сейчас я только что вернулся. Собаки так и валятся с ног. Другим везет — они находят уйму золота. А я... нет мне удачи.

— Ну да! А когда этот человек, Мак-Кормек, ну тот, что имеет жена индианка,— когда он открыл Клондайк, почему вы не пошел? Другие пошел... Другие стал богат.

— Вы же знаете, я был далеко, искал золото у истоков Тананы,— защищался Харрингтон.— И ничего не знал ни об Эльдорадо, ни о Бонанзе. А потом было уже поздно.

— Ну это пусть. Только вы... как это... сбитый с толк.

— Что такое?

[1] Семья (*франц.*).

— Сбитый с толк. Ну, как это... в потемках. Поздно не бывает. Тут, по этот ручей, по Эльдорадо, есть очень богатый россыпь. Какой-то человек застолбил и ушел. Никто не знает, куда он девался. Никогда больше не появлялся он тут. Шестьдесят дней никто не может получить бумага на этот участок. Потом все... целый уйма людей... как это... кинутся застолбить участок. И помчатся, о, быстро, быстро, как ветер, помчатся получать бумага. Один станет очень богат. Один получит много еда для famille.

Харрингтон не подал виду, как сильно заинтересовало его это сообщение.

— А когда истекает срок? — спросил он.— И где этот участок?

— Вчера вечером я говорила с Луи Савой,— продолжала она, словно не слыша его вопроса.— Мне кажется, участок будет его.

— К черту, Луи Савоя!

— Вот и Луи Савой сказал вчера у меня в хижине: «Джой,— сказал он,— я сильный. У меня хороший упряжка. У меня хороший дыханье. Я добуду этот участок. Вы тогда будете выходить за меня замуж?» А я сказала ему... я сказала...

— Что же вы сказали?

— Я сказала: «Если Луи Савой, победит, я буду стать его женой».

— А если он не победит?

— Тогда Луи Савой... как это по-вашему... тогда ему не стать отцом моих детей.

— А если я выйду победителем?

— Вы — победитель? — Джой расхохоталась.— Никогда!

Смех Джой Молино был приятен для слуха, даже когда в нем звучала издевка. Харрингтон не придал ему значения. Он был приручен уже давно. Да и не он один. Джой Молино терзала подобным образом всех своих поклонников. К тому же она была так обольстительна сейчас — жгучие поцелуи мороза разрумянили ей щеки, смеющийся рот был полуоткрыт, а глаза сверкали тем великолепным соблазном, который могут таить в себе только глаза женщины и сильней которого нет ничего на свете. Собаки живой косматой грудой копошились у ее ног, а Волчий Клык, вожак упряжки, осторожно положил свою длинную морду к ней на колени.

— Ну, а все же, если я выйду победителем? — настойчиво повторил Харрингтон.

Джой посмотрела на своего поклонника, потом снова перевела взгляд на собак.

— Что ты скажешь, Вольчий Клык? Если он сильный и получит бумага на участок, может быть, мы согласимся стать его женой? Ну, что ты скажешь?

Волчий Клык навострил уши и глухо заворчал на Харрингтона.

— Хольодно,— с женской непоследовательностью сказала вдруг Джой Молино, встала и подняла свою упряжку.

Ее поклонник невозмутимо наблюдал за ней. Она задавала ему загадки с первого дня их знакомства, и к прочим его достоинствам прибавилось с той поры еще терпение.

— Эй, Вольчий Клык! — воскликнула Джой Молино, вскочив на нарты в ту секунду, когда они тронулись с места.— Эй-эй! Давай!

Не поворачивая головы, Харрингтон искоса смотрел, как ее собаки свернули на тропу, проложенную по замерзшей реке, и помчались к Сороковой Миле. У развилки, откуда одна дорога уходила через реку к Форту Кудачи, Джой Молино придержала собак и обернулась.

— Эй, мистер Лодырь! — крикнула она.— Вольчий Клык говорит — да... если вы побеждать!

Все это, как обычно бывает в подобных случаях, каким-то образом получило огласку, и население Сороковой Мили, безуспешно ломавшее себе голову на кого из двух последних поклонников Джой Молино падет ее выбор, строило теперь догадки, кто из них окажется победителем в предстоящем состязании, и яростно заключало пари. Лагерь раскололся на две партии, и каждая старалась обеспечить победу своему фавориту. Разгорелась ожесточенная борьба за лучших во всем крае собак, ибо в первую голову от собак, от хороших упряжек, зависел успех. А он сулил немало. Победителю доставалась в жены женщина, равной которой еще не родилось на свет, и золотой прииск, стоимостью по меньшей мере в миллион долларов.

Осенью, когда разнеслась весть об открытиях, сделанных Мак-Кормеком у Бонанзы, все — и в том числе

Серкл и Сороковая Миля — ринулись вверх по Юкону; все, кроме тех, кто, подобно Джеку Харрингтону и Луи Савою, еще раньше ушли искать золото на запад. Лосиные пастбища и берега ручьев столбили подряд, без разбору. Так случайно застолбили и малообещающий с виду ручей — Эльдорадо. Олаф Нелсон воткнул на берегу колышки на расстоянии пятисот футов один от другого, без промедления отправил по почте свою заявку и так же без промедления исчез. Ближайшая приисковая контора, где регистрировались участки, помещалась тогда в полицейских казармах в Форте Кудахи — как раз через реку от Сороковой Мили. Лишь только пронесся слух, что Эльдорадо — настоящее золотое дно, кому-то сейчас же удалось разнюхать, что Олаф Нелсон не дал себе труда спуститься вниз по Юкону, чтобы закрепить за собой свое приобретение. Уже многие жадно поглядывали на бесхозяйственный участок, где, как всем было известно, тысячи тысяч долларов ждали только лопаты и промывочного лотка. Однако завладеть участком никто не смел. По закону, старателю, застолбившему участок, давалось шестьдесят дней на то, чтобы оформить заявку, и пока не истечет этот срок, участок считался неприкосновенным. Об исчезновении Олафа Нелсона уже знали все кругом, и десятки золотоискателей готовились вбить заявочные столбы и помчаться на своих упряжках в Форт Кудахи.

Но Сороковая Миля выставила мало претендентов. После того как весь лагерь направил свои усилия на то, чтобы обеспечить победу либо Джеку Харрингтону, либо Луи Савою, никому даже не пришло на ум попытать счастья в одиночку. От участка до приисковой конторы считалось не менее ста миль, и на этом пути решено было расставить по три сменных упряжки для каждого из фаворитов. Последний перегон являлся, понятно, решающим, и для этих двадцати пяти миль ретивые добровольцы старались раздобыть самых сильных собак. Такая лютая борьба разгорелась между двумя партиями и в такой они вошли азарт, что цены на собак взлетели неслыханно высоко, как никогда еще не бывало в истории этого края. И немудрено, если эта борьба еще крепче приковала все взоры к Джой Молино. Ведь она была не только причиной этих треволнений, но и обладательницей самой лучшей упряжной собаки от Чилкута до Берингова моря. Как вожак, или головной, Волчий Клык не знал себе равных. Тот, чью

упряжку повел бы он на последнем перегоне, мог считать себя победителем. На этот счет ни у кого не было сомнений. Но Сороковая Миля чутьем понимала, что можно и чего нельзя, и никто не потревожил Джой Молино просьбой одолжить собаку. Каждая сторона утешала себя тем, что не только фавориту, но и противнику не придется воспользоваться таким преимуществом.

Однако мужчины — каждый в отдельности и все вкупе — устроены так, что часто доходят до могилы в блаженном неведении всей глубины коварства, присущего другой половине рода человеческого; и по этой причине мужское население Сороковой Мили оказалось неспособным разгадать дьявольские замыслы Джой Молино. Все признавались впоследствии, что недооценили эту черноокую дочь северного сияния, чей отец промышлял мехами в здешних краях еще в ту пору, когда им и не снилось, что они тоже нагрянут сюда, и чьи глаза впервые взглянули на мир при холодном мерцании полярных огней. Впрочем, обстоятельства ее появления на свет не помешали Джой Молино быть женщиной до мозга костей и не ограничивали ее способности понимать мужскую натуру. Мужчины знали, что она ведет с ними игру, но им и в голову не приходило, как глубоко продумана эта игра, как она искусна и хитроумна. Они не видели дальше своего носа и до последней минуты пребывали в состоянии приятного ослепления, а когда Джой Молино пошла со своего главного козыря, им осталось только подсчитать проигрыш.

В начале недели весь лагерь провожал Джека Харрингтона и Луи Савоя в путь. Соперники выехали с запасом в несколько дней — им хотелось прибыть на участок Олафа Нелсона загодя, чтобы хоть немного отдохнуть и дать собакам восстановить силы перед началом гонок. По дороге они видели золотоискателей из Доусона, уже расставлявших сменные упряжки на пути, и получили возможность убедиться, что никто не поскупился на расходы в погоне за миллионом.

Дня через два после их отъезда Сороковая Миля начала отправлять подставы — сначала на семьдесят пятую милю пути, потом на пятидесятую и наконец на двадцать пятую. Упряжки, предназначавшиеся для последнего перегона, были великолепны — все собаки как на подбор, и лагерь битый час, при пятидесятиградусном морозе, обсуждал и сравнивал их достоинства, пока наконец упряжки не получили возможности тронуться в

путь.

Но тут, в последнюю минуту, к ним подлетела Джой Молино на своих нартах. Она отозвала в сторону Лона Мак-Фэйна, правившего харрингтоновской упряжкой, и не успели первые слова слететь с ее губ, как Лон разинул рот с таким остолбенелым видом, что важность полученного им сообщения стала очевидна для всех. Он выпряг Волчьего Клыка из ее нарт, поставил во главе харрингтоновской упряжки и погнал собак вверх по Юкону.

— Бедняга Луи Савой! — заговорили кругом.

Но Джой Молино вызывающе сверкнула черными глазами и повернула нарты назад к отцовской хижине.

Приближалась полночь. Несколько сот закутанных в меха людей, собравшихся на участке Олафа Нелсона, предпочли шестидесятиградусный мороз и все треволнения этой ночи соблазну натопленных хижин и удобных коек. Некоторые из них держали свои колышки наготове. И своих собак — под рукой. Отряд конной полиции капитана Констэнтайна получил приказ быть на посту, дабы все шло по правилам. Поступило распоряжение никому не ставить столбы, пока последняя секунда этого дня не канет в вечность. На Севере такой приказ равносилен повелению Иеговы,— ведь пуля думдум карает так же мгновенно и безвозвратно, как десница божия. Ночь была ясной и морозной. Северное сияние зажгло свои праздничные огни, расцветив небосклон гигантскими зеленовато-белыми мерцающими лучами, притушившими свет звезд. Волны холодного розового блеска омывали зенит, а на горизонте рука титана воздвигла сверкающие арки. И, потрясенные этим величественным зрелищем, собаки поднимали протяжный вой, как их далекие предки в незапамятные времена.

Полисмен в медвежьей шубе торжественно шагнул вперед с часами в руке. Люди засуетились у своих упряжек, поднимая собак, распутывая и подтягивая постромки. Затем соревнующиеся подошли к меже, сжимая в руках колышки и заявки. Они уже столько раз переступали границы участка, что могли бы теперь сделать это с закрытыми глазами. Полисмен поднял руку. Скинув с плеч лишние меха и одеяла, в последний раз подтянув пояса, люди замерли в ожидании.

— Приготовиться!

Шестьдесят пар рукавиц сдернуто с рук; столько же

пар обутых в мокасины ног покрепче уперлось в снег.

— Пошли!

Все ринулись с разных сторон на широкое пустое пространство участка, вбивая колышки по углам и посредине, где надлежало поставить две центральные заявки, потом опрометью бросились к своим нартам, поджидавшим их на замерзшей глади ручья. Все смешалось — движения, звуки. Все слилось в единый хаос. Нарты сталкивались. Ощетинившись, оскалив клыки, упряжка с визгом налетала на упряжку. Образовалась свалка, запрудив узкое русло ручья. Удары бичей и рукояток сыпались на спины животных и людей без разбору. И в довершение неразберихи вокруг каждого гонщика суетилась кучка приятелей, старавшихся извлечь его из затора. Но вот, силой проложив себе путь, одни нарты за другими стали вырываться на простор и исчезать во мраке между угрюмо нависших берегов.

Джек Харрингтон предвидел заранее, что давки не миновать, и ждал у своих нарт, пока не уляжется суматоха. Луи Савой, зная, что его соперник даст ему сто очков вперед по части езды на собаках, ждал тоже, решив следовать его примеру. Крики уже затихли вдали, когда они пустились в путь и, пройдя миль десять вниз до Бананзы, нагнали остальные упряжки, которые шли гуськом, но не растягиваясь. Возгласов почти не было слышно, так как на этом отрезке пути нечего было и думать вырваться вперед: ширина нарт — от полоза до полоза — равнялась шестнадцати дюймам, а ширина проторенной дороги — восемнадцати. Этот самый путь, укатанный вглубь на добрый фут, был подобен желобу. По обеим сторонам его расстилался пушистый, сверкающий снежный покров. Стоило кому-нибудь, пытаясь обогнать другие нарты, сойти с пути, и его собаки неминуемо провалились бы по брюхо в рыхлый снег и поплелись бы со скоростью улитки. И люди лежали в своих подскакивавших на выбоинах нартах и выжидали. На протяжении пятнадцати миль вниз по Бонанзе и Клондайку до Доусона, где они вышли к Юкону, никаких изменений не произошло. Здесь их уже ждали сменные упряжки. Но Харрингтон и Савой, решив, если потребуется, загнать первую упряжку насмерть, расположили свои подставы двумя-тремя милями дальше. Воспользовавшись сутолокой, воцарившейся при смене упряжек, они оставили позади добрую половину гонщиков. Когда нарты вынесли их на широкую грудь

Юкона, впереди шло не более тридцати упряжек. Здесь можно было помериться силами. Осенью, когда река стала, между двумя мощными пластами льда осталась быстрина шириной в милю. Она совсем недавно оделась льдом, и он был твердым, гладким и скользким, как паркет бального зала. Лишь только полозья нарт коснулись этого сверкающего льда, Харрингтон привстал на колени, слегка придерживаясь одной рукой, и бич его яростно засвистел над головами собак, а неистовая брань загремела у них в ушах. Упряжки растянулись по ледяной глади: каждая напрягала силы до предела. Мало кто на всем Севере умел так высылать собак, как Джек Харрингтон. Его упряжка сразу начала вырываться вперед, но Луи Савой прилагал отчаянные усилия, чтобы не отстать, и его головные собаки бежали, едва не касаясь мордами нарт соперника.

Где-то на середине ледяного пути вторые подставы вынеслись с берега им навстречу. Но Харрингтон не замедлил бега своих собак. Выждав минуту, когда новая упряжка поравнялась с ним, он, гикнув, перескочил на другие нарты, с ходу поддав жару собакам. Гонщик подставы кубарем полетел с нарт. Луи Савой и тут во всем последовал примеру своего соперника. Брошенные на произвол судьбы упряжки заметались из стороны в сторону, на них налетели другие, и на льду поднялась страшная кутерьма. Харрингтон набирал скорость. Луи Савой не отставал. У самого конца ледяного поля их нарты начали обходить головную упряжку. Когда они снова легли на узкий санный путь, проторенный в пушистых снежных сугробах, они уже вели гонку, и весь Доусон, наблюдавший за ними при свете северного сияния, клялся, что это была чистая работа.

Когда мороз крепчает до шестидесяти градусов, надо или двигаться, или разводить огонь, иначе долго не протянешь. Харрингтон и Савой прибегли теперь к старинному способу: «бегом и на собаках». Соскочив с нарт, они бежали сзади, держась за лямки, пока кровь, сильнее забурлив в жилах, не прогоняла из тела мороз, потом прыгали обратно на нарты и лежали на них, пока опять не промерзали до костей. Так — бегом и на собаках — они покрыли второй и третий перегоны. Снова и снова, вылетев на гладкий лед, Луи Савой принимался нахлестывать собак, и всякий раз его попытки обойти соперника оканчивались неудачей. Растянувшись позади на пять миль, остальные участники состязания

силились их нагнать, но безуспешно, ибо одному Луи Савою выпала в этих гонках честь выдерживать убийственную скорость, предложенную Джеком Харрингтоном.

Когда они приблизились к посту Семьдесят Пятой Мили, Лон Мак-Фэйн пустил своих собак. Их вел Волчий Клык, и как только Харрингтон увидел вожака, ему стало ясно, кому достанется победа. На всем Севере не было такой упряжки, которая могла бы теперь побить его на этом последнем перегоне. А Луи Савой, заметив Волчьего Клыка во главе харрингтоновской упряжки, понял, что проиграл, и послал кому-то сквозь зубы проклятья, какие обычно посылают женщинам. Но все же он решил биться до последнего, и его собаки неотступно бежали в вихре снежной пыли, летящей из-под передних нарт. На юго-востоке занялась заря. Харрингтон и Савой неслись впереди: один преисполненный радостного, другой — горестного изумления перед поступком Джой Молино.

Вся Сороковая Миля вылезла на рассвете из-под своих меховых одеял и столпилась у края санного пути. Он далеко был виден отсюда — на несколько миль вверх по Юкону, до первой излучины. И путь через реку к финишу у Форта Кудахи, где ждал охваченный нетерпением приисковый инспектор, тоже был весь как на ладони. Джой Молино устроилась несколько поодаль, но ввиду столь исключительных обстоятельств никто не позволил себе торчать у нее перед глазами и загораживать ей чуть приметно темневшую на снегу полоску тропы. Таким образом, перед нею оставалось свободное пространство. Горели костры. Золотоискатели, собравшись у огня, держали пари, ставя в заклад собак и золотой песок, и шансы Волчьего Клыка стояли необычайно высоко.

— Идут! — раздался с верхушки сосны пронзительный крик мальчишки индейца.

У излучины Юкона на снегу появилась черная точка, и сейчас же следом за ней — вторая. Точки быстро росли, а за ними начали возникать другие — на некотором расстоянии от первых двух. Мало-помалу все они приняли очертания нарт, собак и людей, плашмя лежавших на нартах.

— Впереди Волчий Клык! — шепнул лейтенант полиции Джой Молино.

Она ответила ему улыбкой, не тая своего интереса.

— Десять против одного за Харрингтона! — воскликнул один из королей Березового ручья, вытаскивая свой мешочек с золотом.

— Ваша королева... она не очень щедро платит вам? — спросила Джой Молино у лейтенанта.

Тот покачал головой.

— Есть у вас зольотой песок? Как много? — не унималась Джой.

Лейтенант развязал свой мешочек. Одним быстрым взглядом она оценила его содержимое.

— Пожалуй, тут... Да, сотни две тут будет, верно? Хорошо, сейчас я дам вам... как это... подсказка. Принимайте пари.— Она загадочно улыбнулась.

Лейтенант колебался. Он взглянул на реку. Оба передних гонщика, стоя на коленях, яростно нахлестывали собак. Харрингтон шел первым.

— Десять против одного за Харрингтона! — орал король Березового ручья, размахивая своим мешочком перед носом лейтенанта.

— Принимайте пари! — подзадоривала лейтенанта Джой.

Он повиновался, пожав плечами, в знак того, что уступает не голосу рассудка, а ее чарам. Джой ободряюще кивнула.

Шум стих. Ставки прекратились.

Накренясь, подскакивая, ныряя, словно утлые парусники в бурю, нарты бешено мчались к ним. Луи Савой все еще не отставал от Харрингтона, но лицо его было мрачно — надежда покинула его. Харрингтон не смотрел ни вправо, ни влево. Рот его был плотно сжат. Его собаки бежали ровно, ни на секунду не сбиваясь с ритма, ни на йоту не отклоняясь от пути, а Волчий Клык был поистине великолепен. Низко опустив голову, ничего не видя вокруг и глухо подвывая, вел он своих товарищей вперед.

Сороковая Миля затаила дыхание. Слышен был только хрип собак да свист бичей.

Внезапно звонкий голос Джой Молино нарушил тишину:

— Эй-эй! Вольчий Клык! Вольчий Клык!

Волчий Клык услыхал. Он резко повернул в сторону — прямо к своей хозяйке. Вся упряжка ринулась за ним, нарты накренились и, став на один полоз, выбросили Харрингтона в снег. Луи Савой вихрем пролетел мимо. Харрингтон поднялся на ноги и увидел, что его

соперник мчится через реку к приисковой конторе. В эту минуту он невольно услышал разговор у себя за спиной.

— Он? Да, он очень хорошо шел,— говорила Джой Молино лейтенанту.— Он... как это говорится... задал темп. О да, он отлично задал темп.

ЛИГА СТАРИКОВ

В Казармах судили человека, речь шла о его жизни и смерти. Это был старик индеец с реки Белая Рыба, впадающей в Юкон пониже озера Ла-Барж. Его дело взволновало весь Доусон, и не только Доусон, но и весь Юконский край на тысячу миль в обе стороны по течению. Пираты на море и грабители на земле, англосаксы издавна несли закон покоренным народам, и закон этот подчас был суров. Но тут, в деле Имбера, закон впервые показался и мягким и снисходительным. Он не предусматривал такой кары, которая с точки зрения простой арифметики соответствовала бы совершенным преступлениям. Что преступник заслуживает высшей меры наказания, в этом не могло быть никаких сомнений; но, хотя такой мерой была смертная казнь, Имбер мог поплатиться лишь одной своей жизнью, в то время как на его совести было множество жизней.

В самом деле, руки Имбера были обагрены кровью стольких людей, что точно сосчитать его жертвы оказалось невозможно. Покуривая трубку на привале в пути или бездельничая у печки, жители края прикидывали, сколько же приблизительно людей загубил этот старик. Все, буквально все эти несчастные жертвы были белыми,— они гибли и поодиночке, и по двое и целыми группами. Убийства были так бессмысленны и беспричинны, что долгое время они оставались загадкой для королевской конной полиции, даже тогда, когда на реках стали добывать золото и правительство доминиона прислало сюда губернатора, чтобы заставить край платить за свое богатство.

Но еще большей загадкой казалось то, что Имбер сам пришел в Доусон, чтобы отдать себя в руки правосудия. Поздней весной, когда Юкон ревел и метался в своих ледяных оковах, старый индеец свернул с тропы, проложенной по льду, с трудом поднялся по берегово-

ВЕРА В ЧЕЛОВЕКА

— Знаешь что,— разыграем в кости.

— Идет,— ответил другой и повернулся к индейцу, чинившему лыжи в углу хижины.— Эй, Билбидем, сбегай-ка к Олсону и скажи, что мы просим одолжить нам игральные кости.

Разговор шел о жалованье рабочим, о топливе, о провизии, и эта неожиданная просьба удивила Билбидема. Кроме того, час был ранний, а ему не приходилось видеть, чтобы белые — во всяком случае такие, как Пентфилд и Хатчинсон,— садились за кости или карты, не покончив с делами. Однако, как настоящий индеец с Юкона, он ничем не выдал своего удивления и, натянув рукавицы, вышел из хижины.

Хотя шел уже девятый час, было еще темно, и хижина освещалась сальной свечой, стоявшей на сосновом столе среди хаоса немытых оловянных тарелок. Свеча была воткнута в бутылку из-под виски, на длинном горлышке которой миниатюрным ледником застыло сало бесчисленных свечей. В комнатушке, составлявшей всю внутренность хижины, царил такой же беспорядок, как и на столе. У задней стены виднелись нары с двумя неубранными постелями.

Лоренс Пентфилд и Корри Хатчинсон были миллионерами, хотя никто не догадался бы об этом по их внешнему виду. В них не было ничего необычного — они легко сошли бы за своих в любом лагере мичиганских лесорубов. Но снаружи во мраке, на дне зияющих ям, десятки людей, получавших по пятнадцати долларов в день, дробили каменные пласты, а другие люди крутили вороты, поднимая из шурфов породу, песок и золото. Каждый день золота добывалось на тысячи долларов, и все оно принадлежало Пентфилду и Хатчинсону, которые числились среди богатейших королей Бонанзы.

Тишину, наступившую после ухода Билбидема, нарушил Пентфилд. Он сдвинул в кучу грязные тарелки и на освободившемся месте стал выбивать дробь костяшками пальцев. Хатчинсон снял нагар с коптившей свечи и задумчиво растер его между большим и указательным пальцами.

— Черт побери, если бы мы могли уехать оба! — воскликнул он неожиданно.— И спорить было бы не о чем.

Пентфилд хмуро посмотрел на него.

— Если бы не твое проклятое упрямство, спорить и не пришлось бы. Тебе надо только сложить вещи и уехать. Я присмотрю за делом, а поеду в будущем году.

— Почему мне? Меня никто не ждет...

— А родные? — жестко прервал его Пентфилд.

— А тебя ждут,— продолжал Хатчинсон.— Ты знаешь, о ком я говорю.

Пентфилд угрюмо пожал плечами.

— Она подождет.

— Но она уже два года ждет.

— Ничего, еще год ее не состарит.

— Ведь это будет три года! Только подумай, старина: три года здесь, на краю света, в этой проклятой дыре.— Хатчинсон с отчаянием махнул рукой.

Он был на несколько лет младше своего компаньона — ему было не больше двадцати шести. На его лице застыло выражение тоски, тоски человека, тщетно жаждущего того, чего он давно лишен. И та же тоска, то же отчаяние было на лице Пентфилда, в его сгорбленных плечах.

— Мне вчера снилось, что я у Зинкенда,— сказал он.— Музыка, звон стаканов, гул голосов, женский смех, а я заказываю яйца — да, сэр, яйца, во всех видах: и крутые, и всмятку, и яичницу, и омлет,— и уплетаю так, что подавать не успевают.

— А я бы заказал салат,— жадно перебил Хатчинсон,— и большой бифштекс с зеленью, с молодым луком и редиской, чтобы на зубах хрустело.

— Я бы это все заказал после яиц, если бы не проснулся,— вздохнул Пентфилд.

Он поднял с пола видавшее виды банджо и рассеянно потрогал струны. Хатчинсон вздрогнул и тяжело задышал.

— Брось! — закричал он с неожиданной яростью, когда Пентфилд начал веселый мотив.— С ума можно сойти. Невыносимо.

Пентфилд бросил банджо на нары и продекламировал:

> Выдав тайную тоску, пою я так:
> Память, пытка — я, я — город на заре,
> Я — все то, о чем напомнить может фрак.

Его товарищ тяжело уронил голову на руки. Пентфилд снова монотонно забарабанил по столу. Затем его

внимание привлек громкий треск двери. На ней белой пеленой оседал иней. Пентфилд тихо запел:

> Стада в хлевах, и в море вновь
> Из рек ушел лосось;
> Когда б с тобой, моя любовь,
> Побыть мне довелось.

Потом снова наступило молчание, нарушенное только приходом Билбидема, который бросил на стол игральные кости.

— Большой холод,— сказал он.— Олсон говорил мне, вчера Юкон замерзал.

— Слышишь, старик,— вскричал Пентфилд, хлопая Хатчинсона по плечу.— Кто выиграет, тот завтра в это время будет уже на пути в благословенный богом край!

Он весело встряхнул стаканчик с костями.

— Как играем?

— Простой покер,— ответил Хатчинсон.— Бросай.

Пентфилд с грохотом столкнул со стола тарелки и бросил кости. Оба поспешно наклонились. Не было ни одной пары, а самым крупным очком была пятерка.

— Пустышка! — ахнул Пентфилд.

После долгих размышлений он собрал в стаканчик все пять костей.

— На твоем месте я бы оставил пятерку,— заметил Хатчинсон.

— Ну, нет. Вот посмотришь, что сейчас будет,— сказал Пентфилд и выбросил кости.

Снова ни одной пары. На этот раз счет шел от двойки до шестерки.

— Опять пустышка! — простонал Пентфилд.— И не бросай, Корри. Ты уже выиграл.

Его товарищ молча собрал кости, погремел ими, широким движением выбросил на стол и увидел, что у него тоже легла пустышка с шестеркой.

— Во всяком случае, ничья, но мне нужно что-нибудь получше,— сказал он и, собрав четыре кости, оставил шестерку.— Вот и конец тебе.

Но на столе лежали двойка, тройка, четверка и пятерка — снова пустышка, такая же, как у Пентфилда.

Хатчинсон вздохнул.

— Такое бывает раз в сто лет,— сказал он.

— Раз в миллион лет,— отозвался Пентфилд, быстро подобрал кости и бросил их. Выпали три пятерки, и после долгих колебаний он был вознагражден еще од-

ной при повторном броске. Хатчинсон, казалось, потерял всякую надежду.

Но у него сразу же выпали три шестерки. В глазах его партнера появилась неуверенность, а в его взгляде вновь вспыхнула надежда. Еще одна шестерка — и он отправится по льду к Соленой Воде, в Штаты. Он встряхнул стаканчик, хотел выбросить, заколебался и продолжал встряхивать.

— Давай! Давай! Не тяни! — резко крикнул Пентфилд. Стараясь сохранить хладнокровие, он так крепко вцепился в край стола, что у него согнулись ногти.

Кости покатились. Перед ними лежала шестерка. Они, не шевелясь, смотрели на нее. Наступило долгое молчание. Хатчинсон украдкой посмотрел на своего партнера, который так же украдкой перехватил его взгляд и криво улыбнулся, пытаясь казаться равнодушным.

Хатчинсон вскочил на ноги и рассмеялся. Смех был нервный и смущенный. В этой игре выиграть было тяжелее, чем проиграть. Хатчинсон подошел к своему другу, но тот яростно на него набросился:

— Заткнись, Корри! Я знаю все, что ты скажешь, — что предпочтешь остаться, чтоб ехал я, и все такое. Так что помолчи. Тебя ждут родные в Детройте, и этого довольно. И потом ты можешь сделать для меня то, ради чего, собственно, я хотел ехать.

— То есть?..

Пентфилд прочел вопрос в его глазах и ответил:

— Да, вот именно. Ты можешь привезти ее сюда ко мне. Свадьба будет в Доусоне, а не в Сан-Франциско, вот и вся разница.

— Ты с ума сошел! — запротестовал Корри Хатчинсон. — Как это я ее повезу? Она мне не сестра, не родственница, я с ней даже незнаком. Сам понимаешь, что нам ехать вместе не совсем удобно. Мы-то с тобой знаем, что все было бы в порядке, но подумай, как это будет выглядеть для других!

Пентфилд глухо выругался, послав «других» в область менее морозную, чем Аляска.

— Вот если бы ты слушал, а не лез бы сразу со своим благородством, — продолжал его компаньон, — ты бы понял, что самое правильное при данных обстоятельствах — это мне отпустить тебя в этом году. До следующего года остается всего год, а тогда я смогу отвести душу.

Пентфилд покачал головой, хотя было видно, что он с трудом противится соблазну.

— Ничего не выйдет, Корри, старина. Я ценю твою доброту, но ничего не выйдет. Я бы не мог там сидеть спокойно, зная, что ты тут надрываешься за меня!

Вдруг его осенила какая-то мысль. Он кинулся к нарам, переворошил в спешке всю постель, извлек наконец блокнот и карандаш, уселся за стол и начал быстро и уверенно писать.

— Ну вот,— сказал он, сунув записку в руку своего компаньона.— Доставь только по адресу, и все устроится.

Хатчинсон пробежал записку глазами и положил ее.

— Откуда ты знаешь, что этот братец согласится поехать в нашу дыру? — усомнился он.

— Он согласится ради меня и ради сестры,— настаивал Пентфилд.— Видишь ли, он неженка, и я не хотел бы, чтобы она ехала с ним одним. А если рядом будешь ты, ехать будет легко и безопасно. Как только выберешься, поезжай во Фриско и объясни ей все. Оттуда отправляйся на Восток к своим. А весной заедешь за ними. Она тебе сразу понравится, я знаю. Вот погляди, чтобы узнать ее при встрече.

С этими словами он открыл крышку часов и показал фотографию, приклеенную внутри. Корри Хатчинсон смотрел, и в его глазах росло восхищение.

— Ее зовут Мэйбл,— продолжал Пентфилд.— Я уж заодно объясню тебе, как найти их дом. Как доберешься до Фриско, возьми кеб и скажи: «К дому Холмса, Мирдон-авеню». Можно, впрочем, обойтись и без Мирдон-авеню. Всякий кебмен знает, где живет судья Холмс.

— И знаешь, что,— вновь начал Пентфилд после паузы,— неплохо было бы, если бы ты мне кое-что купил, ну... ну...

— То, что нужно семейному человеку,— докончил Хатчинсон с улыбкой.

Пентфилд смущенно улыбнулся в ответ.

— Вот-вот. Салфетки и скатерти, простыни и наволочки и прочее. Сервиз получше. Ведь ей нелегко будет освоиться тут. Можешь отправить все пароходом через Берингово море. И еще, пожалуй... Что ты скажешь насчет рояля?

Хатчинсон горячо одобрил эту мысль. Он уже забыл о своих возражениях, и возложенная на него миссия все больше и больше захватывала его.

— Ей-богу, Лоренс,— заявил он, когда разговор закончился и оба встали,— доставлю с шиком! Возьму на себя и стряпню и собак, а братцу останется только заботиться об ее удобствах и делать для нее то, что я забуду, хоть я, черт побери, забывать ничего не собираюсь.

На следующий день Лоренс Пентфилд в последний раз пожал руку своему другу и долго смотрел, как он и его упряжка спешили по замерзшему Юкону вверх, к Соленой Воде, в широкий мир. Пентфилд вернулся на прииск в Бонанзе, где стало во много раз тоскливее, и мужественно встретил долгую зиму. Надо было работать — следить за рабочими, руководить разведкой капризной золотоносной жилы,— но эта работа не увлекала его. И никакая работа не увлекала его, пока на холме за разработкой не начала расти новая бревенчатая хижина. Это была замечательная хижина, добротно построенная, разделенная на три удобные комнаты. Каждое бревно было тщательно обтесано — дорогая прихоть, если плотникам приходится платить по пятнадцати долларов в день. Но Пентфилда не пугали никакие расходы, когда дело касалось дома, предназначенного для Мэйбл Холмс. Он занимался постройкой хижины и пел:

Когда б с тобой, моя любовь,
Побыть мне довелось.

Кроме того, он повесил над столом календарь и каждое утро начинал с того, что вычеркивал день и пересчитывал, сколько еще дней остается до весны, когда его компаньон примчится по льду Юкона.

Пентфилд никому не позволял ночевать в хижине — это тоже была прихоть: до приезда Мэйбл хижина должна была оставаться такой же новой, как свежеобтесанные балки. И когда постройка была закончена, Пентфилд повесил на дверях замок. Никто, кроме самого Пентфилда, не входил туда, а он оставался там часами, и когда выходил, на лице его была странная нежность, а глаза светились тепло и радостно.

В декабре пришло письмо от Корри Хатчинсона. Он только что познакомился с Мэйбл Холмс. Она оказалась именно такой, какой должна была быть жена Лоренса Пентфилда,— писал Корри. Он был полон восхищения, и письмо заставило быстрее забиться сердце Пентфилда. Теперь письма приходили одно за другим, а порою, если почта задерживалась, даже по два или по три зараз.

И все они были об одном и том же: Корри только что вернулся от Холмсов, или Корри собирается к Холмсам, или Корри сейчас у Холмсов. Он, казалось, не торопился покинуть Сан-Франциско и даже не упоминал о поездке в Детройт.

Лоренсу Пентфилду начинало казаться, что его компаньон слишком уж долго задерживается в обществе Мэйбл Холмс, забывая о своих родных. Временами Пентфилд ловил себя на том, что это его тревожит. Но он слишком хорошо знал Мэйбл и Корри, чтобы тревожиться всерьез.

Письма Мэйбл в свою очередь были полны Корри. С другой стороны, когда речь заходила о ее приезде и о свадьбе в Доусоне, в них сквозила робость и нерешительность. Пентфилд отвечал весело, подшучивая над ее опасениями, которые, как ему казалось, были порождены скорее страхом перед лишениями и опасениями, чем девичьей застенчивостью.

Но томительное ожидание и третья бесконечная зима начинали сказываться на нем. Руководство работами и разведка жилы не могли скрасить монотонность его существования, и в конце января Пентфилд зачастил в Доусон, где можно было на время забыться за игорным столом. Он выигрывал, так как мог позволить себе роскошь проиграть, и выражение «везет, как Пентфилду» вошло в обиход у игроков в фараон.

Удача не покидала его до середины февраля. Трудно сказать, когда она изменила бы ему,— потому что после одной крупной игры он больше не брал карт в руки.

На этот раз игра шла в «Опере», и в течение часа каждая карта Пентфилда выигрывала. В перерыве, пока банкомет тасовал колоду, владелец стола Ник Инвуд вдруг заговорил:

— Между прочим, Пентфилд, кажется, ваш компаньон пустился во все тяжкие?

— Да, Корри умеет развлекаться,— ответил Пентфилд,— особенно, когда он это заслужил.

— Дело вкуса, конечно,— рассмеялся Ник Инвуд,— но, по-моему, развлекаться и жениться — не совсем одно и то же.

— Корри женился? — недоверчиво воскликнул потрясенный Пентфилд.

— Именно,— ответил Инвуд.— Это напечатано в газете из Фриско, которая пришла с утренней почтой.

— Ну, а кто же она? — поинтересовался Пентфилд с терпеливой стойкостью человека, знающего, что его разыгрывают и что в любую минуту может раздаться взрыв смеха.

Ник Инвуд вытащил газету из кармана и стал просматривать ее, заметив:

— У меня на имена память плохая, но как будто Мэйбл... Мэйбл... ага, вот: Мэйбл Холмс, дочь какого-то судьи Холмса.

Лоренс Пентфилд и бровью не повел, хотя его удивило, что кому-то на Севере известно ее имя. Он спокойно обвел взглядом слушателей, ожидая, что кто-нибудь выдаст себя, но их лица выражали только обыкновенное любопытство. Тогда он повернулся к Инвуду и сказал спокойным, ровным тоном:

— Ник, вот эти пятьсот долларов утверждают, что в газете ничего подобного нет.

Тот посмотрел на него с удивленной улыбкой.

— Нет, голубчик, мне ваши деньги не нужны.

— Я так и думал! — насмешливо бросил Пентфилд и повернувшись к столу, поставил на две карты.

Ник Инвуд покраснел и, как будто не доверяя себе, внимательно перечел коротенькую заметку, затем резко повернулся к Лоренсу Пентфилду.

— Послушайте, Пентфилд,— взволнованно и торопливо заговорил он.— Я этого так не могу оставить.

— Чего этого? — грубо переспросил Пентфилд.

— По-вашему, я лгу?

— Ничего подобного. По-моему, вы просто глупо шутили.

— Вы ставите, джентльмены? — вмешался банкомет.

— Но я же вам говорю, что это правда! — настаивал Инвуд.

— А я вам уже говорил, что у меня есть пятьсот долларов, которые утверждают, что в газете этого нет.

И Пентфилд бросил на стол тяжелый мешок с золотым песком.

— Не нужны мне ваши деньги, но раз вы настаиваете...— С этими словами Инвуд сунул газету Пентфилду.

Пентфилд увидел — и не смог заставить себя поверить. Он скользнул взглядом по заголовку «С Севера мчался младой Лохинвар» и пробежал заметку; перед его глазами мелькнули рядом имена Мэйбл Холмс и Корри Хатчинсона. Тогда он открыл первую страницу — газета была из Сан-Франциско.

— Деньги ваши, Инвуд,— сказал он с коротким смешком.— Если уж мой компаньон начнет, одному богу известно, где он остановится.

Затем Пентфилд вернулся к заметке и медленно прочел ее, слово за словом. Сомнения больше не могло быть. Корри Хатчинсон действительно женился на Мэйбл Холмс. «Один из королей Бонанзы,— гласила заметка,— компаньон Лоренса Пентфилда (еще не забытого обществом Сан-Франциско), владеющий вместе с ним многими богатствами Клондайка». А дальше, в конце, он прочел: «Говорят, что мистер и миссис Хатчинсон на некоторое время уедут на Восток, в Детройт, но свой настоящий медовый месяц они проведут в путешествии по сказочному Клондайку».

— Я вернусь. Сохраните мне место,— сказал Пентфилд, поднимаясь и забирая мешок, который тем временем успел побывать на весах и вернулся, облегченный на пятьсот долларов.

Пентфилд вышел на улицу и купил газету из Сиэтла. В ней были те же факты, только более кратко изложенные. Несомненно, Корри и Мэйбл поженились. Он вернулся в «Оперу» и, заняв свое место, предложил играть без ограничения ставки.

— Я вижу, вам нужен размах,— засмеялся Ник Инвуд, кивая банкомету.— Я было собирался сходить на склады Компании, но, пожалуй, останусь. Покажите-ка, на что вы способны.

И Лоренс Пентфилд показал: после двухчасовой отчаянной игры банкомет откусил кончик свежей сигары, чиркнул спичкой и объявил, что банк сорван. Пентфилд выиграл сорок тысяч. Он пожал руку Нику Инвуду и заявил, что эта игра — его последняя.

Никто не знал, никто не догадывался, что ему был нанесен удар — и тяжелый удар. Внешне в нем ничто не изменилось. Всю неделю он занимался делами, как обычно, но в субботу ему на глаза попалась портлендская газета с описанием свадьбы. Тогда он оставил прииск на попечение одного из друзей и отправился на собаках вверх по Юкону. Он двигался по дороге к Соленой Воде, а потом свернул на Белую реку. Через пять дней он наткнулся на лагерь местных индейцев. Вечером был устроен пир, и Пентфилд сидел на почетном месте, рядом с вождем. На следующее утро он погнал собак назад к Юкону, но теперь он был не один. Молодая скво кормила в этот вечер его собак и помогала

ему приготовить ночлег. В детстве ее помял медведь, и она прихрамывала. Звали ее Лашка. Сперва она боялась чужого белого, который явился из Неведомого и взял ее в жены, не сказав ей ни слова, не взглянув на нее, а теперь увозил в Неведомое.

Но Лашке посчастливилось больше, чем большинству индейских девушек, которых выбирают себе в подруги белые Севера: в Доусоне языческий брак, связавший их, был подтвержден священником по обрядам белых. Из Доусона, где все казалось Лашке чудесным сном, Пентфилд отвез ее на прииск в Бонанзу и водворил в новой хижине на холме.

Настоящую сенсацию произвело не то, что Лоренс Пентфилд разделил ложе и кров с индианкой, а то, что он узаконил это сожительство брачной церемонией. Церковный брак? Этого никто не мог понять. Но Пентфилда оставили в покое — это общество было терпимо ко всяким причудам, если только они не шли ему во вред. Пентфилд даже не потерял доступа в дома, где были белые хозяйки. Свадебная церемония не позволяла относиться к нему просто как к белому, сожительствующему с индианкой; его нельзя было упрекнуть в безнравственности, хотя многие мужчины не одобряли его выбор.

Писем больше не было. Шестеро нарт с почтой погибли у Большого Лосося. Кроме того, Пентфилд знал, что новобрачные должны уже быть в Клондайке и что их свадебное путешествие близится к концу,— то путешествие, о котором он мечтал в течение двух томительных лет. От этой мысли у него горько кривились губы, но он скрывал свои чувства и только становился добрее к Лашке.

Прошел март, и уже близился конец апреля, когда однажды утром Лашка попросила разрешения съездить к сивашу Питу, хижина которого была в нескольких милях ниже по речке. Жена Пита, индианка с реки Стюарт, прислала сказать, что у нее заболел ребенок, а Лашка, поистине созданная для материнства, глубоко верила в свои познания по части детских болезней и была всегда готова нянчить чужих детей, пока судьба не послала ей своего.

Пентфилд запряг собак и, усадив Лашку на нарты, отправился вниз по руслу Бонанзы. В воздухе пахло весной. Мороз уже не обжигал, как прежде, и хотя земля еще была покрыта снегом, шорохи и журчанье воды

говорили о том, что железная хватка зимы слабеет. Местами тропа уходила под лед, и приходилось объезжать полыньи. Как раз у такого места, где не могли разъехаться двое нарт, Пентфилд услышал звон приближающихся колокольчиков и остановил собак.

Из-за изгиба реки появилась упряжка усталых собак, тянувших тяжело нагруженные нарты. Что-то в фигуре мужчины, погонявшего собак, показалось Пентфилду знакомым. За нартами шли две женщины. Пентфилд снова перевел взгляд на погонщика — это был Корри. Пентфилд стоял и ждал. Он был рад, что Лашка с ним. Более удачную встречу было бы трудно устроить и нарочно, подумал он. Ожидая, он старался представить, что они скажут,— что они могут сказать. Ему говорить было незачем: объяснять должны были они, и он был готов выслушать их объяснения.

Когда упряжки поравнялись, Корри узнал его и остановил собак.

— Здорово, старина! — воскликнул он и протянул руку.

Пентфилд пожал ее — холодно и молча. Тем временем подошли женщины, и во второй он узнал Дору Холмс. Он пожал ей руку, сняв меховую шапку, и повернулся к Мэйбл. Она сделала движение навстречу, красивая и сияющая, но как будто растерялась при виде его протянутой руки. Он собирался сказать: «Здравствуйте, миссис Хатчинсон», но слова «миссис Хатчинсон» почему-то застряли у него в горле, и он только пробормотал:

— Здравствуйте.

Положение было настолько неприятным и неловким, что он мог быть доволен. Мэйбл снова была смущена и взволнована. Дора, которую, видимо, захватили в качестве посредницы, заговорила:

— Послушайте, Лоренс, что случилось?

Не дав ему ответить, Корри потянул его за рукав и отвел в сторону.

— Слушай, старина, что это? — спросил он шепотом, указывая глазами на Лашку.

— А собственно говоря, Корри, какое тебе дело? — насмешливо ответил Пентфилд.

Но Корри продолжал настаивать:

— Что эта скво делает на твоих нартах? Хорошую задачу ты мне задал — объяснить это. Надеюсь, однако, что какое-то объяснение есть? Кто она? Чья это скво?

И вот тут Лоренс Пентфилд нанес свой удар. Нанося его, он почувствовал прилив спокойного удовлетворения, которое, казалось, до некоторой степени возмещало причиненное ему зло.

— Это моя скво,— сказал он.— Миссис Пентфилд, с вашего разрешения.

У Корри Хатчинсона перехватило дыхание. Пентфилд отвернулся от него и подошел к женщинам. Лицо Мэйбл было тревожным, и она, казалось, не была склонна разговаривать. Он как ни в чем не бывало обратился к Доре:

— Как прошло путешествие? Очень мерзли на стоянках?

— А как себя чувствует миссис Хатчинсон? — спросил он затем, бросив взгляд на Мэйбл.

— Глупыш вы милый! — воскликнула Дора, обнимая и тормоша его.— Значит, вы тоже прочли? Так вот почему вы себя так странно держали!

— Я... я не понимаю...— пробормотал он.

— В следующем номере дали поправку,— болтала Дора.— Нам и в голову не приходило, что этот выпуск попадется вам на глаза.

— Постойте, о чем вы говорите? — перебил Пентфилд. Его сердце сжалось от неожиданного страха. Он почувствовал себя на краю пропасти. А Дора все не умолкала:

— Знаете, когда стало известно, что Мэйбл и я уезжаем в Клондайк, в «Еженедельнике» напечатали, что с нашим отъездом на Мирдон-авеню станет густо,— что конечно, означало «пусто».

— Так, значит...

— Я — миссис Хатчинсон,— ответила Дора.— А вы-то думали, что это Мэйбл?

— Именно так,— медленно проговорил Пентфилд.— Теперь я понял. Репортер перепутал имена, а газеты в Сиэтле и Портленде перепечатали, как было.

Он замолчал. Мэйбл снова повернулась к нему, и он увидел, что она ждет. Корри с большим интересом рассматривал рваный носок своего мокасина, а Дора искоса поглядывала на Лашку, с невозмутимым лицом сидевшую на нартах. Лоренс Пентфилд смотрел прямо в безнадежное будущее, где он видел только упряжку собак, себя и рядом — хромую Лашку.

Затем он заговорил, очень просто, глядя в глаза Мэйбл:

— Простите. Мне и в голову не приходила такая ошибка. Я думал, что вы вышли за Корри. Там, на нартах, миссис Пентфилд...

Мэйбл Холмс бессильно повернулась к сестре,— казалось, на нее внезапно обрушилось все утомление тяжелого пути. Дора подхватила ее. Корри Хатчинсон все еще не мог оторваться от своих мокасин.

Пентфилд посмотрел на него, на обеих женщин и пошел к нартам.

— Надо ехать, ребенок Пита не может ждать нас весь день,— сказал он Лашке.

Длинный бич свистнул, собаки натянули постромки, нарты дернулись и помчались вперед.

— Слушай, Корри,— крикнул Пентфилд, обернувшись.— Ты можешь занять старую хижину. Она теперь пустует. Я построил новую на холме.

БИБЛИОТЕКА "ОГОНЁК"

АРТУР КОНАН ДОЙЛЬ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

ОГИЗ.
МОСКВА. 1993

ЗНАТНЫЙ КЛИЕНТ

— Теперь вряд ли кто пострадает, — заметил Шерлок Холмс, когда я в который раз за последние десять лет попросил разрешения опубликовать эту историю. И вот наконец разрешение получено, и я могу поведать о расследовании, которое можно считать наивысшим взлетом в карьере моего друга.

Мы с Холмсом любили посещать турецкие бани. Именно там, в одевальне, разомлев от приятной усталости и с удовольствием затягиваясь трубкой, Холмс, по моим наблюдениям, становился более общительным и человечным. В верхнем этаже бань, что на Нортумберленд-авеню, есть уединенный уголок, где стоят рядышком два дивана. Именно на них мы и расположились 3 сентября 1902 года, в тот самый день, когда начинается мое повествование. Я спросил его, не намечается ли что-либо интересное, а он вместо ответа ловко выпростал из-под простыни длинную, худую, нервную руку и извлек из внутреннего кармана висевшего тут же пиджака конверт.

— Возможно, это какой-нибудь чванливый суматошный дурак, а может быть, дело жизни и смерти, — сказал он, вручая мне конверт. — Пока я знаю не больше того, о чем говорится в этом послании.

Письмо было отправлено накануне вечером из Карлтон-клуба. В нем было написано:

«Сэр Джеймс Деймри свидетельствует свое уважение мистеру Шерлоку Холмсу и просит принять его завтра в половине пятого. Сэр Джеймс уведомляет мистера Холмса о том, что дело, по поводу которого он желал бы получить консультацию, очень деликатное, а также чрезвычайно важное. Он надеется, что мистер Холмс найдет возможность встретиться с сэром

Джеймсом в указанное время, о чем и сообщит ему, позвонив в Карлтон-клуб».

— Нет необходимости говорить вам, Уотсон, что я позвонил, — сказал Холмс, когда я возвращал ему письмо. — Вы что-нибудь слышали об этом Деймри?

— Разве что в высшем обществе его имя у всех на устах.

— Я знаю немного больше. В высшем свете его ценят за то, что он умеет улаживать щепетильные дела, которые ни в коем случае не должны попасть на страницы газет. Вы, вероятно, помните его переговоры с сэром Джорджем Льюисом по делу о завещании Хаммер-форда. Он светский человек и дипломат милостью Божьей. Поэтому вполне можно надеяться, что это не какой-то досужий вымысел, а он в самом деле нуждается в нашей помощи.

— Нашей?

— Вы ведь не откажетесь принять участие, Уотсон?

— Почту за честь.

— Тогда прошу, время встречи вам известно — половина пятого. А до тех пор можно выкинуть все это из головы.

В то время я жил в собственной квартире на Куин-Анн-стрит и пришел на Бейкер-стрит раньше назначенного часа. Ровно в половине пятого слуга доложил о приходе полковника сэра Джеймса Деймри. Я думаю, мне нет необходимости описывать его, так как многие читатели, должно быть, помнят этого крупного, добродушного и честного человека, его широкое чисто выбритое лицо, его очень приятный, бархатный голос. Типично ирландские серые глаза излучали доброту и искренность, а подвижный улыбающийся рот свидетельствовал о дружелюбии и благожелательности. Его блестящий цилиндр, темный фрак и вообще каждая деталь костюма — от жемчужной булавки в черном шелковом галстуке до сиреневых гетр поверх начищеных ботинок — говорили о его особом внимании к одежде, чем он и был знаменит. Этот крупный, уверенный в себе аристократ, казалось, целиком заполнил собой небольшую комнату, в которой мы находились.

— Я так и думал, что встречу у вас доктора Уотсона, — сказал он и вежливо мне поклонился. — Его сотрудничество будет очень кстати, ибо речь идет о человеке, для которого насилие, убийство — привычное дело

и который не остановится ни перед чем. Должен вам сказать, что такого опасного негодяя не сыскать во всей Европе.

— Мне в моей практике не раз приходилось иметь дело с противником, к которому вполне подходят эти лестные характеристики, — промолвил Холмс, улыбаясь. — Вы не курите? Тогда, с вашего позволения, я закурю трубку. Если человек, о котором вы говорите, опаснее покойного профессора Мориарти или ныне здравствующего полковника Себастьяна Морана, тогда с ним и в самом деле стоит познакомиться. А как его зовут?

— Вы когда-нибудь слышали о бароне Грунере?

— Вы имеете в виду того убийцу из Австрии?

Рассмеявшись, полковник Деймри всплеснул руками, затянутыми в лайковые перчатки.

— Все-то вам известно, мистер Холмс! Просто удивительно! Стало быть, вы уже распознали в нем убийцу?

— По роду моих занятий мне просто необходимо внимательно следить за преступностью в странах континентальной Европы. Едва ли найдется человек, который, прочитав о событиях в Праге, усомнился бы в его виновности. Ему удалось выйти сухим из воды благодаря чисто технической закавыке в законе и внезапной смерти одного из свидетелей при весьма загадочных обстоятельствах. Я уверен, что он убил свою жену во время так называемого «несчастного случая» в Шплюгене, как если бы видел это собственными глазами. Я слышал, что он приехал в Англию. У меня даже было предчувствие, что рано или поздно он подкинет мне работку. Так что замышляет барон Грунер на этот раз? Ведь не та давняя трагедия привела вас ко мне?

— Нет, нечто гораздо более серьезное. Я понимаю, как важно воздать преступнику за совершенное зло, но еще важнее предотвратить готовящееся преступление. До чего же тяжело, мистер Холмс, видеть, как у вас на глазах совершается дело отвратительное и даже страшное, отчетливо понимать, к каким ужасным последствиям оно приведет, и при этом не иметь ни малейшей возможности этому помешать! Может ли выпасть человеку более тяжкое испытание?

— Думаю, что нет.

— Тогда вы непременно посочувствуете вашему клиенту, интересы которого я здесь представляю.

— Я никак не ожидал, что вы выступаете в качестве посредника. И чьи же интересы вы представляете?

— Дорогой мистер Холмс, очень прошу вас не настаивать на ответе. Вашему клиенту очень важно получить от меня заверения, что его доброе имя ни при каких обстоятельствах не будет упомянуто в связи с этим делом. Им движут самые благородные, самые высокие побуждения, но он предпочитает остаться неизвестным. Нет нужды говорить вам, что он готов заплатить любой гонорар и предоставить вам полную свободу действий. Согласитесь, в такой ситуации настоящее имя вашего клиента не столь уж и важно.

— Извините, — сказал Холмс, — но я привык иметь тайну только на одном конце расследования, когда же тайна находится одновременно на обоих концах, это уж слишком. Боюсь, сэр Джеймс, мне придется отказаться от вашего предложения.

Слова Холмса очень огорчили нашего гостя. На его крупном восприимчивом лице отразились беспокойство и разочарование.

— Едва ли вы представляете себе, к каким результатам может привести ваш отказ, мистер Холмс, — сказал он. — Вы ставите меня в очень трудное положение, ибо я убежден, вы сочли бы за честь взяться за это дело, открой я вам все известные мне обстоятельства, но я связан словом. Вы позволите изложить вам хотя бы то, что я могу, не нарушая обещания?

— Ради Бога, но помните, что я ничего не обещаю.

— Само собой разумеется. Прежде всего, приходилось ли вам слышать о генерале де Мервилле?

— Де Мервилль, который прославился в Пешаваре? Да, я слыхал о нем.

— У него есть дочь, Вайолет, молодая, богатая, красивая, одним словом, девушка, достойная во всех отношениях. Так вот, эту прекрасную невинную девушку мы и стремимся вырвать из лап известного вам дьявола во плоти.

— А что, барон Грунер имеет над ней какую-то власть?

— Да, и, пожалуй, самую большую, какой покоряется женское сердце: она любит его. Барон, как вы, наверное, слышали, необыкновенно красив; он обладает прекрасными манерами, очень приятным голосом и тем ореолом романтики и тайны, который так мил женскому сердцу. Говорят, против его чар не может устоять ни одна представительница прекрасного пола, и он широко этим пользуется.

— Но где мог такой человек познакомиться с девушкой, принадлежащей к высшему кругу?

— На яхте во время прогулки по Средиземному морю. Там были люди высшего общества, но каждый из них оплачивал свой проезд сам. Не сомневаюсь, что устроители этой прогулки плохо представляли себе, что за человек этот барон, а когда раскусили его, было слишком поздно. Между тем этот негодяй ходил за мисс де Мервилль по пятам и в конце концов добился-таки своего: она влюбилась в него до безумия. Мало сказать, что она его любит — она просто его обожает. Без него ей и жизнь не в жизнь. Она не желает слушать никаких доводов против него. Ее близкие приложили немало усилий, чтобы излечить ее от этого наваждения, но все напрасно. Короче говоря, в следующем месяце она станет его женой. Так как она уже совершеннолетняя и к тому же очень волевая натура, помешать ее браку будет очень трудно.

— А она знает о том, что произошло в Австрии?

— Да, этот барон, хитрая бестия, сам рассказал ей обо всех скандальных происшествиях своей жизни, при этом всячески выгораживал себя, изображая невинную жертву. Она свято верит ему и во всем принимает его сторону, отвергая все выставляемые против него обвинения.

— А ведь вы, кажется, нечаянно проговорились, кто направил вас ко мне. Уж не генерал ли де Мервилль?

Наш посетитель заерзал на стуле.

— Я мог бы сказать «да», мистер Холмс, но не хочу вас обманывать — это было бы неправдой. Де Мервилль — сломленный горем человек. Когда-то храбрый воин, он, после того что случилось, совершенно пал духом. Он потерял мужество, которое никогда не покидало его на поле брани, и превратился в безвольного, слабоумного старика, абсолютно неспособного противостоять этому блестящему напористому негодяю. Мой клиент — его старый друг, который много лет близко знает генерала и принимает искреннее участие в судьбе его дочери, выросшей у него на глазах. Видя, что дело близится к трагической развязке, он просто не может больше оставаться в стороне, ничего не предпринимая. К сожалению, нет никаких оснований для подключения к этой истории Скотленд-Ярда. Мой клиент сам предложил поручить это дело вам, но поставил непременным условием, как я уже говорил вам, чтобы его участие осталось для всех тайной. Я ни минуты не сомневаюсь, мистер Холмс, что с вашими способностями вы могли

бы без труда вычислить моего клиента, но я вынужден просить вас, как человека чести, воздержаться от каких-либо попыток раскрыть его инкогнито.

Холмс загадочно улыбнулся.

— Пожалуй, это я могу вам обещать, — сказал он. — Могу также добавить, что ваш рассказ меня заинтересовал, и я, по-видимому, возьмусь за это дело. Каким образом можно с вами связаться?

— В Карлтон-клубе всегда знают, где меня искать. Но если возникнет срочная надобность, звоните по телефону XX. 31.

Холмс записал номер телефона, но продолжал сидеть, улыбаясь, с раскрытой записной книжкой на колене.

— Вы дадите мне адрес барона?

— Вернон Лодж, около Кингстона. Это большой дом. Не так давно он очень успешно провернул кое-какие темные дела. Теперь он богат, а это, как вы понимаете, делает его более опасным противником.

— А он дома в настоящее время?

— Да.

— Что еще вы могли бы сообщить о бароне Грунере?

— У него дорогие привычки и пристрастия. Он очень любит лошадей. Некоторое время играл в поло в Харлингеме, но скандал в Праге получил широкую огласку, и ему пришлось бросить поло. Он собирает книги и картины. В его характере есть некий артистизм, художественная жилка. По-моему, он большой знаток китайского фарфора и признанный авторитет в этой области. Он даже написал об этом книгу.

— Разносторонний человек, ничего не скажешь, — проговорил Холмс. — Это свойственно всем великим преступникам. Мой старый приятель Чарли Пис был скрипачом-виртуозом, Уэйнрайт — неплохим художником. А сколько еще таких примеров. Ну, что же, сэр Джеймс, можете сообщить вашему знакомому, я начинаю вплотную заниматься бароном Грунером. Больше пока сказать ничего не могу. У меня есть свои источники информации, и я надеюсь, что сумею отыскать кое-какие подступы к этому делу.

Когда наш посетитель ушел, Холмс долго сидел в глубокой задумчивости, и я начал было думать, что он забыл о моем существовании. Но вот наконец он снова вернулся на грешную землю.

— Ну, что скажете, Уотсон?

— По-моему, вам прежде всего нужно увидеться с мисс де Мервилль.

— Бог с вами, Уотсон, уж если даже старый, больной, убитый горем отец не может ее разжалобить, то что могу сделать я, совершенно чужой ей человек? Но все же о вашем совете надо серьезно подумать, особенно если все остальное не даст желаемых результатов. Пожалуй, нам лучше всего обратиться за помощью к Шинуэлу Джонсону.

У меня еще не было случая рассказать в этих мемуарах о Шинуэле Джонсоне, так как в своих рассказах я редко обращался к расследованиям, проведенным моим другом в более поздние годы. В самом начале нашего века он оказывал нам неоценимые услуги. К великому сожалению, Джонсон начал как очень опасный преступник и отсидел в тюрьме Паркхерст два срока. В конце концов он образумился и порвал с преступным прошлым; он стал помогать Холмсу, сделавшись его агентом, действующим в темных закоулках обширного преступного мира в Лондоне, добывая для Холмса сведения, часто очень важные. Если бы Джонсон стал полицейским шпиком, «легавым», его бы очень скоро вывели на чистую воду. Но поскольку он помогал в расследовании дел, которые никогда прямо не фигурировали в суде, его приятели ничего не знали о его сотрудничестве с Холмсом. Две судимости создавали ему необходимый ореол, открывая доступ в ночлежки, ночные притоны и игорные дома, а природная сообразительность и зоркий взгляд делали его идеальным агентом по сбору информации. Именно к нему и собирался обратиться за помощью Шерлок Холмс.

В тот день у меня было срочное дело, и я не смог сразу включиться в расследование, к которому Холмс приступил без промедления. Мы договорились, что встретимся вечером в ресторане Симпсона. Там, сидя за маленьким столиком у окна, выходящего на Стрэнд, и глядя на бурлящий поток пешеходов и транспорта, он рассказал мне, что ему удалось предпринять в тот день.

— Джонсон уже ищет нужные нам сведения. Возможно, ему все же удастся отыскать какой-нибудь старый хлам из прошлого барона Грунера, ибо тайны его сокрыты именно там, в темных углах лондонского «дна», где коренятся порок и преступность.

— Но если мисс Вайолет не желает обращать внимание на факты, которые уже известны, почему вы ду-

мате, что она прислушается к какому-нибудь новому факту, если нам удастся его отыскать?

— Кто знает, Уотсон? Ум и сердце женщины — непостижимая загадка для мужчины. Убийство можно простить или как-то объяснить, но иногда и менее серьезные проступки оставляют в сердце незаживающие раны. Барон Грунер сказал мне...

— Сказал вам?!

— Ах, да, Уотсон, совсем забыл, я же тогда не успел рассказать вам о своих планах. Так вот, Уотсон, люблю встретиться с противником лицом к лицу. Люблю посмотреть ему прямо в глаза, чтобы определить для себя, что он за человек. Как только я дал распоряжения Джонсону, я нанял кэб и отправился в Кингстон. Я застал барона дома в весьма благодушном настроении.

— Он узнал вас?

— Ну, это было нетрудно — я послал ему визитную карточку. Он достойный противник: холоден как лед, велеречив и ласков, как ваши модные консультанты, и ядовит, как кобра. В нем чувствуется порода — этакий аристократ от преступного мира. От такого всего можно ожидать: и приглашения на чашку чая и жестокой от нее смерти. Да, я был рад, что судьба свела меня с Адельбертом Грунером.

— Так вы говорите, он был настроен благодушно?

— Совсем как мурлыкающий кот, уверенный в том, что стоит ему лапу протянуть, как мышка окажется у него в когтях. Благодушие одних бывает порой опаснее неистовой злобы других, более грубых натур. Он встретил меня весьма своеобразно. «Я знал, что рано или поздно мы с вами встретимся, мистер Холмс, — сказал он. — Вас, конечно же, нанял генерал де Мервилль, чтобы помешать моей женитьбе на его дочери Вайолет. Так ведь?»

Я не стал ему возражать.

«Дорогой мой, — сказал он, — взявшись за это дело, вы очень рискуете своей репутацией, кстати вполне заслуженной. Вам вряд ли удастся в нем преуспеть. Вы попросту потратите время и силы, не говоря уж о том, что подвергаете себя опасности. Я очень, очень советую вам отказаться от него, и немедленно».

«Удивительное совпадение, — ответил я. — Точно такой же совет я собирался дать вам. Я отдаю должное вашему уму, барон, и то мимолетное впечатление, ко-

торое у меня уже сложилось о вас, лишь утверждает меня в этом мнении. Но будем говорить, как мужчина с мужчиной. Ни я, ни кто иной не хочет ворошить прошлое и ставить вас в затруднительное положение без особой на то нужды. Все уже позади, и сейчас вам ничего не грозит. Но если вы будете упорствовать, добиваясь руки мисс де Мервилль, вы рискуете потревожить целое полчище весьма могущественных врагов, которые не оставят вас в покое, пока вы не уберетесь за пределы Англии. Так стоит ли игра свеч? Самое умное, что вы можете сделать, — это отступиться от молодой девушки. Вам вряд ли будет приятно, если ей станут известны некоторые факты вашей биографии».

Барон носит напомаженные усы щеточкой, похожие на усики насекомых. Пока он слушал меня, они топорщились от беззвучного смеха, а когда я кончил, он ласково рассмеялся.

«Извините меня за смех, мистер Холмс, но мне и в самом деле было забавно наблюдать, как вы стараетесь вести игру, не имея на руках хороших карт. У вас это отлично получается, но тем не менее вас можно только пожалеть. У вас нет ни одного козыря, одна только шваль».

«Вы думаете?»

«Я не думаю, я знаю. Позвольте, я объясню, ибо у меня в руках такие карты, что я, ничем не рискуя, могу раскрыть их перед вами. К счастью для меня, я сумел завоевать расположение молодой леди. Она отдала мне свою любовь полностью и без остатка, несмотря на то, что я откровенно рассказал ей обо всех злосчастных эпизодах моей прошлой жизни. Кроме того, я предупредил ее, что найдутся, без сомнения, интриганы, любители строить козни — надеюсь, вы себя узнали, — которые явятся к ней, чтобы опорочить меня, и при этом я внушил ей, как ей следует с ними поступать. Вы, конечно, слышали, мистер Холмс, о постгипнотическом внушении? Так вот, теперь вы увидите воочию, как оно действует. Сильная личность может оказывать гипнотическое воздействие без каких бы то ни было примитивных пассов и прочей чепухи. Она готова встретиться с вами, и она обязательно встретится, ибо послушна воле отца во всем, кроме самой малости».

Мне нечего было ему сказать, Уотсон, и я откланялся, стараясь насколько возможно сохранить хладнокровие и достоинство, но едва я коснулся ручки двери, как он снова заговорил:

«Между прочим, мистер Холмс, вы были знакомы с неким французским агентом по имени ле Брэн?»

«Да», — ответил я.

«А вам известно, что с ним произошло?»

«Я слышал, что где-то на Монмартре он был жестоко избит апачами и стал калекой».

«Истинная правда, мистер Холмс. По странной случайности, за неделю до этого происшествия он очень интересовался моими делами. Так вот, мистер Холмс, я не советую вам заниматься тем же, это может плохо кончиться. Кое-кто имел возможность в этом убедиться. И напоследок вам мой совет: идите своей дорогой и не мешайте мне идти моей. Прощайте!»

Вот так, Уотсон. Теперь вы знаете все.

— Опасный тип этот барон.

— И даже очень. Я не придаю значения словам этого хвастуна, но он из тех людей, кто меньше говорит, но больше делает.

— Может быть, вам не ввязываться в это дело? Так ли уж важно, женится он на этой девушке или нет?

— Это очень важно, если учесть, что он убил свою последнюю жену, в чем я ни минуты не сомневаюсь. А кроме того, как же наш клиент? Ну, ладно, не будем об этом говорить. Сейчас вы допьете кофе и мы отправимся ко мне, где нас будет ждать весельчак Шинуэл. Он расскажет нам, что ему удалось разузнать.

Холмс оказался прав: нас в самом деле ждал Шинуэл, этакий здоровый верзила с красным лицом, гнилыми зубами и парой живых черных глаз, которые одни только и говорили о хитром и цепком уме, прячущемся под этой неказистой внешностью. Было очевидно, что он совсем недавно нырнул на дно родной для него стихии — подтверждением этого была сидевшая рядом с ним на диване молодая женщина, худая и нервная, с бледным напряженным лицом, еще моложавым, но уже настолько опустошенным и померкшим от греха и страданий, что на нем легко прочитывались все прожитые ею страшные годы, оставившие неизгладимую печать упадка и разложения.

— Это мисс Китти Уинтер, — сказал Шинуэл Джонсон, помахивая увесистой рукой в знак приветствия. — И чего только она не знает — хотя, ладно, пусть сама за себя скажет. Я быстро вычислил ее, мистер Холмс, и часа не прошло после нашего разговора.

— Меня просто найти, — сказала молодая женщина. — Где ж мне и быть, как не в лондонской преис-

подней. Толстяк Шинуэл знает, где меня искать. Мы с тобой старые друзья, Толстяк, водой не разольешь. Но уж если говорить по справедливости, то есть еще один человек, которому самое место среди нас на дне этой преисподней. И это как раз тот самый тип, который вам нужен, мистер Холмс.

Холмс улыбнулся.

— Я так понимаю, вы готовы нам помочь, мисс Уинтер.

— Да я все для вас сделаю, только бы упечь его куда следует, — сказала наша гостья весьма агрессивно. В ее бледном застывшем лице и горящих глазах была такая испепеляющая ненависть, какую редко можно встретить у женщин, а у мужчин и вовсе никогда. — Вам незачем заглядывать в мое прошлое, мистер Холмс, это ничего не убавит и не прибавит. Знайте одно: такой, как сейчас, сделал меня не кто иной, как Адельберт Грунер. Господи, как бы я хотела стащить его за собой в пропасть! — Она яростно сжала расставленные пальцы, как бы зажав в кулак воздух. — У-у, с каким бы наслаждением я стащила его в яму, куда он спихнул столько невинных жертв!

— Так вы знаете, о чем идет речь?

— Да, Толстяк рассказывал мне. Как я поняла, он охотится за очередной дурочкой, да еще жениться на ней задумал. А вы хотите ему помешать. Видно, вы и впрямь хорошо знаете этого проходимца, раз решили помешать нормальной приличной девушке водить с ним компанию.

— Ну, совсем нормальной ее не назовешь. Она безумно в него влюблена. И что бы ей о нем ни рассказывали, она никого и слушать не хочет.

— А об убийстве она знает?

— Да.

— О, Господи, да ее, видно, ничем не проймешь.

— Она думает, его оклеветали.

— Неужто вы не можете представить этой дурочке доказательства?

— А вы можете нам в этом помочь?

— А сама я разве не доказательство? Если бы она только взглянула на меня да послушала, как он со мной обошелся...

— И вы согласны встретиться с ней?

— Я? А то как же!

— Тогда можно попробовать. Только имейте в виду, что он рассказал ей обо всех своих грехах и получил

прощение. По-моему, она не захочет возвращаться к этой теме.

Могу поклясться, он рассказал далеко не все, — сказала мисс Уинтер. — Я подозреваю, что, кроме того, нашумевшего, он совершил еще одно или два убийства. Бывало, он рассказывает о ком-нибудь, как всегда, мягко и вкрадчиво, а потом пристально взглянет на меня и скажет: «Через месяц он умер». Не думаю, чтоб это было пустой болтовней. Но тогда я не придавала этому значения, я любила его. Что бы он ни делал, я на все смотрела его глазами, совсем как эта дуреха. И только однажды я была потрясена до глубины души; если бы не его лживый коварный язык и не умение все объяснить и быстро утешить, я ушла бы от него в тот же вечер. Он показал мне книгу в кожаном коричневом переплете с застежками и его гербом, тисненным золотом, красовавшимся на обложке. В тот вечер он был выпивши, а то не видать бы мне ее никогда.

— А что это за книга?

— Знаете, мистер Холмс, оказывается, этот тип собирает женщин, как собирают бабочек или мотыльков. Он очень гордится своей коллекцией. В ней можно найти и их фотографии, и их имена, и разные подробности, в общем, все-все. Жуткая книга. Такую коллекцию не стал бы собирать ни один мужчина, даже самый отпетый бродяга. А Адельберт Грунер собрал. И мог бы с полным правом озаглавить ее «Загубленные мной души». Впрочем, все это пустой разговор; вряд ли вам эта книга поможет, да и не добраться вам до нее.

— А где она?

— Откуда мне знать, где она теперь. Ведь я больше года как ушла от него. Я только знаю, где она была тогда. Впрочем, он человек аккуратный и редко меняет привычки. Может, она все еще там, у него в старом бюро, в углублении для бумаг. А это бюро стоит во внутреннем кабинете. Вы дом-то его знаете?

— Я был у него в кабинете, — сказал Холмс.

— Вот как? Видно, вы зря времени не теряли, ведь вы взялись за это дело сегодня утром. Наконец Адельберт ровню встретил. Внешний кабинет — это тот, где между окнами стоит большой стеклянный шкаф с китайским фарфором. Позади письменного стола есть дверь, которая ведет во внутренний кабинет — там он хранит бумаги и прочие вещи.

— Он не боится грабителей?

— Адельберт не трус. Этого никто о нем не скажет, даже злейший враг. Он всегда начеку. Ночью система сигнализации включена. Да и зачем к нему лезть грабителям? Тащить расписные черепки?

— Им они ни к чему, — подтвердил Шинуэл Джонсон с категоричностью знатока. — Ни один вор не позарится на такой хлам: ни переплавить, ни продать.

— Тоже верно, — сказал Холмс. — Ну, что ж, мисс Уинтер, если вы найдете время, чтобы заглянуть ко мне завтра в пять, думаю, я уже буду знать, удастся ли нам организовать встречу с молодой леди. Очень благодарен вам за готовность сотрудничать. Само собой разумеется, мои клиенты щедро...

— Нет, нет, ни в коем случае, мистер Холмс! — воскликнула молодая женщина. — Я вовсе не ради денег. Просто хочу увидеть этого ублюдка в грязи, и это будет мне лучшей наградой. Да, да, чтоб мордой в грязь, да еще ногой придавить. Вот моя цена. Я приду к вам завтра и в любой другой день, пока нужна моя помощь, чтобы вывести этого мерзавца на чистую воду. А Толстяк всегда подскажет, где меня искать.

Я снова встретился с Холмсом на следующий день вечером — мы обедали в том же самом ресторане на Стрэнде. В ответ на мой вопрос, удалось ли ему договориться о встрече с мисс де Мервилль, он только пожал плечами, а потом рассказал, как было дело. Я передам все, сказанное им, своими словами; его жесткое, сухое изложение, чтобы лучше дошло до читателя, нуждается в некоторой обработке.

— Получить согласие на встречу с мисс де Мервилль не составило никакого труда, — рассказал Холмс, — ибо девушка беспрекословно подчиняется воле отца во всем, кроме одного — ее будущего замужества, как бы стараясь загладить покорностью в мелочах открытое неповиновение в главном. Генерал позвонил и сказал, что она согласна, а необузданная мисс Уинтер появилась точно в назначенное время. В половине шестого мы вышли из кэба на Беркли-стрит, где старый генерал живет в доме номер 104, одном из тех ужасных серых лондонских замков, в сравнении с которыми церковь может показаться фривольным заведением. Ливрейный лакей проводил нас в просторную гостиную с желтыми портьерами, где нас уже ждала мисс де Мер-

виль серьезная, бледная, сдержанная, такая же незыблемая и далекая, как заснеженная вершина горы.

Право, не знаю, как лучше обрисовать ее для вас, Уотсон. Вполне возможно, вы еще встретитесь с ней, пока мы ведем расследование, и тогда вы найдете более точные и удачные слова. Она красива, но красива той неземной, потусторонней красотой фанатички, чьи мысли устремлены к горним высям. Такие лица мне доводилось видеть на картинах старых мастеров средневековья. Каким образом удалось такому низменному человеку, как барон, наложить свои грязные лапы на столь возвышенное существо, уму непостижимо. Вы, очевидно, имели возможность заметить, что крайности всегда тянутся навстречу друг другу — духовное и плотское, пещерный человек и ангел небесный. Трудно представить себе более тяжелый случай.

Она, конечно, знала, зачем мы пришли, — этот мерзавец зря времени не терял, настраивая ее против нас. Правда, появление мисс Уинтер было для нее полной неожиданностью, и тем не менее она жестом предложила нам сесть на приготовленные стулья, как преподобная аббатиса, принимающая у себя двух прокаженных. Если вы имеете склонность к высокопарному слогу, дорогой Уотсон, советую вам поучиться у мисс Вайолет де Мервилль.

— Сэр, — сказала она ледяным голосом, похожим на дуновение с айсберга, — мне знакомо ваше имя. Как я понимаю, вы явились сюда, чтобы очернить в моих глазах моего жениха, барона Грунера. Я дала согласие встретиться с вами только потому, что об этом меня просил отец, но должна предупредить вас, что все, сказанное вами, скорее всего не возымеет на меня никакого действия.

Мне стало очень жаль ее, Уотсон. В ту минуту я видел в ней дочь. Я ведь не склонен к красноречию, как вам известно. В работе я больше уповаю на голову, чем на сердце. Но в тот вечер я превзошел сам себя. Я буквально умолял ее со всем жаром, на какой способно мое сердце. Я обрисовал ей ужасное положение женщины, которая только после свадьбы начинает понимать, что за человек ее муж, женщины, вынужденной покоряться мужу, ласкающему ее руками, запятнанными кровью, и целующему ее губами, пораженными проказой. Я говорил о том, что ее ожидает стыд, страх, отчаяние и безнадежность. Но мои горячие речи пропали втуне: на бледных

щеках не было и намека на румянец, а в безучастных глазах — ни искры чувства. Тогда я вспомнил о постгипнотическом состоянии, о котором упомянул этот негодяй. Казалось, она впала в транс и парит над землей в каком-то очарованном сне. И тем не менее ответы ее были вполне разумными и земными.

— Я терпеливо слушала вас, мистер Холмс, — сказала она. — Ваши слова, как я и предупреждала вас, не возымели никакого действия. Я знаю, что мой жених Адельберт вел в прошлом бурную жизнь и потому стал объектом несправедливых нападок и жгучей ненависти. Вы последний в длинной череде тех, кто до вас пытался очернить его в моих глазах. Возможно, вами движут самые лучшие побуждения, хотя, насколько мне известно, вы всего лишь платный агент, который за определенное вознаграждение мог бы действовать как в интересах барона, так и против него. Как бы то ни было, я хочу, чтобы вы поняли раз и навсегда: я люблю его, и он отвечает мне взаимностью, а что думает о нем весь остальной мир, значит для меня не более, чем щебет птиц за окном. И если этот благородный человек оступался в жизни хоть на мгновение, то, вероятно, именно я была послана ему, чтобы он смог подняться до того высокого уровня, который присущ ему от природы. Я только не совсем понимаю, — тут она обратила свой взор на мою спутницу, — кто эта молодая женщина.

Я собрался было ответить, когда в наш разговор, как вихрь, ворвалась мисс Уинтер. Если вам доводилось когда-либо видеть рядом лед и пламя, то эти две женщины являли собой именно такое зрелище.

— Я расскажу вам, кто я такая, — вскрикнула она, вскакивая со стула. От переполнявшего чувства рот ее перекосился. — Я его последняя любовница, одна из сотни несчастных, которых он соблазнил, использовал и погубил, выбросив на свалку, что он и с вами сделает. Вас он скорее всего сведет в могилу, что, может, и к лучшему. Послушайте меня, безумная женщина, если вы выйдете за него замуж, уж вас-то он точно доконает, а каким образом — разобьет сердце или свернет шею — это вопрос другой. Уж он до вас доберется. Я говорю это вовсе не из любви к вам. Мне наплевать, что с вами будет. Но я ненавижу этого негодяя всеми силами души и хочу отомстить за свою загубленную жизнь. А впрочем, все равно теперь. И нечего смотреть на меня так, еще

[illegible], в какой яме вы окажетесь, когда, наконец, все будет кончено между вами!

— Я бы не хотела говорить на эту тему, — холодно сказала мисс де Мервилль. — Позвольте мне еще раз напомнить вам, что мой жених уже рассказывал мне о трех эпизодах из своей жизни, когда он имел несчастье сблизиться с женщинами, имевшими на него виды, однако он заверил меня, что если и причинил им зло, то искренне в этом раскаивается.

— Трех эпизодах! — завопила моя спутница. — Дура! Набитая дура!

— Мистер Холмс, будем считать, что наш разговор окончен. Я согласилась встретиться с вами, подчиняясь воле моего отца, но вовсе не чувствую себя обязанной выслушивать безумные речи этой особы.

Изрыгая проклятия, мисс Уинтер ринулась вперед, и если бы я не схватил ее вовремя за руку, она бы вцепилась в волосы мисс де Мервилль. Я поволок ее к двери, и через некоторое время мне удалось втолкнуть ее в кэб, избежав публичного скандала, ибо она была вне себя от ярости. Да я и сам испытывал холодную злость к женщине, которую мы пытались спасти: в ее безмятежной отстраненности и полной самоуспокоенности было что-то такое, что вызывало неописуемое раздражение. Ну, вот, Уотсон, так обстоят дела, и нам с вами должно быть ясно, что нужно придумывать какой-то новый ход, ибо этот гамбит ничего не даст. Я все время буду держать с вами связь, Уотсон, потому что уверен, вам придется вступить в игру, хотя не исключено, что следующий ход сделаем не мы с вами, а они.

Так оно и вышло. Они нанесли ответный удар, хотя вернее было бы сказать не они, а он, ибо я и мысли не допускаю, что мисс де Мервилль имела к этому хоть малейшее отношение. Мне кажется, я могу с абсолютной точностью показать то место на тротуаре между Гранд-Отелем и вокзалом Чаринг-Кросс, где я стоял, когда взгляд мой упал на сообщение в вечерних газетах, которые выставил на продажу одноногий продавец. Прочитав заголовок, я весь похолодел от страха. Взглянув на число, я сообразил, что событие это произошло спустя два дня после нашей с Холмсом последней встречи. Черным по белому там было напечатано:

ОПАСНОЕ ПОКУШЕНИЕ НА ШЕРЛОКА ХОЛМСА

Несколько секунд я стоял как громом пораженный. Что было дальше, я помню очень смутно. Кажется, я

схватил газету с прилавка, ничего не заплатив, к немалому возмущению продавца; в дверях какой-то аптеки я развернул газету и прочел поразившую меня заметку до конца. Вот что было там написано:

«С большим сожалением мы узнали, что сегодня утром на хорошо известного частного детектива Шерлока Холмса было совершено покушение. Нападавшие, по-видимому, замышляли его убить. Состояние пострадавшего тяжелое. Подробности пока неизвестны. Нападение совершено около полудня на Риджент-стрит, недалеко от «Кафе-Рояль», где двое мужчин набросились на Шерлока Холмса, нанося ему удары палками по корпусу и голове. Его отнесли в больницу на Чаринг-Кросс, и врачи утверждают, что он получил серьезные повреждения. По его настоянию он был отправлен домой на Бейкер-стрит. Судя по рассказам очевидцев, нападавшие были хорошо одеты; они скрылись в «Кафе-Рояль», как только начали собираться прохожие, и вышли через него на Глассхаусстрит. Нет никаких сомнений, что они принадлежат к преступному клану, которому очень досаждал пострадавший своей проницательностью и компетентностью».

Нет нужды говорить, что, как только я пробежал заметку глазами, я тут же вскочил в кэб и отправился на Бейкер-стрит. Перед домом Холмса стоял экипаж сэра Лесли Оукшотта, а в прихожей я нашел и самого знаменитого хирурга.

— Серьезной опасности нет, — заявил он. — Две рваные раны на голове и несколько сильных ушибов. Кое-где пришлось наложить швы. Я впрыснул ему морфий, и сейчас ему нужен покой, но если хотите, можете с ним побеседовать, только очень недолго.

Получив разрешение, я прошел на цыпочках в затемненную комнату. Больной не спал и даже окликнул меня хриплым шепотом. Штора была приспущена на три четверти, но один солнечный лучик все же пробился через нее и упал на забинтованную голову пострадавшего. Сквозь белую повязку проступало темно-красное пятно. Я сел возле него и опустил голову.

— Ничего, Уотсон, — чуть слышно пробормотал он. — Не пугайтесь. Ничего страшного.

— Слава Богу!

— Я, как вы знаете, умею за себя постоять, когда схожусь один на один. Мало кому удавалось застать меня врасплох. Но справиться с двумя сразу оказалось мне не по силам.

7*

— Чем я могу помочь, Холмс? Я ни минуты не сомневаюсь, что этих молодчиков подослал проклятый барон. Скажите только слово, и я спущу с него шкуру.

— Уотсон, дружище. Ничего мы не сможем с ними сделать. без помощи полиции нам с ними не справиться. Они хорошо продумали план бегства с поля боя. В этом нет сомнений. Но не будем торопиться. У меня есть свои планы. Во-первых, нужно сильно преувеличить сведения о нанесенных мне повреждениях. Они непременно обратятся к вам за новостями о моем самочувствии. Не жалейте мрачных красок, Уотсон, говорите, что у меня сотрясение мозга, бред и что я вообще к концу недели могу и ноги протянуть. Не бойтесь переборщить.

— А как же сэр Лесли Оукшотт?

— С ним все в порядке. Он найдет меня в самом плачевном состоянии. Об этом я позабочусь.

— Чем еще я могу помочь?

— Вот чем. Передайте Шинуэлу Джонсону, чтобы он спрятал мисс Уинтер в безопасном месте. Эти молодцы, наверно, уже за ней охотятся. Они наверняка знают, что она помогает мне в этом деле. Уж если они посмели напасть на меня, то вряд ли они упустят случай убрать ее с дороги. Это нужно сделать как можно скорее. Сегодня же.

— Хорошо. Займусь этим немедленно. Что еще?

— Положите на стол мою трубку, да и кисет тоже. Вот так. Приходите ко мне каждое утро. Будем вместе разрабатывать план кампании.

В тот же вечер я договорился с Джонсоном, что он увезет мисс Уинтер на одну из тихих окраин Лондона, устроит ее в надежном месте и проследит за тем, чтобы она не подавала признаков жизни, пока не минует опасность.

Шесть дней подряд газеты уверяли читателей, что состояние Холмса очень тяжелое. Сообщения о его самочувствии были самые мрачные, а некоторые казались прямо-таки зловещими. Я же, навещая его каждый день, был уверен, что дела обстояли далеко не так плохо. Наделенный от природы крепким здоровьем, он быстро шел на поправку. Выносливость и сильная воля делали чудеса. Однако временами мне казалось, что он чувствует себя лучше, чем хочет показать. Была в нем некая скрытность, изрядно меня удивлявшая. Она не раз позволяла ему добиваться удивительных результатов, но часто даже ближайшему его другу приходилось

блуждать в потемках, довольствуясь лишь догадками о его истинных замыслах. Казалось, он свято придерживался общеизвестного положения о том, что единственный способ сохранить тайну — не доверять ее никому. Я был ему ближе всех остальных, но постоянно чувствовал, что он никогда не говорит мне все до конца.

На седьмой день ему сняли швы, однако все вечерние газеты сообщили, что у него началось рожистое воспаление. В тот же вечер в газетах промелькнуло известие, которое нужно было довести до сведения моего друга. В нем говорилось, что в пятницу из Ливерпуля на борту парохода «Лузитания», принадлежащего компании Кьюнард, отплывает в Соединенные Штаты барон Адельберт Грунер, где он намерен уладить важные финансовые дела в связи с предстоящей женитьбой на мисс Вайолет де Мервилль, единственной дочери и т. д. и т. п. Холмс выслушал это известие с холодным, сосредоточенным выражением лица, из чего я заключил, что эта новость была для него тяжким ударом.

— Уже в пятницу! — воскликнул он. — Осталось только три дня. Сдается мне, что этот негодяй хочет ускользнуть от нас. Но этот номер у него не пройдет, Уотсон! Клянусь Богом, не пройдет! Знаете, Уотсон, я хочу вас кое о чем попросить.

— К вашим услугам, Холмс.

— Тогда я прошу вас посвятить следующие двадцать четыре часа серьезному изучению китайского фарфора.

Он ничего не объяснил, а я ни о чем не стал его спрашивать. За долгие годы я постиг мудрость послушания. Выйдя из его дома и шагая по Бейкер-стрит, я прикидывал, как лучше взяться за выполнение столь необычного задания. Наконец я решил отправиться в одну из лондонских библиотек, что на Сент-Джеймс-сквер, обратился за помощью к моему давнему приятелю Ломаксу, помощнику библиотекаря, и вскоре я уже спешил домой с увесистым фолиантом под мышкой.

Говорят, что адвокат, который к понедельнику выучивает дело назубок, да так, что может засыпать вопросами свидетеля-эксперта, к субботе забывает все зазубренное неделю назад. Само собой разумеется, что я не собираюсь изображать из себя специалиста по китайской керамике. Однако весь вечер, всю ночь, не считая короткого отдыха, и даже все следующее утро я впитывал в себя знания и старался запомнить множество названий. Я узнал о пробирных клеймах разных живопис-

цен по фарфору, о тайнах циклических дат, о приметах периода Гун-у и шедеврах периода Юнь-ло, о сочинениях Тань-иня и величайших достижениях древнейших периодов Сун и Юань. Моя голова была битком набита этими сведениями, когда на следующий день вечером я пришел навестить Холмса. Он уже стал вставать, хотя в газетах об этом не было ни слова, и сейчас сидел в своем любимом глубоком кресле, подперев рукой обмотанную бинтами голову.

— Холмс, ведь если верить газетам, то вы уже при смерти.

— Именно так и должны думать читатели. Ну, как, Уотсон, выполнили вы мое задание?

— По крайней мере, я очень старался.

— Прекрасно. А можете ли вы, не ударив в грязь лицом, вести разговор на эту тему?

— По-моему, да.

— Тогда дайте мне, пожалуйста, вон ту небольшую коробочку с каминной полки.

Он открыл крышку и вынул небольшую вещицу, аккуратно завернутую в лоскуток тончайшего восточного шелка. Он развернул его, и моему взору предстало небольшое тонкое блюдце необычайно красивого темно-синего цвета.

— С этим блюдцем нужно обращаться крайне осторожно, Уотсон. Это подлинный тончайший фарфор династии Мин. Такого изумительного шедевра никогда не было даже на аукционах Кристи. Полный сервиз, из которого взято это блюдце, стоит баснословные деньги. Я вообще сомневаюсь, что существует еще один подобный сервиз за пределами императорского дворца в Пекине. От одного вида этого шедевра у истинного ценителя должно захватывать дух.

— И что мне с ним делать?

Холмс подал мне визитную карточку, на которой было напечатано: Д-р Хилл Бартон, Халф-Мун-стрит, 369.

— Это ваше имя на сегодняшний вечер. Вы отправитесь к барону Грунеру. Я немножко знаком с его привычками и думаю, что в половине девятого он вряд ли будет занят делами. Незадолго до вашего визита он получит записку, что вы хотите заехать к нему, показать предмет из уникального сервиза периода Мин. Вы представитесь как врач и в этом смысле можете оставаться самим собой. Вы коллекционируете китайский фарфор. У вас в коллекции оказался этот сервиз, и вы,

зная, что барон интересуется китайским фарфором, хотели бы предложить ему сервиз за определенную сумму.

— Какую?

— Законный вопрос, Уотсон. Вы, конечно, упадете в глазах барона Грунера, если не будете знать, сколько стоит предлагаемый вами товар. Видите ли, это блюдце принес мне сэр Джеймс, а взял он его из сервиза своего клиента. Вы будете недалеки от истины, если скажете, что в мире нет равных этому сервизу.

— А если предложить, чтобы сервиз был оценен экспертом?

— Прекрасно, Уотсон. Просто блестяще. Предложите обратиться к экспертам фирмы Кристи или Сотби. Конечно, ваша деликатность не позволяет вам самому назначить цену.

— А если он меня не примет?

— Примет, Уотсон, непременно примет. Он страстный коллекционер и интересуется именно китайским фарфором, в котором он знает толк и слывет большим авторитетом. Садитесь, Уотсон, я продиктую вам письмо, не требующее ответа. Просто напишите, что заедете к нему и с какой целью.

Это было прекрасное послание, короткое, вежливое, будоражащее любопытство истинного знатока. Мы тут же отправили его с посыльным. В тот же вечер с бесценным блюдцем в руке и визитной карточкой д-ра Хилла Бартона в кармане я отправился к барону для выполнения порученного мне задания.

Красивый особняк и окружающая его территория свидетельствовали о том, что барон Грунер, как и говорил сэр Джеймс, был человеком богатым. Длинная извилистая подъездная аллея, обсаженная с обеих сторон каким-то редкостным кустарником, вела к просторной квадратной площадке, усыпанной гравием и украшенной скульптурами. Особняк был выстроен каким-то золотопромышленником из Южной Африки во времена великого бума, и длинное приземистое здание с башенками по углам, хотя и было архитектурной нелепостью, казалось весьма внушительным благодаря своим размерам и солидности. Дворецкий, который мог бы быть украшением епископата, впустил меня в дом и передал с рук на руки лакею, облаченному в плисовую ливрею, проводившему меня к барону.

Барон стоял у открытого стеклянного шкафа внуши-

тельных размеров, расположенного в простенке между окнами, в нем находилась часть его коллекции китайского фарфора. В руке он держал небольшую коричневую вазу. Он обернулся.

— Садитесь, прошу вас, — сказал он. — Я тут осматриваю свои сокровища и размышляю, могу ли я позволить себе что-нибудь к ним присовокупить. Этот небольшой шедевр танского периода, дошедший до нас из седьмого века, вероятно, покажется вам достойным внимания. Ручаюсь, вы никогда не видели такой тонкой работы и такой роскошной глазури. Надеюсь, вы захватили с собой то блюдце периода Мин, о котором вы упомянули в письме.

Я осторожно распаковал и протянул ему блюдце. Он сел за письменный стол, придвинул поближе лампу, так как уже начало смеркаться, и стал его рассматривать. Желтый свет лампы падал ему на лицо, и я имел возможность внимательно рассмотреть его черты.

Он и в самом деле был удивительно красив и вполне заслуженно пользовался репутацией самого интересного мужчины в Европе. Он был среднего роста и телосложения, но необычайно подтянут и грациозен. Лицо было смуглое, восточного типа, с большими темными глазами, исполненными томной неги; именно это, по-видимому, делало его столь неотразимым для женщин. Волосы были иссиня-черными, так же как и короткие, заостренные, аккуратно напомаженные усы. Черты его лица были правильные и очень привлекательные, если не считать прямого рта с тонкими губами. Именно таким, по моим представлениям, должен быть рот убийцы — жестокий твердый надрез на лице, крепко сжатый, неумолимый и пугающий. Очевидно, формируя усы, он внял дурному совету и немного отступил ото рта, обнажив сигнал тревоги, который Природа подавала его жертвам. К тому же у него были прекрасные манеры и завораживающий голос. Что касается возраста, то я бы дал ему чуть больше тридцати, хотя потом я узнал из протокола, что ему было сорок два.

— Превосходный экземпляр, ничего не скажешь, — проговорил он наконец. — И вы говорите, что у вас есть сервиз из шести предметов. Меня удивляет лишь то, что я никогда не слышал о таком великолепном сервизе. Насколько мне известно, в Англии есть только один сервиз, не уступающий вашему, но вряд ли он когда-нибудь будет предложен для продажи. Не сочтите

за нескромность, доктор Бартон, но хотелось бы знать, как он к вам попал?

— Разве это так важно? — спросил я, стараясь насколько возможно казаться спокойным и беззаботным. — Вы же видите, вещь подлинная, а что касается цены, то я готов положиться на оценку экспертов.

— Очень загадочный случай, — сказал он, метнув на меня быстрый подозрительный взгляд темных глаз. — Вполне естественно, что, обдумывая покупку столь ценной вещи, всегда хочется знать о ней все. Я вижу, что вещь подлинная. В этом у меня нет никаких сомнений. Но допустим, — а я обязан принять во внимание все возможные варианты — у вас нет права ее продавать.

— Я готов представить гарантии, что никаких претензий не возникнет.

— Тогда хотелось бы знать, каковы эти гарантии.

— Об этом вы можете справиться у моих банкиров.

— Да, да. Однако все это кажется мне в высшей степени странным.

— В конце концов, вы можете и не покупать, дело ваше, — бросил я равнодушно. — Я предлагаю сервиз вам первому, потому что в таких вещах вы знаете толк, но я думаю, что без труда продам его кому-нибудь еще.

— Кто вам сказал, что я знаю в нем толк?

— Если я не ошибаюсь, вы написали книгу о китайском фарфоре.

— А вы ее читали?

— Нет.

— Боже праведный, да я просто отказываюсь вас понимать! Вы, знаток и коллекционер, имеете в своей коллекции бесценный шедевр и даже не удосужились познакомиться с единственной книгой, из которой можно узнать об истинном значении и ценности принадлежащего вам шедевра! Как это объяснить?

— Я очень занятой человек. У меня большая врачебная практика.

— Это не ответ. Если человек чем-то увлечен, он никогда не перестает интересоваться любимым делом, кем бы он ни работал и чем бы ни занимался. Вы написали в письме, что увлекаетесь китайским фарфором?

— Да, так оно и есть.

— Тогда разрешите задать вам несколько вопросов, чтобы в этом удостовериться. Я должен сказать вам, доктор, если вы и в самом деле доктор, что все это вызывает у меня все больше и больше подозрений. Прошу вас ответить мне, что вы знаете об императоре Шо-му и какую связь вы усматриваете между ним и Шосо-ином недалеко от Нара? Что, затрудняетесь ответить? Тогда расскажите о династии Северный Вэй и ее месте в истории керамики.

Я вскочил со стула, притворяясь возмущенным.

— Это неслыханно, сэр! — воскликнул я. — Я пришел сюда, чтобы оказать вам услугу, а вовсе не затем, чтобы меня экзаменовали, как мальчишку. Возможно, я знаю меньше вас, но уступаю в знании данного предмета только вам и не стану отвечать на вопросы, заданные в таком оскорбительном тоне.

Он пристально смотрел на меня. В его глазах больше не было мечтательной томности. Они горели гневом. В хищном разрезе рта сверкнули зубы.

— Так в чем состоит игра? Вы проникли сюда как шпион. Вас подослал Холмс. И вы морочите мне голову. Сам он, как я слышал, уже на ладан дышит и, чтобы следить за мной, шлет своих лазутчиков. Вы вошли сюда просто, без приглашения, но, клянусь Богом, и в этом вы скоро убедитесь, выйти отсюда вам будет намного труднее.

Он вскочил на ноги, а я отступил назад, готовясь отразить нападение, ибо он был вне себя от ярости. Вполне возможно, что подозрения возникли у него сразу же, как только я появился в доме, а учиненный мне допрос лишь подтвердил их. Я понял, что провести его мне не удалось. Быстрым движением он сунул руку в ящик письменного стола и стал судорожно в нем рыться. Но тут он уловил какой-то звук, потому что вдруг замер, напряженно вслушиваясь.

— А-а-а! — закричал он. — А-а-а! — И бросился в комнату, находившуюся у него за спиной.

В два прыжка я оказался у раскрытой двери и увидел картину, которую буду помнить всю жизнь. Окно, выходившее в сад, было распахнуто настежь. Возле него, как жуткое привидение, стоял Шерлок Холмс с бледным, осунувшимся лицом, на голове окровавленный бинт. В тот же миг он спрыгнул в сад, потому что я услышал треск лавровых кустов под тяжестью его тела. С яростным криком хозяин дома кинулся было вслед за ним к открытому окну.

Но тут произошло нечто неожиданное. Из кустов

высунулась рука, причем женская, и в ту же минуту барон издал жуткий крик, а вернее вопль, который всегда будет звучать у меня в ушах. Он вскинул руки, прижал ладони к лицу и начал бегать по комнате, натыкаясь головой на стены. Затем он повалился на ковер и стал кататься по нему, издавая дикие вопли.

— Воды! Ради Бога, воды!

Я схватил со стола графин и ринулся к нему на помощь. В то же мгновение в комнату вбежали дворецкий и несколько слуг. Помню, один из них грохнулся в обморок, когда я, опустившись на колени, повернул его обезображенное лицо к свету. Серная кислота уже начала разъедать ему кожу, капала с ушей и подбородка. Один глаз уже побелел и казался безжизненным. Второй был красный и воспаленный. Черты лица, которыми я восхищался всего несколько минут назад, напоминали теперь прекрасную картину, по которой художник провел мокрой и грязной губкой. Они стали расплывчатыми, бесцветными, нечеловечески-страшными.

В нескольких словах я объяснил слугам, как серная кислота попала ему на лицо. Некоторые выпрыгнули в окна, другие бросились к лужайке перед домом, но кругом было темно, и начал накрапывать дождь. Между воплями и стенаниями барон выкрикивал бессвязные проклятия и угрозы в адрес своей обидчицы:

— Это все чертова кошка Китти Уинтер! О дьявольское отродье! Она мне за все заплатит! За все! О Господи, нет сил терпеть эту боль!

Я смазал ему лицо маслом, приложил ватные тампоны к сильно поврежденным местам и впрыснул морфий. От пережитого шока он совсем забыл о своих подозрениях, не выпускал мои руки из своих, как будто в моих силах было промыть его остекленевшие глаза, устремленные прямо на меня. Я сам, наверно, заплакал бы, глядя на это изуродованное лицо, если бы в памяти моей не были свежи рассказы Холмса о его богомерзкой жизни, которая и довела этого типа до теперешнего состояния. Мне было противно прикосновение его горящих рук, и я вздохнул с облегчением, когда прибыл наконец его домашний врач, а вслед за ним и специалист по кожным болезням. Вскоре появился и инспектор полиции, которому я вручил мою настоящую визитную карточку. Было бы бесполезно и глупо скрывать мое настоящее имя, ибо в Скотленд-Ярде меня знали почти так же хорошо, как и Холм-

ся. Затем я покинул этот дом ужаса и печали. Через час я был на Бейкер-стрит.

Холмс сидел в своем любимом кресле бледный и усталый. Даже для его железных нервов, не говоря уж о не заживших еще ранах, события этого вечера были серьезным испытанием, и он с ужасом слушал мой рассказ о том, как преобразился барон.

— Расплата за грехи, Уотсон, расплата за грехи! — проговорил он. — Рано или поздно она-таки наступает. Бог свидетель, он много грешил, — добавил он, беря со стола коричневую книгу. — Вот книга, о которой рассказывала мисс Уинтер. Если уж с ее помощью нам не удастся расстроить этот брак, то больше уповать не на что. Но сдается мне, книга все же сделает свое дело. Непременно. Ни одна уважающая себя женщина не может переступить через такое.

— Это дневник его любовных похождений?

— Скорее дневник его похоти. Называйте как хотите. Как только я о нем услышал, я сразу понял, каким бы он мог стать грозным оружием, если бы удалось его добыть. Тогда я промолчал, чтобы мисс Уинтер не разболтала. Но я долго размышлял об этом. Нападение бандитов давало мне шанс усыпить бдительность барона. Оно было мне на руку. Я бы еще чуть-чуть выждал, но известие о его отъезде в Америку подстегнуло меня к действиям. Уезжая, он никогда бы не расстался с таким компрометирующим документом. А потому нужно было действовать — и немедленно. Проникнуть к нему в дом под покровом ночи — об этом нечего было и думать. Дом хорошо охраняется. Оставалось одно — попасть к нему в кабинет вечером, пока дом еще не заперт на ночь. Для этого нужно было отвлечь чем-то его внимание. Вот тут-то мне и пришла в голову мысль использовать для этой цели вас и синее блюдце. Но мне нужно было знать, где именно хранится книга, потому что в моем распоряжении — это было ясно как день — будет всего несколько минут, а сколько именно, будет зависеть от ваших познаний в китайском фарфоре. Поэтому в последний момент я решил захватить с собой мисс Уинтер. Разве мог я знать, что было в небольшом свертке, который она так тщательно прятала под накидкой? Я думал, что она едет по моему делу, а оказалось, что у нее было свое.

— Он догадался, что я пришел от вас.

— Этого я и боялся. Но пока вы с ним беседовали,

я все же успел отыскать книгу. Мне не хватило лишь нескольких минут, чтобы незаметно исчезнуть. А, сэр Джеймс, очень рад, что вы пришли.

Наш изысканно вежливый друг появился у Холмса. потому что мы пригласили его наведаться к нам еще до последних событий. Он выслушал рассказ Холмса о том, что произошло, с глубоким вниманием.

— Вы совершили чудо, истинное чудо! — воскликнул он, выслушав Холмса. — Но если лицо его, как утверждает доктор Уотсон, так сильно пострадало, можно считать, что цель достигнута: свадьба не состоится. Нам незачем прибегать к этой ужасной книге.

Холмс отрицательно покачал головой.

— Женщины, подобные мисс де Мервилль, так не поступают. Теперь, когда он изувечен, она еще больше будет любить его, считая мучеником. Нет, сэр Джеймс, мы должны обнажить его нравственное уродство, а не физическое. Эта книга поможет ей спуститься с небес на землю, больше ей ничего не поможет. Книга написана им от руки, и она, несомненно, узнает почерк.

Сэр Джеймс ушел, унося с собой коричневую книгу и бесценное блюдце. Мне тоже было пора уходить, и мы вышли на улицу вместе. Его дожидался экипаж. Он поспешно вскочил в него и велел кучеру в шапке с кокардой ехать. Экипаж быстро покатил по мостовой. Он перекинул пальто через окно кареты, так что половина его свесилась наружу, прикрывая фамильный герб, но я все же успел рассмотреть его в ярком свете, падавшем из полукруглого окна над входной дверью. Я даже открыл рот от изумления, потом вернулся и поднялся наверх.

— Холмс, я знаю, кто наш клиент, — вскричал я, врываясь в комнату. — Это...

— Это верный друг и благородный человек, — проговорил Холмс, делая предостерегающий жест. — Нам достаточно знать только это.

Я не знаю, что было дальше с изобличающей бароном книгой. Возможно, сэр Джеймс сам показал ее девушке, но скорее всего эту тонкую и деликатную миссию взял на себя ее отец. Во всяком случае, цель была достигнута. Спустя три дня в газете «Морнинг Пост» появилось объявление о том, что брак между бароном Грунером и мисс Вайолет де Мервилль не состоится. В той же газете был напечатан репортаж с судебного про-

цесса над мисс Китти Уинтер, которой было предъявлено серьезное обвинение в нанесении телесных повреждений с помощью серной кислоты. На суде выявились веские, смягчающие вину обстоятельства, и потому, как многие помнят, приговор был не слишком суровым и предусматривал минимальный срок за такого рода преступление. Над Шерлоком Холмсом нависла угроза судебного преследования за кражу со взломом, но когда цель благая, а клиент достаточно знаменит, даже строгие британские законы становятся гибкими и человечными. К суду моего друга не привлекли.

ЧЕЛОВЕК С ПЯТНИСТЫМ ЛИЦОМ

Настойчивость моего друга Уотсона в некоторых случаях просто удивительна. Долгое время он не давал мне покоя, убеждая описать какой-нибудь случай из моей практики. Возможно, я сам виноват в этом, ибо не раз говорил об отсутствии глубины в его рассказах и укорял в том, что он потворствует вкусам публики, вместо того чтобы строго придерживаться фактов и характеров. «Попробуйте-ка сами, Холмс!» — отвечал он обычно. И теперь, взяв в руки перо, я понял: любое происшествие надо излагать так, чтобы оно заинтересовало читателя. Впрочем, история, которую я хочу рассказать, сама по себе представляет немалый интерес. Это одно из самых удивительных дел в моей практике, и только случайно оно не попало в коллекцию Уотсона. Хочу, кстати, воспользоваться случаем и сказать несколько слов о моем старом друге и биографе. Если я и обременил себя компаньоном, участвующим в моих небольших расследованиях, то пошел на это не из сентиментальности или каприза, а только потому, что Уотсон поистине личность примечательная. Однако, превознося до небес мои подвиги, он по свойственной ему скромности почти не уделяет внимания собственной персоне. Человек, который предвидит ваши выводы и ход событий, может быть опасен, но тот, кого неизменно удивляет каждое ваше суждение и для кого будущее — закрытая книга, согласитесь, просто идеальный помощник.

Судя по моим дневникам, мистер Джеймс М. Додд, крупный, загорелый, пышущий здоровьем мужчина, истинный бритт[1], появился на Бейкер-стрит в январе

---

[1] Бритты — кельтские племена, жившие на Британских островах с VIII в. до н. э. до V в. н. э.

1903 года, вскоре после окончания бурской войны. Доктора Уотсона в это время со мной не было: он оставил меня из-за своей женитьбы — единственный эгоистический поступок, сколько я могу припомнить, за все годы нашего знакомства. Я жил один.

Обычно я сажусь спиной к окну, так, чтобы свет падал на моих посетителей. Мистер Джеймс М. Додд, по-видимому, затруднялся с чего начать разговор. Я же, со своей стороны, не спешил прийти ему на помощь — затянувшееся молчание давало мне возможность лучше рассмотреть моего посетителя. Я счел необходимым произвести на клиента впечатление, продемонстрировав ему мой метод дедукции.

— Я вижу, сэр, вы прибыли из Южной Африки?

— Так точно, сэр, — ответил он с некоторым удивлением.

— Кавалерист из ополчения?

— Точно.

— Миддлсекский полк, конечно?

— Именно так, сэр. Мистер Холмс, вы волшебник!

Я улыбнулся, заметив его растерянность.

— Когда в мою комнату входит джентльмен мужественного вида, на лице его загар, каким немыслимо загореть в Англии, носовой платок не в кармане, а в рукаве, то нетрудно сказать, откуда он прибыл. У вас коротко стриженная бородка, значит, вы не кадровый военный, а осанка у вас кавалерийская. Что касается Миддлсекского полка, это совсем просто. Судя по визитной карточке, вы биржевой маклер на Трогмортон-стрит. К какому же еще полку вы могли быть приписаны?

— От ваших глаз ничего не ускользает.

— Мои глаза видят то же, что и ваши, но я приучил себя замечать то, что вижу. Однако, мистер Додд, я думаю, вы пришли не для того, чтобы с утра пораньше обсуждать со мной науку наблюдения. Так что же случилось в Таксберри Олд Парк?

— Мистер Холмс!..

— Дорогой мой, это проще простого. Ваше письмо написано на бланке с адресом наверху. И вы настаиваете в нем на немедленном свидании, значит, произошло что-то очень серьезное.

— Именно так, сэр. Но письмо было написано днем, а за это время случилось столько всего... Если бы полковник Эмсворт не выставил меня за дверь...

— Выставил вас за дверь?

— Пожалуй, что и выставил. Полковник Эмсворт — кремень-человек. В свое время он был ярым поборником дисциплины в армии. Ну, а суровому нраву соответствует энергичный язык. Должен сказать, сэр, я терпел его только ради Годфри.

Я закурил трубку и откинулся в кресле.

— Может быть, вы все-таки объясните, о чем, собственно, идет речь?

Мой клиент усмехнулся.

— А я было решил, что вам известно все и без моего рассказа. Изложу факты и надеюсь, вы, с Божьей помощью, объясните мне, что они означают. Всю ночь я ломал голову над этой загадкой, и чем больше думал, тем более невероятным казалось мне все происшедшее.

Я поступил на военную службу в январе 1901 года — как раз два года назад. Мы с молодым Годфри Эмсвортом попали в один эскадрон. Годфри — единственный сын полковника Эмсворта, ветерана Крымской кампании. Так что в его жилах текла кровь бойца. Неудивительно поэтому, что он пошел на войну добровольцем. Во всем полку не было парня лучше, чем он. Между нами завязалась глубокая дружба, мы жили жизнью друг друга и делили вместе радости и горе. Он был настоящий товарищ, а в армии это значит многое. Целый год шли тяжелые бои, и мы всегда были вместе. Но в битве за Даймонд Хилл, под Преторией, он был ранен пулей из крупнокалиберной винтовки и отправлен в госпиталь. Я получил от него одно письмо из госпиталя в Кейптауне и одно из Саутгемптона. И с тех пор — ни слова, ни одного слова за полгода, а может, и больше, а ведь он мой друг, мистер Холмс.

Ну, война закончилась, и все мы вернулись обратно. Я написал его отцу и спросил, где Годфри. Ответа не было. Я подождал немного и снова написал. На этот раз он ответил — резко и коротко. Годфри отправился в кругосветное путешествие, вряд ли в этом году вернется. И больше ничего.

Я был неудовлетворен, мистер Холмс. Все это показалось мне чересчур подозрительным. Годфри славный парень, и он не поступил бы так со своим другом. Это не в его правилах. К тому же я случайно узнал, что он унаследовал кучу денег и что они с отцом не очень-то ладят друг с другом. Старик иногда придирался к

нему, но у молодого Годфри хватало выдержки не отвечать грубостью. Нет, я не был удовлетворен и решил во что бы то ни стало докопаться до истины. Однако мне пришлось срочно заняться собственными делами, пошатнувшимися за два года моего отсутствия. Только на этой неделе я смог вернуться к истории с Годфри и собираюсь заняться ей основательно.

Мистер Джеймс М. Додд, по-видимому, принадлежал к тем людям, которых лучше иметь в друзьях, чем во врагах. Взгляд его голубых глаз был тверд, а квадратная челюсть свидетельствовала о силе его характера.

— И что же вы предприняли? — спросил я.

— Прежде всего я решил побывать в его доме, в Таксберри Олд Парк, близ Бедфорда, и посмотреть, что там происходит. Мне не хотелось еще раз обращаться к его нелюбезному отцу, и я написал письмо матери. Можно сказать, предпринял настоящую лобовую атаку: Годфри, писал я, мой закадычный друг, мы много вместе пережили, и меня очень интересует его судьба, вскоре я буду поблизости, так нельзя ли мне... Ну и тому подобное. Я получил довольно дружелюбный ответ и приглашение остановиться у них на ночь. И вот в понедельник я оказался в доме Годфри.

Таксберри Олд Парк — пустынное место, в радиусе пяти миль — никаких строений. На станции не оказалось ни одного экипажа, и мне пришлось идти пешком с чемоданом в руке. Когда я добрался, было уже почти совсем темно. В большом парке я увидел огромный дом с примыкающими к нему пристройками и галереями: насколько я могу судить, смешение всех эпох и стилей, начиная от деревянного фундамента елизаветинских времен и кончая викторианским портиком. Внутри дом обшит деревянными панелями, стены увешаны гобеленами и потемневшими от времени картинами — настоящее прибежище призраков и тайн. Был там и дворецкий, старый Ральф, кажется, одного с домом возраста, и его жена, по-видимому, еще старше. Она кормила Годфри грудью, он называл ее второй матерью, так что я почувствовал к ней симпатию, несмотря на ее весьма странную внешность. Мать мне тоже понравилась — тихая маленькая женщина, похожая на серую мышку. Не понравился мне только сам полковник.

Меня провели прямо к нему в кабинет. За маленькой захламленной конторкой сидел, слегка сутулясь, гигант с кожей пепельного цвета и растрепанной седой

[illegible] нос, весь в красных прожилках, торчал [illegible] хищной птицы, серые глаза свирепо смот[illegible] кустистых бровей. Я понял, почему Годфри [illegible] говорил о своем отце.

Мы сразу же обменялись колкостями, и, вероятно, я [illegible] вернулся бы на станцию, если бы не почувствовал, что ему это на руку.

— Итак, сэр, — сказал он хриплым голосом, — я хотел бы знать истинные причины вашего визита.

Я ответил, что объяснил их в письме к его жене.

— Да, да, вы сказали, что знали Годфри в Африке. И, разумеется, мы должны верить вам на слово?

— У меня при себе его письма ко мне.

— Будьте так любезны показать их.

Я протянул ему два письма, он бегло взглянул на них и бросил мне обратно.

— Что же вы хотите?

— Я люблю вашего сына, сэр. Нас связывают узы дружбы и общие воспоминания. Меня удивило его необъяснимое молчание, и мне захотелось узнать, что с ним, — в этом нет ничего странного.

— Помнится, сэр, я уже писал вам, что он отправился в кругосветное путешествие. Африка подорвала его здоровье, и мы оба, я и его мать, считаем, что ему необходим полный покой и перемена места. Пожалуйста, так и передайте всем, кого это заинтересует.

— Конечно, — ответил я. — Но, может, вы будете так добры и скажете, на каком пароходе и по какому маршруту он отправился, а также, когда отчалил его пароход. Я хотел бы послать ему вдогонку письмо.

Моя просьба вместе озадачила и рассердила его. Он сдвинул свои густые брови и нетерпеливо забарабанил пальцами по столу. Наконец поднял глаза и посмотрел на меня взглядом шахматиста, заметившего опасный ход и начавшего прикидывать в уме, как его отразить.

— Многие сочли бы вашу дьявольскую настойчивость возмутительной дерзостью, — наконец проговорил он.

— Ее следует приписать, сэр, только моей любви к вашему сыну.

— Именно так я и понял. И все же я должен просить вас прекратить эти расспросы. В каждой семье есть свои тайны, которые прячут от чужих глаз, даже доброжелательных. Моей жене очень хочется послушать о военной жизни Годфри, и об этом вы можете ей рассказывать, но я просил бы вас не касаться ни настоящего,

ни будущего. Такие ра[illegible], сэр, ни к чему не при-[illegible], а лишь поставят вас всех в положение щекотли-[illegible] и затруднительное».

Так, мистер Холмс, я оказался в тупике. Мне ничего не оставалось, как притвориться, что я принимаю его объяснения, но про себя я дал клятву не успокаиваться, пока не выясню судьбу моего друга.

Это был тягостный вечер. Мы сидели за ужином в темной, унылой комнате, в которой время съело все краски, кроме серой. Мать настойчиво расспрашивала меня о сыне, а старик казался угрюмым и подавленным. Мне так надоело это сидение, что, как только позволили приличия, я извинился и ушел к себе в комнату. Это была большая голая комната на первом этаже, такая же мрачная, как и весь дом, но если ты год засыпал и просыпался в вельде, мистер Холмс, то не будешь особенно привередлив. Я раздвинул шторы и выглянул в сад — ночь была прекрасная, ярко светил месяц. Потом я уселся перед пылающим камином — за моей спиной на столе горела лампа — и попытался отвлечься чтением романа. Однако мое занятие прервал Ральф, старый дворецкий, который вошел в комнату с новой порцией угля.

— Я подумал, сэр, вам может не хватить угля на всю ночь. Погода очень ветреная, а в этих комнатах всегда холодно.

Он ушел не сразу: когда я повернулся, он все еще стоял, глядя на меня тоскливым взглядом.

— Прошу простить меня, сэр, но я слышал, вы говорили за столом о молодом хозяине. Знаете, сэр, моя жена кормила его грудью, и я, можно сказать, его приемный отец. Так что, вы понимаете, нам это очень интересно. Вы говорите, сэр, он держался как надо?

— Не было в полку человека более храброго, чем он. Однажды он вытащил меня прямо из-под огня. Если бы не он, по всей вероятности, я бы здесь не сидел.

Дворецкий потер свои тонкие, обтянутые старческой кожей руки.

— Да, сэр, молодой хозяин весь в этом. Он всегда был храбр. Нет в парке ни одного дерева, сэр, на которое он бы не влез. Ничто его не останавливало... Да, сэр, он был прекрасным мальчиком и прекрасным мужчиной.

Я вскочил на ноги.

— Послушайте! — закричал я. — Вы сказали «был». Вы говорите так, словно он мертв. Что значит

вся эта таинственность? Что случилось с Годфри Эмсвортом?

Я схватил старика за плечи, но он резко отпрянул от меня.

— Я не понимаю, сэр, о чем вы говорите. Спросите о господине Годфри у самого хозяина. Он знает. А мне не положено вмешиваться.

Он хотел уйти, но я удержал его за руку.

— Послушайте, — сказал я, — перед тем как уйти, вам все же придется ответить на один мой вопрос, иначе я продержу вас здесь всю ночь. Годфри жив?

Как будто загипнотизированный, он не мог отвести от меня взгляда. Ответ с трудом сошел с его губ. Он был неожиданным и таким ужасным, что меня мороз продрал по коже.

— Лучше бы Бог прибрал его! — вскричал он, вырвал свою руку и выбежал из комнаты.

Как вы понимаете, мистер Холмс, я вернулся в кресло в настроении не очень-то радостном. Мне казалось, что слова старика можно истолковать только в одном смысле. Очевидно, мой бедный друг оказался замешанным в какое-то преступление или, по крайней мере, совершил поступок, задевающий честь семьи. И суровый старик отослал сына, спрятал его от мира, чтобы избежать скандала. Годфри был доверчивым малым. Он легко подпадал под чужое влияние. Без сомнения, он связался с дурной компанией и сбился с пути. Что ж, история, достойная сожаления, но, если это и в самом деле так, я тем более должен отыскать его и помочь, чем могу. Взволнованно размышляя обо всем этом, я поднял глаза и увидел в окне... Годфри Эмсворта.

От волнения мой клиент замолчал, не в силах вымолвить ни слова.

— Прошу вас, продолжайте, — сказал я. — Ваше дело представляется мне чрезвычайно интересным.

— Он стоял за окном, прижав лицо к стеклу. Я вам уже говорил, что выглядывал в сад. При этом я не задернул шторы. Окно доходило до земли, так что в проеме вырисовывалась вся его фигура. Но я не мог оторвать взгляда от его лица. Оно было смертельно бледным — никогда ничего подобного я не видел. Думаю, так выглядят призраки; но, когда его глаза встретились с моими, я понял — это глаза живого человека. Поймав мой взгляд, он резко повернулся и исчез в темноте.

С ним случилось что-то ужасное, мистер Холмс. И дело тут не в мертвенной бледности его лица, тускло светящегося, словно головка сыра в темноте. В нем было что-то еще: что-то жалкое, потерянное, как будто виноватое… Он совсем не походил на того открытого и мужественного парня, каким я его знал. У меня сердце сжалось от ужаса. Но если ты два года, или около того, играл с бурами в смертельные игры, то научился не теряться и действовать быстро. Не успел Годфри исчезнуть, как я уже оказался у окна. Оконную задвижку заело, и я немного замешкался, открывая его. Наконец я выскочил из окна и побежал по садовой дорожке, как я полагал, в том же направлении, что и он.

Длинная дорожка была слабо освещена, но впереди явно что-то двигалось. Я бежал и бежал и звал его по имени, но все напрасно. Но вот дорожка разветвилась на несколько тропинок, которые вели к каким-то строениям. Я стоял в раздумье и вдруг ясно услышал звук хлопнувшей двери. Звук донесся не сзади, из дома, а откуда-то спереди, из темноты. Этого было достаточно, мистер Холмс, я больше не сомневался: от меня убегал не призрак, а живой Годфри, это он захлопнул дверь где-то в глубине сада.

Мне ничего не оставалось, как вернуться. Я провел нелегкую ночь, перебирая в уме случившееся и пытаясь найти объяснение всем фактам. На другой день полковник, мне показалось, был в более спокойном состоянии духа. Его жена заметила, что в окрестностях имеются достопримечательности, я решил воспользоваться этим предлогом и спросил, не помешаю ли я, если останусь еще на одну ночь. Сдержанный кивок старика предоставил мне целый день для наблюдений. Я был совершенно убежден, что Годфри скрывается где-то поблизости, но где и почему — эта загадка требовала разрешения.

Дом был такой большой и так беспорядочно построен, что в нем можно было спрятать целый полк и никто бы ничего не заметил. Если тайное убежище находится в доме, найти его будет нелегко. Но звук хлопнувшей двери донесся явно не отсюда, значит, надо осмотреть сад. Сделать это было нетрудно: старики занялись своими делами и предоставили меня самому себе.

В саду было несколько небольших строений, но в самом конце, в уединенном месте, стоял флигель — судя по размерам, не сторожка и не домик лесника. Не здесь ли ночью хлопнула дверь? Бродя по саду с самым

беззаботным видом, как будто бесцельно, я приблизился к флигелю. И тут же в дверях появился невысокого роста шустрый человечек с бородкой, одетый в черное пальто и котелок, ничуть не похожий на садовника. К моему удивлению, он запер за собой дверь, а ключ положил в карман. Потом вопросительно взглянул на меня.

— Вы здесь в гостях?

Я объяснил ему, что я друг Годфри, и добавил:

— Жаль, что он путешествует. Он был бы так рад повидаться со мной!

— Совершенно верно, совершенно верно, — отозвался человечек с несколько виноватым видом. — Но ведь вы можете приехать еще раз, в более благоприятное время.

Он прошел мимо меня, но когда я обернулся, то увидел, что он стоит, спрятавшись за кустами лавровишни, и наблюдает за мной.

Проходя мимо флигеля, я внимательно осмотрел его, но не заметил ничего особенного. На окнах висели тяжелые шторы, и, судя по всему, внутри никого не было. Я боялся испортить всю игру — меня могли попросить удалиться, если бы я действовал слишком дерзко: я чувствовал, что за мной все еще наблюдают. Поэтому я вернулся домой и стал дожидаться вечера, чтобы продолжить свое расследование. Когда наконец стемнело и все вокруг затихло, я выскользнул в окно и, крадучись, направился к таинственному жилищу. Я уже говорил, что на окнах висели тяжелые шторы. Однако мне повезло, потому что на одном окне шторы были задернуты неплотно и можно было заглянуть внутрь. Я увидел довольно уютную комнату, ярко освещенную, с весело горящим камином. Напротив меня сидел невысокий человек с бородкой, которого я встретил утром. Он курил и читал газету.

— Какую именно? — спросил я.

Моему клиенту, по-видимому, не понравилось, что я прервал его.

— Это имеет какое-нибудь значение?

— Весьма существенное.

— Я не обратил внимания.

— Может быть, вы все же заметили, это была газета большого формата или типа обычного еженедельника?

— Скорее последнее. Вполне возможно, что это был

«Наблюдатель». Признаться, однако, мне не пришло в голову вникать в такие подробности, потому что спиной к окну сидел еще один человек, и этот человек, готов поклясться, был Годфри. Лица его я не видел, но узнал знакомый наклон плеч. Он сидел в позе глубокой задумчивости, опираясь на локоть и повернувшись лицом к огню. Я раздумывал, что мне следует предпринять, как вдруг почувствовал резкий удар по плечу — за мной стоял полковник Эмсворт.

— Идемте, сэр! — сказал он тихим голосом.

Мы молча вошли в дом, он сразу проследовал в мою комнату, я — за ним. Проходя через гостиную, он взял со столика расписание.

— Поезд в Лондон отправляется в восемь тридцать, — сказал он. — Экипаж будет у дверей ровно в восемь. — Он был бледен от ярости, а я чувствовал себя так неловко, что едва мог произнести несколько нечленораздельных извинений, ссылаясь на беспокойство о моем друге. — Вопрос не подлежит обсуждению, — резко продолжал он. — Вы чертовски бестактно вторглись в частную жизнь нашей семьи. Вас приняли здесь как гостя, а вы оказались шпионом. Мне нечего вам сказать, сэр, разве только то, что я не желаю вас больше видеть.

Тут, мистер Холмс, я взорвался и сказал, может быть, с излишней горячностью:

— Я видел вашего сына, сэр, и убежден, что вы скрываете его по каким-то собственным причинам. Я не представляю, по каким, но уверен, что он не волен распоряжаться собой. Предупреждаю вас, полковник Эмсворт, до тех пор, пока я не буду убежден в безопасности и благополучии моего друга, я не оставлю своих попыток докопаться до сути и, конечно, не позволю запугать себя, что бы вы ни говорили и как бы ни поступали.

Старик разозлился как дьявол, я подумал даже, что он хочет наброситься на меня. Я уже говорил, что он был высок, жилист, довольно свирепого вида, и, хотя я тоже не из слабых, устоять против него было бы, наверно, нелегко. Однако, посмотрев на меня долгим, полным ярости взглядом, он повернулся на каблуках и вышел. А я сел на утренний поезд с твердым намерением прямо с вокзала отправиться к вам, чтобы просить вашего совета и помощи, о чем я и написал в письме.

Вот такую проблему поставил передо мной мой посе-

титель. Она представлялась мне, как уже, вероятно, догадался проницательный читатель, не слишком сложной, ибо число решений было в данном случае весьма ограниченно. Тем не менее в ней есть новизна и несколько весьма интересных моментов; этим и объясняется, почему я предлагаю эту историю вниманию читателей. Оставалось только, следуя методу логического анализа, как можно больше сузить выбор возможных решений.

— А слуги? — спросил я. — Сколько в доме слуг?

— Насколько мне известно, только старый дворецкий и его жена. Мне показалось, они ведут самый простой образ жизни.

— Значит, в том флигеле, в конце сада, нет слуги?

— Нет, если только его обязанности не выполняет человек с бородкой. Хотя, пожалуй, к слугам его не отнесешь.

— Это наводит на определенную мысль. Скажите, вы не заметили случайно, не носят ли во флигель из дома пищу?

— Теперь, когда вы об этом спросили, я припоминаю, что действительно видел, как старый Ральф шел по направлению к тому дому с корзиной в руках. Но мысль, что в корзине еда, просто не пришла мне в голову.

— Там, на месте, вы не наводили никаких справок?

— А как же? Я разговаривал с начальником станции и с хозяином деревенской гостиницы. Я просто спросил их, не знают ли они что-нибудь о моем старом друге Годфри Эмсворте. Оба они ответили с полной определенностью, что он в кругосветном путешествии. Да, он приехал домой, но почти сразу же уехал опять. По-видимому, там все в этом убеждены.

— Вы ничего не сказали им о своих подозрениях?

— Ничего.

— Вы поступили очень мудро. Случай, без сомнения, требует расследования. Я сам поеду с вами в Таксберри Олд Парк.

— Прямо сегодня?

Случилось, однако, так, что в это время я занимался делом о монастырской школе, которое позднее описал мой друг Уотсон; в нем был замешан герцог Греймминстер. Затем я имел поручение от турецкого султана, требующее немедленных действий, иначе грозили серьезные политические осложнения. Так что в Бедфордшир, как свидетельствует запись в моем дневнике, я отпра-

вместе с мистером Джеймсом М. Доддом, только в начале следующей недели. В Юстоне мы захватили молчаливого джентльмена важного, если не сказать сурового, вида, с которым у меня была предварительная договоренность.

— Это мой старый друг, — сказал я Додду. — Возможно, его присутствие окажется и ненужным, но может случиться и наоборот. На этой стадии расследования рано вдаваться в подробности.

Рассказы Уотсона, без сомнения, приучили читателя к тому, что, пока дело не раскрыто, я не говорю лишних слов и никому не открываю своих мыслей. Додд, кажется, удивился, но ничего не сказал, и мы продолжали поездку втроем. В поезде я задал Додду еще один вопрос — мне хотелось, чтобы ответ на него услышал наш спутник.

— Так вы говорите, что видели в окне лицо вашего друга так отчетливо, что ни на секунду не усомнились, он ли это?

— Да, сомнений на этот счет у меня не возникло. Он прижимался лбом к стеклу, и свет от лампы падал прямо на него.

— А не мог это быть кто-нибудь похожий на него?

— Нет, нет, это был он.

— Но вы сказали, что он изменился.

— Изменился только цвет лица. Оно стало таким белым... Как бы это сказать? Ну, как чешуя на рыбьем брюхе. Оно словно бы обесцветилось.

— Все лицо было белым?

— Больше всего лоб. Я это хорошо заметил.

— Вы окликнули его?

— Какое-то мгновение я был просто ошарашен. Потом побежал за ним, как я уже говорил вам, но безрезультатно.

Дело было фактически завершено. Оставался только один невыясненный момент.

После довольно долгого путешествия мы остановились у старого, на редкость нелепого по своей архитектуре дома, который описал мой клиент. Дверь открыл Ральф, старый дворецкий. Я нанял экипаж на весь день и попросил моего друга остаться в экипаже, пока мы его не позовем. Ральф, маленький старый морщинистый человечек, был в обычном для слуг костюме — черный пиджак и серые брюки, — но с одним странным дополнением. На нем были коричневые кожаные перчатки, ко-

торые при виде нас он машинально снял и положил на столик в передней. Мой друг Уотсон, кажется, уже говорил, что мне свойственна необычайная острота органов чувств, и сейчас я явственно уловил слабый, но характерный запах. Мне показалось, он исходил со столика. Я повернулся, положил на него свою шляпу, потом как бы нечаянно смахнул ее на пол и наклонился за ней так, что мой нос почти уткнулся в перчатки. Острый, своеобразный запах дегтя исходил, несомненно, от них. Словом, когда я вошел в кабинет, мне было все предельно ясно.

Увы! Когда сам рассказываешь свои истории, не можешь утаить от читателя ни одной детали. А ведь именно сокрытие некоторых звеньев в цепи расследования помогало Уотсону создавать свои эффектные концы.

Полковника Эмсворта в комнате не было, но он появился сразу после доклада Ральфа о нас. Сначала мы услышали быстрые, тяжелые шаги, потом дверь широко распахнулась, и он ворвался в комнату с развевающейся бородой и искаженным от злобы лицом. Вид старика был ужасен. В руке он сжимал наши визитные карточки, которые тут же порвал на кусочки и растоптал ногами.

— Разве я не сказал тебе, дерзкий проныра, чтобы ты оставил мой дом? Что я не желаю видеть у себя твоей мерзкой физиономии? Если еще когда-нибудь ты войдешь сюда без моего разрешения, тебе несдобровать! Я застрелю тебя! Бог свидетель, застрелю! А что до вас, сэр (он повернулся ко мне), мое предупреждение относится и к вам. Мне известна ваша подлая профессия, но вам лучше приложить ваши хваленые таланты где-нибудь в другом месте. Здесь в них не нуждаются!

— Я не уйду отсюда до тех пор, пока не услышу из уст самого Годфри, что его не держат здесь насильно, — твердо заявил мой клиент.

Наш — поневоле — хозяин позвонил в колокольчик.

— Ральф, — сказал он, — телефонируйте в полицию и попросите инспектора прислать сюда двух констеблей. Скажите ему, в доме грабители.

— Минуточку, — вмешался я. — Вы, вероятно, понимаете, мистер Додд, что полковник Эмсворт прав, и по закону мы не имеем права находиться в его доме. С другой стороны, он не может не признать, что ваши действия вызваны исключительно беспокойством за его сына. Смею надеяться, если мне будет позволено иметь

пятиминутный разговор с полковником Эмсвортом, он изменит свою точку зрения. Я совершенно в этом убежден.

— Я не так-то легко меняю свои мнения, — ответил старый солдат. — Ральф, делайте то, что я велел. Какого черта вы ждете? Звоните в полицию!

— Ни в коем случае! — сказал я. — Вмешательство полиции приведет к той самой катастрофе, которой вы страшитесь более всего. — Я вытащил записную книжку и, вырвав страничку, написал на ней одно-единственное слово. — Вот что привело нас сюда, — продолжал я, вручая листок полковнику Эмсворту.

Потрясенный, он не мигая смотрел на написанное.

— Как вы узнали? — спросил он, тяжело опускаясь в кресло.

— Это мое ремесло. Я зарабатываю им свой хлеб.

Полковник сидел в глубокой задумчивости, его длинные руки теребили растрепанную бороду. Наконец он покорно махнул рукой.

— Хорошо. Если вы желаете видеть Годфри, вы его увидите. Но пеняйте потом на себя, вы сами принудили меня к этому. Ральф, передайте мистеру Годфри и мистеру Кенту, что через пять минут мы будем у них.

Мы прошли по дорожке и через пять минут оказались перед таинственным флигелем в конце сада. Бородатый человек невысокого роста стоял в дверях с выражением глубокого удивления.

— Что вы делаете, полковник Эмсворт? Это расстроит все наши планы.

— У меня нет выбора, мистер Кент. Нам придется подчиниться. Мистер Годфри может принять нас?

— Да, он вас ждет.

С этими словами он повернулся и ввел нас в большую, скромно обставленную переднюю. Перед камином спиной к огню стоял человек, к которому мой клиент бросился с распростертыми объятиями:

— Годфри, старина, какое счастье!

Но тот отстранил его.

— Не прикасайся ко мне, Джимми. И не подходи. Стой, где стоишь. Ты удивлен? Ну что, похож я на Годфри Эмсворта, бравого кавалериста, а?

Его внешность и вправду была необычной. Видно было, конечно, что это красивый мужчина с правильны-

ми чертами лица, загоревший под африканским солнцем, но лицо его было испещрено белыми пятнами неправильной формы. Как будто чем-то обесцвеченные, эти пятна резко выделялись на загорелой коже.

— Вот почему я не принимаю посетителей, — сказал он. — Я ничего не имею против тебя, Джимми, но без твоего друга можно было бы и обойтись. Причина его появления, полагаю, вполне уважительная, но вы застали меня врасплох.

— Я должен был увериться, что с тобой все в порядке, Годфри. Я видел тебя в ту ночь, помнишь, ты заглянул в мое окно? И я не мог отступиться, не выяснив, в чем дело.

— Старый Ральф сказал мне, что ты в доме, и мне так захотелось взглянуть на тебя. Я надеялся, что ты меня не увидишь, но, услышав, как открывается окно, я бросился со всех ног в мою нору.

— Но что все это значит, черт побери?

— Ну что ж, — сказал он, закуривая, — мой рассказ не займет много времени. Ты помнишь утренний бой у Баффелсспрут, под Преторией, на Восточной железной дороге? Ты, наверное, слышал, что там меня задела пуля?

— Да, слышал, но подробностей так и не смог узнать.

— Мы трое — Симпсон, его еще называли Плешивый Симпсон, Андерсон и я — оказались отрезанными от своих. Если ты помнишь, местность там очень холмистая. Мы уже оттеснили буров, но один из них залег в низине и обстрелял нас. Симпсон и Андерсон были убиты, а я получил в плечо пулю из крупнокалиберной винтовки. Однако мне удалось удержаться в седле, лошадь несла меня несколько миль, но в конце концов я потерял сознание и свалился с седла.

Очнулся я под вечер и, несмотря на слабость и боль, заставил себя подняться на ноги. К своему удивлению, я увидел поблизости довольно большой дом с широкой верандой и множеством окон. Было очень холодно. Ты помнишь тот цепенящий холод, который опускается там вечерами? Смертельный, пронизывающий холод, совсем не похожий на наш здоровый бодрящий морозец. Я промерз до костей, и моей единственной надеждой на спасение стал этот дом. Я потащился к нему, шатаясь на подгибающихся ногах и плохо сознавая, что делаю. Смутно помню, как поднялся по ступенькам,

вошел в широко распахнутую дверь, прошел в большую комнату, в которой стояло несколько кроватей, и со вздохом удовлетворения упал на одну из них. Она была неубрана, но мне было все равно. Дрожа от холода, я натянул на себя одеяло и через мгновение уснул глубоким сном.

Когда я проснулся, было уже поздно, но мне показалось, что я во власти какого-то страшного ночного кошмара. Палящее солнце потоком лилось в большие, без штор, окна, безжалостно высвечивая каждый закуток огромной, голой, отмытой до белизны спальни. Передо мной стоял маленький, похожий на кролика человечек с огромной расширяющейся кверху головой; он возбужденно бормотал что-то по-голландски и размахивал руками — я содрогнулся: кисти его рук походили на две коричневые ноздреватые губки. За ним толпилась небольшая кучка людей, которых эта ситуация, должно быть, чрезвычайно забавляла. Но когда я разглядел их, мороз пробежал у меня по коже. Среди них не было ни одного нормального человеческого существа. Скрюченные, распухшие, изуродованные самым непостижимым образом... Ужасно было слышать смех этих странных созданий.

Никто из них, по-видимому, не говорил по-английски, и ситуация становилась затруднительной: человечек с большой головой сердился все сильнее. Издавая дикие, животные крики, он схватил меня своими культями и стал вытаскивать из кровати, хотя из моей раны снова хлынула кровь. Маленький уродец был силен как бык, и я не знаю, что бы он со мной сделал, если бы на шум не явился пожилой человек, по-видимому, облеченный властью. Он строго сказал несколько слов по-голландски, и мой мучитель отпрянул от меня. Затем повернулся ко мне с выражением неописуемого удивления на лице.

— Как вы, собственно, здесь оказались? Постойте! Я вижу, вы ранены и нуждаетесь в помощи. Я врач и сейчас перевяжу вас. Но черт возьми! Здесь вы гораздо в большей опасности, чем на поле битвы. Вы в больнице для прокаженных и проспали ночь в постели больного.

Что еще можно к этому добавить, Джимми? Оказалось, что за день до предстоящей битвы все эти несчастные были эвакуированы. А когда английские войска продвинулись вперед, их вернули обратно. Врач поселил

меня в отдельной комнате, был очень добр ко мне и примерно через неделю отправил в Преторию, в обычную больницу. Как-то он обронил, что, хотя у него иммунитет к этой болезни — во всяком случае, он так считает, — все же он никогда не рискнул бы сделать то, что сделал я.

Теперь ты знаешь мою трагедию. Я переходил от надежды к отчаянию. Вернувшись домой, я скоро заметил на лице эти ужасные пятна — знак того, что я не избежал страшной участи. Что было делать? Дом наш стоит в уединенном месте. У нас всего двое слуг, на которых можно полностью положиться. Мистер Кент, врач по профессии, дав слово хранить тайну, согласился пожить со мной. Все, казалось, устроилось. Ведь альтернатива для меня была ужасна: пожизненная изоляция среди чужих людей без всякой надежды на освобождение. Но нам приходилось соблюдать строжайшую тайну. Ведь даже в этом тихом захолустье поднялись бы протесты, узнай соседи, что под боком у них — прокаженный. Даже от тебя, Джимми, я должен был прятаться. Даже от тебя. Не понимаю, что заставило отца пойти на этот рискованный шаг.

Полковник Эмсворт указал на меня.

— Вот джентльмен, который вынудил меня к этому. — И он развернул листок бумаги, на котором я написал только одно слово: «Проказа». — Если уж он знает главное, то пусть знает все.

— Очень разумно, — сказал я. — К тому же, может, дело обстоит еще не так плохо. Насколько я понимаю, больного наблюдает только доктор Кент. Позвольте вас спросить, сэр: вы хорошо знаете заболевания тропических и полутропических стран?

— В этой области у меня обычные знания образованного медика, — довольно сухо ответил тот.

— Не сомневаюсь в вашей компетенции, сэр, но уверен, вы согласитесь, что в таких случаях полезно выслушать еще чье-нибудь мнение. Я понимаю, вы боялись, что специалист может настоять на изоляции вашего пациента.

— Да, это так, — сказал полковник Эмсворт.

— Я предвидел это и привез с собой врача, на скромность которого можно положиться, — сказал я. — Когда-то я оказал ему профессиональную услугу, и он согласился приехать сюда скорее как друг, чем как специалист. Его имя Джеймс Саундерс.

Перспектива встречи с лордом Робертсом[1] не вызвала бы столько радостного волнения в рядах младших офицеров, как возможный визит сэра Джеймса.

— О, это величайшая честь! — воскликнул доктор Кент.

— Тогда давайте пригласим сюда сэра Джеймса. Он ожидает в экипаже. А мы тем временем вернемся к вам в кабинет, чтобы я дал необходимые пояснения.

Как мне не хватало моего Уотсона! Каверзными вопросами и удивленными восклицаниями он возвел бы мое простое искусство, которое есть не что иное, как обобщение и анализ реальных фактов, в ранг чуда. Но когда я сам рассказываю свои истории, помощи ждать неоткуда. И все-таки я повторю ход моих мыслей, как я изложил его перед той маленькой аудиторией, что собралась — включая и мать Годфри — в кабинете полковника Эмсворта.

— Всякое расследование, — сказал я, — зиждется на аксиоме: исключите все невозможное, а то, что останется, и есть правда, какой бы невероятной она ни казалась. Вполне возможно, что вы получите несколько версий, тогда надо тщательно взвесить каждую и остановиться на одной — наиболее убедительной. Она и будет искомым ответом. Теперь применим этот метод к нашему случаю.

С самого начала мне было ясно, что существуют три возможные причины заточения этого джентльмена в родительском доме, точнее, в двух шагах от него. Первая: он совершил преступление и скрывается; вторая: он повредился в уме, но родители не хотят отдавать его в сумасшедший дом. И последняя: он болен болезнью, которая требует его изоляции. Никаких других достаточно убедительных объяснений я придумать не мог. Теперь оставалось только тщательно проанализировать все факты.

Вопрос о преступлении отпадал. В газетах последнее время не было ни одного сообщения о нераскрытом преступлении. В этом я был уверен. Если же преступление еще не обнаружено, то в интересах семьи виновного, несомненно, отправили бы за границу, а не прятали дома. Никакой логики в этом я не видел.

Более вероятной причиной было сумасшествие. При-

[1] Фредерик Робертс (1832—1914) — верховный главнокомандующий английской армией во время англо-бурской войны.

сутствие второго человека во флигеле наводило на мысль о надзирателе. Тот факт, что, выйдя из дому, он запер за собой дверь, как будто подтверждал мысль о принудительном заключении. С другой стороны, заключение было, по-видимому, не очень строгим, иначе молодой человек не смог бы выйти посмотреть на своего друга. Помните, мистер Додд, я настойчиво вас спрашивал, что читал мистер Кент. «Ланцет» у него в руках говорил бы об одном, а «Британский медицинский вестник» — совсем о другом. Далее, известно, что при квалифицированном медицинском надзоре и уведомлении медицинских служб закон разрешает держать психически больных дома. Для чего же тогда эти отчаянные попытки конспирации? И снова я не мог придумать никакой теории, которая объединила бы эти факты.

Третья версия, какой бы невероятной она ни казалась, объясняла все. Проказа — явление, нередкое в Южной Африке. При каких-то исключительных обстоятельствах молодой человек мог заболеть ею. Его родители оказались в отчаянном положении: ведь они, естественно, хотели уберечь сына от изоляции. Чтобы помешать распространению слухов и последующему вмешательству властей, нужно было соблюдать строжайшую секретность. За хорошую плату они без труда нашли врача, который взял на себя заботу о страдальце. Легко объяснялись тогда и прогулки молодого человека в темноте, и белесые пятна, обезобразившие лицо. Словом, третья версия была самой вероятной, и я решил действовать так, как будто моя догадка полностью подтвердилась. И вскоре она действительно подтвердилась.

Когда мы вошли в ваш дом, я заметил, что Ральф в перчатках и что они смочены дезинфицирующим раствором. Тут уж у меня не осталось никаких сомнений. Единственное слово, которое я написал на листке бумаги, показало вам, сэр, что ваш секрет раскрыт. А то, что я не произнес его вслух, должно было уверить вас, что я заслуживаю доверия.

Я уже завершал свой рассказ, когда в дверях появилась строгая фигура великого дерматолога. Но на этот раз его застывшие, как у сфинкса, черты лица смягчились, а в глазах светилось живое человеческое участие. Он подошел к полковнику Эмсворту и пожал ему руку.

— Моя участь — увы — чаще приносить печальные известия, чем хорошие, — сказал он. — Но вас я могу порадовать. Это не проказа.

— Что?!

— У вашего сына псевдопроказа, или ихтиозия — довольно известное кожное заболевание, внешне напоминающее проказу. Неприятное на вид, трудноизлечимое, но все-таки излечимое и, конечно, незаразное. Да, мистер Холмс, совпадение удивительное. Но дело не только в совпадении. Не есть ли это работа особых сил нашего организма, о которых мы еще так мало знаем? Можно предположить, что мрачные предчувствия, которые, без сомнения, мучили молодого человека, произвели в его организме некое физическое действие, и он заболел болезнью, которая внешне как две капли воды похожа на страшный недуг. Ручаюсь своей профессиональной репутацией... О, леди потеряла сознание! Думаю, мистеру Кенту лучше побыть возле нее. Она скоро придет в себя, от радости не умирают.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В СТАРОМ ШОСКОМСКОМ ПОМЕСТЬЕ

Долгое время Шерлок Холмс, не разгибаясь, сидел за старым микроскопом. Но вот он выпрямился и с победоносным видом посмотрел в мою сторону.

— Клей, Уотсон! — воскликнул он. — Тут и вопроса нет. Поглядите сами!

Я наклонился над окуляром и сфокусировал изображение.

— Волоски, которые вы видите, — пояснил Холмс, — это нити от твидового пиджака. Серые комочки неправильной формы — пыль. Чешуйки слева — эпителий. А коричневые пятна в центре — несомненно, клей.

— Хорошо, — рассмеялся я, — охотно верю вам. Но что это доказывает?

— Очень многое, — ответил он. — Помните Сент-Панкрасское дело? Рядом с убитым полисменом нашли кепку. Обвиняемый отрицает, что она принадлежит ему. Но он занимается изготовлением багетов, и ему постоянно приходится иметь дело с клеем.

— Это что, ваше очередное дело?

— Нет, мой друг Мериваль из Скотленд-Ярда попросил меня им помочь. С тех пор как я разоблачил крупного фальшивомонетчика, обнаружив в шве его манжеты цинковую и медную пыль, они начали понимать, насколько важен микроскоп для сыщика.

Холмс озабоченно посмотрел на часы:

— Я жду одного клиента, но он что-то запаздывает. Кстати, Уотсон, вы разбираетесь в скачках?

— По крайней мере, должен. Ведь я трачу на них чуть не половину своей пенсии по ранению.

— Прекрасно. Тогда вы будете моим «Путеводителем в мире скачек». Сэр Роберт Норбертон. Это имя вам о чем-нибудь говорит?

— Конечно. Он живет в Старом Шоскомском поместье. Я это знаю, потому что одно лето провел по соседству с ним. Между прочим, Норбертон мог однажды попасть в поле вашего зрения.

— Каким образом?

— Он отстегал кнутом известного ростовщика с Керзон-стрит Сэма Бруера — на пустыре под Ньюмаркетом[1]. Чуть не засек его до смерти.

— А-а, это уже интересно! И часто он себе такое позволяет?

— Трудно сказать, но вообще-то за ним ходит дурная слава. В Англии он считается, пожалуй, самым отчаянным наездником — всего несколько лет назад занял второе место в «Гранд нэшнл»[2]. Один из тех людей, которые опоздали родиться. Таким, как он, впору бы жить в годы Регентства[3] — боксер, атлет, сорит деньгами на бегах, ухаживает за прекрасными дамами и, по общему мнению, позволяет себе экстравагантные выходки, каких свет не видывал.

— Браво, Уотсон. Всего несколько фраз, и я словно вижу его перед собой. А сейчас, не могли бы вы вкратце рассказать о Старом Шоскомском поместье?

— Тут и рассказывать нечего, разве что стоит оно в Шоскомском парке и славится своим конным заводом и манежем.

— А старший тренер там, — заметил Холмс, — Джон Мейсон. Не удивляйтесь моей осведомленности, Уотсон. Дело в том, что он-то и есть тот самый человек, чье письмо я сейчас держу в руках. Но давайте еще немного поговорим о Шоскомском поместье. Похоже, я вышел на след.

— Поместье славится еще спаниелями. Без них не обходится ни одна собачья выставка. Шоскомская порода — самая уникальная во всей Англии, предмет особой гордости хозяйки Старого Шоскомского поместья.

— Вы имеете в виду жену сэра Роберта Норбертона?

— Сэр Роберт никогда не был женат. Что не так

---

[1] Город в Юго-Восточной Англии, поблизости от которого расположен большой ипподром.

[2] Крупнейшие скачки с препятствиями, проводятся каждую весну близ Ливерпуля.

[3] Период правления принца-регента в Англии (1811—1820).

уж плохо при его взглядах. Живет он вместе со своей вдовой сестрой, леди Беатрис Фолдер.

— То есть она живет у него?

— Нет, нет. Поместье принадлежало ее покойному мужу, сэру Джеймсу. Норбертон не имеет на него никаких прав. Леди Беатрис владеет им пожизненно, затем оно переходит к брату ее мужа. Пока что, однако, она исправно получает ежегодную ренту.

— Каковую, полагаю, братец Роберт столь же исправно транжирит!

— По-видимому, так оно и есть. При его крутом нраве ей с ним приходится несладко. Тем не менее, как я слышал, она предана ему всей душой. Но что, собственно, там в Шоскомском поместье произошло?

— Это как раз я и сам хочу узнать, Уотсон. А вот и тот человек, который, надеюсь, нам все расскажет.

Дверь при этих словах отворилась, и слуга пропустил в комнату высокого, гладко выбритого мужчину с твердым и властным выражением лица, какое бывает лишь у тех, кто привык иметь дело с лошадьми или мальчишками. Под началом мистера Джона Мейсона всегда было немало и тех и других, и его облик вполне этому соответствовал. Поклонившись с холодной учтивостью, он сел лишь после того, как Холмс жестом указал ему на стул.

— Вы получили мою записку, мистер Холмс?

— Да, но она ничего не объясняет.

— Дело слишком деликатное, чтобы можно было доверить его бумаге. И слишком запутанное. Поэтому я и просил о личной встрече с вами.

— Что ж, мы к вашим услугам.

— Прежде всего, мистер Холмс, я думаю, что мой хозяин, сэр Роберт, сошел с ума.

Холмс удивленно поднял брови.

— Вы не ошиблись адресом? Это все же не Харли-стрит[1], а Бейкер-стрит. Но почему вы поставили такой диагноз?

— Судите сами, сэр. Когда человек совершает один чудной поступок или два, еще можно найти какое-то объяснение, но когда все, что он делает, не лезет ни в какие ворота, поневоле начинаешь задумываться. Я так считаю: у него помутился разум из-за Принца, ну и, конечно, из-за Дерби[2].

[1] Улица в Лондоне, где находятся приемные известных врачей.

[2] Крупнейшие ежегодные скачки трехлеток на ипподроме близ Лондона по имени графа Дерби.

— Принц — это жеребец, которого вы заявили?
— Равного ему нет во всей Англии, мистер Холмс. Уж на меня-то в этом можно положиться. Буду с вами до конца откровенным. Я знаю, вы оба настоящие джентльмены и то, что я собираюсь вам рассказать, не выйдет за пределы этих стен. Сэр Роберт должен выиграть Дерби. Он по уши в долгах — и это его последний шанс. Все, что он сумел наскрести или одолжить, поставлено на Принца. И ставки, скажу я вам, прекрасные! Сейчас идет от сорока до пятидесяти к одному, а сначала было почти сто к одному.
— А почему ставки стали падать, если лошадь и впрямь так хороша?
— Но публике-то это неизвестно. Сэр Роберт перехитрил всех. Вместо Принца на разминку выводили его брата. По виду их не отличишь друг от друга, но пустите обоих галопом — и Принц обойдет его на два корпуса уже на первых двухстах метрах. Сэр Роберт прямо помешался на своей лошади и на этих скачках. От них зависит вся его жизнь. Ведь от своих евреев он получил отсрочку только до окончания Дерби. Если Принц его подведет, всему конец.
— Да, игра, похоже, идет отчаянная, но где тут сумасшествие?
— Вы только посмотрите на него. Он перестал спать. Когда ни придешь — торчит возле своего Принца. Взгляд дикий. Нервы напряжены до предела. А как он ведет себя с леди Беатрис!
— Как именно?
— Всю жизнь они были в самых дружеских отношениях. У них обоих одни и те же вкусы, и лошадей она обожала всегда, как и брат. Каждый день, в один и тот же час, приезжает, бывало, взглянуть на своих красавцев. А уж о Принце-то и говорить нечего. Тот, как заслышит утром скрип колес по гравию, сразу уши навострит и рысью к ее экипажу, чтоб получить свой кусочек сахару из рук хозяйки. И вдруг все переменилось.
— Каким образом?
— Похоже, она потеряла к лошадям всякий интерес. Уже неделю как проезжает мимо конюшни и «Доброе утро!» не скажет.
— Думаете, у них с братом ссора?
— Притом, видно, страшная, жестокая, можно сказать, смертельная ссора. Иначе с чего бы это ему отда-

вать в чужие руки ее любимого спаниеля? Он же был ей вместо дитяти родного. А тут несколько дней назад сэр Роберт взял и отдал его старику Барнсу, хозяину гостиницы «Зеленый дракон», что в Грендалле, в трех милях от нас.

— В самом деле, странно, — заметил Холмс.

— Конечно, — продолжал Мейсон, — у нее больное сердце и водянка, так что никто и не ждал, что они будут целыми днями вместе. Но каждый вечер он пару часов проводил у нее в комнате. Сестра всегда была ему верным другом, ни в чем ему не перечила. И вдруг как отрезало. Он к ней даже не подходит. Она, понятно, переживает, замкнулась в себе, молчит, даже начала пить. Да, мистер Холмс, пьет и очень много.

— А до этой ссоры не пила?

— Так, стаканчик-другой по случаю. А теперь бывает, что и целую бутылку за вечер. Мне это Стивенс, дворецкий, говорил. Да, все переменилось, мистер Холмс, и это мне чертовски не нравится. И потом, что, спрашивается, хозяину делать по ночам в старом церковном склепе? С кем он там встречается?

Холмс в нетерпении потер ладони.

— Продолжайте, мистер Мейсон. Это становится все более интересным.

— Первые ночные прогулки хозяина заметил дворецкий. Как-то ночью, несмотря на проливной дождь, сэр Роберт оделся и, никому ничего не сказав, куда-то ушел. На другой вечер я остался в доме с дворецким. Ровно в полночь сэр Роберт опять отправился на прогулку. Мы со Стивенсом крадучись двинулись за ним — нелегкое предприятие, доложу я вам. Не дай Бог он бы обнаружил нас. Нрав у хозяина бешеный. Если взорвется, измолотит своими кулачищами, даже не посмотрит, кто перед ним. Так что мы держались на расстоянии, но все равно видели все. Он подошел к склепу — там его кто-то поджидал.

— Что это за склеп? — поинтересовался Холмс.

— У нас в парке, сэр, стоит часовня. Такая старая, что никто точно не знает, когда ее построили. Под ней фамильный склеп, в округе о нем ходит дурная слава. Место сырое, темное, глухое — даже днем. А уж ночью-то мало кто отважится туда войти. Но сэр Роберт ничего не боится. Всю жизнь так. Только что ему там делать по ночам?

— Погодите-ка! — воскликнул Холмс. — Вы говорите, что его поджидал какой-то человек. Это наверняка слуга из ваших конюхов или кто-то из домашней прислуги! Вам надо только опознать его и потом обо всем расспросить.

— Этот человек мне не знаком.

— Вы это знаете наверняка?

— Я его видел, мистер Холмс. Той же ночью. Сэр Роберт первым прошел мимо нас, меня и Стивенса. Мы сидели в кустах и дрожали, как два трусливых кролика. Вдруг заметит, ночь-то лунная. Слышим, следом идет этот другой. Его мы не боялись, и когда сэр Роберт скрылся из виду, вышли из кустов и сделали вид, что просто прогуливаемся под луной. Приблизились к нему как ни в чем не бывало, вроде случайно столкнулись. Я ему и говорю: «Привет, старина! Вы кто будете?» Он наверняка не слышал, как мы подошли, потому что взгляд у него был такой, будто увидел самого дьявола. Он вскрикнул и со всех ног бросился прочь. Как только голову не сломал в темноте. Да, бегает он хоть куда, этого у него не отнимешь. Через минуту его и след простыл. Кто он и что за человек, так мы и не узнали.

— Но зато вы смогли хорошо разглядеть его при лунном свете?

— Да. Клянусь Богом, у него желтое лицо! Презренный пес. И что у него может быть общего с сэром Робертом?

Холмс надолго задумался.

— А компаньонка у леди Беатрис есть? — наконец произнес он.

— При ней постоянно ее горничная Кэрри Эванс, она в доме уже пять лет.

— И, без сомнения, предана ей?

Мистер Мейсон беспокойно заерзал.

— Да, предана, — промолвил он после некоторой заминки. — Но не стану уточнять, кому именно.

— Вот как! — воскликнул Холмс.

— Не люблю, знаете ли, зря болтать.

— Понимаю, мистер Мейсон. Ситуация в общем ясна. Из описания сэра Роберта, которое дал мне доктор Уотсон, я вправе заключить, что в его присутствии ни одна женщина не может чувствовать себя в безопасности. Не считаете ли вы, что ссора между братом и сестрой могла возникнуть именно на этой почве?

— Не думаю, ведь о скандальной связи со служанкой знали уже давно.

— Но его сестра, возможно, ничего не замечала. Предположим, она неожиданно узнала об этом и решила избавиться от горничной. Брат, естественно, воспротивился. Бедная женщина с больным сердцем, прикованная к креслу, не имеет сил настоять на своем. Ненавистная служанка по-прежнему остается при ней. Тогда леди Беатрис замыкается в себе, начинает пить. Назло ей сэр Роберт отдает чужому человеку ее любимого спаниеля. Разве все это не звенья одной цепи?

— Ну, может, и так — если смотреть с одной стороны.

— Вот именно! Если с одной стороны. А если с другой? Какое касательство ко всему этому имеют еженощные посещения старого склепа? Что-то не получается с цепью, а?

— Да, не получается, сэр. Но есть и еще кое-что. Зачем, скажем, сэру Роберту понадобилось выкапывать мертвое тело?

Холмс резко выпрямился.

— Мы узнали об этом только вчера, уже после того, как я вам написал. Хозяин как раз уехал в Лондон, и мы со Стивенсом решили спуститься в склеп. Там, мистер Холмс, все было в порядке, если не считать того, что в одном углу лежали останки человеческого тела.

— Полагаю, вы тут же уведомили полицию?

Наш посетитель мрачно усмехнулся.

— Не думаю, сэр, чтобы ее это могло заинтересовать. Там был только череп и несколько высохших костей. На вид им лет тысяча, не меньше. Но раньше-то их там не было! И я и Стивенс готовы в этом поклясться. Кости лежат в углу, прикрыты доской. А этот угол всегда был пустой.

— И что вы с ними сделали?

— Ничего. Так там и оставили.

— Весьма мудро с вашей стороны. Вы говорите, что вчера сэр Роберт отсутствовал. А сейчас он дома?

— Нет, мы как раз сегодня его ожидаем.

— А когда сэр Роберт отдал спаниеля?

— Ровно неделю назад. Бедняга с самого утра скулил у старого погреба, а сэр Роберт опять был в сильном раздражении. Схватил его — я подумал, он ему шею свернет. И отдал пса Сэнди Бейну, нашему жо-

— Иди, говорит, отнеси его старому Барису из «Зеленого дракона». Видеть его больше не желаю.

Холмс глубоко задумался, закурив самую старую и прокопченную из своих трубок.

— Пока что мне не совсем ясно, мистер Мейсон, чего именно вы ждете от меня, — произнес он после долгого молчания. — Не можете ли вы поставить задачу более определенно?

— Более определенно, мистер Холмс, ее поставит вот что.

С этими словами наш посетитель извлек из кармана бумажный пакет, осторожно развернул его, и перед нами предстал кусок обгорелой кости.

Холмс с интересом начал его исследовать.

— Откуда это у вас? — спросил он.

— Из подвала, что под комнатой леди Беатрис. Там находится печь центрального отопления. Ее уже перестали топить, но сэр Роберт стал жаловаться на холод, и печь снова затопили. Истопником в доме Харви — один из моих парней. Сегодня утром он приходит ко мне и приносит вот это. Говорит, нашел, когда разгребал в печи золу. Ему его находка не слишком понравилась.

— Мне тоже, — заметил Холмс. — Что вы обо всем этом думаете, Уотсон?

Кость, полностью обугленная, тем не менее весьма наглядно выдавала свое анатомическое происхождение.

— Это верхняя берцовая кость человека, — сказал я.

— Вот именно. — Холмс сразу посерьезнел. — Когда ваш истопник начинает топить? — повернулся он к Мейсону.

— Он приходит рано утром, а потом больше там не появляется.

— Значит, ночью в подвал может проникнуть кто угодно?

— Да, сэр.

— И со двора тоже?

— Да. Одна дверь — во двор, вторая — на лестницу. По ней можно подняться в комнату леди Беатрис.

— Мы ступаем на зыбкую почву, мистер Мейсон. Зыбкую и довольно грязную. Итак, вы утверждаете, что прошлой ночью сэра Роберта не было дома?

— Именно так, сэр.

— Значит, кто бы ни сжигал в печи кости, это был не он.

— Верно, сэр.
— Как, вы сказали, называется та гостиница?
— «Зеленый дракон».
— А как там у вас в Беркшире с рыбной ловлей?
Выражение лица честного лошадника явно показывало: он решил, что в его тревожной жизни появился еще один сумасшедший.
— Насколько я знаю, сэр, в мельничной протоке водится форель, а в Халлском озере — щука.
— Это нас вполне устраивает. Уотсон и я заядлые рыболовы, не правда ли, Уотсон? Уже сегодня вечером мы будем в «Зеленом драконе». И вы сможете связываться с нами по этому адресу. Думаю, не стоит говорить, мистер Мейсон, что мы не хотим, чтобы нас видели вместе. Но, получив вашу записку, я при необходимости всегда сумею разыскать вас. Как только я изучу это дело поглубже, я немедленно поставлю вас в известность.

Итак, ясным майским вечером Холмс и я, сидя в вагоне первого класса, приближались к маленькой — «Остановка по требованию» — железнодорожной станции Шоском. В сетке над нашими головами в устрашающем беспорядке были свалены удочки, мотки лески, корзины. От станции мы быстро добрались до старомодной таверны, где жизнерадостный хозяин, Джозайя Барнс, с жаром принялся обсуждать с нами планы истребления всей рыбы в округе.
— Как насчет видов на щуку в Халлском озере? — поинтересовался Холмс.
Лицо хозяина таверны помрачнело.
— С этим придется повременить, сэр. А то вполне может случиться, что вы сами окажетесь в озере, не успев вынуть оттуда ни рыбешки.
— Это еще почему?
— Спросите у сэра Роберта, сэр. Он бережет своих лошадей как зеницу ока. И если увидит поблизости от своего манежа двоих чужаков, то наверняка решит, что вы шпионите за его Принцем. И тут уж точно беды не миновать. С сэром Робертом шутки плохи!
— Я слышал, его лошадь заявлена на предстоящее Дерби.
— Да, отличный жеребец, скажу я вам. Мы поставили на него все свои деньги, как и сэр Роберт. Между

прочим, — и он окинул нас пристальным взглядом, — вы сами, случаем, не играете на скачках?

— Да что вы! Просто два усталых лондонца, которым позарез необходим пользительный беркширский воздух.

— Ну, этого добра у нас хватает. Вон его сколько кругом. Только запомните, что я вам сказал насчет сэра Роберта. Это такой человек — сперва бьет, потом разбирается. Так что держитесь подальше от его парка.

— Понятно, мистер Барнс. Так мы и сделаем. Да, кстати, до чего же красивый у вас спаниель. Когда мы вошли, он скулил в холле.

— Пес что надо. Настоящая шоскомская порода. Славится по всей Англии.

— Я сам любитель собак, — заметил Холмс. — Простите мое любопытство, но сколько может стоить такая породистая собака?

— Больше, чем я смог бы за нее заплатить, сэр. Спаниеля мне дал сэр Роберт. Поэтому я и держу его на привязи. Спусти я собаку — и она мигом удерет обратно в Старое поместье.

— Итак, Уотсон, на руках у нас уже имеются кое-какие карты, — промолвил Холмс, едва хозяин таверны оставил нас вдвоем. — Их нелегко будет разыграть, но, думаю, через денек-другой обстановка прояснится. Кстати, сэр Роберт все еще в Лондоне, как я слышал. Так что мы, вероятно, сможем посетить его заповедные владения сегодня вечером, не опасаясь телесных повреждений. У меня есть пара вопросов, которые желательно уточнить на месте.

— Вы уже имеете свою версию, Холмс?

— Я знаю только одно, Уотсон: примерно неделю назад здесь, в Шоскоме, произошло какое-то событие, нарушившее привычную жизнь Старого поместья. Что именно? Об этом мы можем судить лишь по косвенным признакам. Притом, похоже, весьма странного и запутанного характера. Зато это вселяет надежду. Безнадежны одни только скучные, бесцветные дела.

— Давайте посмотрим, что мы имеем, — продолжал Холмс. — Брат перестает навещать свою больную сестру. Отдает чужому человеку ее любимую собаку. Ее собаку, Уотсон! Это что, ни о чем вам не говорит?

— Ни о чем, кроме того, что он сделал это в припадке гнева.

— Что ж, могло быть и так. Или же... все обстоит

[illegible] иначе. Но вернемся к обзору событий, про-
[illegible]щих с той памятной ссоры, если таковая была. Итак, леди Беатрис сидит у себя в комнате, изменив всем своим привычкам: не появляется на людях, кроме тех случаев, когда выезжает в экипаже в сопровождении горничной: не заглядывает больше в конюшню, чтобы проведать своего любимца, и в довершение всего начинает пить. Вот вроде бы и все, что мы знаем?

— Да, кроме ночных посещений склепа.

— Это другая сторона дела. Всего в деле две стороны, и я просил бы их не смешивать. Сторона «А» — все, что связано с леди Беатрис, — имеет слегка зловещий оттенок, не правда ли?

— Я этого не вижу.

— Что ж, теперь возьмем сторону «Б» — все, что связано с сэром Робертом. Он безумно хочет выиграть Дерби. Его осаждают ростовщики, в любой момент все имущество может быть продано с торгов, а конюшни — перейти в руки кредиторов. Человек он храбрый до отчаянности. Его доходы полностью зависят от сестры. Ее горничная — послушное орудие в его замыслах. Пока что мы прочно стоим на почве фактов, разве не так?

— Но склеп, Холмс?

— А, да, склеп! Предположим, Уотсон, — это всего лишь дикое предположение, гипотеза для поддержания версии, — что сэр Роберт избавился от своей сестры.

— Мой дорогой Холмс, это исключено.

— Весьма возможно, Уотсон. Сэр Роберт — человек благородного происхождения. Но разве среди орлов не встретишь иной раз вороны? Давайте-ка немного порассуждаем в духе этой гипотезы. Бежать из страны убийца не может, не имея средств, а получить их он может только если Шоскомский Принц выиграет на скачках. Поэтому-то он и вынужден все еще там оставаться. Но куда-то надо девать тело несчастной жертвы. И к тому же подыскать двойника, который мог бы исполнять ее роль. Поскольку горничная — его доверенное лицо, подобный вариант не выглядит невозможным. Тело бедной женщины вполне можно перенести в склеп, куда никто не заглядывает, а затем тайком сжигать частями по ночам в печи, оставляя при этом улики, в чем мы имели возможность убедиться. Ну, что вы на это скажете, Уотсон?

— Что ж, все это вполне возможно, если согласиться с вашим чудовищным предположением.

— Думаю, Уотсон, что уже завтра мы попытаемся проделать небольшой эксперимент, который поможет

нам пролить некоторый свет на это дело. А пока что, если мы хотим, чтобы нас приняли за рыбаков, надо посидеть с хозяином за стаканчиком вина и обстоятельно побеседовать насчет угрей и плотвы. Этим мы покорим его сердце и наверняка услышим местные сплетни, которые могли бы нам помочь.

Утром Холмс обнаружил, что мы, оказывается, забыли взять с собой блесну и, следовательно, по крайней мере на день, избавлены от ловли щук. Часам к одиннадцати мы вышли на прогулку в сопровождении черного спаниеля, которого мой друг взял с разрешения хозяина гостиницы.

— Вот мы и пришли, — произнес Холмс, остановившись перед высокими воротами парка, увенчанными двумя геральдическими грифонами. — Мистер Барнс говорит, что старая леди обычно появляется здесь в полдень и, пока открывают ворота, экипаж замедляет ход. Как только лошади выедут за ворота и кучер еще не успеет пустить их вскачь, под любым предлогом задержите экипаж на секунду. Про меня забудьте! Я буду стоять за кустами остролиста и постараюсь увидеть все, что смогу.

Ждать нам пришлось недолго. Минут через пятнадцать мы увидели, как по длинной аллее парка быстро приближается большой открытый экипаж, запряженный парой великолепных рысаков серой, в яблоках, масти. Холмс с собакой затаился в кустах, я же, помахивая тростью, как ни в чем не бывало вышел на дорогу. Выбежавший привратник распахнул ворота.

Кони между тем перешли на шаг, так что я сумел хорошо разглядеть седоков. Слева была ярко размалеванная особа с соломенными волосами и наглым взглядом. Справа — пожилая женщина, сгорбившаяся, укутанная пледами: ее вид выдавал больного человека. Как только экипаж поравнялся со мной, я властным жестом поднятой руки велел кучеру остановиться и спросил, дома ли сэр Роберт.

В ту же секунду Холмс вышел из укрытия и спустил спаниеля с поводка. Тот с радостным визгом бросился к экипажу и вспрыгнул на подножку. Мгновение спустя послышалось злобное рычание и пес вцепился зубами в подол черной юбки над своей головой.

— Гони! Гони! — раздался чей-то резкий голос.

Кучер хлестнул лошадей, и опять мы остались вдвоем на дороге.

— Все ясно, Уотсон! — воскликнул Холмс, пристегивая поводок к ошейнику разгоряченного спаниеля. — Он думал, что в экипаже хозяйка, а там — чужой. Собаки не ошибаются.

— Но я слышал голос мужчины! — вырвалось у меня.

— Вот именно! У нас на руках еще одна карта, Уотсон, но все равно играть надо, соблюдая осторожность.

Казалось, у моего друга не оставалось больше никаких планов на этот день, и мы отправились на мельницу, чтобы найти наконец применение своим рыболовным снастям, — блесну мы все-таки захватили, — в результате чего на ужин нам подали форель. Только после вечерней трапезы Холмс снова проявил признаки усердия. Мы опять вышли на ту же дорогу, что и утром, и вскоре уперлись в те же самые ворота. Там нас поджидала высокая темная фигура, оказавшаяся мистером Джоном Мейсоном, нашим лондонским знакомым.

— Добрый вечер, джентльмены! — приветствовал он нас. — Я получил вашу записку, мистер Холмс. Сэр Роберт еще не возвратился, но я слышал, что он приезжает сегодня вечером.

— А далеко отсюда до этого склепа? — спросил Холмс.

— Добрая четверть мили.

— Тогда, полагаю, мы можем не слишком беспокоиться насчет вашего хозяина.

— Только не я, мистер Холмс. Сразу же после приезда он затребует меня к себе, чтобы справиться о шоскомском Принце.

— Понятно. Значит, нам придется поработать без вас, мистер Мейсон. Доведите нас до склепа и отправляйтесь назад.

Мы тронулись в путь. Ночь стояла на редкость темная, луны не было и в помине. Мейсон, однако, уверенно вел нас лугом, пока впереди не выросли очертания какой-то постройки. Это и была Шоскомская часовня. Мы вошли в проем, где когда-то была дверь, и наш проводник, спотыкаясь о груды валявшихся на полу камней, пробрался к углу часовни, откуда крутая лестница вела прямо в подземный склеп. Чиркнув спичкой, он осветил сию печальную обитель, где царили за-

галость и уныние. Сложенные из грубо обтесанных каменной стены почти совсем развалились; вдоль одной из них рядами, от пола до потолка, высились свинцовые и каменные гробы. Я огляделся: крестовый свод над нашими головами терялся в глубокой тени. Холмс засветил фонарь, и узкий ярко-желтый луч света прорезал траурный мрак. Стали видны и прикрепленные к гробам таблички, многие из которых были украшены грифоном и короной — геральдическими символами этой старинной семьи, которая не желала расставаться со знаками своего величия даже на пороге Смерти.

— Вы упоминали о каких-то костях, мистер Мейсон. Не могли бы вы показать их нам?

— Они вон в том углу. — Он подошел к указанному месту и, когда свет нашего фонаря осветил его, замер в немом изумлении. — Их больше нет!

— Я этого и ожидал, — заметил Холмс с коротким смешком. — Думаю, что оставшуюся после их сожжения золу еще можно и сейчас обнаружить в той печи, которая уже поглотила часть скелета.

— Да, но с чего вдруг кому-то взбрело в голову сжигать кости человека, умершего, может, тысячу лет назад? — воскликнул Джон Мейсон.

— Ответ на ваш вопрос нам и предстоит здесь найти, — произнес Холмс. — Поиски обещают быть долгими, так что мы больше вас не задерживаем. Полагаю, однако, что к утру разгадка все же будет добыта.

Как только Джон Мейсон нас покинул, Холмс тут же принялся тщательно исследовать таблички каждого из захоронений, начиная с находившегося посредине древнего саркофага, по-видимому, еще саксонского периода. Пройдя длинный ряд, где покоились Норманы Гюго и Одосы, мы добрались до сэра Уильяма и сэра Дэниса Фолдеров, представлявших XVIII век. Прошел час или больше, прежде чем Холмс приблизился к свинцовому гробу, который торчал из ниши. Я услышал, как он удовлетворенно крякнул, а его поспешные, но уверенные движения дали мне понять, что он достиг цели. С помощью лупы он принялся с неподдельным интересом изучать края тяжелой крышки. Затем извлек из кармана короткую «фомку» и, вставив ее в узкую щель между гробом и крышкой, рывком, с отвратительным скрежетом приподнял ее. Похоже, она держалась всего на двух замковых петлях. Но прежде чем мы смогли разглядеть, что находится внутри, нас прервали самым непредвиденным образом.

В часовне, прямо над нашими головами, кто-то шел!

Это были быстрые, твердые шаги человека, хорошо ориентирующегося и знающего, зачем он здесь. По ступеням лестницы скользнул луч света, и через мгновение под готическими сводами возникла зловещая фигура. Огромного роста и свирепой наружности мужчина держал перед собой «летучую мышь», освещавшую снизу волевое лицо, пышные усы и сверкавшие яростью глаза. Его взгляд обежал все углы склепа, пока, наконец, с устрашающей неподвижностью не остановился на нас с Холмсом.

— Кто вы такие, черт подери? — взревел он. — И что вы делаете в моих владениях?

Поскольку Холмс ничего не ответил, незнакомец сделал по направлению к нам несколько шагов и замахнулся тяжелой тростью, которую держал в руке.

— Да слышите ли вы меня или нет? — заорал он. — Кто вы? Что вы тут делаете?

Поднятая над головой трость подрагивала в его руке. Вместо того, чтобы увернуться, Холмс шагнул вперед.

— У меня тоже есть к вам вопрос, сэр Роберт, — произнес он как можно более строго. — Кто это? И что оно здесь делает?

Холмс повернулся и резким движением откинул крышку. «Летучая мышь» высветила лежавшее в гробу и спеленатое с головы до ног тело. Вытянутые вперед нос и подбородок, мутно-стеклянные глаза, уставившиеся на меня, серая кожа, тронутая тлением, — все это делало лицо похожим на зловещую маску ведьмы. Вскрикнув, баронет отступил назад и, чтобы не упасть, прислонился к каменному саркофагу.

— Откуда вы узнали об этом? — в растерянности воскликнул он и добавил почти прежним воинственным тоном: — И какое вам до всего этого дело?

— Меня зовут Шерлок Холмс, — твердо произнес мой друг. — Возможно, это имя вам известно. Я занимаюсь тем же, что и все добропорядочные граждане, — поддерживаю закон. Полагаю, вам есть за что держать перед ним ответ.

Какое-то время сэр Роберт еще продолжал сверкать глазами, но спокойный голос Холмса и его хладнокровие возымели свое действие.

— Клянусь Богом, мистер Холмс, я не виноват перед законом. Да, все улики как будто против меня, но действовать иначе я не мог.

— Я буду счастлив поверить этому. Но, боюсь, вам придется дать объяснение полиции.

Сэр Роберт пожал широкими плечами:

— Что ж, если так, то ничего не поделаешь. А теперь пойдемте ко мне в дом — я вам все расскажу. А дальше судите сами.

Спустя четверть часа мы сидели в уютно обставленной комнате, которая, судя по многочисленным гладко отполированным стволам охотничьих ружей в застекленных шкафах, была в Старом поместье оружейной. Сэр Роберт ненадолго оставил нас и возвратился, сопровождаемый размалеванной молодой женщиной, той самой, которую мы видели в экипаже, и небольшого роста мужчиной с крысиным личиком и неприятно уклончивым взглядом. Оба находились в явном недоумении по поводу того, зачем их сюда привели. Баронет за неимением времени не успел растолковать им, какой оборот приняло дело.

— Перед вами, — пояснил сэр Роберт, взмахом руки указывая на вошедших, — мистер и миссис Норлет. Эта женщина, под своей девичьей фамилией Эванс, в течение нескольких лет была личной горничной моей сестры. Я привел сюда мужа и жену, так как считаю: самое лучшее, что я могу сделать, это рассказать всю правду, а они единственные, кто может ее подтвердить.

— Но, сэр Роберт, неужели это необходимо? Хорошо ли вы все обдумали? — закричала женщина.

— Что касается меня, то я снимаю с себя всякую ответственность, — заявил ее муж.

Сэр Роберт бросил на него взгляд, полный презрения.

— Всю ответственность я беру на себя, — отрезал он. — А сейчас, мистер Холмс, я изложу вам факты. Мне ясно, что вы в курсе моих дел, иначе я не застал бы вас там, где застал. Вам, по всей вероятности, известно, что я заявил на Дерби «темную лошадку». От ее успеха на скачках зависит вся моя жизнь. Если я выиграю, все образуется. Если проиграю... Я даже не хочу об этом думать.

— Мне понятно ваше положение, — заметил Холмс.

— Я полностью завишу от своей сестры, леди Беатрис. Известно, что право владения поместьем у нее пожизненное. Я же целиком в руках ростовщиков. И умри она, кредиторы в тот же миг набросятся на Старое поместье, как стая стервятников. Они заберут все: мои

конюшни, моих лошадей — все! И вот, мистер Холмс, вообразите себе, моя сестра неделю назад умирает!

— И вы никому об этом не сказали?

— Что мне было делать? Объяви я о ее смерти, и полное разорение неизбежно. Мне необходимы были три недели отсрочки, тогда все устраивалось бы наилучшим образом. Муж горничной леди Беатрис — актер. И вот нам пришло в голову, вернее мне, что на этот срок он мог бы перевоплотиться в мою сестру. От него требовалось лишь раз в день появляться в экипаже во время прогулки, вот и все. В комнату к ней ведь никто не заходит, кроме горничной. Устроить это было не трудно. Умерла моя сестра от водянки, которой страдала долгое время.

— Это установит следствие.

— Ее врач подтвердит: состояние больной было таким, что подобного конца можно было ожидать в любую минуту.

— Ну, и как вы поступили дальше?

— Тело не могло оставаться в комнате. В первую же ночь Норлет и я перенесли его в старый погреб, которым давно не пользуются. Но за нами увязался ее любимый спаниель — ни за что не хотел уходить от двери и все время выл. Вот мне и пришлось от него избавиться. А тело мы перенесли в более безопасное место — в склеп под часовней. Мы не совершили никакого кощунства или святотатства, мистер Холмс. Я не считаю, что оскорбил память покойной сестры.

— Ваше поведение нельзя оправдать, сэр Роберт.

Баронет нетерпеливо тряхнул головой.

— Легко читать мораль другим, — произнес он. — Но будь вы на моем месте, вы бы, наверное, считали иначе. Нельзя спокойно сидеть и смотреть, как все твои надежды, все твои планы в самую последнюю минуту рушатся. Мне казалось, не будет ничего предосудительного, если какое-то время тело покойной сестры побудет в гробу одного из предков ее давно умершего мужа. Тем более что место это все еще считается освященным. Мы вскрыли подходящий гроб, извлекли оттуда полуистлевшие кости и вместо них, как вы сами убедились, положили тело сестры. Понятно, что оставлять эти кости на полу склепа было нельзя. Норлет и я забрали их оттуда, а ночью он спустился в подвал дома и сжег их в печи. Вот вам моя история, мистер Холмс, хотя одному Богу известно, как вы сумели вынудить меня ее рассказать.

Некоторое время Холмс пребывал в задумчивости.

— В вашем рассказе, сэр Роберт, есть один изъян, — наконец проговорил он. — Ведь заключенные вами пари, а значит, и надежды на будущее — все это осталось бы при вас, даже если бы кредиторы наложили арест на имущество.

— Да. Но лошадь подлежала бы конфискации как часть этого имущества. И что им до моих пари? Скорей всего, они и Принца не допустили бы до скачек. К несчастью, главный из моих кредиторов Сэм Бруер — мой заклятый враг, мошенник, которого я однажды вынужден был отхлестать кнутом на пустыре в Ньюмаркете. И вы думаете, он захотел бы меня спасти?

— Что же, сэр Роберт, — произнес Холмс, вставая, — вашим делом, конечно, займется полиция. Я только установил факты. Что касается приличий и моральной стороны вашего поведения, то я не берусь высказывать о них свое мнение. Уже почти полночь, Уотсон, и, полагаю, нам пора возвращаться в нашу скромную обитель.

Как известно, сей необычный случай закончился на куда более мажорной ноте, чем того заслуживали поступки сэра Роберта. Шоскомский Принц выиграл Дерби, а его хозяин — пари на круглую сумму в восемьдесят тысяч фунтов стерлингов. Кредиторы согласились подождать до окончания скачек и получили свое сполна. Оставшихся денег оказалось достаточно, чтобы материальное положение сэра Роберта снова позволило ему занять подобающее место в обществе. И следователь и полиция не стали слишком усердствовать, и все дело ограничилось мягким порицанием за несвоевременную регистрацию кончины леди Беатрис. В итоге репутация счастливого хозяина Принца нисколько не пострадала из-за этого странного инцидента: он сумел сделать неплохую карьеру, не омрачаемую больше тенями прошлого и сулящую ему почтенную старость.

ЗАГАДОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ У МОСТА ТОР

Где-то в подвалах банка Кокс и К⁰ на Чаринг-Кросс хранится видавший виды жестяной сундучок, на крышке которого стоит мое имя: Джон Х. Уотсон, доктор медицины, Индийская армия. Он доверху набит моими записями, повествующими о любопытных случаях, расследованием которых в разное время довелось заниматься Шерлоку Холмсу. Некоторые из них, и далеко не всегда самые неинтересные, так и остались неразгаданными, и потому вряд ли стоит о них рассказывать. Они не получили окончательного разрешения, а дело, которое так и не удалось раскрыть до конца, может заинтересовать лишь знатока, тогда как у обыкновенного читателя оно вызывает только раздражение и досаду. Среди этих незавершенных дел можно найти дело Джеймса Филлимора, который, вернувшись однажды домой за зонтиком, бесследно исчез самым таинственным образом. Не менее удивительным можно считать и случай, приключившийся с катером «Алисия»: выйдя весенним утром в море, он вошел в полосу редкого тумана да так и не появился, причем никто больше ничего не слыхал ни о самом катере, ни о его команде. Очень интересно и дело Исадора Персано, того самого хорошо известного журналиста и дуэлянта, который оказался не в своем уме, когда его нашли перед спичечным коробком, в котором извивался червяк, науке, по-видимому, еще не известный. Кроме того, среди записок есть немало историй, так или иначе связанных с семейными тайнами частных лиц, занимающих весьма высокое положение в обществе в разных странах мира, лиц, которые пришли бы в ужасное смятение при одной мысли о том, что эти записки будут когда-нибудь преданы огласке. Конечно же,

нет необходимости говорить, что злоупотребление доверием клиентов для нас просто немыслимо и что в скором времени такого рода записки будут отобраны из числа прочих и уничтожены, тем более что сейчас у моего друга появилась возможность этим заняться. Кроме того, остается еще довольно много интересных дел, которые я мог бы опубликовать и раньше, но не стал этого делать только потому, что боюсь пресытить читателей подобными историями — ведь это могло бы повредить репутации моего друга, к которому я испытываю глубокое уважение. В расследовании некоторых дел я сам принимал участие и могу рассказывать о них как очевидец; в расследовании других я не участвовал или моя помощь была столь ничтожной, что я предпочитаю рассказывать их от третьего лица, глядя на них как бы со стороны. В истории, которую я хочу поведать сейчас, я принимал самое непосредственное участие.

Было ветреное октябрьское утро. Одеваясь, я видел в окно, как ветер яростно срывает последние листья с единственного платана, который украшает дворик позади нашего дома. Спустившись к завтраку, я ожидал увидеть своего друга в дурном расположении духа, ибо он, как, впрочем, и многие другие артистические натуры, очень подвержен воздействиям внешних факторов. Однако, вопреки моим ожиданиям, он уже заканчивал завтрак и был в особенно приподнятом, веселом настроении, хотя не вполне беззаботном, которое посещало его в наиболее светлые минуты.

— Беретесь за новое дело, Холмс? — спросил я.

— Способность к дедукции прямо-таки заразительна, Уотсон, — ответил он. — Благодаря этому методу вам удалось проникнуть в мою тайну. Да, я взялся за новое расследование. После месяца житейского застоя колеса, похоже, завертелись вновь.

— Можно узнать, что это за расследование?

— Пока рассказывать особенно нечего, но если хотите, я готов посвятить вас в это дело, однако не раньше, чем вы расправитесь с яйцами, которые соблаговолила приготовить наша новая кухарка. По всей вероятности, самый факт, что яйца сварены вкрутую, связан с тем номером газеты «Фэмили Геральд», который я заметил вчера на столике в холле. Даже такое пустяковое дело, как варка яиц, требует внимания и уважительного

отношения к бегу времени и вряд ли совместимо с романтическими историями, публикуемыми на страницах этого уважаемого периодического издания.

Через четверть часа посуда была убрана, и мы остались вдвоем, сидя за столом друг против друга.

— Вы, конечно, слышали о золотом магнате Нейле Гибсоне? — спросил он.

— Вы имеете в виду американского сенатора?

— Да, одно время он действительно был сенатором от какого-то западного штата, но больше он известен как крупнейший в мире золотопромышленник.

— Кажется, я что-то слышал о нем. Одно время он жил в Англии. Мне его имя хорошо знакомо.

— Вы не ошиблись. Лет пять тому назад он приобрел обширное поместье в Хэмпшире. Вы, конечно, слышали о трагической смерти его жены?

— Теперь, кажется, припоминаю. Так вот почему имя его показалось мне знакомым. Правда, подробностей я не знаю.

Холмс показал на бумаги, лежавшие на стуле.

— Я и не подозревал, что мне придется расследовать это дело, иначе я подготовил бы выдержки из газет и документов, — сказал он. — Суть в том, что это дело, хоть и очень громкое, считалось предельно ясным, и никаких трудностей в связи с ним не возникало. Интересная личность обвиняемой никак не влияет на неопровержимость улик. К такому заключению пришли присяжные и коронер во время судебного разбирательства в полицейском суде. Теперь оно направлено в Винчестер, где будет слушаться на выездной сессии суда присяжных. Боюсь, что дело это неблагодарное. Я умею разыскивать факты, но не в силах их изменять. Если мне не удастся обнаружить какие-то новые и совсем неожиданные факты, у моего клиента не останется никаких надежд.

— А кто ваш клиент, Холмс?

— Ах, да, совсем забыл вам сказать. Кажется, я перенял у вас дурную привычку рассказывать события в обратном порядке, то есть с конца. Вот прочтите для начала это послание.

Он вручил мне письмо, написанное четким уверенным почерком. В нем говорилось:

«Отель Клэридж
13 октября

Дорогой мистер Холмс!

Я не могу примириться с тем, что лучшая из женщин, когда-либо созданных Господом на земле, обречена

на смерть, и потому считаю своим долгом сделать все, что в моих силах для ее спасения. Не могу и даже не пытаюсь что-либо объяснить, но точно знаю, что мисс Данбар невиновна. Вам, несомненно, известны факты — о них знают все. О них толкует вся Англия. Но никто, ни один человек не подал голос в ее защиту. Эта чудовищная несправедливость просто бесит меня. У мисс Данбар доброе сердце, она и мухи-то не убьет. Я буду у Вас завтра в одиннадцать в надежде, что Вы сумеете отыскать в кромешной тьме хоть какой-то, пусть самый слабый проблеск света. Возможно, ключ к разгадке у меня в руках, но только я об этом не догадываюсь. Во всяком случае, все, что мне известно, все, что у меня есть, а также самого себя я готов предоставить в Ваше распоряжение, только бы спасти ее. Умоляю Вас, отнеситесь к делу с особым вниманием, сделайте все, что в Ваших силах.

Искренне Ваш
Дж. Нейл Гибсон».

— Теперь вы в курсе дела, — сказал Шерлок Холмс, выбивая пепел из трубки, выкуренной после завтрака, и не спеша набивая ее снова. — Вот этот джентльмен и должен сейчас прийти. Что касается событий, то вряд ли вы успеете ознакомиться со всеми этими материалами, и потому я вкратце изложу самую суть, чтобы было понятно, о чем мы будем говорить. Человек, которого я жду, — самый могущественный финансовый магнат мира и, насколько я могу судить, человек весьма необузданного и свирепого нрава. Он был женат на женщине, о которой мне почти ничего не известно, кроме того, что она была немолода, и это само по себе не очень приятное обстоятельство оказалось тем более некстати, что для воспитания детей в дом была приглашена молодая и очень хорошенькая гувернантка. Вот вам три действующих лица разыгравшейся трагедии; место действия — большой загородный дом в центре традиционного английского поместья. Теперь о самой трагедии. Поздно вечером в парке, примерно в полумиле от дома, была найдена хозяйка дома с простреленной головой. Она была в нарядном платье, какое обычно надевают к обеду, с шалью на плечах. На месте преступления никакого оружия и никаких улик, говорящих о том, что здесь совершено убийство, не оказалось. Оружия возле нее не нашли, заметьте это, Уотсон. Трагедия, видимо, произошла вечером, а труп был обнаружен садовником около одиннадцати. После того, как его осмотрели полиция и врач, труп от-

несли в дом. Не слишком ли сжато я излагаю события? Вы успеваете следить?

— Да, все предельно ясно. Но почему подозрение пало на гувернантку?

— Ну, прежде всего, есть прямая улика. На дне ее платяного шкафа нашли пистолет, в котором как раз не хватало одного патрона и именно того же калибра, что и пуля в голове жертвы. — Тут взгляд его сделался неподвижным и он повторил каждое слово раздельно: На — дне — ее — платяного — шкафа. — Тут он замолчал, и мне показалось, что мысли у него в голове пришли в движение, и я подумал, что было бы глупо прерывать их ход. Вдруг, вздрогнув, он снова вернулся к повседневной реальности. — Да, Уотсон, именно там его и нашли. Неопровержимая улика, не так ли? К такому же выводу пришли и две коллегии присяжных. Кроме того, у убитой нашли записку, написанную гувернанткой, которая назначала ей свидание именно на том самом месте. Каково, а? И, наконец, налицо мотив убийства. Сенатор Гибсон был мужчина что надо. Ведь умри его жена, и молодая гувернантка имела бы реальный шанс занять ее место, тем более что сенатор, по общему мнению, настойчиво домогался благосклонности этой молодой особы. Любовь, богатство, власть — и все это ценой всего одной немолодой жизни. Чудовищно, не правда ли, Уотсон?

— Да, Холмс, именно так.

— К тому же у нее не было алиби. Более того, ей пришлось признать, что она находилась возле моста — а именно там произошла трагедия — как раз в то время, когда предположительно было совершено убийство. Отрицать это было бессмысленно, потому что кто-то из местных жителей встретил ее недалеко от моста.

— Ну, что ж, улик более чем достаточно.

— И все же, Уотсон, все же... Этот довольно широкий каменный мост с балюстрадой по обе стороны переброшен через самое узкое место длинного и глубокого водоема, поросшего по краям камышом. Его называют Тор-озером. При въезде на этот мост и нашли миссис Гибсон. Таковы основные факты. А вот, если я не ошибаюсь, и наш клиент, и намного раньше назначенного срока.

Билли открыл дверь и, к нашему изумлению, назвал незнакомое имя. Ни я, ни Холмс не знали мистера Марлоу Бейтса. Он оказался сухоньким, дергающимся,

[illegible] человеком с испуганными глазами и нерешительными телодвижениями. Профессиональный взгляд подсказывал мне, что этот человек был на грани нервного срыва.

— Вы очень взволнованы, мистер Бейтс, — сказал Холмс. — Садитесь, пожалуйста. Боюсь только, что смогу уделить вам всего несколько минут. В одиннадцать у меня назначена встреча.

— Как же, как же, я знаю, мистер Холмс. — Наш посетитель говорил короткими фразами, как будто он задыхался и никак не мог перевести дух. — Вы ждете мистера Гибсона. Он мой хозяин. Я у него служу управляющим имением. Мой хозяин, мистер Холмс, — негодяй, отъявленный мерзавец.

— По-моему, мистер Бейтс, вы хватили через край.

— Больше ничего не остается, мистер Холмс, времени у меня в обрез. Я бы ни за что не хотел встретить его здесь. А он может прийти с минуты на минуту. Но так уж сложились обстоятельства, что я никак не мог быть у вас раньше. Я только сегодня утром узнал от его секретаря, мистера Фергюсона, что он собирается к вам.

— И вы служите у него управляющим?

— Я уже предупредил его об уходе. Недели через две я наконец освобожусь от этого ненавистного мне рабства. Он очень жестокий человек, мистер Холмс, жестокий ко всем окружающим. Все его благотворительные дела — только ширма, прикрытие творимого им беззакония. Но больше всех пришлось вынести его жене. С ней он был просто безжалостен. Не знаю, что послужило причиной ее смерти, но уверен, что он превратил ее жизнь в ад. Вы, конечно, знаете, она была знойной женщиной, родом она из Бразилии.

— Нет, в первый раз слышу.

— Истинная южанка и по рождению и по темпераменту — дитя солнца и страсти. Она любила его, как только могут любить такие женщины. Когда же красота ее поблекла — а она, как я слышал, в молодости была необыкновенно хороша собой, — он охладел к ней. Мы очень любили и жалели ее, а его ненавидели за бесчеловечное к ней отношение. Но он хитер и коварен. Вот все, что я хотел вам сказать. Не верьте ему, он не тот человек, за которого себя выдает. А теперь я пойду. Нет, нет, не удерживайте меня. Он вот-вот явится.

И, бросив испуганный взгляд на часы, наш странный посетитель буквально выбежал в дверь и исчез.

— Подумать только! — сказал Холмс, немного помолчав. — Ну и преданные слуги у мистера Гибсона. Однако предостережение это весьма кстати, и теперь нам остается лишь встретиться с ним самим.

Ровно в назначенный час на лестнице послышались тяжелые шаги, и знаменитый миллионер вошел в комнату. При одном взгляде на него мне стали понятны не только опасения и неприязнь его управляющего, но и те страшные проклятия, которые призывали на его голову многие его конкуренты в коммерческих делах. Если бы я был скульптором и пожелал создать идеальный образ преуспевающего делового человека с железными нервами и задубевшей совестью, я бы выбрал моделью Нейла Гибсона. При взгляде на этого худого, высокого, угловатого человека невольно возникала мысль о недоедании и скупости. Кое-какое представление о том, как выглядел этот человек, можно получить, если вообразить себе Линкольна, только устремленного к низменным, а не к высоким целям. Его лицо было как будто вырублено из гранита — с крупными, резкими чертами и глубокими, как шрамы, бороздами, упрямое и беспощадное. Холодные серые глаза пронзительно смотрели на нас с Холмсом из-под густых топорщащихся бровей. Он слегка наклонил голову, когда Холмс представил меня, а затем властно, по-хозяйски придвинул стул совсем близко к Холмсу и сел, почти касаясь его костлявыми коленями.

— Позвольте прежде всего сказать вам, мистер Холмс, что я готов платить любые деньги. Вы даже можете жечь их, если только это поможет осветить путь к истине. Мисс Данбар невиновна, с нее должны быть сняты все подозрения, и именно об этом я пришел просить вас. Вы можете назначить за свой труд любую цену.

— Я беру плату за свои профессиональные услуги строго по таксе, — холодно заметил Холмс. — И никогда не отступаю от своего правила, кроме тех случаев, когда вовсе не беру денег.

— Ну что же, если вас не прельщают доллары, подумайте о славе. Если вам удастся разгадать эту загадку, все газеты Англии и Америки будут писать только о вас. Вы будете в центре внимания сразу двух континентов.

— Благодарю вас, мистер Гибсон, но и слава меня не прельщает. Возможно, вас это удивит, но я предпо-

...аю работать анонимно и берусь только за те дела, которые мне интересны. Но мы попусту тратим время. Давайте перейдем к фактам.

— Все основные факты можно найти в газетах, и вряд ли я могу добавить к ним что-либо еще. Но если вы хотите получить дополнительные разъяснения, я весь к вашим услугам.

— Тогда попрошу вас кое-что уточнить.

— Что именно?

— В каких отношениях вы находились с мисс Данбар?

Золотопромышленник вздрогнул и чуть было не вскочил со стула. Затем к нему снова вернулось его непоколебимое спокойствие.

— Ну что же, вы вправе задать этот вопрос, мистер Холмс, очевидно, этого требуют интересы дела.

— Будем считать, что это именно так.

— Тогда я могу заверить вас, что наши отношения никогда и ни при каких обстоятельствах не выходили за рамки отношений между хозяином и гувернанткой и что если я встречался или разговаривал с ней, то только в присутствии детей.

Холмс встал.

— Я занятой человек, мистер Гибсон, — сказал он, — и у меня нет ни времени, ни желания вести пустопорожние разговоры. Всего хорошего.

Наш гость тоже поднялся, и его нескладная длинная фигура нависла над Холмсом: глаза злобно сверкнули из-под нависших бровей, а на бледных щеках проступил слабый румянец.

— Что вы имеете в виду, черт побери? Уж не отказываетесь ли вы вести дело?

— Пока я отказываюсь вести пустые разговоры. По-моему, я выразился предельно ясно.

— Да, весьма. Неясно только, что стоит за вашими словами. Хотите набить цену или боитесь браться? Или что-то еще? Прошу вас ответить мне прямо, без обиняков.

— Хорошо, — сказал Холмс, — я так и сделаю. Ваше дело и без того трудное, а вы еще усложняете его заведомо ложными сведениями.

— Вы хотите сказать, что я лгу?

— Я хотел выразиться как можно деликатнее, но если вы настаиваете на более резком слове, я не стану вам перечить.

Я вскочил на ноги, ибо на лице миллионера появилось жестокое, почти сатанинское выражение, и он было поднял узловатый кулак. Холмс не спеша потянулся за трубкой.

— Не поднимайте шума, мистер Гибсон. Я нахожу, что после завтрака любой, даже самый невинный спор может выбить человека из колеи. Советую вам прогуляться на свежем воздухе и все спокойно обдумать. Это пойдет вам на пользу.

Усилием воли наш золотопромышленник подавил в себе гнев, чем вызвал во мне искреннее восхищение; он так хорошо умел владеть собой, что бушевавшая в нем ярость почти мгновенно сменилась холодным презрением и безразличием.

— Ну что же, последнее слово за вами. Наверно, вы знаете свое дело. Не в моих силах заставить вас заниматься расследованием против вашей воли. Но сегодня утром, мистер Холмс, вы, кажется, просчитались. Вы сильный человек, но мне и не таких приходилось обламывать. Еще никто из тех, кто пошел мне наперекор, не остался в выигрыше.

— Я не раз слышал подобные слова, и тем не менее, вот он я — перед вами, — улыбаясь, сказал Холмс. — Итак, всего хорошего, мистер Гибсон. Вам еще многое предстоит узнать.

Наш посетитель шумно направился к выходу, тогда как Холмс безмятежно курил трубку в полном молчании, вперив мечтательный взор в потолок.

— Ну, что скажете, Уотсон? — наконец спросил он.

— Знаете, Холмс, когда я думаю о том, что перед нами человек, который в самом деле способен убрать со своего пути все преграды, и при этом вспоминаю, что одной из таких преград, вероятно, была его жена, вызывавшая, если верить утверждению Бейтса, у него неприязнь, мне невольно приходит в голову мысль...

— Мне тоже.

— Но в каких отношениях находился он с гувернанткой? И как вы об этом узнали?

— Все это блеф, Уотсон, чистейший блеф. Когда я задумался над тоном его письма, необыкновенно страстным и отнюдь не деловым, и сопоставил его со сдержанной манерой поведения и внешностью этого человека, мне стало ясно, что им движет какое-то глубокое чувство, причем скорее к обвиняемой в убийстве гувернантке, чем к покойной жене. Чтобы добраться до истины, мы должны хорошо представлять себе, какие от-

ношения связывали всех троих. Вы ведь видели, что когда я попытался действовать в лоб, он и бровью не повел. Тогда я решил взять его на пушку и сделал вид, что мне все доподлинно известно, хотя у меня были лишь сильные подозрения.

— Может быть, он еще вернется?

— Непременно. Ни минуты в этом не сомневаюсь. Он не из тех, кто останавливается на полпути. А вот и звонок в дверь! Ну, что я вам говорил? Да, это его шаги. А-а, мистер Гибсон. Входите, пожалуйста. Я только что говорил доктору Уотсону, что пора бы уж вам вернуться.

Мистер Гибсон вошел в комнату, но теперь настроение у него было совсем иное — я бы сказал, он смирил гордыню. Обиженный взгляд все еще свидетельствовал о том, что гордость его уязвлена, но здравый смысл, очевидно, подсказывал ему, что для достижения намеченной цели придется обуздать свой крутой нрав.

— Я обдумал наш разговор, мистер Холмс, и пришел к выводу, что превратно истолковал ваши слова. Стремление дойти до сути вполне оправдано, я все больше ценю в вас это качество. Но уверяю вас, наши отношения с мисс Данбар не имеют никакого отношения к делу.

— Позвольте мне самому судить об этом.

— Хорошо. Вы напоминаете мне хирурга, который, прежде чем поставить диагноз, хочет знать все симптомы болезни.

— Так оно и есть. Трудно выразиться яснее. И согласитесь, что скрывать симптомы болезни будет только тот больной, который хочет обмануть хирурга.

— Возможно. Но согласитесь, мистер Холмс, что столь прямой вопрос об отношениях с женщиной наверняка вызовет протест у любого мужчины, если речь идет о настоящем чувстве, конечно. Думаю, в душе у каждого мужчины есть заветный уголок, скрытый от посторонних глаз, куда он не допускает никого. И вдруг вы пытаетесь ворваться туда. Но ваша цель — попытаться спасти ее — вполне вас оправдывает. Ну что ж, теперь карты раскрыты, заветный уголок тоже, можете искать, где вам угодно. Так что вы хотите знать?

— Правду.

Магнат немного помедлил, как бы собираясь с мыслями. Его мрачное, в глубоких складках лицо стало еще мрачнее и серьезнее.

— Хорошо, вы ее услышите, и всего в нескольких словах. Есть вещи, мистер Холмс, о которых рассказывать больно и трудно. Поэтому я не стану углубляться в детали и расскажу только самое необходимое. Я познакомился с моей женой в Бразилии, куда приехал в поисках золота. Ее звали Мария Пинто, и выросла она в семье государственного чиновника. Она была удивительно хороша собой. В то время я был пылким юношей, но даже сейчас, окидывая прошлое более спокойным и трезвым взглядом, я должен признать, что она была женщиной редкой, удивительной красоты. К тому же она была глубокой, одаренной натурой, страстной, пылкой и неуравновешенной, совершенно непохожей на моих соотечественниц. И только когда прошла моя юношеская романтическая любовь — а она длилась несколько лет, — я вдруг понял, что между нами нет ничего общего — ничего абсолютно. Любовь моя угасла. И все было бы ничего, если бы она тоже ко мне охладела. Но вы ведь знаете, как трудно порой понять женщин. Что бы я ни делал, она продолжала страстно любить меня. И если я порой был с ней груб и даже, по мнению некоторых, жесток, то только потому, что надеялся убить в ней любовь и вызвать к себе ненависть. Я был уверен, что так будет легче и ей и мне. Но ничто не могло ее изменить. Она продолжала любить меня в английских дубровах так же пылко, как любила на берегах Амазонки двадцать лет назад. Что бы я ни делал, она по-прежнему обожала меня.

И тогда появилась мисс Грейс Данбар. Она откликнулась на наше объявление и приехала в имение служить гувернанткой при наших детях. Вы, вероятно, видели в газетах ее портрет, и согласитесь, что она ко всему прочему еще и красива. В этом сошлись абсолютно все. Но я обыкновенный человек, не хуже и не лучше других, и так же, как все, подвержен соблазнам. И скажу вам честно: живя под одной крышей с такой женщиной и ежедневно общаясь с ней, я просто не мог не полюбить ее. Вы осуждаете меня, мистер Холмс?

— Отнюдь. Не вижу ничего предосудительного в ваших чувствах, но готов осудить вас, если вы открылись ей. Ведь в некотором смысле она находилась под вашим покровительством.

— Возможно, — сказал миллионер, и в глазах его снова вспыхнул сердитый огонь. — Я не собираюсь казаться лучше, чем я есть на самом деле. Я один из

тех, кто привык добиваться желаемого. А я никогда ничего так страстно не желал, как любви этой девушки. И я сказал ей об этом.

— А-а, так вы все-таки признались ей!

Временами Холмс мог быть прямо-таки страшен, особенно если его задевали за живое.

— Я сказал, что с радостью женился бы на ней, но в моем положении это невозможно, что не пожалею никаких денег и сделаю все, чтобы она была счастлива и ни в чем не нуждалась.

— Подумать только, какая щедрость! — усмехнулся Холмс.

— Послушайте, мистер Холмс, я пришел к вам за помощью в расследовании, а вовсе не для того, чтобы вы читали мне мораль. Я не желаю слушать ваши поучения.

— Если я взялся за ваше дело, то только ради этой молодой девушки, — строго сказал Холмс. — Ваш проступок тоже преступление. Вы пытались совратить юную беззащитную девушку, нашедшую приют в вашем доме. Вам, богачам, нужно вновь и вновь повторять, что далеко не все совершенные вами преступления можно искупить деньгами.

К моему удивлению, золотопромышленник, выслушав упрек Холмса, не вспылил.

— Теперь я и сам это вижу и благодарю Бога, что планам моим не суждено было осуществиться. Она наотрез отказала мне и сказала, что уедет немедленно.

— Но она не уехала. Как вы это объясните?

— Ну, прежде всего, она думала не столько о себе, сколько о других, и не хотела обмануть их ожидания. После того, как я дал ей слово, что никогда не позволю себе никаких домогательств по отношению к ней, она согласилась остаться. Но была и другая причина. Она знала, что может влиять на меня, и гораздо успешнее, чем кто-либо другой. И она хотела употребить свое влияние во благо.

— Каким же образом?

— Она кое-что знала о моих делах. Я ворочаю крупными делами, мистер Холмс, настолько крупными, что обыкновенному человеку трудно даже представить. От меня часто зависят судьбы не только отдельных людей, но целых поселков, городов и даже стран. Бизнес — жестокая игра, здесь порой все бывает поставлено на карту, а проигравшим приходится туго. Я играл

по-крупному. Я сам никогда не скулил, но и к другим жалости не испытывал. Но у нее на все был свой, совсем иной взгляд. И кажется, она была права. Она пыталась убедить меня, что человеку, имеющему большое состояние, не следует умножать его ценой разорения тысяч других людей, которые лишаются всех средств к существованию. Вот так ей виделись мои дела, и мне кажется, что за богатством она сумела рассмотреть нечто другое, гораздо более ценное и долговечное. Она знала, что я прислушиваюсь к ее словам, и верила, что, оказывая влияние на мои дела, может сослужить людям хорошую службу. Поэтому она и осталась. Но тут случилась эта беда.

— А что вы можете рассказать о самом происшествии?

Минуту-другую мистер Гибсон молчал. Он сидел, обхватив голову руками, глубоко погрузившись в свои мысли.

— Все, решительно все против нее. Это нужно признать. Знаете, у женщин ведь своя логика, и иногда они совершают поступки, которые мужчинам трудно понять. Сначала эта весть ошеломила меня. Я был просто потрясен и подумал было, что каким-то непонятным образом что-то сбило ее с толку и заставило совершить поступок, ей совершенно несвойственный. Тогда же мне в голову пришло одно объяснение, о котором я вам расскажу, а уж вам судить, насколько оно правдоподобно. Конечно, моя жена очень страдала от ревности. Ведь иногда причиной ревности бывает не физическая измена мужа, а духовная, но такая ревность не менее мучительна. У моей жены не было причин подозревать меня в физической близости, и я думаю, она прекрасно это понимала. И тем не менее она не могла примириться с тем, что эта девушка влияет на мои мысли и поступки, тогда как ей это никогда не удавалось. И хотя влияние это было благотворным, для нее это ничего не меняло. Она просто обезумела от ненависти, да и бешеный бразильский ее темперамент этому способствовал. Вполне возможно, что она задумала убить мисс Данбар или, скажем, попугать ее пистолетом, чтобы та собралась и уехала из нашего дома. Они, вероятно, повздорили, одна толкнула другую, пистолет, который держала жена, выстрелил, и пуля пробила ей голову.

— Мне тоже приходила на ум эта версия, — сказал Холмс. — Пожалуй, это единственная очевидная альтернатива умышленному убийству.

— Но мисс Данбар упорно эту версию отрицает.

— Можно ведь предложить и другое объяснение. Молодая женщина, оказавшись в такой ужасной ситуации, не помня себя, бежит домой, зажав в руке пистолет. Там она бросает его в платяной шкаф, не отдавая себе отчета в том, что делает. Но вот пистолет обнаружен, и она, чтобы как-то выпутаться, начинает отрицать все подряд, потому что объяснить уже ничего невозможно. Что мешает нам сделать такое предположение?

— Сама мисс Данбар.

— Да, пожалуй, вы правы. — Холмс посмотрел на часы. — Ну, что ж, пожалуй, сегодня утром мы еще успеем выправить пропуска в тюрьму и вечерним поездом отправимся в Винчестер. Возможно, после встречи с мисс Данбар я смогу оказать более существенную помощь в вашем деле, хотя и не могу обещать, что мои заключения обязательно совпадут с теми, которые вам хотелось бы услышать.

В тот день нам не удалось получить нужные бумаги, и вместо Винчестера мы отправились в графство Хэмпшир, в поместье Тор, принадлежавшее мистеру Гибсону. Сам он с нами не поехал, но снабдил нас адресом сержанта местного отделения полиции, который проводил первоначальный осмотр места трагедии. Сержант Ковентри был высок ростом, худ и мертвенно-бледен. Вел он себя как-то странно и таинственно, то и дело давая понять, что знает намного больше, чем может сказать. Разговаривая с нами, он вдруг понижал голос до шепота, как будто собирался сообщить что-то очень важное, однако, кроме самых тривиальных вещей, мы ничего от него так и не услышали. Но, закрыв глаза на эти маленькие странности в его манере поведения, мы пришли к убеждению, что в общем он честный и порядочный человек, не стыдится признаться, что исчерпал свои возможности, и с благодарностью готов принять от нас любую помощь.

— Уж лучше вы, мистер Холмс, чем Скотленд-Ярд, — сказал он. — Если в это дело вмешается Скотленд-Ярд, то нашему отделению не только не зачтется уже проделанная работа, но мы еще и выговор схлопочем, что не раскрыли все до конца. А вы, я слышал, поступаете по справедливости.

— О моем участии в этом деле вообще можно не упоминать, — сказал Холмс к явному облегчению нашего меланхолического спутника. — Если только мне

удастся распутать все до конца, я не стану настаивать, чтобы мое имя фигурировало в деле.

— Очень великодушно с вашей стороны, мистер Холмс. Да и на доктора Уотсона, насколько мне известно, вполне можно положиться. А теперь, мистер Холмс, раз уж мы отправляемся к этому роковому месту, мне бы очень хотелось задать вам один вопрос. Кроме вас, пожалуй, я не задал бы его никому. — Он оглянулся вокруг, как будто не мог собраться с духом, чтобы произнести нужные слова. — Вам не кажется, что дело может обернуться против самого мистера Гибсона?

— Не исключено.

— Вы ведь еще не видели мисс Данбар. Чудесная женщина, с какой стороны ни глянь. Ведь могло ж такое случиться, что он хотел убрать с дороги жену. Этим американцам, не в пример нам, ничего не стоит пустить человеку пулю в лоб. Пистолет-то ему принадлежит.

— Это что, достоверно установлено?

— Да, сэр, это был один из его парных пистолетов.

— Парных? А где же другой пистолет?

— Видите ли, сэр, у мистера Гибсона много всякого оружия. Мы так и не смогли найти пару этому пистолету, но футляр предназначен для двух.

— Если это один из парных пистолетов, то вы без труда отыщете и другой.

— Все пистолеты разложены у него в доме. Вы сможете осмотреть их сами, если пожелаете.

— Хорошо, только попозже. А сейчас нам надо всем вместе осмотреть место происшествия.

Весь этот разговор происходил в небольшой гостиной сержанта Ковентри, в принадлежащем ему коттедже, который одновременно служил и местным отделением полиции.

Пройдя около полумили по заросшей вереском пустоши, расцвеченной золотом и бронзой увядающих мхов, мы очутились у бокового входа в поместье Тор. Дорога, которая пролегала вдоль фазаньих вольер, вывела нас на поляну, откуда открывался вид на приземистый, наполовину деревянный помещичий дом, широко раскинувшийся на гребне холма и построенный отчасти в георгианском стиле, отчасти в стиле Тюдор. Невдалеке виднелся длинный, весь в камыше, водоем, сужавшийся посередине, а через него был переброшен однопролетный каменный мост, по которому проходила дорога к дому; влево и вправо от моста водоем расширялся, образуя

ва небольших озерца. У въезда на мост наш провожатый остановился и, указывая на землю, сказал:

— Миссис Гибсон лежала вот здесь. Я заметил это место.

— Надо полагать, вы прибыли сюда до того, как ее унесли в дом?

— Да, за мной послали сразу же.

— А кто послал?

— Сам мистер Гибсон. Когда поднялась тревога, он вместе со всеми кинулся из дома к мосту. Он-то и распорядился ничего не трогать до приезда полиции.

— И правильно сделал. Насколько я могу судить по газетным сообщениям, выстрел был произведен с близкого расстояния.

— Да, сэр, с очень близкого.

— В правый висок?

— Да, сэр, чуть позади виска.

— А как лежала убитая?

— На спине, сэр. Не было никаких следов борьбы. Никаких телесных повреждений. Оружия тоже не найдено. В левой руке убитой была зажата коротенькая записка от мисс Данбар.

— Зажата, говорите вы?

— Да, сэр. Мы с трудом разжали ей пальцы.

— Это очень важный факт. Он позволяет исключить предположение, что кто-то вложил записку в руку убитой уже после смерти, чтобы направить следствие по ложному пути. Ах, да! Если память мне не изменяет, записка была совсем коротенькая: «Буду у моста в девять часов. — Г. Данбар». Я не ошибся?

— Нет, сэр.

— Признает ли мисс Данбар, что это она написала записку?

— Да, сэр.

— И как она это объясняет?

— Никак, сэр. Она отказывается что-либо объяснять. Ее защита отложена до выездной сессии суда.

— Да-а, это очень интересно. Смысл письма тоже весьма туманный, не так ли?

— Не сочтите за дерзость, сэр, — сказал наш провожатый, — но я позволю себе заметить, что это единственное обстоятельство в деле, которое ни у кого не вызывает сомнений.

Холмс покачал головой.

— Если письмо подлинное и действительно было на-

обвиняемой, то оно, несомненно, было получено мисс Гибсон незадолго до встречи, скажем, за час или два. Тогда почему и после смерти она продолжала сжимать его в руке? Ведь не собиралась же она его цитировать? Не настораживает ли вас это обстоятельство?

— После того, что вы сказали, сэр, пожалуй, и меня настораживает.

— Мне нужно посидеть здесь несколько минут и как следует все обдумать.

Он уселся на каменный парапет моста, и я заметил, как быстро и внимательно его живые серые глаза обшарили взглядом всю площадку перед мостом. Вдруг он снова вскочил на ноги и побежал к парапету на противоположной стороне моста, быстро выхватил из кармана лупу и стал что-то на нем рассматривать.

— Очень интересно, — наконец проговорил он.

— Мы тоже заметили эту выбоину, сэр. Я думаю, кто-то из местных жителей, проходя мимо, отколол кусочек.

Каменный парапет был сплошь серый, и только в одном месте белело небольшое пятнышко величиной в шестипенсовую монету. При тщательном осмотре можно было заметить, что поверхность скола свидетельствовала о большой силе удара.

— Какой же сильный был удар, — в раздумье сказал Холмс. Он несколько раз стукнул по парапету тростью, но на нем не осталось и следа. — Да-а, удар был мощный. И место его очень любопытное. Удар-то пришелся по парапету не сверху, а снизу, видите? Выбоина ведь на нижнем его крае.

— Но отсюда до тела по крайней мере пятнадцать футов.

— Да, именно пятнадцать футов. И вполне возможно, что эта выбоина никакого отношения к делу не имеет, но тем не менее не мешает обратить на нее внимание. Ну что ж, здесь вряд ли мы найдем что-либо еще. Вы говорите, следов на земле не было никаких?

— Нет, сэр, земля была твердая как камень. Никаких следов на ней не осталось.

— Нам, пожалуй, пора идти. Сначала зайдем в дом и взглянем на все то оружие, о котором вы нам рассказывали, а затем мы с Уотсоном отправимся в Винчестер. Прежде чем предпринять дальнейшие шаги, я хотел бы увидеться с мисс Данбар.

Мистер Нейл Гибсон еще не вернулся из города, и в доме нас встретил нервный и озабоченный мистер Бейтс, навестивший нас утром. С мрачным злорадством он показал нам целый арсенал разнообразного стрелкового оружия, всевозможных калибров и видов, которое скопилось у его хозяина за годы жизни, полной опасности и приключений.

— Конечно, у мистера Гибсона враги есть, и это нисколько не удивляет тех, кто знает его самого и его повадки, — сказал он. — Ложась спать, он кладет заряженный пистолет в ящик ночного столика. Он вспыльчивый, необузданный человек, сэр, иногда мы просто боимся его. Уверяю вас, его покойная жена временами испытывала перед ним панический ужас.

— А вам приходилось видеть, как он ее бил или прибегал к другим видам физического насилия?

— Нет, никогда. Но мне приходилось слышать жестокие оскорбительные слова, которые он с холодным презрением бросал ей в лицо, да еще в присутствии слуг.

— Нашему миллионеру не слишком-то везло в личной жизни, — заметил Холмс, когда мы шли на станцию. — Ну, что же, Уотсон, мы узнали многое, что было доселе нам неизвестно, но должен признаться, я все еще далек от окончательных выводов. Несмотря на очевидную неприязнь к хозяину, мистер Бейтс все же подтверждает, что, когда поднялся шум, тот находился в библиотеке. Обедать кончили в половине девятого, с этого момента и до прихода садовника все в доме шло своим чередом. Шум поднялся немного позже, но трагическая смерть, несомненно, наступила около того часа, который указан в записке. Нет никаких оснований думать, что мистер Гибсон выходил из дома после пяти, когда вернулся из города. С другой стороны, мисс Данбар, как я понимаю, призналась, что назначила встречу миссис Гибсон возле моста. Правда, следуя совету своего адвоката, она отказалась сообщить что-либо еще до начала суда. Нам очень нужно задать этой молодой леди несколько чрезвычайно важных вопросов, и я не успокоюсь, пока не побеседую с ней лично. Должен вам заметить, что ее дело можно было бы считать абсолютно безнадежным, если бы не одно обстоятельство.

— Какое же?

— Пистолет, найденный у нее в платяном шкафу.

— Помилуйте, Холмс! — воскликнул я. — Мне как

раз казалось, что это самое убедительное доказательство ее вины.

— А вот и нет, Уотсон. Это обстоятельство показалось мне чрезвычайно странным уже тогда, когда я впервые знакомился с делом. Теперь же, когда я знаю гораздо больше, я просто убежден, что только это обстоятельство и дает надежду на успех. Во всем, что происходит, должна быть своя логика. Там, где она отсутствует, есть основания подозревать обман.

— Я что-то не вполне вас понимаю.

— Тогда, Уотсон, давайте представим вас на месте молодой женщины, которая хладнокровно замышляет убийство, чтобы отделаться от соперницы. Вы все продумали. Написали записку. Приходит соперница. У вас в руках оружие. Совершается убийство. Вы до конца и со знанием дела осуществили свой план. Неужели вы станете уверять меня, Уотсон, что после того, как вы так успешно провели операцию, вы поставите под удар вашу репутацию ловкой интриганки, забыв выбросить пистолет в находящиеся поблизости заросли камыша, где он будет погребен навеки, а вместо этого притащите его домой и аккуратно положите в собственный гардероб, который полиция наверняка обыщет, как только явится в дом? Ведь вас, Уотсон, перестанут уважать даже лучшие друзья. Нет, я не могу и в мыслях допустить, что вы совершите такую грубую, такую непростительную ошибку.

— Но когда ваши нервы напряжены до предела...

— Перестаньте, Уотсон. Я в это никогда не поверю. Если преступник планирует убийство хладнокровно и загодя, он непременно продумает заранее все пути его осуществления. Поэтому-то я и думаю, что именно здесь кроется какое-то недоразумение, что-то здесь не так.

— Но тогда нам придется столько всего объяснять.

— Ну что ж, мы можем начать хоть сейчас. Теперь, когда изменилась наша точка зрения, главная улика обвинения становится первым шагом к установлению истины. Взять хотя бы историю с пистолетом. Мисс Данбар утверждает, что она ничего о нем не знала. Стоя на новой точке зрения, мы считаем, что она говорит правду. Значит, пистолет положил в шкаф кто-то другой. Но кто? Тот, кто хотел инкриминировать ей это убийство. Может быть, этот человек и есть настоящий убийца? Вот видите, так мы сразу встаем на путь наиболее плодотворного расследования.

Нам пришлось заночевать в Винчестере, так как оформление пропуска несколько затянулось. Но на следующее утро, получив наконец разрешение посетить мисс Данбар в ее камере, мы отправились в тюрьму в сопровождении мистера Джойса Каммингса, молодого, подающего большие надежды адвоката, которому была поручена защита обвиняемой. После всего того, что мы услышали о мисс Данбар, я ожидал, что увижу очень красивую женщину, и тем не менее она произвела на меня неизгладимое впечатление. И меня уже нисколько не удивляло, что даже этот властный, деспотичный человек увидел в ней нечто такое, что было сильнее его самого и что имело над ним власть. Глядя на ее волевое и в то же время нежное лицо с правильными чертами, невозможно было хоть на минуту усомниться в ее благородстве, даже соверши она опрометчивый шаг, — столько в ней было величия души. Она была высокой статной брюнеткой, и во всем ее облике чувствовалась незаурядная сила характера, тем более странным казалось выражение беззащитности в ее темных глазах, как у затравленного оленя, который чувствует, как смыкаются тенета, и не знает, как из них выбраться. И вот теперь, когда она услышала, что мой знаменитый друг пришел, чтобы помочь ей, на бледных щеках ее проступил едва заметный румянец, а в устремленных на нас глазах зажегся свет надежды.

— Наверно, мистер Нейл Гибсон рассказал вам о том, что произошло между нами? — спросила она тихим, прерывающимся от волнения голосом.

— Да, — ответил Холмс. — Вам нет нужды возвращаться к этому мучительному эпизоду в вашей жизни. Теперь, когда я увидел вас, я готов поверить словам мистера Гибсона и о том влиянии, которое вы на него оказывали, и о невинном характере ваших с ним отношений. Но почему на суде об этом не было сказано ни слова?

— Я просто не могла поверить, что можно принимать всерьез столь чудовищное обвинение. Мне казалось, что все разъяснится и нам не придется вытаскивать на свет Божий такие мучительные для всех подробности внутрисемейных отношений. Но теперь я поняла, что положение не только не разъяснилось, но стало еще серьезнее.

— Дорогая мисс Данбар, — озабоченно сказал Холмс, — умоляю вас не питать никаких иллюзий на

этот счет. Положение очень серьезно, и присутствующий здесь мистер Каммингс, несомненно, подтвердит, что в настоящее время у нас нет почти никаких шансов выиграть дело, и если мы хотим добиться вашего полного оправдания, нам придется приложить неимоверные усилия. Вам грозит серьезная опасность, и с моей стороны было бы жестоко напрасно вас обнадеживать. Поэтому очень прошу вас оказать мне максимальную помощь в моих стараниях добраться до истины.

— Я ничего не собираюсь скрывать.

— Тогда расскажите нам, пожалуйста, о ваших отношениях с миссис Гибсон.

— Она меня ненавидела всеми фибрами души, мистер Холмс. Она была из тех женщин, которые ничего не делают наполовину. Она отмеряла той же самой мерой и свою любовь к мужу и свою ненависть ко мне. Я допускаю, что она заблуждалась насчет характера наших с ним отношений. Не хочу быть к ней несправедливой, но для нее физическая любовь была всепоглощающей. Она просто не могла понять, что меня и ее мужа связывали духовные узы и что я осталась у них только потому, что очень хотела убедить мистера Гибсона — власть надо употреблять только в благих целях. Теперь я вижу, что была не права. Я напрасно осталась в доме, где стала причиной разлада и несчастья, хотя мой отъезд — в этом я уверена — никого не сделал бы счастливым.

— А теперь, мисс Данбар, прошу вас рассказать мне все, что произошло в тот злополучный вечер, и поподробнее.

— Я расскажу вам всю правду, вернее все, что мне известно, но мне трудно что-либо доказать; к тому же некоторые факты — и очень важные — я не только не могу понять, но даже не нахожу им какого-нибудь объяснения.

— Вы дадите нам факты, а мы, может быть, поможем вам найти для них объяснение.

— Сначала о том, каким образом в тот вечер я оказалась у моста Тор. Утром я получила записку от миссис Гибсон. Я нашла ее на столе в классной комнате, вероятно, она сама ее принесла. В ней она просила прийти к мосту после обеда, ей нужно было сказать мне что-то важное. Она просила оставить ответ в саду на солнечных часах, ибо не хотела, чтобы об этом знал кто-либо еще. Такая таинственность показалась мне странной, но я поступила так, как она просила, оставив

...в условленном месте. Она также просила меня уничтожить ее записку, и я сожгла ее на каминной решетке в детской. Бедная женщина, она очень боялась мужа: он был груб с ней, и я часто его укоряла за это. Я подумала, что она ведет себя так странно потому, что боится, как бы он не узнал о нашей встрече.

— Тем не менее вашу записку она сберегла в целости и сохранности. Вы знаете об этом?

— Да. Я очень удивилась, узнав, что в момент смерти она держала ее в руке.

— Так что же произошло потом?

— Я отправилась к мосту, как обещала. Когда я пришла, она уже ждала меня. До этого момента я просто не представляла себе, как сильно ненавидела меня эта бедная женщина. Она была прямо как помешанная — думаю, она и в самом деле была не в своем уме; ее безумие не бросалось в глаза, но в ее поступках уже проявлялись та хитрость и изощренность, которые свойственны всем сумасшедшим. Разве иначе могла бы она, встречаясь со мной каждый день, казаться равнодушной, когда в груди у нее клокотала такая бешеная ненависть? Я бы не хотела повторять то, что она говорила. Переполнявшая ее неистовая злоба и ненависть хлынули через край в виде потока оскорбительных, бранных слов. Я ничего не сказала ей в ответ — просто не могла. Я закрыла уши руками и бросилась прочь, а вдогонку мне неслись страшные проклятия, которые она выкрикивала высоким пронзительным голосом, стоя у въезда на мост.

— А где нашли ее тело?

— В нескольких ярдах от этого места.

— Но если предположить, что очень скоро после этого прозвучал роковой выстрел, то вы должны были его слышать.

— Нет, я ничего не слышала. Я была в таком ужасе и смятении от этой неожиданной вспышки гнева, что поспешила укрыться в своей комнате.

— Стало быть, вы вернулись в свою комнату. Вы выходили из нее вечером или ночью?

— Да. Я выбежала из комнаты, когда в доме поднялся шум, как, впрочем, и все остальные. Тогда я и узнала о смерти этой несчастной.

— Вы видели мистера Гибсона?

— Да, сразу после того, как он вернулся с места, где произошла трагедия. Он тут же послал за доктором и полицией.

— Как, на ваш взгляд, он был очень расстроен?

— Мистер Гибсон очень сильный и сдержанный человек. Я думаю, он никогда бы не стал открыто проявить свои чувства. Но я хорошо знаю его и сразу заметила, что он очень встревожен.

— Теперь мы подошли к самому важному обстоятельству — пистолету, который был найден в вашей комнате. Вы видели его прежде?

— Никогда. Клянусь вам.

— Когда его нашли?

— На следующее утро, когда полицейские приступили к обыску.

— Его нашли среди ваших платьев?

— Да, на дне шкафа под платьями.

— Как вы думаете, сколько времени он мог там находиться?

— Накануне утром его там не было.

— Почему вы так думаете?

— Потому что накануне утром я наводила порядок в шкафу.

— Понятно. Стало быть, кто-то вошел к вам в комнату и положил пистолет в шкаф, чтобы подозрение пало на вас.

— Вероятно, да.

— А когда?

— Это можно было сделать во время завтрака или когда я была с детьми в классной комнате.

— То есть примерно тогда, когда вы обнаружили записку?

— Да, я была в классной все утро.

— Благодарю вас, мисс Данбар. Не припоминаете ли вы еще какие-нибудь факты, которые могли бы помочь мне в расследовании?

— Нет.

— На каменном парапете моста, как раз напротив того места, где нашли тело миссис Гибсон, я заметил свежую выбоину и осколок камня, отскочившего в результате какого-то сильного удара. Вы можете это как-нибудь объяснить?

— Я думаю, это простое совпадение.

— Очень, очень любопытно, мисс Данбар. Почему выбоина появилась в тот самый день и на том самом месте?

— Но откуда она взялась? Ведь отколоть кусочек камня не так-то просто.

Холмс ничего не ответил. Его бледное живое лицо стало вдруг сосредоточенным и отрешенным, а это, как я давно заметил, было высшим проявлением его гениальности. Напряженная работа мысли была настолько очевидна, что все мы — адвокат, обвиняемая и я сам — глядели на него, не отрываясь, не смея нарушить молчание. Вдруг он вскочил со стула — теперь он был преисполнен энергии и готовности действовать.

— Идем, Уотсон, идем скорее!

— Что случилось, мистер Холмс?

— Ровно ничего, дорогая мисс Данбар. Мистер Камингс, я сам свяжусь с вами. Если на то будет воля Божья, я подготовлю дело, которое прогремит на всю Англию. Ждите от меня вестей завтра, мисс Данбар, и поверьте мне на слово, тучи скоро рассеются. У меня есть все основания верить, что свет истины непременно пробьется из-за туч.

Расстояние от Винчестера до поместья Тор небольшое, но оттого, что нам не терпелось поскорее попасть туда, путь показался мне долгим, а Холмсу, насколько я мог судить, и вовсе бесконечным. Ему не сиделось спокойно, и он то ходил взад и вперед по вагону, то барабанил длинными тонкими пальцами по подлокотнику дивана. Когда мы подъезжали к нашей станции, он неожиданно уселся напротив меня — мы ехали первым классом, кроме нас двоих, в вагоне никого не было — и, положив обе руки мне на колени, посмотрел на меня озорным взглядом, означавшим, что он что-то затеял.

— Уотсон, — сказал он. — Если мне память не изменяет, вы всегда вооружены во время наших вылазок.

Я действительно брал с собой оружие, но не ради своей, а ради его безопасности, о которой он, будучи поглощен делом, никогда не заботился, и мой револьвер не раз оказывался весьма кстати. Я не преминул напомнить ему об этом.

— Признаюсь, в этих делах я и в самом деле бываю несколько рассеян. И сегодня револьвер с вами?

Я вытащил револьвер из бокового кармана брюк — небольшое, удобное, надежное оружие. Он открыл затвор, вытряс из него патроны и очень внимательно его осмотрел.

— Тяжелая штука, очень тяжелая.

— Да, надежно сработан.

минуту-другую он его рассматривал.

— Знаете, Уотсон, — сказал он, — мне кажется, ваш револьвер будет иметь самое непосредственное отношение к делу, которым мы занимаемся.

— Вы шутите, дорогой Холмс.

— Нет, Уотсон, отнюдь. Нам с вами предстоит провести эксперимент. Если он пройдет успешно, все сразу разъяснится. А успех эксперимента во многом зависит от того, как поведет себя ваш стальной друг. Один патрон отложим в сторону. Стало быть, вкладываем пять патронов и ставим на предохранитель. Вот так! Теперь он стал тяжелее и гораздо больше похож на тот, что нашли в платяном шкафу.

Я понятия не имел, что у него на уме, а он ничего мне не объяснил и сидел, погруженный в свои мысли, пока наш поезд не подошел к небольшой станции в графстве Хэмпшир. Мы наняли обшарпанную двуколку и через четверть часа сошли у дома нашего недавнего знакомца сержанта Ковентри.

— Нашли ключ к разгадке, мистер Холмс? И в чем же он?

— Все зависит от того, как поведет себя пистолет доктора Уотсона, — сказал мой друг. — Вот этот. А теперь, сержант, не могли бы вы дать мне десять ярдов бечевки?

В деревенской лавке мы отыскали клубок прочной бечевки.

— Думаю, что больше нам ничего не понадобится, — сказал Холмс. — А теперь, если не возражаете, мы тронемся в путь, и я надеюсь, это будет последний, заключительный этап.

Солнце садилось, освещая поросшие вереском холмы Хэмпшира, чуть тронутые чудесными красками осени. Сержант вразвалку шагал рядом, то и дело недоверчиво поглядывая на Холмса; это, по-видимому, означало, что он очень сомневается в здравом уме моего друга. Когда мы приблизились к месту трагедии, я заметил, что мой друг, сохраняя присущее ему внешнее спокойствие, в глубине души очень волнуется.

— Да, — сказал он в ответ на мое замечание. — В который раз вы становитесь свидетелем моих промахов. На подобные вещи у меня ведь давно выработался нюх, и тем не менее иногда он меня подводит. Мысль эта осенила меня в Винчестерской тюрьме, и я был уверен, что прав. Но при напряженной работе мозга всегда воз-

никаст несколько версий, которые нередко направляли нас по ложному пути. Все же, Уотсон, можно было тогда попробовать.

На ходу Холмс крепко привязал один конец бечевки к ручке револьвера. Теперь мы оказались как раз на месте трагического происшествия. С помощью сержанта он тщательно определил точное место, где лежала убитая. Потом он долго искал что-то среди мха и вереска и наконец нашел увесистый камень. Привязав к нему другой конец бечевки, он перекинул камень за парапет, так что теперь камень свободно раскачивался над водой. Затем он встал на роковое место на некотором расстоянии от края, держа револьвер в руке. Бечевка между револьвером и тяжелым камнем туго натянулась.

— Ну-ка!

Тут он поднял револьвер к виску и почти сразу же разжал пальцы. В то же мгновение револьвер под тяжестью камня метнулся в сторону, с громким стуком ударился о парапет и, скользнув через край, исчез в воде. Холмс тотчас же опустился на колени перед парапетом и издал радостный крик — очевидно, он нашел то, что искал.

— Вы видели когда-нибудь более убедительный эксперимент? — вскричал он. — Уотсон! Ваш револьвер помог-таки найти ключ к разгадке! — При этом он показал нам еще один осколок камня точно такого же размера и формы, что и первый, найденный еще вчера у нижнего края парапета.

— Сегодня мы переночуем в гостинице, — продолжал он, поднимаясь с колен и обращаясь к изумленному сержанту. — Не сомневаюсь, что с помощью «кошки» или другого нехитрого приспособления вы без труда достанете со дна револьвер моего друга. Рядом с ним вы обязательно обнаружите еще один револьвер, веревку и какой-нибудь груз, с помощью которых эта мстительная особа пыталась замаскировать собственное преступление и возвести обвинение в убийстве на невинную жертву ее козней. Вы можете сообщить мистеру Гибсону, что я буду у него завтра утром, и мы сможем предпринять меры к восстановлению доброго имени мисс Данбар.

Поздно вечером того же дня, когда, сидя в деревенской гостинице, мы мирно курили трубки, Холмс подвел итог случившемуся.

— Боюсь, Уотсон, — сказал он, — что включение в

[illegible] анналы загадочного происшествия у моста Тор ни-как не может упрочить мою репутацию. Мысль моя работала медленно и вяло, а способность сочетать игру воображения и трезвую оценку реальности, которая лежит в основе моего мастерства, изменила мне. Должен признать, что осколка парапета было вполне достаточно, чтобы сделать правильный вывод, и я не могу простить себе, что не догадался обо всем раньше.

Нужно отметить, что мысль этой несчастной работала четко и изощренно, и распутать ее хитросплетения было не так-то просто. В наших расследованиях, насколько я помню, мы никогда раньше не сталкивались с более странными последствиями патологической любви. Была ли мисс Данбар ее соперницей в физическом или лишь в платоническом смысле, было для нее одинаково неприемлемо, а стало быть, и непростительно. Несомненно, она считала молодую девушку виновной также в жестоком к себе отношении и оскорбительных выпадах мужа, который пытался лишь умерить ее экспансивную неуемную любовь. Сначала ей пришла в голову мысль покончить с собой, но, поразмыслив, она решила обречь свою соперницу на участь гораздо более тяжкую, чем мгновенная смерть.

Все предпринятые ею шаги укладываются в четкую схему и свидетельствуют об удивительной изощренности ума. Ей очень ловко удалось заполучить от мисс Данбар записку, которая позволяет предположить, что именно та выбрала место преступления. Она так беспокоилась, что записка останется незамеченной, что немного перестаралась, держа ее в руке и в смертный час. Уже одно это должно было насторожить меня гораздо раньше.

Затем она взяла один из пистолетов мужа — в доме, как вы видели, был целый арсенал — и припрятала его для выполнения своего замысла. Другой точно такой же пистолет она спрятала утром в платяном шкафу мисс Данбар, предварительно использовав один патрон, что могла без труда сделать в лесу, не привлекая к себе внимание. Затем она отправилась к мосту, где и придумала этот весьма замысловатый способ избавиться от оружия. Когда появилась мисс Данбар, она, собрав последние силы, излила на нее всю накопившуюся злость, а когда та уже не могла слышать выстрела, осуществила свой преступный замысел. Теперь каждое звено в цепи событий обрело свое место. Газетчиков,

конечно, будет интересовать, почему не прочесали дно озера сразу же после убийства. Но все мы, как известно, крепки задним умом. Да и обыскать дно заросшего камышом озера не так-то просто, если не иметь ясного представления, что нужно искать и в каком именно месте. Ну что ж, Уотсон, мы помогли замечательной женщине и недюжинному мужчине. И если в будущем случится так, что они объединят усилия, а это очень вероятно, то финансисты мира, очевидно, обнаружат, что мистер Гибсон кое-чему научился в той школе Печали, где все мы постигаем премудрости бренной жизни.

ИСТОРИЯ ЖИЛИЧКИ ПОД ВУАЛЬЮ

Если вспомнить, что мистер Шерлок Холмс занимался своей практикой двадцать три года и из них семнадцать лет мне довелось сотрудничать с ним и вести записи его дел, станет ясно, что у меня накопилось немало материала. Задача всегда заключалась не в поиске, но в выборе. Целую полку занимают тетради с ежегодными записями, имеются папки, битком набитые документами, — поистине клад для всякого, кто изучает не только преступность, но самые разные общественные и государственные события, наделавшие шуму в конце викторианской эпохи. Касательно последних могу сказать, что авторам тревожных писем, умоляющим пощадить честь их семейства или славное имя их знаменитых предков, опасаться нечего. Осмотрительность и высокое сознание профессионального долга, всегда отличавшие моего друга, остаются в силе при отборе настоящих записок, и ничье доверие не будет обмануто. И я решительно осуждаю недавние попытки уничтожить эти бумаги. Кто стоит за всем этим — известно, и если попытки повторятся, я с разрешения мистера Холмса предам гласности все сведения о некоем политике, маяке и дрессированном баклане. По крайней мере один читатель меня поймет.

Наивно было бы полагать, что во всех без исключения случаях Холмсу удавалось проявить поразительный дар чутья и наблюдательности, который я пытался отобразить в своих заметках. Порою ему надо было приложить немало усилий, чтоб сорвать плод, а порой плод и сам падал в руки. Нередко самые страшные человеческие трагедии давали Холмсу меньше всего возможностей проявить свои таланты, одну из подобных историй я и хочу рассказать. Я лишь слегка изменил имя и место действия, в остальном же все излагаю точно.

Однажды в конце 1896 года я получил от Холмса записку с просьбой спешно к нему прибыть. Приехав, я застал его в комнате, полной табачного дыма; в кресле напротив хозяина сидела немолодая, благодушного вида, пышущая здоровьем женщина, — такие обычно сдают жильцам комнаты с пансионом.

— Это миссис Меррилоу из Южного Брикстона, — сказал мой друг и повел рукой в облаке дыма. — Миссис Меррилоу не против, когда курят, Уотсон, так что вы вольны предаться своей скверной привычке. Миссис Меррилоу может рассказать нам кое-что интересное, и, пожалуй, для дальнейшего развития событий ваше присутствие окажется полезным.

— Все, чем я могу...

— Вы понимаете, миссис Меррилоу, навестить миссис Рондер я предпочел бы при свидетеле. Пожалуйста, предупредите ее об этом.

— Господь с вами, мистер Холмс, — сказала посетительница. — Она уж так хочет вас видеть, вы хоть всех соседей с собой приводите, она против не будет.

— Тогда мы придем еще до вечера. Давайте для начала установим все факты. Если мы переберем их по порядку, доктору Уотсону будет легче разобраться в этой истории. Вы говорите, миссис Рондер снимает у вас комнату уже семь лет и вы только один раз видели ее лицо.

— И клянусь Богом, лучше бы мне его не видать! — сказала миссис Меррилоу.

— Как я понял, лицо ее страшно изуродовано.

— Знаете, мистер Холмс, это и лицом-то не назовешь. Вот как. Наш молочник один раз ее увидал, в окно заглянул, так он выронил бидон, молоко по всему палисаднику разлилось. Вот какое у ней лицо. Я как увидала, а я ее нечаянно застала, она поскорей закрылась и говорит: ну вот, говорит, миссис Меррилоу, теперь вам понятно, почему я никогда не поднимаю вуаль.

— Знаете вы что-нибудь о ее прошлом?

— Ничего не знаю.

— Она к вам приехала с каким-нибудь рекомендательным письмом?

— Нет, сэр, но она выложила наличные, и не маленькие. Прямо на стол плату вперед за три месяца, и никаких споров про условия. Я женщина бедная, по нынешним временам разве я могу упустить такой случай.

— Объяснила она, почему решила поселиться именно у вас?

— Мой дом стоит в стороне от дороги, не на ходу, как другие. И опять же я пускаю только одного жильца, а своей семьи у меня нету. Я так понимаю, она спрашивала и в других домах, но мой ей лучше подошел. Ей хочется жить подальше от людей, за это она готова заплатить большие деньги.

— Вы говорите, она с самого начала не показывала лица, только один раз это нечаянно получилось. Да, странная история, очень странная, я не удивляюсь, что вы хотите проверить, в чем тут дело.

— Нет, мистер Холмс, она мне хорошо платит, и я всем довольна. Такая спокойная жиличка, никакого от нее беспокойства.

— Тогда из-за чего же вы встревожились?

— Из-за ее здоровья, мистер Холмс. Вроде она очень худеет. И что-то страшное у ней на душе. Кричит: «Убийство! Убийство!» А один раз слышу, она кричит: «Ты бессердечный зверь! Ты чудовище!» Дело было ночью, и кричала она на весь дом, меня прямо в дрожь бросило. Вот я утром к ней и пошла, миссис Рондер, говорю, если у вас какая тяжесть на душе, так есть священники, говорю, и есть полиция. Не одни, так другие вам помогут. А она говорит: «Бога ради, не надо полиции, и никакой священник не может изменить прошлое. И однако, — говорит, — у меня полегчало бы на душе, если бы кто-нибудь узнал правду, пока я не умерла». «Что ж, — говорю, — коли вам не надо таких, кому по чину положено, так есть один сыщик, про него все знают», — прошу прощения, мистер Холмс. А она так за это и ухватилась. «Вот, — говорит, — кто мне нужен. И как я сама раньше не додумалась. Приведите его ко мне, миссис Меррилоу, а если не захочет пойти, скажите ему, что я жена Рондера, который в цирке показывал диких зверей. И еще назовите такое место — Аббас Парва». Вот видите, она так и написала: Аббас Парва. «Если он такой человек, как я думаю, — говорит, — он сразу ко мне придет».

— И она не ошиблась, — заметил Холмс. — Очень хорошо, миссис Меррилоу. Я хотел бы немного потолковать с доктором Уотсоном. Это займет у нас время до обеда. К трем часам ждите нас у себя в Брикстоне.

Едва наша посетительница вперевалку прошлепала за дверь — никак иначе не определишь способ передвиже-

ния миссис Меррилоу, — Шерлок Холмс молнией метнулся к груде толстых тетрадей в углу. Несколько минут слышался только шелест перелистываемых страниц, и наконец довольный возглас: он нашел то, что искал. Он был так взбудоражен, что даже не встал, так и сидел на полу, скрестив ноги, словно какой-то странный Будда, среди раскиданных тетрадей, и одна раскрыта на коленях.

— Тогда этот случай встревожил меня, Уотсон. Вот доказательство — мои пометки на полях. Признаюсь, я ничего не мог понять. И, однако, был уверен, что следователь ошибался. Вы не помните трагедию в Аббас Парва?

— Нет, Холмс.

— А ведь вы тогда были со мной. Но, конечно, мои впечатления были очень поверхностные, не на что было опереться и никто не обратился ко мне за содействием. Может быть, хотите просмотреть мои заметки?

— Вы не перескажете мне суть?

— Ничего нет проще. Пока я рассказываю, вы, наверно, все вспомните. Рондер был владелец бродячего цирка. Он слыл в свое время одним из знаменитейших дрессировщиков, соперничал с Вумбелом и Сэнджером. Однако известно, что он стал выпивать, и ко времени той страшной трагедии он и его цирк покатились по наклонной плоскости. Цирк остановился на ночлег в Аббас Парва, деревушке в графстве Беркшир, там и разыгрался этот ужас. Остановились они там на полпути в Уимблдон, просто стали лагерем, не созывая зрителей, деревушка так мала, что выступление не окупилось бы.

Среди четвероногих актеров был великолепный североафриканский лев по кличке Король Сахары. Обычно Рондер и его жена во время представления входили к нему в клетку. Посмотрите, вот фотография этого зрелища, на ней видно, что Рондер был огромный, похожий на борова детина, а жена его — женщина поразительной красоты. На следствии о смерти говорилось, что по некоторым признакам лев был опасен, но, как всегда бывает, привычка порождает небрежность, и в результате эта трагедия.

Обычно либо сам Рондер, либо его жена кормили льва по ночам. Иногда шел кто-то один, иногда оба, но больше никому это делать не позволяли, уверенные, что, раз зверь получает пищу из их рук, он относится к ним как к кормильцам и никогда не причинит вреда.

в ту ночь, семь лет назад, они пошли ко льву оба, и кончилось это ужасной трагедией, подробности которой так и остались неясны.

По-видимому, около полуночи весь лагерь переполошили львиный рык и отчаянные вопли женщины. Все конюхи и employes[1] выскочили с фонарями из своих палаток, и при этом свете глазам их представилось ужасающее зрелище. Рондер лежал ничком шагах в двенадцати от открытой клетки, голова его была разбита, на затылке глубокие раны — следы львиных когтей. А у самой двери клетки лежала на спине миссис Рондер, зверь навалился на нее и свирепо рычал. Он так изодрал когтями ее лицо, что думали, ей не выжить. Несколько человек из цирка во главе с силачом Леонардо и клоуном Григсом шестами отогнали льва, он прыгнул обратно в клетку, и ее заперли. Как он очутился на свободе — загадка. Предположили, что супруги собирались войти в клетку, но, когда ее отворили, зверь на них набросился. Больше в показаниях свидетелей не было ничего существенного, только вот одно: когда миссис Рондер несли к фургону, где жили супруги, она в бреду, в страшных мучениях все кричала: «Трус! Трус!» Показания она смогла дать лишь через полгода, но следствие надлежащим порядком пришло к очевидному заключению, что смерть Рондера — результат несчастного случая.

— Какой же другой тут возможен вывод? — сказал я.

— Да, он напрашивается. И, однако, были тут две-три мелочи, которые не давали покоя молодому Эдмундсу из беркширской полиции. Смышленый малый! Его позже послали в Аллаабад. От него я и узнал об этой истории, он заглянул тогда ко мне и поделился своими сомнениями.

— Такой рыжий, худощавый?

— Он самый. Я так и знал, вы скоро все вспомните.

— Но что же не давало покоя Эдмундсу?

— По правде сказать, это нас обоих беспокоило. Довольно трудно было восстановить картину случившегося. Посмотрите на это с точки зрения льва. Он на свободе. Как он поступает? В несколько прыжков настигает Рондера. Рондер повернулся, убегая — следы когтей на затылке, — но лев свалил его наземь. И потом, чем бы нестись дальше, на свободу, возвращается к женщи-

[1] Служители (*франц.*).

не, которая стоит у самой клетки, сбивает ее с ног и впивается зубами в лицо. И еще эти ее крики, по ним выходит, что муж так или иначе ее подвел. А чем же он, бедняга, мог ей помочь? Видите, в чем сложность?

— Да, конечно.

— И еще одно. Мне это пришло в голову сейчас, когда я все обдумываю заново. Кто-то из свидетелей показывал, что одновременно с львиным рыком и воплями миссис Рондер закричал от ужаса какой-то мужчина.

— Конечно, сам Рондер.

— Ну, при том, что у него был раздроблен череп, едва ли он еще мог кричать. По крайней мере двое свидетелей показали, что мужчина и женщина кричали одновременно.

— Мне думается, к этому времени крик подняли все, кто был в лагере. А что до остальных сомнений, я, кажется, мог бы их разрешить.

— Рад буду услышать ваши доводы.

— Когда лев выскочил из клетки, эти двое находились в десятке шагов от нее. Рондер повернулся, и зверь его ударил. Женщине пришла мысль кинуться в клетку и запереться изнутри. Это было для нее единственное убежище. Она бросилась в клетку, лев настиг ее и сбил с ног. Ее возмутило, что муж повернулся, пытаясь удрать, и тем поощрил разъяренного зверя. Оставайся они оба к нему лицом, возможно, они бы его укротили. Отсюда ее крики «Трус!».

— Блистательно, Уотсон! В вашем алмазе есть только один изъян.

— Какой же изъян, Холмс?

— Если оба они были в десяти шагах от клетки, каким образом лев очутился на свободе?

— А если у них был какой-то недруг, который отпер клетку?

— Но с чего бы льву с такой свирепостью напасть на них, ведь он привык с ними играть и проделывать разные трюки, когда они входили к нему в клетку?

— Возможно, тот же недруг чем-то заранее разозлил зверя.

Холмс призадумался и несколько минут молчал.

— Что ж, Уотсон, кое-что говорит в пользу вашей теории. Враги у Рондера были, и немало. Эдмундс сказал мне, что в подпитии этот субъект был ужасен. Эта-кая громадная скотина, он накидывался с бранью и с

кулаками на всякого, кто подвернется под руку. Подозреваю, что крики о чудовище, про которые нам поведала сегодняшняя посетительница, это ночные воспоминания о дражайшем покойнике. Однако наши рассуждения бесплодны, пока нам не известны все факты. На буфете есть холодная куропатка и бутылка монраше. Давайте сперва подкрепимся, а потом с новыми силами возьмемся за дело.

Когда двуколка доставила нас к дому миссис Меррилоу, толстуха уже ждала на пороге, заполняя своей пышной особой дверной проем скромного, особняком стоящего жилища. Ясно было, что первейшая ее забота — как бы не лишиться выгодной жилички, и, прежде чем проводить нас к миссис Рондер, она стала заклинать нас не говорить и не делать ничего такого, что привело бы к столь нежеланной развязке. Мы ее успокоили, поднялись за нею по лестнице, покрытой истертою ковровой дорожкой, и вступили в комнату таинственной жилицы.

Комната была душная, затхлая, дурно проветренная, чего и следовало ожидать, поскольку обитательница почти никогда ее не покидала. Казалось, этой женщине, которая когда-то держала зверей в клетках, странным образом отплатила сама Судьба, заперев в клетку ее самое, точно зверя. И вот она сидит в затененном углу, в поломанном кресле. От долгих лет бездействия фигура ее несколько отяжелела, но видно, что прежде она была хороша и стройна, еще и по сей день сохранились пышные, соблазнительные формы. Густая темная вуаль закрывает лицо, спускаясь до верхней губы, но видны безупречно очерченный рот и нежный округлый подбородок. Я очень легко себе представил, что прежде она была настоящая красавица. И голос у нее оказался приятный, мелодичный.

— Мое имя вам знакомо, мистер Холмс, — сказала она. — Я так и думала, что, услышав его, вы придете.

— Совершенно верно, сударыня, хотя, право, не понимаю, как вы узнали, что я интересовался вашим делом.

— Я об этом узнала, когда здоровье мое окрепло и меня расспрашивал мистер Эдмундс, детектив графства. Боюсь, тогда я ему солгала. Пожалуй, было бы разумнее сказать правду.

— Всегда разумнее говорить правду. Но почему же вы ему солгали?

— Потому что от этого зависела судьба одного человека. Я знаю, он был сущее ничтожество, но все же не хотела я, чтобы его гибель была на моей совести. Мы были так близки... так близки!

— А теперь это препятствие устранено?

— Да, сэр. Человек, о котором я упоминаю, умер.

— Тогда почему бы вам теперь не рассказать полиции все, что вам известно?

— Потому что это касается не только его. Это касается меня. Я не вынесла бы скандала и огласки, а они неизбежны при полицейском расследовании. Жить мне осталось недолго, но я хочу умереть спокойно. И все же мне хотелось найти хоть одного разумного человека, кому я могу рассказать мою ужасную историю, пусть, когда меня не станет, все будет понято.

— Вы оказываете мне большую честь, сударыня. Однако у меня есть чувство ответственности. Я не могу обещать, что, выслушав вас, не сочту своим долгом сообщить обстоятельства дела полиции.

— Думаю, этого не случится, мистер Холмс. Я слишком хорошо знаю ваш характер и ваши методы, я ведь уже несколько лет слежу за вашей работой. Судьба оставила мне единственную радость — чтение, и мне известно едва ли не все, что происходит в мире. Так или иначе, я не хотела бы упустить случай, и может быть, вы воспользуетесь рассказом о моей трагедии. А у меня, если я все расскажу, станет легче на душе.

— Мой друг и я рады будем вас выслушать.

Миссис Рондер поднялась и достала из ящика фотографию мужчины. Это явно был профессиональный акробат, великолепно сложенный атлет, могучие руки скрещены на выпуклой груди, под густыми усами — улыбка, самодовольная улыбка победителя.

— Это Леонардо, — сказала миссис Рондер.

— Леонардо — силач, который давал показания на следствии?

— Он самый. А это мой муж.

У мужа лицо было ужасное — поистине человек-свинья, вернее, дикий кабан, ибо в зверской грубости своей он был страшен. Нетрудно было вообразить, как он скрежещет зубами, как пускает пену этот гнусный рот, с какой неистовой злобой вонзаются во все на свете свирепые маленькие глазки. Негодяй, хам, скотина — вот что написано было на этом лице с тяжелой нижней челюстью.

— Эти две фотографии помогут вам, господа, понять мою историю. Я, бедная циркачка, росла на опилках арены, мне еще и десяти лет не исполнилось, когда я прыгала через обруч. Когда я подросла, Рондер полюбил меня, если такую похоть можно назвать любовью, и в недобрый час я стала его женой. С того дня моя жизнь стала сущим адом, и этот дьявол вечно терзал меня. В цирке не было человека, кто не знал бы, как он со мной обращается. Он без конца мне изменял. А если я жаловалась, связывал меня и полосовал хлыстом. Все меня жалели, все его ненавидели, но что они могли поделать? Все без исключения его боялись. Страшен он был всегда и смертельно опасен, когда напьется. Опять и опять его привлекали к ответственности то за оскорбление действием, то за жестокое обращение с животными, но денег у него было вдоволь и штрафы его не смущали. Лучшие артисты от нас сбежали, и цирк постепенно приходил в упадок. Все держалось только на Леонардо, на мне да еще на маленьком Джимми Григсе, клоуне. Бедняжка, не так уж он был забавен, но старался изо всех сил.

А Леонардо все больше значил в моей жизни. Вы видите, как он выглядел. Теперь-то я знаю, какой жалкий дух скрывался в этом великолепном теле, но по сравнению с моим мужем он казался архангелом Гавриилом. Он меня жалел, помогал мне, и наконец наша близость перешла в любовь — глубокую, страстную любовь, о такой я раньше только мечтала, но не надеялась испытать. Муж это заподозрил, но, думаю, он по сути был трус, хоть и хам, а Леонардо — единственный, кого он боялся. И в отместку стал мучить меня больше прежнего. Однажды ночью Леонардо, услыхав мои крики, чуть не ворвался в наш фургон. В ту ночь дело едва не кончилось трагедией, и вскоре мы с любимым поняли, что ее не избежать. Мой муж не должен жить. Мы решили, он должен умереть.

Леонардо был умен и изобретателен. Это он все придумал. Не скажу, чтобы я его осуждала, ведь я готова была пройти с ним этот путь до конца. Но у меня никогда не хватило бы смекалки составить такой план. Мы сделали дубинку — ее смастерил Леонардо, в широкой свинцовой части он закрепил пять длинных стальных гвоздей остриями наружу, расставленных в точности как когти львиной лапы. Дубинка эта и должна была нанести моему мужу смертельный удар, а вы-

глядело бы все так, словно его убил лев, когда вырвался на свободу.

В ту ночь, когда мы с мужем по обыкновению пошли кормить льва, тьма была хоть глаз выколи. Мы несли в цинковом ведре сырое мясо. Леонардо ждал за углом большого фургона, мимо которого нам надо было пройти к клетке. Он замешкался, и мы прошли дальше прежде, чем он успел ударить, но он тихонько прокрался следом, и я услышала удар, который раздробил мужу череп. Сердце мое радостно забилось, я бросилась вперед и откинула щеколду, на которую запиралась клетка льва.

И тут случилось страшное. Может быть, вы слышали, как чутки эти звери к запаху человеческой крови и как он их возбуждает. Изощренное чутье вмиг подсказало льву, что человек убит. Едва я отодвинула запоры, он выскочил и повалил меня. Леонардо мог меня спасти. Если бы он бросился вперед и ударил зверя той дубиной, он бы, наверно, его укротил. Но он струсил. Я слышала, он завопил от ужаса, и видела — он повернулся и кинулся бежать. И в этот миг зубы зверя впились мне в лицо. Под его обжигающим смрадным дыханием я уже наполовину потеряла сознание и почти не чувствовала боли. Обеими руками я пыталась оттолкнуть огромную, пышущую жаром окровавленную пасть и звала на помощь. Я поняла, что весь лагерь всполошился, потом смутно помню, Леонардо, Григс и другие мужчины тащили меня из-под лап зверя. Это было последнее мое воспоминание на долгие, томительные месяцы, мистер Холмс. Когда я пришла в себя и погляделась в зеркало, я прокляла этого льва — о, как я его проклинала! — не за то, что он отнял мою красоту, но за то, что не отнял у меня жизнь. У меня осталось одно желание, мистер Холмс, и хватило денег, чтобы его исполнить. Желание скрыть мое несчастное лицо от всех взоров и жить там, где ни одна душа из тех, кто знал меня прежде, меня не найдет. Только это одно мне оставалось, так я и поступила. Жалкое раненое животное, которое заползло в свою нору умирать, — вот чем кончила Юджиния Рондер.

Когда несчастная женщина досказала свою повесть, все мы некоторое время молчали. Потом Холмс протянул длинную руку и с глубоким сочувствием, какое мне не часто случалось у него видеть, погладил руку миссис Рондер.

— Бедняжка, — сказал он, — бедняжка. Поистине пути Судьбы неисповедимы. Если она потом ничем не вознаграждает, тогда наша жизнь — жестокая шутка. Но что же этот Леонардо?

— Я никогда больше его не видела и ни разу он не дал о себе знать. Быть может, я не права, что думаю о нем с такой горечью. Любить то, что оставила от меня пасть льва, было бы все равно что полюбить какого-нибудь уродца, каких мы возили в цирке на потеху всей стране. Но женщине не так-то просто отбросить свою любовь. Он покинул меня под когтями зверя, предал в час, когда я в нем больше всего нуждалась, и, однако, не могла я послать его на виселицу. Что станет со мной, мне было все равно. Может ли быть что-нибудь ужаснее моей теперешней жизни? Но я стояла между Леонардо и его судьбой.

— А теперь он умер?

— Месяц назад он утонул, купаясь близ Маргейта. Я узнала о его смерти из газеты.

— А что он сделал с той дубинкой о пяти когтях? Это самая поразительная и хитроумная часть вашей истории.

— Не могу вам сказать, мистер Холмс. Возле того места, где останавливался тогда наш цирк, есть глубокая меловая шахта, на дне ее стоит зеленая от тины вода. Возможно, в глубине тех вод...

— Что ж, сейчас это уже не имеет значения. Дело закончено.

— Да, — сказала миссис Рондер, — дело закончено.

Мы встали, готовые уйти, но что-то в голосе женщины привлекло внимание Холмса. Он круто повернулся к ней.

— Ваша жизнь вам не принадлежит, — сказал он. — Не вздумайте наложить на себя руки.

— Кому нужна моя жизнь?

— Откуда вам знать? Пример терпеливого страдания сам по себе — драгоценнейший из уроков миру, не знающему терпения.

Ответ женщины был ужасен. Она подняла вуаль и выступила на свет.

— Хотела бы я знать, могли бы вы такое вынести?

Это было страшно. Никакими словами не описать руины лица, когда лица не осталось. Живые, прекрасные карие глаза скорбно смотрели с устрашающих останков, и от этого взора зрелище казалось еще невыно-

симей. Холмс поднял руку движением, полным жалости и протеста, и мы вышли.

Когда три дня спустя я навестил моего друга, он не без гордости показал мне синий флакончик, стоящий на каминной полке. Я взял пузырек в руки. Красная наклейка гласила: яд. Я откупорил его и вдохнул приятный запах миндаля.

— Синильная кислота? — сказал я.

— Совершенно верно. Я получил это по почте. В записке сказано: «Посылаю вам мое искушение. Последую вашему совету». Думаю, Уотсон, нетрудно угадать имя необыкновенной женщины, которая это прислала.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ДОМЕ С ТРЕМЯ ФРОНТОНАМИ

Не думаю, чтобы какое-нибудь еще из приключений мистера Шерлока Холмса начиналось столь внезапным или столь драматическим образом, как то, что произошло в Доме с тремя фронтонами. Я уже несколько дней не виделся со своим другом и не имел представления, в каком новом русле протекает сейчас его деятельность. В это утро он был явно в разговорчивом настроении. Но едва он усадил меня в потертое низкое кресло, стоявшее по одну сторону камина, а сам, с неизменной трубкой во рту, уютно устроился в кресле напротив, как на пороге комнаты появился неожиданный посетитель. Впрочем, скажи я, что это был не посетитель, а бешеный бык, я дал бы куда более ясную картину случившегося.

А случилось вот что. Дверь с грохотом распахнулась — и к нам ворвался огромного роста негр. Если бы не его внушительные размеры, он выглядел бы просто комично в своем кричащем клетчатом сером костюме с развевающимся оранжевым галстуком. Его широкое лицо с приплюснутым носом было выдвинуто вперед, а взгляд угрюмых темных глаз, в которых тлел злобный огонь, перебегал с одного из нас на другого.

— Кто здесь из вас, джентльмены, масса Холмс? — бросил он.

Мой друг, усмехнувшись, поднял руку с трубкой.

— А-а, так это, значит, вы? — произнес наш гость, кошачьей походкой огибая угол стола и с угрожающим видом надвигаясь на нас. — Вот что, масса Холмс, нечего вам лезть в чужие дела. Пусть лучше люди сами в них разберутся. Понятно вам, масса Холмс?

— Продолжайте, — ответил Холмс. — Так приятно вас слушать.

— А-а, приятно? — прорычал детина. — Ничего,

вот я вас слегка обомну, и тогда поглядим — приятно это, черт подери, или нет. Я уже встречался с такими субчиками, и приятного для них было мало. Видали вот эту штуку, масса Холмс?

И он сунул увесистый узловатый кулачище прямо под нос моему другу. Холмс с неподдельным интересом принялся его изучать.

— У вас это от рождения, — осведомился он, — или таким вас сделала жизнь?

Возможно, что на нашего посетителя подействовала ледяная холодность, прозвучавшая в голосе моего друга, или он обратил внимание на легкий шум, который произвел я, доставая кочергу, но, как бы то ни было, его поведение стало менее вызывающим.

— Ну, я вас предупредил, а там смотрите сами, — буркнул негр. — У меня есть один друг, и его интересует все, что касается Хэрроу[1]. Вы понимаете, о чем речь. Так вот, вам туда лучше не соваться. Вы не блюститель закона, я тоже. И если вы там объявитесь, то встретите меня. Зарубите это себе на носу.

— Я уже давно искал встречи с вами, — отозвался Холмс. — И если не предлагаю сейчас сесть, то единственно потому, что мне не нравится ваш запах. Вы Стив Дикси по прозвищу Боксер.

— Да, это мое имя, масса Холмс. И вы на своей шкуре это узнаете, если будете зря открывать свою пасть!

— Конечно, до вашей пасти мне далеко, — заметил Холмс, уставившись на его омерзительный рот. — Но что касается убийства молодого Перкинса возле Холборнского бара, то... Постойте, куда же вы?

При последних словах негр с посеревшим лицом отскочил назад.

— Не желаю ничего такого слышать! — воскликнул он. — Да я ни сном, ни духом не ведаю, кто такой этот Перкинс, масса Холмс. Когда с ним заварилась вся эта каша, я был в Бирмингеме, выступал там на «Булл ринге»[2].

— Вот и расскажете обо всем этом мировому судье, — перебил его Холмс. — Что касается меня, то все это время я самым внимательным образом следил и за вами, и за Барни Стокдейлом...

— Да поможет мне Бог, масса Холмс...

[1] Один из пригородов Лондона.

[2] Дословно «Арена для боя быков» — старый крытый рынок в Бирмингеме.

— Достаточно. Можете не продолжать. Я сам свяжусь с вами, когда вы мне понадобитесь.

— Всего доброго, масса Холмс. Надеюсь, у вас не останется дурного осадка от моего... этого... визита?

— Останется, если не скажете, кто вас подослал.

— Да тут и скрывать-то нечего, масса Холмс. Тот же самый джентльмен, про которого вы сейчас говорили.

— А кто стоит за ним?

— Помоги мне Господь, масса Холмс, если я знаю. Он мне сказал: «Эй, Стив, пойдешь к мистеру Холмсу и передашь, если он, значит, вздумает соваться в Хэрроу, то пусть знает, что его жизнь висит на волоске». Вот вам вся правда как на духу.

И, не дожидаясь новых расспросов, посетитель ретировался почти столь же стремительно, как и появился. Холмс с довольным смешком выбил золу из трубки.

— Рад, что вам не пришлось проломить его курчавую голову, Уотсон. Я ведь видел все ваши маневры с кочергой. На самом деле это довольно безобидный тип — просто большой глупый ребенок. Он запугивает других своими мускулами, но, как вы только что убедились, запугать его самого совсем не трудно. Он из шайки Спенсера Джона и, по моим сведениям, последнее время участвовал в кое-каких грязных делишках, которыми я, возможно, займусь на досуге. Его шеф, Барни, тот хитрая бестия. Их узкая специальность — шантаж, запугивание и тому подобное. В данном случае меня интересует только одно: кто ими руководит.

— Но чего ради им понадобилось вас запугивать?

— Это все из-за того случая в Хэрроу Уилд. Я решил им заняться, и вот почему. Раз кто-то пускается из-за него во все тяжкие, значит, дело обещает быть интересным.

— Какое дело?

— Я как раз собирался вам о нем рассказать, но нам помешал этот комический дивертисмент. Вот записка от миссис Маберли, прочтите ее, Уотсон. Если вы согласны составить мне компанию, то мы поедем к ней домой прямо сейчас, предварительно уведомив ее телеграммой.

Вот что я прочел:

«Дорогой мистер Холмс!

Последнее время происходят непонятные вещи. Все они так или иначе касаются моего дома, и я была бы весьма признательна вам за совет. Завтра вы сможете

звать меня в любое время. Я живу недалеко от станции Уилд. Если не ошибаюсь, мой покойный муж, Мортимер Маберли, когда-то был одним из ваших клиентов.

Искренне ваша *Мэри Маберли*».

Сверху был указан адрес: Хэрроу Уилд. Дом с тремя фронтонами.

— Ну, вот вы и в курсе! — воскликнул Холмс. — А теперь, Уотсон, если надумали, можем отправляться в путь.

Короткая поездка поездом и еще более короткая — от самой станции, и мы были перед домом миссис Маберли: каменным, с деревянной отделкой особняком посреди заросшего травой участка площадью около акра. Три небольших выступа над окнами верхнего этажа виллы делали как бы слабую попытку объяснить ее название. За домом виднелись чахлые сосенки, и все в целом производило впечатление бедности и заброшенности. Сама же вилла, как мы обнаружили, оказалась богато обставленной, а принимавшая нас хозяйка — очаровательной пожилой дамой, в которой чувствовались изысканность и хорошее воспитание.

— Я прекрасно помню вашего мужа, мадам, — обратился к ней Холмс, — хотя прошло уже немало лет с тех пор, как он воспользовался моими услугами по одному весьма пустяковому делу.

— Возможно, вам больше знакомо имя Дугласа. Это мой сын.

Холмс посмотрел на нее с большим интересом.

— Неужели? Так вы мать Дугласа?! Я действительно знал его, хотя и не слишком близко. Впрочем, его знал весь Лондон. Поистине замечательный человек. А где он сейчас?

— Он мертв, мистер Холмс, мертв! Последняя его должность — атташе в Риме. Там он и скончался от воспаления легких в прошлом месяце.

— Простите меня, мадам. Смерть и такой человек, как он, — одно с другим просто не вяжется. Мне ни разу не приходилось встречать никого, кто был бы так же полон жизни. Каждая клеточка его тела буквально дышала ею!

— Увы, мистер Холмс. Это его и сгубило. Вы запомнили его таким, каким он был в ту пору, — беспечным, жизнерадостным. Но вы не видели его задумчивым, мрачным, унылым — таким, каким он стал. Его

сердце было разбито. Буквально за месяц бедный мальчик на моих глазах превратился в опустившегося циника.
— Любовная связь... замешана женщина?
— Скорее дьявол... Впрочем, я пригласила вас сюда не затем, чтобы рассказывать о своем несчастном сыне, мистер Холмс.
— Доктор Уотсон и я — к вашим услугам.
— В моей жизни происходят совершенно непонятные вещи, — начала миссис Маберли. — В этом доме я уже больше года, и поскольку всегда стремилась к уединению, то почти не знаю своих соседей. И вдруг три дня тому назад ко мне приходит человек и называется агентом по продаже недвижимости. Он говорит, что мой дом приглянулся одному из его клиентов. Если бы я согласилась продать виллу, покупатель не постоял бы, по его словам, за ценой. Мне это показалось в высшей степени странным: ведь в округе есть несколько свободных домов, ничуть не уступающих моему, но я, естественно, заинтересовалась сделанным мне предложением. Поэтому я назвала сумму на пятьсот фунтов стерлингов больше той, что в свое время заплатила сама. Он тотчас же согласился, добавив, что его клиент хотел бы купить заодно и всю обстановку. При этом он поинтересовался, сколько я за нее хочу. Поскольку часть мебели я перевезла со старого места и она, как видите, весьма хорошего качества, цену я назначила довольно высокую. Но и на этот раз он тут же согласился. Всю жизнь я мечтала о путешествиях, и, казалось, сделка обещает мне полную возможность до конца жизни ни в чем себе больше не отказывать.

Вчера этот человек явился с готовой купчей, — продолжала она. — К счастью, я решила показать бумаги своему адвокату мистеру Сатро. Он живет у нас в Хэрроу. И вот что он мне сказал: «Весьма странный документ, миссис Маберли. Отдаете ли вы себе отчет, что в случае его подписания не сможете вывезти из дома *ничего*, даже свои личные вещи?» Так что когда вечером агент снова объявился в доме, я указала ему на это обстоятельство и заявила, что из своих вещей продаю только мебель.

— Нет, нет, все! — воскликнул он.
— Но одежда? Драгоценности?
— Что касается такого рода вещей, то мы готовы пойти на кое-какие уступки. Но в любом случае без проверки из дома не должно быть вынесено ничего.

Мой клиент — человек весьма мягкий, однако у него есть свои причуды. Его требование — все или ничего.

— Тогда, — заявила я, — не будет ему ничего.

На этом мы и расстались, — заключила свой рассказ миссис Маберли. — Но все это показалось мне столь странным, что я подумала...

Здесь нас прервали самым необычным образом.

Внезапно Холмс поднял руку, призывая к молчанию. неслышно прошествовал через всю комнату и, рванув дверь на себя, втащил высокую женщину, крепко ухватив ее за костлявое плечо. Она неуклюже упиралась, совсем как квохчущая курица, которую извлекают из курятника.

— Оставьте меня! Чего вы ко мне привязались? — верещала она.

— В чем дело, Сюзан? — обратилась к ней миссис Маберли.

— Да я, мэм, шла узнать, может, ваши гости к обеду останутся, а тут этот тип как схватит меня.

— Я уже минут пять прислушивался к звукам за дверью. Мне просто не хотелось прерывать столь интересное повествование, мадам. — Холмс обернулся к Сюзан. — У вас что, одышка? Для вашей работы чересчур тяжелое дыхание.

Сюзан с удивлением подняла на Холмса угрюмый взгляд:

— Да кто вы такой? И по какому праву хватаете меня ни за что ни про что?

— Я хотел задать всего лишь один вопрос в вашем присутствии. Скажите, миссис Маберли, вы упоминали при ком-нибудь, что собираетесь написать мне, чтобы посоветоваться?

— Нет, мистер Холмс.

— А кто отправлял ваше письмо?

— Сюзан.

— Так я и думал. А теперь вы, Сюзан, ответьте нам: кому вы писали или говорили о том, что ваша хозяйка обратилась ко мне за советом?

— Ложь это! Никому я не писала.

— Люди с плохими легкими, Сюзан, обычно не живут долго. А вы к тому же берете на душу грех — бессовестно лжете. Итак, кому вы обо всем рассказали?

— Сюзан! — воскликнула хозяйка. — Я поняла вас, вы скверная, вероломная женщина. Припоминаю, как

вы недавно переговаривались через забор с каким-то незнакомцем.

— У меня могут быть свои дела, — пробурчала служанка.

— А если я скажу, что имя этого человека Барни Стокдейл? — спросил Холмс.

— Раз вы знаете, так чего спрашиваете?

— Я был не совсем уверен, но теперь сомнений нет. Итак, Сюзан, я даю вам десять фунтов стерлингов, если вы скажете, на кого работает Барни.

— На кого? Да тот человек выложит по тысяче фунтов на каждую вашу десятку.

— Богатый, значит, мужчина? Вы улыбаетесь, — не мужчина, а женщина? Что ж, мы, похоже, зашли уже достаточно далеко. Остается только назвать ее имя — и десять фунтов у вас в кармане.

— После того как вас черти к себе заберут!

— Сюзан! Что за выражения!

— Ноги моей здесь больше не будет! Хватит с меня, сыта по горло! Завтра же пришлю за своим сундуком.

И она выбежала из комнаты.

— Прощайте, Сюзан. Постарайтесь не забыть про лекарства от кашля... Да, — продолжил Холмс, сразу перейдя с веселого на серьезный тон, едва за рассвирепевшей и красной от злости служанкой захлопнулась дверь, — эта шайка настроена весьма решительно. Посмотрите, как они кружат вокруг нас. Ваше письмо, судя по штемпелю, отправлено в десять утра. Тем не менее Сюзан успела предупредить о нем Барни, тот, в свою очередь, немедленно связался с патроном и получил соответствующие инструкции — от него или, скорее, от нее. Лично я склоняюсь ко второму. На это указывает ухмылка Сюзан во время нашей беседы. Затем, согласно инструкциям, к делу подключают Черного Стива: его задача — припугнуть меня. Он заявляется ко мне домой в одиннадцать утра на следующий же день. Быстро сработано.

— Но чего они хотят?

— Да, это главное. Скажите, а кто жил в доме до вас?

— Отставной капитан по фамилии Фергюсон.

— Вам известно о нем что-нибудь примечательное?

— Абсолютно ничего.

— Может быть, он спрятал здесь какую-то ценную

вещи? Правда, сегодня ценные вещи прячут в сейфах банков. Однако всегда найдется какой-нибудь сумасшедший — без них мир был бы куда скучнее, чем он есть. Вначале я как раз и подумал о спрятанном кладе. Но в таком случае, зачем им понадобилась вся обстановка? Ведь вряд ли среди ваших вещей хранится Рафаэль в подлиннике или первое издание Шекспира, о которых вам ничего не известно.

— Не думаю. Самое ценное, что у меня имеется, это, пожалуй, чайный сервиз «Краун Дерби»[1].

— Ну, это едва ли объясняет всю таинственность. И кроме того, почему бы им открыто не объявить, чего именно они домогаются? Если их интересует ваш сервиз, то не проще было бы назначить за него подходящую цену, вместо того чтобы покупать у вас и дом и все остальное. Нет, насколько я понимаю, речь идет о какой-то вещи, про которую вы ничего не знаете. А если бы знали, то никогда с ней не расстались.

— Мне тоже так кажется, — согласился я.

— Что ж, раз доктор Уотсон согласен, вопрос исчерпан.

— Хорошо, мистер Холмс, но что это может быть за вещь?

— Давайте посмотрим, сумеем ли мы таким чисто умозрительным образом найти более конкретный ответ. Вы ведь прожили в этом доме целый год, миссис Маберли?

— Почти два, мистер Холмс.

— Тем лучше. За этот весьма долгий срок вас никто ни разу не побеспокоил. И вдруг неожиданно в последние три-четыре дня на вас обрушили целый ряд предложений. Что вы обо всем этом думаете?

— По-моему, — заметил я, — данный факт может означать лишь одно: вещь — о чем бы ни шла речь — попала в дом совсем недавно.

— Снова верная мысль! — воскликнул Холмс. — А теперь, миссис Маберли, скажите нам, не приобретали ли вы за эти дни каких-нибудь вещей?

— Нет, в этом году я вообще ничего не покупала.

— Подумать только! В высшей степени примечательно. Ну что ж, лучше всего, пожалуй, позволить событиям еще какое-то время развиваться своим естествен-

---

[1] «К р а у н Д е р б и» — фарфор, производившийся в XVIII веке в г. Дерби, с королевской короной над буквой «Д».

ным ходом, покуда не вырисуется более ясная картина. Этот ваш адвокат — человек надежный?

— Мистер Сатро безупречен.

— У вас есть другая горничная? Или прекрасная Сюзан, только что хлопнувшая дверью, была единственной прислугой в доме?

— Есть еще молодая служанка.

— Попробуйте договориться с Сатро, чтобы он одну или две ночи провел здесь. Вам может понадобиться защита.

— От кого?

— Кто знает. Дело весьма запутанное. Если мне не удастся выяснить, что они ищут, то придется подойти к нему с другого конца и приняться за главное действующее лицо. Оставлял вам агент по недвижимости какой-нибудь адрес?

— Нет. В его визитке только имя и род занятий: «Гейнс Джонсон. Аукционер и оценщик».

— Думаю, что в справочнике мы его не найдем. Честные бизнесмены не скрывают места своей деятельности. Итак, жду от вас известий, если будут новости. Раз я взялся за дело, можете рассчитывать, что оно будет доведено до конца.

Когда мы выходили, взгляд Холмса, не оставлявший без внимания ничего, на мгновение задержался на сундуках и ящиках с яркими наклейками, задвинутых в угол прихожей.

— Милан — Люцерна... Получено из Италии?

— Да, это вещи моего бедного Дугласа.

— И вы их не распаковывали? Сколько времени они здесь стоят?

— С прошлой недели.

— Но вы же говорили... Да ведь тут наверняка может оказаться недостающее звено. Вы поручитесь, что среди этих вещей нет ценностей?

— Разумеется, мистер Холмс! Бедный Дуглас жил на жалованье и небольшую ежегодную ренту. Какие ценности могли у него быть?

Холмс задумался.

— Займитесь этими вещами без промедления, миссис Маберли, — промолвил он наконец. — Пусть их поднимут наверх к вам в спальню. Распакуйте все сундуки как можно быстрее и проверьте их содержимое. Я приду завтра же, и вы мне опишете, что в них было.

Дом с тремя фронтонами явно находился под посто-

чным наблюдением. Едва мы обошли высокую изгородь в конце переулка, как неожиданно заметили стоявшего в тени негра Боксера. В этом уединенном месте вид у него был особенно мрачным и устрашающим. Холмс тут же хлопнул себя по карману.

— Пистолет ищете, масса Холмс?

— Нет. Флакон с духами, Стив.

— Шутите, масса Холмс?

— Когда я до вас доберусь, Стив, вам-то уж шутить не захочется. Сегодня утром я честно предупредил вас об этом.

— Знаете, масса Холмс, я хорошо обдумал все, что вы мне сказали. Я не хочу, чтоб вы опять начали про то дело, где замешан масса Перкинс. Так что если я как-то могу вам помочь, так я готов, масса Холмс.

— Хорошо. В таком случае, ответьте мне, кто за вами стоит?

— Да помоги мне Господь, масса Холмс. Я ж говорил, что не знаю. Истинная правда. Это мой босс Барни отдает приказания — вот и все.

— Хорошо, Стив, но имейте в виду, что хозяйка этого дома и сам дом находятся под моей защитой. Советую об этом не забывать.

— Ол райт, масса Холмс. Не забуду.

— Ну, этого я запугал основательно, Уотсон, — заметил Холмс на ходу. — И знай он, кто их хозяин, он бы его выдал. Нам повезло, что я немного знаком с шайкой Спенсера Джона, куда входит и Стив. По этому делу, Уотсон, требуется консультация Ленгдэйла Пайка. К нему теперь я и направляюсь, а когда вернусь, возможно, кое-что прояснится.

Больше в этот день мы с Холмсом уже не виделись, но я легко могу себе представить, как он его провел. Ленгдэйл Пайк был для него живым справочником во всем, что касалось скандальной хроники. Дни напролет это апатичное странное существо просиживало в эркере клуба на Сент-Джеймс-стрит, выполняя роль своеобразной приемо-передаточной станции, куда стекались и откуда распространялись столичные слухи. Информация, еженедельно поставляемая им бульварным газетенкам, рассчитанным на падкую до всякой сенсации публику, как говорили, приносила ему доход, исчисляемый четырехзначной цифрой. Если в мутных глубинах лондонской жизни случалось какое-нибудь таинственное завихрение или водоворот, они автоматически регистрирова-

на поверхности этим безупречным человеческим прибором. Холмс, когда считал это нужным, поставлял Лэнгдейлу кое-какую информацию и, в свою очередь, время от времени пользовался этим источником.

Когда рано утром следующего дня я пришел на квартиру к своему другу, то, судя по его виду, мне показалось, что все в полном порядке. Тем не менее нас ожидал весьма неприятный сюрприз — в виде телеграммы следующего содержания:

«Пожалуйста, приезжайте немедленно. Дом клиента ночью ограблен. Полиция ведет расследование.

Сатро».

— Ну, вот, — присвистнул Холмс, — драма достигла апогея — и быстрее, чем я думал. Впрочем, за всем этим, Уотсон, стоит такая сила, что подобный оборот событий меня не удивляет. Конечно, этот Сатро — ее адвокат, но, боюсь, я совершил ошибку, положившись на него. Не оправдал он моего доверия. Надо было попросить вас, чтобы вы посторожили ночью дом. А сейчас нам не остается ничего другого, кроме как совершить еще одну поездку в Хэрроу Уилд.

На сей раз в Доме с тремя фронтонами не осталось и следа того порядка, который царил там накануне. У садовой калитки толпилось несколько любопытных, в то время как двое констеблей тщательно исследовали окна и клумбы с геранью. В доме нас встретили седой пожилой джентльмен, представившийся адвокатом миссис Маберли, и деятельный розовощекий полицейский инспектор, который приветствовал Холмса на правах старого друга.

— Ну, мистер Холмс, по данному происшествию вам, боюсь, делать нечего. Обычное рядовое ограбление, с которым вполне в состоянии справиться наша бедная старушка полиция. Никаких экспертов здесь не требуется.

— Уверен, что дело находится в самых надежных руках, — отозвался Холмс. — Так вы говорите, обычное ограбление?

— Именно так. Мы хорошо знаем, кто грабители и где их искать. Работа шайки Барни Стокдейла. Там у него еще есть этот громила-негр. Их всех здесь видели.

— Прекрасно! И что же они унесли?

— Похоже, совсем немного. Миссис Маберли усыпили с помощью хлороформа, и дом был... А вот и сама хозяйка!

Наша вчерашняя знакомая, бледная и слабая, вошла в комнату, опираясь на руку девушки-служанки.

— Вы дали мне отличный совет, мистер Холмс, — произнесла она с улыбкой сожаления. — Увы, я им не воспользовалась. Мне не хотелось беспокоить мистера Сатро, и в результате я осталась без всякой защиты.

— Я узнал о случившемся только сегодня утром, — пояснил адвокат.

— Мистер Холмс посоветовал мне пригласить на ночь кого-нибудь из моих друзей. Я пренебрегла его советом и дорого за это заплатила.

— Вы выглядите совсем больной, — обратился к ней Холмс. — Наверное, вам трудно рассказать мне о том, что произошло?

— Это все у меня здесь! — Инспектор выразительно похлопал по объемистому блокноту.

— И все-таки, если хозяйка не слишком утомлена...

— Мне, в сущности, не о чем рассказывать. Эта злодейка Сюзан все подготовила для их посещения. Должно быть, они знали расположение комнат в доме как свои пять пальцев. Я помню только, как чья-то рука прижала пропитанную хлороформом тряпку к моему рту, после чего я потеряла сознание. Сколько времени я была без сознания — понятия не имею. Когда я очнулась, то увидела у своей кровати какого-то человека, а его сообщник стоял среди чемоданов моего сына и поднимал тюк с вещами. Часть чемоданов была открыта, а на полу валялось их содержимое. Я вскочила и схватила его за руку.

— Вы шли на большой риск, — заметил инспектор.

— Я держала его из последних сил, но он оттолкнул меня, а тот, что стоял у кровати, должно быть, нанес мне удар, потому что больше я уже ничего не помнила. Служанка Мэри, по ее словам, услышав шум в спальне, бросилась к окну и стала громко звать на помощь. Вскоре прибыла полиция, но негодяев и след простыл.

— Что им удалось унести?

— Думаю, что ничего ценного. Ведь в багаже сына ценностей просто не было.

— Преступники не оставили никаких улик?

— Только исписанный лист бумаги. Я, вероятно, случайно вырвала его у грабителя. Он валялся смятым на полу — почерк принадлежит моему сыну.

— Стало быть, — тут же вставил инспектор, — ни-

...ой важности этот листок для нас не имеет. Вот если бы мы отняли у грабителей...

— Совершенно верно, — отозвался Холмс. — Какая ...дина здравого смысла! И все же было бы любопытно ...на него взглянуть.

Инспектор извлек из блокнота сложенный листок ...чей бумаги форматом двенадцать на пятнадцать дюймов.

— Никогда не прохожу мимо даже самых пустяковых вещей, — изрек он не без некоторой напыщенности. — Очень полезная привычка, мистер Холмс. Двадцать пять лет работы кое-чему меня научили. Всегда есть вероятность, что преступник оставит отпечатки пальцев или что-нибудь еще.

Холмс внимательно изучил исписанную страницу.

— Каково ваше мнение, инспектор?

— Похоже, что мы имеем дело с окончанием какого-то странного романа.

— Да. Очень возможно, что это окончание одной весьма странной истории, — промолвил Холмс. — Вы наверняка заметили и цифру в углу страницы — двести сорок пятая. А где, по-вашему, остальные двести сорок четыре?

— Полагаю, их унесли грабители. Тоже мне, нашли ценность!

— Странно все-таки, врываются в дом, чтобы похитить какие-то листки. Вас это не настораживает, инспектор?

— Настораживает? Да эти негодяи, сэр, в спешке хватали все, что подвернется под руку. Пусть теперь радуются своей «удаче».

— Но зачем им понадобилось искать что-то в вещах моего сына? — удивленно спросила миссис Маберли.

— Не найдя ничего стоящего внизу, они решили попытать счастья на верхнем этаже, мэм. Так это мне представляется. А вам, мистер Холмс?

— Мне надо еще кое над чем подумать, инспектор. Подойдите к окну, Уотсон.

Когда мы с моим другом уединились, он, держа в руке исписанный лист, прочел вслух заключительный отрывок, начинавшийся с середины фразы:

— «...лицо кровоточило от нанесенных ударов и порезов, но тем не менее это было ничто в сравнении с его обливающимся кровью сердцем при виде ее прекрасного лица. И это ради нее он готов был пожертвовать

самой своей жизнью, ради той, которая теперь безмятежно взирала из окна на его страдания и унижения. Она улыбалась, да, клянусь Богом, улыбалась, и сейчас казалась ему бессердечной, как сам дьявол. Именно в этот момент любовь умерла и родилась ненависть. Человек должен жить на Земле ради чего-то. И если не ради твоих объятий, моя госпожа, то ради твоей погибели и полного моего отмщения».

— Странная, однако, грамматика, — с улыбкой заметил Холмс, возвращая страничку инспектору. — Вы заметили, как «его» вдруг заменяется на «моего»? Очевидно, автор был столь увлечен собственным повествованием, что в решающий момент вообразил себя в роли своего героя.

— Да, весьма слабо написано, — согласился инспектор, вкладывая исписанный лист в свой блокнот. — Что, вы уже уходите, мистер Холмс?

— Не думаю, что я вам еще здесь нужен, поскольку дело, как я вижу, находится в надежных руках. Кстати, — обратился Холмс к миссис Маберли, — вы ведь говорили, что хотите путешествовать?

— Всегда об этом мечтала, мистер Холмс.

— Куда бы вы предпочли поехать: Каир, Мадейра, Ривьера?

— О-о, если бы у меня были деньги, я отправилась бы вокруг света!

— Именно так. Вокруг света. Всего доброго. Возможно, что уже сегодня вечером я напишу вам из Лондона.

Когда мы проходили мимо окна, я заметил, что инспектор, улыбнувшись, покачал головой. «Ох уж эти умники с их бредовыми идеями!» — означала его улыбка или так, во всяком случае, мне показалось.

— Что ж, Уотсон, вот мы и подошли к последнему этапу нашего небольшого странствия, — промолвил Холмс, когда мы снова очутились в шумном центре Лондона. — Полагаю, нам надо пройти его как можно скорее. Было бы хорошо, если бы вы согласились меня сопровождать. Куда надежнее чувствуешь себя в присутствии свидетеля, когда имеешь дело с такой женщиной, как Изадора Клайн.

Взяв кэб, мы быстро поехали в сторону Гросвенор-сквер. Почти весь путь Холмс просидел в задумчивости и лишь под самый конец обернулся ко мне с вопросом:

— Между прочим, Уотсон, вам, наверное, уже все ясно?

— Нет, я бы так не сказал. Единственное, что мне

ясно: мы направляемся к какой-то леди, которая стоит за всем этим делом.

— Совершенно верно! Но разве само это имя, Изадора Клайн, вам ни о чем не говорит? Ведь одно время она считалась первой красавицей, с которой никто не мог сравниться. Это чистокровная испанка, в чьих жилах течет гордая кровь конкистадоров. Ее предки в течение многих поколений были фактическими хозяевами в Пернамбуко[1]. Она вышла замуж за сахарного короля Клайна, немца весьма преклонных лет, и вскоре стала не только самой красивой, но и самой богатой вдовой на свете. Какое-то время она предавалась собственным удовольствиям, сменив несколько любовников, одним из которых и был Дуглас Маберли, один из самых блестящих молодых людей Лондона. Их связь, как говорили, выходила за рамки обычной любовной интрижки. Дело в том, что Дуглас не относился к числу светских мотыльков. Этот сильный гордый человек отдавал все, что имел, и ожидал в ответ того же. Я бы назвал Изадору, выражаясь языком французских романов, «belle dame sans merci»[2]. Удовлетворив свой каприз, она рвет все отношения. Если же партнер не желает с этим смириться, у нее есть средство, чтобы на него воздействовать...

— Значит, то, что мы читали, — это была его подлинная история...

— А-а! Картина для вас уже начинает проясняться. Сейчас, говорят, леди снова собирается замуж — за молодого герцога Ломондского. По возрасту он почти годится ей в сыновья. С этим его мать, герцогиня Ломондская, еще могла бы как-то смириться, но с громким скандалом в обществе — никогда! Поэтому-то и возникла столь срочная необходимость во что бы то ни стало... Но мы уже приехали!

Дом Изадоры Клайн был одним из самых роскошных угловых зданий Уэст-Энда. Напоминавший автомат привратник взял наши визитки и вскоре вернулся, бесстрастно уведомив нас, что госпожи нет дома.

— Ну что же, в таком случае мы подождем, пока она придет! — весело воскликнул Холмс.

«Автомат» сломался:

— «Нет дома» — только для вас!

— Отлично, — отозвался Холмс. — Это значит, что

---

1 Морской порт в Бразилии.
2 Безжалостная красавица *(франц.)*.

вам не придется здесь ее ждать. Будьте добры передать хозяйке вот эту записку.

Он тут же набросал пару слов на листке из блокнота и вручил его слуге.

— Что вы там написали, Холмс? — поинтересовался я.

— Всего несколько слов: «Может быть, тогда этим займется полиция?» Думаю, теперь нас пригласят.

Так оно и случилось — с поразительной быстротой. Всего через минуту мы уже находились в просторной гостиной, обставленной в причудливом духе «Тысячи и одной ночи». Здесь царила полутьма, лишь кое-где оттеняемая розоватым электрическим светом. Хозяйка дома, как мне показалось, вступила в ту пору жизни, когда даже самые уверенные в себе красавицы — и те предпочитают избегать яркого света. При нашем появлении она тут же поднялась с дивана. Высокая, с осанкой королевы, безупречной фигурой и прелестным застывшим, словно маска, лицом, на котором восхитительные испанские глаза так и сверкали убийственной ненавистью.

— Чему я обязана этим вторжением и этим оскорбительным посланием? — обратилась она к нам, держа записку в поднятой руке.

— Кажется, нет нужды объяснять, мадам. Я слишком уважаю ваш ум, хотя последнее время он, к моему удивлению, начал вам изменять.

— Что вы хотите этим сказать, сэр?

— А то, что вы специально наняли головорезов, чтобы запугать меня. Между тем моя профессия привлекательна для мужчины именно своей опасностью. Вы просто вынудили меня заняться делом молодого Маберли.

— Понятия не имею, о чем вы говорите. И какое я имею отношение к наемным головорезам?

Холмс устало отвернулся.

— Да, я все же переоценил ваш ум. Ну хорошо, всего доброго.

— Постойте. Куда же вы?

— В Скотленд-Ярд.

Едва мы дошли до середины комнаты, как хозяйка дома догнала нас и взяла Холмса за руку, успев за это время превратиться из пантеры в кошечку.

— Присаживайтесь, джентльмены. Давайте обсудим это дело. Мне кажется, что я могу быть с вами откровенной, мистер Холмс. Вы настоящий джентльмен.

Только женский инстинкт в состоянии сразу это обнаружить. Я буду относиться к вам как к другу.

— Не могу обещать вам взаимности, мадам. Я не представитель закона, но выступаю во имя справедливости, насколько позволяют мои скромные возможности. Я готов вас выслушать и лишь после этого скажу, как намерен действовать.

— Конечно, с моей стороны было глупо угрожать столь храброму человеку.

— Глупо с вашей стороны было другое, мадам, — довериться шайке негодяев, которые будут потом шантажировать вас. Или даже выдадут.

— Ну нет, я не настолько доверчива. Раз я обещала быть с вами откровенной, то скажу: ни один человек, за исключением Барни Стокдейла и его жены Сюзан, не имеют ни малейшего представления, кто за всем этим стоит. Что касается этих двоих, они, знаете ли, уже не впервые...

Она улыбнулась и доверительно кивнула нам с очаровательным кокетством.

— Понятно. Вы уже испытали их в деле.

— Да, это хорошие гончие, и бегут они молча.

— Но гончие имеют обыкновение рано или поздно кусать руку, которая их кормит. Этих двоих арестуют за грабеж. Полиция уже напала на след.

— Что ж, они получат то, что положено. За это им и платят. Мое имя в деле фигурировать не будет.

— Если только я об этом не позабочусь.

— Нет, нет, вы этого не сделаете, мистер Холмс. Вы ведь джентльмен. Здесь замешана женская тайна.

— Первым делом вам придется возвратить рукопись.

Ответом на эти слова был серебристый смех. Подойдя к камину, она поворошила кочергой уже догоревшие листы бумаги.

— Говорите, придется возвратить?

Стоя перед нами с вызывающе игривой улыбкой, она выглядела столь пленительно, что, как мне показалось, на сей раз Холмсу, имевшему дело со множеством преступников, придется труднее всего. Однако он не поддался ее чарам.

— Это решает вашу судьбу, мадам, — произнес он холодно. — Вы привыкли действовать решительно, но в данном случае вы поторопились.

Она резко отшвырнула от себя кочергу.

— Как вы бессердечны! — воскликнула она. — Вы хотите, чтобы я рассказала вам все?

Полагаю, я сам бы мог рассказать.

— Но вы должны взглянуть на случившееся моими глазами, мистер Холмс. Попробуйте разобраться, став на точку зрения женщины. Когда в самый последний миг она обнаруживает, что все мечты ее жизни рушатся, то можно ли винить ее, если она защищает себя?

— Вы совершили первородный грех!

— Да, да! Я признаю это. Он и вправду был милый мальчик, этот Дуглас. Но так уж случилось, что в моих планах для него не нашлось места. Он настаивал, чтобы я вышла за него замуж, мистер Холмс. Замуж за человека незнатного рода, у которого ни пенни за душой! Ни о чем другом он и слышать не хотел, и развязаться с ним не было никакой возможности. Я уступила ему — и он вообразил, что я буду ублажать его и впредь. И только его одного. Это становилось несносным. В конце концов мне пришлось заставить его это понять.

— Наняв головорезов, избивших его прямо под вашими окнами?

— Я вижу, вы знаете все. Да, так оно и было. Барни и его мальчики проучили его, но при этом, признаю, немного перестарались. И что же он потом сделал? Могла ли я предположить, что джентльмен способен на такое? Подумать только, он написал книгу, в которой рассказал всю эту историю. И конечно же, я выведена в роли волка, а он — овцы. Да, имена были изменены, но кто же в Лондоне не узнал бы нас! Что вы на это скажете, мистер Холмс?

— Он вправе был так поступить.

— О, это воздух Италии проник в его кровь и принес с собой древний дух мести. Он написал мне оттуда и переслал один экземпляр рукописи, чтобы я терзалась, с ужасом ожидая, что книга вот-вот появится. По его словам, экземпляров рукописи было всего два. Второй — предназначался для издателя.

— Но как вы узнали, что он еще не отправлен?

— Мне было известно имя издателя. Это ведь не первая книга Дугласа. Я выяснила, что новой рукописи от него не получали. А тут вскоре пришло известие о внезапной кончине Дугласа. Пока оставался второй экземпляр, я не могла чувствовать себя в безопасности. Он, конечно же, должен был храниться среди его вещей, которые наверняка переслали матери. Я поручила Барни заняться этим. Его жена, тоже член шайки, про-

никла в дом под видом служанки. Мне хотелось, чтобы все было честь по чести, клянусь вам. Я была готова купить весь дом со всеми вещами. Заплатить любую цену, какую попросит хозяйка. И на грабеж я решилась только тогда, когда все остальные пути оказались отрезанными. Да, я обошлась с Дугласом слишком жестоко — и Богу известно, как я в этом раскаиваюсь. Но скажите, мистер Холмс, что еще оставалось мне делать, ведь на карту было поставлено все мое будущее!

Шерлок Холмс пожал плечами.

— Ну, ну, — произнес он. — Придется, видимо, и на этот раз не передавать дело в суд, но... Сколько стоит кругосветное путешествие первым классом?

Изадора Клайн уставилась на него в полной растерянности.

— Можно совершить его, скажем, за пять тысяч фунтов? — поинтересовался Холмс.

— Думаю, безусловно!

— Очень хорошо. Тогда выпишите мне чек на эту сумму, а я позабочусь, чтобы он попал к миссис Маберли. Ей не мешает немного проветриться — за ваш счет. А пока что, мадам, — и он предостерегающе погрозил ей указательным пальцем, — мой вам совет: поберегитесь! Нельзя до бесконечности играть с огнем и не обжечь этих нежных ручек.

БИБЛИОТЕКА "ОГОНЁК"

АРТУР КОНАН ДОЙЛЬ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ТРЕТИЙ

ОГИЗ.
МОСКВА. 1993

— Вы должны как можно скорее добиться освобождения молодого Нелигана,— сказал Холмс.— Думаю, вам следует извиниться перед ним. Жестяную коробку надо ему возвратить, но, конечно, те ценные бумаги, что проданы Питером Кэри, уже пропали навсегда... Вот и кэб, Хопкинс, вы можете увезти этого человека. Если мое присутствие понадобится на суде, дайте нам знать в Норвегию. Точный адрес я сообщу вам позже.

ВОЗДАЯНИЕ ЧАРЛЬЗУ ОГАСТЕСУ МИЛВЕРТОНУ

С тех пор как произошли события, о которых я намереваюсь рассказать, прошло много лет, однако я подхожу к этой публикации с большой осторожностью. Долгое время, даже соблюдая предельную осмотрительность и сдержанность, предать гласности эту историю было невозможно. Сейчас же ее главное действующее лицо находится уже вне пределов досягаемости человеческого правосудия, поэтому я считаю себя вправе обнародовать основные факты, хотя и с предельной деликатностью, дабы никого не задеть. Этот случай совершенно уникален в нашей с Шерлоком Холмсом практике. Надеюсь, читатель простит мне, если я не назову некоторых дат или каких-то других данных, по которым можно было бы догадаться о том, кто были истинные участники происшествия.

Как-то холодным зимним вечером мы с Холмсом по обыкновению совершали прогулку и вернулись около шести. Когда Холмс включил свет, мы заметили на столе визитную карточку. Мой друг взглянул на нее и с возгласом отвращения швырнул на пол. Я поднял ее и прочел:

«Чарльз Огастес Милвертон,

Эпплдор-Тауэрс,
Хэмпстед.

Агент».

— Кто это?— спросил я.

— Самый отвратительный человек в Лондоне,— ответил Холмс, усевшись в кресло и вытянув ноги к горящему камину.— На обороте что-нибудь написано?

Я перевернул карточку и прочел:

«Зайду в половине седьмого. Ч. О. М.».

— Хм! Он почти вежлив. Чувствовали вы когда-нибудь, Уотсон, как по вашему телу пробегает дрожь, какой-то холодок, когда в зоопарке вы останавливаетесь у террариума и наблюдаете за извивающимися ползучими ядовитыми тварями с плоскими злобными мордами и леденящим взглядом? Так вот, Милвертон производит на меня точно такое же впечатление. За годы моей деятельности я имел дело с пятьюдесятью убийцами, но даже худшие из них не вызывали у меня такого отвращения, как этот субъект. И все же я вынужден иметь с ним дело — представьте себе, он приходил по моему приглашению.

— Но кто он такой?

— Могу сказать вам, Уотсон. Это настоящий король шантажа. Помоги, Боже, мужчине, а особенно женщине, чьи секреты и доброе имя оказались во власти Милвертона. С улыбкой на лице и холодом в сердце он будет пить и пить кровь этого человека, пока не выпьет всю. Этот тип — в своем роде гений и, без сомнения, оставит след в истории своей сомнительной профессии. Действует он следующим образом: делает достоянием гласности, что готов платить большие деньги за письма, компрометирующие богатых и уважаемых людей. Ему приносят их не только и не столько порочные юнцы и девицы, сколько великосветские негодяи, извлекающие выгоду из любви и доверия преданных им женщин. Этот человек не скупится. Я как-то узнал, что он заплатил семьсот фунтов одному лакею за записку в две строчки, в результате чего распалась аристократическая семья. Все документы, которые кто-либо пускает в продажу, попадают к Милвертону. Сотни людей в нашем огромном городе бледнеют при одном лишь упоминании его имени. Никто не знает, кого следующего ухватит его цепкая лапа,— он слишком богат и слишком ловок, чтобы делать это регулярно. Он может держать при себе карту годами и козырнуть ею в тот момент, когда ставка будет наиболее высока. Я назвал его самым отвратительным человеком в Лондоне, а теперь хочу спросить вас, можно ли сравнить головореза, в ярости убивающего кистенем своего сообщника, с этим человеком, который на досуге методично развращает души и терзает нервы людей, чтобы туже набить свои и без того уже полные мешки с золотом?

Мне редко приходилось слышать, чтобы друг мой говорил с такой горячностью.

— Но то, чем занимается этот тип,— заметил я,— должно, очевидно, подпадать под статью закона.

— Теоретически — да, практически — нет. Какая, к примеру, выгода женщине засадить его на несколько месяцев в тюрьму, если за этим неминуемо последует крушение всей ее жизни? Жертвы этого человека не отваживаются мстить. Если когда-нибудь он станет шантажировать невиновного, мы до него доберемся, но он хитер, как сам прародитель зла. Нет-нет, мы должны найти какой-то другой способ с ним бороться.

— А зачем он пожаловал сюда?

— Потому что одна знатная клиентка доверила мне свое чуть ли не безнадежное дело. Это леди Ева Блэкуэлл, которая в прошлом сезоне была признана самой очаровательной дебютанткой в свете. Через две недели она должна выйти замуж за графа Доуэркорта. Этот дьявол добыл несколько ее опрометчивых писем — простая неосторожность, Уотсон, не более. Письма адресованы одному малоимущему молодому сельскому сквайру. Они должны сыграть роль запала. Милвертон пошлет их графу, если ему не будет выплачена значительная сумма денег. Мне поручено встретиться с ним и сделать все, что в моих силах.

В этот момент внизу, на улице, раздался стук копыт и лязг колес. Выглянув в окно, я увидел запряженный парой роскошный экипаж; яркие фонари освещали лоснящиеся крупы породистых гнедых лошадей. Лакей открыл дверцу, и из кареты вышел маленький кругленький человек в мохнатом каракулевом пальто. Через минуту он вошел в нашу комнату.

Чальз Огастес Милвертон был пятидесятилетним мужчиной с большой головой мыслителя и круглым, упитанным, гладким лицом без всякой растительности, с которого не сходила какая-то подмороженная улыбка. Его проницательные серые глаза живо поблескивали за стеклами больших очков в золотой оправе. В облике его было какое-то пиквиковское благодушие, умерявшееся лишь неискренностью его вечной улыбки и холодным блеском беспокойных колючих глаз. Когда он шел к нам, протягивая свою пухлую маленькую ручку и мурлыкая извинения за то, что не дождался нас при первом визите, голос его был так же гладок и вкрадчив, как его внешность. Холмс, не замечая протянутой руки, обратил к нему каменное лицо. Улыбка Милвертона стала еще более широкой; он пожал плечами, снял пальто, аккуратно повесил его на спинку кресла и только тогда сел.

— Этот джентльмен,— вопросительным тоном сказал

он, плавно махнув рукой в мою сторону,— необходимо ли его присутствие? Благоразумно ли это?

— Доктор Уотсон — мой друг и помощник.

— Очень хорошо, мистер Холмс. Я возражал против его присутствия только в интересах вашей клиентки. Дело настолько деликатное...

— Доктор Уотсон уже осведомлен об этом.

— Тогда можем перейти к делу. Вы говорите, что представляете интересы леди Евы. Уполномочила ли она вас принять мои условия?

— Каковы ваши условия?

— Семь тысяч фунтов.

— Иначе?

— Дорогой сэр, мне больно говорить об этом, но если деньги не будут уплачены до четырнадцатого числа, то восемнадцатого свадьба, без сомнения, не состоится.

Его безмятежная улыбка была еще более самодовольной, чем обычно.

Холмс немного подумал.

— По-моему, вы переоцениваете значение этих писем,— сказал он наконец.— Я, разумеется, знаком с их содержанием. Моя клиентка, без сомнения, поступит так, как я ей посоветую. Я могу убедить ее посвятить во всю эту историю ее будущего мужа в расчете на его великодушие.

Милвертон ухмыльнулся:

— Вы, очевидно, плохо знаете графа.

По гримасе, появившейся на лице Холмса, я понял, что он знает графа хорошо.

— Что же там такого в этих письмах?— спросил он.

— Они написаны бойко, весьма бойко,— отвечал Милвертон.— У леди Евы очень живой слог. Однако могу заверить вас, что графу Доуэркорту они вряд ли понравятся. Тем не менее, раз вы придерживаетесь другого мнения, оставим все как есть. Это в конце концов обычная сделка. Если, по-вашему, то, что письма попадут в руки графа, вполне отвечает интересам вашей клиентки, тогда, конечно, глупо будет с вашей стороны платить за них столько денег.

Он поднялся и взялся за свое каракулевое пальто.

Холмс побледнел от гнева и унижения.

— Подождите,— сказал он.— Вы слишком уж спешите. Нам, конечно, надо постараться всеми силами избежать скандала в таком деликатном деле.

Милвертон снова опустился в кресло.

— Я был уверен, что вы отнесетесь к этому именно так,— промурлыкал он.

— В то же время леди Ева — небогатая женщина,— продолжал Холмс.— Могу заверить вас: две тысячи фунтов — это все, что она может собрать, опустошив до дна при этом свой кошелек. Сумма же, которую вы назвали, в несколько раз превышает ее возможности. Поэтому прошу вас умерить свои требования и принять в обмен на письма названную мной сумму. Это, уверяю вас, самое большее, на что вы можете рассчитывать в данном случае.

Улыбка Милвертона стала еще более широкой, в глазах блеснул веселый огонек.

— Я знаю, то, что вы сказали о материальном положении этой дамы,— правда,— ответил он.— В то же время вы должны признать, что сам факт ее свадьбы — весьма подходящий случай, чтобы ее друзья и родственники собрали для нее некоторую сумму. Это был бы вполне приемлемый свадебный подарок. Уверяю вас, эта маленькая связка писем доставит ей больше радости, чем все подсвечники или масленки в Лондоне.

— Это невозможно,— отрезал Холмс.

— Ах, как жаль! — воскликнул Милвертон, извлекая из кармана пухлый бумажник.— Не могу избавиться от мысли, что женщинам в подобных ситуациях слишком часто дают дурной совет ничего не предпринимать. Взгляните-ка на это.— Он показал нам маленькую записку с гербом на конверте.— Ее написала... ну, вероятно, едва ли порядочно будет называть это имя до завтрашнего утра. Завтра, однако, сей документ попадет в руки мужа этой дамы. И все потому, что она не в состоянии заплатить ту ничтожную сумму, которую могла бы добыть, расставшись со своими бриллиантами. Какая жалость! Кстати, вы помните неожиданный разрыв между высокородной мисс Майлс и полковником Доркингом? Всего за два дня до свадьбы в «Морнинг пост» появилось сообщение — один лишь абзац — о том, что бракосочетание не состоится. А почему? Трудно поверить, но какие-то жалкие двенадцать тысяч фунтов могли бы уладить дело. Разве все это не достойно сожаления? И вот вы, здравомыслящий человек, начинаете торговаться, когда на карту поставлены достоинство и судьба вашей клиентки. Вы удивляете меня, мистер Холмс.

— То, что я сказал вам,— правда,— ответил Холмс.—

Сумму, которую вы запросили, собрать невозможно. Н[о по]думайте, не лучше ли вам удовольствоваться теми деньгами, которые я предлагал, чем испортить жизнь женщине, не получив за это ни пенса?

— Здесь вы не правы, мистер Холмс. Разоблачение принесет мне определенную пользу, хотя и косвенным путем. У меня сейчас на руках восемь — десять подобных дел. Если в этих кругах станет известно, что я сделал для леди Евы исключение, остальные раздумают мне что-либо платить. Вам понятна моя точка зрения?

Холмс вскочил со стула.

— Заходите сзади, Уотсон! Не давайте ему улизнуть. Ну-ка, сэр, позвольте-ка ознакомиться с содержанием вашего бумажника!

Милвертон быстро, как крыса, скользнул к стене и прислонился к ней спиной.

— Эй, мистер Холмс, мистер Холмс, — проговорил он, отворачивая полу пиджака и показывая рукоятку большого револьвера, торчавшую из внутреннего кармана. — Я-то ждал от вас чего-нибудь оригинального. То, что хотели сделать вы, делают слишком часто, и разве когда-нибудь из этого выходило что-нибудь путное? Могу заверить вас, я вооружен до зубов и готов в случае необходимости применить оружие, поскольку знаю, что закон будет на моей стороне. Кроме того, ваше предположение, что я ношу письма в бумажнике, в корне ошибочно. Никогда не делал подобных глупостей. А сейчас, джентльмены, должен сообщить вам, что у меня на сегодняшний вечер назначены две встречи, а отсюда до Хэмпстеда путь долгий.

Он сделал шаг вперед, взял свое пальто, положил руку на рукоятку револьвера и повернулся к двери. Я поднял было стул, но Холмс отрицательно покачал головой, и я поставил его снова на пол. Милвертон усмехнулся, подмигнул и, отвесив поклон, вышел из комнаты. Через несколько секунд мы услышали стук дверцы его экипажа и лязг колес, когда тот отъехал.

Холмс неподвижно сидел у камина, глубоко засунув руки в карманы брюк и опустив голову так, что подбородок его почти доставал до груди; взгляд его был прикован к поблескивавшим красным уголькам. Так в молчании он неподвижно просидел полчаса. Потом, сделав жест, означавший, что он принял решение, мой друг вскочил на ноги и исчез в своей спальне. Немного погодя оттуда появился нарядно одетый молодой рабочий

с козлиной бородкой и развязными манерами; он зажег свою глиняную трубку от газового рожка и стал спускаться по лестнице.

— Когда вернусь — не знаю, Уотсон,— бросил он и скрылся в ночи.

Я понял, что он открыл боевую кампанию против Чарльза Огастеса Милвертона, но мне и в голову не приходило, в какую странную форму ей суждено вылиться.

В течение нескольких дней Холмс приходил и уходил из дому все в том же наряде. Хотя ясно было, что он все время проводит в Хэмпстеде и не тратит его зря, я совершенно не представлял, чем он там занимается. В конце концов, однако, вернувшись из очередной своей экспедиции одним бурным, ненастным вечером, когда ветер завывал за окном и стучал в стекло, Холмс снял свой маскарадный костюм, сел у камина и от всей души, хотя и негромко, рассмеялся.

— Как, по-вашему, Уотсон, похож я на человека, который собирается жениться?

— Нет, конечно.

— Вас наверняка заинтересует тот факт, что я помолвлен.

— Дорогой друг! Поздравля...

— С горничной Милвертона.

— Господи, Холмс!

— Мне нужна была информация, Уотсон.

— Вам не кажется, что вы зашли слишком далеко?

— Это был совершенно необходимый шаг. Я преуспевающий водопроводчик, зовут меня Эскотт. Мы гуляем с ней каждый вечер и разговариваем. Господи Боже, что это за разговоры! Но я тем не менее выяснил все, что нужно. Я знаю теперь дом Милвертона как свои пять пальцев.

— Но девушка, Холмс!

— Ничего не поделаешь, дражайший Уотсон. Коль пошла такая игра, приходится выкладывать на стол все свои карты. Однако могу с удовольствием сообщить вам, что у меня имеется ненавидящий меня соперник, который, без сомнения, зарежет вашего покорного слугу, когда увидит, что я повернулся к нему спиной. Какая сегодня чудесная ночь!

— Вам нравится такая погода?

— Она благоприятствует моим замыслам, Уотсон. Я собираюсь сегодня ночью проникнуть в дом Милвертона.

При этих словах, неторопливо произнесенных выра-

жавшим холодную решимость тоном, у меня перехватило дыхание, по коже пробежали мурашки. Подобно тому как вспышка молнии в ночи освещает мельчайшие детали пейзажа, мне в мгновение ока представились все возможные последствия подобного шага: наше обнаружение, поимка, конец нашей славной карьеры, несмываемый позор, бесчестие, Холмс во власти этого мерзавца Милвертона.

— Ради Бога, Холмс, подумайте, что вы делаете! — вскричал я.

— Дружище, я подверг ситуацию всестороннему анализу. У меня нет обыкновения бросаться очертя голову в сомнительные авантюры, так что я не избрал бы, разумеется, этот решительный и, само собой, опасный образ действий, если бы можно было придумать что-нибудь еще. Давайте взглянем на ситуацию трезво и непредвзято. Полагаю, вы не будете возражать, что предприятие это с моральной точки зрения оправданно, хотя юридически и противозаконно. Проникнуть к нему с целью грабежа — примерно то же самое, что силой отобрать у него бумажник, а в этой акции вы готовы были мне помогать.

Я немного подумал.

— Да,— ответил я,— с точки зрения морали это приемлемо, потому что у нашего противника нет иных целей, кроме преступных.

— Еще бы! Теперь, поскольку мы признали это приемлемым, остается рассмотреть лишь вопрос, насколько это опасно. Как, по-вашему, должен ли джентльмен долго раздумывать об этом, когда дама так отчаянно нуждается в его помощи?

— Вы окажетесь в ложном положении.

— Ну разумеется, дело рискованное. Другого способа добыть эти письма нет. Несчастная леди Ева не сумела достать никаких денег, и у нее нет никого, кому она могла бы довериться. Завтра истекает поставленный им срок, и, если мы сегодня ночью не добудем писем, этот негодяй как пить дать исковеркает ей жизнь. Так что я должен либо предоставить ее своей судьбе, либо разыграть последнюю карту. Между нами, Уотсон, у нас с этим субъектом нечто вроде дуэли, спортивного единоборства. Он, как вы видели, очень сильно провел дебют, но мое чувство собственного достоинства и моя репутация являются порукой тому, что я буду сражаться до конца.

— Что ж, мне это не нравится, но ничего другого, пожалуй, не остается. Когда нам выходить?

— Вы не пойдете.

— Тогда не пойдете и вы,— заявил я.— Даю вам честное слово — я не нарушал его ни разу в жизни,— я поеду отсюда прямо в полицию и выдам вас с головой, если вы не возьмете меня с собою.

— Вы ничем не сможете мне помочь.

— Откуда вы знаете? Неизвестно, что там может приключиться. В любом случае я принял решение. Чувство собственного достоинства и даже забота о своей репутации свойственны, знаете ли, не только вам.

У Холмса был очень сердитый вид, но постепенно черты его лица разгладились, и он хлопнул меня по плечу.

— Хорошо, хорошо, дружище, пусть будет по-вашему. Мы с вами уже несколько лет обитаем в одной квартире; забавно будет, если это кончится тем, что нас поместят в одну камеру. Знаете, Уотсон, могу вам признаться: у меня не раз мелькала мысль, что из меня получится высокопрофессиональный преступник. Это случай, которого я ждал всю жизнь. Взгляните-ка сюда!

Он извлек из ящика шкафа небольшой, искусно сработанный кожаный чемоданчик и открыл его. Там лежали какие-то блестящие инструменты.

— Самый современный, первоклассный набор — все, необходимое для грабителя: никелированная фомка, стеклорез с алмазом, разнообразные отмычки и прочие новейшие технические средства. В этой области ведь тоже происходит научно-технический прогресс, Уотсон. А вот мой потайной фонарь. Все в полной готовности. У вас есть ботинки, в которых можно ступать бесшумно?

— Есть теннисные туфли на резиновой подошве.

— Отлично. А маски нет?

— Могу выкроить пару из куска черного шелка.

— Вижу, у вас сильная природная склонность к такого рода деятельности. Очень хорошо, делайте маски. Сейчас половина десятого. В одиннадцать отправляемся в путь. Едем до Чёрч-Роу, оттуда пятнадцать минут ходьбы до Эплдор-Тауэрс. В полночь мы должны уже заняться делом. Милвертон спит как убитый, а ложится всегда в половине одиннадцатого. Если повезет, вернемся часам к двум с письмами в кармане.

Мы с Холмсом надели фраки, чтобы выглядеть как возвращающиеся домой запоздалые театралы. На Оксфорд-стрит мы подозвали кэб и доехали до Хэмпстеда. Здесь мы расплатились с кэбменом и, застегнув доверху плащи, пошли вдоль края вересковой пустоши. Было очень холодно, ветер продувал нас насквозь.

Это дело из тех, где необходим весьма деликатный подход,— сказал мой друг.— Нужные нам документы хранятся в сейфе, который стоит в кабинете этого типа. Кабинет же — соседняя комната с его спальней. С другой стороны, у него, как и у всех этих полненьких, маленьких, вполне довольных собой человечков, прекрасный сон. По словам Агаты, моей невесты, слуги шутят, что хозяина не разбудит и пушка. У него есть преданный секретарь, который весь день торчит в кабинете. Поэтому мы наносим наш визит в ночное время. У него там есть еще свирепый пес, который бродит по саду. Мы с Агатой два последних дня встречались по вечерам в довольно позднее время, и она запирала эту зверюгу, чтобы я мог пройти. А вот и его дом, вон то большое здание, окруженное обширным участком. Нам сюда, в эту калитку; теперь направо, пройдем сквозь эти заросли лавра. По-моему, нам пора надеть маски. Как видите, ни в одном из окон света нет, так что все просто отлично.

Закрыв лица черными шелковыми масками, сделавшими нас двумя самыми устрашающими личностями в Лондоне и его окрестностях, мы подкрадывались к мрачному, погруженному в безмолвие дому. С одной его стороны была крытая черепицей длинная застекленная веранда, в нескольких местах перечеркнутая крест-накрест линиями оконных переплетов; по краям ее были две двери.

— Вон там его спальня,— прошептал Холмс.— Эта дверь ведет прямо в кабинет. Она для нас удобнее всего, но, к сожалению, заперта на ключ, да к тому же и на засов, так что мы подняли бы слишком много шума, открывая ее. Пойдем в обход, с той стороны, где оранжерея, из которой можно попасть в гостиную.

Дверь была заперта, но Холмс вырезал кружок стекла, просунул внутрь руку и повернул ключ. В следующее мгновение мы затворили за собой дверь и, таким образом, стали преступниками в глазах закона. От густого, теплого воздуха в оранжерее, насыщенного терпкими ароматами экзотических растений, у нас перехватило дыхание. Холмс в темноте схватил меня за руку и быстро повел по проходу мимо раскидистого кустарника, хлеставшего по нашим лицам. У моего друга была замечательная способность видеть в темноте, которую он старательно в себе развивал. Все еще держа меня за руку, он открыл дверь, и я смутно ощутил, что мы попали в большую комнату, где еще недавно кто-то курил сигару. Холмс

пробрался по узкому проходу среди мебели, открыл еще одну дверь, потом закрыл ее за нами. Протянув руку, я нащупал несколько висевших на стене пальто и понял, что мы находимся в коридоре. Миновав его, Холмс тихонько открыл дверь справа от себя. Из-за двери что-то на нас выскочило, и сердце чуть не выпрыгнуло у меня из груди, но я едва не рассмеялся вслух, когда понял, что это была кошка. В этой комнате пылал камин; в воздухе тоже висел густой табачный дым. Холмс вошел на цыпочках, подождал, пока вслед за ним войду я, и очень осторожно прикрыл дверь.

Мы были в кабинете Милвертона, и портьера на противоположной стене скрывала дверь в его спальню.

Пламя в камине было яркое и довольно неплохо освещало комнату. Рядом с дверью я заметил поблескивавший никелированный электрический выключатель, но включать свет не было необходимости, даже если это было бы безопасно. С одной стороны от камина висела тяжелая портьера, скрывавшая находящееся в глубине ниши окно, которое мы видели снаружи, с другой — была дверь на веранду. В центре комнаты стоял письменный стол, и рядом с ним — вертящийся стул на треноге с глянцевитым красным кожаным сиденьем. У противоположной стены стоял большой книжный шкаф, на котором красовался мраморный бюст Афины-Паллады. В углу, между книжным шкафом и стеной, был высокий зеленый сейф с блестящими медными ручками и заклепками, отражавшими красноватое пламя в камине. Холмс на цыпочках пересек комнату и осмотрел его. Затем он прокрался к двери в спальню и стоял какое-то время, склонив голову и прислушиваясь. Оттуда не доносилось никаких звуков. Мне в это время пришло в голову, что неплохо бы проверить наши тылы, и я подошел к двери, ведущей прямо на веранду. К моему удивлению, она была не только не закрыта на засов, но даже и не заперта. Я тронул Холмса за руку, и он обратил свое закрытое маской лицо в том же направлении. Я увидел, как он подошел к двери. Очевидно, он был удивлен не меньше, чем я.

— Мне это не нравится,— шепнул он, приблизив губы к самому моему уху.— Не понимаю, в чем тут дело. В любом случае нам нельзя терять время.

— Могу ли я чем-нибудь помочь?

— Да, встаньте у двери. Если услышите, что кто-то идет, заприте ее изнутри, и мы сможем уйти тем же путем, как пришли. Если же кто-то придет с той стороны, мы сможем

выйти через эту дверь, если к этому времени успеем его сделать, а если нет — спрячемся вон за теми оконными шторами. Вы поняли?

Я кивнул и встал у двери. Страх, который я чувствовал раньше, улетучился, и меня охватило какое-то лихорадочное возбуждение, которого я никогда не испытывал в тех случаях, когда мы стояли на страже закона, а не нарушали его. Высокая цель нашей миссии, сознание того, что она бескорыстна и благородна, отвратительная сущность нашего противника — все это придавало нашему приключению сходство с азартным спортивным состязанием. Совершенно не чувствуя за собой никакой вины, я наслаждался, просто даже упивался грозившими нам опасностями. С пылким восхищением я наблюдал, как Холмс открыл свой чемоданчик и выбирал инструменты со спокойной рассудительной точностью хирурга, готовящегося к ответственной операции. Я знал, что вскрывание сейфов было одним из любимых его увлечений, и понимал, какое удовольствие испытывает он от сражения с этим золотисто-зеленым чудовищем, с драконом, в утробе которого покоились репутации многих благородных женщин. Сняв плащ, повесив его на спинку стула и засучив рукава визитки, он выложил на пол две дрели, фомку и несколько отмычек. Я стоял у одной двери, смотрел на две другие и чувствовал себя готовым к любым неожиданностям, хотя на самом деле весьма смутно представлял себе, что делать, если нам помешают.

В течение получаса Холмс работал не покладая рук, откладывая один инструмент, берясь за другой, обращаясь с каждым из них с аккуратностью и сноровкой истинного мастера своего дела. Наконец я уловил щелчок, большая зеленая дверца открылась, и я увидел внутри сейфа множество бумаг, связанных в стопки, запечатанных и снабженных ярлыками. Холмс извлек оттуда одну из этих связок, но камин давал слишком слабый и неровный свет, чтобы читать, и мой друг вытащил свой потайной фонарик, поскольку зажигать свет было слишком опасно, учитывая присутствие Милвертона в соседней комнате.

Внезапно я увидел, как Холмс замер и стал напряженно прислушиваться, затем мгновенно закрыл дверцу сейфа, снял свой плащ со спинки стула, рассовал по карманам инструменты и метнулся к оконной шторе, махнув мне рукой, чтобы я последовал его примеру.

Только присоединившись к нему, я услышал то, что задолго до этого уловил его чуткий слух. Где-то в глубине

дома раздался шум, затем вдалеке хлопнула дверь. Мы услышали далекие глухие звуки чьего-то голоса, затем быстро приближавшиеся тяжелые размеренные шаги. Они уже раздавались в коридоре вблизи нашей комнаты, затем замерли перед дверью. Дверь отворилась. Послышался резкий щелчок, и зажегся электрический свет. Дверь снова закрылась, и мы уловили едкий аромат крепкой сигары. Затем вошедший стал шагать взад-вперед по комнате в нескольких ярдах от нас. Наконец звуки шагов замолкли, заскрипел стул, лязгнул ключ в замке, и я услышал шелест бумаг.

До этого момента я не осмеливался посмотреть, что происходит в комнате, но сейчас слегка раздвинул занавески перед собой и выглянул. Холмс подтолкнул меня плечом, и я понял, что он видит то же, что и я. Прямо перед нами, чуть правее камина, виднелась широкая сутулая спина Милвертона; она была так близко, что мы могли бы достать ее рукой. Ясно было, что мы совершенно неверно рассчитали его действия, что он даже и не заходил в спальню, а находился в одной из бильярдных или курительных комнат в отдаленном крыле дома, окна которого не были нам видны. Его большая седоватая голова с поблескивавшей на затылке лысиной была в самом центре открывавшегося перед нами поля зрения. Он отклонился далеко назад на своем красном кожаном стуле и вытянул ноги; изо рта торчала вверх длинная черная сигара. На нем был какой-то полувоенного вида френч бордового цвета с черным вельветовым воротником. В руках он держал большого размера документ, скорее всего судебный отчет, и читал его, не проявляя особой заинтересованности. При этом он пускал изо рта кольца табачного дыма. Непохоже было, что он собирается отсюда уходить — поза его была слишком удобной, а поведение — слишком спокойным.

Я почувствовал, как Холмс тихонько взял мою руку и, желая меня успокоить, пожал ее. Очевидно, он хотел дать мне понять, что контролирует ситуацию и ничуть не волнуется. Я не был уверен, видит ли он то, что хорошо было заметно с того места, где стоял я, а именно что дверца сейфа чуть приоткрыта, и Милвертон может в любой момент это заметить. Для себя я решил: как только мне станет ясно по его взгляду, что он обнаружил это, я сразу же выскочу из-за портьеры, наброшу ему на голову свой плащ, свяжу его, а остальное предоставлю Холмсу. Однако Милвертон не сводил глаз со своего отчета.

Читал он не особенно внимательно — просто перелистывал страницы, следя за аргументами юристов. Я думал, что, дочитав документ и докурив сигару, он удалится к себе в спальню, но он не успел покончить ни с тем, ни с другим, когда события приняли настолько непредсказуемый характер, что мысли наши потекли совершенно по другому руслу.

Несколько раз я замечал, что Милвертон смотрит на часы; один раз он встал и тут же сел снова с нетерпеливым жестом. Однако мысль, что на этот необычный час у него могла быть назначена встреча, не приходила мне в голову, пока с веранды не донесся какой-то слабый звук. Милвертон отложил свои бумаги и сидел теперь в напряженной позе. Звук повторился, затем послышался тихий стук в дверь. Милвертон поднялся и отворил ее.

— Ну и ну,— резко сказал он.— Вы опоздали почти на полчаса.

Этим и объяснялась загадка отпертой двери и ночного бдения Милвертона. Послышался легкий шелест женского платья. Когда Милвертон, встав, повернулся в нашем направлении, я закрыл промежуток между шторами, но теперь рискнул снова его приоткрыть. Хозяин дома опять уселся на стул; сигара, которую он держал во рту, все так же торчала вверх. Перед ним, ярко освещенная электрическим светом, стояла высокая стройная темноволосая женщина; лицо ее было закрыто вуалью, нижнюю часть его прикрывала к тому же и накидка. Женщина часто и прерывисто дышала, гибкое тело ее дрожало — видно было, что ею владеет какое-то сильное чувство.

— Что ж,— после паузы продолжал Милвертон,— из-за вас я лишился нескольких часов ночного отдыха. Надеюсь, ваше дело того стоит. Вы не могли прийти в другое время, а?

Женщина отрицательно покачала головой.

— Ладно, не могли так не могли. Если графиня — такая жестокая хозяйка, у вас теперь будет шанс с ней расквитаться. Господь с вами, девушка, что же вы вся дрожите? Все в порядке, возьмите себя в руки. И вообще давайте приступим к делу.

Он вытащил из ящика стола блокнот.

— Вы говорите, у вас есть пять писем, компрометирующих графиню д'Альбер. Вы желаете их продать. Я хочу их купить. Пока наши интересы совпадают. Остается только договориться о цене. Разумеется, я должен сперва взглянуть на них. Если они действительно стоят того... Господи помилуй, это вы?!

Женщина, не говоря ни слова, подняла вуаль и опустила на плечи капюшон. На Милвертона смотрело смуглое, волевое, четко очерченное лицо с римским носом; густые черные брови были нахмурены, глаза сверкали, тонкие губы были сжаты, образуя прямую линию, на них играла не предвещавшая ничего хорошего улыбка.

— Это я,— ответила она.— Женщина, которой вы исковеркали всю жизнь.

Милвертон засмеялся, но голос его подрагивал от страха.

— Вы так были упрямы,— сказал он.— Зачем вы вынудили меня принять крайние меры? Могу заверить вас, я по своей воле не обидел бы и мухи, но у каждого свой бизнес. Что мне было делать? Я назначил цену, которая была вам по силам. Вы не заплатили.

— И тогда вы послали письма моему мужу, человеку, благороднее которого не было на свете, тому, кому я недостойна даже чистить ботинки. И его доблестное сердце разбилось, он умер. Помните ту последнюю ночь, когда я вошла сюда через эту же дверь и просила, умоляла вас о пощаде, а вы смеялись мне в лицо? Точно так же вы пытаетесь смеяться сейчас, хотя душонка у вас трусливая, и потому губы ваши дрожат. Да, не думали вы увидеть меня вновь, но в ту ночь я поняла, как можно застать вас одного и поговорить с вами с глазу на глаз. Ну что, Чарльз Милвертон, что вы на это скажете?

— Не воображайте, что вам удастся меня запугать! — воскликнул он, вскакивая.— Стоит мне только возвысить голос, как сюда сбегутся слуги, и вас задержат. Но я буду к вам снисходителен — гнев ваш так понятен. Уходите отсюда так же, как пришли, и будем считать, что инцидент исчерпан.

— Не загубишь ты больше ничью жизнь, как загубил мою. Не будешь терзать ничье сердце, как терзал мое. Я избавлю мир от ядовитой гадины. Получай, собака! И еще! И еще! И еще! И еще!

Выхватив маленький блестящий револьвер и держа его в двух футах от груди Милвертона, она всаживала пулю за пулей в его тело. Он отшатнулся, затем упал на стол, неистово кашляя и сгребая пальцами лежавшие там бумаги. Потом он с неимоверным трудом встал на ноги, получил последнюю пулю и рухнул на пол.

— Она меня прикончила! — взвыл он и затих.

Женщина внимательно посмотрела на него и наступила ногой на его обращенное к потолку лицо. Она вглядыва-

ясь в лежащее на полу тело, но оно, было, безжизненно и неподвижно. Я услышал шелест платья, затем в жарко натопленную комнату пахнуло холодным ночным воздухом, и мстительница исчезла.

Никакое наше вмешательство не спасло бы этого человека от уготованной ему участи, но когда женщина всаживала пулю за пулей в дергавшееся тело Милвертона, я был близок к тому, чтобы выскочить из укрытия, и тут почувствовал, что Холмс с силой сжал мое запястье холодной рукой. Я понял, что означало это крепкое, отрезвляющее пожатие — это было не наше дело, негодяя постигла справедливая кара, у нас же были собственные задачи и обязанности, о которых нам нельзя было забывать.

Однако как только женщина поспешно покинула комнату, Холмс быстрой беззвучной походкой подошел к противоположной двери, повернул в замке ключ и запер ее. В ту же минуту до нас донеслись голоса из глубины дома и торопливые шаги. Револьверные выстрелы подняли на ноги весь дом. С завидным самообладанием Холмс скользнул к сейфу, набрал в обе руки несколько связок писем и бросил их в камин. Он делал это снова и снова, пока сейф не опустел. Кто-то дергал снаружи за дверную ручку и стучал в дверь кулаком. Холмс быстро огляделся. Письмо, ставшее для Милвертона вестником смерти, лежало на столе, все закапанное кровью. Мой друг швырнул его в кучу горевших в камине бумаг. Затем он вынул ключ из двери на веранду, вышел вслед за мной и запер дверь снаружи.

— Сюда, Уотсон,— сказал он.— Там мы сможем перелезть через садовую ограду.

Никогда бы не поверил, что тревога может распространяться так быстро. Оглянувшись, я увидел, что весь дом залит огнями. Дверь парадного входа была открыта, с крыльца на улицу сбегали люди. В саду было полно народу; когда мы спустились с веранды, какой-то парень крикнул, что он нас видит, и побежал за нами. Холмс, похоже, прекрасно знал местность; он быстро пересек насаждения низкорослых деревьев, я не отставал от него ни на шаг, позади пыхтел наш ближайший преследователь. Тропинка обрывалась у садовой ограды высотою в человеческий рост. Холмс взметнулся наверх и спрыгнул на той стороне. Попытавшись последовать его примеру, я почувствовал, что преследователь схватил меня рукой за лодыжку, но я дал ему пинка и, ос-

свободившись, перевалился через заросший травой гребень стены. Я ощутил, что лицо мое попало между веток какого-то куста, но Холмс в мгновение ока поставил меня на ноги, и мы с ним ринулись прочь напрямик через обширную Хэмпстедскую вересковую пустошь. Только когда мы пробежали около двух миль, Холмс остановился и внимательно прислушался. За нами никто не гнался, вокруг была мертвая тишина. Мы избавились от преследователей и были в безопасности.

Наутро после всех этих необыкновенных приключений мы с Холмсом курили после завтрака трубки, когда в нашей скромной гостиной появился мистер Лестрейд из Скотленд-Ярда. Вид у него был весьма торжественный и представительный.

— Доброе утро, мистер Холмс,— сказал он,— доброе утро. Можно вас спросить, очень ли вы сейчас заняты?

— Не настолько, чтобы вас не выслушать.

— Я думал, что, если у вас нет сейчас на руках каких-нибудь срочных дел, вы, может быть, возьметесь помочь нам в расследовании одного очень интересного происшествия, случившегося сегодня ночью в Хэмпстеде?

— Да ну! — отозвался Холмс.— Что же там произошло?

— Убийство, чистой воды убийство, причем очень необычное. Я знаю, как вы любите подобные дела, и буду вам очень признателен, если вы выберетесь в Эпплдор-Тауэрс и дадите нам свои драгоценные советы. Это далеко не заурядное преступление. Мы давно уже следили за этим мистером Милвертоном; между нами, это был самый настоящий негодяй. Известно было, что он собирает чужие письма, которые использует потом в целях шантажа. Все эти письма убийцами сожжены. Ничего ценного не взято, так что преступники, вероятно,— люди из общества, чьей единственной целью было предотвратить какой-то скандал.

— Преступники?— переспросил мой друг.— Их что, несколько?

— Двое. Их чуть не поймали на месте преступления. У нас есть отпечатки их башмаков, описание внешности. Десять против одного, что мы их выследим. Первый из этих типов более подвижен, а второго чуть не схватил младший садовник, но он вырвался и убежал. Он среднего роста, крепко сложен; у него квадратный

по подбородок, толстая шея, усы; лицо было закрыто маской.

— Очень уж все это неопределенно, — заметил Холмс. — Под ваше описание подходит хотя бы даже Уотсон.

— А ведь правда, — развеселившись, сказал инспектор. — Уотсон под него подходит.

— Что ж, боюсь, я не смогу помочь вам, Лестрейд, — заявил мой друг. — Дело в том, что я знал этого самого Милвертона и считал его одним из самых опасных людей в Лондоне. На мой взгляд, есть такие преступления, которые закон не в состоянии покарать, так что в этих случаях роль правосудия играет месть частных лиц. Нет, спорить бесполезно — я принял решение. Мои симпатии скорее на стороне преступников, чем жертвы. Я не берусь за это дело.

Холмс ни слова не сказал мне о трагедии, свидетелями которой мы стали, но я заметил, что он все утро пребывал в какой-то задумчивости. Его невидящий взгляд и отрешенность были характерны для человека, силящегося что-то припомнить. Наш ленч был в самом разгаре, когда он вдруг вскочил.

— Уотсон, я вспомнил! — вскричал он.— Берите шляпу, пошли.

Он на всех парах промчался вниз по Бейкер-стрит, затем по всей Оксфорд-стрит, и мы почти дошли до Риджент-Серкус. Здесь, на левой стороне улицы, располагался магазинчик, в витрине которого были выставлены фотографии знаменитых людей и самых красивых женщин Лондона. Взгляд Холмса был прикован к одной из фотографий, и, проследив его направление, я увидел портрет статной и величественной дамы в придворном облачении с высокой алмазной диадемой на благородном челе. Я смотрел на этот тонкий римский нос, густые черные брови, прямую линию рта, упрямо выступающий вперед маленький подбородок. У меня захватило дух, когда я прочел под фотографией, женою какого крупного государственного деятеля и родовитого лорда она была. Я перевел взгляд на Холмса. Он приложил палец к губам, и мы отвернулись от витрины.

ШЕСТЬ НАПОЛЕОНОВ

Мистер Лестрейд, сыщик из Скотленд-Ярда, нередко навещал нас по вечерам. Шерлоку Холмсу были приятны его посещения, потому что Лестрейд приносил всевозмож-

АРТУР КОНАН ДОЙЛ

ИЗ ДОСЬЕ ШЕРЛОКА ХОЛМСА

РАССКАЗЫ

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ. ОЛИМП
1991

ПЕСТРАЯ ЛЕНТА

Просматривая свои записи о приключениях Шерлока Холмса,— а таких записей, которые я вел на протяжении последних восьми лет, у меня больше семидесяти,— я нахожу в них немало трагических случаев, есть среди них и забавные, есть и причудливые, но нет ни одного заурядного: работая из любви к своему искусству, а не ради денег, Холмс никогда не брался за расследование обыкновенных, будничных дел, его всегда привлекали только такие дела, в которых есть что-нибудь необычайное, а порою даже фантастическое.

Особенно причудливым кажется мне дело хорошо известной в Суррее семьи Ройлоттов из Сток-Морона. Мы с Холмсом, два холостяка, жили тогда вместе на Бейкер-стрит. Вероятно, я бы и раньше опубликовал свои записи, но я дал слово держать это дело в тайне и освободился от своего слова лишь месяц назад, после безвременной кончины той женщины, которой оно было дано. Пожалуй, будет небесполезно представить это дело в истинном свете, потому что молва приписывала смерть доктора Гримсби Ройлотта еще более ужасным обстоятельствам, чем те, которые были в действительности.

Проснувшись в одно апрельское утро 1883 года, я увидел, что Шерлок Холмс стоит у моей кровати. Одет он был не по-домашнему. Обычно он поднимался с постели поздно, но теперь часы на камине показывали лишь четверть восьмого. Я посмотрел на него с удивлением и даже несколько укоризненно. Сам я был верен своим привычкам.

— Весьма сожалею, что разбудил вас, Уотсон,— сказал он.— Но такой уж сегодня день. Разбудили миссис Хадсон, она — меня, а я — вас.

— Что же там такое? Пожар?

— Нет, клиентка. Приехала какая-то девушка, она ужасно взволнована и непременно желает повидаться со мной. Она ждет в приемной. А уж если молодая дама решается в столь ранний час путешествовать по улицам столицы и поднимать с постели незнакомого человека, я полагаю, она хочет сообщить что-то

очень важное. Дело может оказаться интересным, и вам, конечно, хотелось бы услышать эту историю с самого первого слова. Вот я и решил предоставить вам эту возможность.

— Буду счастлив услышать такую историю.

Я не знал большего наслаждения, как следовать за Холмсом во время его профессиональных занятий и любоваться его стремительной мыслью. Порой казалось, что он решает предлагаемые ему загадки не разумом, а каким-то вдохновенным чутьем, но на самом деле все его выводы были основаны на точной и строгой логике.

Я быстро оделся, и через несколько минут мы спустились в гостиную. Дама, одетая в черное, с густой вуалью на лице, поднялась при нашем появлении.

— Доброе утро, сударыня,— сказал Холмс приветливо.— Меня зовут Шерлок Холмс. Это мой близкий друг и помощник, доктор Уотсон, с которым вы можете быть столь же откровенны, как и со мной. Ага! Как хорошо, что миссис Хадсон догадалась затопить камин. Я вижу, вы очень продрогли. Присаживайтесь поближе к огню и разрешите предложить вам чашку кофе.

— Не холод заставляет меня дрожать, мистер Холмс,— тихо сказала женщина, подсаживаясь к камину.

— А что же?

— Страх, мистер Холмс, ужас!

С этими словами она подняла вуаль, и мы увидели, как она возбуждена, какое у нее посеревшее, осунувшееся лицо. В ее глазах был испуг, словно у затравленного зверя. Ей было не больше тридцати лет, но в волосах уже блестела седина, и выглядела она усталой и измученной.

Шерлок Холмс окинул ее своим быстрым всепонимающим взглядом.

— Вам нечего бояться,— сказал он, ласково погладив ее по руке.— Я уверен, что нам удастся уладить все неприятности... Вы, я вижу, прехали утренним поездом.

— Разве вы меня знаете?

— Нет, но я заметил в вашей левой перчатке обратный билет. Вы сегодня рано встали, а потом, направляясь на станцию, долго тряслись в двуколке по скверной дороге.

Дама резко вздрогнула и в замешательстве взглянула на Холмса.

— Здесь нет никакого чуда, сударыня,— сказал он, улыбнувшись.— Левый рукав вашего жакета по крайней мере в семи местах забрызган грязью. Пятна совершенно свежие. Так обрызгаться можно только в двуколке, сидя слева от кучера.

— Все так и было,— сказала она.— Около шести часов я выбралась из дому, в двадцать минут седьмого была в Лезерхеде и с первым поездом приехала в Лондон, на вокзал Ватерлоо... Сэр, я больше не вынесу этого, я сойду с ума!

У меня нет никого, к кому я могла бы обратиться. Есть, впрочем, один человек, который принимает во мне участие, но чем он может мне помочь, бедняга? Я слышала о вас, мистер Холмс, слышала от миссис Фаринтош, которой вы помогли в минуту горя. Она дала мне ваш адрес. О сэр, помогите и мне или по крайней мере попытайтесь пролить хоть немного света в тот непроницаемый мрак, который окружает меня! Я не в состоянии отблагодарить вас сейчас за ваши услуги, но через месяц-полтора я буду замужем, тогда у меня будет право распоряжаться своими доходами, и вы увидите, что я умею быть благодарной.

Холмс подошел к конторке, открыл ее, достал оттуда записную книжку.

— Фаринтош...— сказал он.— Ах да, я вспоминаю этот случай. Он связан с тиарой из опалов. По-моему, это было еще до нашего знакомства, Уотсон. Могу вас уверить, сударыня, что я буду счастлив отнестись к вашему делу с таким же усердием, с каким отнесся к делу вашей приятельницы. А вознаграждения мне никакого не нужно, так как моя работа и служит мне вознаграждением. Конечно, у меня будут кое-какие расходы и их вы можете возместить, когда вам будет угодно. А теперь попрошу вас сообщить нам подробности вашего дела, чтобы мы могли иметь свое суждение о нем.

— Увы! — ответила девушка.— Ужас моего положения заключается в том, что мои страхи так неопределенны и смутны, а подозрения основываются на таких мелочах, казалось бы, не имеющих никакого значения, что даже тот, к кому я имею право обратиться за советом и помощью, считает все мои рассказы бреднями нервной женщины. Он не говорит мне ничего, но я читаю это в его успокоительных словах и уклончивых взглядах. Я слышала, мистер Холмс, что вы, как никто, разбираетесь во всяких порочных наклонностях человеческого сердца и можете посоветовать, что мне делать среди окружающих меня опасностей.

— Я весь внимание, сударыня.

— Меня зовут Элен Стоунер. Я живу в доме моего отчима, Ройлотта. Он является последним отпрыском одной из старейших саксонских фамилий в Англии, Ройлоттов из Сток-Морона, у западной границы Суррея.

Холмс кивнул головой.

— Мне знакомо это имя,— сказал он.

— Было время, когда семья Ройлоттов была одной из самых богатых в Англии. На севере владения Ройлоттов простирались до Беркшира, а на западе — до Хампшира. Но в прошлом столетии четыре поколения подряд проматывали семейное состояние, пока наконец один из наследников, страстный игрок, окончательно не разорил семью во времена регентства. От прежних поместий остались лишь несколько акров земли да

старинный дом, построенный лет двести назад и грозящий рухнуть под бременем закладных. Последний помещик из этого рода влачил в своем доме жалкое существование нищего аристократа. Но его единственный сын, мой отчим, поняв, что надо как-то приспособляться к новому положению вещей, взял взаймы у какого-то родственника необходимую сумму денег, поступил в университет, окончил его с дипломом врача и уехал в Калькутту, где благодаря своему искусству и выдержке вскоре приобрел широкую практику. Но вот в доме у него случилась кража, и Ройлотт в припадке бешенства избил до смерти туземца-дворецкого. С трудом избежав смертной казни, он долгое время томился в тюрьме, а потом возвратился в Англию угрюмым и разочарованным человеком.

В Индии доктор Ройлотт женился на моей матери, миссис Стоунер, молодой вдове генерал-майора артиллерии. Мы были близнецы — я и моя сестра Джулия, и, когда мать наша выходила замуж за доктора, нам едва минуло два года. Она обладала порядочным состоянием, дававшим ей не меньше тысячи фунтов дохода в год. По ее завещанию, это состояние переходило к доктору Ройлотту, поскольку мы жили вместе. Но если мы выйдем замуж, каждой из нас должна быть выделена определенная сумма годового дохода. Вскоре после нашего возвращения в Англию моя мать умерла — она погибла восемь лет назад во время железнодорожной катастрофы при Кру. После ее смерти доктор Ройлотт оставил свои попытки обосноваться в Лондоне и наладить там медицинскую практику и вместе с нами поселился в родовом поместье в Сток-Морон. Состояния нашей матери вполне хватало на то, чтобы удовлетворять наши потребности, и, казалось, ничто не должно было мешать нашему счастью.

Но странная перемена произошла с моим отчимом. Вместо того, чтобы подружиться с соседями, которые вначале обрадовались, что Ройлотт из Сток-Морона вернулся в родовое гнездо, он заперся в усадьбе и очень редко выходил из дому, а если и выходил, то всякий раз затевал безобразную ссору с первым же человеком, который попадался ему на пути. Бешеная вспыльчивость, доходящая до исступления, передавалась по мужской линии всем представителям этого рода, а у моего отчима она, вероятно, еще более усилилась благодаря долгому пребыванию в тропиках. Много было у него яростных столкновений с соседями, два раза дело кончалось полицейским участком. Он сделался грозой всего селения... Нужно сказать, что он человек невероятной физической силы, и, так как в припадке гнева совершенно не владеет собой, люди при встрече с ним буквально шарахались в сторону.

На прошлой неделе он швырнул в реку местного кузнеца, и, чтобы откупиться от публичного скандала, мне пришлось отдать все деньги, какие я могла собрать. Единственные друзья

его — кочующие цыгане, он позволяет этим бродягам раскидывать шатры на небольшом, заросшем ежевикой клочке земли, составляющем все его родовое поместье, и порой кочует вместе с ними, по целым неделям не возвращаясь домой. Еще есть у него страсть к животным, которых присылает ему из Индии один знакомый, и в настоящее время по его владениям свободно разгуливают гепард и павиан, наводя на жителей почти такой же страх, как и он сам.

Из моих слов вы можете заключить, что мы с сестрой жили не слишком-то весело. Никто не хотел идти к нам в услужение, и долгое время всю домашнюю работу мы исполняли сами. Сестре было всего тридцать лет, когда она умерла, а у нее уже начинала пробиваться седина, такая же, как у меня.

— Так ваша сестра умерла?

— Она умерла ровно два года назад, и как раз о ее смерти я и хочу рассказать вам. Вы сами понимаете, что при таком образе жизни мы почти не встречались с людьми нашего возраста и нашего круга. Правда, у нас есть незамужняя тетка, сестра нашей матери, мисс Гонория Уэстфайл, она живет близ Харроу, и время от времени нас отпускали погостить у нее. Два года назад моя сестра Джулия проводила у нее рождество. Там она встретилась с отставным майором флота, и он сделался ее женихом. Вернувшись домой, она рассказала о своей помолвке нашему отчиму. Отчим не возражал против ее замужества, но за две недели до свадьбы случилось ужасное событие, лишившее меня моей единственной подруги...

Шерлок Холмс сидел в кресле, откинувшись назад и положив голову на диванную подушку. Глаза его были закрыты. Теперь он приподнял веки и взглянул на посетительницу.

— Прошу вас рассказывать, не пропуская ни одной подробности,— сказал он.

— Мне легко быть точной, потому что все события тех ужасных дней врезались в мою память... Как я уже говорила, наш дом очень стар, и только одно крыло пригодно для жилья. В нижнем этаже размещаются спальни, гостиные находятся в центре. В первой спальне спит доктор Ройлотт, во второй спала моя сестра, а в третьей — я. Спальни не сообщаются между собой, но все они имеют выход в один коридор. Достаточно ли ясно я рассказываю?

— Да, вполне.

Окна всех трех спален выходят на лужайку. В ту роковую ночь доктор Ройлотт рано удалился в свою комнату, но мы знали, что он еще не лег, так как сестру мою долго беспокоил запах крепких индийских сигар, которые он имел привычку курить. Сестра не выносила этого запаха и пришла в мою комнату, где мы просидели некоторое время, болтая о ее предстоящем замужестве. В одиннадцать часов она поднялась и хотела уйти, но у дверей остановилась и спросила меня:

«Скажи, Элен, не кажется ли тебе, будто кто-то свистит по ночам?»

«Нет»,— сказала я.

«Надеюсь, что ты не свистишь во сне?»

«Конечно, нет. А в чем дело?»

«В последнее время, часа в три ночи, мне ясно слышится тихий, отчетливый свист. Я сплю очень чутко, и свист будит меня. Не могу понять, откуда он доносится,— быть может, из соседней комнаты, быть может, с лужайки. Я давно уже хотела спросить у тебя, слыхала ли ты его».

«Нет, не слыхала. Может, свистят эти мерзкие цыгане?»

«Очень возможно. Однако, если бы свист доносился с лужайки, ты тоже слышала бы его».

«Я сплю гораздо крепче тебя».

«Впрочем, все это пустяки»,— улыбнулась сестра, закрыла мою дверь, и спустя несколько мгновений я услышала, как щелкнул ключ в ее двери.

— Вот как! — сказал Холмс.— Вы на ночь всегда запирались на ключ?

— Всегда.

— А почему?

— Я, кажется, уже упоминала, что у доктора жили гепард и павиан. Мы чувствовали себя в безопасности лишь тогда, когда дверь была закрыта на ключ.

— Понимаю. Прошу продолжать.

— Ночью я не могла уснуть. Смутное ощущение какого-то неотвратимого несчастья охватило меня. Мы близнецы, а вы знаете, какими тонкими узами связаны столь родственные души. Ночь была жуткая: выл ветер, дождь барабанил в окна. И вдруг среди грохота бури раздался дикий вопль. То кричала моя сестра. Я спрыгнула с кровати и, накинув большой платок, выскочила в коридор. Когда я открыла дверь, мне показалось, что я слышу тихий свист, вроде того, о котором мне рассказывала сестра, а затем что-то звякнуло, словно на землю упал тяжелый металлический предмет. Подбежав к комнате сестры, я увидела, что дверь тихонько колышется взад и вперед. Я остановилась, пораженная ужасом, не понимая, что происходит. При свете лампы, горевшей в коридоре, я увидела свою сестру, которая появилась в дверях, шатаясь, как пьяная, с белым от ужаса лицом, протягивая вперед руки, словно моля о помощи. Бросившись к ней, я обняла ее, но в это мгновение колени сестры подогнулись, и она рухнула наземь. Она корчилась, словно от нестерпимой боли, руки и ноги ее сводило судорогой. Сначала мне показалось, что она меня не узнает, но когда я склонилась на ней, она вдруг вскрикнула... О, я никогда не забуду ее страшного голоса!

«Боже мой, Элен! — крикнула она.— Лента! Пестрая лента!»

Она пыталась еще что-то сказать, указывая пальцем в сто-

рону комнаты доктора, но новый приступ судорог оборва
слова. Я выскочила и, громко крича, побежала за отчимом.
уже спешил мне навстречу в ночном халате. Сестра была
сознания, когда он приблизился к ней. Он влил ей в рот кон
и тотчас же послал за деревенским врачом, но все усилия сп
ее были напрасны, и она скончалась, не приходя в созна
Таков был ужасный конец моей любимой сестры...

— Позвольте спросить,— сказал Холмс.— Вы уверены,
слышали свист и лязг металла? Могли бы вы показать это
присягой?

— Об этом спрашивал меня и следователь. Мне кажется,
я слышала эти звуки, однако меня могли ввести в заблужд
и завывания бури и потрескивания старого дома.

— Ваша сестра была одета?

— Нет, она выбежала в одной ночной рубашке. В пр
руке у нее была обгорелая спичка, а в левой спичеч
коробка.

— Значит, она чиркнула спичкой и стала осматриваться,
когда что-то испугало ее. Очень важная подробность. А к каким выводам пришел следователь?

— Он тщательно изучил все обстоятельства, ведь буйный
характер доктора Ройлотта был известен всей округе, но ему так
и не удалось найти мало-мальски удовлетворительную причину
смерти моей сестры. Я показала на следствии, что дверь ее
комнаты была заперта изнутри, а окна защищены снаружи
старинными ставнями с широкими железными засовами. Стены
были подвергнуты самому внимательному изучению, но они
повсюду оказались очень прочными. Осмотр пола тоже не дал
никаких результатов. Каминная труба широка, но ее перекрывают целых четыре вьюшки. Итак, нельзя сомневаться, что
сестра во время постигшей ее катастрофы была совершенно
одна. Никаких следов насилия обнаружить не удалось.

— А как насчет яда?

— Врачи исследовали ее, но не нашли ничего, что указывало
бы на отравление.

— Что же по-вашему, было причиной смерти?

— Мне кажется, она умерла от ужаса и нервного потрясения. Но я не представляю себе, кто мог ее так напугать.

— А цыгане были в то время в усадьбе?

— Да, цыгане почти всегда живут у нас.

— А что, по-вашему, могли означать ее слова о ленте,
о пестрой ленте?

— Иногда мне казалось, что слова эти были сказаны просто
в бреду, а иногда — что они относятся к цыганам. Но почему
лента пестрая? Возможно, что пестрые платки, которые носят
цыганки, внушили ей этот странный эпитет.

Холмс покачал головой: видимо, объяснение не удовлетворяло его.

— Это дело темное,— сказал он.— Прошу вас, продолжайте.

— С тех пор прошло два года, и жизнь моя была еще более одинокой, чем раньше. Но месяц назад один близкий мне человек, которого я знаю много лет, сделал мне предложение. Его зовут Армитедж, Пэрси Армитедж, он второй сын мистера Армитеджа из Крейнуотера, близ Рединга. Мой отчим не возражал против нашего брака, и этой весной мы должны обвенчаться. Два дня назад в западном крыле нашего дома начались кое-какие переделки. Была пробита стена моей спальни, и мне пришлось перебраться в ту комнату, где скончалась сестра, и спать на той самой кровати, на которой спала она. Можете себе представить мой ужас, когда прошлой ночью, лежа без сна и размышляя о ее трагической смерти, я внезапно услышала в тишине тот самый тихий свист, который был предвестником гибели сестры. Я вскочила, зажгла лампу, но в комнате никого не было. Снова лечь я не могла — я была слишком взволнована, поэтому я оделась и, чуть рассвело, выскользнула из дому, взяла двуколку в гостинице «Корона», которая находится напротив нас, поехала в Летер[illegible], а оттуда сюда — с одной только мыслью повидать ва[illegible]сить у вас совета.

— Вы очень ум[illegible]или, — сказал мой друг.— Но все ли вы рассказали мне?

— Да, все.

— Нет, не все, мисс Ройлотт: вы щадите и выгораживаете своего отчима.

— Я не понимаю вас...

Вместо ответа Холмс откинул черную кружевную отделку на рукаве нашей посетительницы. Пять багровых пятен — следы пяти пальцев — ясно виднелись на белом запястье.

— Да, с вами обошлись жестоко,— сказал Холмс.

Девушка густо покраснела и поспешила опустить кружева.

— Отчим — суровый человек,— сказала она.— Он очень силен, и, возможно, сам не замечает своей силы.

Наступило долгое молчание. Холмс сидел, подперев руками подбородок и глядя на потрескивавший в камине огонь.

— Сложное дело,— сказал он наконец.— Мне хотелось бы выяснить еще тысячу подробностей, прежде чем решить, как действовать. А между тем нельзя терять ни минуты. Послушайте, если бы мы сегодня же приехали в Сток-Морон, удалось бы нам осмотреть эти комнаты, но так, чтобы ваш отчим ничего не узнал?

— Он как раз говорил мне, что собирается ехать сегодня в город по каким-то важным делам. Возможно, что его не будет весь день, и тогда никто вам не помешает. У нас есть экономка, но она стара и глупа, и я легко могу удалить ее.

— Превосходно. Вы ничего не имеете против поездки, Уотсон?

— Ровно ничего.

— Тогда мы приедем оба. А что вы сами собираетесь делать?

— У меня в городе есть кое-какие дела. Но я вернусь двенадцатичасовым поездом, чтобы быть на месте к вашему приезду.

— Ждите нас вскоре после полудня. У меня здесь тоже есть кое-какие дела. Может быть, вы останетесь и позавтракаете с нами?

— Нет, мне надо идти! Теперь, когда я рассказала вам о своем горе, у меня просто камень свалился с души. Я буду рада снова увидеться с вами.

Она опустила на лицо черную густую вуаль и вышла из комнаты.

— Так что же вы обо всем этом думаете, Уотсон? — спросил Шерлок Холмс, откидываясь на спинку кресла.

— По-моему, это в высшей степени темное и грязное дело.

— Достаточно грязное и достаточно темное.

— Но если наша гостья права, утверждая, что пол и стены в комнате крепки, так что через двери, окна и каминную трубу невозможно туда проникнуть, значит, ее сестра в минуту своей таинственной смерти была совершенно одна...

— В таком случае, что означают эти ночные свисты и странные слова умирающей?

— Представить себе не могу.

— Если сопоставить факты: ночные свисты, цыгане, с которыми у этого старого доктора такие близкие отношения, намеки умирающей на какую-то ленту, и, наконец, тот факт, что мисс Элен Стоунер слышала металлический лязг, который мог издавать железный засов от ставни... если вспомнить к тому же, что доктор заинтересован в предотвращении замужества своей падчерицы,— я полагаю, что мы напали на верные следы, которые помогут нам разгадать это таинственное происшествие.

— Но тогда при чем здесь цыгане?

— Понятия не имею.

— У меня все-таки есть множество возражений...

— Да и у меня тоже, и поэтому мы сегодня едем в Сток-Морон. Я хочу проверить все на месте. Не обернулись бы кое-какие обстоятельства самым роковым образом. Может быть, их удастся прояснить. Черт возьми, что это значит?

Так воскликнул мой друг, потому что дверь внезапно распахнулась, и в комнату ввалился какой-то субъект колоссального роста. Его костюм представлял собою странную смесь: черный цилиндр и длинный сюртук указывали на профессию врача, а по высоким гетрам и охотничьему хлысту в руках его можно было принять за сельского жителя. Он был так высок, что шляпой задел верхнюю перекладину нашей двери, и так широк в плечах, что едва протискивался в дверь. Его толстое,

желтое от загара лицо со следами всех пороков было перерезано тысячью морщин, а глубоко сидящие, злобно сверкающие глаза и длинный, тонкий, костлявый нос придавали ему сходство со старой хищной птицей.

Он переводил взгляд то на Шерлока Холмса, то на меня.

— Который из вас Холмс? — промолвил наконец посетитель.

— Это мое имя, сэр,— спокойно ответил мой друг.— Но я не знаю вашего.

— Я доктор Гримсби Ройлотт из Сток-Морона.

— Очень рад. Садитесь, пожалуйста, доктор,— любезно сказал Шерлок Холмс.

— Не стану я садиться! Здесь была моя падчерица. Я выследил ее. Что она говорила вам?

— Что-то не по сезону холодная погода нынче,— сказал Холмс.

— Что она говорила вам? — злобно закричал старик.

— Впрочем, я слышал, крокусы будут отлично цвести,— невозмутимо продолжал мой приятель.

— Ага, вы хотите отделаться от меня! — сказал наш гость, делая шаг вперед и размахивая охотничьим хлыстом.— Знаю я вас, подлеца. Я уже и прежде слышал про вас. Вы любите совать нос в чужие дела.

Мой друг улыбнулся.

— Вы пройдоха!

Холмс улыбнулся еще шире.

— Полицейская ищейка!

Холмс от души расхохотался.

— Вы удивительно приятный собеседник,— сказал он.— Выходя отсюда, закройте дверь, а то, право же, сильно сквозит.

— Я выйду только тогда, когда выскажусь. Не вздумайте вмешиваться в мои дела. Я знаю, что мисс Стоунер была здесь, я следил за ней! Горе тому, кто станет у меня на пути! Глядите!

Он быстро подошел к камину, взял кочергу и согнул ее своими огромными загорелыми руками.

— Смотрите, не попадайтесь мне в лапы! — прорычал он, швырнул искривленную кочергу в камин и вышел из комнаты.

— Какой любезный господин! — смеясь, сказал Холмс.— Я не такой великан, но если бы он не ушел, мне пришлось бы доказать ему, что мои лапы ничуть не слабее его лап.

С этими словами он поднял стальную кочергу и одним быстрым движением распрямил ее.

— Какая наглость смешивать меня с сыщиками из полиции! Что ж, благодаря этому происшествию наши исследования стали еще интереснее. Надеюсь, что наша приятельница не пострадает оттого, что так необдуманно позволила этой скотине выследить себя. Сейчас, Уотсон, мы позавтракаем, а затем я отправлюсь к юристам и наведу у них несколько справок.

Было уже около часа, когда Холмс возвратился домой. В руке у него был лист синей бумаги, весь исписанный заметками и цифрами.

— Я видел завещание покойной жены доктора,— сказал он.— Чтобы точнее разобраться в нем, мне пришлось справиться о нынешней стоимости ценных бумаг, в которых помещено состояние покойной. В год смерти общий доход ее составлял почти тысячу сто фунтов стерлингов, но с тех пор в связи с падением цен на сельскохозяйственные продукты, уменьшился до семисот пятидесяти фунтов стерлингов. Выйдя замуж, каждая дочь имеет право на ежегодный доход в двести пятьдесят фунтов стерлингов. Следовательно, если бы обе дочери вышли замуж, наш красавец получал бы только жалкие крохи. Его доходы значительно уменьшились бы в том случае, если бы замуж вышла лишь одна из дочерей. Я не напрасно потратил все утро, так как получил ясные доказательства, что у отчима были весьма веские основания препятствовать замужеству падчериц. Обстоятельства слишком серьезные, Уотсон, и нельзя терять ни минуты, тем более что старик уже знает, как мы интересуемся его делами. Если вы готовы, надо поскорей вызвать кэб и ехать на вокзал. Буду вам чрезвычайно признателен, если вы сунете в карман револьвер. Револьвер — превосходный аргумент для джентльмена, который может завязать узлом стальную кочергу. Револьвер да зубная щетка — вот и все, что нам понадобится.

На вокзале Ватерлоо нам посчастливилось сразу попасть на поезд. Приехав в Летерхед, мы в гостинице возле станции взяли двуколку и проехали миль пять живописными дорогами Суррея. Был чудный солнечный день, и лишь несколько перистых облаков плыло по небу. На деревьях и на живой изгороди возле дорог только что распустились зеленые почки, и воздух был напоен восхитительным запахом влажной земли.

Странным казался мне контраст между сладостным пробуждением весны и ужасным делом, из-за которого мы прибыли сюда. Мой приятель сидел впереди, скрестив руки, надвинув шляпу на глаза, опустив подбородок на грудь, погруженный в глубокие думы. Внезапно он поднял голову, хлопнул меня по плечу и указал куда-то вдаль.

— Посмотрите!

Обширный парк раскинулся по склону холма, переходя в густую рощу на вершине; из-за веток виднелись очертания высокой крыши и шпиль старинного помещичьего дома.

— Сток-Морон? — спросил Шерлок Холмс.

— Да, сэр, это дом доктора Гримсби Ройлотта,— ответил возница.

— Видите, вон там строят,— сказал Холмс.— Нам нужно попасть туда.

— Мы едем к деревне,— сказал возница, указывая на крыши

видневшиеся в некотором отдалении слева.— Но если вы хотите скорей попасть к дому, вам лучше перелезть здесь через забор, а потом пройти полями по тропинке. По той тропинке, где идет эта леди.

— А это леди как будто мисс Стоунер,— сказал Холмс, заслоняя глаза от солнца.— Да, мы лучше пойдем по тропинке, как вы советуете.

Мы вышли из двуколки, расплатились, и экипаж покатил обратно в Летерхед.

— Пусть этот малый думает, что мы архитекторы,— сказал Холмс, когда мы лезли через забор,— тогда наш приезд не вызовет особых толков. Добрый день, мисс Стоунер! Видите, мы сдержали свое слово!

Наша утренняя посетительница радостно спешила нам навстречу.

— Я с таким нетерпением ждала вас! — воскликнула она, горячо пожимая нам руки.— Все устроилось чудесно: доктор Ройлотт уехал в город и вряд ли возвратится раньше вечера.

— Мы имели удовольствие познакомиться с доктором,— сказал Холмс и в двух словах рассказал о том, что произошло.

Мисс Стоунер побледнела.

— Боже мой! — воскликнула она.— Значит, он шел за мной следом!

— Похоже на то.

— Он так хитер, что я никогда не чувствую себя в безопасности. Что он скажет, когда возвратится?

— Придется ему быть осторожнее, потому что здесь может найтись кое-кто похитрее его. На ночь запритесь от него на ключ. Если он будет буйствовать, мы увезем вас к вашей тетке в Харроу... Ну, а теперь надо как можно лучше использовать время, и потому проводите нас, пожалуйста, в те комнаты, которые мы должны обследовать.

Дом был из серого, покрытого лишайником камня и имел два полукруглых крыла, распростертых, словно клещи у краба, по обеим сторонам высокой центральной части. В одном из этих крыльев окна были выбиты и заколочены досками; крыша местами провалилась. Центральная часть казалась почти столь же разрушенной зато правое крыло было сравнительно недавно отделано, и по шторам на окнах, по голубоватым дымкам, которые вились из труб, видно было, что живут именно здесь. У крайней стены были воздвигнуты леса, начаты кое-какие работы. Но ни одного каменщика не было видно.

Холмс стал медленно расхаживать по нерасчищенной лужайке, внимательно глядя на окна.

— Насколько я понимаю, тут комната, в которой вы жили прежде. Среднее окно — из комнаты вашей сестры, а третье окно, то, что поближе к главному зданию,— из комнаты доктора Ройлотта...

— Совершенно правильно. Но теперь я живу в средней комнате.

— Понимаю, из-за ремонта. Кстати, как-то незаметно, чтобы эта стена нуждалась в столь неотложном ремонте.

— Совсем не нуждается. Я думаю, это просто предлог, чтобы убрать меня из моей комнаты.

— Весьма вероятно. Итак, вдоль противоположной стены тянется коридор, куда выходят двери всех трех комнат. В коридоре, без сомнения, есть окна?

— Да, но очень маленькие. Пролезть сквозь них невозможно.

— Так как вы обе запирались на ключ, то из коридора попасть к вам из комнаты нельзя. Будьте любезны, пройдите в свою комнату и закройте ставни.

Мисс Стоунер исполнила его просьбу. Холмс, предварительно осмотрев окно, употребил все усилия, чтобы открыть ставни снаружи, но безуспешно: не было ни одной щелки, сквозь которую можно было бы просунуть хоть лезвие ножа, чтобы поднять засов. При помощи лупы он осмотрел петли, но они были из твердого железа и крепко вделаны в массивную стену.

— Гм! — проговорил он, в раздумье почесывая подбородок.— Моя первоначальная гипотеза не подтверждается фактами. Когда ставни закрыты, в эти окна не влезть... Ладно, поглядим, не удастся ли нам выяснить что-нибудь, осмотрев комнаты изнутри.

Маленькая боковая дверь открывалась в выбеленный известкой коридор, в который выходили двери всех трех спален. Холмс не счел нужным осматривать третью комнату, и мы сразу прошли во вторую, где теперь спала мисс Стоунер и где умерла ее сестра. Это была просто обставленная комнатка с низким потолком и с широким камином, одним из тех, которые встречаются в старинных деревенских домах. В одном углу стоял комод; другой угол занимала узкая кровать, покрытая белым одеялом; слева от окна находился туалетный столик. Убранство комнаты довершали два плетеных стула да квадратный коврик посередине. Панели на стенах были из темного, источенного червями дуба, такие древние и выцветшие, что казалось, их не меняли со времени постройки дома.

Холмс взял стул и молча уселся в углу. Глаза его внимательно скользили вверх и вниз по стенам, бегали вокруг комнаты, изучая и осматривая каждую мелочь.

— Куда проведен этот звонок? — спросил он наконец, указывая на висевший над кроватью толстый шнур от звонка, кисточка которого лежала на подушке.

— В комнату прислуги.

— Он как будто новее всех прочих вещей.

— Да, он проведен всего несколько лет назад.

— Вероятно, ваша сестра просила об этом?

— Нет, она никогда им не пользовалась. Мы всегда все делали сами.

— Действительно, здесь этот звонок — лишняя роскошь. Вы меня извините, если я задержу вас на несколько минут: мне хочется хорошенько осмотреть пол.

С лупой в руках он ползал на четвереньках взад и вперед по полу, пристально исследуя каждую трещину в половицах. Так же тщательно он осмотрел и панели на стенах. Потом подошел к кровати, внимательно оглядел ее и всю стену снизу доверху. Потом взял шнур от звонка и дернул его.

— Да ведь звонок поддельный! — сказал он.

— Он не звонит?

— Он даже не соединен с проволокой. Любопытно! Видите, он привязан к крючку как раз над тем маленьким отверстием для вентилятора.

— Как странно! Я и не заметила этого.

— Очень странно... – бормотал Холмс, дергая шнур.— В этой комнате многое обращает на себя внимание. Например, каким нужно быть безумным строителем, чтобы вывести вентилятор в соседнюю комнату, когда его с такой же легкостью можно было вывести наружу!

— Все это сделано тоже очень недавно,— сказала Элен.

— Примерно в одно время со звонком,— заметил Холмс.

— Да, как раз в то время здесь произвели кое-какие переделки.

— Интересные переделки: звонки, которые не звонят, и вентиляторы, которые не вентилируют. С вашего позволения, мисс Стоунер, мы перенесем наши исследования в другие комнаты.

Комната доктора Гримсби Ройлотта была больше, чем комната его падчерицы, но обставлена так же просто. Походная кровать, небольшая деревянная полка, уставленная книгами, преимущественно техническими, кресло рядом с кроватью, простой плетеный стул у стены, круглый стол и большой железный несгораемый шкаф — вот и все, что бросалось в глаза при входе в комнату. Холмс медленно похаживал вокруг, с живейшим интересом исследуя каждую вещь.

— Что здесь? — спросил он, стукнув по несгораемому шкафу.

— Деловые бумаги моего отчима.

— Ого! Значит, вы заглядывали в этот шкаф?

— Только раз, несколько лет назад. Я помню, там была кипа бумаг.

— А нет ли в нем, например, кошки?

— Нет. Что за странная мысль!

— А вот посмотрите!

Он снял со шкафа маленькое блюдце с молоком.

— Нет, кошек мы не держим. Но зато у нас есть гепард и павиан.

— Ах, да! Гепард, конечно, всего только большая кошка, но сомневаюсь, что такое маленькое блюдце молока может насытить этого зверя. Да, в этом надо разобраться.

Он присел на корточки перед стулом и принялся с глубоким вниманием изучать сиденье.

— Благодарю вас, все ясно,— сказал он, поднимаясь и кладя лупу в карман.— Ага, вот еще кое-что весьма интересное!

Внимание его привлекла небольшая собачья плеть, висевшая в углу кровати. Конец ее был завязан петлей.

— Что вы об этом думаете, Уотсон?

— По-моему, самая обыкновенная плеть. Не понимаю, для чего понадобилось завязывать на ней петлю.

— Не такая уж обыкновенная... Ах, сколько зла на свете, и хуже всего, когда злые дела совершает умный человек!.. Ну, с меня достаточно, мисс, я узнал все, что мне нужно, а теперь с вашего разрешения мы пройдемся по лужайке.

Я никогда не видел Холмса таким угрюмым и насупленным. Некоторое время мы расхаживали взад и вперед в глубоком молчании, и ни я, ни мисс Стоунер не прерывали течения его мыслей, пока он сам не очнулся от задумчивости.

— Очень важно, мисс Стоунер, чтобы вы в точности следовали моим советам,— сказал он.

— Я исполню все беспрекословно.

— Обстоятельства слишком серьезны, и колебаться нельзя. От вашего полного повиновения зависит ваша жизнь.

— Я целиком полагаюсь на вас.

— Во-первых, мы оба — мой друг и я — должны провести ночь в вашей комнате.

Мисс Стоунер и я взглянули на него с изумлением.

— Это необходимо. Я вам все объясню. Что это там, в той стороне? Вероятно, деревенская гостиница?

— Да, там «Корона».

— Очень хорошо. Оттуда видны ваши окна?

— Конечно.

— Когда ваш отчим вернется, скажите, что у вас болит голова, уйдите в свою комнату и запритесь на ключ. Услышав, что он пошел спать, вы снимете засов, откроете ставни вашего окна и поставите на подоконник лампу; эта лампа будет для нас сигналом. Тогда, захватив с собой все, что пожелаете, вы перейдете в свою бывшую комнату. Я убежден, что, несмотря на ремонт, вы можете один раз переночевать в ней.

— Безусловно.

— Остальное предоставьте нам.

— Но что же вы собираетесь сделать?

— Мы проведем ночь в вашей комнате и выясним причину шума, напугавшего вас.

— Мне кажется, мистер Холмс, что вы уже пришли к какому-то выводу,— сказала мисс Стоунер, дотрагиваясь до рукава моего друга.

— Быть может, да.

— Тогда, ради всего святого, скажите хотя бы, отчего умерла моя сестра?

— Прежде чем ответить, я хотел бы собрать более точные улики.

— Тогда скажите по крайней мере, верно ли мое предположение, что она умерла от внезапного испуга?

— Нет, неверно: я полагаю, что причина ее смерти была более вещественна... А теперь, мисс Стоунер, мы должны вас покинуть, потому что, если мистер Ройлотт вернется и застанет нас, вся поездка окажется совершенно напрасной. До свидания! Будьте мужественны, сделайте все, что я сказал, и не сомневайтесь, что мы быстро устраним грозящую вам опасность.

Мы с Шерлоком Холмсом без всяких затруднений сняли номер в гостинице «Корона». Номер наш находился в верхнем этаже, и из окна видны были ворота парка и обитаемое крыло сток-моронского дома. В сумерках мы видели, как мимо проехал доктор Гримсби Ройлотт; его грузное тело вздымалось горой рядом с тощей фигурой мальчишки, правившего экипажем. Мальчишке не сразу удалось открыть тяжелые железные ворота, и мы слышали, как рычал на него доктор, и видели, с какой яростью он потрясал кулаками. Экипаж въехал в ворота, и через несколько минут сквозь деревья замелькал свет от лампы, зажженной в одной из гостиных.

Мы сидели в потемках, не зажигая огня.

— Право, не знаю,— сказал Холмс,— брать ли вас сегодня ночью с собой! Дело-то очень опасное.

— А я могу быть полезен вам?

— Ваша помощь может оказаться неоценимой.

— Тогда я непременно пойду.

— Спасибо.

— Вы говорите об опасности. Очевидно, вы видели в этих комнатах что-то такое, чего не видел я.

— Нет, я видел то же, что и вы, но сделал другие выводы.

— Я не заметил в комнате ничего примечательного, кроме шнура от звонка, но, признаюсь, не способен понять, для какой цели он может служить.

— А на вентилятор вы обратили внимание?

— Да, но мне кажется, что в этом маленьком отверстии между двумя комнатами нет ничего необычного. Оно так мало, что даже мышь едва ли может пролезть сквозь него.

— Я знал об этом вентиляторе прежде, чем вы приехали в Сток-Морон.

— Дорогой мой Холмс!

— Да, знал. Помните, мисс Стоунер сказала, что ее сестра

чувствовала запах сигар, которые курит доктор Ройлотт? А это доказывает, что между двумя комнатами есть отверстие, и, конечно, оно очень мало, иначе его заметил бы следователь при осмотре комнаты. Я решил, что тут должен быть вентилятор.

— Но какую опасность может таить в себе вентилятор?

— А посмотрите, какое странное совпадение: над кроватью устраивают вентилятор, вешают шнур, и леди, спящая на кровати, умирает. Разве это не поражает вас?

— Я до сих пор не могу связать эти обстоятельства.

— А в кровати вы не заметили ничего особенного?

— Нет.

— Она привинчена к полу. Вы когда-нибудь видели, чтобы кровати привинчивали к полу?

— Пожалуй, не видел.

— Леди не могла передвинуть свою кровать, ее кровать всегда оставалась в одном и том же положении по отношению к вентилятору и шнуру. Этот звонок приходится называть просто шнуром, так как он не звонит.

— Холмс! — вскричал я.— Кажется, я начинаю понимать, на что вы намекаете. Значит, мы явились как раз вовремя, чтобы предотвратить ужасное и утонченное преступление.

— Да, утонченное и ужасное. Когда врач совершает преступления, он опаснее всех прочих преступников. У него крепкие нервы и большие знания. Палмер и Причард[1] были лучшими специалистами в своей области. Этот человек очень хитер, но я надеюсь, Уотсон, что нам удастся перехитрить его. Сегодня ночью нам предстоит пережить немало страшного, и потому, прошу вас, давайте пока спокойно закурим трубки и проведем эти несколько часов, разговаривая о чем-нибудь более веселом.

Часов около девяти свет, видневшийся между деревьями, погас, и усадьба погрузилась во тьму. Так прошло часа два, и вдруг ровно в одиннадцать одинокий яркий огонек засиял прямо против нашего окна.

— Это сигнал для нас,— сказал Холмс, вскакивая.— Свет горит в среднем окне.

Выходя, он сказал хозяину гостиницы, что мы идем в гости к одному знакомому и, возможно, там и переночуем. Через минуту мы вышли на темную дорогу. Свежий ветер дул нам в лицо, желтый свет, мерцая перед нами во мраке, указывал путь.

Попасть к дому было нетрудно, потому что старая парковая ограда обрушилась во многих местах. Пробираясь между деревьями, мы достигли лужайки, пересекли ее и уже собирались

[1] Палмер, Уильям — английский врач, отравивший стрихнином своего приятеля; казнен в 1856 году.

[2] Причард, Эдуард Уильям — английский врач, отравивший свою жену и тещу; казнен в 1865 году.

лезть в окно, как вдруг какое-то существо, похожее на отвратительного урода-ребенка, выскочило из лавровых кустов, бросилось, корчась, на траву, а потом промчалось через лужайку и скрылось в темноте.

— Боже! — прошептал я.— Вы видели?

В первое мгновение Холмс испугался не меньше меня. Он схватил мою руку и сжал ее, словно тисками. Потом тихо рассмеялся и, приблизив губы к моему уху, пробормотал еле слышно:

— Милая семейка! Ведь это павиан.

Я совсем забыл о любимцах доктора. А гепард, который каждую минуту может оказаться у нас на плечах? Признаться, я почувствовал себя значительно лучше, когда, следуя примеру Холмса, сбросил ботинки, влез в окно и очутился в спальне. Мой друг бесшумно закрыл ставни, переставил лампу на стол и быстро оглядел комнату. Здесь было все, как днем. Он приблизился ко мне и, сложив руку трубкой, прошептал так тихо, что я едва понял его:

— Малейший звук погубит нас.

Я кивнул головой, показывая, что слышу.

— Нам придется сидеть без огня. Сквозь вентилятор он может заметить свет.

Я кивнул еще раз.

— Не засните — от этого зависит ваша жизнь. Держите револьвер наготове. Я сяду на край кровати, а вы на стул.

Я вытащил револьвер и положил его на угол стола. Холмс принес с собой длинную, тонкую трость и поместил ее возле себя на кровать вместе с коробкой спичек и огарком свечи. Потом задул лампу, и мы остались в полной темноте.

Забуду ли я когда-нибудь эту страшную бессонную ночь! Ни один звук не доносился до меня. Я не слышал даже дыхания своего друга, а между тем знал, что он сидит в двух шагах от меня с открытыми глазами, в таком же напряженном, нервном состоянии, как и я. Ставни не пропускали ни малейшего луча света, мы сидели в абсолютной тьме. Изредка снаружи доносился крик ночной птицы, а раз у самого нашего окна раздался протяжный вой, похожий на кошачье мяуканье: гепард, видимо, гулял на свободе. Слышно было, как вдалеке церковные часы гулко отбивали четверти. Какими долгими они казались нам, эти каждые пятнадцать минут! Пробило двенадцать, час, два, три, а мы все сидели молча, ожидая чего-то неизбежного.

Внезапно у вентилятора мелькнул свет и сразу же исчез, но тотчас мы почувствовали сильный запах горелого масла и накаленного металла. Кто-то в соседней комнате зажег потайной фонарь. Я услышал, как что-то двинулось, потом все смолкло, и только запах стал еще сильнее. С полчаса я сидел, напряженно вглядываясь в темноту. Внезапно послышался какой-то новый звук, нежный и тихий, словно вырывалась из котла

тонкая струйка пара. И в то же мгновение Холмс вскочил с кровати, чиркнул спичкой и яростно хлестнул своей тростью по шнуру.

— Вы видите ее, Уотсон? — проревел он.— Видите?

Но я ничего не видел. Пока Холмс чиркал спичкой, я слышал тихий отчетливый свист, но внезапный яркий свет так ослепил мои утомленные глаза, что я не мог ничего разглядеть и не понял, почему Холмс так яростно хлещет тростью. Однако я успел заметить выражение ужаса и отвращения на его мертвенно-бледном лице.

Холмс перестал хлестать и начал пристально разглядывать вентилятор, как вдруг тишину ночи прорезал такой ужасный крик, какого я не слышал никогда в жизни. Этот хриплый крик, в котором смешались страдание, страх и ярость, становился все громче и громче. Рассказывали потом, что не только в деревне, но даже в отдаленном домике священника крик этот разбудил всех спящих. Похолодевшие от ужаса, мы глядели друг на друга, пока последний вопль не замер в тишине.

— Что это значит? — спросил я, задыхаясь.

— Это значит, что все кончено, — ответил Холмс.— И, в сущности, это к лучшему. Возьмите свой револьвер, и пойдем в комнату доктора Ройлотта.

Лицо его было сурово. Он зажег лампу и пошел по коридору. Дважды он стукнул в дверь комнаты доктора, но изнутри никто не ответил. Тогда он повернул ручку и вошел в комнату. Я шел за ним следом, держа в руке заряженный револьвер.

Необычайное зрелище представилось нашим взорам. На столе стоял фонарь, бросая яркий луч света на железный несгораемый шкаф, дверца которого была полуоткрыта. У стола на соломенном стуле сидел доктор Гримсби Ройлотт в длинном сером халате, из-под которого виднелись голые лодыжки. Ноги его были в красных турецких туфлях без задников. На коленях лежала та самая плеть, которую мы еще днем заметили в его комнате. Он сидел, задрав подбородок кверху, неподвижно устремив глаза в потолок; в глазах застыло выражение страха. Вокруг его головы туго обвилась какая-то необыкновенная, желтая с коричневыми крапинками лента. При нашем появлении доктор не шевельнулся и не издал ни звука.

— Лента! Пестрая лента! — прошептал Холмс.

Я сделал шаг вперед. В то же мгновение странный головной убор зашевелился, и из волос доктора Ройлотта поднялась граненая головка и раздувшаяся шея ужасной змеи.

— Болотная гадюка! — вскричал Холмс.— Самая смертоносная индийская змея! Он умер через десять секунд после укуса. «Поднявший меч от меча и погибнет», и тот, кто роет другому яму, сам в нее попадет. Посадим эту тварь в ее логово, отправим мисс Стоунер в какое-нибудь спокойное место и дадим знать полиции о том, что случилось.

)н схватил плеть с колен мертвого, накинул петлю на голову
, стащил ее с ее ужасного насеста, швырнул внутрь не-
аемого шкафа и захлопнул дверцу.
Таковы истинные обстоятельства смерти доктора Гримсби
ютта из Сток-Морона. Не стану подробно рассказывать, как
сообщили печальную новость испуганной девушке, как с
ним поездом мы препроводили ее на попечение тетки в
ою и как туповатое полицейское следствие пришло к за-
ению, что доктор погиб от собственной неосторожности,
вляясь со своей любимицей — ядовитой змеей. Остальное
лок Холмс рассказал мне, когда мы на следующий день
и обратно.

— Вначале я пришел к совершенно неправильным выводам,
дорогой Уотсон,— сказал он,— и это доказывает, как опас-
пираться на неточные данные. Присутствие цыган, воскли-
е несчастной девушки, пытавшейся объяснить, что она
ела, чиркнув спичкой,— всего этого было достаточно, чтобы
сти меня на ложный след. Но когда мне стало ясно, что в
чату невозможно проникнуть ни через дверь, ни через окно,
не оттуда грозит опасность обитателю этой комнаты, я по-
свою ошибку, и это может послужить мне оправданием.
ке говорил вам, внимание мое сразу привлекли вентилятор
іур от звонка, висящий над кроватью. Когда обнаружилось,
звонок фальшивый, а кровать прикреплена к полу, у меня
дилось подозрение, что шнур служит лишь мостом, соеди-
щим вентилятор с кроватью. Мне сразу же пришла мысль
ее, а зная, как доктор любит окружать себя всевозможными
йскими тварями, я понял, что, пожалуй, угадал. Только
ому хитрому, жестокому злодею, прожившему много лет на
токе, могло прийти в голову прибегнуть к яду, который
зя обнаружить химическим путем. В пользу этого яда, с его
и зрения, говорило и то, что он действует мгновенно.
дователь должен был бы обладать поистине необыкновенно
ым зрением, чтобы разглядеть два крошечных темных пят-
ка, оставленных зубами змеи. Потом я вспомнил о свисте.
стом доктор звал змею обратно, чтобы ее не увидели на
свете рядом с жертвой. Вероятно, давая ей молоко, он
учил ее возвращаться к нему. Змею он пропускал через
илятор в самый глухой час ночи и знал наверняка, что она
олзет по шнуру и спустится на кровать. Рано или поздно
шка должна была стать жертвой ужасного замысла, змея
лила бы ее, если не сейчас, то через неделю. Я пришел
тим выводам еще до того, как посетил комнату доктора
лотта. Когда же я исследовал сиденье его стула, я понял,
что у доктора была привычка становиться на стул, чтобы достать
до вентилятора. А когда я увидел несгораемый шкаф, блюдце
с молоком и плеть, мои последние сомнения окончательно
рассеялись. Металлический лязг, который слышала мисс Сто-

унер, был, очевидно, стуком дверцы несгораемого шкафа, куда доктор прятал змею. Вам известно, что я предпринял, убедившись в правильности своих выводов. Как только я услышал шипение змеи — вы, конечно, тоже слыхали его,— я немедленно зажег свет и начал стегать ее тростью.

— Вы прогнали ее назад в вентилятор...

— ...и тем самым заставил напасть на хозяина. Удары моей трости разозлили ее, в ней проснулась змеиная злоба, и она напала на первого попавшегося ей человека. Таким образом, я косвенно виновен в смерти доктора Гримсби Ройлотта, но не могу сказать, чтобы эта вина тяжким бременем легла на мою совесть.

Артур
Конан
Дойл

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА

Рассказы
и
повесть

Москва
«Советская Россия»
1991



Пестрая лента

Просматривая свои записи о приключениях Шерлока Холмса — а таких записей у меня больше семидесяти,— я нахожу в них немало трагического, кое-что забавное, кое-что странное, но нет ни в одной из них ничего заурядного. Работая из любви к своему искусству, а не ради денег, Холмс никогда не брался за расследование обыкновенных, банальных дел; его всегда привлекали только такие дела, в которых есть что-нибудь необычайное, а порою даже фантастическое.

Особенно причудливым кажется мне дело Ройлотта. Мы с Холмсом, два холостяка, жили тогда вместе на Бейкер-стрит. Вероятно, я бы и раньше опубликовал свои записи, но я дал слово держать это дело в тайне и освободился от своего слова лишь месяц назад, после безвременной кончины той женщины, которой оно было дано. Пожалуй, будет небесполезно представить это дело в истинном свете, потому что молва приписывала смерть доктора Гримсби Ройлотта еще более ужасным обстоятельствам, чем те, которые были в действительности.

Проснувшись в одно апрельское утро 1888 года, я увидел, что Шерлок Холмс стоит у моей кровати. Одет он был

не по-домашнему. Обычно он поднимался с постели поздно, но теперь часы на камине показывали лишь четверть восьмого. Я посмотрел на него с удивлением и даже несколько укоризненно.

— Весьма сожалею, что разбудил вас, Уотсон,— сказал он.— Но такой уж сегодня день. Разбудили миссис Хадсон, она — меня, а я — вас.

— Что же там такое? Пожар?

— Нет, клиентка. Какая-то девушка, ужасно взволнованная, приехала и непременно желает повидаться со мной. Она ждет в приемной. А уж если молодые дамы решаются в столь ранний час путешествовать по улицам столицы и поднимать с постелей незнакомых людей, я полагаю, что они хотят сообщить какие-то очень важные факты. Дело может оказаться интересным, и вам будет неприятно, если вы не услышите этой истории с самого первого слова.

— Буду счастлив услышать ее.

Я не знал большего наслаждения, как следовать за Холмсом во время его профессиональных занятий и любоваться его стремительной мыслью. Порою казалось, что он решает предлагаемые ему загадки не разумом, а каким-то вдохновенным чутьем, но на самом деле все его выводы были основаны на точной и строгой логике.

Я быстро оделся и через несколько минут был готов. Мы вошли в гостиную. Дама, одетая в черное, с густой вуалью на лице, поднялась при нашем появлении.

— Доброе утро, сударыня,— сказал Холмс приветливо.— Меня зовут Шерлок Холмс. Это мой близкий друг и помощник, доктор Уотсон, с которым вы можете быть столь же откровенны, как и со мной. Ага, я вижу: миссис Хадсон догадалась затопить камин. Это хорошо, так как вы очень продрогли. Подсаживайтесь поближе к огню и разрешите предложить вам чашку кофе.

— Не холод заставляет меня дрожать, мистер Холмс,— тихо сказала женщина, подсаживаясь к камину.

— А что же?

— Страх, мистер Холмс, ужас!

С этими словами она подняла вуаль, и мы увидели, как она возбуждена, какое у нее бледное, искаженное ужасом лицо. В ее остановившихся глазах был испуг, словно у затравленного зверя. Ей было не больше тридцати лет, но в волосах уже блестела седина.

Шерлок Холмс окинул ее своим быстрым все понимающим взглядом.

— Вам нечего бояться,— сказал он, ласково поглаживая ее по руке.— Я уверен, что нам удастся отстранить от вас все неприятности... Вы приехали утренним поездом.

— Разве вы меня знаете?

— Нет, но я заметил в вашей левой перчатке обратный билет. Вы рано встали, а потом, направляясь на станцию, долго тряслись в двуколке по скверной дороге.

Дама сильно вздрогнула и в замешательстве взглянула на Холмса.

— Здесь нет никакого чуда, сударыня,— сказал он, улыбаясь.— Левый рукав вашего жакета по крайней мере в семи местах обрызган грязью. Пятна совершенно свежие. Так обрызгаться можно только в двуколке, сидя слева от кучера.

— Все так и было,— сказала она.— Около шести часов я выбралась из дому, в двадцать минут седьмого была в Лэтерхэде и с первым поездом приехала в Лондон, на станцию Ватерлоо... Сэр, я не могу больше вынести этого, я сойду с ума! Я умру!.. У меня нет никого, к кому я могла бы обратиться. Есть, впрочем, один человек, который принимает во мне большое участие, но чем он может мне помочь, бедняга? Я слышала о вас, мистер Холмс, слышала от миссис Фаринтош, которой вы так помогли в минуту ее тяжелого горя. Она дала мне ваш адрес. О сэр, помогите и мне или по крайней мере попытайтесь пролить хоть немного света в тот непроницаемый мрак, который окружает меня! Я не в состоянии отблагодарить вас сейчас за ваши услуги, но месяца через два я буду замужем, тогда у меня будет право распоряжаться своими доходами, и вы увидите, что я умею быть благодарной.

Холмс подошел к конторке, открыл ее, достал оттуда записную книжку.

— Фаринтош...— сказал он.— Ах да, я вспоминаю этот случай. По-моему, это было еще до нашего знакомства, Уотсон. Дело шло о диадеме из опалов. Могу вас уверить, сударыня, что я буду счастлив отнестись к вашему делу с таким же усердием, с каким отнесся к делу вашей приятельницы. А вознаграждения мне никакого не нужно, так как моя работа и служит мне вознаграждением. Конечно, у меня будут кое-какие расходы, и их вы можете возместить, когда вам будет угодно. А теперь попрошу вас сообщить нам все подробности вашего дела.

— Увы!— ответила девушка.— Ужас моего положения заключается в том, что мои страхи так неопределенны и смутны, подозрения основываются на таких мелочах, что

даже тот, к кому я имею право обратиться за советом и помощью, считает все мои рассказы бреднями нервной женщины. Он не говорит мне ничего, но я читаю это в его успокоительных словах и уклончивых взорах. Я слышала, мистер Холмс, что вы, как никто, разбираетесь во всяких порочных наклонностях человеческого сердца, и вы можете посоветовать, что мне делать среди окружающих меня опасностей.

— Я весь внимание, сударыня.

— Меня зовут Эллен Стонер. Я живу в доме моего отчима, Ройлотта. Он является последним отпрыском одной из старейших саксонских фамилий в Англии.

Холмс кивнул головой.

— Мне знакомо это имя, — сказал он.

— Было время, когда семья Ройлоттов была одной из самых богатых в Англии. На севере Ройлотты владели поместьями в Беркшире, а на западе — в Хемпшире. Но в прошлом столетии четыре поколения подряд проматывали свое состояние, пока наконец один из наследников, страстный игрок, окончательно не разорил семью во времена регентства. От прежнего поместья остались лишь несколько акров земли да старинный дом, построенный лет двести назад. Впрочем, дом уже давно заложен.

Последний помещик из этого рода влачил в своем доме жалкое существование нищего аристократа. Но его единственный сын, мой отчим, поняв, что надо как-то приспособляться к новому положению вещей, взял взаймы у какого-то родственника необходимую сумму денег, поступил в университет, окончил его с дипломом врача и уехал в Калькутту, где благодаря своему искусству и выдержке вскоре приобрел широкую практику. Но вот в доме у него случилась кража. Кража эта так возмутила Ройлотта, что в припадке бешенства он избил до смерти туземца-дворецкого, который служил у него. С трудом избежав смертной казни, он долгое время томился в тюрьме, а потом возвратился в Англию угрюмым и разочарованным человеком.

В Индии доктор Ройлотт женился на моей матери, миссис Стонер, молодой вдове генерал-майора бенгальской артиллерии[1]. Мы были близнецы — я и моя сестра Джулия. Когда мать наша выходила замуж за доктора, нам едва минуло два года. Она обладала порядочным состоянием, дававшим ей не меньше тысячи фунтов дохода в год. По ее завещанию, всем этим доходом должен был поль-

[1] Речь идет о британских колониальных войсках в одной из областей Индии — Бенгалии.

зоваться доктор Ройлотт, но только до тех пор, пока мы живем в его доме. Если мы выйдем замуж, каждой из нас должна быть выделена определенная сумма годового дохода.

Вскоре после нашего возвращения в Англию моя мать умерла — она погибла восемь лет назад при железнодорожной катастрофе. После ее смерти доктор Ройлотт оставил свои попытки обосноваться в Лондоне, чтобы наладить там медицинскую практику, и вместе с нами поселился в родовом поместье в Сток-Моренс. Состояния нашей матери вполне хватало на то, чтобы удовлетворять все наши желания, и, казалось, ничто не должно было мешать нашему счастью.

Но странная перемена произошла с моим отчимом. Вместо того чтобы подружиться с соседями, которые вначале радовались, увидев, что Ройлотт из Сток-Морена вернулся в старое родовое гнездо, он заперся в усадьбе и очень редко выходил из дому, да и то лишь затем, чтобы затеять безобразную ссору с первым же человеком, который встретится ему на пути.

Бешеная вспыльчивость, доходящая до исступления, передавалась по мужской линии всем представителям этого рода, а у моего отчима она, вероятно, еще более усилилась благодаря долгому пребыванию в тропиках.

Много было у него яростных столкновений с соседями. Два раза дело кончалось полицейским участком. Он сделался грозой всего селения... Нужно сказать, что он человек невероятной физической силы, и так как он в припадке гнева совершенно не владеет собой, люди при встрече с ним буквально шарахались в разные стороны.

На прошлой неделе он швырнул в реку местного кузнеца, и, чтобы откупиться от публичного скандала, мне пришлось отдать все деньги, какие я могла собрать. Единственные друзья его — кочующие цыгане. Этим бродягам он позволяет раскидывать шатры на небольшом, заросшем ежевикой клочке земли, составляющем все его родовое поместье, и порой кочует вместе с ними, по целым неделям не возвращаясь домой. Еще есть у него страсть к животным, которых присылает ему из Индии один знакомый, и в настоящее время по его владениям свободно разгуливают пантера и павиан, наводя на жителей почти такой же страх, как и он сам.

Из моих слов вы можете заключить, что мы с сестрой жили не слишком-то весело. Слуги не хотели жить у нас, и долгое время всю домашнюю работу мы исполняли сами.

Сестре было всего тридцать лет, когда она умерла, а у нее уже начинала пробиваться седина, такая же, как у меня.

— Ваша сестра умерла?

— Она умерла ровно два года назад, и как раз о ее смерти я хочу рассказать вам. Вы сами понимаете, что при таком образе жизни у нас было мало возможностей встречаться с людьми нашего возраста и нашего круга. У нас есть незамужняя тетка, сестра нашей матери, мисс Гонория Уэстфайл, которая живет близ Хэрроу, и к ней время от времени нас отпускали погостить. Два года назад моя сестра Джулия проводила у нее рождество. Там она встретилась с отставным майором флота, и он сделался ее женихом. Вернувшись домой, она рассказала о своей помолвке нашему отчиму. Отчим не возражал против ее замужества, но за две недели до свадьбы случилось ужасное событие, лишившее меня моей единственной подруги...

Шерлок Холмс сидел в кресле, откинувшись назад и положив голову на диванную подушку. Глаза его были закрыты. Теперь он приподнял веки и взглянул на посетительницу.

— Прошу вас рассказать все возможно точнее, не пропуская ни одной подробности,— сказал он.

— Мне легко быть точной, потому что все события этого ужасного времени глубоко врезались в мою память... Как я уже говорила, помещичий дом очень стар, и только одно крыло пригодно для жилья. В нижнем этаже размещаются спальни, гостиные находятся в центре. В первой спальне спит доктор Ройлотт, во второй спала моя сестра, а в третьей — я. Между спальнями нет сообщения, все они выходят в один коридор. Достаточно ли ясно я рассказываю?

— О да, очень ясно.

— Окна всех трех спален выходят на лужайку. В ту роковую ночь доктор Ройлотт рано удалился в свою комнату, но мы знали, что он не лег, так как сестру мою долго беспокоил запах крепких индийских сигар, которые он имел привычку курить. Запах этот заставил сестру покинуть свою комнату и перейти в мою, где мы просидели некоторое время, болтая о ее предстоящем замужестве. В одиннадцать часов она поднялась и хотела уйти, но у дверей остановилась и спросила меня:

«Скажи, Эллен, не кажется ли тебе по ночам, будто кто-то свистит?»

«Нет»,— сказала я.

«И ты уверена, что тебе не случалось свистеть во время сна?»

«Конечно, не случалось. Но почему ты спрашиваешь об этом?»

«В последние ночи, часов около трех, мне ясно слышится тихий отчетливый свист. Я сплю очень чутко, и свист будит меня. Я не могу понять, откуда он доносится,— быть может, из соседней комнаты, быть может, с лужайки. Я давно уже хотела спросить у тебя, слыхала ли ты его».

«Нет, не слыхала. Может, свистят цыгане?»

«Очень возможно. Однако если бы свист доносился с лужайки, ты тоже слышала бы его».

«Я сплю гораздо крепче тебя».

«Впрочем, все это пустяки»,— улыбнулась сестра, закрыла мою дверь, и спустя несколько мгновений я услышала, как щелкнул ключ в ее двери.

— Вот как!— сказал Холмс.— Вы на ночь всегда запирались на ключ?

— Всегда.

— А почему?

— Я, кажется, уже упомянула, что у доктора жили пантера и павиан. Мы чувствовали себя в безопасности лишь тогда, когда дверь была закрыта на ключ.

— Понимаю. Прошу продолжать.

— Ночью я не могла уснуть. Смутное ощущение какого-то неотвратимого несчастья охватило меня. Была жуткая ночь: выл ветер, дождь барабанил в окна. И вдруг среди грохота бури раздался дикий вопль ужаса. То кричала моя сестра. Я спрыгнула с кровати и, накинув большой платок, выскочила в коридор. Когда я открыла дверь, мне показалось, что я слышу тихий свист, о котором мне рассказывала сестра, а затем что-то звякнуло, словно упал на землю тяжелый металлический предмет. Подбежав к комнате сестры, я увидела, что дверь приоткрыта. Я остановилась, пораженная ужасом, не понимая, что происходит. При свете лампы, горевшей в коридоре, я увидела свою сестру, которая появилась в дверях, шатаясь, как пьяная, с белым от ужаса лицом, протягивая вперед руки, словно моля о помощи. Подбежав к ней, я обняла ее, но в это мгновение колени ее подогнулись и она рухнула наземь. Она корчилась, словно от нестерпимой боли, а руки и ноги ее сводило судорогой. Сначала мне показалось, что она меня не узнала, но, когда я склонилась над ней, она вдруг вскрикнула... О, я никогда не забуду ее страшного голоса!

«Боже мой, Эллен!— кричала она.— Пестрая банда!» Она пыталась еще что-то сказать, указала пальцем в

сторону комнаты доктора, но новый приступ судорог оборвал ее слова.

Я выскочила и, громко крича, побежала за отчимом. Он уже спешил мне навстречу в ночном халате. Сестра была без сознания, когда он вбежал к ней в комнату. Он влил ей в рот коньяку и тотчас же послал за деревенским врачом, но все усилия спасти ее были напрасны, и она скончалась, не приходя в сознание. Таков был ужасный конец моей любимой сестры...

— Позвольте спросить,— сказал Холмс,— вы уверены, что слышали свист и металлический лязг? Могли бы вы показать это под присягой?

— Об этом спрашивал меня следователь на допросе. Мне кажется, что я слышала эти звуки, однако меня могли ввести в заблуждение завывания бури и потрескивания старого дома.

— Ваша сестра была одета?

— Нет, она выбежала в одной ночной рубашке. В правой руке у нее была обгорелая спичка, а в левой спичечная коробка.

— Это доказывает, что она чиркнула спичкой и стала осматриваться, когда что-то испугало ее. Очень важная подробность. А к каким выводам пришел следователь?

— Он тщательно изучил все это дело, потому что буйный характер доктора Ройлотта был известен всей округе, но ему так и не удалось найти мало-мальски удовлетворительную причину смерти моей сестры. Я показала на следствии, что дверь ее комнаты была заперта изнутри, а окна защищены снаружи старинными ставнями с широкими железными засовами. Стены были подвергнуты самому внимательному изучению, но они повсюду оказались очень прочными. Исследование полов тоже не дало результатов. Печная труба широка, в ней целых четыре вьюшки. Итак, нельзя сомневаться, что сестра во время постигшей ее катастрофы была совершенно одна. Никаких следов насилия обнаружить не удалось.

— А как насчет яда?

— Врачи исследовали ее, но не нашли ничего, что указывало бы на отравление.

— Что же, по-вашему, было причиной смерти?

— Мне кажется, она умерла от ужаса и нервного потрясения. Но я не представляю себе, кто мог ее так напугать.

— А цыгане были в то время в усадьбе?

— Да, цыгане почти всегда живут у нас.

— А что, по-вашему, могли означать ее слова о банде, о пестрой банде?

— Иногда мне казалось, что слова эти были сказаны просто в бреду, а иногда я думала, что они относятся к какой-то банде людей — может быть, к банде цыган. Но почему эта банда пестрая? Возможно, что платки в крапинку, которые многие цыганки носят на голове, внушили ей этот странный эпитет.

Холмс покачал головой: видимо, такое объяснение не удовлетворяло его.

— Это дело темное,— сказал он.— Прошу вас, продолжайте.

— С тех пор прошло два года, и жизнь моя была еще более одинокой, чем раньше. Но месяц назад один близкий мне человек, которого я знала много лет, сделал мне предложение. Его зовут Эрмитедж, Пэрси Эрмитедж, он второй сын мистера Эрмитеджа из Крэнуотера, близ Рединга. Мой отчим не возражал против нашего брака, и весной мы должны были обвенчаться.

Два дня назад в западном крыле нашего дома начались кое-какие переделки. Была пробита стена моей спальни, и мне пришлось перебраться в ту комнату, где скончалась сестра, и спать на той самой кровати, на которой спала она. Можете себе представить мой ужас, когда прошлой ночью, лежа без сна и размышляя о ее трагической смерти, я внезапно услышала в тишине тот самый тихий свист, который был предвестником гибели сестры. Я вскочила, зажгла лампу, но в комнате никого не было. Лечь в постель я не могла — я была слишком взволнована, поэтому я оделась и, чуть рассвело, выскользнула из дому, взяла двуколку в гостинице «Корона», которая находится напротив нас, поехала в Лэтерхэд, а оттуда сюда — с одной только мыслью повидать вас и просить у вас совета.

— Вы очень умно поступили,— сказал мой друг.— Но всё ли вы рассказали мне?

— Да, всё.

— Нет, не всё, мисс Ройлотт: вы щадите и выгораживаете своего отчима.

— Я не понимаю вас...

Вместо ответа Холмс откинул черную кружевную отделку рукава нашей посетительницы. Пять багровых пятнышек — следы пяти пальцев — явно виднелись на белом запястье.

— С вами обошлись очень жестоко,— сказал Холмс.

Девушка густо покраснела и поспешила опустить кружева.

— Отчим суровый человек,— сказала она.— Он очень силен и, возможно, сам не сознает своей силы.

Наступило долгое молчание, во время которого Холмс сидел, подперев руками подбородок и глядя на потрескивавший в камине огонь.

— Это очень сложное дело,— сказал он наконец.— Мне хотелось бы выяснить еще тысячи подробностей, прежде чем решить, как надо действовать. А между тем нельзя терять ни минуты. Если бы мы сегодня же приехали в Сток-Морен, удалось бы нам осмотреть эти комнаты так, чтобы ваш отчим ничего не узнал?

— Он как раз говорил мне, что собирается ехать сегодня в город по каким-то очень важным делам. Возможно, что он будет отсутствовать весь день, и тогда никто вам не помешает. У нас есть экономка, но она стара и глупа, и я легко могу удалить ее.

— Превосходно. Вы ничего не имеете против поездки, Уотсон?

— Ровно ничего.

— Тогда мы приедем оба. А что вы сами собираетесь делать?

— У меня есть кое-какие дела, которые мне хотелось бы сделать здесь, в городе. Но я вернусь двенадцатичасовым поездом, чтобы быть на месте к вашему приезду.

— Ждите нас вскоре после полудня. У меня тоже здесь есть кое-какие дела. Может быть, вы останетесь и позавтракаете с нами?

— Нет, мне надо идти! У меня камень свалился с души, когда я рассказала вам о своем горе. Я буду рада снова увидеться с вами.

Она опустила на лицо черную густую вуаль и вышла из комнаты.

— Так что же вы обо всем этом думаете, Уотсон?— спросил Шерлок Холмс, откидываясь на спинку кресла.

— По-моему, это в высшей степени темное и грязное дело.

— Достаточно грязное и достаточно темное.

— Но если наша гостья права, утверждая, что пол и стены в той комнате крепки, что через двери, окна и печную трубу невозможно туда проникнуть, ее сестра в минуту своей таинственной смерти находилась в полном одиночестве.

— В таком случае, что означают эти ночные свисты и в высшей степени странные слова умирающей?

— Представить себе не могу.

— Если сопоставить все факты вместе: ночные свисты, банду цыган, с которой у этого старого доктора такие близкие отношения, намеки умирающей на какую-то банду, и, наконец, тот факт, что мисс Эллен Стонер слышала какой-то металлический лязг, который мог издавать железный засов от ставни... если вспомнить к тому же, что доктор заинтересован в предотвращении замужества своей падчерицы,— я полагаю, что мы напали на верные следы, которые помогут нам пролить свет на это таинственное происшествие.

— Что же, по-вашему, делали здесь цыгане?

— Не знаю... Не могу сообразить.

— У меня множество возражений против вашей гипотезы.

— У меня тоже, и потому мы сегодня же едем в Сток-Морен. Я хочу проверить все на месте... Но черт возьми, что это значит?

Так воскликнул мой друг, потому что дверь внезапно широко распахнулась и в комнату ввалился какой-то субъект колоссального роста. Одет он был не то как врач, не то как помещик. Его костюм представлял собою странную смесь: черный цилиндр, длинный сюртук, высокие гетры и охотничий хлыст. Он был так высок, что шляпой задевал верхнюю перекладину нашей двери, и так широк в плечах, что едва протискался в эту дверь. Его толстое, желтое от загара лицо было перерезано тысячью морщин, а глубоко сидящие, злобно сверкающие глаза и длинный, тонкий, костлявый нос придавали ему сходство со старой хищной птицей.

Он переводил взгляд с Шерлока Холмса на меня и обратно.

— Который из вас Холмс?— промолвил наконец посетитель.

— Это мое имя, сэр,— спокойно ответил мой друг.— Теперь вы имеете предо мной преимущество, так как ваша фамилия мне неизвестна.

— Я доктор Гримсби Ройлотт из Сток-Морена.

— Садитесь, пожалуйста, доктор,— любезно сказал Шерлок Холмс.

— Не стану я садиться! Здесь была моя падчерица. Я выследил ее. Что она говорила вам?

— Холодная у нас нынче весна[1],— сказал Холмс.

— Что она говорила вам?— злобно закричал старик.

— Но я слышал, что крокусы будут отлично цвести,— невозмутимо продолжал мой приятель.

— Ага, вы хотите отделаться от меня!— сказал наш гость, делая шаг вперед и размахивая охотничьим хлыстом.— Знаю я вас: вы подлец! Я уже слышал про вас. Вы любите соваться в чужие дела.

Мой друг улыбнулся.

— Вы проныра!

Холмс улыбнулся еще шире.

— Полицейская ищейка!

Холмс от души расхохотался.

— Вы удивительно приятный собеседник,— сказал он.— Выходя отсюда, закройте дверь, а то, право же, сильно сквозит.

— Я выйду только тогда, когда выскажусь. Не вздумайте вмешиваться в мои дела. Я знаю, что мисс Стонер была здесь, я выследил ее! Горе тому, кто станет у меня на пути! Глядите!

Он быстро подошел, взял кочергу и согнул ее своими огромными загорелыми [illegible].

— Постарайтесь не [illegible] мне в лапы!— прорычал он, швырнул искр[illegible] в камин и вышел из комнаты.

— Какой [illegible]!— смеясь, сказал Холмс.— Я не такой [illegible], если бы он не ушел, мне пришлось бы показать [illegible] ли слабее его.

С этими словами он [illegible] стальную кочергу и одним быстрым движением [illegible].

— Какая наглость, [illegible] меня с полицейскими! Благодаря этому [illegible] интереснее. Надеюсь, что наша приятельница не пострадает оттого, что так необдуманно позволила этой скотине проследить за собой. Сейчас, Уотсон, [illegible] таквем, а затем я отправлюсь [illegible] справок.

Было уже около [illegible] Холмс [illegible]. В руке у него был [illegible] и цифрами.

— Я видел [illegible] сказал он.— Чтобы точнее разобраться в нем, [illegible] справиться о нынешней стоимости [illegible] помещено состояние покойной. В год смерти [illegible] доход ее составлял почти тысячу сто фунтов стерлингов, с тех пор, в связи с падением цен на сельскохозяйственные продукты, уменьшился до семисот пятидесяти фунтов стерлингов. При выходе замуж каждая дочь имеет право на ежегодный доход в двести пятьдесят фунтов стерлингов.

Следовательно, если бы обе дочери вышли замуж, наш красавец получал бы только жалкие крохи. Его доходы значительно уменьшились бы и в том случае, если бы замуж вышла лишь одна из дочерей... Я не напрасно потратил все утро, так как получил ясные доказательства, что у отчима были весьма важные основания препятствовать замужеству падчериц. Обстоятельства слишком серьезны, Уотсон, и нельзя терять ни минуты, тем более что старик уже знает, как мы интересуемся его делами. Если вы готовы, надо поскорей вызвать кэб и ехать на вокзал. Буду вам чрезвычайно признателен, если вы сунете в карман револьвер. Револьвер — превосходный аргумент для джентльмена, который может завязать узлом стальную кочергу. Револьвер да зубная щетка — вот и все, что нам понадобится.

На вокзале Ватерлоо нам посчастливилось сразу попасть в вагон. Приехав в Лэтерхэд, мы в гостинице возле станции взяли тарантас и проехали миль пять живописными дорогами Сэрри. Был чудный солнечный день, и лишь несколько перистых облаков плыло по небу. На деревьях и на живой изгороди возле дорог только что распустились зеленые почки, и воздух был напоен восхитительным запахом влажной земли.

Странным казался мне контраст между сладостным пробуждением весны и ужасным делом, из-за которого мы прибыли сюда! Мой приятель сидел, скрестив руки, надвинув шляпу на глаза, опустив подбородок на грудь, погруженный в глубокие думы. Внезапно он поднял голову, хлопнул меня по плечу и указал на луга куда-то вдаль.

— Посмотрите!

Обширный парк раскинулся по склону холма; из-за веток виднелись очертания крыши и шпиль старинного помещичьего дома.

— Сток-Морен? — спросил Шерлок Холмс.

— Да, сэр, это дом доктора Гримсби Ройлотта,— ответил возница.

— Там сбоку есть постройка,— сказал Холмс.— Нам нужно попасть туда.

— Мы едем к деревне,— сказал возница, указывая на крыши, видневшиеся в некотором отдалении слева.— Но если вы хотите скорей попасть к дому, ближе всего вам будет перелезть через изгородь, потом пройти полями по тропинке. По той тропинке, где идет эта леди.

— А эта леди как будто мисс Стонер,— сказал Холмс, заслоняя глаза от солнца.— Да, мы пойдем по тропинке

Мы вышли из тарантаса, расплатились, и экипаж покатил обратно в Лэтерхэд.

— Пусть этот малый думает, что мы архитекторы,— сказал Холмс,— тогда наш приезд не вызовет особых толков. Добрый день, мисс Стонер! Видите, как точно мы сдержали свое слово!

Наша утренняя посетительница радостно спешила нам навстречу.

— Я с таким нетерпением ждала вас!— воскликнула она, горячо пожимая нам руки.— Все устроилось чудесно: доктор Ройлотт уехал в город и вряд ли возвратится раньше вечера.

— Мы имели удовольствие познакомиться с доктором,— сказал Холмс и в двух словах рассказал о том, что произошло.

Мисс Стонер побледнела.

— Боже мой!— воскликнула она.— Значит, он шел за мной следом!

— Похоже на то.

— Он так хитер, что я никогда не чувствую себя в безопасности. Что скажет он, когда возвратится?

— Придется ему быть осторожнее, потому что здесь может найтись кое-кто похитрее его. Вы должны на ночь запереться от него на ключ. Если он будет буйствовать, мы увезем вас к вашей тетке в Хэрроу .. Ну, а теперь нам нужно как можно лучше использовать время, и потому проводите нас, пожалуйста, в те комнаты, которые мы должны обследовать.

Дом был построен из серого, покрытого лишайником камня и имел два полукруглых крыла, распростертых, словно клешни краба, по обеим сторонам высокого центрального здания. В одном из этих крыльев окна были выбиты и заколочены досками; крыша местами провалилась. Центральная часть казалась почти столь же разрушенной. Зато правое крыло было сравнительно недавно отделано, и по шторам на окнах, по голубоватым дымкам, которые вились из труб, видно было, что семья живет именно здесь. У крайней стены были воздвигнуты леса, начаты кое-какие работы. Но ни одного каменщика не было видно.

Холмс стал медленно расхаживать по нерасчищенной лужайке, с глубоким вниманием изучая внешний вид окон.

— Насколько я понимаю, тут комната, в которой вы жили прежде. Среднее окно — из комнаты вашей сестры,

а третье окно, то, что поближе к главному зданию,— из комнаты доктора Ройлотта...

— Совершенно правильно. Но теперь я живу в средней комнате.

— Понимаю, из-за ремонта. Кстати, как-то незаметно, чтобы эта стена нуждалась в столь неотложном ремонте.

— Совсем не нуждается. Я думаю, это просто предлог, чтобы убрать меня из моей комнаты.

— Весьма вероятно. Итак, вдоль противоположной стены тянется коридор, куда выходят двери всех трех комнат. В коридоре, без сомнения, есть окна?

— Да, но очень маленькие. Такие узкие, что в них невозможно пролезть.

— Так как вы обе запирались на ключ, то с той стороны пробраться в ваши комнаты было никак нельзя. Будьте любезны, пройдите в свою комнату и закройте ставни.

Мисс Стонер исполнила его просьбу. Холмс употребил все усилия, чтобы открыть ставни снаружи, но безуспешно: не было ни одной щелки, сквозь которую можно было бы просунуть хоть лезвие ножа, чтобы поднять засов. Он при помощи лупы осмотрел петли, но они были из твердого железа и крепко вделаны в массивную стену.

— Гм!— проговорил он, в раздумье почесывая подбородок.— Моя первоначальная гипотеза не подтверждается фактами. Никто не может влезть в эти окна, когда ставни закрыты... Ладно, посмотрим, не удастся ли нам выяснить что-нибудь, осмотрев комнаты изнутри.

Маленькая боковая дверца вела в выбеленный известкой коридор, в который выходили двери всех трех спален. Холмс не счел нужным осматривать третью комнату, и мы сразу прошли во вторую, где теперь спала мисс Стонер и где умерла ее сестра. Это была просто обставленная комнатка с низким потолком и с широким камином из тех, что встречаются в старинных деревенских домах. В одном углу стоял комод; другой угол занимала узкая кровать, покрытая белым одеялом; слева от окна находился туалетный стол. Убранство комнаты довершали два стула да плетеный коврик посередине. Панели на стенах были из темного источенного червями дуба, такие древние, что казалось, их не меняли со времени постройки дома.

Холмс взял стул и молча уселся в углу. Глаза его внимательно скользили вверх и вниз по стенам, бегали вокруг всей комнаты, изучая и осматривая каждую мелочь.

— Куда проведен этот звонок?— спросил он наконец, указывая на висевший над кроватью толстый шнур от

звонка, кисточка которого лежала почти на подушке.

— Он проведен в комнату прислуги.

— Он как будто новее всех прочих вещей.

— Да, он проведен всего два-три года назад.

— Вероятно, ваша сестра просила об этом?

— Нет, она никогда им не пользовалась. Мы всегда все делали сами.

— Действительно, здесь это лишняя роскошь. Вы меня извините, я задержу вас на несколько минут: мне хочется хорошенько осмотреть пол.

С лупой в руках он ползал на четвереньках взад и вперед по полу, внимательно исследуя каждую трещину в половицах. Так же тщательно он осмотрел и панели на стенах. Потом подошел к кровати, внимательно оглядел ее и всю стену. Потом взял шнур от звонка и дернул его.

— А звонок-то фальшивый! — сказал он.

— Он не звонит?

— Он даже не соединен с проводом! Любопытно! Видите, он привязан к крючку как раз над тем маленьким отверстием для вентиляции.

— Как странно! Я и не заметила этого.

— Очень странно... — бормотал Холмс, дергая шнур.— В этой комнате многое обращает на себя внимание. Например, каким нужно быть безмозглым строителем, чтобы вывести вентиляцию в соседнюю комнату, когда ее с такой же легкостью можно было вывести наружу!

— Все это сделано тоже очень недавно,— сказала Эллен.

— Сделано примерно в одно время со звонком,— заметил Холмс.

— Да, как раз в то время здесь произвели кое-какие переделки.

— Интересные переделки: звонки, которые не звонят, и вентиляция, которая не вентилирует помещение. С вашего позволения, мисс Стонер, мы перенесем наши исследования в другие комнаты.

Комната доктора Гримсби Ройлотта была больше, чем комната его падчерицы, но обставлена так же просто. Походная кровать, небольшая деревянная полка, уставленная книгами, преимущественно техническими, кресло рядом с кроватью, простой плетеный стул у стены, круглый стол и большой железный несгораемый шкаф — вот те предметы, которые бросились нам в глаза при входе в комнату. Холмс медленно похаживал вокруг, исследуя каждую вещь с живейшим интересом.

— Что здесь?— спросил он, стукнув по несгораемому шкафу.

— Деловые бумаги.

— Ого! Значит, вы заглядывали в этот шкаф?

— Только раз, несколько лет назад. Я помню, там была куча бумаг.

— А нет ли в нем, например, кошки?

— Нет. Что за странная мысль.

— А вот посмотрите!

Он снял со шкафа маленькое блюдце с молоком.

— Нет, кошек мы не держим. Но зато у нас есть пантера и павиан.

— Пантера, конечно, всего только большая кошка, но сомневаюсь, что такое маленькое блюдце может удовлетворить ее жажду. В этом кроется как раз то, что хотел бы я выяснить.

Он присел на корточки перед стулом и принялся с глубоким вниманием изучать его сиденье.

— Благодарю вас, все ясно, - сказал он, поднимаясь и кладя лупу в карман.— Ага, вот нечто весьма интересное!

Внимание его привлекла небольшая плеть для собаки, висевшая в углу кровати. На ее конце была петля.

— Что вы об этом думаете, Уотсон?

— По-моему, самая обыкновенная плеть. Не понимаю, для чего понадобилось свертывать ее в петлю.

— Не такая уж обыкновенная... Ах, сколько зла на свете, и хуже всего, когда злые дела совершает умный человек!.. Ну, с меня достаточно, мисс, я узнал все, что мне нужно, а теперь, с вашего разрешения, мы выйдем пройтись по лужайке.

Я никогда не видел Холмса таким угрюмым и мрачным. Некоторое время мы расхаживали взад и вперед в глубоком молчании, и ни я, ни мисс Стонер не прерывали течения его мыслей, пока он сам не очнулся от задумчивости.

— Очень важно, мисс Стонер, чтобы вы в точности следовали моим советам,— сказал он.

— Я исполню все беспрекословно.

— Обстоятельства слишком серьезны, и колебаться нельзя. От вашего полного повиновения зависит ваша жизнь.

— Я отдаю себя в ваши руки.

— Во-первых, мы оба — мой друг и я — должны провести ночь в вашей комнате.

Мисс Стонер и я взглянули на него с изумлением

— Это необходимо. Я вам все объясню. Что это там, на той стороне? Деревенская гостиница?

— Да, там «Корона».

— Очень хорошо. Оттуда видны ваши окна?

— Конечно.

— Когда ваш отчим вернется, скажите, что у вас болит голова, уйдите в свою комнату и запритесь на ключ. Потом, когда вы услышите, что он пошел спать, вы откроете ставни вашего окна, снимете засов и поставите на окно лампу; эта лампа будет для нас сигналом. Потом, захватив с собой все, что пожелаете, вы пройдете в ту комнату, которую раньше занимали. Я убежден, что, несмотря на ремонт, вы можете один раз переночевать в ней.

— Безусловно.

— Остальное предоставьте нам.

— Но что же вы собираетесь сделать?

— Мы проведем ночь в вашей комнате и выясним причину шума, напугавшего вас.

— Мне кажется, мистер Холмс, что вы уже пришли к какому-то выводу,— сказала мисс Стонер, дотрагиваясь до рукава моего друга.

— Быть может, да.

— Тогда, ради всего святого, скажите мне: отчего умерла моя сестра?

— Я хотел бы собрать более точные улики.

— Тогда скажите мне, по крайней мере, верно ли мое предположение, что она умерла от внезапного испуга?

— Нет, неверно: я полагаю, что причина ее смерти была более вещественна... А теперь, мисс Стонер, мы должны вас покинуть, потому что, если мистер Ройлотт, возвратившись, увидит нас, наша поездка окажется совершенно напрасной. До свиданья! Будьте мужественны, сделайте все, что я сказал, и не сомневайтесь, что мы быстро устраним грозящую вам опасность.

Мы с Шерлоком Холмсом без всяких затруднений сняли номер в гостинице «Корона». Номер наш находился в верхнем этаже, и из нашего окна видны были ворота парка и обитаемое крыло стокморенского дома. В сумерках мы видели, как мимо проехал доктор Гримсби Ройлотт; его грузное тело вздымалось горой рядом с тощей фигурой мальчишки, правившего экипажем. Мальчишке не сразу удалось открыть тяжелые ворота, и мы слышали, как хрипло рычал на него доктор, и видели, с какой яростью он потряс перед ним кулаками. Экипаж миновал ворота, и через несколько минут свет от лампы

зажженной в одной из гостиных, замелькал среди деревьев.

Мы сидели в потемках, не зажигая огня.

— Право, не знаю,— сказал Холмс,— брать ли вас сегодня ночью с собой! Дело-то, оказывается, очень опасное.

— Могу ли я быть полезен вам?

— Ваша помощь может оказаться огромной.

— Тогда я непременно пойду.

— Спасибо.

— Вы говорите об опасности. Очевидно, вы видели в этих комнатах что-то такое, чего я не видел.

— Нет, я видел то же самое, но сделал другие выводы.

— Я не заметил в комнате ничего странного, кроме шнура от звонка, но, признаюсь, не способен понять, для какой цели может служить такой звонок.

— А на вентиляцию вы обратили внимание?

— Да, но мне кажется, что в этом маленьком отверстии между двумя комнатами нет ничего необычного. Оно так мало, что даже мышь едва ли пролезет сквозь него.

— Я знал об этом отверстии прежде, чем мы приехали в Сток-Морен.

— Неужели?

— Да, знал. Вы помните, мисс Стонер сказала, что ее сестра чувствовала запах сигар доктора Ройлотта? А это доказывает, что между двумя комнатами есть отверстие, и, конечно, оно очень мало, иначе оно было бы замечено следователем при осмотре комнаты. Я решил, что тут должна быть вентиляция.

— Но какую опасность может таить в себе вентиляция?

— А посмотрите, какое странное совпадение: над кроватью просверливают отверстие для вентиляции, вешают шнур, и леди, спящая на кровати, умирает. Разве это не поражает вас?

— Я до сих пор не могу связать эти обстоятельства.

— А в кровати вы не заметили ничего особенного?

— Нет.

— Она привинчена к полу. Вы когда-нибудь видели прежде, чтобы кровати привинчивали к полу?

— Пожалуй, не видел.

— Леди не могла передвинуть свою кровать, ее кровать всегда оставалась в одном и том же положении по отношению к вентиляционному отверстию и шнуру. Этот звонок приходится называть просто шнуром, так как он не звонит.

— Холмс! — вскричал я.— Кажется, для меня немного проясняется то, что для вас совершенно ясно. Мы явились как раз вовремя, чтобы предотвратить ужасное и утонченное преступление.

— Да, утонченное и ужасное. Когда врач совершает преступления, он ужаснее всех прочих преступников. У него сильные нервы и опасные знания... Этот человек очень хитер, но я надеюсь, Уотсон, что нам удастся перехитрить его. Сегодня ночью нам предстоит пережить немало страшного, и потому прошу вас, давайте пока спокойно закурим трубки и проведем эти несколько часов, разговаривая о чем-нибудь более веселом.

Часов около девяти свет, видневшийся между деревьями, погас, и усадьба погрузилась во тьму. Так прошло часа два, и вдруг ровно в одиннадцать одинокий яркий свет засиял прямо против нашего окна.

— Это сигнал для нас,— сказал Холмс, вскакивая.— Свет горит в среднем окне.

Выходя, он объяснил хозяину гостиницы, что мы идем в гости к одному знакомому и, возможно, там и переночуем. Через минуту мы вышли на темную дорогу. Свежий ветер дул нам в лицо, и желтый свет, мерцая перед нами во мраке, указывал путь.

Попасть к дому было нетрудно, потому что старая ограда обрушилась во многих местах. Пробираясь между деревьями, мы достигли лужайки, пересекли ее и только собирались лезть в окно, как вдруг какое-то существо, похожее на отвратительного урода-ребенка, выскочило из лавровых кустов, бросилось, корчась, на траву, а потом быстро промчалось через лужайку и скрылось в темноте.

— Боже!— прошептал я.— Вы видели?

В первое мгновение Холмс испугался не меньше меня. Он схватил мою руку и сжал ее словно тисками. Потом тихо рассмеялся и пробормотал еле слышно:

— Милая семейка! Ведь это павиан.

Я забыл о любимцах доктора. А пантера, которая каждую минуту может оказаться у нас на плечах? Признаться, я почувствовал себя значительно лучше, когда, следуя примеру Холмса, сбросил ботинки, влез в окно и очутился в спальне. Мой друг бесшумно закрыл ставни, переставил лампу на стол и быстро оглядел комнату. Здесь было все как днем. Он приблизился ко мне и, сложив руку трубкой, прошептал:

— Малейший звук погубит нас.

Я кивнул головой.

— Нам придется сидеть без огня. Сквозь вентиляцию он может заметить свет.

Я кивнул еще раз.

— Не засните — от этого зависит ваша жизнь. Держите револьвер наготове. Я сяду на край кровати, а вы садитесь на стул.

Я вытащил револьвер и положил его на угол стола.

Холмс принес с собой длинную тонкую трость и положил ее возле себя на кровать вместе с коробкой спичек и огарком свечи, потом задул лампу, и мы остались в полной темноте.

Забуду ли я когда-нибудь эту страшную бессонную ночь! Ни один звук не доносился до меня. Я не слышал даже дыхания своего друга, а между тем знал, что он сидит в двух шагах от меня с открытыми глазами, в таком же напряженном нервном состоянии, как и я. Ставни не пропускали ни малейшего луча, и мы сидели в абсолютной тьме. Изредка снаружи доносился крик ночной птицы, а раз у самого нашего окна раздался протяжный вой, похожий на кошачье мяуканье: пантера, видимо, в самом деле гуляла на свободе. Слышно было, как вдалеке церковные часы глухо отбивали четверти. Какими долгими они казались нам, каждые пятнадцать минут! Пробило двенадцать, час, два, три, а мы всё сидели молча, ожидая чего-то неизбежного.

Внезапно в отверстии над кроватью мелькнул луч света. Он сразу же исчез, но мы почувствовали сильный запах горелого масла и накаленного металла — кто-то в соседней комнате зажег потайной фонарь. Я услышал, как что-то двинулось, потом все смолкло, и только запах стал еще сильнее. С полчаса я сидел, напряженно вглядываясь в темноту. Внезапно послышался какой-то новый звук, нежный и тихий, словно вырывалась из котла тонкая струйка пара. Услыхав этот звук, Холмс сразу вскочил с кровати, чиркнул спичкой и яростно хлестнул своей тростью по шнуру.

— Вы видите ее, Уотсон? — проревел он. — Видите?

Но я ничего не видел. Пока Холмс чиркал спичкой, я слышал тихий отчетливый свист, но внезапный яркий свет так ослепил мои утомленные глаза, что я не мог ничего разглядеть и не понял, почему Холмс так яростно хлещет тростью. Однако я успел заметить выражение ужаса и отвращения на его мертвенно-бледном лице.

Холмс перестал хлестать, но не спускал глаз с отверстия в стене, и вдруг тишину ночи прорезал такой ужас-

ный крик, какого я не слышал никогда в жизни. Этот хриплый крик, в котором смешались страдание, страх и ярость, становился все громче и громче. Рассказывали потом, что не только в деревне, но даже в отдаленном домике священника крик этот разбудил всех спящих. Мы в ужасе глядели друг на друга, пока последний вопль не замер в тишине.

— Что это значит?— спросил я, задыхаясь.

— Это значит, что все кончено,— ответил Холмс.— И, в сущности, это к лучшему. Возьмите револьвер, и пойдем в комнату доктора Ройлотта.

Лицо его было сурово. Он зажег лампу и пошел по коридору. Дважды он стукнул в дверь комнаты доктора, но изнутри никто не ответил. Тогда он повернул ручку и вошел в комнату. Я шел за ним следом, держа в руке заряженный револьвер.

Необычайное зрелище представилось нашим взорам. На столе стоял потайной фонарь, бросая яркий луч света на железный несгораемый шкаф, дверца которого была полуоткрыта. У стола на соломенном стуле сидел доктор Гримсби Ройлотт в длинном сером халате, из-под которого виднелись голые лодыжки. Ноги его были в красных турецких туфлях без задников. На коленях лежала та самая плеть, которую мы еще днем заметили в его комнате. Он сидел, задрав подбородок кверху, неподвижно устремив глаза в потолок; в его взоре застыло страшное, угрюмое выражение. Вокруг его головы обвилась какая-то необыкновенная, желтая с коричневыми крапинками лента. При нашем появлении доктор не шевельнулся и не издал ни звука.

— Лента! Пестрая лента!— прошептал Холмс.

Я сделал шаг вперед. В то же мгновение странный головной убор зашевелился, и из волос доктора Ройлотта поднялась граненая головка ужасной змеи.

— Болотная гадюка!— вскричал Холмс.— Самая смертоносная индийская змея! Он умер через десять секунд после укуса. «Поднявший меч от меча и погибнет». Посадим эту тварь в ее логово, потом отправим мисс Стонер в какое-нибудь спокойное место и дадим знать полиции о том, что случилось.

При этих словах он быстро взял плеть с колен мертвого, накинул петлю на голову змеи, стащил ее с ее ужасного насеста, понес змею на вытянутой руке к несгораемому шкафу, швырнул туда и захлопнул дверцу.

Таковы истинные обстоятельства смерти доктора Гримсби Ройлотта из Сток-Морена. Не стану подробно рассказывать, как мы сообщили печальную новость ис-

пуганной девушке, как с утренним поездом мы препроводили ее на попечение тетки в Хэрроу и как туповатое полицейское следствие пришло к заключению, что доктор погиб от собственной неосторожности, забавляясь со своей любимицей — ядовитой змеей. Остальное Шерлок Холмс рассказал мне, когда мы на следующий день ехали обратно.

— Вначале я пришел к совершенно неправильным выводам, мой дорогой Уотсон,— сказал он,— и это доказывает, как опасно опираться на неточные данные. Присутствие цыган, слово «банда»[1], сказанное несчастной девушкой,— всего этого было достаточно, чтобы навести меня на ложный след. Но когда мне стало ясно, что в комнату невозможно проникнуть ни через дверь, ни через окно, что не оттуда грозит опасность обитателю этой комнаты, я сразу понял свою ошибку, и это может послужить мне оправданием. Как я уже говорил вам, внимание мое сразу привлекли вентиляция и шнур от звонка, висящий над кроватью. Когда обнаружилось, что звонок фальшивый, а кровать прикреплена к полу, у меня сразу зародилось подозрение, что шнур служит лишь мостом, соединяющим отверстие с кроватью. Мне сразу пришла мысль о змее, а зная, как доктор любит окружать себя всевозможными индийскими тварями, я понял, что, пожалуй, напал на верный след. Именно такому хитрому, жестокому злодею, прожившему много лет на Востоке, могло прийти в голову употребить яд, который нельзя обнаружить химическим путем. В пользу этого яда, с его точки зрения, говорило и то, что он действует мгновенно. Следователь должен был бы обладать поистине необыкновенно острым зрением, чтобы разглядеть два крошечных темных пятнышка, оставленных зубами змеи. Потом я вспомнил о свисте. Свистом доктор звал змею обратно, чтобы ее не увидели на рассвете. Вероятно, давая ей молоко, он приучил ее возвращаться к нему. Змею он пропускал через вентиляцию в самый глухой час ночи и знал наверняка, что она поползет по шнуру и спустится на кровать. Рано или поздно девушка должна была стать жертвой ужасного замысла, змея ужалила бы ее — если не сейчас, то через неделю. Я пришел к этим выводам еще до того, как посетил комнату доктора Ройлотта. Когда же я исследовал сиденье его стула, я понял, что у доктора была привычка становиться на стул, чтобы

[1] В английском языке слово «band» означает и «банда» и «лента».

достать до вентиляции. А когда я увидел несгораемый шкаф, блюдце с молоком и плеть, мои последние сомнения окончательно рассеялись. Металлический лязг, который слышала мисс Стонер, был, очевидно, стуком дверцы несгораемого шкафа, куда доктор прятал змею. Вам известно, что я предпринял, убедившись в правильности своих выводов. Как только я услышал шипение змеи, я немедленно зажег свет и начал стегать ее тростью.

— Вы прогнали ее назад в вентиляцию...

— ...и тем самым заставил напасть на хозяина. Удары моей трости разозлили ее, в ней проснулась змеиная злоба, и она напала на первого попавшегося ей человека. Таким образом, я косвенно виновен в смерти доктора Гримсби Ройлотта, но не могу сказать, чтобы эта вина тяжким бременем легла на мою совесть.

РАССКАЗЫ О ЖИВОТНЫХ

Произведения
русских и советских
писателей

ЛЕНИЗДАТ • 1985

Из книги
«ДРУЖБА В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»

ГРАЧИ

Раз мой товарищ, у которого я гостил в деревне, вышел из терпения от пронзительного крика грачей по вечерам.

— Нет, их надо отвадить! — воскликнул он и пошел за ружьем.— Вот убью одного-другого,— так улетят, может быть, подальше отсюда.

Он пошел в рощу, где был их поселок, прицелился: бац!

Крик поднялся еще сильнее, и, когда дым рассеялся, мы увидели целую стаю грачей, кружившихся у самой земли.

Я подошел и увидал грача — большого, старого. Он был жив, но только крыло его повисло, точно на ниточке, и он поджимал под себя одну ногу. На земле была кровь. Выстрел перебил ему крыло и ногу: значит, он ни летать, ни ходить уже не сможет.

— Все равно околеет,— сказал мой товарищ.— Лучше прикончить его разом!

И он поднял было снова ружье. Но я остановил его руку:

— Нет, оставь, пожалуйста. Может быть, он останется еще жив.

— Ну вот: останется! Но, впрочем, как хочешь. Не найдешь только, пожалуй, завтра.

Но товарищ мой ошибся. Придя на другой день в рощу, я нашел грача на том же месте, меж корней того же старого дерева, куда он упал вчера израненный. Он был жив и был не один: вокруг него вились другие грачи,— одни прилетали, другие улетали. По тому, как они суетились вокруг него, как жалобно кричали, видно было, что они очень жалели его.

Один летал над ним, сильно махая крыльями, потом спускался, трогал его клювом за крыло и опять при-

нимался летать, точно хотел упросить товарища под-нятья как-нибудь и попробовать летать. Другой касался клювом его больной ноги, но осторожно, видно, тихонько так,— и снова кричал. Я отошел немного, вернулся снова, вижу, стая молодых грачей старается его поднять,- раненного, клювами. Приподнимут немножко,— нет, не летит грач... падает.

Опять приподнимают, так терпеливо, с таким трудом: тяжело им, верно, очень.

Наконец, видят: ничего не помогает. Разлетелись с грустным криком.

Пришел я на следующий день. Грач был жив. Товарищи подлетели к нему опять, но уже не приподнимали, не просили летать: поняли, значит, что он не может теперь. Но что же они так близко опускаются к нему? Я стал глядеть пристальнее (близко подойти боялся, чтобы не спугнуть). Вижу, один подлетает к нему и ударяет клювом по его клюву. Больной грач, открывает клюв... Смотрите, пожалуйста!

Ему червяка принесли. Вот другой подлетает еще... ближе, ближе.

Смотрю: и у того в клюве какая-то большая муха. Мне стало вдруг весело на душе. «Какие же умницы эти грачи! И какие добрые! И как это я прежде не любил их».

Я пошел скорее домой, чтобы удивить товарища.

Тот не хотел верить сначала; но я привел его, показал, и мы вместе полюбовались грачами.

Так ведь и выкормили они больного. Я частенько заходил, смотрел. Грач никогда не был один: товарищи вертелись всегда подле него,— одни кормили его, другие развлекали своим криком.

Когда я уезжал из деревни, раны грача почти совсем зажили: он ступал уж на больную ногу, мог приподниматься и махать больным крылом.

«Скоро уж, скоро будет он летать, ходить как здоровый,— подумал я.— Спасли его товарищи».

ВОЛКИ

Шли мы раз с одним крестьянским мальчиком по лесу. Идем, говорим. Вдруг как вскрикнет мой Сеня.

— Что ты?

— Смотрите!.. Волк!

В самом деле, совсем близко от нас, в кустах, показалась желтовато-серая голова. Мы остановились, подумали: бросится. Но серая голова не подвигалась к нам, и я заметил, что глаза смотрели не злобно, а даже испуганно как-то и устало.

— Смирный,— сказал Сеня.— Сытый, видно: зубов не скалит.— Ай, батюшки! — воскликнул он потом,— да ведь нет их! Глядите, пустая пасть, право пустая!

Нагнувшись ближе, я увидел, что пасть действительно была пуста. Глаза все так же жалобно глядели на нас.

— Эге! Старичок, значит, беззубый! То-то он и смирный такой! — сказал я.

Волк еще раз пугливо оглянулся на нас и, видя, что мы его не трогаем, потрусил прочь. Мы увидали, что он прихрамывает и тяжело передвигает ноги.

— Такого застрелить просто,— сказал Сеня.— Да что застрелить: камнями и то убить можно.

— Как только живет он? — вымолвил я.— Что ест? Ведь без зубов он никакого зверька добыть не может, а ягодами, как мишка, питаться не охоч.

— И то-о! — задумчиво протянул Сеня. Вечерело. Мы подходили к лесной сторожке.

— Зайдите отдохнуть, чайку выпить! — крикнул с порога мой знакомый лесник.

Влез я, сгибаясь, в его маленькую хатку, сели мы на деревянную лавку у стола и, пока самоварчик пыхтел в углу, разговорились.

Рассказали про встречу с волком.

— Да, есть тут такой: вовсе старый,— сказал лесник.— Давно бы уж поколел, кабы товарищи не кормили.

— Как товарищи?! — воскликнули с удивлением мы с Сеней.

— Да своя ж, значит, братия: волки же. Вы не смотрите, что злой зверь, до своих-то они жалостливые. Старик ведь уж дряхлый, давно помирать пора, а жалеют, кормят. Я сам раз видел... право! Обхожу этто, раз лес, а день был жаркий: измаялся, вспотел. Лег на траву отдохнуть, да и заснул. И крепко, видно, заснул. Проснулся,— не пойму, где я. Лес кругом густой, кусты переплелись. Солнышко низко уж спустилось. Слышу, шорох какой-то. Кто там? Приподнялся тихонько, гляжу. Старик волк этот самый лежит неподалеку, как вон печка сейчас. Голова такая серая, будто седая, так же жа-

лостно, как и вы говорите, смотрит. А подле стоит молодой, крепкий. Сусликов ли, кротов ли, каких-то зверюг двух маленьких убитых принес, положил подле старика. Сам не ест, глядит. И не злые глаза, не так глядят, как на нас.

«Ешь, мол, дедушка!» — говорят будто. А тот еще жалостней да ласковей взглянул: хочет есть, не откусить.

Так ведь молодой-то отрывать стал мясо да кусками ему бросать, как волчица волчонку. Так и накормил ведь. Подивился я тогда немало, не шелохнулся, пока старик всего не съел, а молодой не убежал. Ишь, мол, представление-то какое довелось увидать в лесу.

Когда встал я и пошел, старик увидал, испугался, а не бежит: силы нет, видно, только жмется так жалобно...

Ну, хоть и было на мне тогда ружье, а не тронул я его. Коли тебя, мол, другие так жалеют, жалею и я тебя, поживи уж, сколько осталось, старичок! Оно, видно, всякому умирать-то не хочется. Бог с тобой!

Подивились и мы с Сеней доброте и заботливости волков. А ведь как бранят их люди! Какими злюками считают обыкновенно их!

МЕДВЕДИ

Маленькие медвежата, месяцев пяти-шести, очень забавны и игривы. Жаль только, что редко удается видеть их, потому что медведица, мать их, бывает в это время очень сердита и на далекое расстояние не подпускает никого к своей семье. Иногда в целую часть леса никто не смеет сунуться, зная, что там бродит со своими детенышами медведица. Ляжет она где-нибудь на полянке, а медвежата играют подле нее. Они чрезвычайно шаловливы: лазают по деревьям, борются, как задорные ребятишки, прыгают без всякой причины в воду, где барахтаются преуморительно, бегают все время взад и вперед и различные проказы выкидывают. Уставши, разлягутся и принимаются, как большие медведи, лизать свои лапы, причем ворчат и причмокивают совсем особенно.

Медвежата ходят долго с матерью, привыкают к ней и к своей берлоге, и, будучи старше, когда мать покидает уж их, бродят часто неподалеку от старой берлоги, а в ненастное время заходят ночевать туда. Годовалые и

двухлетние медвежата приходят иногда к матери, когда у нее есть уже другие детеныши, и, если медведица не прогоняет их, дружатся очень скоро со своими младшими братьями. И представьте себе: не только они не обижают меньших, но медведица поручает им иногда присмотр за маленькими братцами, и они исполняют это очень хорошо. Поэтому в народе называют даже двухлетних медвежат «пестунами», то есть няньками, потому что «пестовать» значит нянчить. И они очень заботливо присматривают за меньшими, а когда недостаточно внимательны, то медведица строго взыскивает с них.

Потешный рассказывали мне один случай.

Раз медведица с медвежатами переправлялась через большую и широкую реку Каму. Медведица переплыла, и пошла уже по другому берегу, как видит, что старший сын ее,— пестун,— крался потихоньку за нею, в то время как младшие братья его остались на другой стороне реки. Он крался робко, а не шел смело и прямо, потому что чувствовал, что не должен был уходить, оставив меньших, да поленился, верно, перетаскивать их. Но медведица, увидев его, дала ему пощечину, и пестун сейчас понял, за что его побили, потому что он поплыл назад, взял в зубы одного братца и перенес его через реку. Потом он поплыл за другим, в то время как мать стояла на берегу и смотрела за ним. Но на середине реки,— устал, что ли, пестун,— он выронил вдруг изо рта медвежонка. Медведица бросилась в реку и побила снова своего старшего сына. Тогда тот постарался поправить свою ошибку: поймал снова зубами барахтавшегося в воде братишку и перенес его через реку. И тут, отряхнувшись от воды, все семейство двинулось дальше.

ПО ЛЕСНЫМ ТРОПАМ

Еще в самой ранней юности родилась моя страсть к охоте и путешествиям. Отец мой был спокойным, умелым охотником. Отчетливо помню, как, собираясь на охоту, он набивает, бывало, патроны. Я стою рядом, смотрю на большие руки отца, на сыплющийся из жестяной коробочки порох, на тускло поблескивающую дробь в холщовом мешочке. Даже самые охотничьи принадлежности возбуждали во мне трепетное волнение.

Чудесная и скромная природа, среди которой проходило мое детство, богатейшие охотничьи угодья тогдашней лесной Смоленщины, влияние отца воспитали во мне охотника. С ружьем за плечами я много выходил по лесным тихим тропинкам, наслушался лесных голосов. Из этих первых охотничьих скитаний еще в ранней юности родилась страсть к путешествиям, любовь к живой природе.

Охота никогда не была для меня пустой забавой или пустым развлечением. Бродя с ружьем, я учился думать и наблюдать. Еще в первых юношеских скитаниях росла любовь к родной земле, обострялось внимание. Охотничье ружье было моим верным спутником, приобщавшим меня к прекрасному царству природы.

ПЕРВАЯ ОХОТА

В детстве у меня был большой приятель — деревенский пастушонок Сашка. Мы вместе бегали в лес и ловили в нашем озерке рыбу. Однажды я увидел Сашку из открытого в сад окна. Из сада слышался деловитый гул пчел и нестерпимый треск кузнечиков. Над карнизом дома приветливо щебетали касатки-ласточки, а в летнем небе пронзительно свистели стрижи.

Сашка стоял за кустом сирени, выпячивал глаза и делал мне таинственные знаки рукою.

БАРТОГОЙ

Интересно заночевать ночью в совершенно незнакомом месте! Утром, при свете солнца, все покажется совсем другим, чем виделось ночью: с восходом солнца придется тебе все заново открывать.

Темные холмы, что угрюмо окружали ночью со всех сторон, превратятся при свете в веселые купы кустов. А то, что казалось далекими гребнями гор, вдруг обернется стеной близкого леса. И так всегда: словно ложишься спать в одном месте, а просыпаешься в другом!

В незнакомом месте невольно вслушиваешься больше обычного, а потому и слышишь больше, чем надо,— сам от себя гонишь сон. Утром вместе с темнотой разойдутся и страхи: откроется взору земля, тобой еще не виденная.

Так открыл я для себя урочище Бартогой на горной реке Чилик.

Орлу с высоты он казался, наверное, зеленым курчавым барашком, заблудившимся среди сухих розовато-лиловых гор. Мне с вершины горы он показался затерянным в горах островком, который ждал, чтобы его открыли. Я так торопился к нему, что шипы на спусках скрежетали и высекали искры, а жар раскаленных камней обжигал лицо, и все равно не успел! В полной темноте я вошел под навись лесных ветвей. Под ногами податливо проминается сырая земля, влажнеют шершавые губы, ветерок холодит мокрые плечи, а по горячей шее приятно скользят прохладные листья. Влажный оазис посреди сухих гор.

Когда над головой замелькали звезды, я понял, что вышел на большую поляну. Идти дальше не имело смысла. Наткнувшись на камень, я сел на него поудобнее и стал дожидаться утра. Даже привыкшие к темноте глаза не могли ничего разглядеть, мир кончался для меня на расстоянии вытянутой руки. И звезды над головой исчезли, их скрыла, наверное, дымка лесных испарений.



Где бессильны глаза, на стражу становится ухо.

Сижу на камне и слушаю ночь. Свистят пучеглазые совки-сплюшки. Чистыми, приятными, совсем не совиными голосами, они ритмично, как метрономы, выкрикивают свои печальные «тю! тю! тю!». Совки баюкают лес.

Время от времени слышен тихий топоток мягких лап: заяц, наверное, спешит по своим делам. Свистят соловьи, кукует ночная кукушка.

Знакомые звуки ласкают ухо. Но ухо — сторож, сейчас его обязанность сторожить. Чувствую, как оно упорно выискивает незнакомое и непонятное. Оно насторожилось еще тогда, когда я продирался сквозь заросли: впереди послышалось цоканье и грохот взлета: чьи-то крылья бешено били по листьям. Кто-то гнусаво вскрикивал время от времени не то «кох-кох!», не то «кау-кау!». И незнакомо лопотали жесткие крылья.

Дважды в стороне слышались шаги, четкие и тяжелые: остановится или пройдет?

Ага, пошагал дальше. Чуть подрагивает земля, шаги эти я чувствую всем своим телом. Уф, наконец-то стихли!

Посреди ночи стихло все: шорохи листьев, шорохи шагов, голоса птиц. И только шум далекой реки стал доноситься громче.

Спали соловьи, спали кукушки. Уснули, наверное, и те, кто вскрикивал охрипшим голосом и кто осторожно, но тяжело шагал.

И мне бы сейчас уснуть, да сидишь на камне, как петух на насесте. Спасибо, небо расчистилось и снова звезды видны. Глаза скользят по россыпям звезд: Полярная, ковшик Медведицы. А где же утренняя звезда?

Рассвет не увидел, а ощутил: вдруг стало холодно. Камень, на котором сидел, повлажнел. Провел рукой по траве — словно в воду ее окунул. А когда потек утренний ветерок, я почувствовал, что и лицо сырое: захолодило его до пупырышков.

Сейчас загремит птичий хор. И хор загремел. Птицы как-то разом проснулись, словно разбудил их неслышный будильник, прочистили охрипшие горлышки и запели. Грянули, торопясь и перебивая друг друга. Соловьи, кукушки, щеглы, горлинки. Молчали, спали и вдруг загалдели. Словно торопились до солнца наголоситься. Птичий переполох!

Встряхнулся и я, размял онемевшие ноги, растер ладонями щеки.

Окружающее медленно выступало из темноты. Сперва от земли отделилось небо. Потом на земле проступили светлые и темные пятна. Пятна наливались темнотой или светом и принимали форму и очертания. И вот уже это не пятна, а кусты, полянки, стволы деревьев. А за ними высокая стена гор.

Стал обозначаться и цвет. Налилось зеленым — трава и деревья, красноватым и рыжим — горы.

Гнусавые вскрики и суматошное хлопанье приближается. Голоса сиплые и какие-то простуженные. Незнакомые птицы спешат из сумрачного леса на поляну.

И вот на поляну выходит первый хриплый крикун. Как же я раньше не догадался: петух-фазан! Наградил же птичий бог этакой красотой! И таким худым сиплым голосом. Наверное, справедливо, нельзя же все одному — и голос и красоту. У соловья чудный голос — и простенький вид. У фазана перо жар-птицы, а голос как у простуженного поросенка.

Совсем по-петушиному фазан взлетел на корягу, по-петушиному выгнул шею, вот только кукарекнуть по-петушиному не сумел: просипел свое «кох-кох!». Зато, как деревенский петух, браво похлопал крыльями по бокам и лихо соскочил в траву.

Крикнула над поляной первая галка. Повисла на ветке вниз головой белая лазоревка в голубом берете. Звонко прокричала на серой сушине рыженькая пустельга.

Наконец-то поднялось и солнце! Заискрились росинки, на стволах деревьев обозначилась каждая морщинка коры, за каждым листом легла густая тень. Вот тут-то петухи-фазаны и превратились в сказочных жар-птиц!

Грудки из начищенной красной меди, белые снежные воротнички, бархатные зеленые шапочки и красные серьги. А шпоры, а крылья, а бока! А сверкающий глаз, а важная поступь, а взгляд через плечо — презрительный и небрежный! Они уже досыта накрасовались, накричались до хрипа, намахались крыльями, становясь столбиком и даже запрокидываясь назад. Фазанам тоже пора закусить, благо солнце уже осветило поляну.

Вышли из леса и зайцы. Темные — мокрые от росы. Шерсть слиплась прядками, вид несчастный, обиженный. Распластались на травке: кто на боку, а кто на животе. Один лапой за ухом чешет, другой потягивается, широко зевая и прогибаясь в спине.

А как обогрелись, лопоухи — начали озорничать. Подбегут к дремлющему фазану — и через него! Фазан с перепугу шарахнется, забьет крыльями, заорет. А заяц только ушами поводит: через кого бы еще перескочить?

На меня никто не обращает внимания. Стоит ли отвлекаться на неподвижный камень? А «камень» смотрит во все глаза. Когда-то наш предок, просыпаясь в лесу, всегда видел вокруг непуганых птиц и зверей. Удастся ли увидеть их, непуганных, нашим потомкам? Смогут ли они в своем будущем пережить это удивительное ощущение?

Прилетела на поляну сорока, побродила, томясь и скучая, среди фазанов и зайцев, покачала длинным хвостом, ущипнула ближнего зайца за ухо и улетела.

Над поляной поплыла и заструилась теплая дымка. Солнце припекло вовсю. Дремлют фазаны и зайцы. И я дремлю, подставив себя солнцу, выгоняя ночной озноб.

Когда открыл глаза — рядом стояли олени! Глаза черные и огромные, губы мягкие и ворсистые. Вздрагивают влажные ноздри.

Вот когда я по-настоящему окаменел. И олени окаменели. От напряжения у них на глазах слезы. Уши нацелены, как радары. Озноб пробегает по холеной замшевой коже. На напряженных ногах вздуваются и опадают бугры мышц.

Передо мной редкостные тугайные олени, обитатели

пойменных лесов южных рек. Когда-то их было много, и они украшали леса. Теперь увидеть их так же трудно, как тигра или барса.

Задний олень тычет носом переднего: иди, не стой. Передний отворачивается от меня и, положив рога на спину, словно поплыл над тростниками! И тут струйка ветра со страшным запахом человека мазнула по влажным ноздрям: олени дрогнули и понеслись! Теперь они не плыли, а летели в золотых тростниковых волнах. И от дробного топота копыт чуть подрагивала земля. Так вот чей топот я слышал ночью!

Ни фазаны, ни зайцы не обратили на оленей никакого внимания. А что делать мне? Стоит пошевелиться — и рухнет покой поляны. Я для них — это страх, опасность, тревога. Хороший подарок за все, чем они меня наградили...

Ракетами взовьются фазаны, в пену взбивая крыльями воздух. У зайцев выкатятся глаза, и они распластаются над землей, вышибая ногами пыль. Останусь на поляне я один — царь природы...

Вставать или не вставать?..

СИНЯЯ ПТИЦА

Ее так и называют — синяя птица. Древняя родина ее — Индия. Но теперь она живет и у нас — в ущельях Тянь-Шаня.

Я долго искал встречи с ней. И вот сегодня у меня радость. Ну разве не радость своими глазами увидеть живое существо, которое никогда раньше не видел?

У самой реки я втиснулся между огромных холодных камней. Тяжелый водяной гул глушит все. Я вижу, как падают в реку камни, но всплесков не слышу. Я вижу, как широко разевают клювики горные овсянки и чечевицы, но песен их не слышу. Я сам кричу для пробы — и не слышу сам себя! В свирепом грохоте воды — и вой ветра, и рев бури, и громыхание грома.

Но вдруг звук особый, острый как нож, легко и просто пронизал этот гул и грохот. Ни крик, ни рев, ни вой не смогли бы одолеть грохота реки: свист, похожий на взвизг, перекрыл все. В этом неистовом гуле он слышен так же легко, как флейта иволги в тихое утро.

Это она — синяя птица. Темно-синяя — ее видно издали. Она поет, и песню ее не заглушить. Сидит на кам-

вскарабкались. Обрыв к воде высоченный, а они смело за уткой: шлеп! шлеп! шлеп! Кто в воду, кто на песок, а кто и на камни. Ничего: глазами поморгали, носами ушибленными потрясли, лапки ушибленные почесали — да в воду.

Тут, на чистой воде, и справили свой день рождения. А где же еще справлять: не в норе же у рыжей лисицы!

БОРОДАЧ

Я высматривал его целый день. Искал глазами силуэт, плывущий над зубчатым гребнем скал. Узкие соколиные крылья, хвост, похожий на ромб. Хоть он и гриф, но в полете не похож на грифа. У грифов крылья как два широких полотенца с махрами на концах. И хвост развернут веером. А бородач словно легкий стремительный сокол. И только рост у него грифовый: крылья в разлете почти что три метра!

Но мне не везло, ни один бородач на глаза не попадался — ни в небе, ни на скале. А ведь должен он где-то быть.

Я совсем ослабел. Ноги стали как ватные, дыхание хриплое, голова кружилась. Подступала горная болезнь. Я опустился на склон и впал в какое-то забытье. Камни давили под ребра, пахло сухой, облутой ветром землей. И казалось, что земля эта качается, как на волнах.

Очнулся я от нарастающего шипения и свиста. С таким шумом ползут, завиваясь воронкой, пыльные смерчики. Прямо на меня, скользя, летел бородач. В огромных крыльях, как в проводах осенью, уныло засвистывал ветер. И глаз с красным ободком сверкал холодно и пронзительно. Бородач покачивал тяжелым клювом, и пучок черной бородки дрожал на ветру. С шипеньем и свистом, как ураган, пронесся он надо мной, даже волосы на голове зашевелились от ветра. Бородач повернул носатую голову, и красный глаз его смотрел теперь на меня из-под крыла. Бородач еще надеялся, что я не пошевелюсь, что я не живой. Но я встал на колени и погрозил ему кулаком.

Гриф сразу потерял ко мне интерес, отвернулся и, как самолет на подъеме, вдруг пошел ввысь. И прямо на глазах стал уменьшаться: вот ростом с ворона, вот с

пустельгу, а вот и с ласточку. И исчез. Мои глаза, ослепленные сиянием неба и солнца, не видели уже ничего. Но он и с ослепительной высоты, наверное, видел все. Только живой я ему был не нужен.

НОЧЬ НА КАРА-ДАГЕ

Я не новичок в горах, но такого мрачного нагромождения скал мне еще не приходилось встречать. Крикнешь — из провалов и пропастей гаркнет в ответ стоголосое эхо. Идешь — в спину тебе будто упорно смотрит кто-то; обернешься — нет никого.

Скалы мертвые. И пусты. А ведь путь красят встречи. Трудно идти, когда ничего не ждешь впереди.

Ломает высота. Даже на привале сердце стучит быстро-быстро. И дышишь, как загнанная лошадь.

Вечер застал меня высоко в этих диких скалах.

Собираю пучки колючей травы и растапливаю на них в котелке снег. Трава сырая. Дым от нее густой, зеленый и едкий... Вода становится горькой, как хина. Сухарь холодный, крепкий — не угрызть! Пора в спальный мешок.

Блаженны минуты, когда после выматывающих силы подъемов залезаешь наконец в мягкий и теплый спальный мешок и растянешься в нем на покое! Но тут кругом так мрачно и дико, что и отдых не радует.

Глубоко внизу застыло холодное море облаков. Горный хребет в нем как изрезанный морской берег.

Тишина. Напряженное ухо ловит отдаленный, еле слышный рев. Это шумят водопады внизу, под обломками.

Из-за черной скалы, похожей на запрокинутую морду зверя, вылезает узкий зеленый клык месяца.

Холодина! С головой залезаю в мешок. Но и в мешке не согреться. Пахнет мокрой овчиной. В бока впиваются острые камни. Дышать в мешке еще труднее.

Разбудили меня какие-то непонятные звуки, ворчание, сухой скрип, будто что-то жесткое терлось о камень. Осторожно высовываюсь из мешка и подтягиваю к себе карабин. Горы черные, без глубины, как вырезанные из бумаги. Белое облачное море внизу, тронутое зарей, розовеет. Глаз не оторвать: пенистое розовое море с черными островками гор! Это так необычно, что забываю и про холод, и про непонятные звуки.

Старый дом





На одной улице стоял старый - престарый дом, построенный лет триста назад. Это можно было прочесть над входом, где цифры были врезаны в рамку из тюльпанов и роз. Там же вырезано было целое стихотворение — старинными буквами и с соблюдением старинного правописания. На оконных карнизах гримасничали разные забавные рожи. Верхний этаж далеко выступал над нижним, а под самой крышей проходила водосточная труба с драконьей головою на конце: дождевая вода должна была выливаться из пасти дракона, но текла из брюха: труба-то была дырявая.

Все прочие дома в ряду были такие новенькие, аккуратные, с большими окнами и ровными стенами. Сразу видно было, что они не желали иметь со старым домом ничего общего и думали про себя: «Долго ли этот старый дом будет торчать тут на посмешище всей улице? Из-за его выступа нам не видно, что делается там, в конце улицы! А крыльцо-то?! Широкое, будто во дворце, высокое, словно на колокольне; железные перила, как у входа в древнюю гробницу; да ещё эти медные шишки на дверях! Безвкусица!»

На противоположной стороне улицы были тоже новые, аккуратные дома, и они рассуждали так же, как и другие. Но в одном из них сидел у окошка круглощёкий, румяный и ясноглазый мальчик, и ему старый дом и при солнце и при луне нравился куда больше



всех остальных домов. Глядя на стену с потрескавшейся, местами облупившейся штукатуркой, он рисовал себе самые причудливые картины прошлого — целую улицу с такими домами, с крыльцами, выступами, с остроконечными кровлями, представлял себе солдат с алебардами, водосточные трубы в виде драконов и змиев.



Да, на этот дом можно было засмотреться!
А жил в нём старик, носивший панталоны до колен, кафтан с крупными металлическими пуговицами и парик, самый настоящий парик — это сразу видно было.
К нему каждое утро являлся старый слуга, который прибирал в доме и ходил за покупками.
Остальное время старик-хозяин, носивший короткие панталоны, проводил в старом доме один-одинёшенек. Бывало, что он подходил к своему окну и глядел на улицу; тогда мальчик кивал ему, и старик отвечал тем же.
Так они познакомились и даже подружились, хотя ни разу друг с другом не разговаривали. Да что за беда!
Мальчик слышал, как его родители говорили:
— Старику живётся в общем неплохо, но он страшно одинок, бедняга!
В ближайшее воскресенье мальчик завернул что-то в бумажку, вышел за ворота, и, когда слуга, исполнявший поручения старика, проходил мимо, мальчик остановил его и сказал:
— Послушай, снеси это от меня старичку напротив. У меня пара таких оловянных солдатиков, пусть он возьмёт себе одного: он ведь страшно одинок.
Слуга, видно, довольный, закивал головой и понёс оловянного солдатика в старый дом. Потом оттуда пришло приглашение мальчику побывать у старика; родители по-



зволили, и мальчик отправился в гости в старый дом.
Медные шишки так и сияли на перилах крыльца, будто их только что начистили к приходу гостя, а трубачи — ведь над дверями были вырезаны и трубачи, выходившие из тюльпанов, — трубили изо всех сил, надувая щёки пуще обычного. Они трубили: «Тра-та-та-та! Мальчик пришёл! Тра-та-та-та!»
И двери отворились. Вся передняя была увешана старинными портретами рыцарей в доспехах и дам в

шёлковых платьях; доспехи бряцали, шёлковые платья шелестели!

Внутренняя лестница вела сначала наверх, потом вниз, и мальчик попал на просторный балкон, правда очень ветхий, весь в длинных щелях, трещинах и дырах, зато и весь в зелени — трава и листья пробивались изо всех этих дыр и щелей.

Балкон выходил во двор, и самая стена была тоже сплошь увита зеленью, — настоящий сад, а на самом деле это был только балкон. На нём стояли старинные цветочные горшки в виде масок с ослиными ушами; цветы в них росли как хотели. В одном горшке пышно разрослась гвоздика, зелёные побеги лезли через край, как будто говоря: «Воздух нас ласкал, солнышко целовало и обещало цветочек к воскресенью, цветочек к воскресенью!»

С балкона мальчика провели в комнату с обоями из свиной кожи, тиснённой золотыми цветами.

«Позолота сотрётся, свиная кожа остаётся!» — говорили стены.

В комнате стояли кресла с резными спинками и подлокотниками.

«Присядь! Присядь!» — приглашали они, а потом кряхтели: «Ох, как ломит! Верно, тоже схватили ревматизм, как у старого шкафа!.. Ревматизм в пояснице! Ох!»

Наконец мальчик попал в комнату с выступом на улицу. Там сидел старичок-хозяин.

— Спасибо за оловянного солдатика, дружок! — сказал он. — И спасибо, что сам пришёл навестить меня!

«Так, так!» или, скорее, «кхак, кхак!» — закряхтела вся мебель, которой было здесь так тесно, что одна вещь просто лезла на другую, чтобы поглядеть на мальчика.

Посередине стены висела картина — портрет дамы с прекрасным молодым и весёлым лицом, но причёсанной и одетой по старинной моде — с напудренными волосами и в платье, стоявшем колоколом.

Она не говорила ни «так», ни «кхак», только ласково смотрела на мальчика, и он сразу спросил старичка:

— Где ты её достал?

— Там, у старьёвщика! — сказал старичок-хозяин. — У него висит много портретов, никто их не узнаёт, никому они не нужны, потому что сами люди эти давно умерли и схоронены. Но её я знавал в старину, а на свете её нет уже лет пятьдесят.

Под картиной висел за стеклом букетик засушенных цветов; им, верно, тоже исполнилось полвека — такими они казались старыми.

Маятник больших часов раскачивался, стрелки двигались, и всё в комнате старело с каждой







секундой, само того не замечая.

— Дома у нас говорят, что ты страшно одинок, — сказал старичку мальчик.

— Ну, меня навещают старые воспоминания и приводят с собой кого могут, — сказал старичок. — А сегодня вот и ты пришёл ко мне в гости! Нет, мне живётся хорошо.

И он достал с полки книгу с картинками.

Тут были изображены целые процессии с диковинными каретами, каких теперь не увидишь, солдаты вроде трефовых валетов, ремесленники с развевающимися цеховыми знамёнами. У портных на знамени были ножницы, поддерживаемые двумя львами, у башмачников же были не башмаки, но орёл с парой голов, потому что башмачники шьют всегда парную обувь. Да, вот так книга была!

Старичок-хозяин пошёл в другую комнату за угощением — вареньем, яблоками и орехами. Право, в старом доме жилось очень хорошо!

— А я здесь не выдержу! — сказал оловянный солдатик, стоявший на сундуке. — Здесь так пусто, так скучно! Нет, кто привык к семье, тому здесь не житьё! Я не выдержу! Дни здесь такие длинные, а вечера ещё длиннее. Тут совсем не то, что у вас дома, — ни задушевных разговоров,

какие вели, бывало, твой отец с матерью, ни весёлой возни, какую затевали все вы, милые малыши. Старый хозяин так одинок! Ты думаешь, его кто-нибудь целует? Глядит на него кто-нибудь ласково? Бывает у него ёлка? И не будет ничего, кроме похорон!.. Я тут не выдержу!

— Ну, полно тебе! — сказал мальчик. — По-моему, здесь чудесно. Да ещё приходят сюда старые воспоминания и приводят с собою кого могут.

— Я их не вижу и не знаю! — ответил оловянный солдатик. — Я здесь не выдержу!

— Придётся, — сказал мальчик.

Старичок-хозяин вернулся с самым приветливым видом и принёс чудеснейшее угощение — варенье, яблоки, орехи, и мальчик позабыл про солдатика.

Довольный и весёлый, пошёл мальчик домой.

Проходили дни и недели. В старый дом посылались поклоны, оттуда приходили ответные поклоны, и вот мальчик снова пошёл к старичку в гости.

И резные трубачи опять трубили: «Тра-та-та-та! Мальчик пришёл! Тра-та-та-та!»

Рыцари на портретах бряцали мечами и доспехами, и дамы шелестели шёлковыми платьями; свиная кожа разговаривала, и старые кресла кряхтели от ревматизма в пояснице—всё точь-в-точь, как в прошлый раз, потому что в старом доме дни и часы повторялись: один проходил, как другой, — точка в точку.

— Я не выдержу больше! — сказал оловянный солдатик. — Я уже плакал оловом! Здесь чересчур тоскливо! Отправьте меня лучше на войну, пусть мне отрубят руки и ноги — всё-таки перемена! Здесь я не выдержу! Теперь я знаю, как это старые воспоминания приходят и приводят с собою кого могут! И ко мне приходили мои. Но, скажу я, им не обрадуешься. Во всяком случае, ненадолго обрадуешься. Под конец я готов был спрыгнуть с сундучка. Я видел перед собою вас всех как живых. Видел то самое воскресное утро — ты помнишь? — когда все вы, дети, стояли у стола и пели свой утренний псалом, и мать с отцом стояли рядом, такие же серьёзные. И вдруг дверь отворилась, вошла самая младшая сестрёнка Мария, которой ещё нет двух лет, та самая, что танцует под всякую музыку, под всякое пение. Незваная явилась! И давай танцевать, да никак в такт не попадёт — пение-то было такое протяжное. А она то шейку вытянет, то одну ножку подымет, то другую — нет, всё не ладится! А вы все стоите такие серьёзные, хоть и трудно это было. Я вот не удержался, рассмеялся про себя, зато и слетел со стола и набил себе шишку. Вот она, всё ещё не прошла. И поделом мне, не смейся ни к месту. Теперь





мне всё это и припоминается, всё пережитое. Вот и ко мне теперь приходят старые воспоминания и приводят с собой кого могут!.. Скажи, вы всё ещё поёте по воскресеньям? Расскажи мне что-нибудь про малютку Марию. И как поживает мой товарищ, другой оловянный солдатик? Счастливец! А я тут не выдержу!

— Ты подарен! — сказал мальчик. — И должен оставаться тут. Разве ты не понимаешь?

Вошёл старичок со шкатулкой, доверху набитой разными занятными вещами — коробочками, флакончиками, старинными игральными картами — большущими, с позолотой, каких теперь не увидишь.

Потом он выдвинул для гостя большие ящики старинного бюро, открыл клавикорды. На внутренней стороне крышки был нарисован какой-то вид, а звуки инструмент издавал тихие и дребезжащие.

Старичок-хозяин сыграл на нём старинную песенку, сам себе подпевая.

— Это она певала! — сказал он, кивнул головою на портрет, купленный у старьёвщика, и глаза его засветились.

— Я хочу на войну! — крикнул оловянный солдатик, насколько у него хватило голоса, и бросился с сундучка вниз.

Но куда же он девался? Старичок-хозяин искал, мальчик искал — нет нигде, да и только.

— Я потом найду! — сказал старичок, но так и не нашёл.

Пол-то был весь в щелях. Солдатик провалился в одну из них и лежал там.

К вечеру мальчик вернулся домой.

Прошла неделя, а за ней ещё много недель. Окна замёрзли, и мальчику приходилось дышать на стекло, чтобы оттаял «глазок» и можно было взглянуть на старый дом.

Снегом запорошило все его резные завитушки и надписи, совсем занесло крыльцо; дом стоял как нежилой, да в нём и не жил больше никто: старичок-хозяин умер.

Вечером к дому подъехала колесница. На неё поставили гроб и повезли старичка хоронить куда-то за город. Провожатых не было: все его друзья давно умерли. Мальчик послал гробу воздушный поцелуй.

Через несколько дней состоялся в старом доме аукцион, и мальчику видно было из окна, как выносили старинных рыцарей и старинных дам, цветочные горшки с ослиными ушами, старые кресла и старые шкафы.

Всё это разошлось что куда.

Портрет дамы, купленный у старьёвщика, вернулся к старьёвщику, да так у него и остался: больше ведь не осталось никого, кто знал

бы эту даму, и никому не нужен был старый портрет.
Весною стали ломать этот старый дом — этот хлам, как говорили люди.



С улицы можно было заглянуть внутрь, в комнату с обоями из свиной кожи, — их ободрали, лишь кое-где висели клочья. Зелень, обвивавшая балкон, ещё цеплялась за упавшие балки. Потом всё место расчистили.

— Наконец-то! — сказали соседние дома.
И вот на том месте построили новый дом с большими окнами и белыми гладкими стенами, а перед ним, — там, где стоял старый дом, — разбили садик, откуда потянулись к стенам соседних домов лозы дикого винограда. Садик обнесли железной решёткой с железной калиткой. Очень вышло нарядно: люди останавливались и заглядывались.
Воробьи стайками садились на виноградные лозы и чирикали наперебой, только не про старый дом. Они и помнить его не могли: прошло ведь столько лет, что мальчик стал взрослым мужчиной да ещё таким дельным, на радость своим родителям. Он только что женился и со своей молодой женой переехал в этот самый дом с садиком.
И вот он стоял в саду и глядел, как его жена сажала в клумбу приглянувшийся ей полевой цветок.
Посадив цветок, она хотела примять землю пальчиками и сразу вскрикнула:
— Что это?..
Она укололась — из мягкой земли торчало что-то острое.
Оказалось... Да — представьте! — оказалось, что это оловянный солдатик. Тот самый, который пропал у старичка, завалялся в мусоре и много лет пролежал в земле.



Молодая женщина обтёрла солдатика сначала зелёным листком, потом своим тонким носовым платком. Как чудесно от него пахло! И солдатик словно очнулся от долгого обморока.

— Дай-ка мне взглянуть! — сказал молодой муж, засмеялся и покачал головой. — Ну конечно, вряд ли это тот самый, но он напомнил мне оловянного солдатика, который был у меня в детстве!

И он рассказал жене про старый дом, про старичка-хозяина и про то, как послал ему своего оловянного солдатика, потому что старик был страшно одинокий. Он рассказал всё в точности, как было на самом деле, и у молодой женщины даже слёзы навернулись, [illegible] жаль стало и старый дом, [illegible]чка.

— [illegible]-таки это, может быть, тот [illegible] оловянный солдатик! — [illegible]а. — Я спрячу его на па[illegible] должен показать мне м[illegible]чка!

— [illegible]аю, где она! — сказал он. — [illegible] не знает. Все его друз[illegible] ещё раньше, никто не за[illegible] могиле. Я же был тогда [illegible] маленьким мальчиком!

— Как [illegible]ть таким одиноким!.. — [illegible]а.

— Да, ст[illegible] одиноким! — подтверди[illegible]ный солдатик. — Но [illegible]о знать, что тебя не заб[illegible]

— Чудесно! — откликнулось что-то рядом, но никто, кроме оловянного солдатика, не расслышал.



Это был лоскуток обоев из свиной кожи.

Позолота с него вся сошла, и он похож был на комок мокрой земли, но собственное мнение он сохранил и высказал его:

— Позолота сотрётся,
свиная кожа остаётся!

Однако оловянный
солдатик с этим не
согласился.

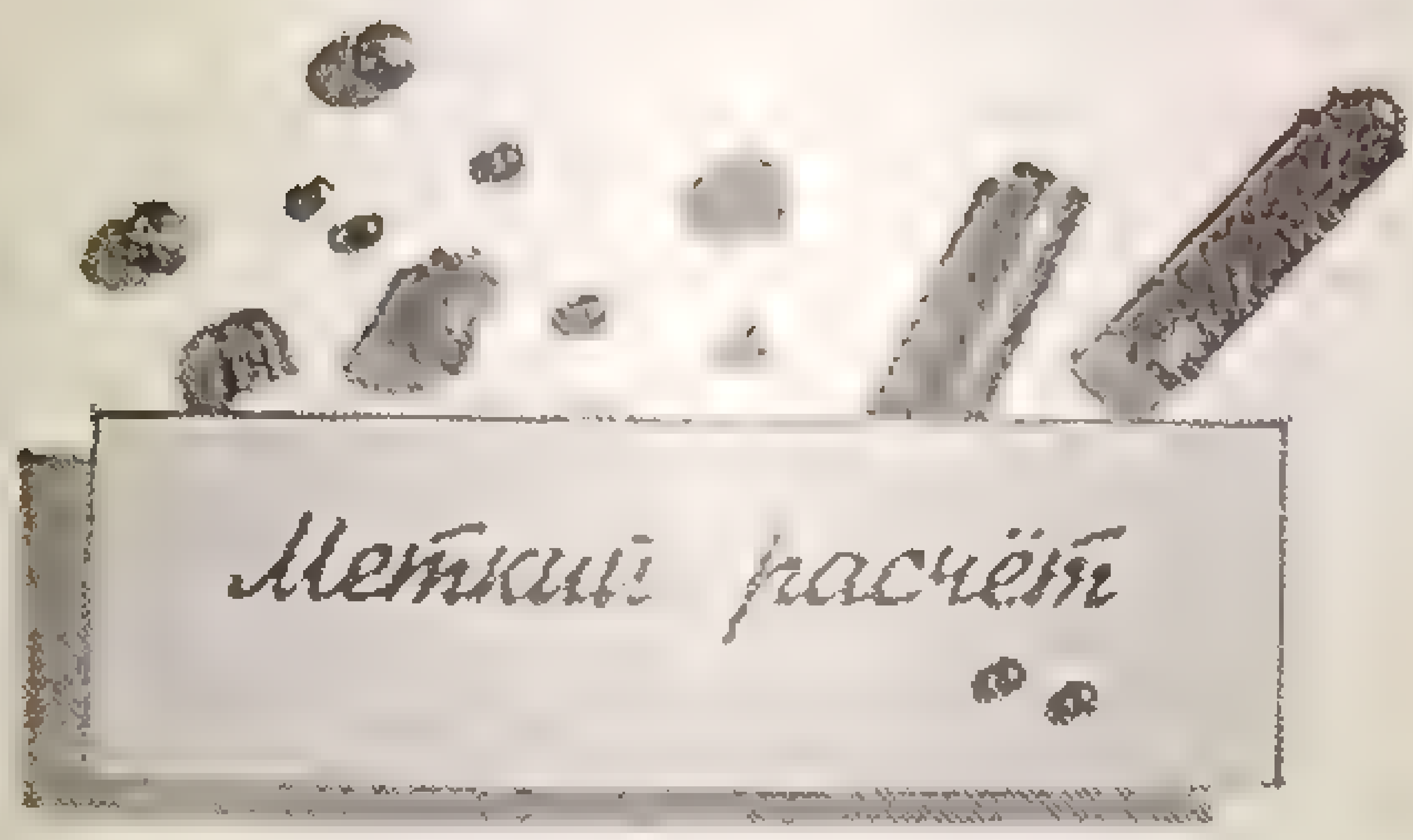


А по правде-то было так: надоело медведке, что ему спать не дают. Он и смекнул: «Дай-ка я на сосну залезу, в орлиное гнездо заберусь...»

Куча-то сучьев на сосне — это орлиное гнездо было. Забрался в орлиное гнездо, да там и выспался на покое.

Пришла весна, пригрело его солнышко, вот он и проснулся, потихоньку слез с дерева — и в лес.

Только и всего.



Зимой волки так обнаглели, что почти каждую ночь то козу зарежут, то собаку. И мы с Васькой решили объявить войну им.

Штаб наш размещался на печке у деда Сергуни. Дед сказал нам:

— Голова — моя, ноги — ваши. И по-солдатски: приказано — сделано! Слушай моей команды!

Первым делом он послал нас в разведку. Мы побежали на лыжах вдоль волчьих следов и вечером доложили деду: волки приходят из-за реки. В густом

кустарнике на берегу — два лаза. Но волчьи следы только в одном. Если минировать этот проход — поставить тут капкан, наверняка попадут.

— Поставьте капкан,— сказал дед.

Он давно обучил нас, как ставить капканы шито-крыто. Мы и рукавиц не снимали, чтобы запаха не осталось от рук. По всем строгим правилам поставили.

Ту ночь мы с Васькой плохо спали и вскочили до света. В школу решили не ходить. Взяли ружье — подстрелить волка в капкане, и салазки — везти его.

А дед на нас с печки:

— Вы что? Не было такого приказа, чтобы в школу не ходить. Без надобности вам салазки.

Мы думали, он забыл, что у нас капкан поставлен. Толкуем ему, а он и слушать не хочет.

Расстроились мы.

Отсидели уроки — и сразу на лыжи да к реке. Прибежали — нет волка в капкане.

Вернулись, доложили деду.

Он говорит:

— А вы — салазки! Волк — он хитрый зверь. Видишь, за три метра железо чуст, даром что оно под снегом.

И велел нам еще два капкана взять. Один поставить рядом с первым, а другой — на втором лазу. Пошли мы: приказ ведь. По дороге Васька и говорит:

— Из ума выжил дед Сергуня. Раз от волков одного капкана под снегом не спрячешь, так два капкана они еще лучше учуют.

Однако приказ. Поставили.

Наутро дед сам нас будит до школы.

— Ступайте проверьте. Да ружье и салазки прихватите: небось, нынче не с пустыми руками вернетесь.

Вышли мы. Темь. Мороз. Васька ругается.

Подходим ко второму лазу — ничего. Подходим к первому — слышим: цепь гремит!

Тут уж светать стало. Глядим: здоровый волчище на цепи мечется. Капканы-то ведь у нас на железной цепи, и цепь к дереву привязана, чтобы зверь капкана не уволок.

Сейчас — бах! — застрелили.

Так с капканом мы его на салазки и навалили. Домой везли — нарочно три квартала кругу дали, чтобы побольше народу видело.

— Порядок! — сказал дед.— Так оно и должно было выйти. Сунулись волки первым лазом — чуют: железо! Вернулись на старый, на привычный свой лаз: перемахнем, думают. Передний махнул — второго-то капкана им не слышно, один ли капкан, два ли — одинаково железом пахнет. Аккурат во второй капкан и угодил.

— Капканы-то все сняли? — спрашивает.— Так и так, больше уж этими лазами ни один зверь не пойдет. Теперь ученые!

Мы с Васькой и забыли про другие два капкана. Вернулись за ними, заодно следы посмотрели.

По следам выходит все точно, как дед Сергуня нам объяснял.

Вот какой у нас начальник штаба: все наперед рассчитал. Даром что третий год с печи не слезает.

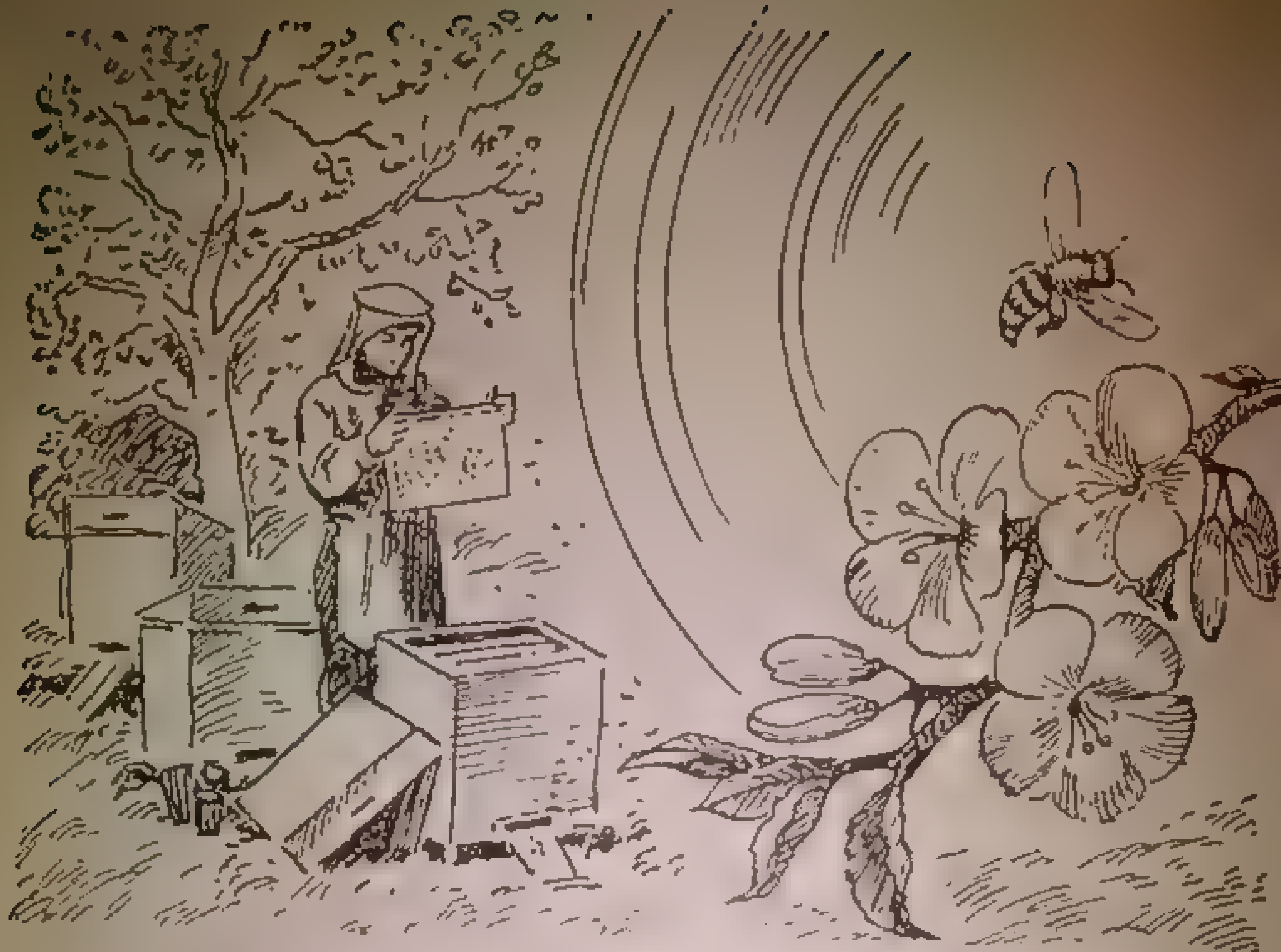
СОЛДАТСКИЙ СЕКРЕТ

★

РАССКАЗЫ

ХУДОЖНИК Н. БАЙРАКОВ

МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1989



Сергей Иванов

ПОДВОДНАЯ ПОВЕСТЬ

Военно-морские песни

У Лёни была хорошая профессия — пчеловод. Но к армии никакого отношения она не имела.

И вот пришло время идти Лёне на военную службу. Вместе с другими призывниками он явился в военкомат.

— Пчёлками, значит, командуешь,— улыбнулся военком.— Что ж, профессия добрая... А сам ты случайно не слишком ли добрый?..

Ладно, ладно – шучу. Так какие же будут твои пожелания по роду войск?

– По-моему, слишком добрых не бывает, – Лёня улыбнулся в ответ. – Вот слишком злые – это сколько хотите! А по роду войск... есть у меня пожелание. Хочу в моряки!

Военкому слова эти понравились, ведь он и сам когда-то был военным моряком.

– Пожелание твоё мы учтём... А ты что-нибудь о флоте знаешь?

– Я?.. – Лёня смутился. – Песни военно-морские знаю!

– А ну-ка, спой!

Бывшие тут же призывники с удивлением оглянулись, когда Лёня красиво и строго стал выводить про то, что «врагу не сдаётся наш гордый «Варяг», пощады никто не желает!».

Военкому Лёнино пение очень понравилось.

– А ну-ка, теперь представь: ночь, темнота и по темноте этой летят рядом пчела и шмель...

– Не, – Лёня покачал головой, – они в темноте не летают.

– А ты всё же представь! Такой мы сделаем мысленный эксперимент... Где шмель летит, а где пчела, сможешь узнать?

– Чего ж, – сказал Лёня, – узнать вообще-то можно. Шмель, он во время полёта басом поёт. А у пчелиных крыльев голос более нежный... А зачем вы про это?..

– Потом узнаешь, – сказал военком. – Но в моряки ты, наверное, годишься.

Моря Лёня Голубев никогда не видал. А где ты его увидишь, когда жизнь твоя протекает среди рязанских полей да лесов. Можно было бы, конечно, в отпуск, но у пчеловода летом отпусков не бывает. А зимой на море отпускнику делать нечего.

Лёня, если уж по-честному, и страну нашу толком не видел. Он ею гордился – что такая огромная и могучая. Но и об этом он мог судить лишь по урокам географии да во время передач «Клуб путешественников». Сам же Лёня, как и очень многие люди, путешественником не был.

Но теперь он ехал почти через всю страну. Была хорошая осень, всё кругом стояло золотое и красное. И что ни поле за леском, везде работали и работали люди. У переездов стояли машины, полные овощей и картошки,– ждали, пока проедет состав, который вёз призывников на Тихий океан.

По ночам Лёня смотрел на бессонные окна заводов. Старшина по фамилии Старшинов, которому было доверено привезти призывников в целости и сохранности, строго загонял Лёню спать. Но и забравшись к себе на верхнюю полку, Лёня долго ещё не спал, а всё смотрел в окошко. И потом, когда засыпал наконец, ему казалось, что он летит.

Прошло двое суток, они миновали Урал, и

дут началась зима. Воздух, когда они выходили поразмяться на полустанках, был студёный, густой. А то принимался валить снег — тихий, спокойный и праздничный, какой в русской земле бывает лишь перед самым Новым годом.

Однажды, на четвёртую или пятую ночь пути, Лёня проснулся от какого-то сияния. В чистом, светящемся от мороза небе плыла луна. Она была большая, тяжёлая и лишь чуть-чуть подъеденная с одного края.

Лунный огонь прыгал по воде, коротко и драгоценно зажигая гребни волн. Иногда видение это закрывала выросшая из темноты скала или отпечатанный на серебряном небе разлапистый кедр. А потом опять: чёрная вода, сверкание волн. И чувствовал Лёня, что нету этой красоте ни конца, ни начала! Забыв все строгие наставления, он вышел в коридор, приоткрыл дверь в соседнее купе. Старшина Старшинов сидел у окна.

— Байкал? — тихо спросил Лёня.

— Садись,— ответил Старшинов,— смотри... Понял теперь?

Лёня будто бы и не знал, что такое хочет сказать ему старшина. И всё-таки знал. Ему припомнились колонны грузовиков с урожаем, и суровые горы Урала, и ночные заводы, и сибирская тайга... И много всего, что удалось увидеть, что называется словами: Родина, моя страна...

– Понял теперь? – тихо переспросил старшина Старшинов.

– Понял! – ответил молодой матрос.

Лёня вспоминает

Года три ему было. Да, года три... На крыльцо вышел, а дед рукой машет, машет. Лёня подбежал. Дед и говорит:

– Видишь?.. Пчела!

– Пчела, – старательно повторил маленький Лёня, – плеча...

– Да не, Лёнюшка. Пчела, пчёлочка! Самая первая по этой весне.

Гидроакустик Голубев

На Дальнем Востоке, куда приехали они, на берегу Тихого океана зимы не было и в помине, а было настоящее лето. И вода океанская оказалась тёплая, даже теплее, чем вода рязанских речек в середине июля!

Их учебный отряд располагался на красивой обрывистой сопке. Внизу золотилось море, выкатывалось на берег прозрачной волной. Да только Лёне Голубеву некогда было сбежать по крутой тропинке, некогда на песочке загорать. Он ведь стал человек военный. Первые две недели новобранцы осваивались, что да как. Присматривались к старшине, а старшина к ним. Учились всяким флотским словам. То, что

раньше было «постель», теперь стало «коечка». А все полы на свете стали палубой, а все лестницы трапами, а все окна надо было не закрывать, а задраивать. Да и не окна, а иллюминаторы!. Однажды старшина сказал Лёне:

– Голубев! Поднеси-ка там баночку.

Лёня по форме ответил: «Есть!» – и побежал на кухню... тьфу ты, на камбуз то есть. Взял банку из-под компота, добросовестно ополоснул её – а он всё старался здесь выполнять добросовестно,– побежал к старшине, приложил руку к бескозырке... Старшина Старшинов, хотя Устав не позволял этого, так и повалился со смеху.

– Баночка, Голубев,– сказал старшина, вытирая слёзы,– это вот что такое! – Он взял стул и поставил его перед удивлённым Лёней...

С тех пор запомнил матрос Голубев: на флоте нет ни скамеек, ни стульев, ни кресел. Всё, на чём сидят, называется «баночка». Вот какие дела!

Если в морских словечках Лёня пока путался, то с главной службой у него шло как раз неплохо. Он узнал наконец, зачем его военком интересовался, сумеет ли будущий матрос гудение шмеля отличить от гудения пчелы. Лёню за тонкий слух решили определить в гидроакустики. А эта специальность даётся далеко не каждому. При помощи разных точных приборов акустики прослушивают море, ловят звуки, которые бегут глубоко под водой. Зачем

[illegible], мы узнаем потом. А пока вслед за ней входим в класс, где идет проверочный экзамен.

— Товарищи! — сказал старшина Старшинов. — Все вы оказались способными ребятами, поэтому вас отобрали для службы на подводных лодках.

Сердце у Лёни вздрогнуло. Перед глазами мелькнули какие-то фантастические фильмы — как человек стоит у огромного окна, а на него смотрит глазами величиной с тарелку гигантский осьминог. Было радостно и боязно.

На некоторое время он отвлёкся, как школьник во время урока, и не слыхал, что там дальше сказал старшина. Но увидел, что все рассаживаются за маленькие столики. На столе пара наушников и четыре кнопки с надписями: «Тише», «Громче», «Выше», «Ниже». Все надели наушники, и Лёня надел. В наушниках слышалось что-то вроде комариного писка.

— Запомнили сигнал? — спросил Старшинов.

Лёня представил себе комара — не очень большого, не очень маленького, среднего такого.

— Следите за изменением сигнала! — сказал Старшинов.

И действительно: комар вдруг словно отлетел в дальний конец комнаты. Лёня быстро нашёл кнопку «тише», нажал её. Потом комар вдруг сделался маленьким-маленьким и пыть стал совсем пискляво. Лёня нажал кнопку

«выше»: звук-то в наушниках стал тоньше. Потом комарик словно бы влез в самое ухо. И тогда Лёня нажал кнопку «громче». Потом комар опять улетел, потом он превратился в толстого комарищу... А Лёня всё время нажимал разные кнопки, и всё время безошибочно.

— Будешь ты гидроакустиком, Голубев! — сказал старшина.

— А что это такое? — спросил Лёня.

— А это тебе после расскажут!

Лёня вспоминает

Раненько-раненько было. А пчёлы уже трудились, гудели над цветами.

— Деда! Во сколько же они встают? — удивился Лёня. — Часов в пять?

Дед ничего не сказал. А когда настала ночь, подвёл Лёню к улью, велел приложить ухо к деревянной его тонкой стене... Там слышался мерный шорох, копошение бесконечного количества лап, деловое гудение. Пчёлы строили соты.

— Ещё не спят? — опять удивился Лёня.

— Они никогда не спят! — тихо ответил дед. — Сколько им отпущено жизни, всё работают, работают...

Про что треска трещит

Стал Лёня осваивать свою новую профессию... Из дома приходили письма про то,

сколько мёду накачали в этом году да как ульи спрятали в сухие и тёплые подвалы зимовники. Читает Лёня Голубев, вздыхает. Но голова и сердце заняты совсем иным. Он должен среди шумов узнавать «тот самый». Ведь, оказывается, океан очень разговорчив!

Беззвучно вращаются катушки магнитофона. В учебном классе тишина. Осеннее солнышко светит. А мóря-океана отсюда и не видать... Вот в зелёном окошке прибора подводник увидел яркую точку. Что это? Может, чужая подлодка. А может, и торпеда, которую выпустил чужак. А может... Гидроакустик осторожно поворачивает ручки — подстраивает прибор... Есть, услышал! Ползёт точка по глубине — пищит, скрипит.

— Запомните эти сигналы,— раздаётся голос старшины Старшинова.— Это кит.

— Кит?!

— Сам-то он большой,— улыбается старшина,— а пищит, как маленький... А это шелестение слышите? Стая селёдки! А это треска трещит.

Слушает Лёня, удивляется, запоминает голоса моря: и настойчивый далёкий говор волн, бьющихся где-то о берег, и урчание, сопение ещё неведомых науке существ, идущее из самой глубокой глубины. Интересно делается, и немножко жутко, и весело...

Но вот включил старшина другую запись. Глухо зарокотало в наушниках. Ох!.. Тща-

тельно прислушиваются акустики к шуму чужих кораблей: подлодок, крейсеров, авианосцев, ракетных катеров... Это лишь в фантастических рассказах у подводной лодки большие и светлые окна, через которые всё можно разглядеть. На самом деле, лодка движется под водой вся закрытая, словно стальная игла. Увидеть и услышать, что там ждёт её впереди, она может только своими приборами. Поэтому лучше учись, матрос Голубев, осваивай военноморскую науку. Слишком многое от тебя зависит!

Вот, значит, как будет

А подводных лодок всё не показывали будущим подводникам. Старшина Старшинов отвечает кратко: «Пока не положено». И кончено! Спорить не пробуй. И неудовольствие своё оставь при себе.

Но всё же Лёня нашёл выход. Иначе, какой же он был бы матрос. Есть в городе Военноморской музей, а при музее стоит подводная лодка, знаменитая героиня, отличившаяся во время Великой Отечественной войны.

И вот увольнение. Морячки-новобранцы разбрелись кто куда: город большой, интересного много. Матрос Голубев шагал в музей, на подводную лодку.

Она стояла у самого моря. И казалось — будь волны чуть посильнее,— могли бы дотронуться

[illegible]ного железного бока. Но лодка стояла на берегу. В её высоком борту прорезана дверь, и туда спокойно входили люди, предъявляя билетики.

Внутри было уютно, прохладно. По отсекам гулял сквознячок. Лёня вспомнил рассказы старшины Старшинова о том, какую нелёгкую службу несут подводники в тесных своих отсеках. Как жарко и трудно бывает иной раз дышать на глубине, как, настоявшись вахту, падают спать, не замечая того, что жестковата коечка, уложенная прямо на боеприпасы.

Моряк, который нёс в лодке почётную вахту, улыбнулся на Лёнину растерянность:

— Это ведь музей! Тут не обязательно, чтобы люди через силу дышали, чтоб они каждую минуту бились о разные железки. Приборы убраны... Вот хочешь, могу тебе рубку гидроакустика показать. Там всё как было.

Вахтенный открыл маленькую дверь. За ней оказалось помещение едва ли больше, чем платяной шкаф. И всё в этом «шкафу» было обвешано или заставлено приборами — железными ящиками с круглыми и маленькими окошками. В окошках цифры, стрелки... Где же здесь ещё и человеку поместиться, в такой тесноте!

— Что же ты, проходи,— сказал вахтенный. И сам прошёл: пригнулся, выпрямился, снова пригнулся, сел на крохотную баночку. Вышел

так же ловко. – А ну-ка, заинь место на боевом посту!

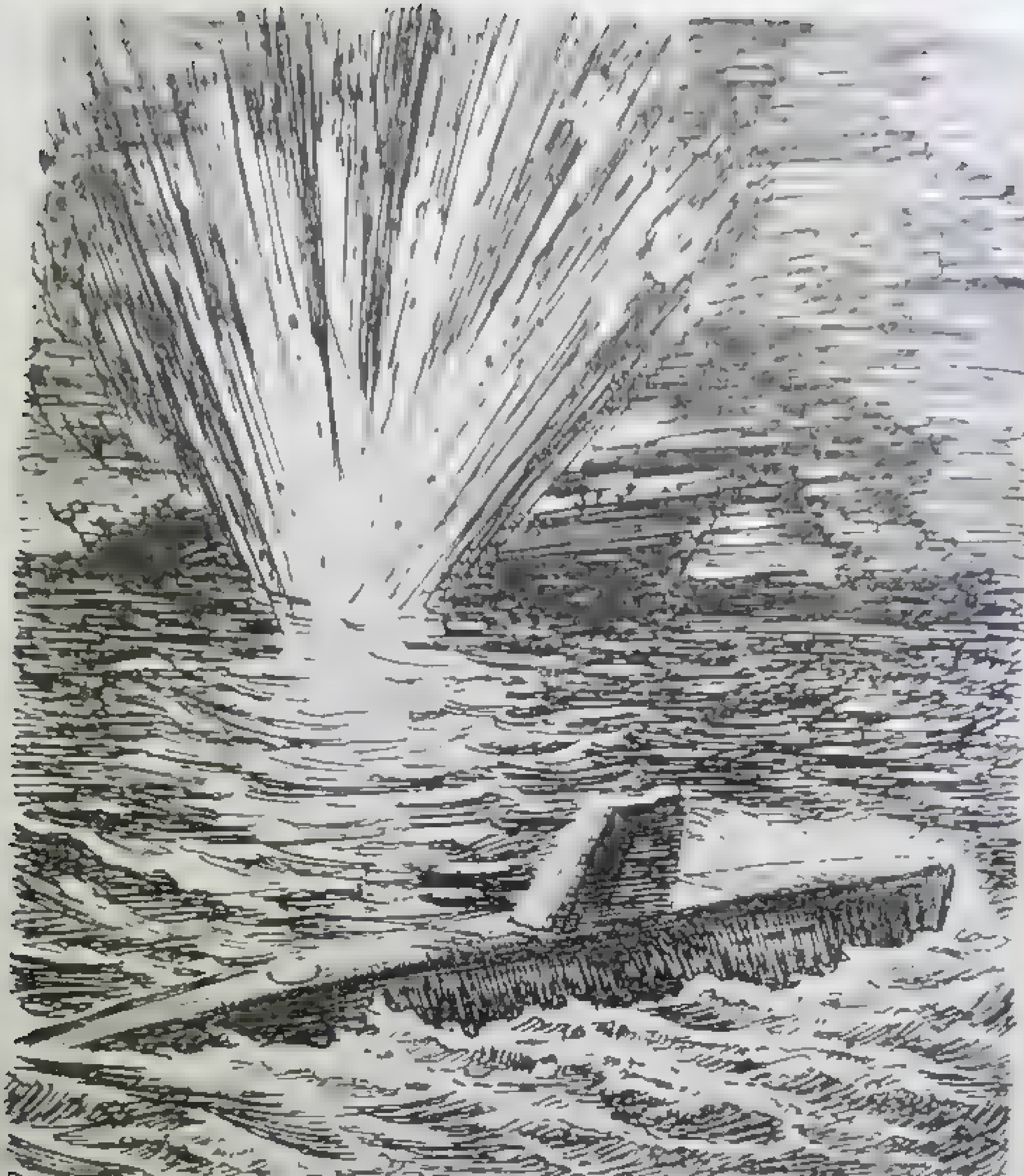
Лёня протиснулся в каюту. Сел, задевая железные ящики плечами и головой. Он увидел свои родные наушники, круглый экран индикатора, в котором должны появиться светящиеся точки. «Цели», как говорят на боевых кораблях.

Из другого отсека доносился разговор экскурсантов. Но Лёня уже не слышал ничего. Лодка, думал он, вот, значит, как будет... Почувствовал, что сидеть неудобно, хотел немного пошевелить ногами и сразу упёрся коленями во что-то холодное, стальное... Вот, значит, как будет!

Что такое подвиг

А ведь эта лодка всю войну прошла. Фашисты боялись её как огня. Если она отправлялась в поход, значит, враг не досчитывался ещё одного корабля! А военный корабль – это огромная сила, целый плавучий город. Вооружён до зубов, охраняет себя со всех сторон. Но та лихая подлодка умела подобраться даже к самому страшному кораблю. Командир её, совсем молодой человек, имел Звезду Героя. А в команде не было ни одного человека, на груди которого не светился бы орден...

Ох, как люто ненавидели фашисты нашу смелую лодку. Придумывали хитроумные за-



падни... И однажды удалось — заперли лодку в небольшой бухте!

Вражеские корабли утюжили бухту, бросали глубинные бомбы. Невидимо лодка лежала на дне. Но ведь её могли услышать. И командир приказал выключить все моторы.

По лодке шёпотом был передан приказ:

«Никому не двигаться!» А воздух становился густым и жарким. Всё меньше оставалось в нем кислорода. Эх, включить бы фильтры. Нельзя — шум... И сидели, задыхаясь, теряя сознание. А за бортом бухали взрывы. Это фашисты снова бомбили бухту — аккуратно, ровненько. Словно грядку засевали... Грохот то удалялся куда-то, то рвал воду совсем рядом. И не было спасения еле живым, задыхающимся морякам, кроме одного: собрать всё мужество и ждать. И ничем не выдать себя!

Так прошли сутки. Наконец фашисты решили, что лодка погибла, и ушли... Теряя сознание, командир включил механизм для очистки воздуха. Лодка медленно-медленно стала оживать. Теперь бы всплыть, теперь бы подышать прохладным морским ветерком. Ведь так мало надо подводнику...

Но последовал приказ: «Корабль приготовить к бою и походу!» И лодка пошла в погоню за вражеским караваном.

Море было спокойным, и всё кругом было спокойно. Вдруг самый большой корабль каравана вздрогнул от ударов нескольких точных торпед и начал тонуть.

«Кто вас атакует? Кто атакует?» — нервно запрашивала база.

И фашистский радист с ужасом ответил: «Призраки!»

Дед собирался осматривать ульи. Ворчал:

— Ох, погода!.. Не миновать дождя. Пчела сегодня сердитая! — и надевал толстые штаны, толстую ковбойку, шляпу с густой сеткой на лицо и шею.

— Неужели так опасаетесь их? — усмехнулся дачник Митя.— А ещё пчеловод!

— Я их не боюсь,— отвечал дед, наглухо застёгивая ворот рубахи.— Несколько жал — что они мне? Да и пчелиный яд целебен... для нас. А для неё: укусила — жала лишилась, жизни лишилась... Не за себя я боюсь. Мне их надо уберечь!

А если вдруг авария?

Про подвиги очень интересно читать или слушать: сидишь, переживаешь. Но вот если самому там оказаться, «внутри подвига»?

Лёня — человек очень мирный, в настоящие серьёзные переделки раньше не попадал. Однако скоро ему такая возможность представилась.

Старшина Старшинов построил их, и — шагом марш! — они отправились на полигон борьбы за живучесть. А что это такое? А это особые помещения, где молодые матросы учатся тушить корабельные пожары, заделывать разные пробоины, учатся водолазному делу...

Лёня шагал в ногу, распевал строевую песню с лихим припевом: «Ты красотка, милая подлодка», а сам размышлял. Он уже понял: армия — это тебе не школа и не пчелиное ПТУ. Здесь надо всё схватывать быстро. Лучше — с первого раза. Поэтому Лёня шёл, а внутри себя готовился: сразу прийти и сразу начать бороться за живучесть.

Но бороться пока ни с кем не потребовалось. Они пришли в простой учебный класс, где им стали рассказывать, как надо себя вести в опасной ситуации — например, если корабль получит пробоину.

Через несколько дней они перешли в другой класс, где стали учиться заделывать пробоины всухую...

Стена, к ней приделан кусок трубы. Ты по команде хватаешь специальные приспособления и начинаешь эту пробоину заделывать.

Старшина Старшинов смотрит на секундомер:

— Так, матрос Голубев выжил, матрос Шаландин утонул... Что же ты, Шаландин? А ещё такая «водоплавающая» фамилия!

А Слава Шаландин глазами невинно похлопывает.

— А что,— говорит,— товарищ старшина, разве лодки очень уж часто тонут? Мы что-то не слыхали...

— Не слыхали вы, матрос Шаландин, потому, что на подлодках служат отмен-

ные моряки. И чтобы вам таким стать, после занятий останетесь на самоподготовку. Ясно?

— Ясно,— отвечает Славка кисло-сладким голосом: мол, придирается старшина.

Глядя на это, нахмурился бывалый моряк:

— Лодки действительно тонут очень редко. Но вам, Шаландин, вполне хватит и одного раза...

Как там Шаландин учился на самоподготовке, Лёня не знал. Но зачёты по теории сдали все. И вот начались практические занятия...

«Лишь бы мне не с Шаландиным досталось»,— думал Лёня.

Но ему досталось именно с Шаландиным!

Два матроса и пробоина

Они влезли в учебный отсек, железную продолговатую комнату с полукруглым потолком, услышали, как старшина Старшинов плотно задраивает люк... Пахло сыростью, было холодно и парко, словно в нетопленой бане.

— Надо спасательные средства проверить,— сказал Лёня излишне бодро.— Так, вот они: зажимы, пластыри, упоры...

Шаландин стоял у стены, напряжённо озираясь.

— Слушай, Лёнь, а как мы отсюда выбираться будем в случае чего?

Спокойно, сказал себе Лёня, злиться я не



буду, нам сейчас надо... Но что им сейчас надо, решил уже не Лёня. Коротким лаем загрохотал звонок. И сейчас же из железной стены - переборки — ударила вода. Секунду Леня смотрел на неё. Но только секунду!

— Слава! Распорку!

И сам уже схватил длинную железную палку-распорку, на конце которой приделан толстый круг. Этот круг матросы уткнули в пробоину. Теперь надо было раскрутить специальную ручку, чтобы распорка стала длиннее и

другим концом крепко уперлась в противоположную стену. Шаландин крутил что есть сил. Но палка не удлинялась. Наоборот! Она укорачивалась.

— Быстрей! — Лёня оглянулся. — Да что же ты делаешь?!

Шаландин, оказывается, крутил не в ту сторону... А воды в помещении было уже почти по пояс. Стал Славка крутить в обратную сторону, а секунды-то идут. И вдруг снова заголосил звонок тревоги. Наверху, почти под потолком, начало хлестать из трубы. Тяжёлая струя ударила вниз. И надо же — точно Лёне в затылок. Держись, рязанец!

Но здесь Шаландин сделал несколько последних поворотов ручкой. Задраено!.. Но из трубы-то хлещет. Лёня схватил приспособления, которыми заделывают трубы.

— Давай-ка, Славик, подставь мне спину! — кричит Лёня. — Я иначе не дотянусь!

Нагнулся Шаландин — голова под водой оказалась. Э, думает, петушки!

— Слышь, Голубев, я ее сам заделаю. А ты меня подержи!

Не стал Лёня спорить, не стал говорить, что он бы аварию быстрей устранил. Вдохнул поглубже, нагнулся. Теперь Славка мог стать ему на спину, как на табурет...

Под водой ещё сильнее был слышен грохот летящей струи. Тут Лёня почувствовал, как Шаландин взбирается на него. Сперва колен-

кой упёрся в хребет, потом каблуком поиграл на Лёниных рёбрах. Ну, делай же ты! Скорее!.. А Шаландин возится. А стоять без дыхания уже нету сил. Лёня хотел разочек воздуху глотнуть... Эх! Сверху на него упало что-то похожее на тяжёлый мешок. Лёня вынырнул, с наслаждением вздохнул... А воды уже почти по шейку, и она по-прежнему хлещет из трубы. Ничего не сумел сделать Шаландин! Тут и он вынырнул на поверхность.

— Где заплата?! — кричит Лёня. — Где зажим?!

— Утопили!

Лёня нырнул раз, другой... Да что там увидишь, на тёмном дне, при свете лампочки из-под потолка. А воды уже выше головы. Барахтаясь, Шаландин колотил кулаком в гулкую стену.

— Прекрати, трус! — кричит Лёня и вдруг замечает, что у Шаландина из-за пазухи торчит та самая заплата. Одной рукой он хватает заплату, другой отстёгивает свой матросский пояс, на секунду погружается в воду, выныривает, плывёт к дырявой трубе, накладывает заплату, обкручивает её поясом...

И вдруг тишина. Не грохочет больше вода. Лёня висит на поясе, стараясь как можно плотнее прижать им заплату. Вода больше не прибывает.

Шаландин плывёт к Лёне:

— Э, Голубев, не говори ничего старшине.

Хотел ему Лёня ответить... что следовало! Но вместо этого выдавил из себя:

— Ладно.

И не знали они, что Старшинов стоит перед экраном телевизора, и отлично всё видит, и хмурится, и качает головой.

Справа по борту борщ

С того дня много времени прошло, больше трёх месяцев. Славка Шаландин ушёл служить в авиацию, правда, поваром. И отсеялся не он один: служить на флоте, да ещё в подводниках,— особый труд и особая честь.

Но эту честь заслужил Лёня Голубев, бывший пчеловод, ныне гидроакустик.

Не забыть Лёне, как в первый раз попал он на лодку вместе с ещё пятью новичками.

Переходный трап — тот, что от берега к лодке,— чуть поигрывал под бывшими новичками: то ли оттого, что доски были тонковаты, то ли оттого, что молодые матросики побаивались... волновались.

Опытные моряки с явным удовольствием смотрели на молодых. А сами так и выкатывали грудь колесом. Говорили степенно, редко — и потом: «Ну, понятно? Или повторить?»

А тут еще случилась одна незадача! Двое матросов тащили на камбуз чищеной картошки котёл, по-флотски — «лагун». Тащат его ребята, а коридорчики уж до того узки — вдвоём и не

разойтись. Старшинов, опытный подводник, успел шагнуть в крохотное помещеньице, которое оказалось потом кают-компанией, а вот Лёня остался посреди коридора... Как ребятам дорогу дать? Впереди шёл здоровенный усатый матросище. Он как гаркнет:

– Смирно!

Лёня весь невольно вытянулся, живот сам собою ушёл под рёбра. Лагун в эту образовавшуюся щель и проплыл. Но конечно, под смех, под шуточки.

Потом новички разошлись по своим будущим постам – где им в скором времени предстояло нести службу: мотористы-электрики к моторам, рулевые к рулевому управлению. Лёня с грехом пополам проник в свою каютку акустическую.

Ему говорят: «Ну чего же? Давай, парень, покажи, что умеешь?» И подают наушники. Надел их Лёня – ничего не слыхать!

А это бывает от волнения – нападает на человека временная глухота. Надо её перебороть. Оглянулся Лёня на Старшинова, а тот чего-то подмигивает... Чего бы это он подмигивал?

И понял Лёня, в чём штука! Слышу, кричит, слышу цель! Тут все обрадовались, дальше некуда. И что же это, спрашивают, за цель? Может, определишь по звуку, что там в океане завелось?

– Даю полную классификацию! – строго

отвечает Лёня.— Слышу кастрюлю с борщом. Время-то обеденное!

Тут все, кто был рядом, так принялись хохотать, что прибежали из других отсеков: «Ай да новичок! А всё же признайся, не заметил сперва, что мы приборы отключили?»

Когда расселись в кубрике, когда разлили того самого, «услышанного» Лёней борща, опять вроде началось веселье.

— Зря гогочете, братва,— говорит Старшинов.— Вы ещё не раз спасибо скажете, что этого хлопца к вам прислали!

Лёня вспоминает

Взяли они котёнка. Хорошая такая кошечка получилась, дымчатая. Назвали её Мурка.

Но любимое занятие кошачье известно — разбой. Лягушат она мучила, жуков лапой била. За пчёл принялась...

Дед вбежал в дом, крикнул, с трудом переводя дух:

— Лёнюшка! Мурку спасай!

А Мурка, по своему глупому кошачьему разумению, забралась от пчёл на дерево — на яблоню. Тут-то они её и достали.

Лёня, сердясь и смеясь, забрался на старую яблоню... Хорошо, дымарь был разведён — густой ватной струёй дыма ударил по Мурке... Раз, другой! Пчёлы отлетели прочь, но вились поблизости, грозили!

Мурке дым этот был противен до смерти. Однако терпела — только мордой ворочала да чихала...

Дуэль

И ещё сколько-то времени прошло. Может быть, год, а может, и больше. Всё чаще Лёне снились рязанские луга. Но всё чаще он думал: не остаться ли ему на флоте? Пчеловод — профессия нужная. Однако сейчас — что же поделать! — нужнее Родине хороший акустик. А старшина Голубев именно был хорошим...

Он лежал на своей коечке в узкой нише у самого выхода из отсека. Было темно, тихо. Темно, потому что Лёня лежал с закрытыми глазами, а тихо, потому что в уши он вставил ватные тампоны. Через полчаса ему надо было заступать на вахту, и Лёня хотел получше отдохнуть. Он и думать старался о далёком — о том, как снимает с улья железную крышу, убирает ватную подушку (она предохраняет улей от жары), потом осторожно отклеивает матерчатый потолок, насквозь пропитанный медовым духом...

Потрясли за плечо. Он открыл глаза, вынул из ушей тампоны.

— Леонид Леонидович, на вахту!

Конечно, старшину второй статьи не зовут по имени-отчеству. Это шутка. Но в каждой шутке есть доля правды!.. Быстро Лёня делает несколько наклонов, приседаний, приводит

в порядок. — Сегодня особая будет вахта — ответственная. Сам адмирал проверяет боевую готовность кораблей!

В такой-то квадрат, по-видимому, выходят две лодки. Им надо найти друг друга и торпедировать. Настоящая дуэль!

А что это такое — «определённый квадрат»? А это огромный кусок океана — десятки миль пустынных волн, и пустынного неба над ними, и серых рваных туч...

Старшина Голубев привычно осмотрел аппаратуру, по внутреннему радио связался с Главным командным постом:

— Прошу разрешения заступить на дежурство!

— Добро! — послышался в ответ голос командира.

Надел наушники. Сразу десятки звуков сбежались к нему. Вот словно рассыпались звонкие орехи — это дельфиниха объясняла что-то своему дельфинёнку. Потом в наушниках промелькнули брань, причитания и плач рыбьей стаи, на которую только что нападала акула. А счастливые креветки болтали напропалую, и все сразу, как малыши в детском саду. Где-то стороной прошёл писк кита. И пропал... А ещё будто гудел, настраивая инструменты, огромный оркестр. Это говорила перемешанная штормом вода: тёплая поднималась к поверхности, холодная уходила в глубину.

На экране в это время появлялись и пропа-

сали какие-то неясные тени, пятна, расплывчатые фигуры. То вдруг высыпали странные созвездия точек. А надо было искать иголку в стоге сена! Лёня по чуточке подворачивал ручки приборов... «Противник» был где-то здесь. Он тоже подкрадывался. И может быть, чужой акустик уже радостно докладывает координаты лодки...

Тут он и увидел на экране точку. И почти тотчас услышал её «голос». И эту точку и этот голос нельзя было перепутать ни с чем. Она была где-то страшно далеко, приборы едва её цепляли. С огромным трудом Лёня мог увидеть и услышать её сквозь шорохи и писк, сквозь блики и тени. Но это было как раз то, что нужно: «противник» пойман на предельном расстоянии, и, значит, Лёнин командир мог следить за ним и сам оставаться в засаде!

Командиру очень хотелось сказать старшине Голубеву, какой тот молодец, но сейчас было не до того, к сожалению.

— Классифицировать контакт! — услышал Лёня приказ.

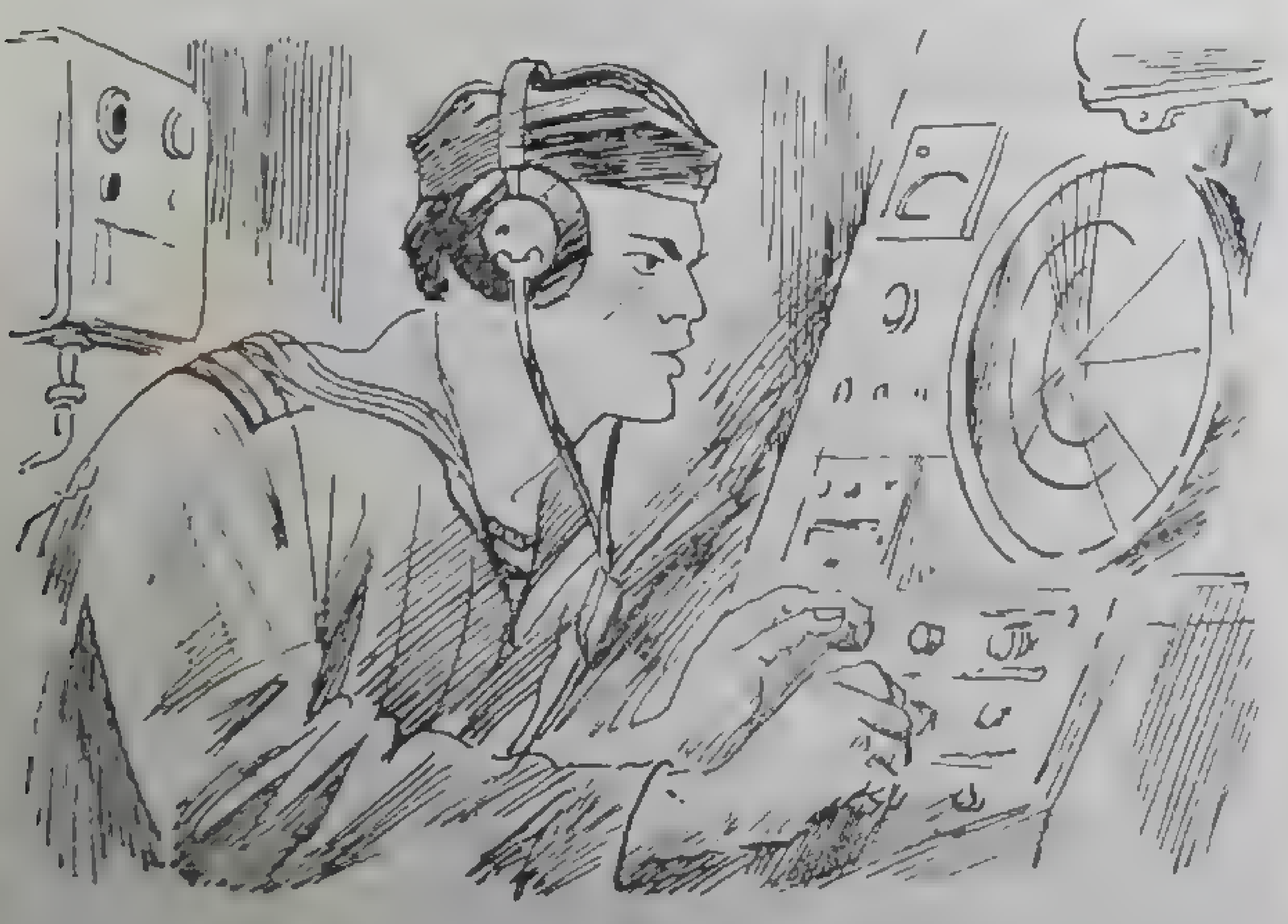
Это значит, что он должен был определить расстояние до противника, его скорость, направление, определить, что это за корабль...

Прошли считанные секунды, и на боевой информационный пост стали поступать данные. Тут же за дело принялись электронно-вычислительные машины. Они подсказали, куда и с какой скоростью должна двигаться лодка,

чтобы встретить противника и атаковать в самом неожиданном месте.

Наверное, странное было зрелище для морских обитателей. Вот двигалась огромная железная рыба. Вдруг сделала плавный поворот и ушла неведомо куда, в глубину...

Скрыто и стремительно лодка шла к тому месту, которое вычислили приборы. Здесь нужно затаиться и ждать. Замерли торпедисты у своих аппаратов, напряжённо ждёт командир. Но больше всех волнуется гидроакустик. Ведь если он хотя бы немного ошибся, его собственная лодка может стать уже не стрелком, а мишенью... Тишина. Только секундная стрелка бежит по циферблату. Старшина Голубев слушает, слушает, вглядывается в экран. Опять переругиваются о чём-то рыбы, опять...



— Вижу цель! — так трудно сделать голос спокойным.

И почти сразу звенит сигнал тревоги. Торпедные аппараты к бою!.. Есть!.. Залп!

Пошли торпеды — стремительные, неумолимо точные. Вот они. Лёня видит их след на экране. Приближаются к подводному кораблю противника, и... что-то неуловимо изменилось в поведении того корабля: это их акустик уловил почти невидимо мчащиеся заряды... Нет. Слишком поздно! На Лёнином экране яркий всплеск. Торпеды попали в цель!

Окончен учебный бой. Да, учебный: торпеды были не боевые, и прошли они чуть в стороне, и сработало, конечно, не взрывное, а радиоустройство. Но если надо, если решится непрошеный...

Вахта ещё не кончена. Лёня продолжает слушать море. Но улыбка никак не сойдёт с его губ. Хорошо жить, когда работа сделана отлично, когда ты не подвёл друзей! В подводной лодке или все побеждают, или все погибают. Так сказал один легендарный теперь капитан.

Прощайте, пчёлы!

Кто-то трогает Лёню за плечо... Вахта кончилась. Теперь только Лёня и почувствовал, как устали глаза, как затекли ноги. Лёня вышел в коридор, с наслаждением потянулся... Путь его лежит через Главный командный пост. Лёня ждёт, когда освободится командир.

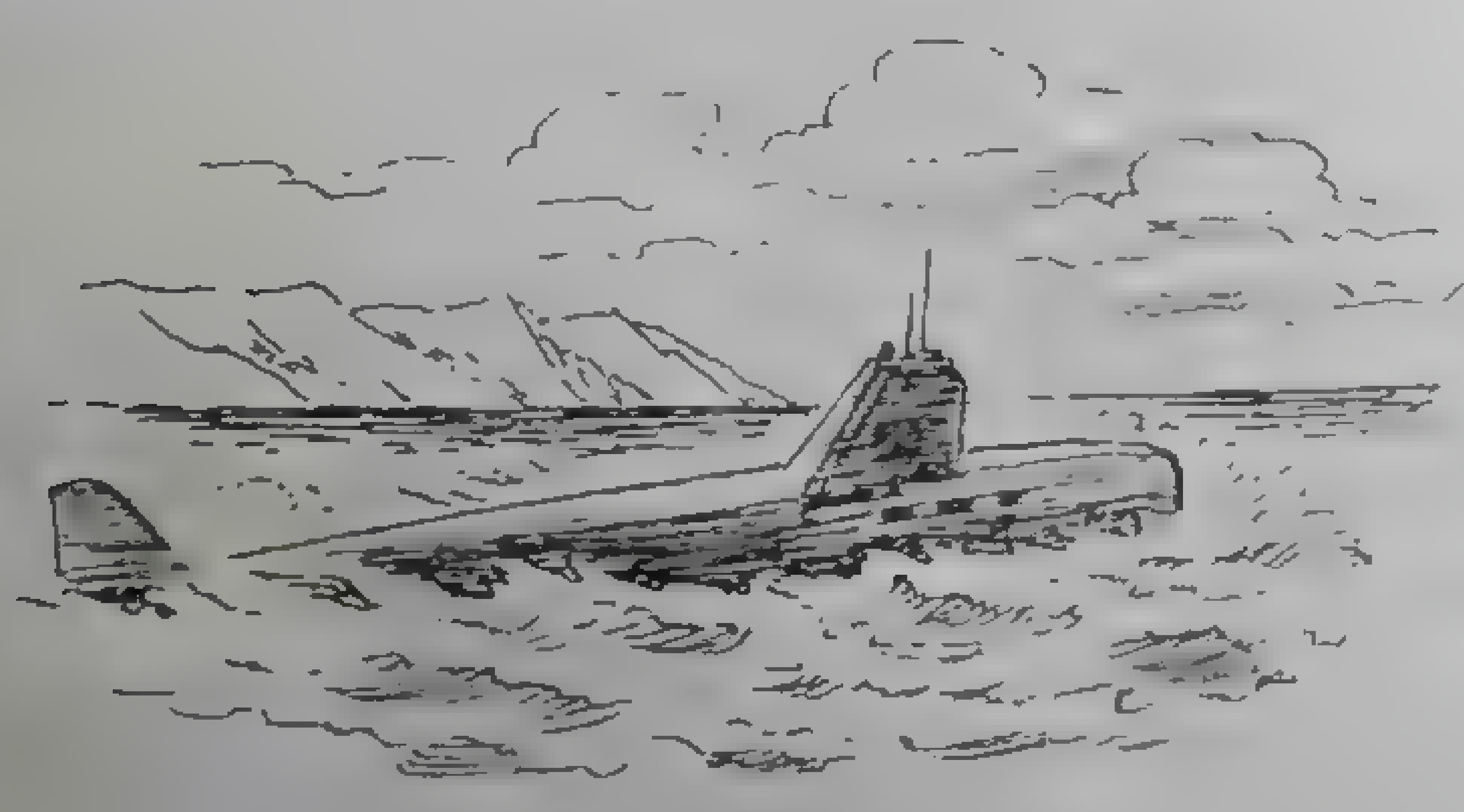
– Прошу разрешения! – так на флоте принято обращаться к старшим по званию...

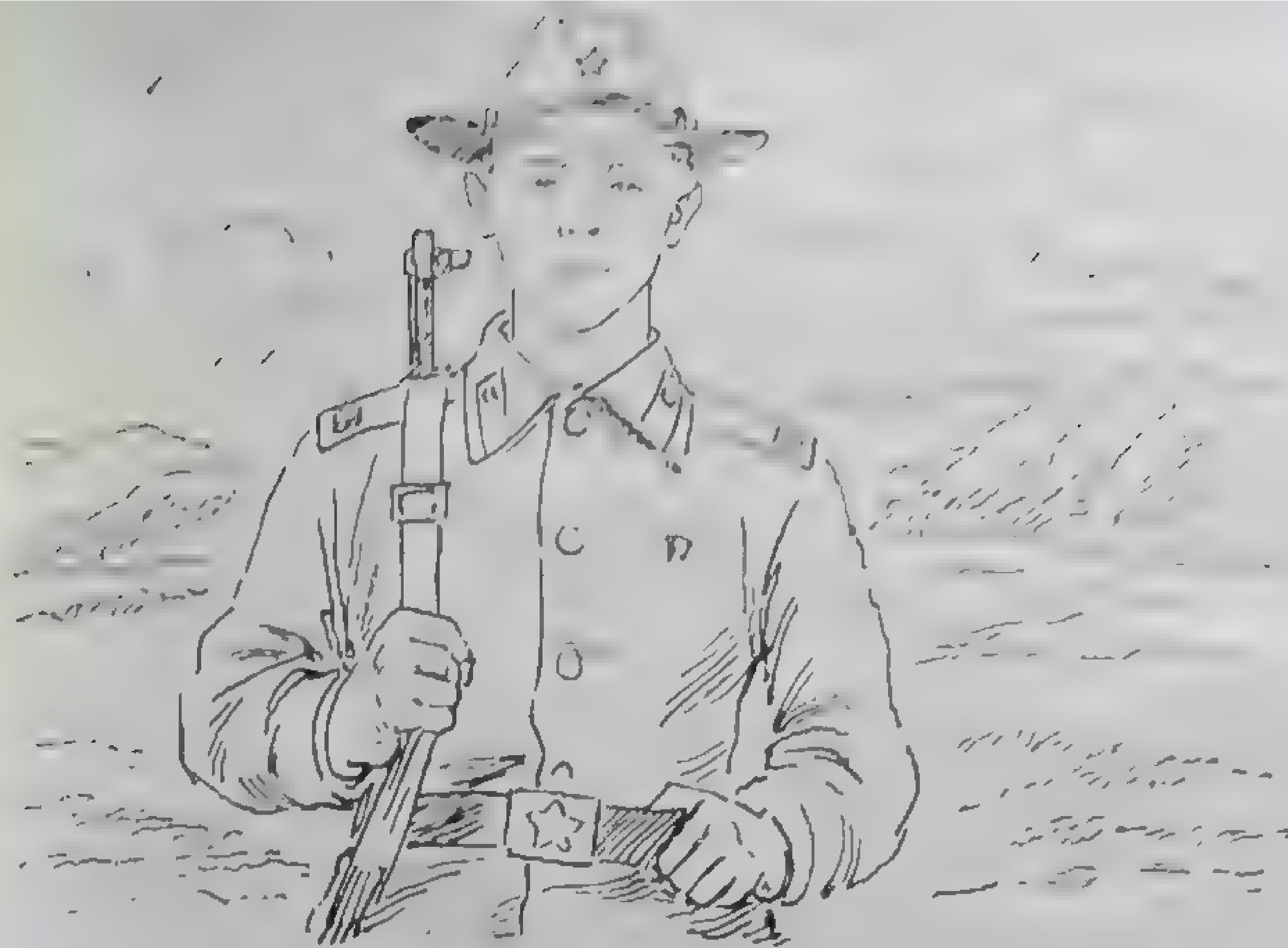
Лёня уже давно решил. И всё не мог решиться! И рапорт даже немного потёрся в кармане: «Прошу допустить меня к экзаменам в Высшее военно-морское училище...» Значит, прощайте, пчёлы! До свиданья, рязанская земля! С сегодняшнего дня и навсегда океан станет родным Лёшиным домом... «На берегу – в гостях, в море – дома!» Это слова великого русского флотоводца Макарова.

Но рапорт ещё не отдан. Ещё можно решить по-другому. Нет! Решено!

И командир, словно угадав, что собирается сказать старшина Леонид Голубев, крепко жмёт ему руку.

А лодка медленно всплывает. И если сейчас глянуть в перископ, то можно увидеть спокойные волны, и мирное небо, и белые облака, которые день за днём, вахта за вахтой надо беречь от войны.





Владимир Карпов

СОЛДАТСКАЯ КРАСОТА

Художник Прокофьев щелчками сбивал пыль с рукавов. Он прошёл только от ворот до штаба части и будто побывал в мешке с пылью. «Как здесь служат эти военные? — подумал он.— Какая бедность красок. Земля, дома, лица людей — всё одного цвета, цвета пыли».

Прокофьев поругивал себя за неприятную затею. Портрет солдата-отличника можно написать в любом месте, незачем было ехать в Среднюю Азию. Но теперь рассуждать поздно, придётся работать здесь. И вот после зна-

[illegible] с командованием и соблюдения [illegible] [illegible] в таком случае формальностей Прокофьев сидел рядом с командиром батальона майором Крутовым в тени карагача. Перед ним стоял, смущённо переминаясь с ноги на ногу, солдат Антошкин.

Майор смотрел на солдата с восхищением. Антошкин лучший из отличников. А Прокофьев думал: как бы не обидеть его отказом. Антошкин мал ростом, у него невыразительное лицо, большие уши, плохо очерченный рот.

— Теперь мы с вами познакомились и, я думаю, ещё встретимся,— сказал наконец Прокофьев.

Майор отпустил солдата и спросил:

— Ну, как?

Художник виновато отвёл глаза и ответил не сразу.

— Видите ли, живопись такое искусство, которое воспринимается зрительно. К картине нельзя приобщить какие-либо комментарии и пояснения. Всё должно быть высказано на полотне. Ваш солдат хорош в службе, но внешние данные... Вы, вероятно, слышали, о людях говорят: у человека нефотогеничная внешность? Вот и товарищ Антошкин не то... Понимаете?

Майору никогда не приходило в голову, что Антошкин может кому-нибудь не понравиться. Он искренне уважал солдата за честную службу, живость и расторопность. Комбат как-

то ни разу даже не подумал о том, что Антошкин некрасив. Наоборот, смышлёный и подвижный, он был ему приятен не только делами, но и внешностью.

Решив, что художник просто не рассмотрел солдата, Круглов не стал перечить и предложил:

– Давайте познакомлю с другими.

Прокофьев охотно согласился, и они пошли по расположению батальона.

Художник с интересом осмотрел казарму. Он простодушно восторгался выравненными кроватями, абсолютно одинаковой заправкой постелей, аккуратной подгонкой шинелей на вешалке, в общем, всем тем, что благодаря однообразию создаёт строгую военную красоту. Больше всего его поразило то, что в казарме не было ни пылинки.

Круглов, в свою очередь, приглядывался к художнику. Он был пожилой, полный, с хорошим открытым лицом. Держал себя свободно, без рисовки. К солдатам обращался просто. Охотно шутил над своей неосведомлённостью в военных вопросах. С ним было легко разговаривать.

С этого дня командир батальона часто встречал Прокофьева. Художник бывал на занятиях, на зарядке, на чистке оружия. Он искал нужного ему человека, но не мог найти.

Майор узнавал художника издали – Прокофьев никак не мог привыкнуть к местной

ны ш, ступал осторожно, будто по грязи, стараясь спасти от неё свои изящные сандалеты.

Однажды Прокофьев сидел за этюдником на стрельбище. Круглов подошел к нему, сел рядом. На небольшом листе фанеры было нарисовано стрельбище. Оно было так похоже, как будто майор видел его в уменьшающие окуляры бинокля.

— А здорово у вас получается! — сказал Круглов.

— Ничего у меня, дорогой майор, не получается,— грустно ответил Прокофьев.— Всё это не то. Нет главного. Нет смысла. Вы видели когда-нибудь картину художника-демократа Ярошенко? Она написана до революции и называется «Кочегар».

— Нет, не приходилось.

— У меня есть открытка.— Прокофьев достал из этюдника открытку и показал её комбату.— Вот смотрите: перед вами просто стоит человек, и больше нет ничего. Но вглядитесь. Кочегар угрюмый, измученный. Мрачная котельная, где он находится, давит его, это могила. Здесь этот человек оставил силы, здоровье, молодость. Здесь он оставит и жизнь. Посмотрите на его глаза — сколько в них безысходной тоски! Глядя на изображение рабочего, вы легко представляете всю его судьбу. Больше — целый класс! Всю старую Россию! Перед вами не картина, а глава из «Капитала». Вот так же должен быть насыщен

смыслом и портрет, который хочу написать я.

– Ну и пишите здорового, молодцеватого служаку,– живо предложил майор.– Это будет типично. В наше время человек не может быть таким задавленным, как этот кочегар.

Прокофьев улыбнулся:

– Вы правы, милейший майор. Но это будет плакат. А мы с вами должны создать картину. Это страшно трудно. Жизнь настолько многообразна, что её никак не втиснешь в маленький кусочек полотна. Вы читали, как ругают киноработников за то, что они не могут полно показать жизнь нашего современника?

– Да, им достаётся,– согласился майор.

– У них тысячи метров плёнки, состоящей из десятков тысяч кадров. А у меня один-единственный кадрик. Я должен быть драматургом и режиссёром, создать сюжет, поставить его, оформить сценически и написать. Да так всё это сделать, чтобы в картине было не меньше смысла, чем в фильме. И всё в одном кадре!

– Трудновато,– сочувственно сказал майор.

– Но не невозможно! – весело подхватил Прокофьев.– Разве в «Бурлаках» Репина меньше мыслей, чем в любой кинокартине? Жизнь надо хорошо знать. Жизнь! Умозрительно можно много насочинять, а шедевры таятся в жизни. Вот за этим я к вам и приехал.

– У нас, военных, тоже говорят: можно предположить сто вариантов боя, а он сложится по сто первому. По самому жизненному.

— Как вы сказали? — живо спросил Прокофьев. — Повторите, пожалуйста.

Круглов повторил.

— Да, бой... — задумчиво сказал художник.

Майор видел, что художник сказал это для себя, глаза его были устремлены куда-то далеко.

— Ну конечно, для боя! — вдруг радостно, будто подводя итог своим размышлениям, проговорил Прокофьев. — Ведь всё, что вы делаете — строевая, физическая подготовка, стрельба, выравнивание кроватей, — всё это, в конечном счёте, для боя, для того, чтобы победить. Правда?

— Правильно, — подтвердил майор.

— Вот это и есть главное! Я только сейчас понял. Как удачно вы натолкнули меня на эту мысль. Вот спасибо!

— Я ничего особенного вам не сказал, — смущённо возразил Круглов, — это все знают.

— Все знают, и я, конечно, знал. Но сейчас, почему-то только сейчас, я отчётливо понял, что это и есть та фокусная точка, куда должны быть направлены мои мысли и усилия. Я тоже должен свести всё в один момент, в такой узел, в котором проявятся и строевая, и тактика, и дисциплина, и закалка. Но как это сделать? Ведь вы сами изучаете все эти элементы отдельно.

— Нет, — возразил майор, — у нас бывают учения, где все эти качества проявляются в комп-

ское. Вот в среду будет ротное тактическое учение с боевой стрельбой. Приходите, может быть, что-нибудь и найдёте. Учения — тот же бой, только учебный.

— С удовольствием, обязательно приду,— пообещал художник.

В среду, рано утром, когда воздух ещё был холодный, а из-за горизонта только начинал разливаться по небу солнечный свет, Прокофьев приехал с майором на учебное поле.

Рота уже заняла исходное положение. Но на поле не было видно ни одного человека. Было тихо. Только жаворонки перекликались в небе. Они замирали на мгновение в воздухе, будто разглядывали замаскированных солдат. Когда раздались первые взрывы, имитирующие артподготовку, птиц будто смело взрывной волной, они испуганно пискнули и исчезли.

После артподготовки рота пошла в атаку. Солдаты появились на поверхности земли все разом, словно их вытолкнула из траншеи пружина, приведённая в движение одним человеком. Они пошли быстрым шагом. Застучали хлёсткие выстрелы. Движение всё ускорялось. Прокофьев едва поспевал за майором. Темп нарастал. Художник уже чувствовал, что не может быстрее передвигать ноги. А солдаты всё ускоряли шаг. И вот в тот момент, когда Прокофьев готов был остановиться, вдруг, как горный обвал, загремело «ура!». Этот крик подхватил художника и понёс вперёд. Он забыл

[illegible] Забыл, [illegible] в деталях и красках. Пафос атаки пленил его [illegible] даже то, что он бежит. Прокофьев понял это спустя некоторое время, когда не стало хватать воздуха и больно закололо в левом боку.

Заметив, что художнику плохо, майор помог ему взойти на холм и сказал:

— Посмотрим отсюда.

Стройная цепь, как штормовой вал, неслась вперёд. Мишени группами появлялись то там, то здесь. Их мгновенно засыпали всплески пыли, поднимаемые пулями. Огонь был организован хорошо. Майор улыбался. Но вдруг лицо его стало строгим.

Рота спускалась в лощину, поросшую высокой травой. Трава закрывала людей до пояса. На правом фланге появилась группа мишеней «противника», но её никто не обстреливал.

— Неужели не видят? — с досадой сказал майор.

И, как бы отвечая ему, правофланговые пулемётчики открыли огонь по этой цели. Однако в районе цели рикошеты не появились.

Прокофьев видел, как пулемётчик встал из травы и попытался стрелять стоя, но цель осталась непоражённой. Расчёт перебежал и вновь залёг. Сердито прострочили две очереди, но желанных облачков пыли около цели опять не показалось.

— Трава проклятая! — зло сказал майор. — В бою эта группа противника могла остановить



атаку. Огонь с фланга самый губительный. Пулемётчики, видно, хорошо понимали это. Они всё же пытались подавить цель на фланге.

– Надо было скосить траву,– с сожалением сказал Прокофьев.

– А в бою? – спросил майор.– Разве противник позволил бы? Вот такая мелочь может перевернуть все предполагаемые варианты...

– Смотрите! Смотрите! – вдруг перебил Прокофьев.

Круглов уже и сам видел, как пулемёт вдруг поднялся из травы, прочно остановился над её верхним обрезом и наводчик, встав на колено, послал в цель точную очередь.

— Как они это сделали? — спросил удивлённый художник.

— Не понимаю. Может быть, нашли пень или кочку?

В следующий миг всё стало ясно. Наводчик поднял пулемёт, и из-под него выскочил помощник. Они перебежали вперёд. Наводчик поставил пулемёт помощнику на спину, и новая очередь поразила мишени.

— Ах, сгервецы! Молодчины! — воскликнул комбат.— Вот он, сто первый вариант, товарищ Прокофьев!

— Кто же это такие?

— Не знаю. Давайте догоним!

Прокофьеву не терпелось взглянуть на героев. Случившееся всколыхнуло в нём трепетный прилив энергии — верный предвестник вдохновенной работы.

Они поспешили за ротой, перемежая бег с ускоренным шагом.

«Обязательно буду писать этого пулемётчика,— думал художник.— У него и выдержка, и смекалка, и физическая сила. Вот воинская красота человека».

Ещё на половине пути Прокофьев услышал сигнал «отбой». Когда они подошли к роте, она уже была построена. Командир доложил комбату о выполнении задачи. У него весело блестели глаза. Да и у всех солдат были радостные лица, они будто говорили: «Вот какие есть среди нас!»

— Расчёт правофлангового пулемёта, выйти из строя! — приказал майор.

Два солдата — высокий и маленький крепыш — шагнули вперёд.

— Кто придумал? — коротко спросил майор.

— Это всё он, — сказал здоровяк, кивая на помощника.

Прокофьев оторопел от неожиданности, перед ним стоял... Антошкин! Глаза его лукаво блестели, лицо с грязными потёками пота светилось задором. Это был совершенно другой Антошкин. В старенькой, выгоревшей гимнастёрке, он стоял вытянувшись в струнку и был необыкновенно красив. Даже уши у него оказались небольшие.

«Как можно ошибаться в людях, — подумал художник. — Вот уж истинно — красота человека в делах, а не во внешности».

Майор объявил расчёту благодарность и обратил внимание всех солдат на то, как второй номер, на первый взгляд не такой уж ответственный по должности человек, может совершить подвиг, решающий судьбу боя. Если бы фланкирующий пулемёт не подавили, атака могла захлебнуться!

Возвращаясь с майором в город, Прокофьев попросил:

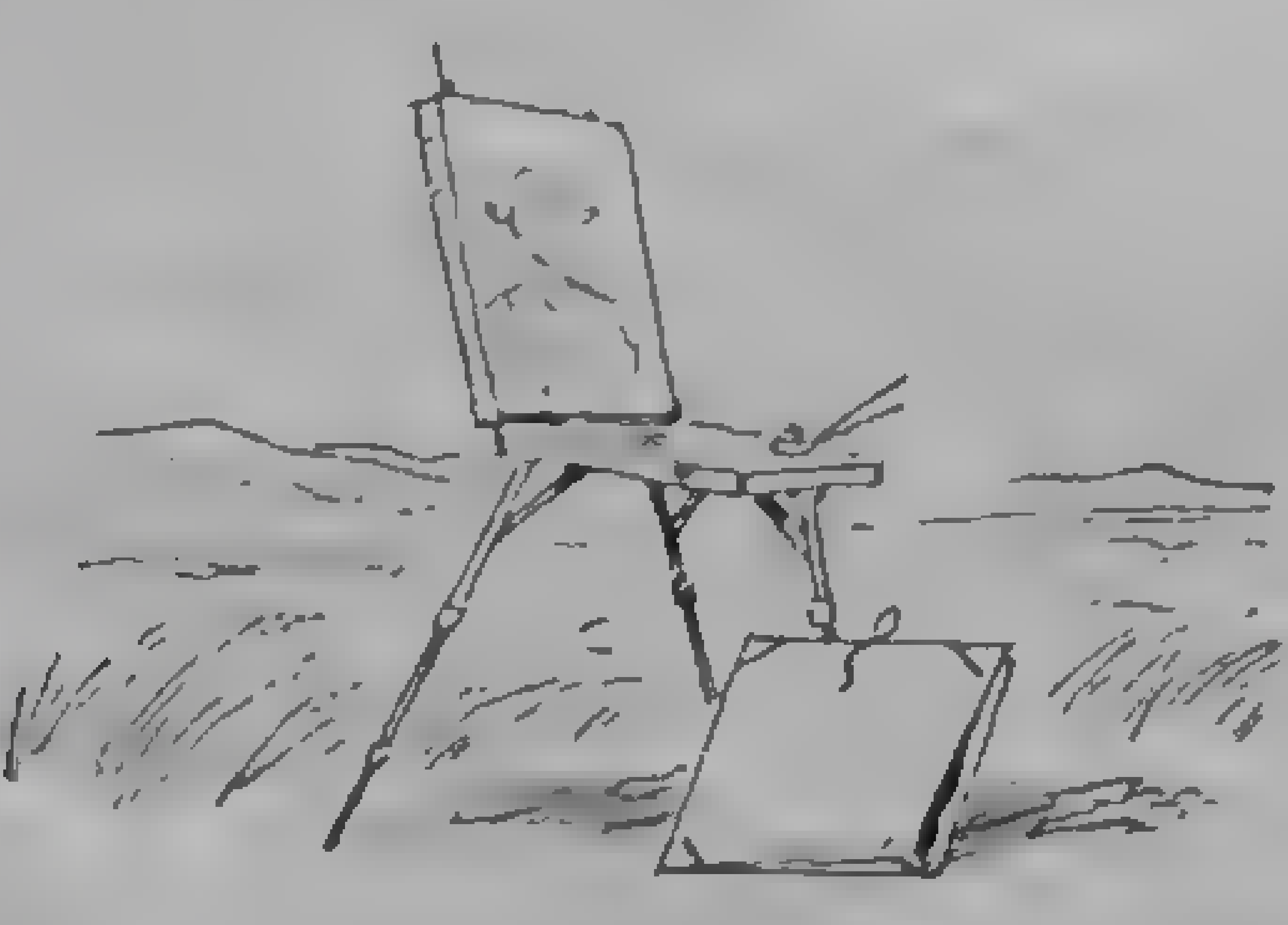
— Вы уж, пожалуйста, разрешите мне на несколько сеансов взять товарища Антошкина.

— Так у него же нефотогеничная внешность, — сказал Круглов, стараясь не улыбаться.

— Не бейте лежачего, товарищ [illegible]. Это неблагородно.— Художник засмеялся.— В живописи тоже, как видите, существует сто первый вариант. Но какая прелесть этот Антошкин. Я просто не смогу писать никого другого. Мой портрет должен быть именно таким: простой советский юноша в выгоревшей форме, нелёгким ратным трудом добывает он военное мастерство. Не парадная начищенность, а грязные дорожки пота, обожжённое солнцем лицо, пыль на носу и бровях. А в глазах смекалка, упорство, мудрое понимание, что весь этот труд нужен для надёжной охраны мира.

— Ну что ж, пишите. Я скажу, чтоб его отпускали.

«Газик» вилял между выбоинами на дороге. Пыль серой завесой вставала за ним. Когда шофёр тормозил перед ухабом, густое облако пыли нагоняло машину и заволакивало её с головой. Пыль тонким слоем покрывала лицо и одежду художника, но он этого не замечал. Он был возбуждён, говорил громко, глаза весело блестели. Ему не терпелось поскорее сесть за работу.





Радий Погодин

ТРАКТОР

Василий Коновалов, новгородский парень, служил в Н-ской ракетной части. Он и его товарищи ракет на цель не наводили, не доводилось им слышать сжимающую сердце команду: «Пуск!» Были они специалисты-ремонтники.

В тот день, о котором пойдёт рассказ, отделение Василия Коновалова находилось в наряде – несло караульную службу.

Стоял Василий Коновалов на часах возле охраняемого объекта, от мокрого ветра зяб,

глядел зорко в тёмную чащу леса, иногда в небо глядел — ждал скорой смены.

В это время к караульному помещению, где отдыхали его товарищи, подъехал на мотоцикле старшина роты — он из города возвращался,— спросил солдата Василия Коновалова.

— На посту Коновалов. Вот-вот сменится.

— Передайте ему. Он просил купить.— Старшина отдал солдатам большую коробку, завёрнутую в тонкую бумагу, тесёмкой перевязанную, и уехал по своим дальнейшим делам.

Солдаты сначала положили коробку на подоконник. Потом переложили её на стол, потому что в открытую форточку дождь брызжет, мочит тонкую бумагу-обёртку.

Стоит коробка на столе. Солдаты на неё смотрят и говорят:

— Что это наш Вася такое себе приобрёл, в коробке? Может, вкусное? Может, он нас порадовать хочет угощением?

Известно, солдат кормят сытно, круто, но вот насчёт печений или тортов — в армии это не заведено.

Один солдат, по имени Андрей Васнецов, коробку даже понюхал.

— Чем-то забытым пахнет,— сказал.

Другой солдат, по имени Максим Кожин, случайно тесёмочку задел. Бантик, само собой, развязался.

Ветер из форточки дунул, бумагу тонкую

отогнул. И солдаты увидели на картонной коробке крупную надпись: «Трактор».

– Ого,– сказали они.– Трактор.

– Интересно, гусеничный или колёсный?

– А может быть, шоколадный...

Трактор оказался железным, колёсным. Оранжевого цвета. «К-700». С пружинным мотором.

Солдаты стали передавать его из рук в руки. Своё мнение высказывают.

– Ходовая часть жидковата,– сказал рядовой Андрей Васнецов.

– Трансмиссии никакой,– сказал рядовой Булат Хаджибеков.

– На ходу испытать нужно,– решили все.

Завели они трактор. Пустили по полу. Трактор на полной скорости по караульному помещению бегает. Солдаты за ним ползают на четвереньках. Подправляют его путь пальцем, чтобы в табуретки не стукался, краску не побил. И брюзжат, сокрушаются:

– Какой же это трактор, если у него одна скорость. А если пахать? Он же степной богатырь, а не коза огородная.

В это время пришёл с поста сам Коновалов Василий.

– Чего это вы? Вместо того чтобы чайку вскипятить, игрой занялись?

– Слышь, Коновалов, зачем тебе такой трактор? Чего тебе, деньги девать некуда? – спрашивают солдаты.– Купил бы торт сладкий.



— Подарок. День рождения скоро у моего брата Алёшки. Он мне в письме написал, чтобы трактор ему. Ничего, кроме техники, не признаёт. Такой технарь — дальше некуда.

Солдаты, сменившиеся с постов, попили горячего чаю, согрелись. Трактор на столе между кружек стоит.

— А как у него насчёт мощности? — спросил

Коновалов Василий.— Насчёт мощности не пробовали?

— Нет,— отвечают ему товарищи.— Не решились. Скорость у него бойкая, а насчёт мощности не испытывали.

Завели солдаты пружину. Привязали к трактору кружку и запустили. Буксует трактор на мокром от солдатских сапог полу, но тянет.

— Кружка алюминиевая. Что в ней весу! А он должен минимум шесть пятикорпусных плугов тянуть в сцепке, а то и все десять.

Прицепили солдаты к трактору молоток тяжёлый.

Трактор ни с места, дрожит — колёса впустую крутятся. Потом вдруг хрястнуло в нём что-то внутри, тоненько завыло и смолкло.

— Эх,— сказал солдат Андрей Васнецов.— Не сдюжил. Сломался.

А тут как раз открывается дверь — входит командир взвода лейтенант Никоверов.

Солдаты, как положено, встали по стойке «смирно». Отрапортовали: мол, отдыхают в данный момент после несения караульной службы.

— А это что? — спросил лейтенант Никоверов.

— Трактор.

Лейтенант Никоверов взял трактор в руки, окраской полюбовался. Попробовал завести...

— Это что же? Зачем вы его поломали?

— Не выдержал испытания — слабый... И все агрегаты слабые...

— Соберёмся по рублику — новый купим. Потому что подарок. Для младшего брата Василия Коновалова. На его день рождения.

— Этот брат младший, стервец, ничего, кроме техники, не признаёт!

Повертел лейтенант Никоверов трактор в руках. Бровями подвигал. Поставил легонько в задумчивости.

— Что же вы будете другой покупать? Он таким же слабым окажется... Тут у него и коробки скоростей нет. И подвески какие-то жёсткие. И вообще несерьёзно устроен...

У Алёшки-то, у Коновалова, день рождения!

Мама ему костюм подарила.

Папа — велосипед двухколёсный.

Сестра Нина — книгу.

А к вечеру ближе, когда уже пришли к Алёшке нарядные друзья и подруги, подкатила на велосипеде тётя Полина — почтальон.

— Алексей Коновалов! — кричит. — Тебе тут посылка. Иди распишись в получении.

Алёшка вывел крупными буквами на квитанции своё имя, фамилию и ещё восклицательный знак.

— Это мне брат Василий прислал!

Поставили ящики на пол, отвёрткой крышку подковырнули. И обомлели.

Стоит на полу «К-700». Оранжевый. Тяжёлый. Серьёзный. Детали друг к другу подог-

ланы хорошо. И всё какое-то не игрушечное. Это Алёшка сразу почувствовал.

– Не хватать! – сказал он. – Тут письмо есть. Сначала письмо прочитаем.

Стал Алёшка читать по складам. Но сестра Нина письмо у него отобрала от нетерпения.

Вот что было в нём написано:

«Алёше Коновалову на день рождения. От подразделения ракетчиков Н-ской части.

Трактор «К-700».

Под руководством лейтенанта товарища Никоверова делали:

ходовую часть – рядовые Андрей Васнецов и Максим Кожин,

трансмиссию – рядовой Булат Хаджибеков,

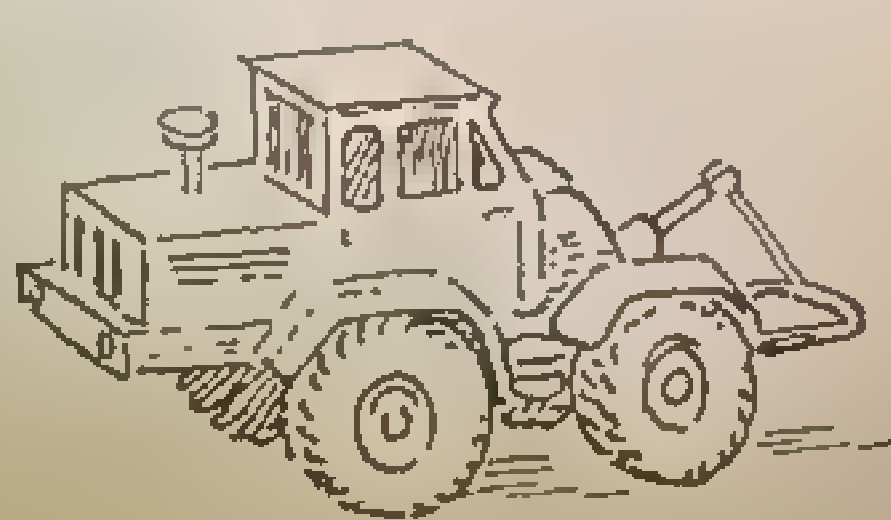
коробку скоростей – ефрейтор Ефимов,

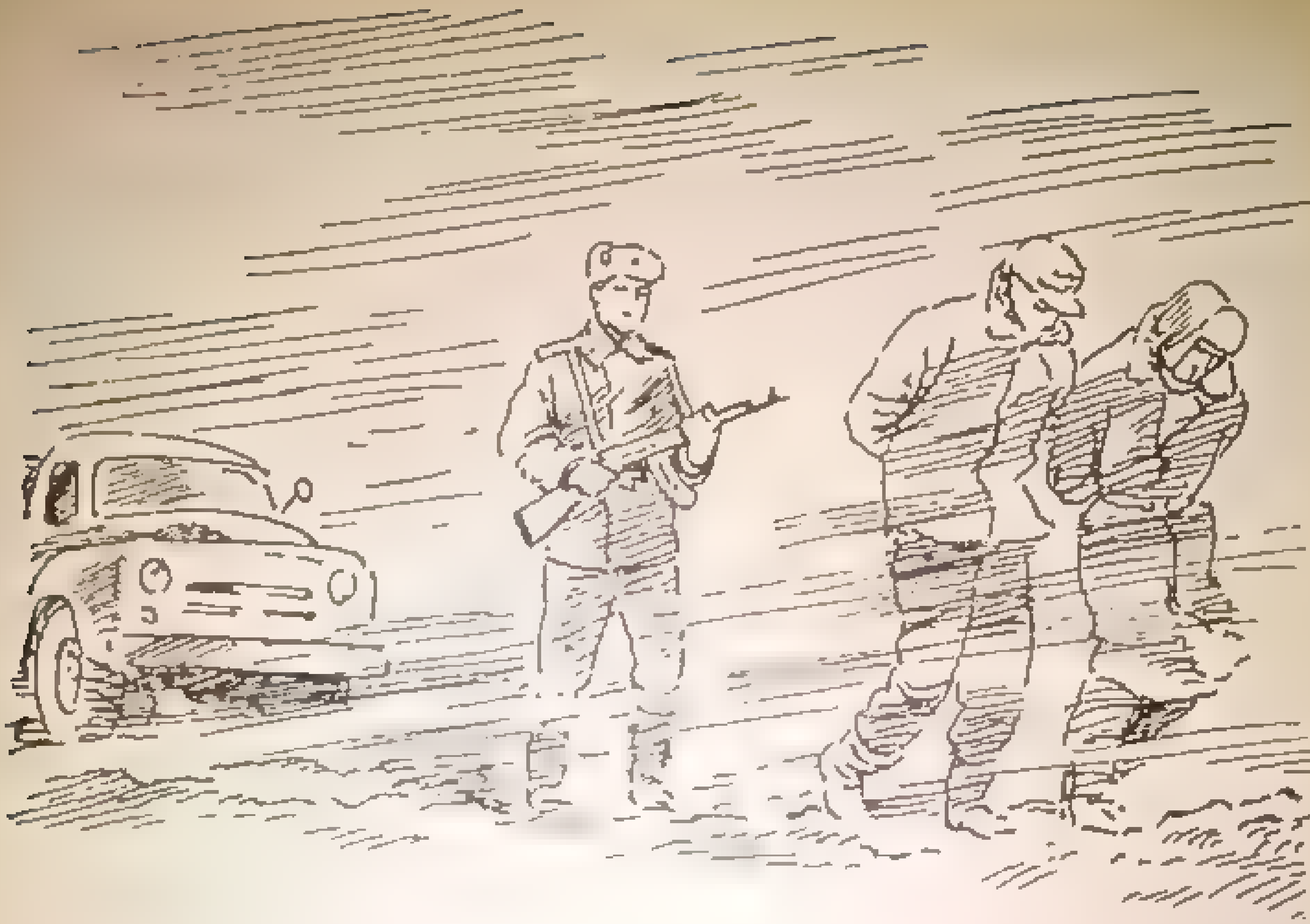
мотор с двойным пружинным заводом – сержант Иванов и сержант Бодя,

окраску и никелировку произвёл рядовой Коновалов.

Пользуйся, Алёшка, вникай. Пружины к мотору изготовлены из наивысшей военной стали.

Шлём тебе солдатский привет и наилучшие пожелания».





Юрий Качаев

В ВОЗДУХЕ – ПЕРЕХВАТЧИК

Экипаж приехал на аэродром, когда уже занимался мутный рассвет. По бетонированной площадке с сухим шорохом вперегонки бежали языки позёмки. Небо было низкое, и по нему летели серые снеговые облака.

«Да, баллов шесть, синоптики правы», — подумал капитан Стрельников, подходя к вертолёту.

В машине уже возился техник, проверяя узлы и антиобледенители. Мотор вертолёта гудел сдержанно и ровно.

— Опять что-нибудь стряслось? — крикнул техник, высовываясь из кабины.

Капитан кивнул, отворачивая лицо от обжигающего ветра. Пятнадцать минут назад на заставу пришло сообщение, что обнаружено нарушение границы. Пограничники увидели на контрольно-снеговой полосе следы двух человек, которые прошли в нашу сторону.

Следы были давние, и поисковая группа заставы не сможет догнать нарушителей. Те, по расчётам, уже вышли на автостраду и могли уехать в глубокий тыл.

Оставалось одно средство — вертолёт. Поэтому экипаж Стрельникова подняли прямо с постели...

— Готово, — сообщил техник, выбираясь из кабины.

Члены экипажа один за другим влезли в вертолёт. Двигатель взревел, и машина легко поднялась из наметённого ветром сугроба.

Изредка вертолёт встряхивало, и снаружи словно стучали кулаком. Это по обшивке наотмашь хлестали снежные заряды.

«Снос — тридцать градусов, — по приборам определил Стрельников. — При таком ветре неудивительно. Сделаем поправку».

Машина шла на минимальной высоте. Внизу бежала лента автострады. Она была чёрной, потому что снег на асфальте не задерживался.

В шлемофоне капитана прозвучал голос. Говорили с заставы. Дежурный сообщал, что



местные жители видели двух незнакомых людей, когда они усаживались в попутную машину-грузовик. Номер грузовика 16-38.

«Значит, решение искать нарушителей на шоссе было правильным», — подумал Стрельников, успокаиваясь.

Автомобилей на шоссе встречалось не так уж много, но нужного не было. Вертолёт нагонял их один за другим, снижался и снова взмывал вверх.

«Неужели проскочил, не заметил?»

Стрельников стал тревожиться. По всем расчётам, вертолёт должен был давно нагнать машину, на которой уехали нарушители.

И вот впереди показался ещё один грузовик. Он шёл довольно быстро, притормаживая только на поворотах и помигивая малыми лампочками стоп-сигнала.

Стрельников снова повёл машину на снижение. Вертолёт стремительно пронёсся мимо грузовика, и капитан отчётливо увидел бортовой номер: 16-38.

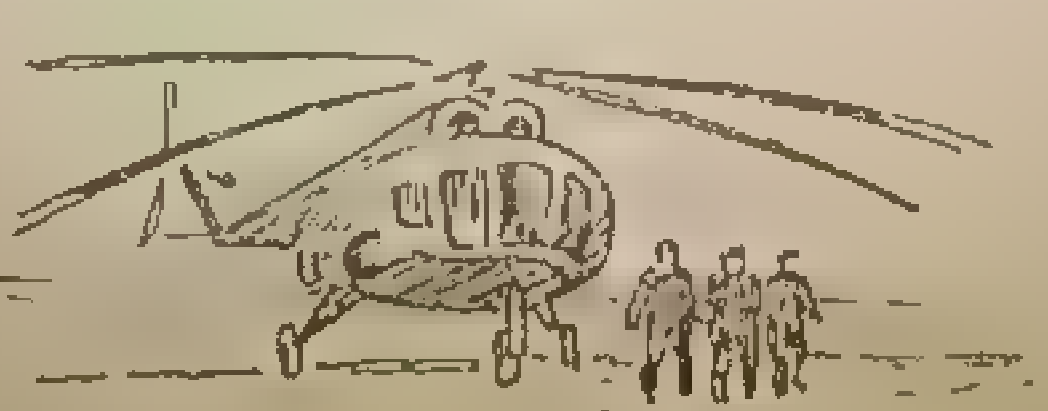
В кузове грузовика испуганно заметались две мужские фигуры.

– Поздновато спохватились,– вслух сказал Стрельников и, сбросив газ, повёл машину на посадку.

Вертолёт прямо на асфальте загородил грузовику дорогу.

Через минуту нарушителей уже выдворяли из кузова, вежливо поддерживая под локотки.

Так закончился этот «рядовой», как говорят на заставе, вылет. Нужно, однако, быть далеко не рядовым пилотом, чтобы справиться с заданием в пургу, при шестибалльном ветре. Но такова уж работа пограничных лётчиков – уметь летать в любую погоду.



Павлик говорит:

— Наверно, родился боевой ребенок. И наверно, он будет начальник милиции.

Тут все засмеялись и сели обедать.

На первое был суп с рисом. На второе — котлеты. На третье был кисель.

Кошка Бубенчик долго глядела со своего шкафа, как Павлик кушает. Потом не вытерпела и тоже решила немножко покушать.

Она прыгнула со шкафа на комод, с комода на стул, со стула на пол.

И тогда Павлик дал ей немножко супу и немножко киселя.

И кошка была очень этим довольна.

Бедный Федя

В одном детском доме находился мальчик по имени Федя. Он уже три дня пробыл в этом доме. Но ни с кем из ребят он не сдружился. И даже ни с кем не захотел побеседовать.

Это был очень грустный и скучный мальчик. За все три дня он ни разу не улыбнулся. И ни разу не выразил желания поиграть с ребятами. Он тихонько сидел на скамейке и о чем-то думал.

Да и дети к нему перестали подходить, потому что им было неинтересно играть с таким скучным мальчиком.

Воспитательница хотела, чтобы он получше освоился на новом месте, и поэтому пока не тревожила его. Однако на четвертый день она дала ему книжку и сказала:

— Прочитай вслух несколько строчек из этой книги. Я хочу узнать, хорошо ли ты читаешь. Чтобы знать, в какой класс тебя зачислить.

Федя покраснел и сказал:

— Я не умею читать.

И тогда все дети удивленно на него посмотрели. А некоторые даже рассмеялись. Потому что мальчику десятый год, а он читать не умеет. Это смешно и странно.

Воспитательница спросила Федю:

— Неужели же ты совершенно читать не умеешь? Может быть, даже не знаешь букв?

И, показав на букву «А», она спросила:

— Какая это буква?

Федя снова покраснел, потом побледнел и говорит:

— Я не знаю, какая это буква.

И тогда все дети громко рассмеялись. А учительница спросила:

— Как же так случилось, что ты до сих пор букв не знаешь?

Федя сказал:

— Когда мне было пять лет, фашисты угнали нас в Германию. Меня и мою маму. И там мы работали на заводе. И там фашисты не учили нас читать.

Тут все дети перестали смеяться. А воспитательница спросила Федю:

— А где же теперь твоя мама?

Печально вздохнув, Федя сказал:

— Она умерла в Германии. Она была очень больная. И она лежала с высокой температурой. Но фашисты заставили ее работать. И вот почему она умерла.

Воспитательница сказала Феде:

— Бедный мальчик. Ты не виноват, что не умеешь читать. Мы тебя научим. И мы тебя будем любить, как родного.

И, обратившись к ребятам, она им сказала:

— Ребята, примите Федю поиграть в свои игры.

Но Федя отказался играть. И он по-прежнему сидел на скамейке скучный и бледный.

И вот в один прекрасный день воспитательница взяла его за руку и повела к докторше. И сказала ей:

— Будьте добры, дайте этому мальчику какие-нибудь порошки для того, чтоб он был веселый и здоровый. И чтоб он играл с ребятами, а не сидел бы молча на своей скамейке.

Докторша сказала:

— Нет, таких порошков у нас не имеется. Но есть одно прекрасное средство для того, чтобы он был здоровый и веселый. Это средство — смех.

Воспитательница воскликнула:

— Понимаю! Нужно его чем-нибудь рассмешить. И тогда он будет таким, как все дети?

— Да, — ответила докторша. — Его нужно рассмешить или же сделать ему что-нибудь приятное. Такое, чтоб он засмеялся или хотя бы улыбнулся. И если это произойдет, вот тогда он и будет здоровый.

И вот все дети, узнав об этом, стали развлекать и смешить Федю. Они нарочно падали перед ним, чтоб он рассмеялся. Нарочно мяукали. Прыгали. И ходили на руках. Но Федя не смеялся.

Правда, он смотрел на это, но улыбка не появлялась на его лице.

И тогда дети стали придумывать особенные номера, чтоб рассмешить Федю. Например, один парнишка взял палку и этой палкой нарочно ударил себя по затылку. И он так звонко себя ударил, что все ребята рассмеялись. Потому что это было неожиданно и комично, что такой звон пошел.

Все ребята засмеялись. И только Федя не засмеялся. И

этот мальчик, который сам себя ударил, тоже не засмеялся. Он так больно себя хлопнул, что ему было не до смеха. Он прямо чуть не заплакал. И, потирая свой затылок, убежал

И после этого неудачного номера ребята вот что придумали.

Они смяли кусок газеты и сделали небольшой бумажный шарик вроде мяча. И привязали этот шарик кошке за лапку.

Кошка побежала и вдруг видит — бумажный шарик бежит за ней. Конечно, кошка бросилась к этому шарику, чтоб схватить его, но шарик, который был на нитке, ускользнул от нее. Кошка прямо с ума сходила, чтоб поймать этот шарик. Она подпрыгивала, бегала, скакала, но шарика так и не могла схватить.

Это было очень комично. И все дети так смеялись, что некоторые даже попадали на траву.

Но Федя и тут не засмеялся. И даже не улыбнулся. И тогда дети подумали, что он никогда не будет здоровый, раз он не умеет смеяться.

И воспитательница то же самое подумала.

Но вот однажды в детдом пришла одна молодая женщина. Некто Анна Васильевна Светлова. Это была мамаша одного мальчика — Гриши Светлова. Она пришла за своим сыном Гришей, чтоб взять его на воскресенье домой.

Она пришла такая веселая. И мальчик ее тоже очень развеселился, когда ее увидел. Он подбежал к ней и запрыгал вокруг нее. И с удовольствием стал собираться идти домой.

И они уже хотели уйти. Но тут Анна Васильевна увидела Федю, который сидел на скамейке и очень грустно на них смотрел. И он так задумчиво смотрел, что Анна Васильевна невольно подошла к нему и сказала:

— А разве ты, мальчик, не идешь сегодня домой?

Федя тихо сказал:

— Нет, у меня нету дома.

Гриша Светлов сказал своей матери:

— У него нету дома и нету мамы благодаря фашистам.

И тогда Анна Васильевна сказала Феде:

— Если хочешь, мальчик, пойдем с нами.

Гриша закричал:

— Конечно, пойдем с нами. У нас дома весело, интересно. Будем играть.

И тут все увидели, что Федя улыбнулся. Он чуть-чуть улыбнулся, но все это заметили, захлопали в ладоши и сказали:

— Браво. Он улыбнулся. Он теперь будет здоровый.

И тогда Гришина мама, Анна Васильевна, поцеловала Федю и сказала ему:

— С этих пор ты каждое воскресенье будешь ходить к нам. И если ты захочешь, я буду твоей мамой.

И тут все заметили, что Федя второй раз улыбнулся и тихо сказал:

— Да, хочу.

И тогда Анна Васильевна взяла его за руку, а другой рукой взяла за руку сына. И они втроем вышли из детдома.

И с тех пор Федя каждое воскресенье ходил к ним. Он очень подружился с Гришей. И очень переменился к лучшему. Он стал веселый и довольный. И часто шутил и смеялся.

И однажды докторша, увидев его таким, сказала:

— Он поправился, потому что он стал смеяться. Смех приносит людям здоровье.

Интересный рассказ

Когда началась война, Коля Соколов умел считать до десяти. Конечно, это мало считать до десяти, но бывают дети, которые и до десяти считать не умеют.

Например, я знал одну маленькую девочку Лялю, которая считала только до пяти. И то, как она считала? Она говорила: «Раз, два, четыре, пять». И «три» пропускала. Разве это счет! Это же прямо смехотворно.

Нет, навряд ли такая девочка будет в дальнейшем научным работником или профессором математики. Скорей всего, она будет домашней работницей или младшим дворником с метлой. Раз она настолько неспособна к цифрам.

А наш Коля, я говорю, умел считать до десяти. И благодаря этому он отсчитал десять шагов от дверей своего дома. И, отсчитав эти шаги, он стал рыть яму. Лопатой.

Вот он вырыл яму. И положил в эту яму деревянный ящик, в котором находились разные его вещи — коньки, топорик, маленькая ручная пила, складной карманный ножик, фарфоровый зайчик и другие мелкие предметы.

Положил он этот ящик в яму. Засыпал землей. Затоптал ногами. И вдобавок сверху набросил желтого песочку, чтоб незаметно было, что там яма и в яме что-то лежит.

Сейчас я объясню вам, зачем Коля зарыл в землю свои вещи, такие нужные для него.

Он с мамой и с бабушкой уезжал в город Казань. Потому что фашисты наступали тогда. И подошли очень близко к их деревне. И все жители поспешно стали уезжать.

И значит, Коля с мамой и с бабушкой тоже решили уехать.

А все вещи, конечно, с собой не захватишь. И по этой причине некоторые вещи мама положила в сундук и зарыла в землю, чтоб они не достались фашистам.

От дверей дома мама отсчитала тридцать шагов. И там зарыла сундук.

СОДЕРЖАНИЕ

Э. Сетон-Томпсон

РАССКАЗЫ О ЖИВОТНЫХ

Подп. к печ. 09.01.92. Формат изд. 84Х108$^1/_{32}$. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. п. л. 4,16. Усл. кр.-отт. 4,48. Уч.-изд. л. 4,80. Тираж 100 000 экз. Зак. 706 С 5.

Изд. № 1162/11Д

РАЛИ. Литературное приложение к журналу „Зарубежная радиоэлектроника". 101000, Москва, Почтамт, а/я 693.

Ордена „Знак Почета" Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3.

Отпечатано с диапозитивов в Калужской типографии стандартов, ул. Московская, 256.

I

Если бы не маленький камешек, мой рассказ никогда не был бы написан.

Этот камешек лежал на дороге в докотских Бэдлéндах и в одну жаркую темную ночь вонзился в копыто лошади, на которой ехал пьяный пастух Джек. Пастух по привычке соскочил на землю, чтобы посмотреть, почему захромала лошадь. Спьяну он выпустил поводья из рук, и лошадь умчалась в темноту. Пастух Джек понял, что лошади ему не догнать, улегся под кустом и захрапел.

Золотые лучи утреннего весеннего солнца озаряли вершины изумительных бэдлендских холмов. По дороге, идущей вдоль Верхнего ручья, пробиралась старая самка койота. В зубах она несла кролика на завтрак для своих детенышей.

С давних пор скотоводы этой местности вели ожесточенную войну с койотами. Капканы, ружья, яд и собаки почти совсем уничтожили койотов, а те немногие, что остались в живых, научились остерегаться на каждом шагу.

Поэтому старая самка койота скоро свернула с проезжей дороги: все места, где ступала нога человека, грозят койоту гибелью. Она прошла вдоль гребня невысокого холма, потом спустилась в ложбину, поросшую остролистником, озабоченно вынюхалась там в выветрившийся уже запах человеческих следов и поднялась на соседний холм. Здесь на солнечном склоне было ее логово. Она осторожно покружила, сделала несколько прыжков в разные стороны, потянула носом воздух. Запахов, грозящих опасностью, она не почуяла. Успокоенная, она приблизилась к входу в свое жилье и тихо фыркнула.

Из-за куста полыни, заслонявшего вход, выскочила целая куча маленьких койотов, прыгавших друг через друга. Отрывисто тявкая и повизгивая, точно щенята, они накинулись на завтрак, принесенный матерью. Они пожирали мясо, вырывая его друг у друга, а мать смотрела на них и радовалась.

Пастух Джек проснулся на восходе солнца и успел заметить самку койота в минуту, когда она перебиралась через холм. Как только она исчезла из виду, он вскочил на ноги,

шел до вершины холма и увидел оттуда всю веселую семью.

Пастух Джек смотрел и думал только о том, что за каждого убитого койота можно получить хорошую награду. Поэтому он тут же вытащил свой большой револьвер и прицелился в мать, которая облизывала насытившегося детеныша. Грянул выстрел, и она упала мертвая.

Детеныши в ужасе попрятались в логово, а Джек завалил вход камнями и, проклиная свою хитрую лошадь, пошел пешком к ближайшему ранчо, а маленькие пленники, дрожа, забились в дальние углы.

Весь день они просидели в темной норе, удивляясь, почему мать не приходит кормить их. Уже под вечер они услышали шум у входа, и в норе опять стало светло. Самые неосторожные побежали навстречу матери, но это была не она. Два каких-то чудовища разрывали вход в их жилье.

Примерно через час люди добрались до конца логова и тут, в самом дальнем углу, нашли лохматых, светлоглазых детенышей, сбившихся в один пушистый комок. Сильными ударами лопаты приканчивали они беспомощных и дрожавших от ужаса зверьков и одного за другим кидали в мешок.

Каждый звереныш вел себя перед смертью по-своему. Когда их хватали, одни визжали, а другие рычали. Двое попробовали даже кусаться

Тот, кто первым понял опасность, спрятался первым, и очередь до него дошла, только когда остальные уже были безжалостно убиты. Он лежал совсем тихо, с полузакрытыми глазами, притворяясь мертвым. Он не шевельнулся, даже когда его коснулась грубая рука. Но тут Джек подумал, что может выслужиться перед хозяином, и сказал:

— Знаешь, оставим этого для ребятишек

Итак, последний детеныш живым попал в мешок, где лежали его мертвые братья. Даже в мешке он не ворочался и не визжал.

После долгой тряски мешок открыли, зверька вытащили, и он очутился перед целой толпой двуногих чудовищ. На самом деле это были обитатели ранчо Чимни-Пот. Среди них были и дети, которым Джек тут же вручил живой подарок. Правда, хозяин заплатил ему доллар, полагавшийся за каждого убитого койота.

Мексиканец, который был в это время на ранчо, объяснил детям, что это «койотито» — маленький койот, степной волк.

Зверенька стали звать Койотито, а потом для краткости просто Тито.

II

Оказалось, что это самка. Она была хорошеньким маленьким зверьком с пушистой шерстью и очень большой головой. С виду она походила на щенка, но в товарищи детям не годилась — слишком была дикой и недоверчивой.

Тито ела все, что ей давали, но ни с кем не дружила и никогда не выходила на зов из своей конуры. Впрочем, это, возможно, объяснялось тем, что ласковыми с ней были только малыши, а мальчики постарше и взрослые грубо вытаскивали ее за цепь, если хотели ее видеть. Тогда она страдала молча, а иногда прикидывалась мертвой.

Среди детей [illegible] был [illegible] двенадцатилетний мальчик Линкольн. Впоследствии [illegible] стал похож на своего отца, доброго, мужественного [illegible] человека, но в то время он был беспощаден и жесток.

Подобно всем [illegible] Линкольн мечтал сделаться пастухом и [illegible] учился бросать лассо. Но ловить ему [illegible] Набрасывать лассо на столбы и [illegible] очень скучно, а [illegible] братьев и сестер ему запрещали. Собаки удирали [illegible] только видели его с арканом в руках. Оставалось [illegible] на Тито. Несчастная жертва скоро поняла, что спасение можно найти только в конуре, а если опоздаешь — прильни к земле. Таким образом Линкольн, сам того не подозревая, обучил Тито опасностям лассо и средствам избегать роковой петли, хотя за это учение она платила дорогой ценой.



Когда Тито настолько наловчилась, что поймать ее стало невозможно, жестокий мальчишка придумал новое развлечение. Он достал капкан для лисиц, врыл его в землю у самой конуры и сверху прикрыл разными объедками. Через некоторое время Тито, привлеченная запахом пищи, осторожно подкралась к приманке и

одной ногой попала в капкан. Мальчик наблюдал за нею из укромного местечка. Он накинул на Тито свое лассо и с помощью младшего брата, своего способного ученика, высвободил ее из капкана, прежде чем старшие открыли его проделку.



Два-три подобных опыта внушили Тито смертельный страх перед капканами. Она скоро научилась узнавать запах стали и избегала капканов, несмотря на то что Линкольн чрезвычайно искусно закапывал их в землю, а младший братишка держал свою курточку перед конурой, чтобы жертва не подглядывала за ним.

Однажды цепь оторвалась от стенки конуры, и Тито попыталась бежать. Нерешительными шагами вышла она из своей конуры, волоча за собой цепь. Но один из пастухов увидел Тито и выстрелил в нее мелкой дробью. Ожог и нежданная боль заставили ее сейчас же вернуться в единственное убежище — конуру.

Цепь снова крепко прибили к стенке. Теперь Тито знала, что следует бояться не только капканов, но и ружей, а спасение от них одно — затаиться.

Скоро она узнала, что есть и другие опасности.

Линкольн не раз слыхал от взрослых, что койотов часто уничтожают отравой. Ему пришло в голову проделать опыт над Тито.

Добыть стрихнин[1] было трудно — взрослые его слишком тщательно прятали. И вот Линкольн достал крысиной отравы и дал ее Тито в куске мяса. Стоя у конуры, он ждал, чем кончится его опыт, не менее спокойно, чем профессор химии, исследующий новое вещество.

Тито понюхала мясо. Всякую вещь необходимо прежде всего проверить носом. Носу пища показалась подозрительной — он различал в ней три запаха: приятный аромат мяса, неприятный, но знакомый запах человеческих рук и еще какой-то незнакомый. Так как это незнакомое не пахло капканом, Тито решила съесть мясо. Но через несколько минут, после того как она проглотила кусок, у нее сильно заболел живот, а потом с ней сделались судороги. Повинуясь ин-

[1] Стрихнин — сильный яд, которым пользовались для истребления хищных животных.

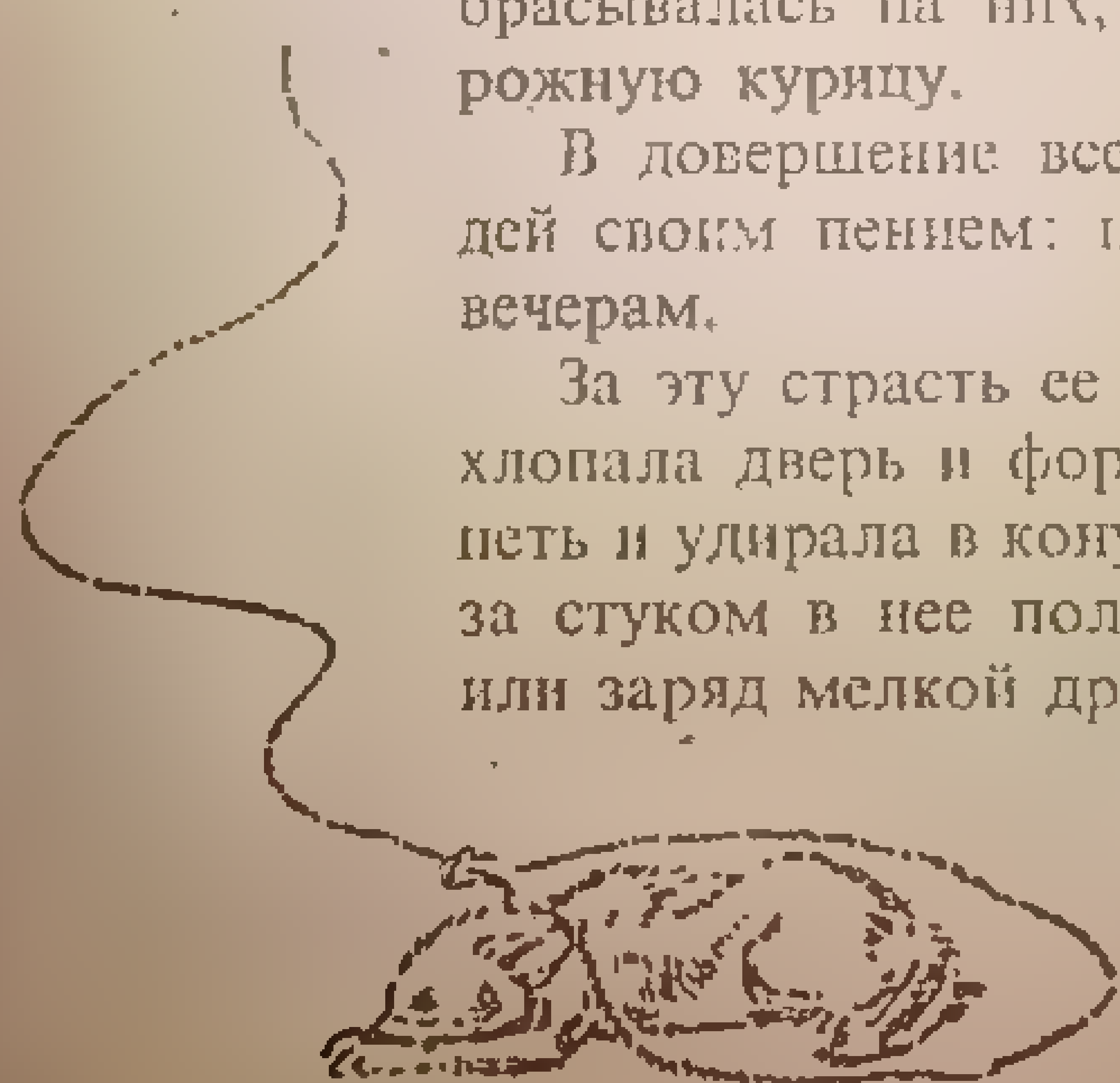
стинкту, общему для всех волков, она заставила себя отрыгнуть отравленное мясо.

После этого она с жадностью проглотила несколько стебельков какой-то травы. Не прошло и часа, как она совсем поправилась. Линкольн закатил ей такую дозу яда, которая могла бы убить десяток волков. Если бы он дал ей меньше, она, вероятно, почувствовала бы боль в желудке слишком поздно и не успела бы отрыгнуть отраву. С того времени Тито навсегда запомнила особенный запах крысиной отравы, от которой бывает так больно.

Кроме того, Тито научилась пользоваться травами — целебным средством, которое природа почти повсюду заготовила для нее. С тех пор, как только она чувствовала боль, она бросалась искать траву. И когда Линкольн ухитрился-таки еще раз подсунуть ей отравленную приманку — с небольшой дозой яда, — она уже знала, что ей делать, и спаслась.

Спустя некоторое время один родственник прислал в подарок Линкольну бультерьера. Собака доставила много радости Линкольну и много горя койоту. Мальчик постоянно натравливал на Тито свирепого бультерьера. Тито еще тверже запомнила, что в случае опасности лучше всего тихо и скромно лежать на земле. В конце концов вмешались взрослые, и бультерьера больше не допускали во двор, где жила Тито.

Но не думайте, что Тито всегда была тиха и скромна. Она научилась кусаться. Она охотилась на кур, бродивших по двору. Притворяясь спящей, она незаметно следила за ними и, когда они подходили к самой конуре, внезапно набрасывалась на них, хватала самую неосторожную курицу.



В довершение всего она раздражала людей своим пением: пела она по утрам и по вечерам.

За эту страсть ее много раз били. И едва хлопала дверь и форточка, Тито переставала петь и удирала в конуру. Она знала, что вслед за стуком в нее полетит палка, или камень, или заряд мелкой дроби. С каждым днем все больше рос ее ужас перед людьми и ружьями.

Почему она любила петь, никому не из-

Песня ее состояла из отрывистого лая и жалобных воплей. Все собаки немедленно отвечали на ее пение, а однажды даже дикий койот отозвался из-за далеких холмов. Обычно Тито пела в сумерках и на заре, но иногда и в полдень она заливалась воем, заслышав какой-нибудь внезапный шум.

В самой глубине своей конуры Тито запрятала маленькую кучку костей, а перед конурой зарыла в землю несколько кусков мяса. Это были запасы на случай голодовки. Она прекрасно помнила, где лежат ее сокровища.

Если она замечала, что люди узнавали, где зарыты ее запасы, она при первой возможности зарывала их в другое место.

Прошел год, с тех пор как Тито попала в неволю. За это время она совсем выросла и приобрела много опыта, за который ее дикие сородичи нередко расплачивались жизнью. Тито познакомилась с капканами и ружьями и научилась бояться их. Она навсегда запомнила, как пахнет ядовитая приманка и что надо делать, если нечаянно проглотишь отравленное мясо. Она поняла, что ее вечерние и утренние песни должны быть как можно короче. Она научилась ненавидеть и бояться собак. А тверже всего она запомнила правило: когда опасность близка, приникай к земле, ничего не делай и не шевелись, чтобы тебя не заметили.

Тито была уже взрослой, когда хозяин ранчо купил двух чистокровных борзых. Он думал с их помощью истребить последних койотов, которые иногда еще нападали среди холмов на овец и телят.

Тито ему надоела, и он решил использовать ее, чтобы обучить борзых охоте на койотов. Ее засунули в мешок, увезли за четверть мили от дома, затем вытряхнули на землю и сейчас же спустили на нее борзых. Они помчались с той быстротой, на которую не способно ни одно другое четвероногое. Тито тоже бежала со всех ног, напуганная криками и даже тем, что очутилась на свободе. Четверть мили, отделявшая ее от собак, скоро сократилась до ста ярдов, затем до пятидесяти. Спасения для Тито не было. Через минуту собаки должны были настичь ее и разорвать. Но вдруг Тито остановилась, повернула и пошла навстречу собакам, приветливо помахивая хвостом.





Борзые — совсем особенные собаки. Они готовы догнать и растерзать всякого, кто бежит от них. Но тот, кто не убегает, а спокойно глядит им в глаза, сразу перестает быть для них врагом.

Так случилось и теперь. Разогнавшиеся борзые промчались мимо Тито, но сейчас же вернулись, смущенные. Охотники тоже были смущены. Маленькая смелая самка койота оказалась хитрее всех.

Борзые отказывались нападать на зверя, который вилял хвостом и не желал бежать, но люди вскоре сообразили, что койот и шагом, того гляди, уйдет на безопасное расстояние. В воздухе взвились лассо, и Тито вновь оказалась в плену.

На другой день было решено повторить опыт, но на этот раз к борзым присоединили свирепого бультерьера. Как и накануне, Тито смутила борзых своей хитрой уловкой. Но подоспевший три минуты спустя запыхавшийся бультерьер не был так вежлив. Он ловко схватил Тито за шею, покрытую густой шерстью, и стал трясти изо всех сил. Через несколько мгновений Тито неподвижно лежала на земле. Люди схватили храброго бультерьера, а борзые в это время шныряли кругом, растерянные и недоумевающие.

Один англичанин, приехавший поглядеть, как травят койота, попросил позволения взять себе на память хвост зверя. Ему разрешили. Он поднял Тито за хвост и ударом ножа отрубил половину. Тито упала наземь с пронзительным визгом и кинулась бежать. Оказалось, что она все время только притворялась мертвой. Обезумев от боли, она помчалась во всю прыть через заросли кактуса и полыни.

Для борзых убегающее животное – враг, которого нужно во что бы то ни стало настичь. Тонконогие борзые и белогрудый бультерьер бросились в погоню. Но, к счастью, дорогу собакам перебежал кролик. Потеряв Тито из виду, борзые кинулись за кроликом, который скоро исчез в норе суслика. Тито тем временем ушла на безопасное расстояние.

Она чувствовала себя прекрасно, хотя обрубок хвоста все еще сильно болел. Она быстро бежала вперед, скрываясь в кустах и в ложбинах, пока не нашла надежное убежище среди холмов.

У каждого дикого животного есть три источника познания. Первый источник – это опыт предков, инстинкт, переданный ему по наследству. Этот опыт накопился у целого ряда поколений за долгие века борьбы с опасностями. Он особенно важен в начале жизни, так как хранит животное с часа рождения. Второй источник познания – опыт родителей и других взрослых животных той же породы. Он передается примером и играет наиболее важную роль в первый год жизни. Третий источник – собственный опыт, становящийся с возрастом все более важным.

Наследственный инстинкт не всегда помогает животному, так как он недостаточно изменчив и подвижен, а условия жизни постоянно меняются. Слабость второго заключается в том, что животные не способны излагать свои мысли с помощью языка. А третий источник знаний плох тем, что личный опыт всегда приобретается слишком опасным путем. Но все три вместе – достаточно надежная защита.

Тито училась жизни не так, как ее сверстники. Собственного опыта она приобрела гораздо больше, чем другие молодые койоты, но зато она никогда не видела примера старших, а наследственные инстинкты в ней еще не пробудились.

Тито бежала и бежала. Иногда присаживаясь, чтобы облизать окровавленный обрубок хвоста. Наконец наткнулась на поселок сусликов. Множество сусликов сидело у своих нор и глядело на непрошеную гостью, но все они мигом исчезли, едва только Тито приблизилась к ним. Напрасно металась она из стороны в сторону, повинуясь охотничьему инстинкту.

Тито так и осталась бы голодной, если бы ей не удалось поймать в траве на речном берегу двух полевых мышей. Но через несколько дней Тито уже знала, как добывать еду. Мышей, кроликов, сусликов, ящериц кругом было много.

С каждым днем Тито охотилась все хитрее и удачнее. Раза два видела она за это время людей с собаками. Всякий дикий койот начал бы на ее месте вызывающе лаять или взобрался бы на холм, чтобы оттуда следить за врагами. Но Тито понимала, что это глупо и опасно. Она только ложилась на землю и замирала. Если бы она бросилась бежать, она неминуемо привлекла бы внимание собак. Так

опыт, который она приобрела на ранчо, спасал ее от смертельной опасности.

Койоты славятся быстротой бега. Койот не верит, что на свете есть животное, которое может догнать его,— он обыкновенно только играет со своими преследователями. Но когда его преследуют борзые, эта игра кончается плохо для койота. Он слишком поздно соображает, что ему нужно бежать от этого врага всерьез.

Тито выросла на цепи и совсем не умела бегать. Поэтому у нее не было основания доверять своим ногам. Она жила, полагаясь только на свой ум, и это было для нее спасением.

В течение всего лета Тито оставалась у реки Литл-Миссу́ри. Она продолжала учиться охотничьим хитростям и уловкам. Если бы она выросла на воле, она изучила бы эти приемы еще до того, как у нее выпали молочные зубы.

Она старалась держаться как можно дальше от жилья и пряталась, как только чуяла запах человека или незнакомого животного.

Тито провела лето в полном одиночестве. Днем она не чувствовала себя одинокой, но, когда солнце заходило, ее охватывало непреодолимое желание петь.

Песню свою выдумала не она сама. С незапамятных времен все койоты выражали свои чувства в этих диких звуках, в которых чувствуешь и самого койота и прерии, его породившие. Когда один койот начинает петь, это действует на остальных, как звук трубы или барабана на солдат или воинственный клич на индейцев. Всякий койот, где бы он ни вырос, отвечает на ночную песню. Они поют ее после заката солнца и при восходе месяца. Но самую громкую и жуткую песню они поют на рассвете:

«У-я-яяя-оо-оо-о-у...»

Опять и опять повторяется этот дикий напев. Человеку он кажется однообразным только потому, что он не может различить отдельные звуки, точно так же как койот не различает слов в песне пастуха.

Тито по врожденной привычке пела эти песни в положенное время. Но печальный опыт научил ее петь коротко и глухо. Несколько раз она слышала далекий ответ своих сородичей, но сейчас же смущенно замолкала и быстро переселялась в другое место.

Однажды, бродя вдоль берегов Верхнего ручья, она наткнулась на след: очевидно, здесь волокли мясо. Запах был необыкновенно привлекателен, и она пошла по следу. Ско-

re Тито нашла кусок мяса. Она была голодна – теперь ее почти всегда мучил голод. Искушение было велико, и, несмотря на то что запах был совсем особенный, она проглотила мясо. Через несколько минут она почувствовала ужасную боль. Воспоминание об отравленном куске, который ей подсунул мальчик на ранчо, было еще свежо. Дрожащими, покрытыми пеной челюстями она схватила несколько стебельков травы и, изрыгнув отравленное мясо, упала в судорогах на землю.

Этот кусок мяса подбросил Джек. Все это проделал он накануне, а утром, проезжая по мосту через реку, издалека увидел бьющуюся в судорогах Тито. Он сейчас же догадался, что яд подействовал, и быстро подъехал к своей жертве. При стуке лошадиных копыт страшным усилием воли Тито вскочила на ноги. Джек схватил револьвер и выстрелил, но только напугал ее. Тито попробовала бежать, но ее задние ноги отнялись. Она собрала все свои силы и кинулась вперед, волоча обе задние ноги.

Если бы она осталась неподвижной, она умерла бы через несколько минут. Но выстрелы и приближение человека внушили ей отчаянную решимость. Она продолжала бороться с собственным бессилием. Омертвевшие нервы ее ног напряглись от этих усилий и должны были уступить воле. Каждый выстрел из револьвера придавал Тито все больше и больше энергии. Новое дикое усилие – и одна нога стала слушаться. Еще несколько мгновений – ожила и другая. И Тито легко понеслась между обрывистыми холмами, не обращая внимания на ужасную боль, все еще сводившую ее внутренности.

Если бы Джек на этом прекратил преследование, она бы, наверно, все-таки легла на землю и тогда бы неминуемо умерла. Но он скакал вслед за ней и посылал ей вдогонку выстрел за выстрелом, пока наконец на второй миле Тито не перестала чувствовать боль. Враг принудил ее прибегнуть к единственному действенному средству – к сверхъестественному напряжению сил, которое заставило ожить отнявшиеся ноги. Так Джек спас Тито.

Новые сведения, которые Тито почерпнула из приключений этого дня, сводились к следующему: странный запах этого мяса влечет за собой смертельные муки. Она никогда не забывала этого и с тех пор всегда узнавала стрихнин.

К счастью, когда охотятся с капканами или отравой, не пускают в дело собак, ибо собаки сами могут попасть в капканы или отравиться стрихнином. Если бы в преследовании

Тито участвовала хоть одна собака, наша история была бы окончена.

IV

С приближением осенних холодов Тито сделала большие успехи. Теперь она всеми своими привычками походила на обыкновенного дикого койота и смелее пела свою вечернюю песню.

Однажды лунной ночью, услышав ответ, она против обыкновения отозвалась на голос своего сородича и скоро увидела крупного темного койота. Он осторожно двигался к Тито. Грива Тито поднялась дыбом. Она приникла к земле и стала выжидать. Незнакомец решительно приближался. Втягивая носом воздух, он направлялся прямо по ветру к ней. Затем он обошел вокруг нее так, чтобы и она могла почуять его запах, и приветливо замахал хвостом. Такое поведение было явным выражением дружбы. Тито поднялась, помахала обрубком своего хвоста, знакомство состоялось.

Пришелец оказался очень крупным койотом, почти вдвое больше Тито, а темная полоса на его спине была так широка и черна, что пастухи прозвали его Оседланным. С этого времени новые друзья стали держаться вместе. Это не значит, что они всегда были друг около друга. Нет, иногда в течение целого дня их разделяло несколько миль. Но с приближением ночи один из них всегда взбирался на какой-нибудь холм и запевал громко:

«Яп-яп-яп, йу-оу-ууу-ууу-ууу...»

После этого они встречались, чтобы предпринять какой-нибудь грабительский набег.

Оседланный был сильнее Тито, но она была образованнее и умнее и скоро сделалась вожаком; не прошло и месяца, как сначала один койот, а потом еще два присоединились к ним и стали членами этого свободного союза.

Маленькая, куцая самка койота обладала редкими знаниями, которых недоставало другим койотам. Тито знала, как бороться с хитростями людей. Скоро койотам стало ясно, что ее способ охотиться был наиболее успешным, потому что, когда они шли без нее, им большей частью не везло.

У одного соседнего скотовода было двадцать овец. Стадо стерегла громадная свирепая собака. Однажды зимой два койота попробовали напасть на это стадо в открытую, но дело кончилось тем, что овчарка потрепала их.

Несколько дней спустя туда в сумерках явилась вся стая. Никому не известно в точности, как Тито устроила то, что случилось. Ясно только, что она была зачинщиком и руководителем. Койоты спрятались в ивняке, а Оседланный, храбрый и быстрый, пошел прямо на овец и громко залаял, вызывая врага на поединок. Овчарка прыгнула вперед со свирепым рычанием и, увидя врага, кинулась на него.

Оседланный то подпускал к себе собаку так близко, что она почти могла схватить его, то снова отскакивал и таким образом завлекал ее далеко в лес. А в это время остальные койоты с Тито во главе разогнали стадо по двадцати направлениям и, преследуя овец поодиночке, растерзали несколько штук, бросили их на снегу.

В темноте собака и ее хозяин с трудом собрали уцелевших овец. На следующее утро они убедились, что четыре овцы из стада были загнаны далеко и убиты, а койоты устроили себе ночью роскошный пир.

Пастух посыпал мертвые тела ядом и оставил их лежать. На следующую ночь койоты вернулись. Тито понюхала замерзшие тела, различила запах яда, издала предостерегающее рычание и загрязнила трупы, чтобы никто из ее товарищей не прикоснулся к ним. Впрочем, один, наиболее жадный, не послушался Тито и набросился на мясо. Скоро вся стая удалилась, а он остался на снегу мертвый.

V

Джек слышал со всех сторон, что койоты совсем обнаглели. Он решил серьезно приняться за работу и постараться при помощи капканов и ядов уничтожить хотя бы тех из них, которые жили у Верхнего ручья. Каждую свободную минуту он отправлялся с собаками на розыски по берегу Литл-Миссури. Он провел в таких странствованиях целую зиму, и не без успеха: убил двух волков и нескольких койотов, принадлежавших к стае Куцей, так теперь называли Тито.

Зима эта ознаменовалась целым рядом набегов, даже подвигов со стороны койотов. Следы на снегу и показания очевидцев не оставляли сомнения, что вожаком стаи был маленький куцый койот.

Одно из этих нашествий возбудило много толков.

Однажды под вечер песня койота раздалась совсем близко от ранчо Чимни-Пот. Собаки ответили обычным лаем, но бросился на койотов один только бультерьер, потому

что только он не был на цепи. Но он не нашел никого и, рыча, вернулся домой.

Через двадцать минут уже совсем близко снова раздался вой койота. Терьер опять бросился в темноту. Спустя минуту его возбужденный лай показал, что на этот раз он напал на след. Бешено лая, он летел вперед, пока голос его не потерялся вдали, чтобы умолкнуть навсегда.

Наутро люди прочитали на снегу историю ночи.

Первый раз койоты запели свою песню для того, чтобы узнать, все ли собаки спущены с цепи. И, узнав, что на воле была только одна, принялись за работу. Пять койотов притаились вдоль следа, который они оставили, идя на ферму, а один выступил вперед и завыл. Пылкий терьер выскочил на его голос, и койот увлек его в засаду. Что мог сделать он один против шести?

Койоты разорвали терьера на части и съели.

Это случилось как раз на том месте, где он когда-то напал на Тито. И когда на следующее утро люди разглядели следы, они убедились, что все было сделано по определенному плану и что зачинщиком и на этот раз был маленький короткохвостый койот.

Все были очень раздосадованы, Линкольн взбешен, а Джек сказал:

— Уж наверняка Куцая вернулась нарочно, чтобы посчитаться с терьером.

VI

К весне дружба Тито и Оседланного еще более окрепла. Койоты, конечно, не дают друг другу имен, как люди, и Тито и Оседланный никак не называли друг друга, но у них был особый звук вроде короткого лая, которым они всегда подзывали друг друга.

Свободный союз койотов теперь распался сам собой, так как весной вся стая разбилась на пары, и, кроме того, теперь появилось столько дичи, что незачем было охотиться стаей.

Обыкновенно койоты не спят в логовищах. Они всю ночь напролет бродят с места на место, а днем спят несколько часов на солнечном склоне какого-нибудь холма, откуда легко заметить приближение врага. Но с наступлением весны их образ жизни меняется.

Когда дни сделались теплее, Тито и Оседланный стали приготовлять логовище для своей будущей семьи. На скло-



не маленькой, залитой солнцем лощины они нашли заброшенную барсучью нору, вычистили, расширили и углубили ее. Набросав в нее кучу травы и листьев, они устроили из нее уютное жилище. Оно помещалось в сухом, солнечном уголке между холмами в полумиле к западу от Литл-Миссури.

Тито почти все время проводила близ своего нового дома. Оседланный обыкновенно приносил ей пищу, но иногда и сама она отправлялась на охоту в поселок сусликов. Это было то самое место, на которое Тито набрела в тот день, когда добыла себе свободу и потеряла хвост. Если бы она была способна предаваться воспоминаниям, то, конечно, посмеялась бы теперь над собой – так глупа была она тогда. Насколько хитрее и опаснее стала она за это время!

Один из сусликов вырыл себе норку в стороне от других. Норка у него была образцовая.

Как-то раз Тито увидела, что этот суслик щиплет траву шагах в десяти от своей норы. Поймать суслика, когда он один, конечно, гораздо легче, чем тогда, когда он находится в своем поселке, потому что у него ведь только одна пара глаз, чтобы наблюдать за всем окружающим, а в поселке глаз много. Тито решила воспользоваться случаем. Но как приступить к делу, не имея никакого укрытия, кроме чахлой травы?

Белый медведь знает, как приблизиться к тюленю на плоской льдине, а индеец умеет совсем вплотную подойти к пасущемуся оленю. Тито тоже понимала, как действовать, и начала приводить свой план в исполнение.

Суслик видит хорошо, только сидя на задних лапках; его глаза мало помогают ему, когда он уткнется в траву. Тито это знала. Желтовато-серое животное на желтовато-сером фоне песка и травы делается заметным только тогда, когда начинает двигаться. Тито знала и это.

Итак, не пытаясь даже особенно прятаться, она тихонько пошла по направлению к суслику, держась против ветра,

для того чтобы все время слышать запах суслика. Как только ее жертва двинулась вперед, держа что-то в передних лапках, Тито застыла на месте. Но едва только суслик снова уткнулся головой в траву, она решительно пошла вперед, наблюдая за каждым движением зверька, чтобы опять застыть на месте, когда суслик поднимет голову.

Раза два суслик тревожно оглядывался, но, не видя ничего, продолжал пощипывать траву. Расстояние между Тито и ее жертвой скоро сократилось до десяти, затем до пяти шагов, а суслик все еще ничего не замечал. Наконец Тито сделала быстрый прыжок и схватила неосторожного суслика своими острыми зубами.

VII

Далеко не все приключения Тито оканчивались так удачно. Однажды она чуть было не поймала маленькую антилопу, но на выручку детенышу явилась мать и копытом чуть не проломила хищнице голову. Тито никогда уже больше не повторяла этой ошибки — у нее пропала охота ловить антилоп.

Раза два ей пришлось стремительно прыгать в сторону, спасаясь от укуса гремучей змеи. Несколько раз охотники стреляли в нее из дальнобойных ружей. Но больше всего приходилось ей остерегаться волков. Волк много крупнее и сильнее койота, но зато койот быстрее бегает и всегда может спастись от волка в открытой местности. Гораздо опаснее встретиться с волком в каком-нибудь закоулке.

У Тито была странная привычка, иногда наблюдающаяся у волков и у койотов, — таскать во рту неизвестно зачем на протяжении многих миль всевозможные несъедобные вещи. Много раз бежала она трусцой милю или две, держа в зубах старый рог бизона или сапог для того лишь, чтобы бросить их, когда что-нибудь другое привлекало ее внимание.

Эта странная привычка послужила причиной гибели нескольких борзых из ранчо Чимни-Пот. Джек разложил цепь отравленных кусков мяса на западных холмах. Тито знала, что мясо отравлено, и не трогала его. Но однажды она подобрала два куска и направилась через Литл-Миссури к Чимни-Пот. Дом она обошла на почтительном расстоянии и, когда услышала собачий лай, бросила куски. На следующий день собак выпустили погулять. Они наткнулись на отравленное мясо и съели его. Через десять минут на земле

лежало несколько мертвых борзых – на сумму в четыреста долларов. После этого был издан закон, запрещающий истреблять койотов отравой. И закон этот был очень полезен койотам.

Тито скоро поняла, что охота – даже на животных одной породы – требует каждый раз особых приемов. Суслик, живший далеко от своих сородичей, достался ей очень легко, но другие суслики жили совсем близко друг от друга. Посреди поселка жил аппетитный, толстый суслик, настоящий староста, и Тито несколько раз пыталась поймать его. Однажды она уже подкралась к нему на расстояние прыжка, но вдруг шипение гремучей змеи совсем рядом заставило ее отступить. Змею не то чтобы интересовала судьба суслика, но она просто не любила, чтобы ее тревожили. И Тито, боявшаяся змей, принуждена была бросить охоту. Открыто напасть на «старосту» было невозможно, так как расположение его дома превращало всех обитателей поселка в его сторожей. И Тито оставалось только ждать, пока обстоятельства не подскажут ей какой-нибудь план.

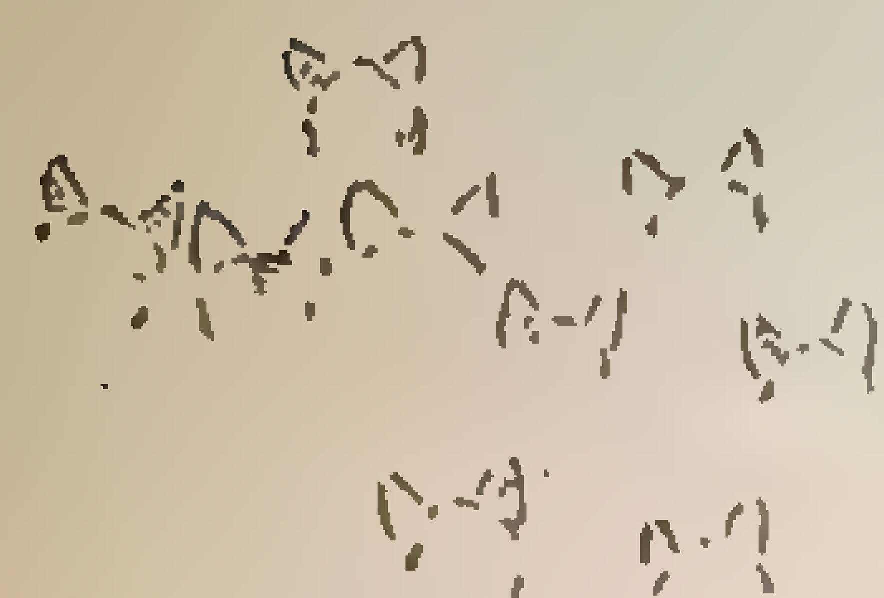
У койотов есть обыкновение наблюдать с возвышенного места за всеми, кто проезжает по дорогам, а потом спускаться и обнюхивать следы. То же проделывала и Тито.

Однажды от города по направлению к югу проехал фургон. Тито приникла к земле и стала наблюдать за ним. Вот что-то упало на дорогу. Когда фургон скрылся из виду, Тито прыгнула на дорогу, чтобы по привычке понюхать след и посмотреть, что упало. Собственно говоря, упало яблоко, но Тито увидела только непривлекательный круглый зеленый предмет вроде листа кактуса, правда, без игл и с другим запахом. Она понюхала его, покатила и хотела уже пройти мимо. Но солнце так весело играло на яблоке и оно так занятно катилось, когда она толкала его, что Тито подняла его и побрела обратно через холм, туда, где жили суслики. Как раз в это время два степных ястреба показались над поселком сусликов, и зверьки, завидя птиц, принялись лаять, подергивая хвостами, а потом попрятались в свои норки.



Когда все суслики скрылись, Тито направилась к жилищу «старосты», на которого она давно точила





зуб. Оставив яблоко в каких-нибудь двух футах от края ямы, служившей «старосте» норой, она уткнулась носом в отверстие, чтобы насладиться аппетитным запахом жирного суслика. Его нора пахла вкуснее, чем все другие. Нанюхавшись вдоволь, Тито спокойно улеглась за ближайшим кустом шагах в двадцати от норы. Спустя несколько секунд какой-то отважный суслик выглянул из своей норки и, ничего не замечая, успокоительно залаял. Один за другим все суслики появились на поверхности, и через двадцать минут жизнь в поселке кипела по-прежнему. Одним из последних вылез «староста», всегда чрезвычайно заботившийся о своей особе. Он осторожно осмотрелся и затем забрался на верхушку своей насыпи.

Нора суслика устроена наподобие воронки, идущей прямо в землю. Отверстие окружено высокой насыпью. Края насыпи с наружной стороны довольно пологи.

Когда «староста» увидел странную круглую штуку, лежащую около его порога, он испугался. Подробный осмотр убедил его, что штука эта не опасна и, по-видимому, довольно интересна. Он осторожно приблизился к яблоку, понюхал и попробовал укусить его. Но яблоко покатилось по гладкой и наклонной почве. Суслик последовал за ним, отщипнул кусочек и убедился, что перед ним редкое лакомство. Однако каждый раз, когда он кусал яблоко, оно откатывалось все дальше и дальше. Никакая опасность, казалось, не грозила «старосте»: все его товарищи были на поверхности земли, и он беспечно гнался за катящимся яблоком.

Яблоко, конечно, катилось к кусту в ложбинке. А за кустом притаилась Тито. Она съежилась, напрягла мускулистые ноги и ждала, пока расстояние между нею и сусликом не сократится до трех хороших прыжков. Тогда она, как стрела, пущенная с упругой тетивы, бросилась вперед, и жертва была наконец в ее власти.

Мы никогда не узнаем, случайно ли яблоко было оставлено перед норой суслика, или это было сделано с целью. Как бы то ни было, яблоко на этот раз очень пригодилось Тито. Если бы такой случай приключился еще раза два

с Тито или каким-нибудь другим умным койотом – а обыкновенно такие случаи выпадают на долю умных, – у койотов легко мог бы появиться новый, всеми признанный способ охотиться.

VIII

Пришла весна. Казалось, природа сказала себе: «Надо создать место, в котором соединялось бы все, что есть на земле чудесного, – рай для людей, животных и птиц», – и создала эти прекрасные дикие холмы, кипящие жизнью, где открытые прерии переплетаются с тенистыми рощами, а на солнце сверкают озера и ручьи. Здесь, в этой стране холмов, в этой стране вечно яркого неба и вечно яркой земли, природа щедро рассыпала дары, которые она в других местах распределяет скупо, как золото.

Маленькие ложбины на западе от холма Чимни покрылись свежей травой. Весна разукрасила землю пестрыми цветами. И даже кактус, самое убогое из растений, удивил мир прекрасным цветком, столь же мало похожим на него, как жемчужина на свою мать – раковину. В ложбинах и на холмах – везде благоухала весна. Наступал конец зимней голодовке, начиналось летнее раздолье. В это-то время природа повелевает маленьким койотам увидеть наконец свет.

Матери не нужно учиться любить своих беспомощных детей. В своей темноватой теплой берлоге Тито нянчила, лизала и ласкала своих детенышей.

Но любовь к детям так же велика, как и беспокойство за их жизнь. В прежнее время Тито должна была заботиться только о себе. Все, чему она научилась во время своего странного детства, все, что она узнала впоследствии, служило ей только для самосохранения. Теперь она забыла себя ради своих детей.

Главной ее заботой было сохранить свое убежище в тайне. Тито уходила и приходила с величайшей осторожностью и только после того, как внимательно исследовала местность.

Люди знали Тито только как существо с ужасной пастью, с ногами, не умеющими уставать, существо, одаренное необыкновенным коварством и всюду оставляющее за собой следы разрушения. А детеныши знали ее как любящую, нежную кормилицу и защитницу. Она кормила и отогревала их, сторожила их внимательно и умно. Она всегда была готова на отчаянную борьбу и всевозможные уловки,

для того чтобы защитить их в минуту опасности.

Новорожденный койот неуклюж, глуп и для каждого, кроме своей матери, довольно непривлекателен. Но когда глаза его раскроются, ноги окрепнут, когда он научится играть на солнышке со своими братьями и бежать сломя голову на нежный зов матери, принесшей пищу, маленький койот превращается в самое ловкое, самое прелестное существо на свете. И когда девять детенышей Тито подросли, не надо было и материнской нежности, чтобы с нежностью наблюдать за ними.

Наступило лето. Детеныши ели уже мясо, и Тито с помощью Оседланного была постоянно занята добыванием пищи для себя и детей. Иногда она приносила домой суслика, иногда возвращалась с пастью, полной мышей, а иногда ей даже удавалось поймать большого кролика.

Наевшись, все семейство располагалось на солнышке. Тито всходила на какой-нибудь холм и обозревала землю и воздух своими острыми глазами, заботясь о том, чтобы ни один враг не нашел их счастливого дома. А веселые детеныши играли, или охотились за бабочками, или затевали отчаянные схватки друг с другом, или, наконец, теребили кости и перья, валявшиеся у порога их норы. Только один, самый слабенький, как это случается в каждой семье, оставался около матери и карабкался ей на спину или тормошил ее за хвост. Какое это было трогательное зрелище! Тито была горда и счастлива.

IX

Пастух Джек перепробовал много планов разбогатеть, но они лопались один за другим, как только Джек убеждался, что для их осуществления необходимо работать.

Однажды ему пришло в голову, что можно разбогатеть, разводя домашних птиц. Недолго думая, он купил дюжину индюшек и поселил их в углу своей убогой хижины. Два дня индюшки были предметом его нежнейших забот, но уже на третий он предоставил их самим себе. И всякий раз, когда Джек возвращался из странствий в свою неприветливую хижину, он убеждался, что число индюшек уменьшается. Наконец в живых остался всего один старый индюк.

Джека не особенно огорчала потеря, но он негодовал на вора.

Его главным занятием теперь сделалось истребление волков-койотов. Скотоводы снабдили его ядами, капканами

и лошадьми; надежный человек получил бы еще и денег в придачу, потому что скотоводы – народ щедрый, но Джек не был надежным человеком.

Вести против койотов серьезную войну было всего удобнее летом, когда все логовища полны детенышей. Чтобы отыскать такое логово, существует несколько способов. Один из них – влезть на холм и высмотреть койота, несущего пищу своим детям. Ленивому Джеку больше всего нравился именно этот способ, потому что он требовал продолжительного спокойного лежания на земле. Положив рядом с собой трубу и отпустив лошадь, Джек проводил неделю за неделей на каком-нибудь холме. Он громко храпел и лишь изредка оглядывал окрестность сонными глазами.

Койоты выучились избегать открытых пространств и обычно пробирались домой по лощинам и овражкам. Но это, конечно, удавалось не всегда, и однажды взгляд Джека случайно упал на темное пятно, движущееся по открытому склону холма. Джек узнал койота. Видно было, что он несет что-то в своей пасти, а это означало, что поблизости находится логовище с его детенышами. Джек заметил место и на следующий день вернулся, чтобы снова наблюдать. Прошел целый день, а он ничего не увидел. Но на третий день Джек заметил темного койота – это был Оседланный, который нес в зубах большую птицу.

При помощи бинокля Джек разглядел, что койот несет индюка. Он теперь понял, куда девались его индюшки, и поклялся жестоко отомстить врагу, когда найдет его жилье. Он следил за Оседланным, сколько было возможно, и затем отправился на то место, где потерял его из виду. Но тут он не нашел никаких следов и не добрался до лощины, в которой играли дети Тито. Между тем Оседланный спустился в эту ложбинку и издал тихое рычание, которое всегда вызывало наружу девять голодных детенышей. Они накинулись на индюка и теребили его, пока не разорвали на куски, а получив каждый свою долю, разбрелись в разные стороны и молчаливо принялись за еду. Лишь изредка издавали они тихое рычание при приближении кого-нибудь из братьев и сверкали белками глаз, стараясь уследить за всеми движениями соседей. Дело не обошлось без драки, но заботливая мать тотчас же прекратила грызню, разделив индюка на равные части. Тогда буяны разбрелись кто куда, облизывая губы и покачивая головами, а самый маленький нырнул в нору, с торжеством неся свою добычу – громадную голову индюка.

X

Джек чувствовал, что койот, укравший его индюка, совсем разорил его, погубил. И он поклялся, что заживо сдерет шкуру с детенышей, когда найдет их, и с удовольствием мечтал об этом. Попытка выследить Оседланного оказалась неудачной, и все поиски его логовища были напрасны, но он был уже готов ко всевозможным неудачам: на случай, если найдет логовище, он захватил лопату и заступ, а если не найдет – белую живую курицу.

Он отправился на полянку недалеко от того места, где видел Оседланного, и там привязал курицу к полену. Курица отбежала, насколько позволяла ей веревка, а затем улеглась на землю, растерянно хлопая крыльями.

Под вечер Тито пошла на охоту. Нора ее была близко, и она строго следовала правилу никогда не показываться на открытом месте. В прежние времена койоты обыкновенно бегали по самому гребню холма, чтобы глядеть по обе его стороны, но Тито знала, что так ее наверняка увидят, и поэтому всегда пробиралась по склону недалеко от вершины, лишь изредка высовывая морду, чтобы заглянуть через гребень.

В этот вечер она с обычной осторожностью отправилась добывать ужин своим детям, и ее зоркие глаза скоро разглядели белую курицу, метавшуюся из стороны в сторону.

Тито была сбита с толку. Это было что-то новое. Курица походила на легкую добычу, но Тито опасалась. Она покружила вокруг птицы, но в конце концов решила лучше оставить ее в покое. Она двинулась дальше и вдруг почувствовала легкий запах дыма. Осторожно повернув в ту сторону, она наткнулась на стоянку Джека. Тут была его постель, паслась лошадь со спутанными ногами, а на догоревшем костре стоял котелок, и его запах был обычным запахом человеческих стоянок – в котелке варился кофе.

Тито сделалось не по себе, когда она увидела, что так близко от ее дома находится человек, но она все же отправилась на охоту. А Джек, на закате вернувшись вместе с курицей к месту стоянки, так и не узнал, какой гость у него побывал.

XI

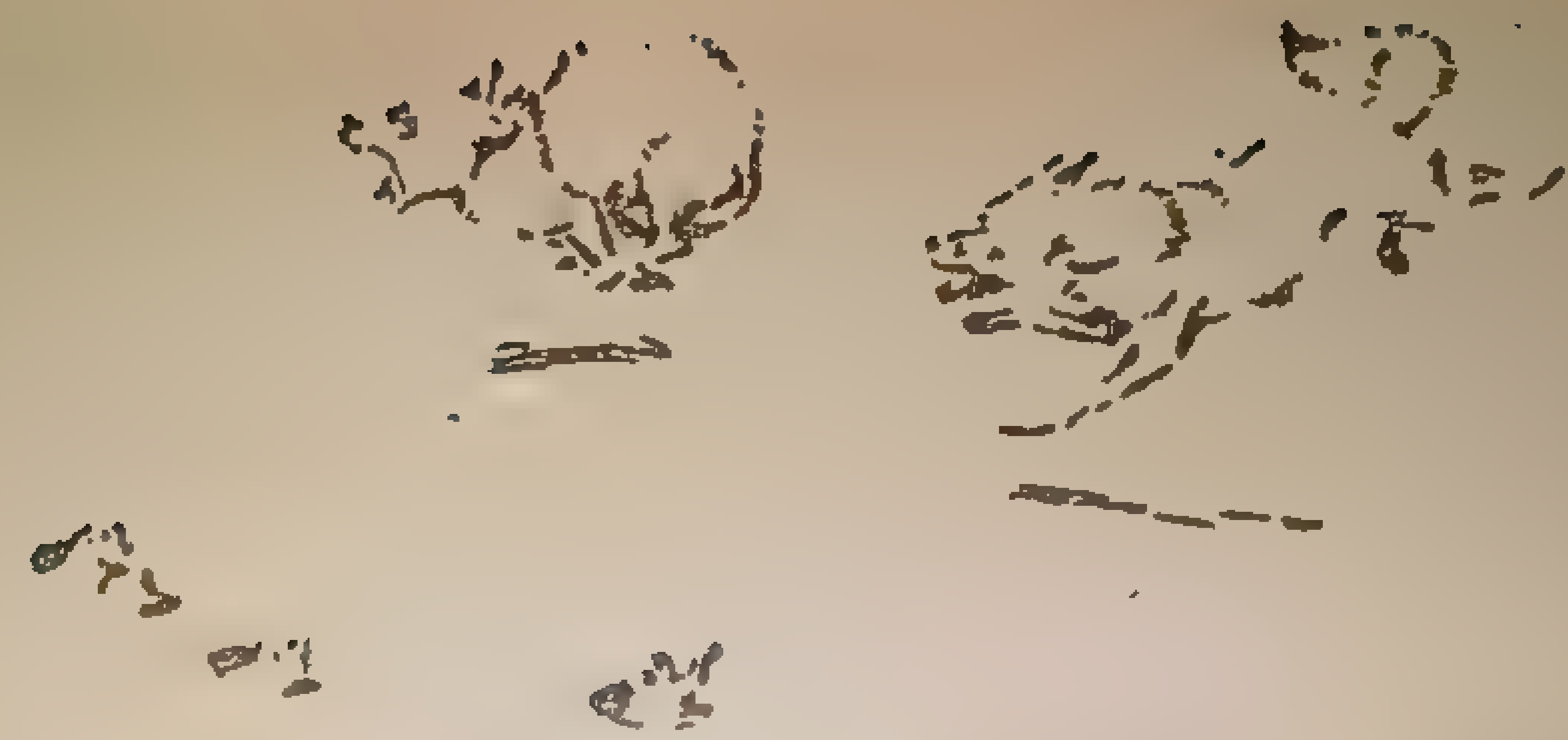
На следующий день курица опять была привязана на том же месте и к вечеру попалась на глаза Оседланному. Он

остановился, поглазел на нее несколько мгновений, потом уловил направление ветра и осторожно, ползком стал приближаться. Курица перепугалась и попробовала убежать. Но Оседланный сделал прыжок, схватил ее так яростно, что оборвал веревку, и бросился бежать к своему логову.

Джек было задремал, но кудахтанье курицы разбудило его, и он успел увидеть койота. Как только тот исчез из виду, Джек пошел по дорожке из белых перьев. Сначала след был очень ясен, так как курица в борьбе потеряла много перьев, но после того как она испустила последний вздох в зубах Оседланного, перьев стало падать меньше. Джек спокойно и уверенно шел по следу, который тянулся почти по прямой линии. Только раза два произошла досадная задержка: когда койот менял направление или когда на пути совсем не встречалось кустов, на которых оставались перья. Но одного белого перышка на расстоянии пятидесяти шагов от другого было достаточно для Джека, чтобы снова отыскать дорогу. Когда стемнело, Джек был всего в каких-нибудь двухстах шагах от норы, где в эту самую минуту девять детенышей, рыча и давясь перьями, лакомились мясом белой курочки.

Если бы теперь поднялся ветер, один порыв его донес бы до Джека целое облако белых перьев или даже радостные повизгивания детенышей и он сразу же обнаружил бы их дом. Но по воле судьбы на землю опустилась вечерняя тишина, и треск ветвей, которые Джек ломал, тщетно стараясь отыскать хоть одно белое перышко в кустах, отделявших его от лощины, заглушил все остальные звуки.

В это время Тито, возвращаясь домой с сорокой в зубах, напала на следы Джека. В тех краях пеший человек уже сам по себе есть нечто подозрительное, и Тито пошла по следу, чтобы разобрать, куда направился человек. По запаху она сейчас же определила направление. Каким образом это удается животным, никто не знает, но все охотники утверждают, что животное всегда, внюхавшись, разберет, куда ведут следы. Тито поняла, что эти следы направлялись прямо к ее дому. Охваченная ужасом, она спрятала сороку в кустах и побежала дальше по следу. Через несколько минут она почуяла присутствие человека в чаще и поняла грозящую опасность. Кружным путем она побежала в лощину и, приблизившись к логову, предостерегающе тявкнула, чтобы расшалившиеся детеныши не бросились к ней навстречу. Но вид лощины, такой заметной теперь благодаря белым как снег перьям, вероятно, поразил ее, и она тут же заворчала,



предупреждая об опасности. По этому сигналу малыши кинулись в логово, и в лощине водворилась тишина.

Тито убедилась, что человек, которого она всегда знала как существо самое коварное, находится близко от ее детей, выслеживает их и, быть может, уже через несколько мгновений будет держать их в своих жестоких руках.

О, какая мука сковала сердце матери, представившей себе эту ужасную картину! Но горячая материнская любовь сейчас же призвала на помощь всю материнскую мудрость. Отослав детей в логово и знаком сообщив о своей тревоге Оседланному, она быстро вернулась к человеку и прошла мимо него, полагая, что человек должен пойти по запаху следов, точно так же как она бы сделала это сама, а значит, он выберет более свежие следы, которые она теперь оставляла за собой. Для нее-то сумерки не играли никакой роли. Она побежала вперед и запела самую дикую и свирепую песню, какую только знала, — ту, которая столько раз заставляла собак гнаться за ней. Пропела и остановилась. Затем побежала ближе к человеку и запела опять, подбегая все ближе, полная решимости увлечь его за собой.

Однако человек не мог увидеть койота, потому что сумерки уже спустились на землю. Джек принужден был бросить охоту, но он догадался, что вой койота был не что иное, как голос матери, старавшейся отвлечь его от логовища. Из этого он заключил, что детеныши должны быть недалеко и что ему остается только вернуться сюда завтра и докончить начатое дело. Поэтому он отправился обратно к месту своей стоянки.

XII

Оседланный думал, что они одержали победу. Он чувствовал себя в безопасности, потому что знал, что запах следов, который только и мог, по его мнению, снова выдать их человеку, исчезнет к утру. Но Тито была менее спокойна. Ведь

это двуногое чудовище слишком близко подошло к ее дому и к ее детям и всегда могло прийти снова.

А Джек напоил свою лошадь, сварил кофе, поужинал и закурил перед сном сигару, изредка вспоминая о маленьких пушистых комочках, которые завтра утром будут в его руках.

Он уже был готов завернуться в свое теплое шерстяное одеяло, когда где-то далеко в темноте зазвучала песня койотов. Слышны были тягучие переливы двух голосов. Джек прислушался, злорадно усмехнулся и сказал: «Так, все в порядке. Пойте себе, голубчики. Утром увидимся».

Это был обычный ночной вой койотов. Он скоро умолк, и Джек, позабыв о нем, крепко заснул.

Тито и Оседланный выли не ради пустой забавы. У них была ясная, определенная цель – узнать наверняка, были ли с их врагом собаки. Не услышав ответного лая, Тито убедилась, что собак не было.

Она ждала до тех пор, пока мерцающий огонек костра не потух совсем. Только фырканье лошади, пощипывавшей траву, нарушало мертвую тишину, воцарившуюся на полянке. Тито подкралась так тихо, что лошадь услыхала ее только тогда, когда она была уже футах в двадцати от нее. Лошадь фыркнула, вздрогнула, и веревка, которой она была привязана к колышку, туго натянулась. Тито спокойно двинулась вперед и, широко раскрыв свою громадную пасть, схватила веревку большими, острыми, как ножницы, задними зубами. Она пожевала и легко перегрызла сильно натянутые волокна веревки. Лошадь очутилась на свободе. Она не особенно встревожилась, так как запах койотов был ей знаком. Сделав несколько прыжков, лошадь остановилась.

Стук ее подков разбудил спящего человека. Он привстал, оглянулся, но, увидев лошадь на месте, снова спокойно заснул.

Тито шмыгнула было в сторону, но теперь снова вернулась, неслышно, словно тень, обошла неподвижную человеческую фигуру и подозрительно понюхала кофе в жестяной кружке. Следом за ней из темноты вынырнул Оседланный, исследовал сковородку, на которой лежала горка сухарей, и запачкал ее. Рядом на низком кусте висела уздечка. Койоты не знали, что это такое, но на всякий случай разорвали ее в клочья. Наконец, схватив мешки с салом и мукой, они унесли их далеко в холмы и там закопали в песок.

Причинив таким образом своему врагу как можно больше неприятностей, Тито и Оседланный отправились в по-

росший лесом овражек. В этом овраге Тито присмотрела уже нору, вырытую земляной белкой, а потом расширенную многими другими — в том числе лисицей, старавшейся выцарапать оттуда обитателей. Тито принялась усердно увеличивать нору. Оседланный следовал за ней в недоумении. И только когда она, усталая, вышла из норы, он полез туда сам и, тщательно обнюхав нору, начал работать, выбрасывая землю задними ногами. Когда позади него выросла целая горка земли, он вышел и отбросил ее подальше. Так работали они в течение многих часов, не обмениваясь ни единым звуком, но тем не менее настолько хорошо понимая друг друга, что один все время помогал другому. И к восходу солнца перед ними была пещера, которая могла бы служить им убежищем в случае опасности, хотя, конечно, эту нору нельзя было и сравнить с их уютным домом в ложбине, поросшей травой.

XIII

Солнце уже всходило, когда Джек проснулся. Как всякий житель прерий, он прежде всего обернулся, чтобы поглядеть на свою лошадь. Ее не было. Лошадь для жителей прерий — то же, что корабль для моряка, что крылья для птицы. Без нее он беспомощен, без нее он подобен человеку, затерянному в океане, или птице, сломавшей крыло. Оказаться пешим в прерии — значит испытать тысячи невзгод. Даже пьяница Джек понимал это. Но, раньше чем он вполне оценил потерю, он увидел далеко в стороне свою лошадь: она спокойно паслась и с каждым шагом удалялась от его стоянки. Посмотрев внимательно, он заметил, что лошадь волочит за собой веревку. Если бы веревки на ней не оказалось, было бы совершенно невозможно поймать ее. Тогда бы Джек и не пытался ее настичь, а сразу отправился бы на охоту. В этом случае выводку койотов грозила бы неминуемая гибель. Но, увидев веревку, Джек решил попробовать поймать свою лошадь.

Из всех вещей на свете, способных свести человека с ума, самая худшая — это когда в погоне за лошадью ему все кажется, что вот-вот ее схватит. Как ни старался Джек, чего только он ни делал, ему не удавалось приблизиться к лошади настолько, чтобы ухватиться за короткий обрывок веревки. И он метался за ней в разные стороны, пока наконец они не очутились на дороге, ведущей на ранчо.

Несчастный Джек, потеряв всякую надежду поймать ло-

шадь, решил следовать за ней пешком домой. Но, отмахав уже около семи миль, он наконец схватил веревку. Он вскочил в седло и за четверть часа проехал последние три мили, оставшиеся до ранчо. Всю дорогу он, дав волю гневу, вымещал огорчения этого утра на своей лошади. Конечно, это не принесло ему никакой пользы, но он хоть «отвел душу».

На ранчо Джек закусил и, захватив с собой собаку, которая умела выслеживать койотов, уже далеко за полдень отправился снова на охоту. В сущности он мог бы и без помощи дворняжки легко найти нору, так как она была всего в каких-нибудь двухстах шагах от того места, где он накануне покинул дорожку из белых перьев. Но Джек этого не знал.

Поднявшись на гребень высокого холма шагах в ста от норы, Джек почти нос к носу столкнулся с койотом, держащим в пасти большого кролика. Койот прыгнул в сторону в ту самую минуту, когда Джек выстрелил из револьвера. А собака, разразившись громким лаем, бросилась в погоню.

Джек посылал койоту вдогонку выстрел за выстрелом, собака гналась за ним по пятам, а койот, к величайшему изумлению Джека, упорно не выпускал изо рта кролика. Ни один из выстрелов Джека не попал в цель. Когда койот и собака скрылись за холмом, Джек предоставил собаке продолжать преследование, а сам пошел искать логово, которое, по его расчету, было где-нибудь поблизости. Джек не сомневался, что детеныши еще там: ведь он видел мать, которая несла им пищу.

Легко обнаружив логово, он принялся за работу и целый день провозился с киркой и заступом, расширяя вход. По всем признакам было видно, что логово обитаемо. Полный радостных надежд, Джек все рыл и рыл. После нескольких часов тяжелой работы он наконец добрался до конца пещеры и... убедился, что она была пуста. Он сначала страшно выругался, проклиная свою судьбу, а затем надел кожаные рукавицы и принялся обшаривать нору. Вдруг он наткнулся на что-то твердое — это оказалась голова его собственного индюка. Вот и все, что он получил за свои труды.

XIV

Тито не теряла времени, пока ее враг ловил свою лошадь. Окончив устройство нового жилья, она вернулась в ложбину, устланную ковром белых перьев, и на пороге дома была встречена большеголовым детенышем, удивительно похо-



жим на нее. Она схватила его за шею и понесла в новое жилье, находившееся милях в двух от старого. Время от времени она должна была выпускать свою ношу из пасти, чтобы отдохнуть самой и дать передохнуть маленькому. Остановки эти очень замедляли переселение, и переноска малышей продолжалась несколько часов. Тито не позволила Оседланному перенести ни одного детеныша — вероятно, потому, что он был слишком неловок.

Начиная с самого крепкого и большого, все детеныши были перенесены по очереди, и к вечеру в старом доме оставался только самый слабенький и маленький. Тито не только проработала всю ночь, роя нору, но сделала за утро около тридцати миль, причем половину этого расстояния с тяжелой ношей в зубах. Но она не стала отдыхать. Когда она выходила из пещеры, держа последнего детеныша в зубах, над краем ложбины появилась собака, за которой следовал Джек.

Как стрела полетела Тито, крепко держа своего детеныша, и так же стремительно бросилась за нею собака. Выстрелы револьвера гремели непрерывно, но ни одна пуля не задела ее. Тито перелетела через гребень холма, теперь пуля уже не могла настигнуть ее. Усталая Тито со своим детенышем мчалась впереди, а громадная разъяренная собака — во всю прыть за нею.

Если бы Тито не была так утомлена и бежала бы налегке, она скоро оставила бы далеко позади своего преследователя, но теперь собака, яростно лая, начинала настигать свою жертву. Тито призвала на помощь свои последние силы, стрелой взлетела на холмик и затем, выиграв небольшое расстояние, спустилась снова в долину, где густая трава несколько замедлила ее бег. Но вот опять она очутилась на совсем открытой равнине, и охотник, оставшийся далеко позади, снова увидел ее и начал стрелять с еще большим ожесточением. Правда, пули только взрывали землю и поднимали пыль, но Тито все же приходилось постоянно менять направление, чтобы избегать их. Таким образом, она теряла драгоценное время, между тем как собаку звуки выстрелов только подгоняли. Охотник узнал по куцему хвосту Тито. Ему все еще казалось, что она держит в зубах кролика, и он удивлялся ее странному упорству. «Почему она не бросит

эту лишнюю тяжесть, когда дело идет о ее жизни?» — думал он.



Внезапно перед Тито открылся глубокий овражек. Усталая, с тяжелой ношей в зубах, она не решилась перепрыгнуть через него, а обежала кругом. Но собака не успела еще устать и легко перескочила через препятствие. Теперь расстояние между ними сократилось вдвое. Тито неслась все вперед, стараясь держать своего детеныша повыше, над колючими иглами кустарников. Но при этом она держала его так крепко, что беспомощный детеныш начал задыхаться в ее пасти. Бежать долго с такой тяжестью Тито была уже не в силах. Она хотела крикнуть, призвать на помощь, но шерстяной комок во рту заглушал ее голос. Детеныш задыхался, и, когда Тито попробовала держать его немного послабее, он дернулся и вдруг упал в траву, во власть безжалостной собаки.

Тито была гораздо меньше собаки. В другое время она, конечно, испугалась бы, но теперь она думала только о спасении своего детеныша. Когда собака прыгнула, чтобы схватить его, Тито встала между ними и замерла. Вздыбившаяся шерсть и оскаленные зубы говорили, что она решила спасти жизнь своего детеныша какой угодно ценой. Собака не отличалась храбростью, и только сознание, что она крупнее врага и что позади нее находится человек, ободряло ее. Но человек был еще далеко.

Первое нападение на дрожащего маленького детеныша было отбито, и Тито, воспользовавшись передышкой, громко позвала на помощь. Эхо подхватило этот вопль, так что Джек не мог разобрать, откуда он доносится. Но зато некто другой услышал этот клич и понял его. Собака снова прыгнула на детеныша, и снова мать отразила прыжок своим собственным телом. Они сцепились в смертельной схватке. О, если бы только пришел Оседланный! Но никто не приходил, и не было больше возможности звать на помощь. Тито упала на землю, борясь до конца, но изнемогая. А храбрость собаки росла, и теперь она думала только о том, как скорее покончить с матерью, а потом растерзать ее беззащитного детеныша. Она не видела и не слышала ничего кругом, но вдруг из ближайшего куста полыни вылетела серая молния. Ощетинившаяся собака была отброшена вра-

гом таким же сильным, как она сама. Еще мгновение — и старый Оседланный подмял ее под себя. Тито вскочила и бросилась к нему на помощь. У собаки не хватило дыхания, чтобы лаем призвать хозяина, скрытого за холмами, и в несколько секунд койоты растерзали ее.

А затем Тито подняла спасенного детеныша, и койоты, не торопясь, побрели к своему новому дому.

В этом убежище маленькие койоты жили, пока мать не кончила их обучать. И каждый из них постиг как древнюю мудрость прерий, так и новую науку, родившуюся в войне, которую объявили их племени скотоводы. А потом эти знания перешли к их детям и детям их детей.

Бизоны давно перевелись: их истребили ружья охотников. Стада антилоп тоже почти совсем исчезли: собаки и пули доконали их. Старинные обитатели Бэдлендов исчезли, как исчезает снег под лучами солнца, но койотам вымирание не грозит.

Койоты узнали смертоносные тайны капканов и ядов, они умеют провести охотника и собаку. Их увертливость не меньше догадливости человека. Они нашли десятки способов спокойно пользоваться плодами человеческих трудов вопреки любым ухищрениям людей.

И всему этому научила их Тито.

МЕДВЕЖОНОК ДЖОННИ

I

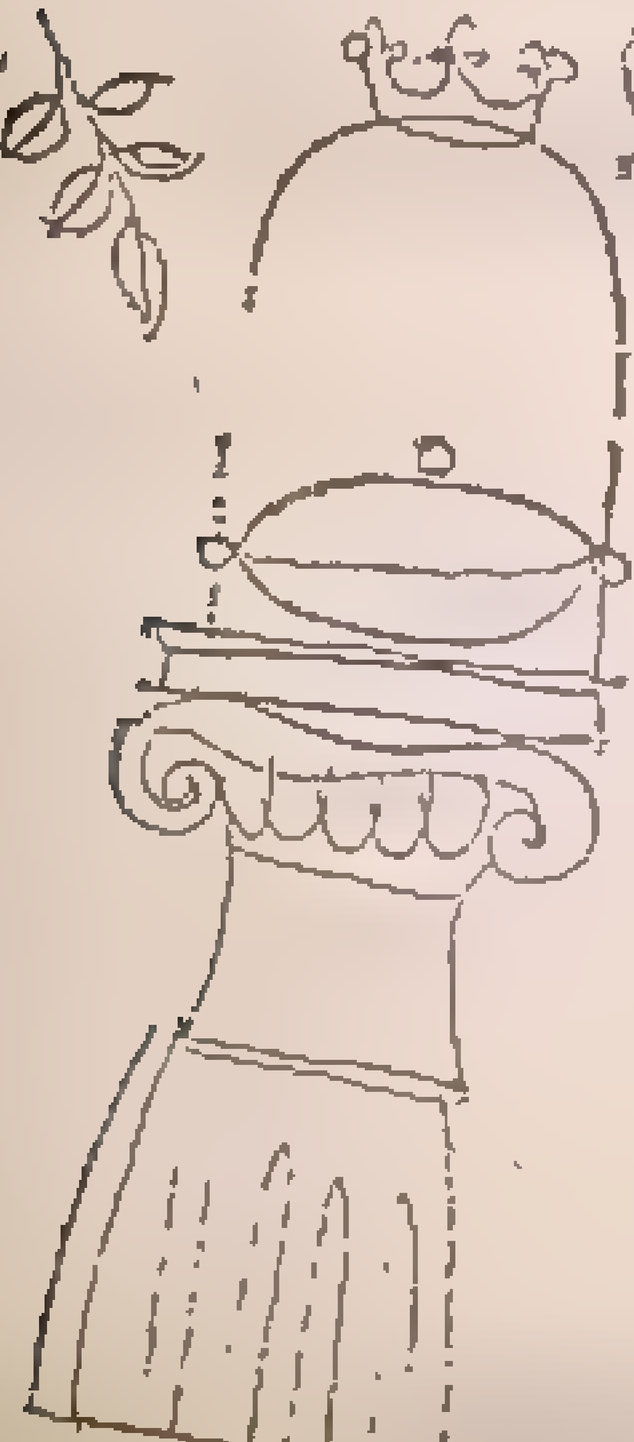
Джонни был забавный маленький медвежонок, живший со своей матерью в Йеллоусто́нском парке. Мать его звали Злюка. Вместе с другими медведями они жили в лесу возле гостиницы.

По распоряжению управляющего гостиницей все отбросы из кухни сносили на открытую поляну в окрестном лесу, где медведи могли пировать ежедневно в течение всего лета.

С тех пор как Йеллоустонский парк был объявлен заповедником для диких животных, где они пользовались полной неприкосновенностью, количество медведей там из года в год возрастало. Мирные дары человека не остались в пренебрежении, и многие из медведей были настолько хорошо знакомы прислуге гостиницы, что даже получили прозвища, соответствующие их внешнему виду и поведению.

Ханс Кристиан Андерсен

Сказки



Москва
«Художественная литература»
1992



АЛЬБОМ КРЕСТНОГО



Умел крестный рассказывать сказки, длинные да помногу, умел он и картинки вырезать и рисовать; под рождество он брал толстый альбом с чистыми листами и наклеивал на них картинки из газет и книжек, а если подходящей для рассказа картинки не находилось, то он возьмет да и сам нарисует. В детстве я получил от него в подарок несколько таких альбомов с картинками, но лучше всего был все-таки альбом «того знаменательного года, когда Копенгаген вместо прежних, масляных фонарей обзавелся газовым освещением» — так и было написано на титульном листе.

— Смотри береги эту книжку, — сказали папа с мамой, — по пустякам ее лучше не вынимай.

Если разорвешь ты книжку, не беда!
Хуже делали мальчишки иногда.

Но веселей всего было смотреть эту книжку, когда крестный сам ее показывал, читал вслух, что там

было написано, и стихи и все остальное, да сколько еще в придачу и сам расскажет! Словом, тогда только сказка и становилась настоящей сказкой.

На первой странице была картинка, вырезанная из «Летучей почты», на ней был нарисован Копенгаген с Круглой башней и церковью богородицы, слева была картинка со старым подвесным уличным фонарем, а под ней надпись — «ворвань», а справа стоймя поставленный на столбе фонарь и под ним подпись — «газ».

— Видишь, вот афиша, — сказал крестный. — А дальше начинается история, которую ты сейчас услышишь. Из нее получилось бы даже комическое представление, кабы можно было представлять, — «Ворвань и газ, или Жизнь и дела Копенгагена». Очень хорошее название! А в самом низу странички есть еще одна картинка, догадаться, что там нарисовано, не просто, так я тебе сам сейчас объясню: это конь-мертвяк[1], ему бы полагалось появиться только в самом конце книги, а он забежал вперед, чтобы рассказать, что в ней, мол, ни начало, ни середина, ни конец равно никуда не годятся: он-то мог бы и получше сделать, кабы мог. Днем, видишь ли, коня-мертвяка держат в газете, там он пасется на полосах, как это у них называется, зато по вечерам удирает оттуда, прибегает к дому, где живет поэт, и принимается ржать у него под дверью, что, дескать, хозяин скоро помрет, да только тот не помирает, если по-настоящему живой. Конь-мертвяк чаще всего какой-нибудь горемыка, который и в себе самом-то как следует разобраться не может и прокормиться не умеет, а оттого тем только и дышит и кормится, что шатается повсюду да ржет. Уж я-то наверняка знаю, что «Альбом крестного» ему не нравится, но это совсем не значит, что на альбом только зря бумагу перевели.

Ну, вот ты и рассмотрел первую страничку в книжке — афишу!

— Дело было в тот вечер, когда старые масляные фонари горели в самый последний раз, город перешел на газовое освещение и новые фонари светили так ярко, что старые рядом с ними совсем померкли.

[1] Конь-мертвяк — по народному поверью, призрак лошади, которую зарывали под фундамент строящейся церкви. Появление коня-мертвяка возле жилья предвещало чью-то смерть.

— Я и сам был в тот вечер на улице, — сказал крестный. — Народ не спеша прогуливался и любовался на старое и новое освещение. Людей было много, а ног вдвое больше, чем голов. Фонарщики стояли грустные-прегрустные, потому что гадали, когда их тоже заодно со старыми фонарями отправят в отставку. А старые фонари вспоминали далекое прошлое, о будущем-то они и думать не смели. Сколько тихих вечеров и темных ночей сохранилось у них в памяти. Я прислонился к старому фонарному столбу, — сказал крестный, — фитиль в нем шипел и брызгался жиром, и вот я услышал, что говорит фонарь, сейчас и ты услышишь.

«Мы сделали все, что могли, — сказал фонарь. — В свое время и мы были хороши, светили на радость и на горе, и чего только не перевидали на своем веку: ведь мы, можно сказать, были ночными глазами Копенгагена. Пускай теперь новые фонари придут нам на смену и займут нашу должность, а уж долго ли им доведется светить и что они будут освещать, это уж поживем — увидим. Светят они и впрямь поярче, чем мы, старики, да велика ли в том заслуга, когда тебя от самого рождения так и отлили газовым фонарем, а притом еще имеешь такие родственные связи, у них ведь круговая порука, трубы от них во все стороны тянутся, и течет по ним сила отовсюду, не только из города! Зато мы, масляные фонари, светим собственными силами, каждый обходится своим запасом, у родни помощи не ищем. А светим мы и наши деды городу Копенгагену с давних, незапамятных времен. Ну, а раз уж нынче вечером нам осталось светить в последний раз и стоим мы как бы во втором ряду за вами, яркие наши товарищи, то мы не станем ни хмуриться, ни завидовать, а, напротив, порадуемся за вас от души. Мы — старые часовые, которым на смену пришли молодые рекруты в новых, нарядных мундирах. Мы вам поведаем, что перевидал на своем веку наш род, начиная с самого первого прапрапрадедушки, и расскажем всю историю Копенгагена. А вам и вашим потомкам, кончая самым последним газовым фонарем, мы желаем повидать столько же, чтобы и вам было о чем порассказать, когда придет ваш черед идти в отставку, — ведь и вам настанет когда-нибудь время уйти на покой. Вы уж заранее к этому приготовьтесь. Люди непременно выдумают освеще-

ние поярче газового. Я слыхал от одного студента, будто и теперь уже поговаривают, чтобы морскую воду жечь».

При этих словах фитиль так зашипел, словно уже сейчас водой поперхнулся.

Все это крестный выслушал со вниманием и решил, что старые фонари замечательно придумали рассказать в вечер перехода с масляного освещения на газовое всю историю Копенгагена.

— А дельными мыслями не след бросаться, — сказал крестный. — Вот я и подхватил ее, отправился домой и сделал для тебя этот альбом с картинками, и рассказывается в нем о старине такой глубокой, что масляные фонари просто не могут о ней ничего знать.

Вот книжка, а вот и сама история: «Жизнь и дела Копенгагена». Начинается она с тьмы кромешной, вот тебе черная как сажа страничка — это тьма веков.

— Давай-ка перевернем страничку! — сказал крестный. — Видишь картинку? Только бурное море да свирепый норд-ост, и гонит он перед собой льдины, а на них плывут одни только огромные валуны, которые скатились с далеких норвежских гор и упали на лед. Гонит норд-ост громадные льдины, потому что захотелось ему показать немецким горам, какие глыбы водятся на дальнем севере. Вот уже ледовая флотилия доплыла до Зунда, как раз к зеландским берегам, туда, где теперь стоит Копенгаген, а тогда никакого Копенгагена и в помине не было. На этом месте тянулись длинные подводные мели, в одну из них и наткнулись льдины с огромными валунами. Вся флотилия остановилась, и норд-ост никак не мог снять ее с мели, тогда он рассвирепел по своему обычаю и проклял эту мель, эту «воровскую землю», как он ее назвал, и поклялся, что если она когда-нибудь поднимется из моря, то поселятся на ней воры да разбойники, и подымутся на этой земле дыбы и виселицы.

Но покуда он ругался и сыпал проклятиями, из-за туч выглянуло солнышко, а на его лучах заплясали и закачались благостные гении — дети света. Едва коснулись они легкими стопами холодных льдин, как

льдины растаяли, а огромные валуны потонули и легли на дно.

«А, негодные исчадия солнца! — сказал норд-ост. — Разве это по-товарищески да по-родственному? Ну, уж я этого ввек не забуду, уж я вам это припомню. Вот как прокляну сейчас!»

«А мы благословим, — пропели дети света. — Мель поднимется, мы будем ее хранить! И воцарятся здесь истина, добро и красота».

«Чушь и ерунда!» — сказал норд-ост.

— Вот об этом-то старые масляные фонари и не могли бы рассказать, — сказал крестный. — Зато я про это знаю, и все это очень важно для жизни и дел Копенгагена.

— Перевернем страницу! — сказал крестный. — Прошло много-много лет, мель поднялась, морская птица присела на первый показавшийся из воды камень. Вот, можешь сам посмотреть на картинке. Годы все шли да шли. Море повыбрасывало на песок уснувших рыб, и вот выросла неприхотливая трава песчанка, потом завяла, сгнила, удобрила почву, появилось много других трав и растений, и превратилась мель в зеленый островок. Высадились на берег викинги. Место тут было удобное для единоборства, а вдобавок около этого островка, лежавшего рядом с Зеландией, оказалась хорошая якорная стоянка.

Зажглась первая масляная лампа; по-моему, на ней жарили рыбу, рыбы тут водилось видимо-невидимо. Сельдь плыла через пролив такими громадными косяками, что даже задерживала бег кораблей, и море тогда сверкало так, словно под водой загорались зарницы, и казалось, что в пучине морской играют сполохи. Зунд был обилен рыбой, и вот на берегах Зеландии стали строить дома, стены ставили дубовые, из коры настилали крышу — лесу-то было вдоволь. В гавань стали заходить корабли, среди такелажа на них раскачивались масляные фонари, норд-ост дул и выл: «Уууйдиии!» Если на островке загорался фонарь, то не иначе как воровской. Воры и контрабандисты облюбовали «воровской остров».

«Вон сколько прибавилось зла; раз я захотел, его будет сполна. А скоро и дерево вырастет, уж я потрясу на нем плоды.

— А вот и дерево, — сказал крестный. — Видишь, это виселица на «воровском острове». Висят на ней

закованные в железные цепи разбойники и душегубы, так все и было на самом деле. Ветер дул с такой силой, что висящие рядами скелеты то и дело стукались друг о дружку, а месяц лил на них ласковый свет, точно так, как теперь он светит на ночной бал в лесу. И солнышко светило ласково, высушивало кости, а на его лучах дети света распевали:

«Мы знаем, мы знаем! Станет здесь чудесно в грядущие дни! Будет здесь хорошо, будет красиво!»

«У-у, писк цыплячий», — сказал норд-ост.

— А теперь перевернем страницу! — сказал крестный.

— Зазвонили колокола в городе Роскилле, жил там епископ Абсалон[1], умел он и Библию читать и мечом воевать; могуч он был и силен. И вот надумал Абсалон защитить прибрежных рыбаков, чье селение выросло вокруг гавани и превратилось в торговый город. По его указанию нечестное место окропили святой водой, дали [illegible] острову» честный герб, и принялись тут за работу каменщики да плотники, и выросло [illegible] по велению епископа здание. Солнечные лучи ласкали растущие стены.

Вот на острове дом Акселя:

[illegible] на диво
[illegible], красивы,
[illegible] до зари
[illegible] фонари.
[illegible] дворец,
Зодчих венец!
Ветер-колдун
Щеки надул,
Воет ужасно —
Только напрасно:
Крепкий дворец,
Зодчих венец!

А перед домом была Гавань — купеческая Гавань:

В роще зеленой и водяной
Выстроен терем русалки морской

Стал ездить сюда народ из дальних стран, рыбу покупать, понастроили лавок и домов с бычьим пу-

---

[1] Абсалон, или Аксель (1128—1201) — архиепископ Лундский и епископ Роскилльский, был в то же время министром и главнокомандующим при Вальдемаре I. Дом Аксела — укрепленный замок.

зырем в окнах — стекло-то было дорогое; выросли склады с высокими островерхими крышами, с лебедками для подъема тяжестей. Видишь, в лавках сидят старики приказчики? Жениться им было нельзя, торгуют они имбирем да перцем, вот и зовут их перечными холостяками.

Как ворвется в улочки да закоулочки норд-ост, как закрутит пыль, сорвет соломенную крышу! По канавам пасутся коровы да поросята.

«Разнесу, разорю, — кричит норд-ост, — вылечу на Акселев двор, моя взяла — зовут его замок «Застенок на Воровском острову»!»

И тут крестный показал его на картинке, которую он сам нарисовал. По всей стене плотно торчали колья, и на каждом колу торчало по голове пойманного пирата, торчала и скалила зубы.

— Так оно и было, — сказал крестный, — и знать об этом полезно, да и разобраться стоит.

Сидит епископ Абсалон в своей горнице и как заслышит сквозь тонкие стены, что пиратский корабль показался, так мигом и вскочит на крыльцо и прямо на свой корабль, затрубит в рог, созовет команду, и вот уже в спины разбойникам вонзаются стрелы, спешат они уйти подобру-поздорову, стрелы им в руки впиваются, а им и вытаскивать недосуг, гребут изо всех сил. Возьмет епископ в плен всех, кто в живых остался, и головы им поотрубает и насадит на колья, что на замковой стене. Дует норд-ост во все щеки — непогоду раздувает, как говорили моряки:

«Уж тут я улягусь, да с часок отдохну, да полюбуюсь, что тут делается».

Уляжется-то на часок, а бушует целыми днями. Шли годы.

Взошел на башню замка дозорный, поглядел на запад и на восток, поглядел на север и на юг.

— Вот тебе картинка, — сказал крестный и показал ее. — Дозорного ты здесь видишь, а уж что он увидел, я сам тебе расскажу.

От стен замка Застенка до Кёге бухты раскинулось море, широкая морская дорога пролегла к берегам Зеландии. А напротив Серрийслевского поля и поля Сольбьергского, где стоят большие деревни, все растет и растет новый город с островерхими каменными домами в бревенчатых перекладинах. Есть в нем целые улицы башмачников, кожевников, тор-

говцев пряностями и маслом, есть и торговая площадь и дом гильдий, а на самом берегу, где прежде был островок, стоит великолепная церковь святого Николая. Есть на ней башенки и шпили необычайной высоты, стоит она и красуется, отражаясь в чистой воде. Неподалеку стоит церковь богородицы, там поют и служат мессы, кадят ладаном, жгут восковые свечи. Гавань купеческая — город Копенгаген стал епископским городом, царит в нем и правит епископ Роскилльский.

В доме Акселя поселился епископ Эрландсен. На кухне у него парят да жарят, рекою льются пиво и кларет, гремит барабан, заливаются скрипки. Горят свечи и масляные лампы, замок залит таким светом, словно светить ему надо на всю страну, на все королевство. Бьется норд-ост об стены и башни, но прочно стоят они, трясет норд-ост старые городские укрепления с западной стороны, там ограда старая, деревянная, а тоже крепко стоит. А по ту сторону ограды стоит король датский Христофор I. Мятежники победили его под Скьельскером, и пришел он просить убежища в городе епископа.

Ветер гудит и вторит за епископом: «Не пущу, не пущу. Ворота не отворю».

— Настали времена смутные, дни тяжелые, всяк за себя стоит. Голштинское знамя развевается на башне замка.

Всюду стон и плач, мрак и страх, по всей стране усобицы да черная смерть, ночь стоит беспросветная, и вот явился Вальдемар Аттердаг.

Град епископский стал ныне королевским, в нем дома с островерхими крышами, дома каменные в бревенчатых перекладинах, улочки узки, есть в городе и сторож и ратуша, есть виселица каменная у западных ворот. Не всяк такой чести сподобится, чтоб его на ней повесили, надо быть здешним жителем, чтобы тебя повесили на этакой вышине, откуда видать купеческие корабли, и большие и малые.

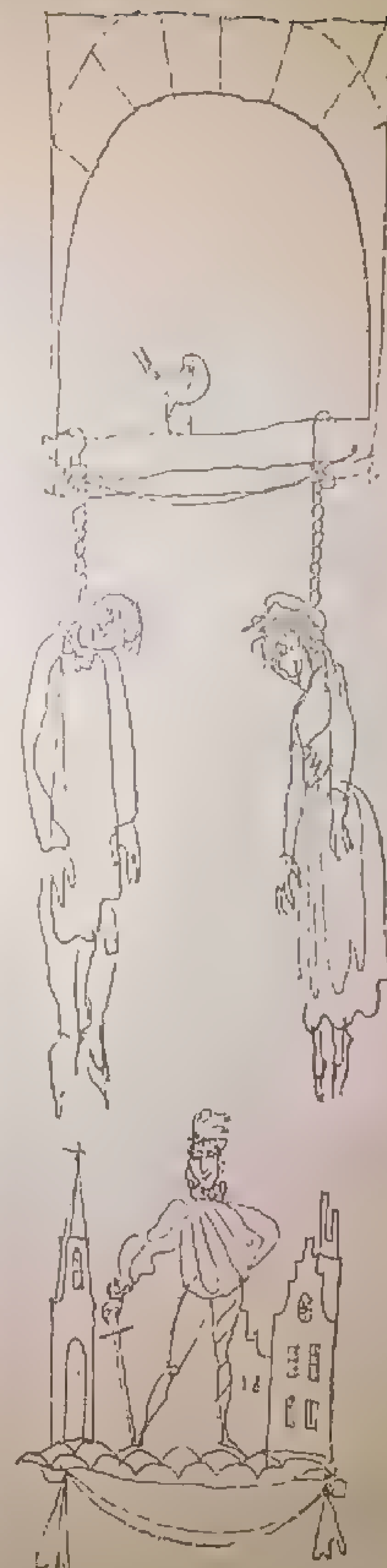
«Хороша виселица! — говорит норд-ост. — Ишь как растет красота!» — да как засвищет, как загудит.

Принесло беду из Германии.

— Пришли ганзейцы, — сказал крестный. — Пришли торговцы да лавочники, богатеи купцы из Росто-

из Любека и Бремена и решили захватить побольше, чем сумел захватить сам золотой гусь с башни Вальдемара. Стали они сильнее, чем датский король, и начали править в его столице, пришли они на боевых кораблях, никто не был готов к встрече, да и не хотелось королю Эрику воевать с немецкими родичами: уж больно много народу с ними пришло, больно сила набралась великая. Король Эрик со своими придворными впопыхах выскочил из западных ворот и умчался в город Сорё, там они затаились на берегу озера, за зелеными лесами; вино себе попивают да про любовь песни распевают.

И лишь один человек с королевской душой и сердцем королевским остался в Копенгагене. Вот ты видишь здесь на картинке молодую женщину — стройную, нежную, глаза у нее как море синие, волосы как лен светлые. Это королева Дании, английская принцесса Филиппа. Осталась она в перепуганном городе, где по узеньким переулкам да закоулкам, на крутых лестницах, по сараям да тесным лавкам толпились горожане, не зная, как им быть. Сердце у королевы было отважное, мужественное, воззвала она к горожанам и крестьянам, стала их ободрять, к борьбе призывать, и вот корабли подняли паруса, воины заняли блокгаузы, грянули мортиры, кругом дым и огонь, в душах отвага — господь не



...кинет Данию. Солнце озарило все сердца, у всех засияло в глазах победным блеском. Благословенна будь Филиппа! Она и в доме богатом и в хижине убогой — повсюду ухаживает за ранеными.

— Я вырезал венок и наклеил его вокруг этой картинки,— сказал крестный. — «Благословенна будь королева Филиппа!»

— А теперь перескочим сразу через несколько лет! — сказал крестный. — Копенгаген тоже через них перескочил. Король Кристиан I побывал в Риме, получил от папы благословение, на всем пути домой его встречали с почестями и славой. У себя на родине он выстроил большой дом из обожженного кирпича, чтобы жила в нем ученость, обучать там будут по-латыни. Сюда и бедных детей — от топора и от плуга — пустят. Если допросятся себе такой милости, оденут и их в длинную черную шелковую мантию, пускай поют под дверями горожан.

А рядом с храмом науки, где признана только латынь, стоит маленький домик, а в нем царит все датское — и язык и обычаи. На завтрак тут едят пивную похлебку с хлебушком, обедают утром, в половине десятого. Светит в решетчатые окошки солнышко, лучи его падают на шкаф с едой и на шкаф с книгами, а в книжном шкафу лежат рукописные сокровища: там и «Росенкранц» и «Божественные комедии» Миккельса, лечебник Хенрика Харпенстранга и «Датская рифмованная хроника» брата Нильса из Сорё; хозяин дома говорит, что знать эти книги должен каждый датчанин. Он первый книгопечатник Дании, голландец Готтфред ван Гемен. И творит он благое черное искусство — искусство книгопечатания.

И вот входят книжки и в замок королевский, и в дом горожанина. Увековечены пословицы и поговорки. О чем не смеет вымолвить человек в радости или в горе, о том поет вольная птица народной песни, поет она на языке потаенном и все же понятном, далеко-далеко залетает она в привольном своем полете, залетит и в комнату горожанина, и в рыцарский замок, соколом сядет на руку благородной барышни и запоет, мышонком малым прошмыгнет в конуру крепостного крестьянина и там пищит.

«Погодка какая нынче голосистая!» — говорит суровый норд-ост.

«Это весна идет, — говорят солнечные лучи. — Вон уж сколько зелени показалось!»

— Перевернем-ка еще страничку альбома! — сказал крестный. — Какой блеск в Копенгагене! Турниры, игры, пышные шествия, сколько славных благородных рыцарей в латах, сколько знатных дам в шелках и в золоте! Король Ганс выдает замуж дочку свою Елизавету за курфюрста Бранденбургского. Как молода она, как счастлива! Она ступает по бархатным коврам, все мысли ее о будущем, о счастье семейной жизни. Рядом с нею стоит ее брат Кристьерн[1], принц с грустными глазами и горячей, кипучей кровью. Горожане любят его, знает он про их беды, думает, как помочь беднякам!

Но судьба в божьих руках!

— Перевернем-ка еще страничку в книжке! — сказал крестный. — Во всю мочь задувает ветер, поет он про мечи булатные, про времена смутные, немирные времена.

День стоит ледяной, апрельский. Зачем сбежался к замку народ, туда, где около старой таможни стоит корабль, украшенный флагами? В окнах, на крышах — повсюду толпится народ. По всему городу царит тревога и печаль, страх и беспокойство. Все глядят на замок, где прежде шло веселье, где плясали в раззолоченных залах при свете факелов и где ныне так тихо, так безлюдно. Все взоры обращены на окошко, откуда часто выглядывал король Кристиан, чтобы за дворцовым мостом, за узенькой замковой улицей увидеть дом своей голубки, голландской девушки, которую он привез из Бергена. Ставни закрыты. Толпа глядит на замок, вот отворились ворота, опустился подъемный мост. Выходит король со своей верной супругой, не покинула она в тяжкой беде супруга своего и государя.

В крови у него горел огонь, огонь был в его мыс-

---

[1] Принц Кристьерн — впоследствии датский король Кристиан II (1513—1523.).

лях, хотел он покончить с прежними временами, хотел сломить иго, придавившее крестьянина, желал добра горожанам, хотел подрезать крылья жадным коршунам, да слишком много их оказалось — одному не справиться. И вот он покидает страну, уезжает из Дании, чтобы искать на чужбине поддержку у друзей и родственников. С ним вместе жена и верные слуги, в этот прощальный час у всех на глазах слезы.

В песне веков переплелись разные голоса, один за него, другие против, хор трехголосый. Слушай слова дворянства, они напечатаны черным по белому:

«Горе тебе, Кристьерн Злой! Вопиет против тебя кровь, пролитая на площади в Стокгольме, горе тебе и проклятие!»

И суд монахов гласит также:

«Бог отринет тебя, как мы тебя отринули! Ты призвал в страну Лютерово учение, ты дал ему церкви и кафедры для проповедей, ты допустил сатанинское слово. Горе тебе, Кристьерн Злой!»

Зато горько рыдали крестьяне и горожане:

«Кристьерн, ты радетель народный! Нельзя продавать крестьянина, как скотину, нельзя обменять на охотничьего пса! По этому закону и судить о тебе!» Но глас бедняка — мякина на ветру.

Проплывает корабль мимо замка, бегут на городской вал горожане, чтобы в последний раз поглядеть на королевский корабль.

— Годы еле бредут, годы горе несут, не опора в беде родня, не защита в беде друзья.

В Киле дядюшка королевский сам задумал стать королем.

Стоит под Копенгагеном войско короля Фредерика. Видишь, картинка — «Верный город Копенгаген». Вокруг черные тучи, а на них тьма картинок, рассмотри хорошенько каждую! Это звучащая картинка, до сих пор живет память о ней в песнях и преданиях; тяжкие годы, горькие годы принесло время.

А что сталось с вольной птицей, с королем Кристьерном? Об этом птицы пели — они летали далеко, за моря дальние, в земли чужие. Аист ранней весной прилетел с юга, из германской земли, он-то и видел то, что дальше рассказано:

«На чужбине видел я, как проезжал по вересковой

степи беглец король Кристьерн, повстречалась ему в пути жалкая повозка, запряженная одной лошадью, сидела в ней женщина, сестра короля Кристьерна, маркграфиня Бранденбургская. За верность Лютерову учению выгнал ее из дому супруг. В темной степи повстречались изгнанники — королевские дети. Годы еле бредут, годы горе несут, не опора в беде родня, не защита в беде друзья».

Прилетела из замка Сёндерборг ласточка, жалобно запела:

— Предали короля Кристьерна. Сидит он в башне глубокой, как колодец, от шагов его тяжких протоптана в камне дорожка, от пальцев его остались вмятины на твердом мраморе.

> Язык бессилен рассказать
> О том, что камень нам поведал.

От синего моря прилетел морской орел, море привольно, нет в нем запоров, летит по морю корабль, плывет на нем храбрый человек с острова Фюн — Сёрен Нордбю. Удача ему сопутствует, да только непостоянна удача, переменчива, как ветер.

В Ютландии и на Фюне раскричались вороны и галки: «В дорогу пора! Вон сколько добра! Там трупов гора, и конских и человечьих!» Время немирное, идет графская усобица. Крестьянин взялся за дубинку, горожанин за нож и громко вскричали: «Перебьем волков! Изведем волчье племя!» Тучами повалил дым от спаленных городов.

Король Кристьерн сидит в плену в замке Сёндерборг, не вырваться ему на волю, не видать Копенгагена в горькой беде. На Северном выгоне стоит Кристиан III, стоит на том месте, где некогда стоял его отец. В столице страх, мор и глад в Копенгагене.

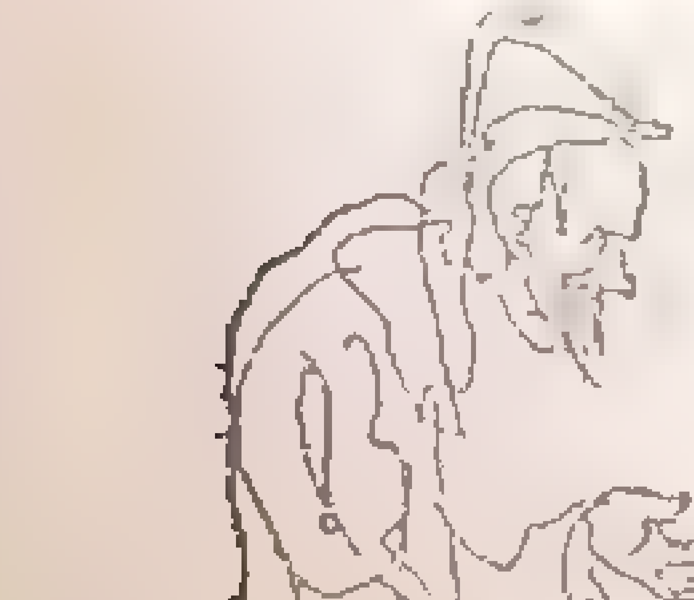
А у церковной стены вся в лохмотьях сидит исхудалая женщина, она мертва; на коленях у нее лежат два живых младенца и сосут кровь из грудей покойницы.

Нет больше надежды, нет больше мужества, о верный Копенгаген!

— Заиграли трубы. Слышишь — фанфары звучат, слышишь барабанную дробь!

В шелках да в бархате, в пышных перьях, верхом





на конях скачут знатные дворяне, кони в золоченой сбруе, едут они на старый рынок. Что там такое — карусель или турнир по обычаю? Потянулись туда же горожане да крестьяне в лучших своих нарядах. На что глядеть там будут? Костер ли там будут жечь из папистских книг, или палач там стоит, как стоял он у костра, на котором сожгли Слагхука?[1] Король, государь страны — лютеранин, пускай повсюду разнесется об этом весть.

Знатные дамы, благородные барышни сидят у раскрытых окон в высоких воротниках, в шитых жемчугом шапочках и любуются на пышное зрелище. На ковре под балдахином в старинной одежде восседает рядом с троном королевский совет. И вот оглашают перед народом волю короля и совета, и внимают горожане суровым словам, возвещающим кару за бунт против благородного дворянства. Унижен горожанин, крестьянин превращен в раба. И вот звучат грозные слова, обращенные против епископов Дании. Все имущество церкви и монастырей переходит в руки короля и дворянства.

Пышно расцвели злоба и суета, тщеславие и подлость.

> Нищенка-птица, тиха и пуглива,
> Лапки едва волочит.
> Птица-богачка, нагла и спесива,
> Крыльями бьет и кричит.

---

[1] Слагхук Дидрих — врач, один из приближенных Кристиана II; казнен в 1522 году.

Смутное переходное время грядет в черных тучах, но порой, бывает, мелькнет и солнечный луч; засияло солнце над домом учености и над домом студентов, засияли там имена, которые до сих пор не забыты. Ганс Таусен — бедняк, сын кузнеца с Фюна.

Помнит Ганса мальчиком Биркен-городок,
Знает ныне Таусена каждый назубок:
Звали датским Лютером сына кузнеца;
Искрометным словом он пленял сердца.

Сияет имя Петруса Палладиуса — так оно звучит по-латыни, а по-датски — Педер Пладе, епископ Роскилльский; и он был сыном бедного кузнеца из Ютландии. А среди дворянских имен сияет имя Ганса Фриса, государственного канцлера. Он сажал студентов за свой стол, заботился о них, а заодно и о гимназистах. Но прежде всего честь и хвала другому:

Пока листают книгу рьяно
В столице пальцы школяра,
Повсюду славит Кристиана
Победно-звонкое ура.

Вот и пробились солнечные лучи из-за туч смутного времени.

— Перевернем страницу!

Какие звуки, какая песня разносится над Большим Бельтом у берегов Самсё? Выплывает из глубин морских русалка с волосами цвета зеленых водорослей и говорит крестьянину: «Родится принц, и станет он королем великим и могучим»

Родился он в поле под цветущим боярышником, по сю пору цветет его имя в песнях и преданиях, в рыцарских замках, во дворцах и повсюду.

Выросла биржа с башенками и шпилями, поднялся Росенборг и выглянул из-за вала. Студенты получили дом, а рядом с ним выросла и по сей день стоит Круглая башня — столп Урании, она глядит в ту сторону, где красовался прежде Ураниеборг[1]. Его золотые купола светились в лучах луны, а русалки пели о человеке, который жил там, к которому приходили на поклон короли и люди именитые, об умнейшем чело-

---

[1] Ураниеборг — обсерватория, основанная на острове Вен в 1576 году, в ней работал знаменитый датский астроном Тихо Браге (1546—1601).

веке знатного рода, о Тихо Браге. Он вознес честь Дании так высоко, что имя ее вспоминают, говоря о звездном небе, во всех просвещенных странах.

— Но Дания изгнала его. Себе в утешение он пел:

> Коли небо есть повсюду,
> Что еще тогда мне нужно?

Песня его живет в народе, как песня русалки о короле Кристиане IV.

— А вот на эту страничку посмотри хорошенько! Картинок на ней целая тьма, столько же, сколько в балладе строф. Баллада начинается весело, а кончается грустно. Вот танцует принцесса в королевском дворце, собой хороша и мила! Сидит она у короля на коленях, это любимая дочка Кристиана IV Элеонора. Учат ее добрым обычаям, женским добродетелям. Жених ее — самый знатный из дворян: сам Корфиц Ульфельд. Она еще дитя. Порою строгая наставница наказывает ее розгами, а она бежит к жениху жаловаться, что без вины наказана. Какая она умница, как учена, как образованна, знает и латынь и греческий, поет по-итальянски, на лютне играет, рассуждает о папе и о Лютере.

Почил король Кристиан в королевской гробнице в соборе города Роскилле, новым королем стал брат Элеоноры. При дворе в Копенгагене блеск и роскошь, сколько там умниц и красавиц — всех не перечесть, и первая среди них королева София Амалия Люнебургская. Кто сравнится с такой наездницей, кто в речах может соперничать с датской королевой?

— Элеонора Кристина Ульфельд! — сказал посол Франции. — Умом и красотой она затмила всех.

И вот, словно чертополох, выросла на зеркальном паркете королевского дворца черная зависть, как репей прицепилась и пошла сеять обиды и насмешки. Велено, чтобы коляска Элеоноры останавливалась, не доезжая дворцового моста: где королева едет в карете, там простая женщина должна ходить пешком. И пошли сплетни, да наговоры, да ложь.

Темной ночью взял Ульфельд жену за руку. Ключи от городских ворот хранились у него, отомкнул он ворота, и помчали их кони. Прискакали они на берег моря и поплыли на корабле в шведскую землю.

— Мы страничку перевернем — вот так и от них счастье отвернулось.

Осень настала, дни стали коротки, ночи долги, дожди да ненастье, ветер холодный все крепчает. Гудят ветки деревьев на валу городском, облетают листья с деревьев в усадьбе Педера Оксена, стоит она опустелая — уехали хозяева. Ветер мчится в Кристиансхавн, завывает вокруг дома Кая Люкке. В нем теперь тюрьма. Хозяин в изгнании, герб его расколот, его изображение вздернуто на самую высокую виселицу — вот как наказан он за шутку, за необдуманные речи о ее величестве королеве Дании. Громко свищет ветер, проносясь над пустырем, где прежде стояла усадьба королевского гофмейстера, остался от нее один только камень. «Я сам примчал его сюда на плавучей льдине, — гудит ветер, — где камень лег на дно, там вырос потом «воровской остров», я проклял его, а камень потом затесался на двор к графу Ульфельду, где пела графиня, играя на звонкой лютне, читала книжки по-гречески и по-латыни, красовалась в гордыне своей, а теперь один только камень красуется здесь своей надписью:

ПРЕДАТЕЛЮ КОРФИЦУ УЛЬФЕЛЬДУ
НА ВЕЧНЫЙ СРАМ, ПОЗОР И ПОНОШЕНИЕ.

А где она-то, хозяйка высокородная? «Ууу-ууу, — свищет ветер пронзительным свистом. — В Синей башне на задворках замка, там, где морские волны ударяются об осклизлые стены, там уж который год сидит она. В комнате дыму больше, чем тепла, оконце узкое, да и то под самым потолком. У балованной дочки короля Кристиана IV, у самой изящной среди знатных девиц и дам, — какое жалкое теперь жилище!»

Воспоминания увешивают занавесями и обоями закоптелые тюремные стены. Вспоминает она счастливую пору детства, ласковую улыбку на лице отца, вспоминает свое чудесное свадебное шествие — дни, прожитые в славе, и дни страданий в Голландии, Англии и на Борнхольме.

В тяжелый час любовь приободрит жену,
Когда она верна супругу своему.

Но нет, ведь тогда она была с ним вдвоем, а теперь одна, одна навеки! Где его могила — не знает она, и никто не знает!

> Всю жизнь была верна супругу,
> И в этом вся ее вина.

Как поется в песне:

> Хранила верности обет
> Она в нужде и в годы бед.

— Видишь эту картинку? — спрашивает крестный. — Стоит зима. Мороз, как нарочно, навел мост от Лоланда до Фюна, и шведский король Карл Густав неудержимо стремится вперед. Кругом, по всей стране, грабежи и пожары ужас и страдания.

Шведы подошли под стены Копенгагена. Мороз трескучий, метет метель, но верные королю, верные родной стране мужчины и женщины — все готовы к бою. Вышли на городской вал ремесленники и лавочники, студенты и профессора — все до единого. Никто не страшится огненных шаров и раскаленных ядер. Король Фредерик поклялся, что умрет в родном гнезде. Вон он скачет вместе с королевой. Все полны отваги, любви к отечеству, все готовы к бою. А ну-ка, пусть только попробуют шведы в белых саванах подползти по снегу, пусть только пойдут на приступ! Сверху на них полетели бревна и камни. Даже женщины, и те тащат котлы и льют на захватчиков кипящую смолу.

В ту ночь король и народ сплотились в единую могучую силу. И вот спасение, победа! Колокольный звон, благодарственные молебны. Народ Копенгагена, сейчас ты завоевал рыцарские шпоры!

— А что было дальше? Посмотри-ка на эту картинку!

Жена епископа Сване едет в закрытой карете. На это имеют право только знать, всесильное дворянство. И вот гордые дворяне разносят коляску в щепки. Придется жене епископа пешком возвращаться домой.

Так-таки тем дело и кончилось? Скоро сломают вещь покрупнее, сломлена будет власть предрассудков.

Бургомистр Ганс Нансен с епископом Сване рука об руку взялись за дело во имя господне. Стали они речи держать разумные и честные и в церкви и в до-

не у бургомистра. И вот уже заперты ворота, гудит набат, вся власть безраздельно отдана в руки короля, который в час опасности не покинул родного гнезда: теперь он один царит над малыми и над великими! Это время единовластия.

— А теперь перевернем страничку и увидим другое время.

«Улюлю!» Заброшен плуг, поля поросли вереском, зато охота хороша! «Улюлю!» Слышишь, охотничий рог трубит, слышишь, заливается охотничья свора? Видишь охотников? А вот и сам король Кристиан V, он молод и весел! Веселье в замке, веселье в городе. В замке горят восковые свечи, на дворе — факелы, а на городских улицах появились фонари. Кругом все сверкает, новенькое, точно с иголочки. Новое дворянство, из Германии [illegible], графы да бароны у короля в милости, [illegible] чины, да титулы, да немецкий язык.

И вот раздается [illegible] чисто датский: это сын ткача — он [illegible] то голос епископа Кинго, он поет дивные псалмы.

Есть и другой, [illegible] ного человека, сын винодела, ум его [illegible] законодательстве и законах, свод его законов [illegible] зерцалом королевского имени, и пребудет он на долгие времена. Сын простых людей, самый могущественный человек в Дании, заслуживший дворянский герб, но заодно он нажил и врагов, и вот в [illegible] занесен мечом над головою Гриффенфельда. В этот миг ему было даровано помилование и вечная тюрьма. Отправили его на скалистый остров Мункхольм против Тронхейма. Мункхольм — Святая Елена Дании.

А в дворцовых залах по-прежнему танцуют, там блеск и роскошь, веселье и смех, танцуют кавалеры и дамы.

— И вот настало время Фредерика IV.

Взгляни, как гордо реют над кораблем победные флаги! Взгляни на бегущие волны! Да, им есть что порассказать о величии Дании, о ее славе. Мы помним много имен — победителя Сеестедта и Гюльденлеве! Мы помним Видтфельда, который ради спасения датского флота взорвал свой корабль и вместе

с датским флагом взвился под небеса. Мы помним войны тех времен и героя, который родился в норвежских горах и стал защитой Дании, — Торденшельда! В огромном море, в грозном море гремит его имя, доносясь до дальних берегов:

. .. Сорвала в гневе молнии рука
С голов лощеных пудры облака.
Портняжка, бросив нитки и иглу,
Как божий гром, рассеял вражью мглу.
И вновь взыграл дух викингов стальной
Над северной клокочущей волной.

А вот повеял ветерок от берегов Гренландии, принес аромат святой земли: он поведал о том, как несут свет Евангелия Ганс Эгеде и его жена.

Поэтому одна страница здесь вся золотая, а вторая, в знак траура, вся серая, как пепел, с черными пятнами, словно прожженная искрами, словно от мора и болезни.

В Копенгагене свирепствует чума. На улицах безлюдно, все двери на запоре, и повсюду мелом нарисованы кресты — это значит, в доме чума, а если крест черный, то, значит, все уже умерли.

По ночам собирают покойников, колокола молчат, заодно из домов выволакивают и умирающих, грохочут телеги, они доверху полны трупами. А из пивных несется безобразное пение и дикие пьяные крики. Там поют, чтобы позабыть о страшной беде, хотят забыть, хотят, чтобы все кончилось! Всему когда-нибудь приходит конец. Вот кончается и страничка о новой напасти и испытаниях, обрушившихся на город Копенгаген.

Еще жив король Фредерик IV, голова его побелела от прожитых лет. Выглядывает он из окна своего замка: за окном ненастный день; уже поздняя осень.

В маленьком домишке у западных ворот играет в мячик маленький мальчик, мяч залетает на чердак. Малыш берет стеариновую свечку и идет искать мячик, и вот в доме загорается пожар, пожар охватывает всю улицу. Такой свет разливается по небу, что даже тучи сверкают. Гляди, как взвивается пламя! Пищи для огня много, тут и солома и сено, сало и смола, поленницы дров, припасенных на зиму. И все горит. Плач и стон стоят вокруг, сумятица. И среди этого столпотворения едет на коне король, утешает, отдает приказания. Взрывается порох, рушатся дома.

Вон загорелся северный район, горят церкви святого Петра, богородицы! Слышишь, орган в последний раз играет: «Отврати свой гнев, милостивый господи».

Однако только Круглая башня да замок остались нетронуты. Вокруг дымятся пепелища. Король Фредерик IV любит народ, он утешает и кормит голодных, он помогает бездомным. Благословен будь Фредерик IV!

— Посмотри на этот листок!

Видишь золоченую карету, по бокам слуги, спереди и сзади скачут вооруженные всадники, карета едет из дворца, железная цепь протянута на площади перед дворцом, чтобы не подпускать народ. Проходя через площадь, простой люд должен снимать шапку, но мало видно народу, все обходят площадь стороной. Вон идет кто-то, потупя взор, шляпу держит в руке, как раз его-то мы славим, говоря об этом времени.

Он будущего был предтечей,
Ценой словесного труда
Он звуки чужеземной речи
Прогнал со сцены навсегда.

Он — само веселье, само остроумие: это Людвиг Хольберг. Датский театр, дворец, где он царил, закрыт, словно обитель зла. Веселье похоронено, танцы, пение и музыка — под запретом, в изгнании. Настали времена мрачного христианства.

— Принц Датский — так называла его мать. Настало его время, он принес с собой солнышко, птичье пение, веселье, датскую речь и радость — королем стал Фредерик V. Сняты цепи с дворцовой площади, открыт снова датский театр, всюду смех и веселье, всем радостно. Крестьяне приезжают летом в город! За постом и унынием пришло веселье. Расцветает красота, и зреют ее плоды в музыке, живописи, скульптуре. Слышишь музыку Гретри? Видишь, на сцене играет Лондеманн? И королева любит все датское. Луиза Английская, добрая и прекрасная, да благословит тебя господь! Солнечные лучи радостно поют славу королевам датской страны: Филиппе, Елизавете, Луизе!

— Бренная плоть давным-давно похоронена, зато души и имена живы. Снова приехала из Англии принцесса, невеста короля — Матильда, такая юная, а потом такая одинокая! Тебя долго будут воспевать поэты, они поведают о юном сердце, о тяжких испытаниях. А сила песен велика, беспредельна во времени. Смотри, как горит замок короля Кристиана! Спасать надо самое драгоценное. Видишь, люди тащат корзину с серебром и драгоценностями, там целое богатство, и вдруг они видят за раскрытыми дверьми среди бушующего пламени бюст короля Кристиана IV. И вот они бросают драгоценности, которые несли, — его изображение им дороже, его-то надо спасти, как ни тяжело нести! Ведь об этом короле они знают из песен Эвальда на прекрасную мелодию Хартманна.

Велика власть слова и песни, и с той же силой прозвучит в них имя бедной королевы Матильды!

— Перевернем-ка следующую страничку!

На площади Ульфельда стоял позорный камень; где еще на свете возвышался подобный? У западных ворот воздвигли колонну; много ли на свете таких?

Солнечные лучи целовали камень, на котором теперь воздвигли памятник свободы. Звонили все колокола, развевались флаги, народ ликовал и славил кронпринца Фредерика. У всех от мала до велика одни и те же имена на уме — Бернсторф, Ревентлов, Кольбьернсон. Сияют глаза, сердца полны благодарности у тех, кто читает надпись на памятнике:

«Король повелел: крепостное право кончилось, отныне в силу входит закон, дабы свободный крестьянин стал смелым и просвещенным, прилежным и добрым, честным гражданином и счастливым человеком!»

Какой солнечный день! Какое «лето в городе»!

Духи света пели: «Добро растет! Красота растет! Скоро падет камень, воздвигнутый на площади Ульфельда, зато «памятник свободы» будет стоять на солнце, благословляемый богом, королем и народом!»

> У нас есть древняя дорога:
> На край земли она ведет.

Открытое море, оно открыто другу и недругу, и вот недруг пришел. Приплыли его корабли — могу-

чий английский флот, держава великая ополчилась на маленькую. Борьба неравная, но народ был полон мужества.

> Каждый без страха бился за нас,
> Смерть принимая в гибельный час.

Он завоевал восхищение врага и вдохновил певцов Дании. День битвы до сих пор отмечается флагами — Дания вспоминает славную битву на рейде, которая произошла в страстной четверг второго апреля.

Минуло много лет. Показался на Зунде флот. Против кого он выступит — против России или против Дании? Этого никто не знал, даже английские матросы.

Бытует в народе такой рассказ: в то утро, войдя в пролив, вскрыли запечатанный конверт, и тогда стал известен приказ, который гласил: захватить датский флот. И вот перед начальником встал молодой капитан, сын Британии, честный в мыслях и в поступках, и сказал: «Я присягал, что до самой смерти буду сражаться за английский флаг, но в открытом, честном бою, а не против слабых».

И с этими словами кинулся в море.

> Плывет к Копенгагену флот окаянный,
> Английские флаги над морем седым,
> На дне опочил капитан безымянный,
> И черные волны сомкнулись над ним.
> А шведы в сырой, бесприютной постели
> Нашли невзначай капитана того,
> На берег снесли, и тихонько звенели
> На легком ветру эполеты его.

Враг подошел к Копенгагену, город горел, мы потеряли свой флот, но не утратили мужества и веры в бога, он наказует, но он же и спасает, он ввергнет в бездну, но он же вызволит. Раны врачуются как у богатырей. В истории Копенгагена нетрудно найти утешение.

> Исстари верил датский народ
> В то, что господь ему друг и оплот.
> Крепко держаться нам в годы невзгод —
> Бог нас поддержит, и солнце взойдет.

И скоро засияло солнце над вновь отстроенным городом, тучными нивами, разумом и талантом, взошел благостный мирный летний день, и поэзия возвела ру-

кою Эленшлегера свой сверкающий прекрасный воздушный замок.

И в науке тоже появилось открытие, более великое, чем находка золотых рогов древности: найден был мост золотой, «мост мысли».

> Молнией мысли летят по мосту
> Всем временам и народам навстречу.

И там вписал свое имя Ганс Христиан Эрстед.

Смотри-ка! Вон перед дворцом, ближе к церкви, строят жилище, на которое даже последний бедняк с радостью отдает свои медяки.

Ты ведь помнишь начало книжки — там были древние валуны, свалившиеся с норвежских гор; льдины принесли их сюда, они поднялись из глубин морских и по велению Торвальдсена превратились в прекрасный мрамор, как они хороши!

Вспомни, что я тебе рассказал — песчаное дно поднялось из моря, защитило гавань, на нем стоял дом Акселя, замок епископа, королевский дворец, а теперь на нем стоит храм красоты. Слова проклятия развеялись по ветру, а все, что пели о будущем радостные дети солнца, исполнилось.

Столько бурь миновало, могут налететь новые, но и те минуют. А истина, добро и красота остаются.

На том и книжка кончена, а история Копенгагена еще не закончилась. Кто знает, что ты сам еще увидишь!

Не раз небо заволакивали черные тучи, налетала буря, но солнышка она не развеяла, оно остается! А сильней самого сильного солнца — бог! Господь держит в руке своей не только наш Копенгаген.

Так сказал крестный и дал мне книжку. У него даже глаза светились, так он был уверен в своей правоте. А я был так рад и с такой же гордостью и так же осторожно взял книжку, как недавно брал на руки младшую сестричку.

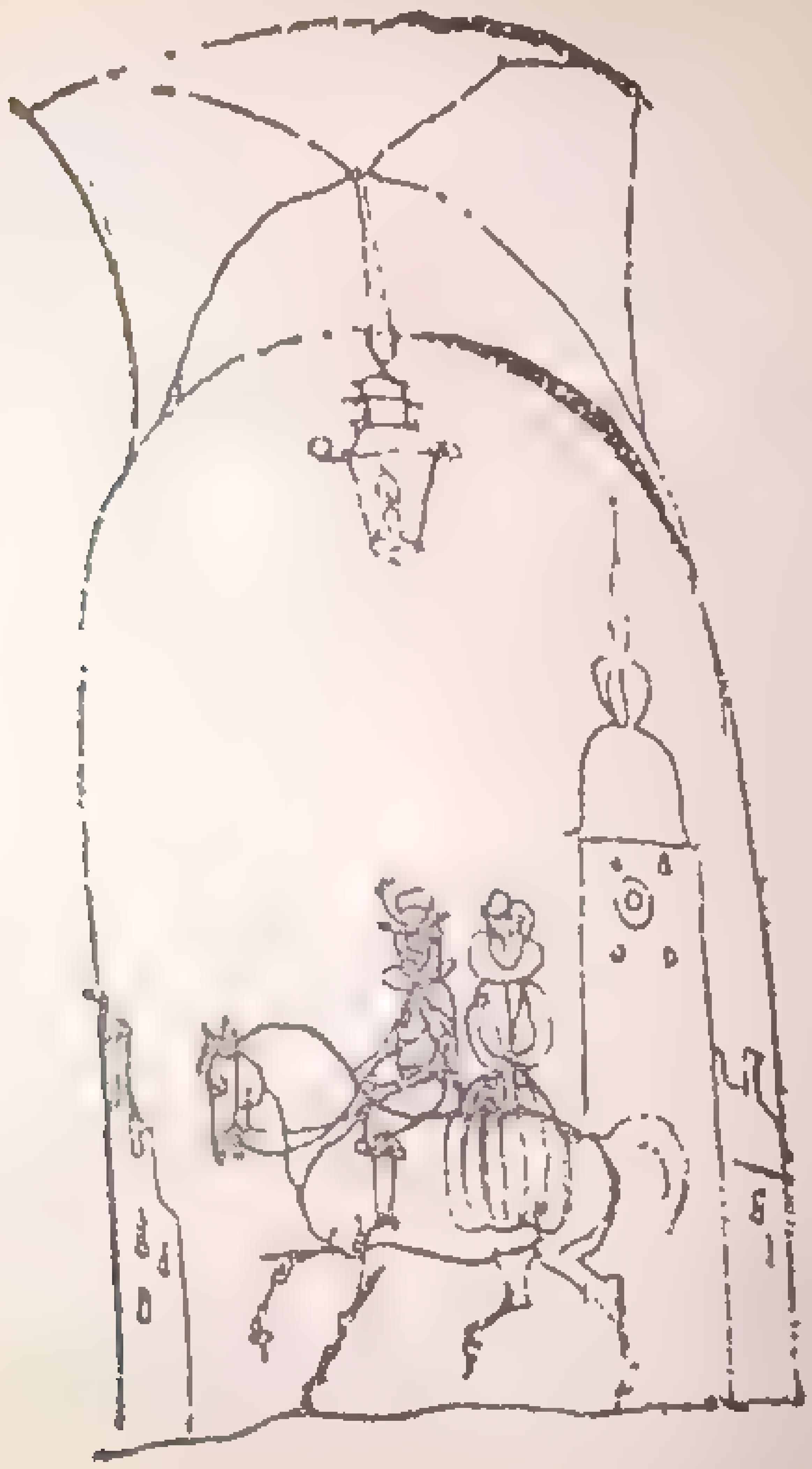
А крестный сказал:

— Кому хочешь можешь показывать эту книжку. Можешь говорить, что я ее сделал, склеил и разукрасил картинками. Но самое важное — это чтобы они сразу узнали, как я ее придумал. Ты ведь знаешь, вот и расскажи! Мысль эту подсказали мне старые масляные фонари, когда их зажгли в последний раз, а они показали в воздушных картинах все, что видел их

род, начиная с первого фонаря и кончая этим вечером, когда Копенгаген осветился сразу и старыми, ворванными, и новыми, газовыми, фонарями.

Можешь показывать книжку кому угодно — конечно, людям с добрым глазом и дружественными мыслями, а если явится какой-нибудь конь-мертвяк, то закрой

«Альбом крестного».





ДРИАДА



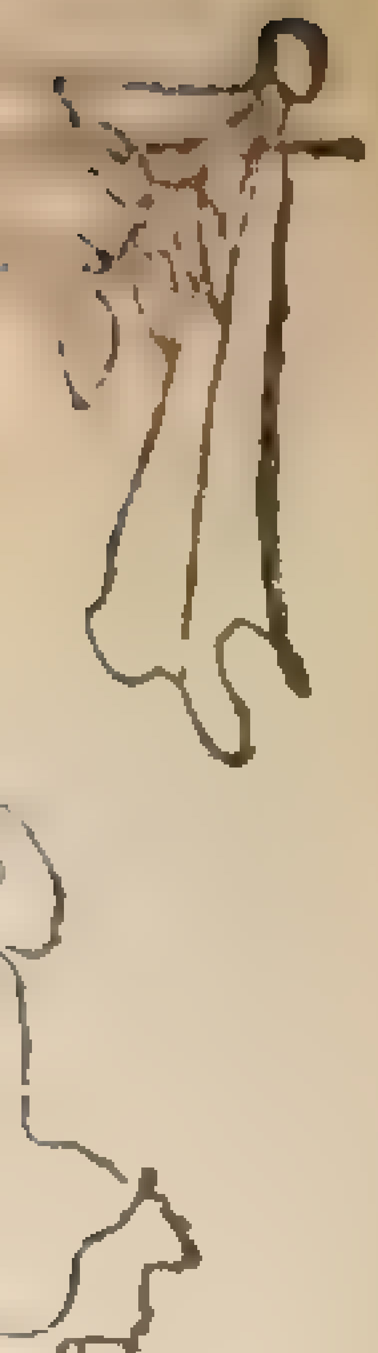
Мы едем в Париж на Всемирную выставку!

Раз-два, и мы во Франции! Ну и путешествие было, настоящий полет, и никакого волшебства: просто пар мчал нас сначала по морю, потом по суше.

Ведь наше время — время сказок!

И вот мы уже в центре Парижа, в большой гостинице. Лестница вся украшена цветами, по ступеням стелются мягкие ковры.

У нас уютный номер, балконная дверь широко распахнута, и видна площадь. А на ней поселилась весна, она приехала в Париж, вступила в него в одно время с нами. Она явилась, приняв облик высокого молодого каштана, на котором только что распустились нежные листья. Он оделся в красивый весенний наряд раньше



всех деревьев на площади. Одно из них уже нельзя причислить к живым, оно выкопано с корнями и лежит на земле. Там, где оно росло, посадят молодой каштан.

Пока же он покоится на большой телеге, которая сегодня утром привезла его в Париж, привезла издалека, из сельского приволья. Там каштан много лет рос рядом с могучим дубом, под которым частенько сиживал почтенный старый священник, рассказывая детворе разные истории. Как внимательно слушали его дети! Молодой каштан тоже слушал, слушала и дриада, которая жила в нем. Ведь она сама была ребенком и еще помнила время, когда каштан был таким маленьким, что [illegible] голову над высокой травой и папоротниками. Они-то выше уже не могли вырасти, а дерево [illegible] и тянулось вверх. Свежий воздух и [illegible] его, дождь и роса умывали, а сильный [illegible] от времени задавал ему хорошую [illegible]. Какое же воспитание!

Дриада [illegible] житью-бытью, радовалась солнцу и [illegible], но приятнее всего ей было слушать людей, [illegible] язык так же хорошо, как язык животных.

Бабочки, стрекозы, мухи — все, кто умеет летать, прилетали к дриаде в гости. Вот-то начиналась болтовня! Они наперебой рассказывали про город, про виноградники и леса, про старый замок и парк с каналами и прудами, где водятся живые существа, которые тоже умеют летать, но только под водой, и перелетают там с места на место. Эти создания славятся глубокомыслием и мудростью, никогда и словом не обмолвятся — вот какие умные!

Ласточка, которая ныряла в воду, рассказывала о прелестных золотых рыбках, о жирных лещах, толстых линях и о старых, замшелых карасях. Ласточка описывала их очень хорошо, однако прибавляла, что лучше посмотреть все собственными глазами. Только разве могла дриада увидеть эти поразительные создания? Ей оставалось довольствоваться красивым видом, что открывался перед ней, да наблюдать за беспокойной жизнью людей.

Все это было интересно, но интереснее всего казались дриаде рассказы старого священника. Сидя под дубом, он знакомил своих учеников с историей Фран-

ции, с подвигами ее сыновей и дочерей, чьи имена навсегда покрыты славой.

Дриада услышала о юной пастушке Жанне д'Арк и о Шарлотте Корде, о царствовании Генриха IV и Наполеона I, о старых временах и о величии настоящего. Славные имена, которые называл священник, пробуждали гордость в сердцах людей, ведь Франция — великая страна, оплот разума, очаг свободы.

Крестьянские ребятишки не пропускали ни слова из того, что говорил священник. Дриада тоже, она как бы превращалась в их сверстницу, в школьницу. Она смотрела на плывущие по небу облака, и в их очертаниях вставали перед ней, сменяя одна другую, картины того, что она слышала.

Облака заменяли ей книжку с картинками.

Она радовалась, что рождена в прекрасной Франции, и все же чувствовала, что птицам и всем существам, способным летать, открыто то, что недоступно ей. Даже муха может увидеть куда больше, чем дриада со своего дерева.

Широко и величаво раскинулась Франция, а дриада знала только один ее маленький уголок. Далеко-далеко разбросала страна свои виноградники, леса, огромные города, и самым большим, самым прекрасным из них был Париж. Но дриаде не суждено было его увидеть, туда могут долететь разве что птицы.

Среди крестьянских детей была маленькая девочка, бедная и оборванная, но такая красивая — глаз не оторвешь. Она всегда пела, всегда смеялась и вплетала в свои черные волосы красные цветы.

— Смотри не езди в Париж! — говорил ей старый священник. — Стоит тебе попасть туда, и ты погибнешь, бедняжка.

И все-таки она уехала.

Дриада часто вспоминала о ней, ведь им обеим так хотелось в этот великий город!

Прошла весна, наступило лето, потом осень и зима. Прошло несколько лет.

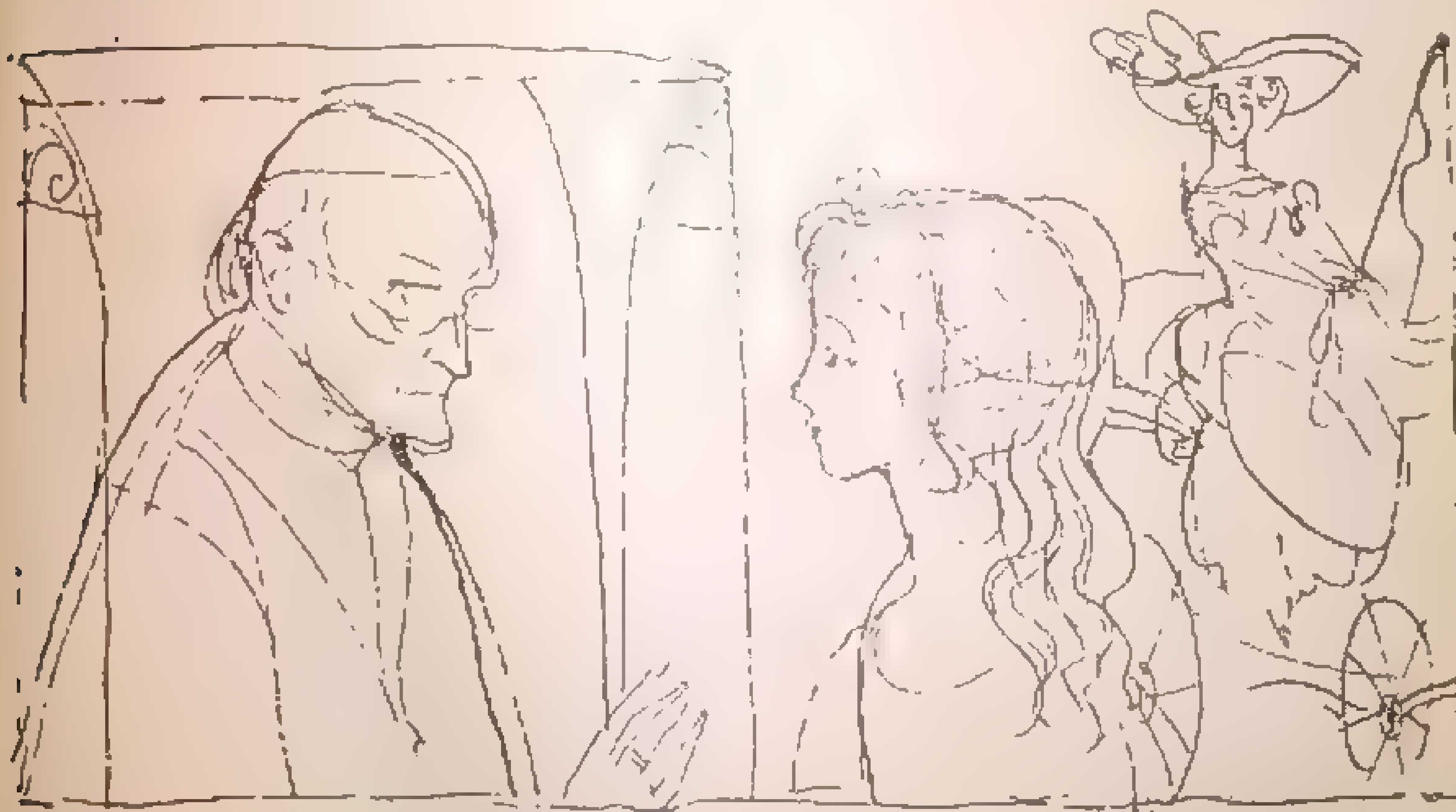
На каштане, в котором жила дриада, впервые распустились цветы, и об этом, не умолкая, щебетали птицы, греясь на ярком солнце. Вдруг на дороге показалась роскошная коляска, в ней сидела важная дама, она сама правила красивыми, быстрыми лошадьми, а сзади примостился нарядный маленький слуга. Дри-

ла сразу узнала приезжую, узнал ее и старый священник. Он печально покачал головой и сказал:

— Ты все-таки уехала в Париж, бедняжка Мари! Вот он и погубил тебя.

— Она-то бедняжка? — удивилась дриада. — Да как она преобразилась! Нарядная, словно герцогиня! Это волшебный Париж так изменил ее! Ах, если бы и мне попасть туда, увидеть весь этот блеск и великолепие! Даже ночью стоит над Парижем зарево, я вижу его, когда смотрю в ту сторону.

Каждый вечер, каждую ночь смотрела дриада в сторону Парижа и видела на горизонте радужную дымку. Как не хватало ее дриаде в светлые, лунные ночи! Как не хватало плывущих по небу облаков, что рисовали ей картины из истории города!



Дети тянутся к книжке с картинками, дриада тянулась к облакам в небе, они были для нее увлекательной книгой.

Безоблачное летнее небо казалось ей чистой страницей, и вот уже много дней подряд на нем не появлялось ни облачка.

Лето стояло жаркое, днем палило солнце, не было даже легкого ветерка, листья и цветы поникли, словно в дремоте, сон одолевал и людей.

Но вот на том краю неба, где радужная дымка по ночам возвещала: «здесь Париж!», появились тучи.

Тучи поднимались все выше, теснились, как горы,

быстро неслись вперед, и скоро дриада увидела, что все небо обложено ими до самого горизонта.

Словно мощные черно-синие утесы, громоздились тучи друг на друга высоко над головой дриады. Из туч вырывались молнии. «И они тоже слуги господни!» — учил священник. Вдруг сверкнул такой яркий, такой ослепительный луч, словно само солнце прорвалось сквозь толщу утесов. Молния ринулась вниз и сразила могучий дуб, расщепила старое дерево до самых корней, рассекла его крону и ствол. Дуб рухнул, раздавшись пополам, словно желая заключить в объятия посланницу небес.

Ни один пушечный залп в честь рождения наследника престола не гремел так оглушительно, как прогремел гром при кончине старого дуба. С неба хлынули потоки дождя, подул освежающий ветер, и скоро непогода миновала, снова воцарились мир и покой. Вокруг поверженного дуба собрались люди, старик священник сказал речь в его честь, а художник зарисовал дерево на память.

«Все уходит! — подумала дриада. — Все уходит, как плывущие облака, и ничему нет возврата».

Старый священник больше не появлялся рядом с каштаном: крыша его школы рухнула, кафедры не стало. Не приходили и дети. Но пришла осень, пришла зима, а за ними и весна. Времена года сменяли друг друга, а дриада все не отводила глаз от горизонта, где по вечерам вставала над Парижем радужная дымка. Там гудели паровозы, туда мчались поезд за поездом, стуча и грохоча днем и ночью, утром и вечером. И каждый поезд вез множество людей из всех стран света. Их влекло в Париж новое чудо.

Что же это было такое?

— На бесплодном песке Марсова поля распустился роскошный цветок, взлелеянный искусством и промышленностью, — рассказывали одни. — Исполинский подсолнечник, по лепесткам которого можно изучать географию, статистику, знакомиться с творениями мастеров своего дела, вникать в тайны искусства и поэзии, познавать величину и величие разных стран мира.

— Сказочный цветок, — говорили другие, — причудливый цветок лотоса, распростерший над песком свои зеленые листья, словно бархатные покрывала, расцвел ранней весной. Лето застанет его во всем ве-

лилолепии, а осень развеет, унесет прочь, не останется ни листьев, ни корней, ни даже следа их.

Перед зданием военного училища раскинулась площадь для военных упражнений в мирное время, поле, на котором нет ни травинки, ни былинки, клочок песчаной пустыни, перенесенный из Африки, где фата-моргана возводит призрачные замки и висячие сады. Но на Марсовом поле возникли сады и замки еще краше, еще удивительнее: ведь их превратил в реальность гений человечества.

— Воздвигнут замок Аладдина нашего времени,— восхищались третьи. — [illegible] днем, с каждым часом растет он и [illegible] мрамором и яркими красками блистают [illegible] залы. В огромном круглом машинном зале [illegible] мастер «Бескровный», здесь работают его [illegible] мышцы. Искусные изделия из металла [illegible] тканей знакомят нас с духовной жизнью [illegible] мира. Картинные галереи, изысканные [illegible] что могут сотворить умелые руки человека [illegible] с талантом, все выставлено на обозрение [illegible] встретимся мы и с памятниками древности [illegible] из старых замков, извлеченными из [illegible] болот.

— Невозможно обозреть, осмыслить и описать все это грандиозное [illegible] зрелище! Чтобы охватить его одним взглядом, его надо уменьшить, свести к размерам игрушки.

На Марсовом поле, словно на громадном столе, уставленном рождественскими подарками, высится дворец Аладдина, сооруженный наукой и искусством. А вокруг разместились дары из разных стран мира. Каждая нация создала здесь свой уголок, напоминающий о величии ее родины.

Вот дворец египетского фараона и караван-сарай из далекой пустыни. Мимо него спешит на своем верблюде сын страны солнца — бедуин. В русских конюшнях бьют копытами горячие степные скакуны. Вот маленький крытый соломой крестьянский домик, над ним развевается датский флаг Даннеброг, а рядом деревянный, весь в резьбе, дом Густава Вазы[1] из Швеции. Американские хижины, английские коттеджи, французские павильоны, театры, беседки, церкви причуд-

---

[1] Густав Ваза (1496—1560) — шведский король, освободивший Швецию из-под владычества Дании.

ливо перемешались вокруг. Повсюду зеленеет свежая трава, журчит прозрачная вода, красуются цветущие кусты и редкостные деревья, а попав в оранжерею, оказываешься в тропическом лесу. Под другой крышей приютился целый сад роз, привезенных из Дамаска; какие краски, какой аромат!

Искусственные сталактитовые пещеры окружают водоемы с пресной и соленой водой. Здесь открывается вид на подводное царство, словно вдруг оказываешься на дне морском среди рыб и полипов.

Все это, говорят, можно увидеть на Марсовом поле, и на этом огромном, богато накрытом праздничном столе снуют, словно полчища суетливых муравьев, толпы людей, кто пешком, кто в маленьких повозках, — не у всех ноги выдержат столь утомительную прогулку.

Посетители идут сюда с самого раннего утра до позднего вечера. Пароход за пароходом, набитые людьми, скользят по Сене. С каждым часом все больше подъезжает колясок, все больше появляется людей пешком и верхом. Дилижансы и омнибусы переполнены, увешаны пассажирами, и все эти толпы стремятся к одной цели — на Всемирную парижскую выставку.

Входы ее украшены французскими национальными флагами, над павильонами разных стран развеваются флаги всех наций, шум и гул вырываются из машинного зала, с башен разносится мелодичный звон колоколов, из церквей слышатся звуки органа, а ко всему этому примешивается хриплое, гортанное пение из восточных кофеен. Вавилонское столпотворение, вавилонское смешение языков — это новое чудо света.

Вот что говорили повсюду о выставке, кто не слыхал этих рассказов? Слышала об этом новом чуде в столице столиц и дриада.

— Летите туда, птицы, летите и возвращайтесь скорей, чтобы рассказать мне о том, что вы увидели,— умоляла она птиц.

Ее мечта превратилась в безудержное стремление, в цель жизни. И вдруг однажды тихой, безмолвной ночью дриада увидела, как от полной луны, сиявшей в небе, отделилась искра. Она сверкнула, как падучая звезда, и вот уже перед деревом, ветви которого заколыхались, как в бурю, предстало блистающее величественное видение. Раздался голос, и звуки его были ласкающими и мощными, словно трубный глас, что

пробуждает к жизни и призывает к ответу в день Страшного суда.

— Ты попадешь в этот сказочный город. Пустишь там корни, вкусишь его шум, его воздух, его солнце. Но знай, что жизнь твоя сократится. Долгие годы, что ожидали тебя здесь, на воле, там, в городе, станут всего лишь днями. Бедная дриада, там ждет тебя погибель. Но жажда твоя утроится, стремление, снедающее тебя, удесятерится, твой каштан покажется тебе тюрьмой, ты покинешь свою оболочку, изменишь своей природе, смешаешься с людьми. И тогда отведенный тебе на земле срок станет меньше, чем жизнь поденки: ты проживешь одну только ночь. А потом дыхание твое остановится, листья каштана завянут, их развеет ветер, и все будет кончено.

Не успели отзвучать эти слова, как видение угасло, но не угасли мечты дриады, ее страстное стремление попасть в Париж. Она вся дрожала от нетерпения, от волнующих предчувствий.

— Я попаду туда, в этот великий город! — ликовала она. — Начинается новая жизнь, вот она близится, быстро, как облако. Кто знает, куда она умчит меня?

На рассвете, когда побледнела луна и порозовели облака, настал час свершения, пророчество сбылось.

Пришли люди с заступами и лопатами, они принялись выкапывать дерево, добрались до самых корней. Подъехала телега, запряженная лошадьми, каштан с корнями и с комом земли вокруг них подняли, закутали в циновки, будто в одеяло, и взвалили на телегу. Дерево крепко привязали, ведь путь был неблизкий — ему предстояло отправиться в Париж, расти и жить в величайшем городе Франции, в городе городов.

Телега тронулась, каштан покачнулся и затрепетал всеми ветвями и листьями, затрепетала от нетерпения и дриада.

«В путь! В путь!» — стучало ее сердце.

— В путь! В путь! — повторяла она дрожащим голосом.

Дриада даже забыла проститься с родным лугом, с травами, качающимися под ветром, с простодушными ромашками, которые всегда смотрели на нее снизу вверх, считая ее важной особой в господнем цветнике,

юной принцессой, которая разыгрывала здесь, на лоне природы, простую пастушку.

Каштан махал с телеги ветками, словно говоря: «Прощайте!», а может быть, «В путь!». Дриада не слушала. Все ее помыслы были об одном — о чудесном, незнакомом и в то же время уже известном будущем, навстречу которому она спешила. Ни ребенок в невинной радости, ни пылкий мечтатель в порыве чувств не бывают так поглощены своими переживаниями, как наша дриада, когда она начинала свое путешествие в Париж.

«Прощайте!» — звучало в ее ушах, а губы шептали:

— В путь! В путь!

Колеса телеги быстро вертелись, и то, что виднелось вдали, приближалось и оставалось позади. Поля сменяли друг друга, словно облака. Виноградники, леса, маленькие города, дачи и сады возникали на горизонте, придвигались, уплывали вдаль. Каштан уезжал все дальше, все дальше ехала и дриада. Поезд за поездом с грохотом проносились мимо. Паровозы оставляли за собой облака дыма, облака сливались в картины, рисовали Париж, откуда они мчались и куда спешила дриада.

Казалось, все вокруг понимали, не могли не догадываться, куда лежит ее путь. Ей чудилось, что каждое встречное дерево тянется к ней ветвями и молит: «И меня возьми с собой, и меня!» Ведь в каждом из них тоже жила дриада, которой страстно хотелось посмотреть мир.

Вдруг все переменилось, и как неожиданно: будто из-под земли выросли дома, их становилось все больше и больше. Они жались друг к другу теснее и теснее. Печные трубы, словно цветочные горшки, рядами выстроились на крышах. Дома пестрели огромными надписями, аршинные буквы и целые картины покрывали стены от фундамента до карниза.

— Уж не Париж ли это? Может, я уже приехала? — спрашивала себя дриада.

Людей вокруг все прибывало, суета и спешка нарастали, одна за другой катились коляски, торопились пешеходы, проносились всадники, мелькали магазины, и, не умолкая, звучали песни, восклицания, музыка, говор.

Дриада со своим каштаном очутилась в самом центре Парижа.

Тяжелая телега остановилась на маленькой площади, обсаженной деревьями, окруженной высокими домами с балконами. На балконах стояли люди и смотрели вниз на приехавший издалека молодой каштан, который скоро поднимется на площади вместо старого, высохшего дерева, лежащего на земле. Прохожие останавливались и с улыбкой любовались свежей весенней листвой. Другие деревья, покрытые еще не распустившимися почками, [illegible] и шелестели: «Добро пожаловать! [illegible]» А фонтан высоко [illegible] и они громко звенели, падая в широкую чашу. Он [illegible], чтобы ветер подхватил его прозрачные капли и [illegible] зеленому гостю вместо освежающего [illegible] кубка.

Дриада [illegible] телеги и отнес[illegible] землей, а с[illegible] Вокруг посадили ц[illegible] ми — посреди [illegible] Выкорчеванное из земли старое дерево, [illegible] ми газа, еды и другими убийственными испарениями, что насыщают городской воздух, [illegible] на телегу и увезли. Вокруг каштана собрались люди; [illegible] и старики уселись на скамейку под только что посаженным деревом и смотрели сквозь его листву наверх на небо. А мы, рассказывающие вам эту историю, стояли на балконе и смотрели вниз на юного вестника весны, переселенного сюда с вольных просторов, и повторяли то, что непременно сказал бы старый священник:

— Бедная дриада!

«До чего же я счастлива! — думала в это время дриада. — Только все еще поверить не могу, что я здесь. Слов нет, чтобы передать, как я счастлива. Все точно так, как я себе представляла, и в то же время совсем по-другому!»

Дома были такие высокие, они обступили дриаду со всех сторон. Солнце освещало только одну стену, она была заклеена афишами и объявлениями, возле которых толпился народ. Мимо пролетали экипажи, легкие и тяжелые, проезжали омнибусы, переполненные людьми, словно дома на колесах. Проносились

всадники на лошадях, от них не отставали коляски и кареты.

«Интересно, — думала дриада, — скоро ли эти так высоко выросшие дома раздвинутся? Скоро ли изменят они свои очертания, как облака в небе, и отплывут в сторону?»

Тогда она сможет разглядеть весь Париж, каждый его уголок. Ведь она не видела еще Нотр-Дам, Вандомскую колонну и того чуда, ради которого сюда съехалось столько гостей со всех концов света.

Но дома не двигались с места.

Еще не стемнело, а уже зажгли фонари, газовый свет из окон магазинов освещал ветви каштана, совсем как летнее солнце. На небе высыпали звезды, те самые, что дриада видела в родном краю. Ей показалось, что потянуло воздухом с полей, свежим, душистым. Она сразу воспрянула духом, повеселела, почувствовала всеми кончиками корней, как из каждого листа вливаются в нее бодрость и силы. Наконец-то она среди людей, она ловила на себе их ласковые взгляды, вокруг кипела жизнь, все спешили, куда-то торопились, сверкали огни, пестрели краски.

Из переулка доносились звуки духового оркестра и песенка шарманки, так и манившая танцевать, веселиться, наслаждаться жизнью.

Да, вот это была музыка! Казалось, не только люди, но и лошади, и дома, и коляски, и деревья — все готовы пуститься в пляс, да не умеют. Душу дриады переполнила пьянящая радость.

— Как замечательно! Какое счастье! — ликовала она. — Я в Париже!

Прошел день, прошла ночь, прошли еще одни сутки, а вокруг ничего не менялось: те же дома, то же небо, та же суета, та же жизнь на площади, непрерывно меняющаяся и все-таки всегда одинаковая.

— Я уже знаю каждое дерево, каждый цветок на этой площади! Я знаю все дома, все до единого балконы, все магазины в этом тесном углу. Они заслонили от меня огромный, великолепный город. Где же Триумфальная арка, бульвары, где новое чудо света? Неужели я их не увижу? Здесь, среди высоких домов, я как в клетке, я уже наизусть выучила все вывески, афиши, надписи, все это назойливое пустословие уже приелось. Где же все то, о чем я столько слышала,

к чему так рвалась, ради чего приехала сюда? Чего же я добилась, что получила, что нашла? Я тоскую, как прежде! Вокруг кипит жизнь, и я хочу стать ее частицей! Хочу быть среди людей, хочу окунуться в их жизнь с головой, полететь, словно птица, все увидеть, все испытать, стать совсем-совсем как человек. За половину срока жизни поденки я готова отдать годы скучных, тягостных будней. Здесь я прозябаю, угасаю, вяну и в конце концов исчезну, растаю, как туман над лугами. Я хочу сверкать, словно облако, сиять в живительных лучах солнца, все видеть, как видят облака, пронестись, как они, и исчезнуть неведомо где.

И дриада взмолилась:

— О, возьми годы моей жизни! Дай мне половину срока жизни мухи-поденки! Освободи меня из заточения, подари мне человеческое счастье, пусть хоть на короткий миг, на одну только ночь, а потом покарай, как хочешь, за мою дерзость, за жажду жизни. Уничтожь меня, пусть моя оболочка — этот свежий, юный каштан — увянет, упадет, превратится в пепел, пусть его развеет ветром!

И вот листва каштана зашелестела, дерево затрепетало, дрожь прошла по всем листьям, словно его опалило огнем, сильный порыв ветра потряс крону, и среди ветвей поднялась женская фигура — это была сама дриада. В ту же секунду она очутилась внизу, под деревом, освещенная газовым светом, юная, прекрасная, как несчастная Мари, которой говорили: «Бедная, этот город тебя погубит!»

Дриада сидела под деревом, словно под дверью своего дома, которую она заперла за собой навсегда, а ключ забросила. Как она была молода, как прекрасна! Звезды глядели на нее и улыбались ей, газовые фонари сияли и переливались, подмигивая. Она была нежной, но полной сил, ребенок и в то же время взрослая девушка. На ней был наряд из тончайшего шелка, зеленый, словно свежие листья, в каштановых волосах запутался только что раскрывшийся цветок ее родного дерева. Она казалась юной богиней Весны.

Всего одну минуту сидела она неподвижно, потом вскочила с легкостью газели, пересекла площадь и свернула за угол. Дриада скользнула, летела, мелькала, неуловимая, как солнечный зайчик, что вспыхивает то здесь, то там. Уследить за ней было невозмож-

но, но если б это удалось, удивительная обнаружилась бы вещь. Стоило ей задержаться где-то на миг, и ее облик, ее одежда — все менялось. В одном месте она была одна, в другом — другая, словно приноравливалась к окружению, к свету ламп, падавшему из окон домов.

Вот она на бульварах. Здесь море огней, горят газовые фонари, светом залиты магазины и кафе. Рядами стоят деревья, молодые и стройные, и в каждом от лучей искусственного света прячется своя дриада. Весь длинный бульвар как большой бальный зал: всюду накрытые столы, уставленные прохладительными напитками, тут и шампанское, и шартрез, и даже обычные кофе и пиво. Всюду, куда ни глянь, цветы, картины, скульптуры, книги и пестрые ткани.

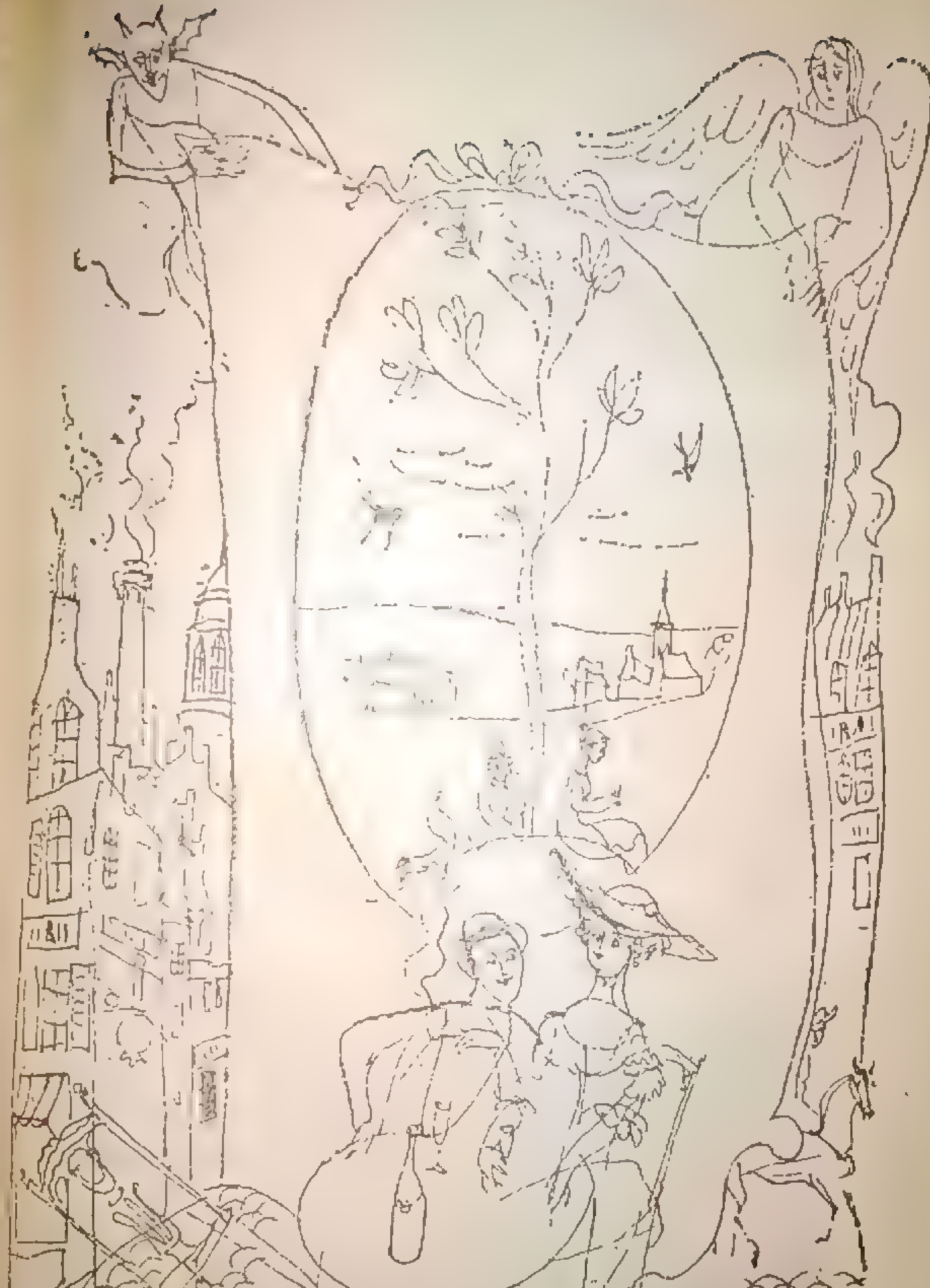
Затерявшись в толпе у высоких домов, дриада со страхом смотрела на поток, движущийся под деревьями. Словно в шумном водовороте, неслись, перегоняя друг друга, коляски и кабриолеты, фиакры, омнибусы и дрожки, проносились всадники, маршировали солдаты. Как тут целым и невредимым перебраться на другой берег, на ту сторону улицы? Вот замелькали какие-то синие огни, потом все снова озарилось газовым светом, в небо вдруг взвилась ракета. Откуда? Зачем?

Поистине здесь была главная артерия этого великого города.

В одной стороне звенели нежные итальянские напевы, в другой — под щелканье кастаньет пели по-испански, но все заглушали звуки шарманки, игравшей залихватский канкан. Такой музыки не слыхивал Орфей, не знала ее Прекрасная Елена, но под нее, казалось, заплясала бы даже тачка на своем единственном колесе! Танцевала и дриада, она порхала, кружилась, и у каждого дома, у каждого фонаря цвет ее наряда менялся, как оперение у колибри в лучах солнца. Словно сияющий цветок лотоса, сорванный со стеблей и увлекаемый потоком, неслась она все дальше, с каждым шагом, с каждым поворотом другая. Никто не мог бы заметить дриаду, уследить за ней, рассмотреть ее.

Все вокруг плыло мимо нее, словно облака. Одно лицо сменялось другим, но все они были ей незнакомы, ни одного родного и близкого. Она вдруг вспомнила чьи-то лучистые глаза, на ум ей пришла бедняжка Мари, веселое дитя в лохмотьях, с красным





цветком в черных волосах. Ведь она тоже здесь, в этом великом городе, и, наверно, такая же нарядная, сияющая, как тогда, когда проезжала мимо священника, мимо дриады, мимо старого дуба.

Конечно, она здесь, среди этого оглушающего шума и суматохи. Не она ли это выходит из подъехавшего роскошного экипажа? Тут уже стояло много карет, кучера были с галунами, слуги в шелковых чулках. Из карет появлялись богатые, нарядные дамы — одни дамы. Они проходили в открытые решетчатые ворота и поднимались по высокой лестнице с широкими ступенями, которая вела в здание с белоснежными мраморными колоннами. Не это ли всемирное чудо? Не здесь ли Мари?

«Sancta Maria», — неслось из-за дверей, под высокими расписными позолоченными сводами клубился дымок от ладана, вверху царил полумрак.

Это была церковь святой Магдалины.

Знатные дамы, все в черном, медленно двигались по блестящему полу. Их дорогие платья были сшиты по последней моде. На серебряных застежках молитвенников, переплетенных в бархат, красовались гербы, гербы были вышиты и на тончайших надушенных носовых платках, обшитых редкостными брюссельскими кружевами. Одни дамы в безмолвной молитве преклоняли колена перед алтарем, другие скрывались в исповедальнях.

Тревога и беспокойство вдруг охватили дриаду, словно она оказалась в каком-то запретном месте. Ее пугала эта обитель тишины, здесь царила тайна, здесь говорили только шепотом, неслышно поверяли заветные мысли.

Дриада окинула себя взглядом; она уже была закутана в шелк и вуаль и ничем не отличалась от других знатных и благородных дам. Быть может, и они томились той же неуемной жаждой жизни, что и она сама?

В церкви раздался вздох, глубокий и горестный. Откуда он шел? Из угла, где совершалась исповедь, или из груди самой дриады? Она закрыла лицо вуалью. Среди церковных благовоний ей не хватало свежего воздуха. Нет, здесь ей было не место.

Дальше, дальше, не теряя времени, не зная отдыха! Разве отдыхают поденки? Их жизнь сплошной полет!

И вот дриада снова очутилась на улице, залитой ярким газовым светом, у великолепного фонтана.

— Однако всей этой воде не смыть невинной крови, что пролилась здесь! — услышала дриада.

Кругом толпились иностранцы, все разговаривали громко и оживленно — так не смели говорить в обители тайн, которую только что покинула дриада.

Вот приподняли и отодвинули в сторону большую каменную плиту мостовой. Дриада не могла понять, что это значит. Она увидела люк, ведущий в подземелье, люди стали спускаться туда, уходя от звездного неба, от ярких, как солнце, газовых фонарей, от бьющей ключом жизни.

— Мне страшно! — воскликнула какая-то женщина. — Я боюсь спускаться. И не хочу смотреть на эти чудеса. Не пойдем, останемся!

— Как! — удивился мужчина. — Вернуться домой, уехать из Парижа, не посмотрев самое интересное, настоящее чудо нашего времени, созданное умом и волей одного человека?

— Нет, я не пойду! — твердила женщина.

«Чудо нашего времени», — сказал этот человек. Дриада слышала его слова. Она поняла: цель ее мечтаний достигнута, нужно только спуститься под землю, оставить Париж над головой. Не таким представляла она себе это чудо, но раз так говорят, раз все спускаются вниз, спустится в подземелье и она.

Чугунная винтовая лестница была широка и удобна. При входе горела лампа, ниже — другая.

Посетители оказались в лабиринте бесконечных, пересекающих друг друга сводчатых залов. Здесь, словно в матовом стекле, отражались все парижские улицы и переулки, на табличках можно было прочесть их названия, указывались и номера домов, стоявших наверху. Их фундаменты уходили глубоко под безлюдные, засыпанные щебнем тротуары, которые шли вдоль широкого канала, где клокотал поток грязи. Выше под сводами текла по трубам свежая вода, а еще выше, словно сети, переплетались газовые трубы и телеграфные провода. Вдали мерцали лампы, словно отсвет огней огромного, раскинувшегося наверху города. Оттуда, сверху, по временам доносился глухой грохот — это проезжали над входом в подземелье тяжелые повозки.

Куда же попала дриада?

Знаете ли вы, что такое катакомбы? Так вот, они лишь слегка похожи на этот новый подземный мир, чудо нашего века — на клоаки Парижа. Здесь-то и оказалась дриада, а совсем не на Всемирной выставке.

Она слышала вокруг возгласы удивления, восхищения, признательности.

— Вот от чего зависит жизнь и здоровье тысяч и тысяч людей наверху! — говорили вокруг. — Наше время — поистине время прогресса, благословенное время.

Так рассуждали, так думали люди, но иного мнения придерживались крысы, которые родились и ютились здесь. Их писк громко и отчетливо доносился до дриады, и она отлично понимала его.

Старый отец семейства с откушенным хвостом пронзительно пищал и доказывал, что только он один говорит правильно, а его семья подхватывала каждое его слово.

— Мне тошно от их мяуканья, от мяуканья этих невежд! Скажите пожалуйста, как тут прекрасно при газовом свете и керосине! Да на что они нужны, я не ем ни того, ни другого. Здесь теперь так светло и чисто, что стыдишься самого себя, а с чего, собственно? Разве так жили во времена сальных свечей? То была, как теперь говорят, эпоха романтизма.

— Что ты говоришь? — спросила дриада. — Таких, как ты, я еще не встречала. О чем ты рассказываешь?

— О безвозвратно минувших днях, — ответила крыса. — О прекрасных временах, когда благоденствовали наши прадедушки и прабабушки. Тогда спуститься сюда было подвигом. Здесь простиралось крысиное царство побольше самого Парижа. Тут властвовала матушка чума, людей она убивала, но крыс не трогала. Здесь укрывались разбойники и контрабандисты, находили прибежище интереснейшие личности. Где теперь таких увидишь? Разве что на сцене, в мелодрамах. Да, время романтизма прошло и для нас, для крыс. Чего уж ждать, когда тут свежий воздух и керосин!

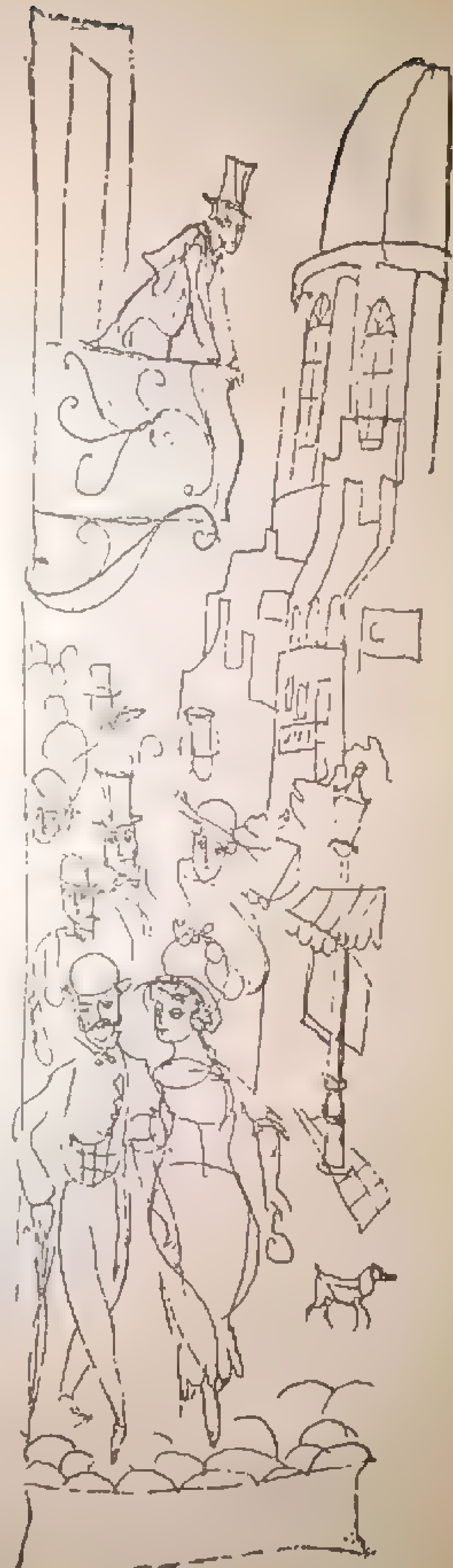
Вот что пищала крыса — она ругала наше время и восхваляла прежнее — царство матушки чумы.

Подали экипаж вроде открытого омнибуса, в него были запряжены маленькие быстрые лошадки. Все

уселись и отправились по Севастопольскому бульвару, который тянулся под землей так же далеко, как над ним тянулся самый многолюдный бульвар Парижа, его тезка.

Экипаж исчез в полутьме, исчезла и дриада — она снова поднялась наверх, на свежий воздух, к свету газовых фонарей Здесь, а не внизу, где переплетаются душные сводчатые коридоры, будет она искать чудо света; это чудо должно сиять ярче газовых фонарей, ярче луны, как раз выплывшей на небо. Ведь ради него она променяла всю свою жизнь на короткую ночь!

Вот и оно! Впереди дрожало сияние, оно блистало и переливалось, как звезда Венера на небе.



Дриада остановилась перед ярко освещенным входом в сад, весь залитый светом. Оттуда неслись звуки веселого танца. Газовые фонарики, словно живая изгородь, обрамляли маленькие тихие пруды, на недвижной воде плавали причудливо изогнутые и яркие цветы из фольги, они искрились в лучах газового света и выбрасывали высоко в воздух струи воды. Красивые плакучие ивы, настоящие, а не искусственные, уже по-весеннему нарядные, склоняли свои нежные ветки к са-

мой воде, словно прозрачную, но непроницаемую для глаз зеленую вуаль. В кустах пылал костер, и красные отблески пламени падали на тихие, полутемные беседки, а над ними гремела музыка, оглушая, маня, увлекая. Музыка, от которой кровь огнем бежала по жилам.

Дриада увидела молодых девушек, прелестных, нарядных, с доверчивой улыбкой на губах, опьяненных весельем и легкомыслием молодости. Все они походили на Мари: те же цветы в волосах, нет только коляски и маленького нарядного слуги. Как они исступленно метались, как кружились в неистовом танце! Развевались волосы, мелькали руки. Словно ужаленные тарантулом, они летали, смеялись, ликовали, захлебываясь от блаженства, готовые обнять весь мир.

Танец увлек и дриаду. Вдруг она заметила, что ее маленькие нежные ноги уже обуты в шелковые туфельки, каштаново-коричневые, как и лента, что сбегала с волос на непокрытые плечи. Зеленое, словно листья, платье падало тяжелыми складками, но не скрывало стройных ног с маленькими ступнями, которые только что их выписывали в воздухе магические круги перед танцующим с дриадой кавалером.

Где же она была? Что за волшебный сад Армиды? Как зовется это место?

Название его пылало огненными буквами: «Mabille».

Звенели голоса, гремели рукоплескания, трещали ракеты, журчала вода, с хлопаньем вылетали пробки из шампанского, увлеченные буйным танцем, все быстрее кружились пары. Месяц, проплывавший по небу, косился на это веселье не очень одобрительно. Небо было чистое, ясное, безоблачное; казалось, до него рукой подать.

Безумная, испепеляющая жажда жизни, как огнем, охватила дриаду, будто она накурилась опиума. Глаза ее что-то говорили, губы шептали, но свист флейт и пение скрипок заглушали слова. Ее кавалер нашептывал ей на ухо, покачиваясь в такт канкану, она не понимала его слов, не поймем их и мы. Он протянул руки, желая заключить ее в объятья, но обнял только прозрачный, пронизанный газовым светом воздух.

Воздушный поток подхватил и унес дриаду, как ветер подхватывает лепесток розы. Прямо перед собой она увидела пылающий факел, яркое пламя на высокой башне. То была ее заветная цель, навстречу ей вспыхивал и сверкал красный маяк на Марсовом поле, маяк у входа в царство фата-морганы. Вот куда принес дриаду весенний ветер. Она облетела башню и стала спускаться, а рабочие внизу подумали, что это первая весенняя бабочка, которая появилась слишком рано и поэтому ей суждено скоро погибнуть.

Над павильонами и постройками всех наций светила луна, горели газовые фонари и факелы. Они освещали лужайки, обсаженные дерном, скалы и утесы, созданные умелыми руками людей, со скал срывались водопады, послушные мастеру «Бескровному». Морские пещеры, тихие речные заводи, целое царство рыб открывалось здесь взору. Казалось, будто в стеклянном водолазном колоколе опускаешься на дно моря или на дно глубокого пруда. Со всех сторон на толстые стеклянные стены давит вода. Извивающиеся полипы, длинные, как кишки, гибкие, как угри, то поднимались, то опускались, как живые дрожащие руки, цеплялись за стекла и снова присасывались ко дну.

В сторонке задумчиво расположилась большая камбала, распласталась по дну, развалилась с удобством. Краб, похожий на гигантского паука, спотыкаясь, перелезал через нее, а вокруг носились креветки, словно морская моль или бабочки.

В пресной воде росли кувшинки, камыши и белые лилии. Золотые рыбки выстроились рядами, будто рыжие коровы на лугу, у всех головы повернуты в одну сторону, все разевают рты навстречу течению. Тучные, жирные лини, прижавшись носами к стеклу, таращили глупые глаза. Они знали, что находятся на парижской выставке, помнили, какое утомительное путешествие им пришлось проделать, чтобы попасть сюда. Их привезли в бочках по железной дороге, и они мучились от сухопутной болезни, как мучаются от морской болезни люди, путешествуя по морю. Рыбы приехали сюда посмотреть выставку и теперь с любопытством разглядывали ее из соленых и пресных водоемов. Глазели на беспокойный людской поток, текущий мимо с раннего утра до позднего вечера. Ведь все страны

прислали на выставку своих представителей, чтобы старые лини и лещи, юркие окуни и покрытые тиной карпы полюбовались этими непонятными созданиями, поразмышляли о них и обменялись мнениями.

— Это особы из разряда чешуйчатых, — сказала перемазанная илом маленькая плотичка, — они меняют чешую два, а то и три раза в день. Ртом они издают звуки — у них это называется разговаривать. Мы чешую не меняем и объясняемся друг с другом гораздо проще — движением рта и глаз. Нет, мы намного совершеннее людей!

— А плавать они уже выучились, — заметила другая маленькая рыбка. — Я живу в большом озере. Туда в жару часто приходят люди и кидаются в воду, но чешую оставляют на берегу, плавают без нее. Учились-то они, видно, у лягушек: задними лапами оттолкнутся, передними [illegible] на воде долго не продержишься. Стараются они, бедняги, во всем подражать нам, да ничего не выходит!

И рыбы [illegible] надивиться: им казалось, что людской поток, который они наблюдали при свете дня, все еще течет мимо них. Да, они просто уверены были, что различают лица и фигуры тех, кто, если можно так выразиться, раз и навсегда поразил их воображение.

Маленький красавец окунь тигровой раскраски со спинкой, выгнутой всем на зависть, уверял, что «человеческая пена» еще здесь, он только что их видел.

— И я! И я! — подхватил линь, золотистый, словно от желтухи. — Ясно вижу эту стройную представительницу людей, «красавицей», что ли, ее называют. Рот у нее совсем как у нас и глаза рыбьи, сама вся увешана бахромой из ряски, разными побрякушками и безделушками, а перед собой держит закрытый зонтик. Если б она сняла это все и осталась в том виде, что мы, как создала ее природа, из нее получилась бы недурная камбала, если только люди вообще способны походить на нас — рыб!

— А где же тот, что попался на удочку?

— Ах, этот, что держал в руках бумагу, чернила и перо и все записывал и переписывал без конца? Кто он такой? Они называют его репортером.

— Да он до сих пор здесь, — ответила землистая

[illegible] карасиха со следами житейских битв в глотке — однажды она проглотила крючок и до сих пор терпеливо с ним плавала, но, естественно, хрипела при разговоре. — Репортер, — объяснила она, — это по-нашему, по-рыбьи, что-то вроде каракатицы — так же брызгается чернилами!

И рыбы продолжали беседовать на своем языке. Но здесь, в этом искусственном, заполненном водой гроте, слышались и людские голоса. Это пели, стуча молотками, рабочие, они торопились и трудились даже ночью, чтобы к утру все наладить. Песнь их ворвалась в грезы дриады, которая заглянула в грот, чтобы тут же устремиться дальше и исчезнуть.

— Так вот вы какие, золотые рыбки! — сказала она и кивнула им головой. — Все-таки я вас увидела. Да, да, я вас знаю, давно уже про вас слышала. Мне рассказывала о вас там, на родине, ласточка. Какие вы красивые, блестящие, [illegible] просто! Так бы вас всех и расцеловала! Я и других рыб узнаю. Вот это, наверно, толстый карась, вон там вкусный лещ, а вот и покрытые тиной [illegible] знаю, а вот вы меня нет!

Рыбы таращили глаза, вглядывались в полумрак, но не понимали ни слова.

А дриады уже не было в гроте — она выпорхнула на свежий воздух. Здесь струились удивительные запахи: новое чудо света — исполинский цветок источал ароматы всех стран мира. Тут пахло ржаным хлебом, одеколоном, русской кожей, розовым маслом, вяленой рыбой — благоуханный букет!

Когда после бала мы полусонные возвращаемся под утро домой, в ушах у нас еще ясно звучат мелодии, которые мы слышали ночью. Мы даже можем пропеть их все до одной. И как глаза убитого запечатлевают на время то, что он видел в последнее мгновение перед смертью, так и здесь, на выставке, в ночной тишине еще жили, не умолкая, отзвуки дневной жизни, гама и блеска. Дриада улавливала их и сознавала, что в этих звуках рождается завтрашний день.

Дриада задержалась среди душистых роз. Ей казалось, что она узнала их, они росли в ее родном краю,

в старом парке и в саду священника. Узнала она и красный цветок граната, точно такой, какой Мари вплетала в свои черные как смоль волосы.

Воспоминания детства, проведенного на лоне природы, проносились у нее в голове, пока она жадно впивала все, что видела вокруг, а лихорадочное нетерпение влекло ее все дальше и дальше, через залы, полные чудес.

Вдруг она почувствовала, что устала, и эта усталость становилась все сильней и сильней. Ее тянуло прилечь отдохнуть на раскинутых повсюду мягких восточных коврах и подушках, тянуло склониться вместе с ивой к прозрачной воде и окунуться в ее прохладу.

Но мухи-поденки не знают покоя, а время, отпущенное ей для жизни, истекало через несколько минут.

Мысли не слушались ее, не слушались и ноги. В изнеможении опустилась она на траву у журчащей воды.

— Ты бежишь из-под земли, ты вечно обновляешься! — сказала она. — Освежи мне уста, оживи меня.

— Я не живая вода, — отвечал поток, — меня гонит машина.

— Поделись со мной своей свежестью, зеленая трава, — взмолилась дриада, — отдай мне один твой душистый цветок!

— Мы гибнем, когда нас срывают, — отвечали цветы и трава.

— Поцелуй меня, живительный ветер, подари мне один лишь поцелуй, он вернет меня к жизни!

— Скоро солнце поцелует облака, и они зарумянятся, — отвечал ветер. — А тебя уже здесь не будет, ты уйдешь в страну мертвых, исчезнешь, как исчезнет все это великолепие. Не пройдет и года, как я снова смогу резвиться здесь на просторе, играть легким, сыпучим песком, нести по земле пыль, засыпать пылью воздух. Везде пыль и прах, все обращается в прах!

Дриада содрогнулась от ужаса, как женщина, что, лежа в ванне, вскрыла себе вены, но, исходя кровью,

вновь страстно захотела жить. Она приподнялась, сделала несколько шагов и снова бессильно опустилась на землю возле маленькой церкви. Двери были открыты, в алтаре горели свечи, играл орган.

Какая музыка! Дриада никогда не слышала таких мелодий и все же различала в них родные голоса. Казалось, они возникали из души самой вселенной.

Ей чудилось, что она слышит шум старого дуба и голос священника. Он говорит о подвигах, о прославленных героях, о том, что должен свершить каждый сын божий во имя грядущего, чтобы самому завоевать право на бессмертие.

Звуки органа нарастали, взмывали вверх, пели дриаде:

«Твоя жажда жизни, твое беспокойство с корнем вырвали тебя из родной почвы. Вот что погубило тебя, бедная дриада».

Мягкие, нежные звуки будто плакали и затихали, как плач.

На небе зарозовели облака. Зашумел ветер:

— Сгиньте, мертвые тени, солнце встает!

Первый луч солнца упал на дриаду. Она засветилась всеми цветами радуги, словно мыльная пена, словно мыльный пузырь перед тем, как лопнуть, превратиться в слезу, в каплю влаги, упасть на землю, не оставляя следа.

Бедная дриада! Каплей росы, слезой сверкнула она по земле и исчезла.

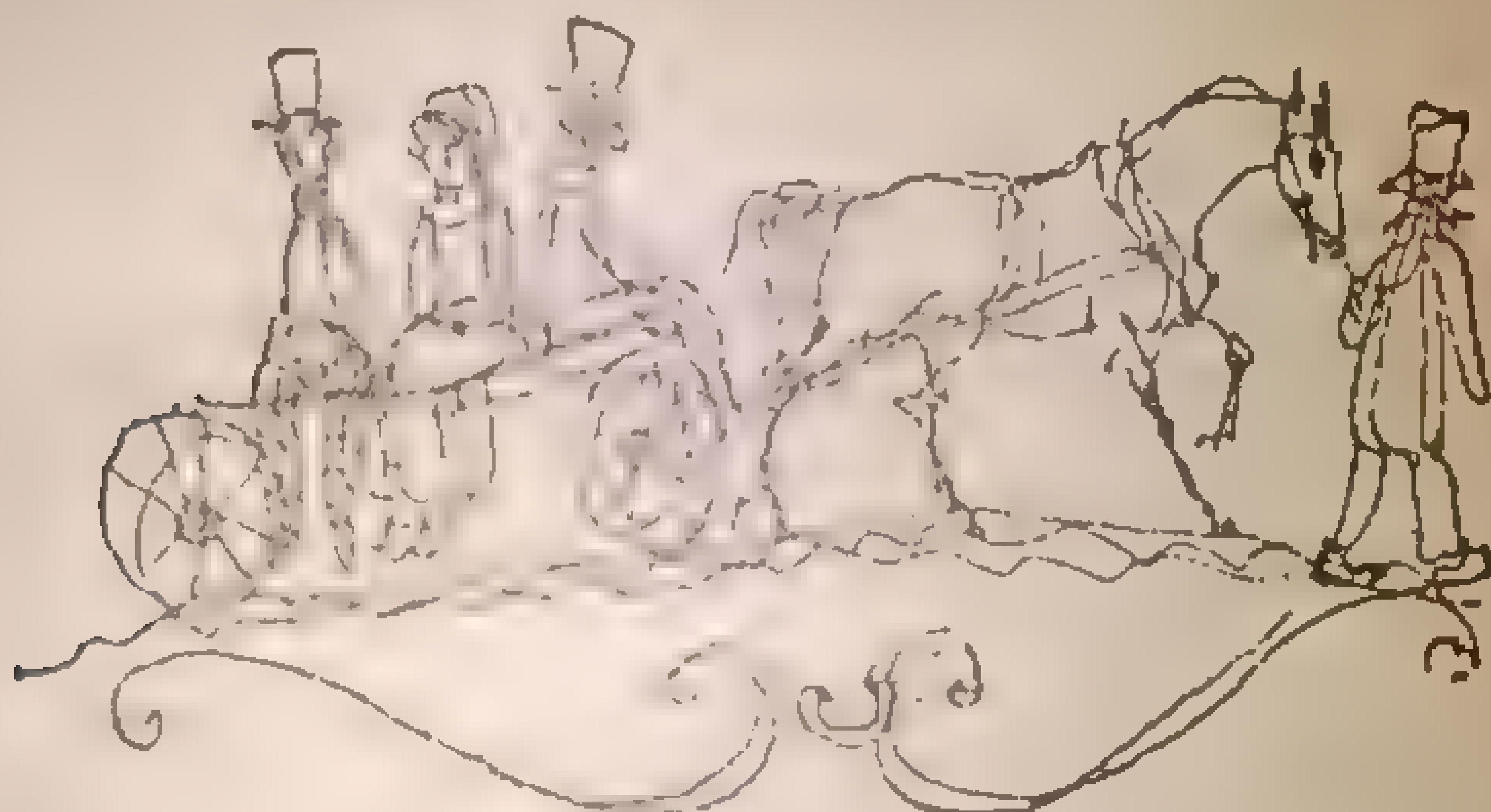
Солнце сияло над замками фата-моргана на Марсовом поле, сияло над маленькой площадью, зажатой высокими домами, на которой росли деревья и плескался фонтан. Светило солнце и на каштан, но ветви его поникли, листья увяли, а ведь еще вчера дерево зеленело так свежо, так радостно, точно сама весна.

«Каштан погиб, — говорили люди, — исчезла дриада, промелькнула, как легкое облачко, неизвестно куда».

На земле валялся увядший, смятый цветок каштана, и даже живой воде не удалось бы вернуть его

к жизни. Скоро на него наступила чья-то нога, и его втоптали в песок.

Все это произошло на самом деле во время Всемирной выставки в Париже в 1867 году. Случилось это в наши дни, в дни чудесных, сказочных перемен, и мы сами были тому свидетелями.



ВОДУ ЗАПЕРЛИ

Давным-давно возле Тавистока работали две девушки, Бет и Молли. А вы, наверное, знаете, что в давние времена во всем Девонширском графстве вряд ли нашелся бы хоть один дом без своего домового, или, как их еще звали, брауни.

Встречались еще разные паки, эльфы и водяные, но они не очень-то походили на домовых. А помните хилтонского брауни? Вот вроде него!

Бет и Молли были девушки прехорошенькие, и обе очень любили потанцевать. Но вот что было странно: у других девушек, например, частенько не хватало денег даже на цветную тесьму или на новые ленты и гребенки для волос. Бывало, они из-за этого нет-нет да и всплакнут украдкой. А у Бет и у Молли всегда находился лишний пенни, и они что хотели, то и покупали у деревенского коробейника.

И никто не мог у них выпытать, откуда они берут на это денежки. Это был их секрет! А выдать секрет — значит вспугнуть удачу; уж кто-кто, а они хорошо это знали.

Каждый вечер, перед тем как идти наверх спать, они ставили перед каминной решеткой в кухне низкое деревянное ведро с водой. Наутро ведро оказывалось пустое, а вместо воды на дне его лежала серебряная монетка. Только, конечно, никто, кроме них, не знал про это.

Как-то раз девушки вернулись с танцев очень поздно и сразу легли спать. Вдруг Бет услыхала шум, словно кто-то колотил маленькими кулачками в кухонную дверь. Она села на кровати и прислушалась. Стук раздался снова, и она различила громкие высокие голоса:

— Воду заперли! Воду заперли!

— Проснись, Молли! — зашептала Бет, тряся Молли за плечо. — Это, наверное, наши брауни. Мы забыли оставить им воду!

Но Молли в ответ только повыше натянула на голову одеяло и сказала, что ни за что на свете не вылезет из теплой постели даже ради всех брауни со всего Девоншира.

Бет посидела, послушала, как брауни стучат в дверь и кричат, и, наконец, сама встала с постели и спустилась вниз.

В кухне она никого не увидела, но по углам кто-то шуршал и шептался тоненькими голосками. Она сняла крышку с большой бочки и стала переливать из нее воду в низкое деревянное ведерко. А пока переливала, все время прислушивалась, о чем шепчутся по углам брауни. Оказывается, речь шла о том, как наказать Молли за то, что она не захотела вылезать из теплой постели "даже ради всех брауни со всего Девоншира".

Один сказал, что ее надо за это несколько раз ущипнуть побольней. Другой захотел, чтобы она ослепла на один глаз. Брауни долго спорили и наконец сошлись на том, что самое худшее для Молли наказание — чтобы она больше не могла танцевать!

И они решили сделать ее хромоножкой на семь лет. Через семь лет с нее можно будет снять это наказание, но для этого потребуется трава со странным названием "кискиласкибрысь".

Так все и сказали, громко и по слогам:

— Киски-ласки-брысь!

Услышав, какое ужасное наказание грозит Молли и какое длинное название у травы, которая поможет снять это наказание, Бет очень испугалась. Она испугалась, что

тут же забудет это длинное и странное слово и тогда не сумеет помочь бедной Молли.

Поэтому она скорее побежала наверх, в спальню, все время повторяя про себя это слово, и стала будить Молли, чтобы сказать это слово ей. Но Молли не хотела просыпаться. И чем больше Бет трясла ее за плечо, тем выше Молли натягивала себе на нос одеяло.

А когда утром Бет проснулась, она не могла вспомнить ни одной буквы из этого слова.

Так бедная Молли стала хромоножкой.

Прошло семь лет, и однажды Молли гуляла одна далеко от дома в поле. Вдруг она увидела посреди поля большой гриб. Она наклонилась, чтобы сорвать его, но гриб подпрыгнул и обернулся чудным маленьким человечком. Человечек выкрикнул какое-то чудное длинное слово, которое Молли никогда раньше не слыхала, и стегнул ее по больной ноге какой-то чудной длинной травой.

— Кискиласкибрысь! — выкрикнул человечек, и Молли тут же перестала хромать и побежала домой бегом.

С того дня они с Бет опять стали ходить на танцы.

БАБУШКИН ДЕДУШКА

Английские
народные сказки

1

Киев
Фирма "Доверие"
1992

КЕЙТ-ЩЕЛКУШЕЧКА

Жили себе король с королевой. У короля была своя дочь, а у королевы своя. Дочь короля звали Энн, а дочь королевы — Кейт. Энн была красивее, чем Кейт, но сводные сестры любили друг дружку, как родные. А королева возненавидела падчерицу за то, что та была красивее родной дочери, и решила сглазить ее. Пошла она к птичнице, которая умела колдовать, и велела:

— Сделай мою падчерицу такой уродливой, чтобы все отворачивались от нее.

Птичница согласилась. Говорит:

— Пришлите ее мне завтра поутру натощак.

Рано-утром королева будит Энн:

— Сходи, деточка, в долину к птичнице. Принеси свежих яиц на завтрак.

Девушка пошла. Но, проходя через кухню, увидела на столе корку хлеба. Взяла ее и съела.

Приходит к птичнице и просит у нее яиц, как было велено. Птичница говорит:

— Подними крышку вон из того котла и загляни туда.

Девушка так и сделала, но с ней ничего не произошло. Тогда птичница сердито проворчала:

— Иди домой и передай мачехе, чтобы лучше запирала кладовку с продуктами.

На следующий день королева опять посылает Энн к птичнице. На этот раз сама проводила падчерицу за дверь, чтобы та ничего не успела съесть. Но по дороге Энн увидела крестьян — они собирали горох. Девушка была приветлива ко всем и остановилась поговорить с ними. Крестьяне угостили ее горсткой гороха.

Приходит Энн к птичнице, а та опять загадывает:

— Подними крышку вон того котла и загляни в него.

Энн подняла крышку, заглянула, но и на этот раз с ней ничего не случилось. Птичница рассердилась и говорит:

— Передай мачехе, что без огня котел не закипит.

Девушка пришла домой и передала эти слова.

На третий день королева сама отвела Энн к птичнице. На этот раз, когда она сняла крышку с котла, ее хорошенькая головка слетела с плеч, а вместо нее выросла овечья голова.

Королева вернулась во дворец рада-радешенька. Но ее дочь, Кейт, ужаснулась, когда увидела, что случилось с сестрой. Достала она кусок тонкого полотна, обмотала им голову бедняги Энн, взяла ее за руку, и пошли они вдвоем куда глаза глядят в поисках счастья.

Вот идут они, идут и приходят к старинному замку. Постучала Кейт в дверь, просится переночевать.

— Я, — говорит, — с больной сестрой.

Впустили их. Оказалось, это королевский замок. И было у этого короля два сына. Один — тяжело болен. Лежит бедняга совсем немощный, на ладан дышит. И никто не знает, что это за болезнь и откуда она взялась. Кроме того, престранные вещи происходили в замке: тот, кто оставался на ночь возле больного королевича, бесследно исчезал. Вот почему король объявил: "Тому, кто просидит ночь с больным сыном, он даст кошелек серебра".

Кейт была храброй девушкой, а потому и согласилась:

— Разрешите я посижу с королевичем.

До полночи все было хорошо. Но когда часы на башне замка пробили двенадцать, принц поднялся, будто и не болел вовсе, оделся и сошел вниз. Кейт последовала

за ним, но он не замечал ее. Принц пошел к конюшне, оседлал коня, позвал своего гончего пса, вскочил в седло, а Кейт — смелая душа — тоже вскочила в седло позади него. Поскакали они к зеленому лесу. А там тропинка сквозь чащу. Конь скачет дальше и дальше, ветки орешника бьют Кейт по лицу, а она срывает на ходу орехи и прячет их в фартук. Приблизились они к зеленой горе. Остановил королевич коня.

— Гора, гора, откройся и впусти меня, моего коня и моего пса.

А Кейт:

— И девушку, что сидит позади.

Гора сразу раскололась, и перед ними предстал просторный, ярко освещенный зал. Въехали они, и королевича сразу окружили прекрасные феи и повели танцевать. А Кейт спряталась за дверью. Прошел час: королевич все танцует. Танцевал до тех пор, пока совсем обессилел и упал на диван. Феи начали обмахивать его веерами. Королевич пришел в себя и — опять стал танцевать.

Но вот запел петух. Королевич мигом вскочил в седло своего коня и помчался домой. Ну, а Кейт села позади него. Поехали в замок, королевич упал на кровать, лежит, как неживой.

Приходят утром король с королевой. Кейт сидит возле камина, орехи щелкает. Говорит им:

— Всю ночь королевич спокойно спал. Но сидеть с ним еще одну ночь не хочу. Разве что вы предложите кошелек золота.

Те согласились.

Вторая ночь прошла, как и первая. В полночь королевич поднялся и опять помчался верхом к зеленой горе танцевать с феями. Кейт тоже поехала с ним и опять по дороге нарвала орехов.

На этот раз девушка уже и не смотрела на принца, — знала, что он будет танцевать до тех пор, пока силы не покинут его. Но она увидела крохотного эльфа с палочкой в руке и услышала, как одна фея говорит ему:

— Если бы этой палочкой дотронуться к бедной сестре Кейт, девушка стала бы, как прежде, красавицей.

Кейт сразу сообразила, как овладеть волшебной палочкой. Она бросила один орех, и он покатился мимо маленького эльфа. Тот — мигом за орехом. А Кейт бросает еще и еще. Эльф гонялся за ними, пока не уронил палочку. Кейт ухватила ее и спрятала в фартук. И вот, как и прошлой ночью, запел петух, и они с принцем ускакали домой.

Вернулась Кейт в замок и сразу же к Энн. Дотронулась трижды палочкой к сестре и — диво-дивное! — овечья голова отлетела, и Энн опять стала такой же красавицей, как и прежде.

На третью ночь Кейт говорит королю с королевой:

— Как хотите, а больше я не буду сторожить королевича. Останусь возле него разве что в том случае, если вы пообещаете женить нас.

Ничего не поделаешь. Согласились король с королевой взять ее в невестки.

И опять королевич поехал на ночной бал. И Кейт с ним. Видит: маленький эльф держит в руках птичку. А одна фея говорит другой:

— Если бы больной принц съел три кусочка мяса этой птички — сразу бы выздоровел.

Кейт опять начала бросать орехи. Маленький эльф — за ними; гонялся, гонялся, пока не выпустил птичку. Девушка поймала ее да в фартук.

Опять пропел петух, и Кейт с королевичем возвратились в замок. Но на этот раз Кейт не села щелкать орехи.

Она мигом разделала птичку и бросила ее варить. Скоро комната наполнилась вкусными запахами. Больной принц пришел в себя и говорит:

— Ах, как хочется есть! Дай мне, пожалуйста, немного еды, той, что так аппетитно пахнет.

Кейт дала. Королевич съел кусочек мяса и поднялся на локте. Говорит:

— Как вкусно! Дай еще.

Кейт поднесла еще кусочек. Королевич после этого сел в кровати. Посидел и опять просит птичьего мяса. После третьего кусочка королевич встал здоровый-здоровехонький, будто и не болел. Приходят утром король с королевой, смотрят — сидит их сын возле камина и вдвоем с Кейт орехи щелкают.

А его брат тем временем увидел Энн и, конечно же, сразу влюбился. Да и кто бы не полюбил такую красавицу? И что же? Выздоровевший сын женился на Кейт, а здоровый королевич взял в жены ее сестру Энн. Жили они прекрасно, искренне любили друг друга и никогда не пили из пустого бокала.

ФОКУСНИК-СВИРЕЛЬЩИК

Есть в Англии морской залив Солент. А на его берегу стоит старинный город Ньютаун. Теперь он уютный, спокойный. А когда-то на его улицах были часто слышны пронзительные крики и визги: в городе развелось множество крыс. Крысы прогрызали двери, стены, пол, пробирались во все кладовки, засеки и сундуки, дочиста съедали все подряд — муку и сыр, крупы и сахар. Даже пивом-медом угощались!..

Но больше всего городским жителям досаждали беспрестанная крысиная беготня и писк. Из-за них люди не слышали друг друга и не могли спать по ночам. А матери глаз не спускали с детских колыбелек. И лишь только кто-то из матерей от усталости прикроет глаза, как в колыбельку мгновенно забиралась крыса. Сидит и рассматривает младенца!

Вы спросите: неужели в том городе не было кошек? Были. И пробовали ловить крыс. Но все зря: грызунов было столько, что кошки в конце концов сбежали неизвестно куда.

А крысоловы?

Приглашали и крысоловов со всей страны. Но и те не смогли ничего сделать против такой напасти. Очень уж много было крыс...

Мэр города и советники с утра до вечера заседали в городской ратуше, сушили себе головы, да ничего не могли придумать. И не удивительно: головы у них были большие, да ума не густо.

Вот как-то сидели они, размышляли, что же делать, вдруг вбегает городской стражник и к мэру:

— Простите, ваша милость, вас хочет видеть какой-то странный юноша.

— Впусти его, — говорит мэр.

Парень вошел. В самом деле, чудаковатый какой-то: одежда из ярких лоскутов — синих, зеленых, красных; в руках свирель, сам высокий, худощавый, а глаза пронзительные, острые. Говорит:

— Я — Фокусник-Свирельщик. Ходят слухи, что у вас в городе развелись крысы. Хотите, за пятьдесят золотых я выведу их всех, так что ни одной не останется?

Мэр и советники обрадовались, но принялись торговаться: жадные были, хоть и богатые. Но юноша настаивал на своем. Пришлось согласиться.

Вышел юноша из ратуши, приложил к губам свирель и заиграл! Над городом поплыла неслыханная музыка — грустная, за душу берет. Пошел он по улицам. А из дворов, подвалов, со всех нор и дырок начали вылезать крысы. Выбегают — и за Свирельщиком. Большие и поменьше, старые и молодые — все хлынули за ним лавой. Морды подняли — слушают свирель! А парень пройдет немного и остановится: ждет, чтобы крысы не отставали.

Прошел он Серебряной улицей, свернул на Золотую. А в конце Золотой улицы — причал, дальше — залив Солент.

Все горожане, затаив дыхание, из окон своих квартир смотрят: что же будет дальше? А крысы так и бегут за юношей!

Вот и берег. Свирельщик прыгнул в лодку и поплыл, и все играет-играет! Крысы, как заколдованные, ничего не видят, только свирель и слышат: так она сладко играет, будто зовет их за собой. Бросились они в воду. А в это самое время отлив — вода упала — увязли крысы и все пропали.

Начался прилив. Развернул Свирельщик лодку, поплыл к берегу. Горожане выбежали на улицы, кричат:

"Слава!" И на радостях шапки вверх подбрасывают. Колокола на церквах бьют. Еще бы: ни одной крысы в городе не осталось!

Подошел юноша к ратуше, а там его уже мэр и советники ждут. Переступают с ноги на ногу, затылки чешут: жаль им пятьдесят золотых отдавать. Из-за крыс, мол, городская казна, совсем оскудела. Где же их взять-то, пятьдесят золотых? Да и за что платить? Только за то, что этот парень поиграл на свирели и покатался на лодке! Это мы и сами могли бы. Вот мэр и говорит:

— Ты же видишь, друг, какие мы бедные. Пятьдесят золотых — это очень большие деньги. Бери двадцать. Больше ты не заработал.

А юноша ему:

— Вы обещали мне пятьдесят. Платите, как договорились. Иначе я так заиграю, что вам не поздоровится.

— Ничего он нам не сделает, — тихо говорит мэр советникам. — Крысы все пропали, их уже не оживить.

А потом с криком обрушился на парня:

— Ах ты негодяй! Ты еще угрожаешь! Вон из нашего города, бродяга!

Улыбнулся юноша.

— Хорошо, — говорит, — я пойду.

Приложил к губам свирель и пошел. Опять запела свирель, только уже весело, оживленно, будто звала танцевать. И на эти мелодичные звуки отовсюду начали выбегать дети — со дворов и домов, маленькие и постарше, школьники и подмастерья.

Смеясь и подпрыгивая, выкрикивая и пританцовывая, мальчики и девочки, взявшись за руки, бежали за Свирельщиком. А тот прошел Золотой улицей и свернул на улицу Серебряную. Она же вела к большому темному лесу. Там росли могучие дубы и развесистые буки, и

тянулся тот лес без конца и края. Именно туда, наигрывая, и направился Свирельщик. А за ним бежала шумная гурьба детей. Вот они уже и в лесу. Еще какое-то время мелькала между деревьями многоцветная одежда Свирельщика и слышался веселый детский смех. Но вот все исчезло, шум отдалился, пока и вовсе затих в лесной чащобе.

Вот тогда-то ужаснулись, будто проснулись, горожане! Вот тогда-то они пожалели, что так неосторожно поступили со своим спасителем...

Но тщетно они всматривались в лес, тщетно прислушивались, не послышатся ли оттуда детские голоса. Никогда больше не привелось им увидеть ни своих детей, ни по-шутовски одетого юношу с волшебной свирелью.

ДЖЕК И ЗОЛОТАЯ ТАБАКЕРКА

Когда-то в старые добрые времена, когда ни меня, ни вас на свете не было, жили себе муж и жена. Родился у них сын. Назвали его Джеком. А дом их стоял в дремучем лесу. Уже парень и вырос, а никогда еще не видел чужих людей, только отца с матерью. Знал он, что есть на свете всякие чудеса, так как перечитал много книг. И очень хотелось ему везде побывать, мир и людей увидеть.

Однажды отец пошел в лес за дровами. Джек и говорит матери:

— Чего мне сидеть здесь, в этой глуши? Скучно здесь и грустно. Пойду я лучше мир погляжу. Людей посмотрю и себя покажу.

Мать ему:

— Ну что ж, сынок, надумал — иди. Пусть тебе сопутствует удача. Но скажи мне, что ты хочешь взять с собой в дорогу: маленький пирог с моим благословением или большой без благословения?

А сын:

— Лучше испеки маленький, но с благословением.

Мать испекла ему небольшой пирог, поблагословила и проводила из дому.

Пошел парень. Встречает в лесу отца. Тот спрашивает:

— Куда это ты, сынок?

Сын ему:

— Хочу, — говорит, — мир посмотреть.

— Ну, что ж, одиноко нам без тебя будет, — говорит отец. — Но иди, коль надумал. Вот возьми с собой эту золотую табакерку, спрячь ее и откроешь лишь тогда, когда беда тебя настигнет.

Взял Джек табакерку, пошел дальше. Долго шел, уже и пирог съел и опять есть захотел. А кругом только лес да лес. Уже темнеть начало, нужно искать место для ночлега. Когда впереди огонек заблестел. Пробрался парень сквозь чащу и увидел большой дом. Постучал Джек. Открывает дверь слуга, спрашивает, чего ему нужно. Джек просится: так и так, пустите переночевать. Человек тот был добрый, пустил парня. Завел его на кухню, накормил, напоил.

А жил в том доме один вельможа. И была у него красавица-дочь. Заглянула она на кухню, увидела Джека, — а он был парень красивый — да и влюбилась в него. А Джек полюбил ее. Вот пошла девушка к отцу и говорит:

— Там пришел парень. И такой красивый, что я бы за него замуж пошла, с вашего позволения..

Пошел отец посмотреть на Джека. Расспросил его — кто он и откуда, потом спрашивает:

— А что ты умеешь делать?

Парень подумал — его спрашивают о том, что он умеет делать по хозяйству, и говорит:

— Все.

А отец девушки ему:

— Ну, когда ты умеешь делать все, то сделай так, чтобы в восемь утра перед домом было большое озеро и чтобы на том озере стоял большой корабль с пушками. И чтобы корабль приветствовал меня двадцатью четырьмя выстрелами из пушек. И чтобы последнее ядро подломило ножку кровати моей дочери. А не сделаешь — распрощаешься со своей головой.

— Сделаю, — говорит Джек. А сам думает: "Пропала моя голова".

Просыпается рано-утром: что же делать? И тут вспомнил про золотую табакерку, которую подарил ему

отец. Говорит себе: "Вот и настигла меня большая беда". Вынул из кармана табакерку, открыл ее, а оттуда — трое красных человечков. Выскочили и спрашивают:

— Чего ты желаешь? Прикажи, и мы все сделаем.

А Джек им:

— Сделайте так, чтобы перед домом было большое озеро, и чтобы на том озере стоял самый большой в мире корабль с пушками, и чтобы корабль тот выстрелил двадцать четыре раза, и чтобы за последним выстрелом пушечное ядро подломило ножку кровати, где спит дочь хозяина.

Человечки говорят:

— Сделаем. А ты спи себе.

Но не до сна Джеку. Лежит, дожидается. Вот часы пробили восемь утра. И сразу же за окном — бах! бах! — громыхнули пушки. Парень бросился к окну, а там — диво-дивное! — озеро, а на нем огромный корабль. Смотрит Джек, удивляется. Он же вырос в лесу и отроду никаких кораблей не видывал.

Оделся Джек, вышел из комнаты. А отец девушки уже стоит, дожидается. Говорит:

— Ну, парень, ты молодец. Сделал все, как следует. Пошли завтракать.

Сели втроем за стол, завтракают.

Отец девушки и говорит Джеку:

— Не забывай, тебе еще два дела нужно сделать. Только тогда я отдам за тебя дочь. Вот тебе второе дело: на версту вокруг выруби и выкорчуй лес, чтобы было ровное поле. Вспаши то поле, посей рожь, и чтобы та рожь созрела, и чтобы ты выкосил ее и сложил в копны. И сделай все это к завтрашнему утру. А не сделаешь — сам знаешь, что тебе будет.

— Сделаю, — отвечает Джек.

Целый день гулял, а ночью, когда остался один в комнате, открыл табакерку и велел человечкам: так и так. Проснулся утром, посмотрел в окно: вокруг поле, а на нем копны ржи.

Отец девушки говорит:

— Молодец. А теперь третье дело. Чтобы завтра здесь стоял роскошный дворец на двенадцати золотых столбах, а перед ним маршировал полк солдат. И чтобы в восемь утра, когда я выйду, все они отдавали мне честь.

Джек ему:

— Сделаю и это.

На следующее утро были и дворец, и солдаты.

Отец девушки говорит:

— Что ж, мое слово — закон. Женитесь.

Отгуляли они свадьбу, живут счастливо.

Но Джека ждала новая беда. Захотел его тесть поехать на охоту. Пригласил он своих друзей и знакомых. И пообещал, что после охоты приедут все посмотреть дворец. Джек тоже поехал — на прекрасном коне, изысканно одет. А слуга убирал его старую одежду, полез в карман и нашел золотую табакерку. Открыл ее, а оттуда выскочило три человечка. Спрашивают:

— Чего желаешь? Прикажи, и мы выполним.

Слуга был коварный. Говорит:

— Перенесите этот дворец далеко-далеко за море.

Человечки ему:

— Хорошо. А тебя тоже перенести вместе со дворцом?

— И меня.

— Ну, полетели.

Дворец в тот же миг поднялся в воздух и полетел далеко-далеко за море.

Вот вернулись охотники после охоты, смотрят — нет дворца. Рассердились гости. Говорят:

— Этот парень нас обманул. Не было у него никакого дворца.

И тесть рассердился. Кричит:

— Опозорил ты меня перед людьми. Больше моей дочери не увидишь. Убирайся прочь, обманщик.

После смягчился немного и говорит:

— Даю тебе двенадцать месяцев и один день — найди дворец и верни его на место. А нет — так и на глаза мои не показывайся.

И пошел бедный Джек на поиски. Долго ехал лесами и полями, через горы и долины. Заехал в такие далекие земли, где и людей уже нет. Видит — какой-то дворец. Он к воротам. Там на страже — кто бы вы думали? — мыша.

Джек спрашивает:

— Чей это дворец? Кто здесь живет?

А мыша ему:

— Его величество король всех мышей.

Джек:

— А можно его увидеть, поговорить с ним?

Мыша пропустила парня. Слуги-мыши провели его к мышиному королю. Тот расспросил Джека, кто он и откуда. Джек рассказал про свою беду, о том, как пропал дворец, и о том, что должен найти его за год и один день. Спрашивает:

— Может вы, ваше величество, знаете, куда он мог подеваться?

Король ему:

— Не знаю. Но завтра я созову всех мышей. Может, кто-то из них видел дворец или хотя бы слышал что-нибудь о нем.

Угостил он Джека вкусным ужином, велел слугам постелить мягкую постель. С утра выходят они на крыльцо, а перед дворцом мыши собрались — видимо-невидимо.

Король спрашивает, не видал ли кто из них дворца на золотых столбах, не слыхал ли что о нем.

— Нет, — отвечают мыши. — Никто не видел и не слышал.

Отпустил их король и говорит Джеку:

— Есть у меня два брата. Один — король всех лягушек, другой, старший, — король всех птиц. Сходи к ним, может, они знают, где твой дворец. Коня своего оставь здесь: вернешься — тогда заберешь. А вместо него возьми одного из моих скакунов и захвати с собой вот этот пирог — отдай его брату, и он сразу узнает, что ты от меня.

Распрощались они, и Джек оседлал королевского скакуна. Возле ворот подбегает к нему мыша и просит:

— Возьми меня с собой. Я тебе пригожусь.

Джек ей:

— Как же я возьму тебя? Нужно спросить разрешения у короля.

— Да ничего. Он не рассердится.

— Ну, тогда прыгай.

Мыша прыгнула, и Джек спрятал ее в кармане. Долго они ехали. И вот прибыли во дворец короля всех лягушек. На дверях лягушка сторожит. Джек рассказал ей, кто он. Просит пустить к королю. Лягушка пропустила, а слуги привели в королевский покой. Король спрашивает, кто он и откуда. Джек рассказал все, подал ему пирог. Король сразу узнал, что он прибыл от брата. Говорит:

— Хорошо, помогу тебе найти твой дворец.

Накормил его, спать уложил. Утром вывел на крыльцо, а во дворе уже все лягушки собрались. Король спра-

шивает, не видел ли кто дворец на двенадцати столбах, или, может, кто слышал о нем. Они отвечают:

— Нет, не видели и не слышали.

Пришлось Джеку ехать дальше. Дали ему нового скакуна и пирог в дар старшему брату, королю всех птиц. Выезжает он с ворот, а лягушка-привратник просит:

— Возьми меня с собой. Я тебе пригожусь.

Джек ей:

— Как же без позволения короля?

А она настаивает. Тогда парень говорит:

— Прыгай.

Лягушка прыгнула, и Джек спрятал ее в кармане. Дорога была длинной. В три раза длиннее, чем к королю всех лягушек. Наконец прибыли они ко дворцу короля всех птиц. На страже у ворот стоит птица — красивая такая, яркая. Пропустила она их к королю. Джек отдал ему пирог, передал привет от брата. Король пообещал:

— Помогу тебе, чем только смогу. Утром расспросим птиц. А сейчас отведи коня в конюшню. Будешь моим гостем.

Поужинали они, спать легли. Поутру выходят на крыльцо, а во дворе полно птиц — слетелись со всего света. Король спрашивает:

— Не видел ли кто из вас дворец на двенадцати золотых столбах?

Птицы отвечают:

— Нет, не видели.

— А все ли вы здесь? — опять спрашивает король. — Что-то орла не видно.

Смотрят, орла и в самом деле нет. Тогда король велел четырем быстрокрылым ласточкам полететь на четыре стороны, разыскать его. Те полетели. На третий день одна нашла его на самом краю света. Не удивительно, что он и

не слышал королевского приказа. Прилетел орел, король спрашивает его о дворце. Орел говорит:

— А как же, видел. Я только что был там, где он стоит.

Король ему:

— Дворец принадлежит этому юноше. Его украли. Отнеси юношу на то место.

Потом король велел зарезать теленка и хорошо подкормить орла — чтобы он не ослаб в такой далекой дороге. Джек уселся на его спине, и они полетели. Долго летели над горами и морями: три дня и три ночи. Вот и дворец. Стали они думать, как проникнуть во дворец и выкрасть золотую табакерку. Мыша и говорит:

— Дай я попытаюсь.

Пустил ее Джек. Пробралась мышь во дворец — никто не заметил. Нашла табакерку, несет. А на ступеньках невзначай упустила ее, и она, звеня, покатилась вниз. Хозяин дворца — тот, что был слугой у Джека, — услышал звон, выскочил из комнаты. Но мышь уже спряталась под ступеньками.

Прибежала она с табакеркой, и орел понес их обратно.

Когда летели над морем, захотелось им рассмотреть ее. Стали передавать друг другу, табакерка выскользнула и упала в море. Что делать? А лягушка Джеку:

— Вот видишь! Я же говорила, что пригожусь тебе. Пусти меня, попытаюсь найти ее.

Джек пустил лягушку в море. Она нырнула, и не было ее три дня и три ночи. Потом вынырнула.

— Ну что? — спрашивают.

— Ничего. Хочу вдохнуть.

Вдохнула, и опять нырнула в глубины морские. Два дня и две ночи плавала, искала. Тогда опять вынырнула,

набрала воздух и снова на дно. Прошел еще один день и одна ночь. Когда появляется с табакеркой на поверхности воды. Нашла-таки!

Полетели дальше. Вскоре прибыли к королю всех птиц. Тот радостный такой, что они с табакеркой. Поздравляет их, расспрашивает. Джек сразу же открыл табакерку и велел трем человечкам:

— Принесите сюда дворец.

Те отправились за море. А бывший слуга Джека уже женился, завел себе придворных, слуг. Вот человечки дождались, когда все они вышли из дворца на лужайку прогуляться. Только двое осталось — кухарка да судомойка. Человечки спрашивают у них:

— Хотите остаться здесь, или вернуться вместе со дворцом домой?

Те отвечают:

— Хотим домой.

Дворец сразу поднялся в воздух и полетел. Бывший слуга, его жена и придворные бросились за ним вдогонку. Да разве догонишь! А кухарка и судомойка смеялись и махали им руками из окон.

Прилетел дворец, опустился. Джек показал его королю, поводил его по роскошно убранным залам. Смотрит король, удивляется. Долго бы они там праздновали, но Джек вспомнил: время на поиски уже заканчивается, скоро проходит год и один день. Нужно торопиться домой, к жене.

На следующее утро он распрощался с гостеприимным хозяином, королем всех птиц, поблагодарил его за все и велел человечкам перенести дворец к королю всех лягушек. Те перенесли. Они устроили там банкет и полетели к королю всех мышей. Тот тоже принял их, как следует. Оставил Джек у него дворец, взял табакерку, сел

на своего коня и подался домой, к жене и тестю. Долго ехал. Наверное заблудился бы, если бы не те человечки: они ему дорогу показывали. Приезжает он, усталый, весь в лохмотьях. Тесть его и на порог не пустил. Говорит:

— Не нашел дворец, так иди себе на все четыре стороны.

И дочь свою закрыл в комнате, чтобы она не убежала с мужем.

Тогда Джек вынул золотую табакерку и велел человечкам немедленно перенести дворец сюда. И не успел он глазом мигнуть, как дворец уже стоял посреди двора, будто вырос, сверкая своими золотыми столбами-колоннами.

Видит тесть: ничего не поделаешь. Выпустил дочь. Выбежала она к своему мужу да не одна, а с ребенком на руках. Оказывается, пока Джек ездил дворец искать, у нее родился сын.

Поселились они во дворце и зажили счастливо. Может, и сейчас живут.

РЫБА И ПЕРСТЕНЬ

На севере Англии жил себе влиятельный барон. Он был колдуном и умел предугадывать, что кому на роду написано. Родился у него сын. Растет, вырастает. Вот уже и четыре года ему исполнилось. И решил барон узнать, какая судьба ждет мальчика. Была у него такая книга, и в ней записано все, что должно произойти, на много лет вперед. Развернул он ее и вычитал: сыну суждено жениться на простой девушке, и та девушка только-только родилась в бедном доме; и тот дом стоит там, куда в полдень падает тень от шпиля собора в городе Йорке; отец девушки бедный, у него пятеро детей, а родившаяся малышка — шестая.

Тогда барон приказал оседлать коня, чтобы поехать в Йорк. Добрался он в этот город, нашел дом. Видит — на пороге сидит немолодой человек, грустный такой, печальный, — отец тех шестерых детей.

Соскочил барон с коня, подходит к нему и говорит:

— Чего ты грустишь, добрый человек?

А тот ему:

— Как же мне не грустить, господин. У меня пятеро детей, а жена родила шестого — девочку. Живем в бедности — ни в горшке, ни в мешке. Как я их всех прокормлю?

— Не вешай нос, — говорит барон. — Если это вся твоя беда, то ее можно избежать, я помогу тебе. Отдай мне девочку. Я побеспокоюсь о ней, а тебе облегчение будет.

Отец ребенка так обрадовался, что не знал, как благодарить. Вынес ребенка, отдал барону. Тот на коня и ускакал. Доехал до речки, бросил младенца в воду, а сам домой.

Но девочка не утонула. Ее удержали пеленки. И она плыла до тех пор, пока ее не вынесло на берег как раз у дома рыбака.

Нашел он бедное дитя, пожалел, принес домой:

— Пусть будет вместо дочери.

И стал воспитывать ее, как родную. И выросла она, и стала такой красивой — глаз не отвести.

Как-то барон с друзьями охотился в тех местах. Подъехали они к дому рыбака, попросили напиться. Девушка вынесла им воды. Увидели они ее красоту, удивились.

Один и говорит барону:

— Ты ведь умеешь угадывать судьбу, скажи, кому достанется эта красавица. За кого замуж выйдет?

А барон:

— Тут и угадывать нечего. Наверное, какому-нибудь крестьянину. Но я могу сказать точнее. Нужно только знать ее день рождения. Девушка, скажи мне, когда ты родилась?

— Не знаю, господин, — отвечает девушка. — Пятнадцать лет тому назад меня нашли здесь на берегу.

Барон сразу догадался, кто она. После охоты возвращается он в дом рыбака и говорит девушке:

— Ты мне понравилась. Хочу тебе помочь. Вот я написал письмо своему брату. Он живет в городе Скарборо. Пойдешь к нему и он возьмет тебя на службу. Будешь получать хорошие деньги. Зачем тебе сидеть в этой глуши?

Девушка согласилась пойти в Скарборо, взяла письмо. А в письме том было написано вот что:

"Дорогой брат! Девушку, которая принесет это письмо, немедленно убей.

Твой брат Гамфри".

Девушка пошла в Скарборо. По дороге заночевала в корчме. Той ночью на корчму напали разбойники. Ограбили всех постояльцев. А у девушки, кроме письма, ничего не было. Они его прочитали и возмутились: какая подлость! И вожак разбойников взял лист бумаги и написал новое письмо:

"Дорогой брат! Девушку, которая принесет это письмо, прими, как дорогую гостью и немедленно отдай замуж за моего сына.

Твой брат Гамфри".

Дал он это письмо девушке и велел идти в Скарборо. Пришла она к брату барона. Дала письмо. А у него как раз гостил племянник, сын барона. Брат сразу же велел сыграть свадьбу. И юноша с девушкой поженились в тот же день.

А вскоре приезжает туда и сам барон. Брат ему говорит: так и так, все сделано, как ты велел, — женил я твоего сына на ней. Барон чуть не захлебнулся от злости. Он так старался воспрепятствовать этому, а вышло наоборот. Однако он не смирился с тем, что произошло.

Говорит девушке:

— Пошли прогуляемся.

Привел он ее к скале на берегу моря и хотел толкнуть вниз. Она начала просить:

— Я же не сделала ничего плохого. Не губите меня, пожалуйста. Я сделаю все, что скажете. Уйду на край света и никогда не увижу ни вас, ни вашего сына.

Тогда барон снял свой золотой перстень, бросил его в море и говорит:

— Без этого перстня не показывайся мне на глаза.

И отпустил ее.

Долго бродила бедная девушка, пока не пришла к большому замку. Спросила слуг, нет ли какой-нибудь

работы. Те отвели ее на кухню, и повар взял девушку в помощники.

Однажды посмотрела она в окно, видит — едут гости. И кто же вы думаете? Барон с братом и сыном, то есть ее мужем. Что делать? Ну, думает, на кухне они меня не увидят. Тут принесли большую рыбину, говорят: хозяин велел приготовить ее на обед. А девушка, как вы помните, выросла в семье рыбака и хорошо научилась готовить рыбу. Начала она ее чистить и разделывать. Смотрит — что-то блестит внутри. И что же, думаете, то было? Перстень барона. Тот самый, что он бросил со скалы в море. Ну и обрадовалась же она! На радостях рыбу приготовила очень вкусно.

Понесли ее слуги гостям. Те едят да нахваливают. Спрашивают у хозяина, кто же так мастерски умеет готовить.

Хозяин слугам:

— Позовите повара, который эту рыбу приготовил.

Они позвали девушку.

Нарядилась она как следует, перстень барона одела на палец и заходит в зал.

Увидели ее гости, окаменели от удивления. А барон рассердился, кричит:

— Как ты посмела показаться мне на глаза? Забыла, что я сказал? Теперь прощайся с жизнью.

Девушка же подошла к нему и положила на стол свою руку. А на руке золотой перстень сверкает.

Только тогда барон понял: кому что суждено, того не миновать. Посадил он девушку рядом с собой и огласил всем:

— Это моя невестка, а сыну моему — жена.

Тогда повез ее и сына в свой замок. И стали они жить-поживать и добра наживать.

БАБУШКИН ДЕДУШКА

В прошлое воскресенье рано утречком, часов примерно в шесть вечера, я плыл на всех парусах через горы, когда повстречался вдруг с двумя всадниками в карете, сидевшими верхом на одном муле, и спросил их, не знают ли они точно, на какой час назначена свадьба Билла Хэннефорда, которого отпевали вчера в нашей церкви.

Они ответили, что точно не знают, лучше мне спросить у бабушкиного дедушки.

— А где мне найти его? — спросил я.

— Проще простого, — ответили они. — Он живет в кирпичном доме из цельных бревен, который стоит сам по себе среди шестидесяти точно таких же.

— И в самом деле проще простого, — сказал я.

— Проще не бывает, — сказали они.

И я пошел.

Бабушкин дедушка был великаном, но не просто великаном, а великаном из бутылки. Чуть что, и он лез в бутылку. Когда я пришел, он, наверное, только что выскочил из бутылки.

— Как поживаешь? — спросил он меня.

— Спасибо, очень хорошо, — ответил я.

— Хочешь со мной позавтракать?

— С великим удовольствием, — ответил я.

Он угостил меня ломтиком пива и кружкой холодной телятины, а собака сидела под столом и подбирала осколки.

— Брысь! — сказал великан. — Она вчера поймала мне на ужин зайца. Если не веришь, пойдем, я тебе покажу.

УМНАЯ ЖЕНА

Жил на свете фермер. Звали его Гобборн Сиер. И был у него сын, по имени Джек.

Однажды он дает сыну овечью шкуру и говорит:

— Иди продай ее, но так, чтобы и деньги выручил, и шкуру назад принес.

Пошел Джек на базар. Да только кто же согласится и деньги отдать, и товар не взять? Потому-то и вернулся он домой ни с чем.

— Ничего не вышло, — говорит.

А отец ему:

— Попробуй еще завтра.

Пошел парень на следующий день. Опять никто не покупает так, как ему велено. Возвращается, а отец:

— Сходи еще и завтра. Может, все-таки повезет.

Идет парень третий раз. Думает: "Все равно ничего не выйдет. Вернусь домой ни с чем, отец обругает, а то и побьет. Пойду, пожалуй, куда глаза глядят".

Подошел он к мосту. Облокотился на поручни, стоит, голову повесил. Жаль ему дом оставлять. Стоит и думает: "Бежать из дому или нет?"

А у моста девушка белье стирала. Посмотрела на него и спрашивает:

— Что с тобой? На тебе лица нет.

— Как же мне не печалиться, когда отец поручил такое задание — никак не выполнить.

— Какое же это задание?

— Он хочет, чтобы я продал вот эту шкуру, но и обратно ее принес.

— И это все? Так чего же из-за этого нос вешать? Давай сюда шкуру.

Выполоскала ее девушка в речке, шерсть состригла и вернула шкуру юноше.

— Отдай отцу постриженную шкуру и вот эти деньги за шерсть.

Приходит Джек домой.

— Вот вам, отец, и шкура, и деньги.

И рассказывает все, как было.

Удивился отец.

— Умная девушка, нечего сказать. Вот бы жену тебе такую. Может, сосватаешь ее?

Джек отвечает:

— Я с удовольствием взял бы ее в жены.

— Тогда пойди и пригласи девушку в гости. Лучше к ней присмотримся.

Пошел к ней Джек. Говорит: так и так, мол, просим к нам в гости. Девушка поблагодарила.

— Сейчас не могу, — отвечает. — Работы много. А в воскресенье приду.

— Так будет еще лучше, — говорит Джек. — Мы с отцом к тому времени успеем и наварить, и напечь.

Пришла в воскресенье девушка. Посидели за столом, поговорили. Видит отец: и хороша, и умна. Лучше невестки не сыскать. Сосватал ее Джек. Скоро и свадьбу сыграли. Живут они, поживают.

А отец Джека был искусный мастер-строитель. Такие красивые дома строил — глаз не отведешь. Прослышал об этом король. Шлет к нему гонца и просит построить ему дворец, да такой, чтобы лучшего во всем мире не найти.

Отец говорит Джеку:

— Пошли вместе. Будешь мне помогать.

Вышли они. Идут. Дорога далекая. Отец спрашивает:

— Можешь ли сделать так, чтобы дорога короче стала?

Глядит сын: ей конца-края не видно. Говорит:

— Как же, отец, я могу укоротить ее хотя бы на шаг? Такое, наверное, никто не сумеет.

Рассердился отец:

— Возвращайся домой, если ты такой недотепа. Без тебя обойдусь.

Приходит бедный Джек домой, голову повесил. Жена спрашивает:

— Чего это ты вернулся?

Джек рассказывает, что ему отец загадал и что он ему на это ответил.

Жена ему:

— Ничего мудрого здесь нет. Нужно было рассказать отцу сказку. Дорога бы и поуменьшилась.

Вернулся Джек, догнал отца и сделал так, как научила его умная жена. И в самом деле, не успели оглянуться, как пришли к королевскому замку.

Набрали они работников, начали строить. А жена Джека им наказывала: "Смотрите, никого не обижайте, будьте почтительны даже со слугами короля".

Послушали они ее совета. Со всеми были добрые, приветливые. Каждому "доброго здоровья" желают. И их все любят и уважают.

Двенадцать месяцев строили. И получился дворец красивый, как нарисованный. Тысячи людей пришли посмотреть на него. Стоят, любуются и диву даются.

А король такой довольный и радостный. Говорит:

— Молодцы. Завтра получите плату за вашу работу.

Отец ему:

— До завтра я успею еще одно дело закончить. Нужно потолок в одной светлице отделать.

Ушел король. А одна служанка подозвала сына с отцом и шепотом говорит:

— Король вас завтра убьет. Он боится, что вы пойдете в соседнее королевство и построите там дворец еще красивее.

Джек испугался. А отец ему:

— Ничего, на королевское лукавство у нас своя хитрость имеется. Выкрутимся.

На следующий день приходит король. Отец извиняется:

— Простите, ваше величество. Не успели вылепить орнамент на потолке. Нет для этого одного инструмента. Придется послать сына: пусть принесет из дому.

— Нет, нет, — говорит король, — только не сына. Пошли лучше кого-нибудь из работников.

— Они такие [illegible], ваше величество, не так перескажут моей невестке, и она даст не то, что нужно. Придется-таки послать сына.

— Нет, не пущу ни тебя, ни твоего сына. Лучше я своего сына пошлю.

— Будь по-вашему, посылайте своего сына.

Приходит королевич. Мастер ему:

— Скажите моей невестке, ваше величество, пусть даст нам приют в сундуке. А сундук пусть закроет на замок, пока я не вернусь.

Королевич подумал, что приют — это инструмент такой. Поехал к невестке мастера, пересказал все слово в слово, что свекор сказал.

А умная женщина сообразила: над мужем и свекром угроза нависла, спасать их нужно.

Подняла она крышку, а сундук большой и глубокий. Обращается к королевичу:

— Помогите, ваше величество, а то я не достану.

Наклонился королевич в сундук, а невестка его и толкнула в сундук. Закрыла и говорит:

— Ваше величество, здесь вы будете сидеть до тех пор, пока мой муж и свекор живы и здоровы домой не вернутся.

Видит королевич: ничего не поделаешь. Попросил перо и чернил, написал королю: так и так, отпусти тех мастеров, иначе придется сидеть мне в сундуке до конца дней моих.

Что было делать королю? Пришлось по-честному расплатиться с мастерами и отпустить с миром.

Возвращаются они домой, отец и говорит сыну:

— Для такой умной жены, как твоя, нужно построить дворец красивее королевского.

И построили. Да и стали жить поживать, добра наживать.

НОЧНАЯ ПОГОНЯ

Жила-была на свете женщина. Как-то раз, ложась спать, она подумала:

"Завтра я должна встать ни свет ни заря, чтобы вовремя поспеть на базар".

Она собиралась продать на базаре яйца и масло.

Спать она легла рано и проснулась, когда еще было совсем темно. Часов у нее не было, узнавать время по луне и по звездам она не умела, а потому решила, что уже пора вставать, хотя еще и полночь не пробило.

И вот в эту странную темную пору вывела она из конюшни сонного коня, приладила ему на спину две плетеные корзины — с маслом и с яйцами, — накинула себе на плечи плащ, села верхом на коня и отправилась в путь. Путь ее в город лежал через Вересковую Пустошь — странное местечко, совсем не подходящее для ночных прогулок.

Не успела она далеко отъехать, как вдруг услыхала громкий собачий лай и при свете звезд — к счастью, в ту ночь небо было ясное, и звезд высыпало видимо-невидимо — увидела бегущего зайца.

Заяц бросился прямо к ней и, чуть не добежав до нее, вскочил на живую изгородь, всем своим видом словно говоря: "Подойди и возьми меня!"

Женщина эта вообще недолюбливала охоту, поэтому не стала себя долго упрашивать, сняла с изгороди дрожащего зайца, спрятала его в одну из своих корзин и как ни в чем не бывало поехала дальше.

Однако очень скоро она опять услыхала собачий лай и тут же увидела чудного всадника на лошади — ох, вы только представьте себе! — на лошади без головы. Всадник был весь черный, и голова — слава Богу, на месте! —

тоже черная, а на макушке из-под жокейской шапочки торчали рожки. Хуже того, глянув вниз, она увидела, что в стремена он вдел вовсе не ноги, обутые во что-нибудь там, а раздвоенные копыта!

Черного всадника на лошади без головы со всех сторон обступили большие черные псы, сбежавшиеся, верно, на запах зайца. Псы были тоже совсем необычные. На голове у них были маленькие рожки, а когда они вертели хвостами, во все стороны так и сыпались искры, и, принюхавшись, женщина почувствовала запах серы. Страх, да и только!

Но она была женщина храбрая и если уж решила спасти зайца и спрятать в свою корзину, то уж ни за что его не выдала бы. К тому же она знала, что хоть черт и умен, а все-таки не волшебник! Не мог он догадаться, куда девался заяц.

И вправду, черт поклонился ей и очень вежливо спросил, не видала ли она, в какую сторону побежал заяц. Она покачала головой: мол, не видела и не знает. И он затрубил в рог, пришпорил коня без головы и поскакал прочь с Вересковой Пустоши, а черные псы за ним и скоро все скрылись из глаз, чему женщина была очень рада, как вы и сами можете догадаться.

Не успела она опомниться, как вдруг крышка корзинки, в которой, как она полагала, сидел полумертвый от страха заяц, откинулась, и из корзины поднялась прекрасная молодая леди, одетая во все белое.

— Я восхищена вашей храбростью, матушка, — сказала прекрасная леди. — Вы спасли меня от жестоких мучений. Когда я была обыкновенной женщиной, я совершила ужасный грех и была за это наказана. На земле и под землей меня преследовали злые духи, и был только один путь спастись от них — оказаться позади них, когда они

преследуют меня. Сколько лет мне не удавалось это сделать! Теперь вы мне помогли, и я за это награжу вас. Отныне все ваши наседки будут нести по два яйца сразу, ваши коровы будут давать молоко круглый год, а ваш муж ни разу не победит вас в споре!

И с этими словами добрая фея исчезла. Больше женщина ее никогда не видела, но все вышло точно, как обещала фея.

ТРОСТНИКОВАЯ ШАПКА

Ну, слушайте! Жил когда-то один богатый человек, и было у него три дочери. Вот задумал он узнать, крепко ли они его любят. И спрашивает он старшую дочь:

— Скажи, как ты меня любишь, доченька?

— Как жизнь свою! — отвечает она.

— Очень хорошо, — говорит он. И спрашивает среднюю: — А как же ты меня любишь, доченька?

— Больше всего на свете! — отвечает она.

— Очень хорошо, — говорит он. И спрашивает младшую: — А как же ты меня любишь, моя голубка?

— Я люблю тебя, как мясо любит соль, — отвечает она.

Ах как отец рассердился!

— Значит, ты меня вовсе не любишь, — говорит он. — А раз так, не смей оставаться в моем доме!

И он тут же прогнал ее прочь и захлопнул за нею дверь.

Так-то вот. И пошла она куда глаза глядят и все шла и шла, пока не пришла к болоту. Там нарвала она тростника и сплела себе накидку с капюшоном. Закуталась в нее с головы до ног, чтобы скрыть свое красивое платье, и пошла дальше. Долго ли, коротко ли — дошла она наконец до какого-то дома.

— Не нужна вам служанка? — спрашивает она.

— Нет, не нужна, — отвечают ей.

— Мне больше некуда идти, — говорит она. — Жалованья я не прошу, а делать буду, что прикажут.

— Что ж, — отвечают ей, — если хочешь мыть горшки и чистить кастрюли, оставайся!

И она осталась, и мыла горшки, и чистила кастрюли, и делала всю-всю грязную работу. А так как она никому не сказала, как ее зовут, все прозвали ее Тростниковая Шапка.

Вот как-то раз по соседству давали большой бал, и всем слугам разрешили пойти посмотреть на знатных господ. Но Тростниковая Шапка сказала, что очень устала и никуда не пойдет, и осталась дома.

И как только все ушли, она сбросила свою тростниковую накидку, умылась и отправилась на бал. И уж поверьте мне, красивей ее никого не было на балу!

И надо же было так случиться, что сын ее хозяев тоже приехал на бал. Он с первого взгляда полюбил Тростниковую Шапку и весь вечер танцевал только с ней.

Но перед самым концом бала Тростниковая Шапка потихоньку убежала домой. И когда остальные служанки вернулись, она уже успела набросить на себя тростниковую накидку и притворилась спящей.

А на другое утро служанки говорят ей:

— Что вчера было на балу!

— Что? — спрашивает Тростниковая Шапка.

— Знаешь, приехала туда одна молоденькая леди, а уж какая красавица, как разряжена! Наш молодой хозяин глаз с нее не сводил!

— Вот бы мне взглянуть на нее! — говорит Тростниковая Шапка.

— За чем же дело стало? Сегодня вечером опять бал, она, наверное, приедет.

Но когда настал вечер, Тростниковая Шапка опять сказала, что слишком устала и не пойдет со всеми. Однако

не успели слуги уйти, как она сбросила с себя тростниковую накидку, умылась и поспешила на бал.

Молодой господин ее ждал. И танцевал опять только с ней, и не сводил с нее глаз. Но перед самым концом бала Тростниковая Шапка потихоньку ускользнула домой. И когда остальные служанки вернулись, она уже успела набросить на себя тростниковую накидку и притворилась спящей.

На другой день служанки говорят ей:

— Ах, Тростниковая Шапка, вот бы тебе посмотреть на ту леди! Она опять была на балу. А наш молодой хозяин так глаз с нее и не сводил.

— Ну что ж, — говорит Тростниковая Шапка, — я бы не прочь взглянуть на нее.

— Так слушай, сегодня вечером опять бал. Идем с нами! Она, наверное, уж приедет.

Но когда настал и этот вечер, Тростниковая Шапка опять сказала:

— Я очень устала. Если хотите, ступайте одни, а я останусь дома.

Но только они ушли, она сбросила свою тростниковую накидку, умылась и поспешила на бал.

Молодой господин был ей несказанно рад. Он опять танцевал только с ней и глаз с нее не сводил. На этот раз он спросил, как ее зовут и откуда она родом, но она не ответила. Тогда он подарил ей кольцо и сказал, что умрет с тоски, если больше ее не увидит.

И все же перед самым концом бала Тростниковая Шапка опять потихоньку убежала домой. И когда остальные служанки вернулись, она успела набросить на себя тростниковую накидку и притворилась спящей.

А на другой день служанки ей говорят:

— Вот видишь, Тростниковая Шапка! Не пошла вчера с нами, и теперь не видать тебе той леди. Балов больше не будет!

— Ах, как жалко! А мне так хотелось ее увидеть! — ответила Тростниковая Шапка.

Так-то вот.

А молодой господин?

Да чего он только ни делал, чтобы узнать, куда девалась прекрасная леди, но все напрасно. Куда бы он ни ходил, у кого бы ни спрашивал — никто ничего о ней не знал. И он так затосковал, что занемог, слег в постель и даже есть перестал.

— Сварите молодому господину овсяную кашу, — приказали поварихе. — А то как бы не умер с тоски по красавице.

Повариха тут же принялась варить кашу. А в это время в кухню вошла Тростниковая Шапка.

— Что ты варишь? — спросила она.

— Кашу для молодого господина, ответила повариха. — Может, отведает. А то как бы не умер с тоски по красавице.

— Дай-ка я сварю! — попросила Тростниковая Шапка.

Повариха согласилась, хоть и не сразу, и Тростниковая Шапка сама сварила для молодого господина овсяную кашу. А когда каша была готова, она бросила в нее украдкой кольцо.

Вот отнесли кашу больному. Он съел ее и увидел на дне чашки свое кольцо.

— Позовите ко мне повариху! — приказал он. Повариха поднялась к нему.

— Кто варил кашу? — спросил он.

— Я, — соврала она с перепугу.

Но он взглянул на нее и сказал:

— Нет, не ты! Скажи правду, кто ее готовил? Тебе за это ничего не будет.

— Коли так, — говорит она, — ее готовила Тростниковая Шапка.

— Позовите ко мне Тростниковую Шапку! — сказал он.

Вот пришла Тростниковая Шапка.

— Это ты варила мне кашу? — спрашивает юноша.

— Я, — отвечает она.

— А у кого ты взяла это кольцо? — спрашивает он.

— У того, кто мне дал его! — отвечает она.

— Но кто же ты такая?

— Сейчас увидишь!

И она сбросила с себя тростниковую одежду и предстала перед ним в своем красивом платье.

Ну конечно, молодой человек очень быстро поправился, и они решили обвенчаться. Свадьбу хотели справить на славу и гостей созвали отовсюду. Отца Тростниковой Шапки тоже пригласили. Но она так никому и не призналась, кто же она такая.

И вот, перед самой свадьбой, она пошла к поварихе и сказала:

— Будешь готовить мясные блюда, ни в одно соли не клади!

— Невкусно получится, — заметила повариха.

— Неважно, — сказала Тростниковая Шапка.

— Ладно, не буду солить, — согласилась повариха.

Настал день свадьбы. После венчания все гости сели за стол. Но когда они попробовали мясо, оно оказалось таким невкусным, что его невозможно было есть. А отец Тростниковой Шапки отведал одно за другим блюда и вдруг разрыдался.

— Что с вами? — спрашивает его молодой хозяин.

— Ах! — отвечает он. — Была у меня дочь. Однажды я спросил ее, как она меня любит. И она ответила: "Как мясо любит соль". Ну, я решил, что она меня вовсе не любит, и прогнал ее из дому. А теперь вижу, что она любила меня больше всех. Но ее уж, видно, нет в живых.

— Посмотри, отец, вот она! — воскликнула Тростниковая Шапка, бросилась к отцу и обвила его шею руками.

С тех пор все зажили счастливо.

КРАСНОЗУБЫЙ АИН

Калиган был жадный и грубый мальчишка. Он никого не любил — только себя самого. Надоело ему сидеть дома, и он решил уйти куда глаза глядят. И сказала Калигану его мать, старая вдова Мэри-Анна:

— Возьми ковшик и принеси мне из колодца воды. Я испеку тебе пирожок на дорогу. Да смотри, чтобы вода не расплескалась.

Взял Калиган ковшик, пошел к колодцу, кое-как зачерпнул воды и, покуда бежал назад, расплескал всю воду. Только и осталось, что на донышке.

И сказала ему Мэри-Анна:

— Сын мой, я не ела целый день. Дай мне кусочек твоего пирожка.

— Ну нет! — отвечал Калиган. — Мне и самому еле хватит.

И сунул пирожок себе в котомку.

— Так ступай же прочь с моих глаз! — крикнула ему Мэри-Анна. — За то, что ты не дал мне пирожка, я не дам тебе материнского благословения!

— И не надо! — сказал Калиган. Плакать не стану. На что мне твое благословение! Обойдусь без него!

И, беззаботно напевая какую-то песню, он отправился в путь. Шел он, шел по полям, по лесам и видит: у дороги пасутся овцы. И тут же на пригорке сидит старый-престарый пастух.

Калиган подошел к пастуху и спросил:

— Чьи это овцы? Какого хозяина? Не нужен ли хозяину работник?

Пастух посмотрел на него и прошамкал в ответ:

Мой хозяин — Аин,
Краснозубый Аин.
У пяти у царей
Он украл дочерей.
Он им есть не дает,
Он их палками бьет —
Палки золотые,
Шелком обвитые.

"Ну нет, — подумал про себя Калиган. — Не нужно мне такого хозяина!"

И пошел по дороге дальше. Шел он день, шел другой, видит: огромное стадо свиней, и тут же на пригорке сидит свинопас. И спросил он у свинопаса:

— Скажи-ка, дедушка, кто твой хозяин? Не нужно ли твоему хозяину работника?

Свинопас был старый-престарый. Долго он молчал и о чем-то думал. Наконец пробормотал тихим голосом:

Мой хозяин — Аин,
Краснозубый Аин.
У пяти у царей
Он украл дочерей.
Он им есть не дает,
Он их палками бьет —
Палки золотые,
Шелком обвитые.

"Опять этот Аин! — подумал удивленный Калиган. — Нет, не нужно мне такого хозяина. Скорее бы уйти из этих мест!"

И он быстрее зашагал по дороге. И к вечеру увидел стадо коров, а возле них на траве — пастуха с длинной седой бородой.



— Чьи это коровы? — спросил он. — Не возьмет ли меня твой хозяин в работники?

Но пастух еле слышным голосом пропел ему ту же песенку о краснозубом разбойнике Аине, который похитил несчастных девушек, и морит их голодом, и мучит их.

— Надоело мне слышать про этого Аина! — сердито сказал Калиган. — Все Аин да Аин, куда ни пойдешь! Уйти бы от него поскорее! — И быстрее зашагал по дороге.

Но старичок закричал ему вслед:

— Что ты делаешь, безумный? Опомнись! Или ты хочешь погибнуть? Свиньи, коровы и овцы, которых ты встречал по дороге, — безобидные, мирные твари, но те лютые звери, которых ты встретишь теперь, растерзают тебя, как мышонка.

— Выдумывай, трусишка старикашка! — грубо сказал Калиган и пошел, как ни в чем не бывало, вперед.

Но не прошел он и сотни шагов, как вдруг видит: идут на него страшные звери — у каждого по три головы, а на каждой голове по четыре рога, — идут, и рычат, и хотят его съесть.

Он испугался и бросился прочь, через горы, через поля и леса, и вдруг увидел ворота высокого замка. Ворота были распахнуты настежь. Он вбежал туда и очутился в богато убранной комнате. В комнате не было ни единого человека. Он вбежал в другую комнату и там не нашел никого. Он в третью — и та пустая. Где же люди? Он спустился по лестнице в кухню. Там он увидел горбатую старуху, которая сидела около печки и вязала.

— Не гони меня, пожалуйста, добрая женщина! — сказал он, дрожа от страха. — Позволь мне переночевать в этом замке.

— Ладно, оставайся, — сказала старуха. — Никто тебя отсюда не гонит. Но едва ли тебе здесь понравится.

Ведь это замок Краснозубого Аина, а он не щадит никого: глотает и женщин, и стариков, и детей!

Калигану стало еще страшнее, и он кинулся к двери бежать, да вспомнил тех страшных трехголовых чудовищ, которые гнались за ним в поле, и сказал, обливаясь слезами:

— Спрячь меня, бабушка, приюти до утра, до рассвета, а утром я уйду потихоньку!

— Полезай сюда, — сказала женщина и толкнула его в темный угол под лестницу.

Там он улегся и скоро уснул. Но вот лестница заскрипела, и он услышал у себя над головой чьи-то медленные и тяжелые шаги. Это Аин вернулся домой и поднимается по лестнице в спальню. Но почему он остановился на лестнице? Почему он спускается вниз? Вот он на кухне... чего ему нужно? Почему он шарит по всем закоулкам?

И вдруг словно гром прогремел — Аин зарычал позвериному:

— Чую, чую человеческий дух! Будет мне хороший ужин!

Он сунул под лестницу огромную лапищу и вытащил оттуда Калигана. Глянул Калиган и обомлел: Аин — огромный, как дом, разинул рот и щелкает зубами, а зубы у Аина красные-красные, как человеческая кровь. И взмолился Калиган о пощаде. Аин засмеялся и сказал:

— Ладно, я пощажу твою жизнь, если ты отгадаешь одну загадку. Если же нет, не прогневайся.

И снова защелкал зубами.

— Какую загадку? — пролепетал Калиган.

— А вот какую: что дороже золота и краше солнца?

Калиган мгновенно ответил:

— Сладкие медовые пряники лучше всего на земле!

Людоед захохотал и воскликнул:

— Ну, куда тебе, глупцу, отгадать!

Ударил его волшебным жезлом и мгновенно превратил в камень.

Был у Калигана брат, которого звали Гарольд. Он тоже был глупый и жадный. Когда он захотел путешествовать, мать и ему испекла маленький пирожок на дорогу. И сказала: "Отломи мне кусочек, я ничего не ела со вчерашнего дня". И он ответил: "Не дам ни кусочка".

И ушел из дому, даже не взглянув на нее.

И вскоре попал в плен к Краснозубому Аину. Тот загадал и ему загадку:

— Что дороже золота и краше солнца?

И он ответил:

— Медовые пряники!

И Краснозубый Аин посмеялся над ним и превратил его в камень.

Был у бедной вдовы Мэри-Анны еще один сын — самый младший. Звали его Валентайн. Однажды он сказал своей матери:

— Что-то долго не возвращаются братья... Не случилось ли с ними беды? Позволь мне, я пойду искать их. Может быть, им нужна моя помощь.

И сказала ему Мэри-Анна:

— Оставайся, сыночек, со мной. Ты ведь у меня самый младший.

— Нет, матушка, благослови меня в путь. Чует мое сердце, что с ними случилось недоброе.

И сказала ему Мэри-Анна:

— Ну, нечего делать, иди. Только раньше возьми этот ковш и принеси мне воды из колодца. Да смотри не расплескай, не пролей.

И мальчик принес ей воды — полный ковш! Нес осторожно, чтобы не расплескать, не разбрызгать. Она испекла ему пирожок и сказала:

— Дай-ка мне кусочек твоего пирожка. Я не ела сегодня целый день.

— Да возьми себе, родная, хоть весь!

И обняла его вдова Мэри-Анна, и благословила его, и пожелала ему счастливого пути. И пошел он по той же дороге, по которой прошли его братья. Шел он, шел, и захотелось ему есть, и вынул он из сумки кусок пирожка, но только поднес его к губам — подошла к нему горбатая и хромая старуха, протянула руку и сказала:

— Я умираю с голоду. Накорми меня, сынок, дай мне кусочек.

Хотя Валентайн и сам был голоден, но, когда он посмотрел на печальное лицо бедной старухи, ему стало так жалко ее, что он дал ей кусок пирога.

И случилось чудо! Горбатая нищенка превратилась в красавицу фею, ее рваные лохмотья стали роскошной одеждой, и в руке у нее оказалась маленькая волшебная палочка.

— Возьми эту волшебную палочку, — сказала она. — Я добрая фея. Мать благословила тебя и пожелала тебе счастливого пути, и потому тебе будет удача во всех твоих делах и приключениях. Благословение твоей матери привело и меня сюда, на твой путь. Смотри же, не потеряй эту палочку, она скоро тебе пригодится.

И фея растаяла, как облако. А Валентайн весело и бодро пошел дальше. И вот он, подобно братьям, увидел трех стариков пастухов, которые пропели и ему песню о злом великане Аине:

Наш хозяин — Аин,
Краснозубый Аин,

У пяти у царей
Он украл дочерей.
Он им есть не дает,
Он их палками бьет —
Палки золотые,
Шелком обвитые.

И, когда появились страшные трехголовые звери, Валентайн не испугался. Он только взмахнул своей волшебной палочкой, и чудовища сейчас же исчезли. Он бесстрашно подошел к замку Аина и громко, что есть силы, постучал в ворота. К нему вышла седая горбунья и зашептала в испуге:

— Уходи, уходи скорее! Сюда уже приходили какие-то люди, и с ними случилась беда. Аин беспощаден и зол.

Но смелый Валентайн сказал:

— Впусти меня, я никого не боюсь! Уж я покажу твоему Аину, только бы добраться до него! Живым он от меня не уйдет!

Старуха нехотя впустила его и спрятала в чулане под лестницей.

И вот снова заскрипела лестница, и в кухню ввалился Аин. Он громко зачмокал губами и заревел на весь дом:

— Чую, чую человеческий дух! Будет мне хороший ужин!

Сунув под лестницу руку, он вытащил оттуда Валентайна.

— Ну-ка, отгадай мою загадку: что дороже золота и краше солнца?

И отвечал Валентайн не задумываясь:

— Дороже золота и краше солнца, и слаще меда, и лучше всего на земле — благословение любящей матери.

— Отгадал! Отгадал! — завопил людоед и заплакал.

Его красные зубы застучали от страха. Ему издавна было предсказано, что тот, кто отгадает загадку, победит и погубит его. Руки у злодея опустились, и он стал умолять о пощаде.

Но смелый юноша схватил топор и с одного маху отрубил великану голову. А потом взял у старухи ключи, спустился в подвал замка и освободил бедных девушек, которых мучил и терзал великан. С веселыми песнями выбежали они из темницы, прославляя своего избавителя.

Но Валентайну было некогда веселиться и радоваться. Он оставил пляшущих девушек на зеленой лужайке и побежал в старый, запущенный сад, к двум заплесневелым камням, которые валялись под кустами. Камни были холодные, скользкие, по ним ползали жабы и ящерицы. Не медля ни минуты, Валентайн взмахнул своей волшебной палочкой, и камни ожили, зашевелились, запрыгали и превратились в братьев Валентайна. Братья кинулись к Валентайну на шею и горячо благодарили его за то, что он освободил их от чар колдуна.

— Теперь уж мы никогда-никогда не будем причинять нашей матери ни малейшего горя! Теперь мы видим, какая великая сила таится в материнской любви.

Все были счастливы. Юноши и девушки взялись за руки и, смеясь, побежали по лугам и лесам — домой. И как обрадовались их друзья и родные, когда увидели, что они живы, здоровы, свободны и веселы!

И все хвалили смельчака Валентайна. Старая Мэри-Анна до конца своей жизни гордилась его подвигами и постоянно твердила, что трусами бывают только злые люди, а добрые, великодушные, щедрые — все до одного храбрецы.

ГОТАМСКИЕ МУДРЕЦЫ

В местечке Готаме все жители чудаки. Но сами они считают себя большими умниками.

Вы послушайте несколько рассказов про этих умников.

I

Пошел как-то один готамец в город на базар, овцу покупать, и повстречался на мосту с другим готамцем, который в это самое время возвращался с базара.

— Куда путь держишь, соседушка?

— Да на базар, за овцой.

— За овцой? А как же ты ее через реку-то поведешь?

— Ну и чудак ты, сосед! Чего тут мудреного! Как сам иду, так и овцу поведу — по мосту.

— А я не пущу!

— А я проведу!

— Нет, не проведешь!

— Нет, проведу!

И оба так раскричались, будто овца уже была на мосту.

Пока они спорили, с ними поравнялся третий готамец, который вез на лошади мешок муки.

Услыхав их спор, он крикнул:

— Эй, дурни! И чего только вы орете? Придется, видно, мне вас поучить.

Взвалил третий умник себе на спину мешок с мукой, подошел к реке, высыпал из мешка в реку всю муку и сказал:

— А ну-ка, сообразите, сколько теперь в мешке муки?

— Э-э-э, сосед! Да ты что, издеваешься над нами? Сам видишь, мешок совсем пуст! — воскликнули оба умника.

— Правильно ответили! — рассмеялся третий готамец. — Такие же и ваши головы: совсем, совсем пустые!

...Кто же из них был самый умный?

II

Захотелось однажды готамцам, чтобы у них в городе всегда-всегда, и зимой и летом, пела кукушечка.

Построили они на главной площади загон — вот такой, как для лошадей. Потом поймали в лесу кукушечку, принесли ее в этот загон и сказали:

— Сиди тут и пой нам круглый год. А не будешь петь — ни пить, ни есть не дадим тебе!

Сказали и ушли. А кукушка недолго думая взмахнула крылышками и улетела. Загон-то без крыши был!

— Ну и хитрая птица! — удивились готамцы. — Даже из загона удрала.

И они решили поймать другую кукушку и построить для нее загон повыше.

— Из этого ни за что не сбежит! — решили они.

III

Как-то раз пошел один готамец на базар продавать сыры.

Положил он сыры в большую корзину и понес. Но когда спускался с горки, один сыр вывалился и покатился вниз.

— Э, братец, да ты, я вижу, бегать мастер! — сказал, обрадовавшись, готамец и, вынув из корзины остальные сыры, один за другим скатил их с горы. — Бегите-ка сами на базар! — сказал готамец. — А я пойду себе налегке потихонечку. Да смотрите: не удирать! Дожидайтесь меня возле рынка.

И он продолжал свой путь.

Но около рынка он не увидел никаких сыров. Сыры, скатившись с горки, угораздили кто куда: один в лужу, другой закатился под куст, третий застрял в придорожной канаве.

А готамец бегал по рынку и кричал:

— Где тут мои сыры? Где мои сыры?

— Да кто их принес-то сюда? — спрашивали у него.

— "Кто, кто"! Да никто! Мои сыры сами бегать умеют.

— Ну тогда, очевидно, хозяин пришел на рынок раньше своего товара! — с хохотом отвечали ему люди, к которым он обращался.

ВЕЛИКАН С НОГОТОК

Утречком, в прошлое воскресенье, часов так в шесть вечера, плыл я в своей лодчонке по вершинам гор и вдруг вижу — скачут мне навстречу два всадника верхом на одной кобыле. Я у них спрашиваю:

— Скажите, пожалуйста, жива еще та старушка, которую повесили в прошлую субботу за то, что она утопилась в собственной перине?

А они отвечают, что сами-де ничего не знают, но что, если я съезжу к сэру Гаммеру Вансу, тот, наверное, расскажет мне все от конца до начала.

— Но как разыскать его дом? — говорю я.

— О, это очень просто, — говорят они. — Как увидите кирпичный дом, что построен целиком из бревен и стоит один-одинешенек среди сотни таких же точно домов, — значит, вы как раз там, где вам нужно. Постучитесь в водосточную трубу, которой там нет, и спросите шепотом, во всю глотку, самого сэра Гаммера Ванса. Только не испугайте его, потому что он самый храбрый человек во всем королевстве.

— В самом деле, как просто! — говорю я.

— Проще-то ничего и быть не может, — говорят они.

Ну, я и поехал.

А надо вам сказать, что сэр Гаммер Ванс — великан и, как всякий н а с т о я щ и й великан, ростом всего с ноготок. Услышал он скрип колес, да и выскочил из-за двери вместе с пивным бочонком, в котором только что отдыхал.

— Как поживаете? — говорит он.

— Спасибо, — говорю я, — хорошо поживаю.

— Не хотите ли позавтракать со мной?

— Охотно, — говорю я.

Дал он мне толстый ломоть пива и кружку холодной телятины. А под столом сидела собачонка; она подбирала все крошки, которые падали со стола.

— Прогоните ее, — говорю я, — а то она весь ваш завтрак съест.

— Нет, не прогоню, — говорит он. — Она вчера удавила зайца. Если не верите, могу вам его показать: он и сейчас сидит у меня живехонек в корзинке.

И он повел меня в сад и стал показывать всякие диковинки.

В одном углу лиса высиживала орлиные яйца, в другом росла железная яблоня, и на ее свинцовых ветках висели сочные груши; в третьем стояла корзина с тем самым зайцем, которого накануне удавила собачка. А в четвертом углу двадцать четыре цепа обмолачивали табак.

При виде меня они принялись молотить с такой силой, что одна кипа табаку взлетела и пробила насквозь стену, а заодно и маленькую собачонку, пробегавшую за стеной. Услышал я, что собачка воет, перепрыгнул ее наизнанку, а она вырвалась и стала удирать, как будто я ей хуже сделал.

А потом великан с ноготок повел меня в рощу поглядеть на королевских оленей, и тут я вспомнил, что в кармане у меня — разрешение на охоту, подписанное самим королем. Тогда я приложил к своему луку фитиль, взвел стрелу и выстрелил в самую гущу. Семнадцать ребер сломал я на одном боку, двадцать одно с половиной на другом, и все-таки стрела прошла через оленя насквозь и даже на задела его. Хуже всего то, что я потерял стрелу, которую тут же нашел в дупле. Ощупал я ее — липкая; понюхал — пахнет медом. "Эге, — говорю я себе, — да здесь пчелиное гнездо..." — И вдруг из дупла вылетает выводок куропаток. Я давай стрелять. Говорят, я подстрелил восемнадцать штук, но сам я насчитал тридцать шесть, и это не считая мертвого лосося, который в ту минуту перелетал через мост, распустив крылья, и из которого я состряпал самый вкусный яблочный пирог, какой мне доводилось когда-либо есть.

СОРОЧЬЕ ГНЕЗДО

Когда свиньи стихами говорили, а обезьяны трубку курили, куры для храбрости нюхали табак и утки говорили: кряк, кряк, кряк! — пришли птицы со всего света к Сороке и попросили, чтобы она их научила строить гнёзда. В этом деле Сорока была самая искусная из них. И вот она собрала всех птиц вокруг себя и начала показывать, как это делается.

Прежде всего она намесила глины и сделала из неё что-то вроде круглой лепёшки.

— А, вот как это делается! — сказал серый Дрозд и улетел.

И с тех пор серые дрозды так и строят свои гнёзда.

Затем Сорока взяла несколько прутиков и уложила их кругами в этой лепёшке из глины.

— Теперь я знаю всё, — сказал чёрный Дрозд и улетел.

С этой самого дня чёрные дрозды так и стали строить свои гнёзда.

Затем Сорока положила на прутики другой слой из глины.

— О-о, это же совсем просто! — сказала мудрая Сова и улетела.

С тех пор совы никогда по-другому не строили свои гнезда.

Потом Сорока взяла несколько прутиков и опять их обвила вокруг гнезда.

— Вот это то, что нужно! — сказал Воробей и улетел.

И до сих пор у воробьиных гнезд снаружи торчат прутики.

А Сорока и на этом не успокоилась: собрала она пёрышки и пушинки, выложила ими гнездо внутри, и в нём стало тепло.

— Это мне подходит! — воскликнул Скворец и улетел.

И вот теперь у скворцов очень теплые и уютные гнезда.

Время шло, и мало-помалу каждая птица узнавала, как построить себе гнездо. Но ни одна из них не имела терпения дождаться конца всей работы.

А Сорока так долго трудилась и показывала свое мастерство, что когда наконец осмотрелась кругом, то около неё осталась только одна птица. Это была Горлица. Она совсем не смотрела на то, как Сорока строила свое гнездо, а беспрестанно выкрикивала:

— Возьми два, Таффи! Возьми два!

Сорока услышала крик Горлицы в то время, когда укладывала прутик поперёк гнезда. Поэтому она сказала: "Хватит одного!" Но Горлица опять крикнула:

— Возьми два, Таффи! Возьми два!

Тогда Сорока рассердилась и сказала:

— Я говорю тебе, достаточно одного!

Но Горлица опять крикнула:

— Возьми два, Таффи! Возьми два!

Сорока совсем обиделась и улетела прочь. После этого она уже никогда не показывала птицам, как надо строить гнезда.

А Сорока и на этом не успокоилась: собрала она пёрышки и пушинки, выложила ими гнездо внутри, и в нём стало тепло.

— Это мне подходит! — воскликнул Скворец и улетел.

И вот теперь у скворцов очень теплые и уютные гнезда.

Время шло, и мало-помалу [illegible] птица узнавала, как построить себе [illegible] из них не имела терпения [illegible],

А Сорока [illegible] показывала свое мастерство, что [illegible] кругом, то около неё [illegible] это была Горлица. Она совсем не [illegible] строила своё гнездо, а беспрестанно [illegible]:

— Возьми два, Т[illegible] возьми два-а-а!

Сорока услышала [illegible] Горлицы в то время, когда укладыва[illegible]: "Хватит одного!" Но Гор[illegible] опять крикнула:

— Возьми два, Тафви! [illegible] два-а-а!

Тогда Сорока рассер[illegible]:

— Я говорю тебе [illegible]!

Но Горлица опять кри[illegible]:

— Возьми два, Таффи! Возьми два-а-а!

Сорока совсем [illegible]. После этого она уже [illegible], как надо строить гнезда.

Подумала девушка: «Я знаю наверняка, что освобожу своих братьев». И она пошла, разыскала высокое дерево, взобралась на него и начала прясть там пряжу; она не говорила и не смеялась.

И случилось так, что охотился на ту пору как раз в этом самом лесу король, и была у него большая борзая; подбежала она к дереву, на котором сидела девушка, и стала вокруг него прыгать, визжать и лаять. Подъехал король к дереву, увидел прекрасную королевну с золотою звездой на лбу и был так восхищен ее красотой, что спросил ее, не хочет ли она стать его женой. Она ничего не ответила, только слегка головой кивнула. Тогда он взобрался на дерево, снял ее оттуда, посадил на коня и привез к себе домой. И они отпраздновали на радостях пышную свадьбу. Но невеста не говорила ни слова и не смеялась.

Вот прожили они уже вместе два года в радости и довольстве, и начала тогда мать короля — а была она женщина злая — клеветать на молодую королеву; и сказала она однажды королю:

— Да ведь это простая нищенка, которую ты привез с собой, и почем знать, какими злыми делами она занимается втайне от тебя. Если она немая, то могла бы хоть раз засмеяться, а кто никогда не смеется, совесть у того нечиста.

Король верить этому сначала не хотел, но старуха все настаивала на своем, обвиняла королеву в разных недобрых делах и наконец короля убедила; и вот он приговорил ее к смерти.

Уже развели во дворе большой костер, на котором должны были ее сжечь. И стоял король на башне у окна и смотрел со слезами на глазах: он по-прежнему крепко любил королеву. Вот привязали ее к столбу, и стал огонь уже лизать красными языками ее одежду — и случилось это как раз в тот миг, когда минуло семь лет. И вдруг послышался в воздухе шум крыльев — прилетели двенадцать воронов и опустились на землю; и только коснулись они земли, как снова обернулись двенадцатью братьями, которых она спасла. Они разбросали огонь, потушили пламя, освободили свою любимую сестру и стали ее целовать и прижимать к сердцу.

И теперь, когда она могла уже заговорить, она рассказала королю, почему она все время молчала и никогда не смеялась. Узнав, что она ни в чем не повинна, король обрадовался, и стали они жить да поживать в согласии до самой смерти. А злую свекровь привели на суд и посадили ее в бочку с кипящим маслом и ядовитыми змеями, и погибла она лютою смертью.

РАПУНЦЕЛЬ[1]

Однажды жили на свете муж и жена; им давно уже захотелось иметь ребенка, но его все не было; и вот, наконец, явилась у жены надежда, что милостивый господь исполнит ее желание.

---

[1] *Рапунцель* (от лат. rapicium) — сурепица, из семян которой добывают масло.

А было у них в горенке маленькое окошко, оттуда был виден великолепный сад, где росло много прекраснейших цветов и всякой зелени. Но сад был обнесен высокой оградой, и никто не осмеливался в него входить, так как сад этот принадлежал одной колдунье; она обладала большим могуществом, и все на свете ее боялись.

Стояла раз жена у окошка, заглянула в сад и увидела грядку, а рос на ней прекраснейший рапунцель; был он на вид такой свежий и такой зеленый, что ей страсть как захотелось отведать этого рапунцеля. Это желание у нее все с каждым днем возрастало, но так как она знала, что его достать ей никак невозможно, то она вся исхудала, побледнела и выглядела несчастной. Испугался муж и спрашивает:

— Чего тебе, моя женушка, недостает?

— Ах,— говорит она,— если не добыть мне из того сада, что за нашим домом, зеленого рапунцеля и его не отведать, то останется мне одно — помереть.

Муж очень ее любил и подумал: «Уж если жене моей от этого помирать приходится, то я достану для нее рапунцеля, чего бы это мне ни стоило».

И вот перелез он в сумерках через каменную ограду в сад колдуньи, нарвал второпях целую пригоршню зеленого рапунцеля и принес его жене.

Она тут же приготовила себе из него салат и с жадностью его поела. И салат ей этот так понравился, показался ей таким вкусным, что на другой день появилось у нее желание втрое большее, чем прежде. И она не могла найти себе покоя, пока муж не согласился полезть в сад еще раз.

Он пробрался туда в сумерках, пролез через каменную ограду, но сильно перепугался, увидав перед собой колдунью.

— Как ты смеешь лазить в мой сад,— сказала она, гневно на него поглядев,— и красть у меня, как вор, мой зеленый рапунцель? Тебе плохо за это придется.

— Ах,— ответил он,— вы уж меня простите, ведь я решился на это по нужде: моя жена увидала из окошка ваш зеленый рапунцель и почувствовала к нему такую страсть, что, пожалуй, умерла бы, если бы его не отведала.

Гнев у колдуньи немного прошел, и она сказала ему:

— Если это правда, что ты говоришь, то я позволю тебе набрать рапунцеля столько, сколько ты пожелаешь, но при одном условии: ты должен будешь отдать мне ребенка, который родится у твоей жены. Ему будет у меня хорошо, я буду о нем заботиться, как мать родная.

И он со страху согласился на все. Когда жене пришло время рожать и она родила дочку, явилась тотчас колдунья, назвала дитя Рапунцель и забрала его с собой.

Стала Рапунцель самой красивой девочкой на свете. Когда ей исполнилось двенадцать лет, колдунья заперла ее в башню, что находилась в лесу; в той башне не было ни дверей, ни лестницы,

только на самом ее верху было маленькое оконце. Когда колдунье хотелось забраться на башню, она становилась внизу и кричала.

Рапунцель, Рапунцель, проснись,
Спусти свои косоньки вниз!

А были у Рапунцель длинные прекрасные волосы, тонкие, словно из пряжи золотой. Услышит она голос колдуньи, распустит свои косы, подвяжет их вверх к оконному крючку, и упадут волосы на целых двадцать аршин вниз — и взбирается тогда колдунья, уцепившсь за них, наверх.

Прошло несколько лет, и случилось королевскому сыну проезжать на коне через лес, где стояла башня. Вдруг он услышал пение, а было оно такое приятное, что он остановился и стал прислушиваться. Это пела Рапунцель своим чудесным голосом песню, коротая в одиночестве время. Захотелось королевичу взобраться наверх, и он стал искать вход в башню, но найти его было невозможно. Он поехал домой, но пение так запало ему в душу, что он каждый день выезжал в лес и слушал его.

Вот стоял он раз за деревом и увидел, как явилась колдунья, и услышал, как она закричала:

Рапунцель, Рапунцель, проснись,
Спусти свои косоньки вниз!

Спустила Рапунцель свои косы вниз, и взобралась колдунья к ней наверх.

«Если это и есть та лесенка, по которой взбираются наверх, то и мне хотелось бы однажды попытать счастья»,— и на другой день, когда начало уже смеркаться, подъехал королевич к башне и крикнул:

Рапунцель, Рапунцель, проснись,
Спусти свои косоньки вниз!

И упали тотчас волосы вниз, королевич взобрался наверх.

Рапунцель, увидя, что к ней вошел человек, какого она никогда не видела, сначала сильно испугалась. Но королевич ласково с ней заговорил и рассказал, что сердце его было так тронуто ее пением и не было ему нигде покоя, и вот он решил ее непременно увидеть.

Тогда Рапунцель перестала бояться, и когда он спросил у нее, согласна ли она выйти за него замуж — а был он молодой и красивый,— она подумала: «Он будет любить меня больше, чем старуха фрау Готель»,— и дала свое согласие и протянула ему руку. Она сказала:

— Я охотно пойду вместе с тобой, но не знаю, как мне спуститься вниз. Когда ты будешь ко мне приходить, бери всякий раз с собой кусок шелка; я буду плести из него лесенку, и когда она будет готова, я спущусь вниз, и ты увезешь меня на своем коне.

Они условились, что он будет приходить к ней по вечерам, так как днем приходила старуха. Колдунья ничего не замечала до тех пор, пока однажды Рапунцель на заговорила с ней и не сказала:

— Скажи мне, фрау Готель, почему мне тебя тащить наверх тяжелей, чем молодого королевича? Он подымается ко мне в один миг.

— Ах ты, мерзкая девчонка! — крикнула колдунья.— Что я слышу? Я считала, что скрыла тебя ото всех, а ты меня все-таки обманула!

И она вцепилась в ярости в прекрасные волосы Рапунцель, обмотала их несколько раз вокруг левой руки, а правой схватила ножницы и — чик-чик! — отрезала их, и чудесные косы лежали на земле.

И была колдунья такою безжалостной, что завела бедную Рапунцель в глухую чащу; и пришлось ей там жить в большой нищете и горе.

И в тот же самый день, как она прогнала Рапунцель, она привязала вечером отрезанные косы к оконному крючку и, когда явился королевич и крикнул:

> Рапунцель, Рапунцель, проснись,
> Спусти свои косоньки вниз! —

то спустила колдунья волосы вниз.

И взобрался королевич наверх, но не нашел там своей любимой Рапунцель, а увидел колдунью. Она глянула на него своим злобным, язвительным взглядом.

— Ага! — крикнула она насмешливо.— Ты хочешь увезти свою возлюбленную, но красавицы птички нет больше в гнезде, и она уже не поет. Ее унесла кошка, а тебе она выцарапает к тому же глаза. Ты потерял Рапунцель навек, не видать ее тебе больше никогда!

Королевич был вне себя от горя и в отчаянье выпрыгнул из башни, ему удалось сохранить жизнь, но колючие шипы кустарника, на которые он упал, выкололи ему глаза. И он бродил слепой по лесу, питаясь лишь одними кореньями да ягодами, и все время горевал и плакал по потерянной им любимой жене.

Так блуждал он несколько лет в горе и печали и зашел наконец в густую чащу, где жила, бедствуя, Рапунцель вместе со своими детьми-близнецами, которых она родила, с мальчиком и девочкою.

Вдруг услыхал королевич чей-то голос; он показался ему таким знакомым, и он пошел навстречу ему; и когда подошел он ближе, то Рапунцель его узнала, бросилсь к нему на шею и горько заплакала. Но упали две слезинки к нему на глаза, и он снова прозрел и стал видеть, как прежде. И он привел ее в свое королевство, где встретили его с радостью, и они жили долгие-долгие годы в счастье и довольстве.

ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ

Жил на опушке дремучего леса бедный дровосек со своей женой и двумя детьми: мальчика звали Гензель, а девочку — Гретель. Жил дровосек впроголодь; вот наступила однажды в той земле такая дороговизна, что не на что было ему купить даже хлеба на пропитание.

И вот под вечер, лежа в постели, стал он раздумывать, и все одолевали его разные мысли и заботы; повздыхал он и говорит жене:

— Я ничего об этом не знаю,— ответил он,— должно быть, его ночью подменили, когда я спал в лесу.

И сказал разгневанный король:

— Ну, это тебе не так-то легко удастся! Кто хочет получить дочь мою в жены, тот должен добыть мне из ада три золотых волоса с головы черта,— если принесешь, что я требую, то останется моя дочь твоею женой.

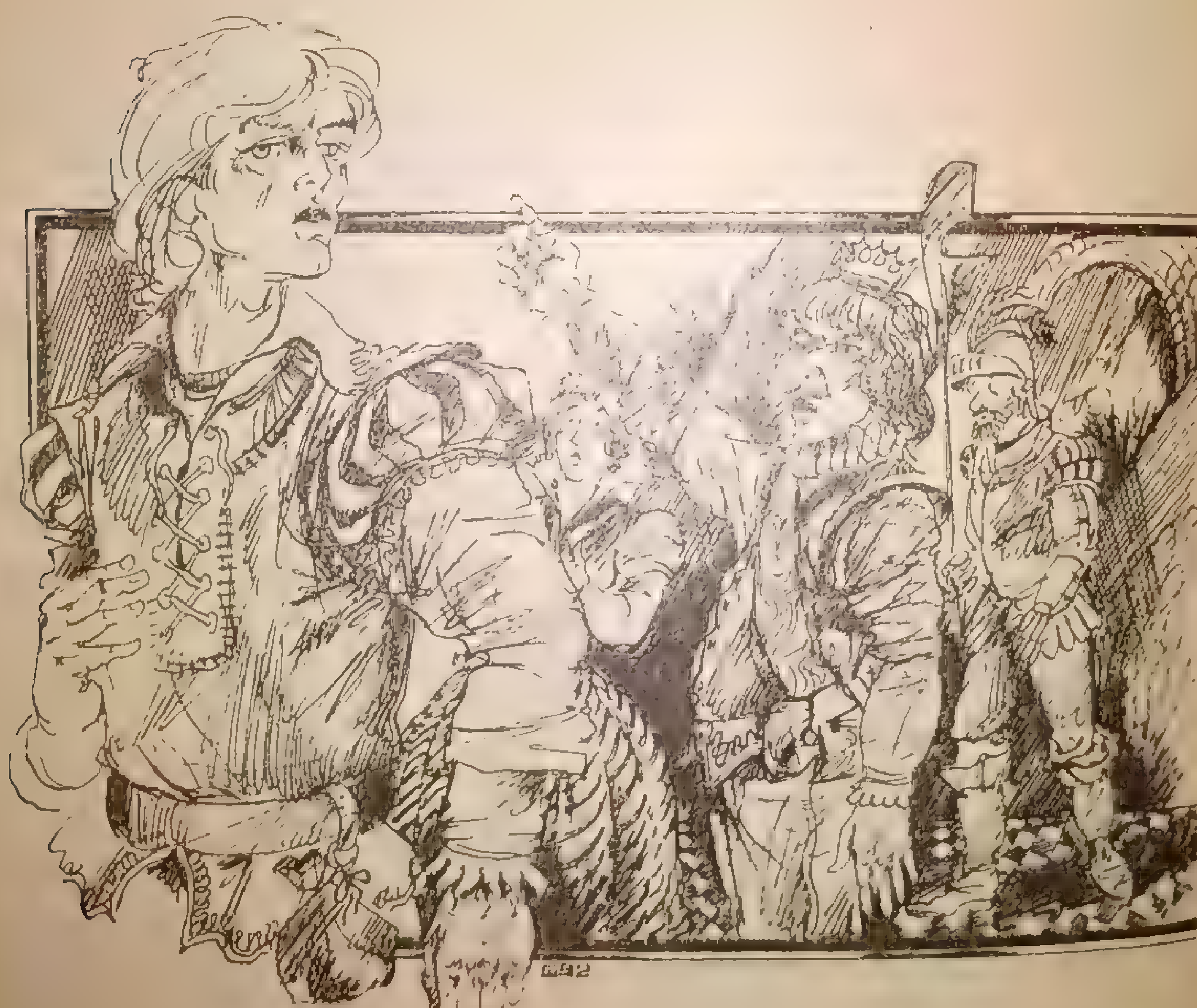
Так думал король отделаться от него раз навсегда. Но счастливец ответил:

— Что ж, золотые волосы я вам добуду, черта я не боюсь.— На том он простился с королем и начал свое странствие.

И привела его дорога к одной столице. Городской привратник начал его выспрашивать, какое он ремесло знает и что умеет делать.

— Я все умею делать,— ответил счастливец.

— Тогда окажи нам услугу,— сказал привратник,— объясни,



отчего наш фонтан на рыночной площади, из которого прежде било вино, ныне иссяк, и даже вода из него не течет.

— Это я вам объясню,— ответил юноша,— подождите только, пока я назад вернусь.

И он отправился дальше и подошел к другому городу; и опять спросил его привратник, какое ремесло он знает и что умеет делать.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
«МЕГАПОЛИС-ЭКСПРЕСС»
В 6 ТОМАХ

ТОМ 1

Русские народные сказки
Сказки братьев Гримм
Сказки Гауфа

МОСКВА
«МЕГАПОЛИС-ЭКСПРЕСС»
1992

КАРЛИК НОС

В одном большом городе Германии много лет тому назад скромно и тихо жил сапожник со своей женой. Сапожник сидел обыкновенно в лавке на углу улицы и чинил башмаки и туфли. Случалось ему иногда шить и новую обувь, если находились заказчики, но для этого ему каждый раз приходилось покупать кожу, так как он по бедности не имел запасов. Жена сапожника торговала овощами и фруктами, которые разводила в небольшом садике за городом, и многие охотно покупали у нее, так как она всегда была опрятно одета и умела заманчиво раскладывать свой товар.

У сапожника был сын, хорошенький двенадцатилетний мальчик, очень стройный, даже высокий для своего возраста. Он обыкновенно сидел на рынке подле матери и относил на дом купленную женщинами или поварами провизию. Редко случалось ему возвращаться без какого-нибудь подарка: то, бывало, принесет какой-нибудь цветочек, то кусок пирога, а то и небольшую монету, потому что жители города, покупавшие у его матери, очень любили красивого мальчика и почти никогда не отпускали его с пустыми руками.

Однажды жена сапожника сидела, по обыкновению, на рынке, а пред нею стояло несколько больших корзин с капустой, разными кореньями и семенами, а в одной корзинке, поменьше, лежали груши и абрикосы. Маленький Яков — так звали мальчика — стоял подле матери и звонким голоском зазывал покупателей:

— Пожалуйте сюда! Посмотрите, какая хорошая капуста, какие душистые коренья! Не угодно ли груш, яблок и абрикосов? Матушка дешево продает, купите!

Как раз в это время на рынке показалась какая-то странная старуха; платье на ней было оборвано, лицо маленькое, острое, сморщенное от старости, с красными глазами и длинным крючковатым носом. Она шла, опираясь на длинную палку, хромала, шаталась из стороны в сторону, как будто на ногах у нее были колеса, того и гляди, она могла шлепнуться острым носом на мостовую.

Жена сапожника с удивлением поглядела на нее. Вот уже шестнадцать лет, как она ежедневно сидит на рынке, но ни разу не приходилось ей видеть такой странной особы. Она невольно вздрогнула, когда старуха, хромая и пошатываясь, подошла к ней и остановилась перед ее корзиной.

— Это ты — Анна, торговка зеленью? — спросила старуха неприятным, хриплым голосом, беспрестанно тряся головой.

— Да, это я,— отвечала жена сапожника.— Что вам угодно?

— А вот посмотрим, есть ли у тебя то, что мне нужно,— отвечала старуха и, нагнувшись над корзинами, стала рыться в них своими безобразными черными руками. Она вытаскивала из корзины коренья, поочередно подносила их к своему длинному носу и обнюхивала.

Жене сапожника было неприятно видеть, как старуха обращается с ее овощами, но она ничего не посмела сказать: ведь каждый покупатель имеет право осматривать товар, и к тому же старуха внушала ей какой-то непонятный страх.

Наконец, старуха, перерыв всю корзину, пробормотала:

— Дурной товар, дрянные коренья! Нет ничего, что мне нужно. То ли дело пятьдесят лет назад... Дурной товар... дурной.

Слова эти рассердили маленького Якова.

— Ах, ты, бесстыжая старуха! — вскричал он с досадой.— Сперва рылась своими безобразными пальцами и перемяла всю зелень, потом перенюхала все своим длинным носом, так что всякий, кто видел это, не захочет покупать у нас, а теперь еще ругает наш товар! У нас сам герцогский повар покупает, не то что такие нищие, как ты.

Старуха покосилась на смелого мальчика, засмеялась противным смехом и сказала своим хриплым голосом:

— Вот как, сыночек! Так тебе не нравится мой прекрасный длинный нос? Погоди, и у тебя будет такой же, до самого подбородка!

Сказав это, она перешла к другой корзине, в которой лежала капуста, и снова стала перебирать руками великолепные белые кочни, сжимая их так, что они громко трещали, после чего в беспорядке бросала их назад в корзину и говорила:

— Плохой товар... скверная капуста.

— Да не качай ты так безобразно головой! — воскликнул боязливо мальчик.— Шея у тебя тонкая, словно кочерыжка, она может переломиться, и тогда голова твоя упадет в корзину. А уж ее-то никто покупать не станет!

— Так тебе не нравится моя тонкая шея? — со смехом пробормотала старуха.— Ну что ж, у тебя ее не будет совсем: голова будет торчать прямо из плеч, чтобы не оторвалась от тела.

— Не говорите таких слов мальчику! — сказала, наконец, жена сапожника, рассерженная этим долгим осматриванием и обнюхиванием.— Если хотите купить что-нибудь, то поторопитесь, ведь вы только разгоняете у меня других покупателей.

— Хорошо, пусть будет по-твоему! — воскликнула старуха с яростным взглядом.— Я куплю у тебя эти шесть кочней. Только вот что: я ведь должна опираться на палку и сама нести их не могу, так вели своему сынку, чтобы он снес мне товар на дом. Я ему за это заплачу.

Мальчуган не хотел идти, потому что боялся безобразной старухи, но мать строго приказала ему отнести капусту, так как жалела слабую, дряхлую женщину. Мальчик повиновался, но со слезами на глазах. Сложив капусту в платок, он пошел вслед за старухой по рынку.

Старуха шла очень медленно, и потому ей понадобилось добрых три четверти часа, пока она добралась до отдаленной части города и остановилась перед маленьким ветхим домиком. Она вынула из

кармана старый заржавленный ключ, проворно всунула его в замочную скважину, и дверь с шумом открылась. Но как же изумился маленький Яков, когда вошел в дом! Внутренность его была великолепно убрана; потолок и стены были мраморные, мебель из лучшего черного дерева украшена золотом и драгоценными камнями; пол же был весь из стекла и такой гладкий, что мальчик несколько раз поскользнулся и упал.

Между тем старуха достала из кармана серебряный свисток. Раздался резкий, пронзительный звук. В ту же минуту по лестнице сбежало несколько морских свинок. Якову показалось очень странным, что они ходили на двух ногах, обутых вместо башмаков в ореховые скорлупки, носили человеческое платье и даже шляпы по последней моде.

— Где мои туфли, негодные твари? — крикнула старуха и так сильно ударила палкой, что свинки с криком подскочили вверх.— Долго ли мне еще стоять тут?

В одну минуту свинки взбежали вверх по лестнице и, вернувшись с парой кокосовых скорлупок, подбитых кожей, проворно надели их старухе на ноги.

И в тот же миг прежней хромоты и пошатывания как не бывало. Старуха отбросила в сторону палку и проворно побежала по стеклянному полу, увлекая за собою маленького Якова. Наконец, они остановились в комнате, наполненной всякой утварью, придававшей ей вид кухни, хотя столы из красного дерева и диваны, покрытые драгоценными коврами, могли стоять и в любой роскошной гостиной.

— Присядь тут,— сказала старуха очень ласково, усаживая Якова в угол дивана и ставя пред ним стол таким образом, чтобы он не мог оттуда выйти.— Присядь! Тебе ведь пришлось нести немалую тяжесть: человеческие головы не очень-то легки.

— Что вы, старуха, что вы такое говорите? — воскликнул мальчик.— Правда, я действительно устал, но ведь то, что я нес, были лишь кочни капусты, которые вы купили у моей матери.

— Как же, много ты знаешь! — сказала старуха со смехом и, подняв крышку с корзины, вытащила оттуда за волосы человеческую голову.

Мальчик чуть не обмер от страха. Он не мог понять, как это все могло случиться, но при этом невольно подумал об опасности, которая угрожала его матери, если б кто-нибудь узнал об этих человеческих головах.

— Надо чем-нибудь вознаградить тебя за то, что ты был такой вежливый,— пробормотала старуха.— Вот подожди немного, я сварю тебе суп, которого ты не забудешь во всю жизнь.

Тут она снова засвистела. Снова появилось несколько морских свинок в человеческих платьях и передниках; за поясом у них торчали кухонные ложки и поварские ножи. За ними вприпрыжку прибежало множество белок в широких турецких шароварах и зеленых

бархатных шапочках. Они, по-видимому, были поварятами. С величайшим проворством они лазали по висевшим на стенах полкам, доставали оттуда кастрюли и блюда, приносили яйца и масло, коренья и муку и все это ставили на плиту.

Старуха же в своих кокосовых скорлупках бегала и суетилась по комнате, и мальчик видел, что она старается сварить ему что-то очень вкусное.

Вот затрещал огонь под плитой, в кастрюле закипело, и приятный аромат разлился по комнате. Но старуха продолжала бегать туда и сюда, морские свинки за ней, и каждый раз, проходя мимо плиты, она совала свой длинный нос прямо в горшок.

Наконец, кушанье закипело, пар густыми клубами повалил из горшка, и пена полилась на плиту. Тогда старуха сняла горшок с плиты, вылила содержимое его в серебряную тарелку и поставила ее перед маленьким Яковом.

— Вот тебе, сыночек! — сказала она. — Покушай этого супа, тогда у тебя будет все то, что тебе так понравилось у меня. Будешь и ты искусным поваром, но коренька, корешка ты не найдешь, потому что его не оказалось в корзине твоей матери!

Мальчик не понял, о чем старуха говорит, да он и не старался понять: все его внимание было поглощено супом, который ему очень понравился. Правда, мать не раз готовила для него разные лакомые блюда, но такого супа он никогда еще не пробовал. От супа исходил чудный аромат трав и кореньев, а сам он был и сладок, и кисловат, и чрезвычайно крепок.

Пока Яков доедал последние ложки лакомого блюда, морские свинки зажгли аравийский ладан, и комната наполнилась голубоватым дымом. Все гуще и гуще становился этот дым, а запах ладана усыпительно действовал на мальчика. Несколько раз он вспоминал, что ему пора возвратиться к матери, но вслед за тем его снова одолевала сильная дремота — он забывался и, наконец, крепко заснул на диване у старухи.

Странные сны мерещились ему. Ему казалось, будто старуха снимает с него платье и одевает в беличью шкуру. Теперь он мог прыгать и лазать не хуже белок. Он жил вместе с белками и морскими свинками, которые оказались очень благовоспитанными особами, и вместе с ними прислуживал старухе. Сначала ему поручали только чистку сапог, то есть он должен был натирать до блеска маслом кокосовые скорлупки, служившие старухе туфлями. Так как в доме отца ему часто приходилось исполнять подобную работу, то он справлялся с нею наилучшим образом. Через год — снилось ему дальше — ему стали поручать более тонкую работу. Вместе с несколькими другими белками он должен был ловить и собирать пылинки, а потом просеивать их сквозь тончайшее волосяное сито. Дело в том, что старуха считала пылинки питательными веществами, а так как она за неимением зубов не могла разжевать ничего твердого, то ей пекли хлеб исключительно из пылинок.

Еще через год он был переведен в разряд слуг, собиравших воду

для питья старухи. Не думайте, однако, что она велела для этого вырыть бассейн или доставить во двор бочку, чтобы собирать в нее дождевую воду,— нет, у нее дело было обставлено похитрее. Белки, а в том числе и Яков, должны были собирать в ореховые скорлупки росу с роз, которую старуха употребляла для питья, а так как она пила очень много, то у водоносов работа была нелегкая.

Прошел еще год, и маленького Якова перевели на домашние работы. Ему поручено было содержать в чистоте пол, но так как последний был из стекла, на котором можно было заметить малейшее дыхание, то и эта работа была тоже не из легких. Чтобы вытирать пол, Яков должен был обертывать ноги старым сукном и разъезжать таким образом по всем комнатам.

Наконец, на пятый год его перевели на кухню. Это была почетная должность, которой можно было достигнуть только после продолжительного искуса. Яков прошел все степени, начиная с поваренка до первого повара, и достиг такой ловкости и уменья во всем, что касается кухни, что часто дивился самому себе. Самые замысловатые блюда, паштеты из двухсот снадобьев, супы из всевозможных кореньев и зелени — все это он научился приготовлять, и притом необыкновенно скоро и вкусно.

Так провел он около семи лет в услужении у старухи. Но вот однажды она сняла кокосовые туфли и, взяв в руки корзину и клюку, собралась уходить. Она приказала Якову, чтобы к ее возвращению он ощипал курицу, начинил ее зеленью и хорошенько зажарил. Так Яков и сделал. Свернув курице шею, он обварил ее кипятком, искусно ощипал перья, соскоблил кожу, чтобы она стал гладкая и нежная, и вынул из курицы внутренности. Потом он начал собирать коренья, которыми должен был ее начинить. В кладовой он увидел стенной шкафчик, дверь которого была полуотворена и которого он до сих пор ни разу не замечал. Он с любопытством заглянул туда. В шкафу стояло множество корзинок, из которых исходил сильный приятный запах. Он открыл одну из корзинок и нашел в ней растение какой-то особенной формы и цвета. Стебли и листья его были голубовато-зеленые, а цветок огненно-красный, с желтой каймой. Яков задумчиво поглядел на этот цветок, понюхал его и вспомнил, что он так же сильно пахнет, как тот суп, которым когда-то угостила его старуха. Запах был так силен, что он должен был чихнуть — раз, другой, и, наконец, он начал чихать так сильно, что проснулся.

Он лежал на диване старухи и удивленно осматривался кругом. «Удивительно, как можно видеть такие вздорные сны,— сказал он самому себе,— и притом с такою ясностью! Ведь я мог бы поспорить, что был белкою, товарищем морских свинок и всякой другой нечисти и, наконец, сделался великим поваром. Вот уж посмеется маменька, когда я ей расскажу все это! Впрочем, не будет ли она меня бранить за то, что я заснул в чужом доме, вместо того чтобы помогать ей на рынке?» С этими мыслями маленький Яков поднялся с места, чтобы уйти домой, но все его тело так онемело от сна, в особенности

затылок, что он не мог повернуть головы. Он невольно рассмеялся над собою и над своею сонливостью, так как каждую минуту стукался носом то о шкаф, то о стену или же задевал им за косяк двери. Белки и морские свинки с визгом бегали вокруг него, как будто желая его проводить. На пороге он обернулся и пригласил их последовать за собой, но они побежали обратно в дом и только издали провожали его жалобным визгом.

Улица, куда привела его старуха, находилась в очень отдаленной части города, и Яков едва мог выбраться из узких переулков. Там была страшная толкотня. По всей вероятности, думал он, где-нибудь поблизости показывают карлика, так как он поминутно слышал возгласы:

— Ах, посмотрите на безобразного карлика! Откуда он взялся? Какой у него длинный нос и как смешно голова торчит у него прямо на плечах! А руки-то, руки какие у него черные, безобразные!

В другое время Яков и сам побежал бы за толпой, потому что очень любил смотреть на великанов, карликов и вообще на всякие диковинки, но на этот раз ему было не до того: он спешил вернуться к матери.

Ему стало как-то жутко, когда он пришел на рынок. Мать все еще сидела на своем месте, и в корзине у нее оставалось довольно много овощей,— следовательно, он проспал недолго. Однако ему еще издали показалось, что мать сидит какая-то грустная, потому что она не зазывала покупателей, а сидела неподвижно, подперев голову рукою; а когда он подошел поближе, то ему показалось даже, что она бледнее обыкновенного. С минуту он простоял в нерешительности, не зная, что делать, но потом собрался с духом, подошел к ней сзади, ласково опустил руку на ее плечо и сказал:

— Что с тобой, мамочка, ты сердишься на меня?

Мать обернулась, но в ту же минуту отшатнулась от него с криком ужаса.

— Что тебе нужно от меня, безобразный карлик? — воскликнула она.— Прочь, прочь от меня, я терпеть не могу подобных шуток!

— Но, мамочка, что с тобой? — спросил Яков с испугом.— Тебе, верно, нездоровится. Зачем же ты гонишь меня, своего сына?

— Я уже сказала тебе: убирайся прочь! — возразила она с гневом.— От меня ты не получишь ни гроша за свои шутки, уродливое создание!

«Вот горе-то, она совсем помешалась! — подумал огорченный Яков.— Как бы мне отвести ее домой?..»

— Милая мамочка, будь же рассудительна, посмотри на меня хорошенько — ведь я твой сын, твой Яков...

— Нет, это уж чересчур! — воскликнула мать, обращаясь к соседке.— Посмотрите на безобразного карлика! Вот он стоит предо мной и разгоняет покупателей да еще осмеливается издеваться над моим несчастьем. Этот бессовестный урод не стыдится уверять меня, будто он — мой сын, мой Яков.

Тут соседки с шумом поднялись и осыпали Якова отборнейшей бранью: ведь торговки, как известно, на этот счет мастерицы. Они ругали его за то, что он смеется над несчастьем бедной Анны, у которой семь лет тому назад украли красавца-сына. Они грозили, если он не уйдет, сейчас же накинуться на него и выцарапать ему глаза.

Бедный Яков не знал, что и подумать обо всем происходящем. Ведь не далее как сегодня утром он пошел с матерью на рынок, помог ей разложить товар, потом отправился за старухой, поел у нее супу, вздремнул маленько и вернулся на рынок, а между тем и мать, и соседки толкуют о каких-то семи годах да еще называют его безобразным карликом. Что же такое случилось с ним? Однако, убедившись, что мать не хочет его знать, он с трудом удержался от слез и печально побрел в лавку, где отец его днем занимался починкой обуви. «Посмотрим,— подумал он,— может быть, он узнает меня; я встану у дверей и заговорю с ним».

Дойдя до лавки сапожника, он остановился перед дверью и заглянул туда. Отец был так углублен в работу, что сначала и не заметил его, но когда случайно взгляд его упал на дверь, он выронил из рук сапог, шило, дратву и воскликнул с ужасом:

— Господи помилуй, что я вижу?

— Добрый вечер, хозяин! — сказал карлик, входя в лавку.— Как идут дела?

— Плохо, очень плохо, маленький господин! — отвечал отец, к великому изумлению Якова: как видно, он тоже не узнавал сына.— Дело у меня плохо спорится, я одинок, становлюсь стар, а держать подмастерья мне не по средствам.

— А разве у вас нет сына, которого вы могли бы мало-помалу приучить к делу? — продолжал расспрашивать Яков.

— Да, был у меня сын, по имени Яков. Теперь он был бы уже стройным, ловким двадцатилетним парнем и мог бы стать мне отличным помощником. То-то была бы жизнь! Когда ему было еще двенадцать лет, он выказывал уже большое проворство и ловкость и кое-что уже смыслил в ремесле. А какой был красавчик! Будь он при мне, у меня было бы столько заказчиков, что я перестал бы чинить старье и шил бы только новые башмаки. Да, видно, этому не суждено исполниться!

— Где же теперь ваш сын? — спросил Яков дрожащим голосом.

— Про то знает один бог! — отвечал сапожник.— Лет семь тому назад его украли у нас на рынке.

— Семь лет! — воскликнул Яков с ужасом.

— Да, маленький господин, семь лет тому назад. Я еще, как сейчас, помню, как жена моя вернулась домой с криком и плачем, что мальчик целый день не возвращался и что она искала его повсюду и не нашла. Я всегда опасался, что так случится. Яков был мальчик красивый, жена гордилась им и была довольна, когда чужие его хвалили. Часто она посылала его с овощами в богатые дома; положим, это было

выгодно, потому что его каждый раз щедро награждали за это, а все-таки не раз говорил я ей: «Берегись, город велик, злых людей много, смотри в оба за Яковом!» Так оно и случилось. Однажды пришла на рынок безобразная старуха, накупила столько овощей, что не могла сама снести их домой; у жены моей сердце жалостливое, вот она и послала с ней мальчика, и с тех пор — только мы его и видели.

— И это случилось семь лет тому назад, говорите вы?

— Да, весной исполнится семь лет. Уж мы искали его, искали, ходили из дома в дом и везде расспрашивали о нем. Многие знали хорошенького мальчика, любили его и помогали нам в розысках, но все было напрасно. Да и старухи, которая купила у нас овощи, также не могли отыскать. Только одна старая-престарая женщина, прожившая уже на свете девяносто лет, сказала, что это, вероятно, злая волшебница, которая каждые пять — десять лет приходит в город, чтобы закупить себе разные травы.

Сказав это, отец Якова снова взял в руки башмак и обеими руками вытащил дратву. И тут только Яков, наконец, понял, что то, что казалось ему сном, произошло в действительности, и что он в самом деле под видом белки прослужил у старухи семь лет. Сердце его преисполнилось горя и гнева: как, целых семь лет его юности украла у него старуха, и что же он получил взамен? Разве то, что он может чистить туфли из кокосовых скорлупок, мести стеклянные полы, или то, что он научился от морских свинок всем тайнам поварского искусства?

Так простоял он несколько минут, раздумывая о своей судьбе, пока отец не спросил его:

— Не угодно ли вам заказать мне что-нибудь, молодой господин? Может быть, пару новых туфель или,— прибавил он, улыбаясь,— футляр для вашего носа?

— Какое вам дело до моего носа? — спросил Яков.— Зачем мне к нему футляр?

— Ну,— возразил сапожник,— у каждого свой вкус. Что до меня, то, будь у меня такой ужасный нос, я бы непременно заказал для него футляр из розовой кожи. Посмотрите, у меня как раз есть хорошенький кусочек. Правда, для вашего носа потребуется не меньше аршина, но зато, по крайней мере, вы будете в безопасности. Ведь вы, наверно, стукаетесь носом о каждый косяк, о каждую карету, от которой хотите посторониться?

Яков онемел от изумления. Он ощупал свой нос. О, ужас! Нос оказался необыкновенно толстым, а длиной — чуть ли не в две ладони. Итак, старуха изуродовала даже его наружность! Вот почему мать не узнала его, вот почему все называли его безобразным карликом!

— Хозяин,— сказал он, чуть не плача,— нет ли у вас маленького зеркальца, в которое я мог бы посмотреть на себя?

— Молодой человек,— возразил отец серьезным тоном,— у вас не такая наружность, чтобы быть тщеславным, и вам, право, не следова-

...о бы поминутно глядеться в зеркало. Постарайтесь отучить себя от этой смешной привычки.

— Ах, дайте мне все-таки посмотреться в зеркало! — сказал карлик.— Уверяю вас, что я делаю это не из тщеславия...

— Оставьте меня в покое! У жены моей есть зеркало, но я не знаю, куда она его запрятала. Если же вам непременно хочется посмотреть на себя, то вон там, через улицу, живет цирюльник Урбан; у него есть зеркало вдвое больше вашей головы; отправляйтесь к нему, а пока прощайте!

С этими словами отец тихонько выпроводил его из лавки, запер за ним дверь на ключ и снова сел за работу. Яков же, глубоко огорченный, отправился через улицу к цирюльнику Урбану, которого еще помнил по прежнему времени.



— Здравствуйте, Урбан! — сказал он ему.— Я пришел попросить у вас маленькой услуги: будьте любезны, позвольте мне посмотреться в ваше зеркало.

— С удовольствием, вот оно! — воскликнул цирюльник, смеясь, и все посетители, которым он собирался брить бороды, расхохотались вслед за ним.— Что и говорить, вы красавец хоть куда, стройный, изящный! Шея у вас, как у лебедя, ручки, как у королевы, а носик такой, лучше которого и не найдешь. Правда, вы немного тщеславны, но так и быть, поглядите на себя! Пусть не говорят добрые люди, что я из зависти не позволил вам полюбоваться собою.

Неудержимый хохот присутствующих сопровождал слова цирюльника. Яков же между тем подошел к зеркалу и взглянул на себя. Слезы выступили у него на глазах. «Да, конечно, в таком виде ты не могла узнать своего Якова, милая маменька! — сказал он самому себе.— Не такой он был в те счастливые дни, когда ты гордилась им перед всеми!»

И действительно, перемена была ужасающая: глаза стали крошечными, как у свиньи, огромный нос висел ниже подбородка, шея как будто совсем исчезла, так что голова прямо торчала на плечах, и

только с трудом он мог поворачивать ее направо или налево. Ростом он был не выше, чем тогда, когда ему было двенадцать лет. Но в то время, как другие юноши от двенадцати до двадцатилетнего возраста растут в вышину, он вырос только в ширину: спина и грудь у него были широкие и выгнутые и походили на туго набитые мешки. Это толстое туловище держалось на маленьких, слабых ножках, которым такая тяжесть была не под силу. Зато его руки были такой же длины, как у обыкновенного взрослого человека. Ладони толстые, коричневые, пальцы длинные, паукообразные, и когда он вытягивал руки, то мог, не сгибаясь, достать ими до полу. Вот каким безобразным карликом стал теперь маленький Яков...

Теперь он вспомнил то утро, когда старуха подошла к корзинам его матери. Все, над чем он тогда смеялся: ее длинный нос, ее безобразные пальцы — все это она передала ему, за исключением длинной, дрожащей шеи.

— Ну что, достаточно налюбовался собой, мой принц? — сказал цирюльник, подходя к Якову и со смехом рассматривая его.— Право, даже во сне нельзя вообразить себе ничего более смешного. А знаете, я вам сделаю предложение, маленький человечек. Хотя моя цирюльня и из лучших, но последнее время у меня не так много посетителей, как прежде, и в этом виной мой сосед, цирюльник Пенкин, который где-то отыскал великана, заманивающего к нему публику. Но великан-то — невелика редкость, а вот такой человек, как вы,— это дело другого рода. Поступайте ко мне на службу, любезный! Вы получите квартиру, стол, одежду — все, что вам нужно, а за это вы будете каждое утро стоять у дверей и зазывать посетителей. Вы будете взбивать пену и подавать гостям полотенце, и будьте уверены, что мы оба не останемся внакладе. У меня будет больше посетителей, чем у соседа с его великаном, а вам все охотно будут давать на чай.

Яков в глубине души был глубоко возмущен этим предложением. Но — увы! — он должен был теперь привыкать к подобным оскорблениям. Поэтому он по возможности спокойно заявил цирюльнику, что у него нет времени для подобной службы, и пошел далее.

Но хотя злая старуха придала ему уродливый вид, она все же, как видно, ничего не могла сделать с его умственными способностями. Это он сознавал вполне ясно, потому что теперь он думал и чувствовал далеко не так, как семь лет тому назад. Яков за этот промежуток времени стал и умнее и рассудительнее. И действительно, он не горевал о своей утраченной красоте, не плакал из-за своего безобразия; его огорчало лишь то, что его, как собаку, прогнали из родного дома. Однако он решился сделать еще одну попытку и поговорить с матерью.

Он подошел к ней на рынке и упросил спокойно выслушать его. Он напомнил ей о том дне, когда пошел за старухой, напомнил ей разные случаи из своего детства, рассказал потом, как прослужил семь лет у волшебницы белкой и как она околдовала его за то, что он посмеялся над ней на рынке. Жена сапожника не знала, что и подумать. Все, что Яков рассказывал о своем детстве, было совершен-

...верно, но когда он заговорил о том, как семь лет прослужил белкой, то она никак не могла представить себе, чтобы это было возможно. А когда она при этом еще взглядывала на карлика, то приходила в ужас от его уродства и окончательно отказывалась верить, что это ее сын. Однако она сочла более благоразумным переговорить с мужем. Собрав свои корзины, она велела Якову следовать за нею, и они отправились в лавку сапожника.

— Послушай,— сказала она мужу,— этот вот человек уверяет, что он наш пропавший Яков. Он рассказал мне все: как его украли у нас семь лет тому назад и как он был заколдован волшебницей.

— Вот как! — с гневом прервал ее сапожник.— Так это он тебе рассказал! Постой же, ты, негодяй! Ведь все это я сам с час тому назад рассказал ему, а потом он отправился к тебе, чтобы надуть тебя. Так ты был заколдован, сыночек? Погоди же, я сейчас сниму с тебя колдовство!

С этими словами он схватил пучок ремней, которые только что нарезал, бросился на карлика и так хлестнул его по спине и длинным рукам, что тот закричал от боли и с плачем побежал прочь.

В городе нелегко было найти человека, который готов был помочь несчастному, обладающему такой смешной наружностью. Бедный карлик оставался весь день без пищи и питья и вечером должен был избрать для ночлега церковную паперть, несмотря на то, что ступени ее были и жестки и холодны.

На другое утро, проснувшись на заре, Яков серьезно задумался о том, как найти себе пропитание, так как отец и мать окончательно прогнали его. Служить вывеской для цирюльника или показывать себя за деньги ему не позволяла гордость. Что же ему оставалось делать? Но тут вдруг ему пришло в голову, что, будучи белкой, он сделал большие успехи в поварском искусстве. Он справедливо полагал, что не уступит в этом деле никакому повару, и решил воспользоваться своими познаниями по этой части.

Как только улицы стали оживляться, он отправился в город. Он знал, что герцог, повелитель страны, был большой любитель хорошего стола и собирал у себя искусных поваров из разных стран света; к его-то дворцу и отправился наш карлик. Когда он подошел к наружным воротам, караульные спросили, что ему нужно, и стали над ним насмехаться. Но он потребовал, чтобы его повели к главному смотрителю над кухней. Караульные расхохотались и повели его через парадные двери. Повсюду на его пути слуги останавливались, глядели на него и со смехом сопровождали его, так что, когда он стал подниматься по лестнице дворца, за ним тянулся уже длинный хвост всяческой прислуги. Конюхи побросали свои скребницы, скороходы бежали со всех ног, полотеры забыли выколачивать ковры; все бегали и суетились так, как будто неприятель стоял у ворот. Со всех сторон раздавались крики: «Карлик, карлик! Видели вы карлика?» Наконец, в дверях появился смотритель дворца с гневным лицом, держа в руке огромный хлыст.

— Что тут за шум? Разве вы не знаете, собаки, что герцог еще спит?

С этими словами он взмахнул хлыстом и не совсем деликатно опустил его на спины ближайших конюхов и привратников.

— Ах, господин! — вскричали они.— Да разве вы не видите? Ведь мы привели карлика, да такого, какого вы, наверно, никогда не видали.

Смотритель дворца теперь только увидел Якова и с трудом удержался от смеха, так как боялся уронить этим свое достоинство. Поэтому он, разогнав хлыстом толпу, повел карлика в дом и спросил, что ему нужно. Но, услыхав, что тот хочет видеть смотрителя над кухней, возразил:

— Ты, верно, ошибся, голубчик! Ведь ты хочешь ко мне, к смотрителю дворца? Ты хочешь сделаться лейб-карликом герцога, не правда ли?

— Нет, господин,— отвечал Яков,— я искусный повар и умею приготовлять всевозможные редкие блюда. Соблаговолите отвести меня к главному смотрителю над кухней; быть может, ему пригодятся мои услуги.

— Как угодно, маленький человек, а все-таки ты нерассудительный малый. В кухню — вот выдумал! Ведь, будучи лейб-карликом, ты мог бы ничего не делать, есть и пить вдоволь и носить прекрасное платье. Ну, да мы еще увидим, вправду ли ты настолько искусен, чтобы быть поваром у герцога. А для поваренка ты слишком хорош.

С этими словами смотритель дворца взял его за руку и повел в комнаты главного смотрителя над кухней.

— Милостивый государь! — сказал карлик и поклонился так низко, что коснулся носом ковра, покрывавшего пол. — Не нужен ли вам искусный повар?

Главный смотритель над кухней оглядел его с ног до головы и разразился громким хохотом.

— Как, ты хочешь быть поваром? Неужели ты думаешь, что сможешь достать до плиты, даже ставши на цыпочки и высунув голову из плеч? Нет, крошка, тот, кто прислал тебя ко мне, хотел, видно, посмеяться над тобой.

Говоря это, смотритель над кухней заливался смехом, а смотритель дворца и все бывшие в комнате громко ему вторили.

Но карлик ничуть не смутился таким приемом.

— Послушайте,— продолжал он,— что вам стоит рискнуть парой яиц, небольшим количеством вина, муки и кореньев? Ведь у вас этого добра вдоволь. Прикажите мне приготовить какое-нибудь лакомое блюдо, дайте мне все, что нужно для этого, и оно будет приготовлено на ваших же глазах, да так, что вы сами должны будете сказать: «Он готовит по всем правилам искусства».

Такие слова говорил карлик, и странно было видеть, как он при этом сверкал своими крошечными глазками, как жестикулировал своими тонкими паукообразными пальцами и как поворачивался во все стороны его длинный нос.

— Ладно, будь по-твоему! — воскликнул, наконец, смотритель над

кухней и взял под руку смотрителя дворца.— Что ж, попробуем, хотя бы ради шутки! Пойдемте все на кухню.

Они миновали несколько залов и коридоров и, наконец, пришли на кухню. Это было большое, очень просторное помещение, великолепно устроенное. Под двадцатью плитами горел огонь; посредине комнаты протекал прозрачный ручеек, служивший одновременно и бассейном для рыбы. В шкафах из мрамора и драгоценного дерева были сложены разные припасы, которые необходимо иметь всегда под рукой, а по обеим сторонам кухни тянулись десять залов, в которых хранилось все, что только можно найти редкого и лакомого во всех странах востока и запада. Кухонная прислуга всякого рода бегала туда и сюда, гремела котлами и кастрюлями, вилками и половниками. Но когда главный смотритель над кухней появился среди них, они все безмолвно выстроились в ряд, так что слышен был лишь треск огня и журчание воды.

— Какой завтрак заказал герцог на сегодня? — спросил смотритель у первого повара, заведовавшего завтраками.

— Его высочеству угодно было заказать датский суп и красные гамбургские клецки.

— Хорошо,— продолжал смотритель над кухней.— Слышал ты, что заказал герцог? Считаешь ли ты себя способным приготовить этот мудреный суп? Что касается клецок, то ты, во всяком случае, не сделаешь их — это наша тайна.

— Нет ничего легче! — возразил карлик, к всеобщему удивлению, так как, будучи белкой, он часто готовил это блюдо.— Нет ничего легче: для супа вы мне дайте такие-то и такие коренья, такие-то пряности, кабаний жир и яйца. Что же касается клецок,— продолжал он потише, так, чтобы его могли слышать только смотритель над кухней и первый повар,— то для них мне нужно мясо четырех сортов, немного вина, утиный жир, имбирь и одна травка, называемая «желудочной».

— Да ты, верно, был в ученье у какого-нибудь волшебника! — воскликнул повар с изумлением.— Ведь он назвал все, как есть, а про желудочную травку мы и сами не знали. Нет сомнения, от нее клецки будут еще вкуснее; положительно, ты не повар, а совершенство!

— Никогда бы не поверил этому! — сказал главный смотритель над кухней.— Ну что ж, пусть покажет образец своего искусства. Дайте ему все, что нужно, и пусть он приготовляет завтрак.

Так и было сделано. На плите все приготовили для завтрака, но тут оказалось, что карлик едва может достать до нее носом. Тогда к плите приставили два стула, положили на них мраморную доску, и маленький человечек взобрался на нее, чтобы показать свое искусство. Кругом со всех сторон расположились повара, поварята и всякая другая кухонная прислуга. Все с изумлением глядели, как быстро и ловко все спорилось у него в руках. Когда все нужные приготовления были окончены, он приказал поставить оба блюда на огонь и варить

до тех пор, пока он не велит снять. Потом он начал считать: раз, два, три и т. д., и, когда сосчитал ровно пятьсот, крикнул: «Стой!» Немедленно горшки были сняты с огня, и карлик пригласил смотрителя отведать его кушанье.

Главный повар приказал поваренку принести золотую ложку, сполоснул ее в ручейке и передал смотрителю над кухней. Тот с торжественным видом подошел к плите, зачерпнул ложкой супа, отведал его, зажмурил глаза и даже прищелкнул от удовольствия языком.

— Великолепно, клянусь здоровьем герцога, великолепно! Не отведаете ли и вы, господин смотритель дворца?

Тот поклонился, взял ложку, отведал и в свою очередь пришел в восторг:

— Нет, господин повар, вы, конечно, знаток своего дела, но вам никогда еще не удавался такой суп и такие клецки, какие приготовил этот карлик!

Отведал и сам повар, после чего почтительно пожал руку карлику и сказал:

— Да, крошка, ты знаток своего дела! Эта желудочная травка придает всему какой-то особенный вкус

Как раз в эту минуту в кухню вошел камердинер герцога и объявил, что герцог хочет завтракать. Немедленно блюда были поставлены на серебряные подносы и отосланы герцогу, старший же смотритель над кухней взял карлика под руку и увел в свою комнату, где вступил с ним в беседу. Но не прошло и нескольких минут, как явился посланный от герцога, чтобы позвать к нему смотрителя над кухней. Тот поспешно переоделся в парадное платье и последовал за посланным.

Герцог был в великолепном расположении духа: он съел все, что ему было подано на серебряных подносах, и вытирал себе бороду, когда к нему вошел смотритель над кухней.

— Слушай, смотритель,— сказал герцог,— я всегда был доволен твоими поварами, но скажи, кто сегодня приготовил мой завтрак? С тех пор, как я сижу на троне моих предков, я никогда не ел ничего подобного. Скажи, как зовут этого повара, чтобы я мог послать ему в награду несколько червонцев.

— Государь, это престранная история! — отвечал смотритель над кухней и рассказал, как утром к нему привели карлика, который непременно хотел сделаться поваром.

Удивленный герцог велел призвать к себе карлика и спросил, кто он и откуда. Но бедный Яков, конечно, не мог сказать, что он заколдован и был раньше белкой. Однако он не совсем уклонился от правды, а рассказал только, что у него нет ни отца, ни матери и что он научился стряпать у одной старухи. Герцог и не стал более расспрашивать; его больше всего занимала странная наружность нового повара.

— Останься у меня! — сказал он.— Ты будешь получать ежегодно

пятьдесят червонцев, праздничное платье и, сверх того, две пары панталон. За это ты будешь ежедневно готовить мне завтрак, следить за приготовлением обеда и вообще присматривать за кухней. А так как в моем дворце каждый получает особое прозвище, то ты будешь называться впредь Носом и занимать должность младшего смотрителя над кухней.

Карлик Нос поблагодарил герцога и обещал служить ему верой и правдой.

Итак, Яков был теперь пристроен. И, надо отдать ему справедливость, он справлялся со своим делом как нельзя лучше.

Он сделался своего рода знаменитостью. Многие повара обращались к смотрителю над кухней с просьбой позволить им присутствовать при том, как стряпает карлик, а некоторые из вельмож добились позволения герцога посылать к нему на выучку своих слуг, что доставляло ему немалый заработок. Впрочем, чтобы не возбуждать зависти в остальных поварах, карлик Нос отдавал в их пользу деньги, которые господа платили ему за обучение поваров.

Так прожил карлик Нос почти два года в довольстве и почете, и только мысль о родителях по временам омрачала его счастье. Жизнь его текла безмятежно, без всяких приключений, до тех пор, пока не произошел следующий случай.

Необходимо заметить, что карлик Нос умел удачно делать всякого рода закупки. Поэтому всякий раз, когда ему позволяло время, он отправлялся сам на рынок, чтобы закупать дичь и зелень. Однажды утром он отправился в птичий ряд и стал искать жирных гусей, до которых герцог был большой охотник.

Несколько раз прошел он по рядам, осматривая провизию.

Вдруг в конце одного ряда он заметил женщину, продававшую гусей, но, в отличие от других торговок, не зазывавшую покупателей. К ней-то он и подошел и стал взвешивать и осматривать ее гусей. Найдя их достаточно жирными, он купил три штуки вместе с клеткой, взвалил на свои широкие плечи и направился домой. Однако по дороге ему показалось очень странным, что только двое из гусей гоготали и орали, как настоящие гуси, тогда как третья, гусыня, сидела тихо и испускала вздохи, словно человек. «Надо поскорее заколоть ее,— подумал карлик,— не то она еще околеет». Но тут гусыня совершенно внятно и громко проговорила:

— Если ты захочешь меня заколоть, я укушу тебя; если свернешь мне шею, сам сойдешь со мной в могилу.

Вне себя от изумления карлик Нос поставил клетку наземь, но гусыня по-прежнему смотрела на него своими прекрасными, умными глазами и продолжала вздыхать.

— Вот чудеса! — воскликнул карлик Нос.— Гусыня умеет говорить по-человечьи. Вот уж никак не ожидал! Ну-ну, успокойся, я не так жесток и не лишу жизни такую редкую птицу. Но я готов биться об заклад, что ты не всегда принадлежала к пернатым, ведь и я когда-то был жалкой белкой.

— Ты прав,— ответила гусыня.— Я тоже родилась не в этом позорном обличье. Увы, кто бы мог предположить, что Мими, дочь великого Веттербока, будет зарезана на кухне герцога...

— Будь спокойна, любезная Мими! — утешил ее карлик.— Клянусь честью, тебе не будет сделано ничего дурного. Я устрою тебе помещение в моей комнате, буду доставлять тебе корм, а в свободное время будем беседовать. При первом удобном случае я выпущу тебя на свободу. Прочим же поварам я скажу, что я откармливаю тебя для герцога особенными травами.

Гусыня поблагодарила его со слезами на глазах. И карлик действительно сделал так, как обещал. Он заколол двух других гусей, для Мими же отвел отдельное помещение под предлогом, что хочет ее откармливать для герцога. Но он не давал ей обыкновенного гусиного корма, а доставлял ей печенья и сладкие блюда. Когда у него было свободное время, он отправлялся к ней, беседовал с ней и утешал ее. Они рассказали друг другу каждый свою историю, и Нос узнал, таким образом, что гусыня была дочерью волшебника Веттербока на острове Готланде. Веттербок как-то поссорился с одной старой феей, которая его победила с помощью хитрости и превратила его дочь в гусыню. Когда же карлик Нос рассказал Мими свою собственную историю, она сказала:

— Я тоже немного смыслю в этих делах: отец кое-что из своих знаний передал мне и сестрам. Ваш спор у корзины с овощами, твое внезапное превращение, когда ты понюхал какой-то травки, и те слова старухи, которые ты запомнил, свидетельствуют о том, что твои чары находятся в связи с травами, то есть если ты отыщешь ту траву, которую фея сварила перед твоим превращением, то будешь избавлен от своего уродства.

Все это, конечно, было плохим утешением для карлика; в самом деле, как найти траву, которой не знаешь даже по названию? Но тем не менее он поблагодарил Мими и в глубине души почувствовал некоторую надежду.

Скоро после этого к герцогу приехал в гости его друг, один из соседних князей. Герцог по этому случаю позвал к себе карлика и сказал ему:

— Наступило время, когда ты должен доказать, что ты знаток своего дела. Князь, который приехал ко мне в гости, считается после меня величайшим знатоком по части еды, и кухня у него одна из лучших в мире. Постарайся же, чтобы мой стол возбудил удивление даже в нем. Старайся также, под страхом моей немилости, чтобы за все то время, которое он проведет при моем дворе, ни одно блюдо не подавалось дважды. Все, что тебе будет нужно, ты можешь требовать от моего казначея; хотя бы тебе пришлось растопить для этого мое золото и бриллианты, ты не должен остановиться ни перед чем. Я готов лучше остаться бедняком, чем ударить лицом в грязь перед своим гостем.

Так говорил герцог, и карлик отвечал:

— Воля ваша, государь, будет исполнена! Сделаю так, чтобы вашему гостю здесь все понравилось.

Крошечный повар нашел теперь случай выказать свое искусство во всем его блеске. Он не щадил сокровищ своего хозяина, да и себя нисколько не берег: целый день его можно было видеть пред плитой окутанным облаками пара, и голос его беспрестанно звучал в огромной кухне, раздавая приказания целой армии поваров и поварят.

Приезжий князь провел уже две недели в гостях у герцога и, по-видимому, чувствовал себя прекрасно. Ежедневно гость и хозяин пять раз садились за стол, и герцог был в высшей степени доволен искусством карлика. На пятнадцатый день герцог призвал карлика к своему столу, представил его гостю и спросил последнего, доволен ли он его поваром.

— Ты превосходный повар,— отвечал гость, обращаясь к карлику,— и знаешь, как разнообразить стол. За все время, пока я здесь, ты ни разу не повторял ни одного блюда, и все они тебе великолепно удавались. Но скажи мне, почему ты до сих пор еще ни разу не подавал к столу царя всех блюд — паштет-сюзерен?

Карлик испугался: он никогда не слыхал о таком паштете. Но он сохранил наружное спокойствие и отвечал:

— О государь, я надеялся, что ты еще долго будешь освещать наш двор, вот почему я и медлил с этим блюдом. Чем же другим мог я почтить тебя в день отъезда, как не царем паштетов?

— Вот как! — заметил герцог смеясь.— А что касается меня, то ты, вероятно, ждал дня моей смерти, чтобы угостить меня этим кушаньем. Ведь ты мне еще ни разу не подавал этого паштета. Ну, нет, любезный, придумай что-нибудь другое для прощального обеда, а паштет этот ты должен завтра же подать на стол.

— Как угодно моему государю! — отвечал карлик и удалился. Но на душе у него было далеко не весело. Он чувствовал, что наступил день его срама и несчастья: ведь он не имел даже понятия о том, как приготовить этот паштет. Он пошел в свою комнату и залился слезами при мысли об ожидающей его участи. Но тут Мими, расхаживавшая в его комнате, обратилась к нему с вопросом о причине его горя.

— Не печалься,— сказала гусыня, узнав, в чем дело,— это блюдо часто подавалось за столом моего отца, и я приблизительно могу сказать тебе, что для него нужно. Возьми того-то и того-то в таком-то количестве; может быть, это не совсем так, как нужно, но надеюсь, что эти господа не разберут, в чем дело.

Услыхав это, карлик радостно вскочил с места, благословляя тот день, когда купил гусыню, и стал готовиться к завтрашнему дню. Сначала он сделал маленький пробный паштет и нашел его удачным: он дал отведать его главному смотрителю над кухней, и тот, по обыкновению, рассыпался в похвалах его искусству.

На другой день он приготовил паштет как следует и послал его к столу герцога прямо из печки, предварительно украсив его цветами. Сам он надел свое лучшее парадное платье и отправился в столовую.

Он вошел как раз в ту минуту, когда один из служителей был занят разрезыванием паштета, который затем поднес на серебряных блюдах герцогу и его гостю. Герцог отрезал себе порядочный кусок и, проглотив его, поднял глаза к потолку и сказал:

— Да, недаром называют его царем паштетов! Но ведь и мой карлик — король всех поваров, не правда ли, любезный друг?

Гость отвечал не сразу: он предварительно проглотил несколько кусков с видом знатока, но потом улыбнулся насмешливо и таинственно.

— Да, штука приготовлена недурно,— отвечал он, наконец, отодвигая тарелку,— а все-таки это не то, что называют паштетом-сюзерен. Впрочем, я так и ждал.

Тут герцог от досады нахмурил лоб и даже покраснел от стыда.

— Ах, ты, собака-повар! — воскликнул он.— Как ты осмелился так сконфузить своего государя? Ты заслуживаешь, чтобы я велел отрубить твою большую голову в наказание за скверную стряпню.

— Ради бога, государь, не гневайтесь: я приготовил это блюдо по всем правилам искусства; здесь есть все, что нужно,— сказал карлик, дрожа от страха.

— Врешь, негодяй! — возразил герцог, толкнув его ногой.— Мой гость не сказал бы напрасно, что тут чего-то недостает. Я велю разрубить тебя самого и запечь в паштет.

— Сжальтесь! — воскликнул карлик.— Скажите мне, чего не хватает в этом паштете, чтобы он пришелся вам по вкусу. Не дайте мне умереть из-за какой-нибудь недостающей крупицы муки или кусочка мяса.

— Это тебе мало поможет, любезный Нос, – отвечал гость со смехом.— Я вчера еще был уверен, что ты не приготовишь этого паштета, как мой повар. Знай же, в нем недостает одной травки, которой здесь, в вашей стране, совсем не знают и которая называется «чихай-трава». Без нее паштет не будет паштет-сюзерен, и твоему государю никогда не удастся кушать его в таком виде, в каком он подается мне.

При этих словах герцог пришел в ярость.

— А все-таки мы будем есть его! — вскричал он со сверкающими глазами.— Клянусь моей герцогской короной, либо завтра я угощу вас таким паштетом, какого вы желаете, либо голова этого карлика будет красоваться на воротах дворца. Поди прочь, собака! Я даю тебе двадцать четыре часа срока.

Полный отчаяния, карлик снова ушел в свою комнату и стал жаловаться гусыне на свою горькую судьбу, так как до сих пор ни разу он не слышал о подобной траве.

— Ну, если дело только за этим,— сказала Мими,— то я могу помочь твоему горю, потому что мой отец научил меня распознавать все травы. Быть может, в другое время тебе не избежать бы смерти, но, к счастью, теперь как раз новолуние, а трава эта цветет именно в начале месяца. Но скажи мне, есть ли тут поблизости старые каштановые деревья?

— О, да! — отвечал Нос с облегченным сердцем.— У озера, в двухстах шагах от дворца, растет много этих деревьев. Но к чему тебе непременно каштаны?

— Да потому, что эта травка цветет только у подножья старых каштанов! — сказала Мими.— Однако медлить нечего. Пойдем искать то, что тебе нужно. Возьми меня на руки и, когда выйдем из дворца, спусти меня на землю — я помогу тебе в поисках.

Карлик сделал так, как сказала гусыня, и отправился с ней к воротам дворца, но тут караульный протянул к нему ружье и сказал:

— Мой добрый Нос, дело твое плохо: ты не смеешь выходить из дворца,— мне строжайше запрещено выпускать тебя.

— Но ведь могу же я выйти в сад? — возразил карлик.— Сделай милость, пошли одного из твоих товарищей к смотрителю дворца и спроси у него, могу ли я отправиться в сад, чтобы поискать нужных мне трав.

Караульный осведомился, и позволение было получено. Сад был окружен высокими стенами, так что убежать из него не было возможности. Когда карлик Нос с гусыней очутились под открытым небом, он осторожно спустил ее на землю, и она быстро побежала к озеру, где росли каштаны. Сам он со стесненным сердцем последовал за ней: ведь это была его последняя, его единственная надежда! Если Мими не найдет травы, то он твердо решил лучше броситься в озеро, чем дать себя обезглавить. Мими искала напрасно. Она обошла все каштаны, переворачивала клювом малейшую травку — все было безуспешно. Из жалости и страха она даже заплакала, потому что ночь надвигалась и становилось все труднее различать в темноте.

Вдруг взгляд карлика устремился на другой берег озера, и он воскликнул:

— Посмотри, вон там, за озером, растет еще одно большое старое дерево. Пойдем поищем: быть может, там-то и расцветет мое счастье!

Гусыня вспорхнула и полетела впереди, а карлик побежал за ней, как только позволяли его маленькие ножки. Каштановое дерево бросало большую тень, и кругом было так темно, что почти ничего нельзя было уже разобрать. Но вдруг гусыня остановилась, от радости захлопала крыльями, потом поспешно опустила голову в высокую траву, что-то сорвала и поднесла это в клюве изумленному карлику.

— Вот твоя травка! Здесь ее растет такое множество, что у тебя не будет в ней недостатка.

Карлик задумчиво посмотрел на травку: от нее исходил какой-то особенный аромат, который невольно напомнил ему сцену его превращения. Стебелек и листья растения были зеленовато-голубые, а среди них красовался ослепительно-красный цветок с желтой каймой.

— Ну, наконец-то! — воскликнул он.— Что за счастье! Знаешь, ведь мне кажется, это та самая трава, которая превратила меня в жалкого карлика. Не попробовать ли мне сейчас же принять свой настоящий вид?

— Погоди еще,— сказала гусыня,— набери горсть этой травы, а

затем пойдем в комнату. Там ты заберешь свои деньги и все, что скопил, а потом уж мы испытаем силу этой травы.

Так они и сделали. Сердце карлика сильно билось от ожидания. Забрав пятьдесят или шестьдесят червонцев, которые он успел скопить, и уложив свое платье в небольшой узел, он сказал:

— Наконец-то я избавлюсь от этого бремени! — И, глубоко засунув нос в траву, он стал вдыхать ее аромат.

Что-то словно затрещало и потянулось в его теле; он почувствовал, как он вытягивается, как голова его высовывается из плеч; он покосился глазом на свой нос и заметил, что тот становится все меньше и меньше; спина и грудь стали выравниваться, ноги становились все длиннее.

Мими с изумлением смотрела на него.

— Ах, какой же ты большой, какой красивый! — воскликнула она.— Теперь в тебе не осталось ничего, что напоминало бы о твоем прежнем уродстве.

Обрадованный Яков, несмотря на свою радость, все-таки не забывал, как много он обязан своей спасительнице Мими. Правда, сердце влекло его отправиться прямо к родителям, но он из благодарности подавил это желание и сказал:

— Кому, как не тебе, обязан я своим исцелением? Не будь тебя, я никогда не нашел бы этой травки и навеки должен был бы оставаться карликом, а то и совсем погибнуть от руки палача. Но я постараюсь отблагодарить тебя. Я отвезу тебя к твоему отцу, быть может, он, столь опытный в волшебстве, сумеет и тебя избавить от злых чар.

Мими залилась слезами радости и приняла его предложение. Якову удалось благополучно выбраться с нею из дворца, после чего они пустились в путь по направлению к морскому берегу, родине Мими.

Не станем подробно описывать, как они совершили свое путешествие, как Веттербок снял чары со своей дочери и отпустил Якова с богатыми подарками, как Яков вернулся в свой родной город и как родители его с радостью признали в красивом молодом человеке своего пропавшего сына.

Прибавим лишь одно, что после его исчезновения из дворца герцога, там поднялась страшная суматоха.

Когда на другой день герцог, не получив паштета, захотел исполнить свою клятву и приказал отрубить карлику голову, последнего нигде не могли отыскать.

Князь же утверждал, что герцог сам дал ему возможность тайком убежать, чтобы не потерять своего лучшего повара, и упрекал его в том, что он нарушил свое слово.

Из-за этого между обоими государями возникла продолжительная война, которая известна в истории под названием «Травяной войны». Обе стороны дали несколько сражений, но в конце концов был заключен мир, который получил название «Паштетного», так как на празднике в честь примирения повар князя подал к столу паштет-сюзерен, которому герцог и оказал должную честь.

МАЛЕНЬКИЙ МУК

В Никее, моем милом родном городе, жил человек, которого все звали Маленьким Муком. Я хорошо помню его, хотя сам был тогда еще очень молод.

В то время Маленький Мук был уже пожилым человеком, но роста остался крошечного. При этом у него была престранная фигура: на маленьком и довольно стройном тельце сидела огромная голова.

Жил он совершенно одиноко в большом доме и сам готовил себе кушанье. Выходил он из дому всего раз в месяц, и если бы каждый день около полудня из трубы его дома не поднимался густой дым, в городе даже не знали бы, жив он или умер. Впрочем, иногда вечером его можно было видеть прогуливающимся на крыше своего дома, причем с улицы казалось, будто быстро движется одна большая голова.

Я и мои товарищи были злыми мальчишками, находившими удовольствие в том, чтобы всех осмеивать и дразнить. Для нас поэтому был настоящий праздник, когда Маленький Мук выходил из дома, и мы уже заранее ждали его появления.

Вот отворялась дверь; сначала показывалась большая голова в огромной чалме, а потом — крошечное тельце, одетое в старенький потертый халат и широкие панталоны, подпоясанные широчайшим поясом, за которым торчал длинный кинжал, такой длинный, что трудно было решить, прицеплен ли кинжал к Муку или Мук к кинжалу. Когда Мук в таком виде появлялся на улице, воздух оглашался нашими радостными криками; мы бросали шапки вверх и плясали вокруг Мука, словно шальные. Но Маленький Мук с серьезнейшим видом кивал нам головою и медленными шагами направлялся по улице, немилосердно шлепая своими огромными туфлями. Мы же, мальчики, бежали за ним и кричали: «Маленький Мук, Маленький Мук!» У нас даже была сложена в честь его песенка:

> Маленький Мук, Маленький Мук
> Шлепает туфлями: стук, стук, стук!
> Выходит из дому в месяц лишь раз.
> Ну-ка, попробуй поймай, Мук, нас!

Так мы часто потешались над ним, и, к стыду своему, должен признаться, что во всех этих злых шутках я был главным зачинщиком. Не раз я дергал его за халат, а однажды наступил ему сзади на большие туфли так, что он упал на землю. Сначала мне это показалось необыкновенно забавным, но когда я увидел, что Маленький Мук направляется к дому моего отца, у меня пропала всякая охота смеяться. Он прямехонько вошел к нам в дом и пробыл там некоторое время.

Я спрятался за дверь и видел, как Мук вышел из дома, провожаемый моим отцом, который почтительно придерживал его за руку и с поклонами проводил на улицу. Мне стало не по себе. Довольно долго оставался я в своей засаде, но, наконец, голод, которого я страшился более, чем побоев, заставил меня выйти.

Смиренно, с поникшей головой предстал я перед отцом.

— Я слышал, ты насмехаешься над добрым Муком? — строго сказал отец.— Погоди, я расскажу тебе его историю, и тогда ты, наверно, не станешь больше смеяться над ним.

Он приказал мне слушать со вниманием и начал рассказывать историю Маленького Мука:

«Отец Мука, который, собственно, называется Мукрах, был почтенный, но бедный человек. Он жил здесь, в Никее, и вел почти такой же отшельнический образ жизни, как теперь его сын. Сына своего он недолюбливал, стыдясь его крошечного роста, и потому оставил без всякого образования.

Однажды старик как-то крайне неудачно упал и вскоре умер, оставив Маленького Мука без всяких средств к существованию и совершенно не подготовленным ни к какому делу. Злые родственники прогнали бедного карлика из дома и посоветовали пуститься по миру искать счастья. Впрочем, Маленький Мук и сам ничего не имел против путешествия и только выпросил себе костюм отца, который ему и дали. Но отец его был высокий, широкоплечий человек, и его платье, конечно, оказалось не впору сыну. Мук, однако, нашел средство помочь горю: он обрезал полы халата и в таком виде надел его. К сожалению, он позабыл убавить платье в ширину, и вот почему на нем этот странный наряд, который вы можете видеть и теперь: большая чалма, широкий пояс, необъятные панталоны и голубой халат. Все эти вещи, доставшиеся ему по наследству от отца, он носит до сих пор.

После разговора с родственниками Мук заткнул за пояс длинный дамасский кинжал отца, взял в руки палку и вышел из городских ворот.

Первый день он шел в очень веселом расположении духа: ведь он отправился искать свое счастье.

Когда ему попадался на дороге осколок стекла, сверкавший на солнце, он прятал его в карман, в твердой уверенности, что стеклышко превратится в драгоценный бриллиант. Когда он замечал вдали сверкающий купол мечети или зеркальную поверхность озера, он радостно спешил туда, воображая, что попал в волшебную страну. Но — увы! — все эти воздушные замки разлетались при его приближении, и скоро усталость и урчание в голодном желудке напоминали ему, что он все еще находится в стране обыкновенных смертных.

Так пропутешествовал он два дня, терзаемый голодом, и уже отчаялся найти свое счастье. Полевые овощи были его единственной пищей, а постелью служила жесткая земля.

Наконец, утром третьего дня он увидел с холма большой город. Ярко сверкал полумесяц на зубчатых стенах, пестрые флаги развевались на крышах и, казалось, кивали и манили к себе Маленького Мука.

Словно очарованный, остановился он и стал созерцать город и окрестности. «Да, вот где Маленький Мук найдет свое счастье! — подумал он и, несмотря на усталость, подпрыгнул на месте.— Здесь или нигде!» И, собрав остаток сил, пошел в город. Однако, хотя город

и показался ему совсем близко, он достиг его не раньше полудня, потому что его маленькие ноги почти отказывались служить. Наконец, он достиг городских ворот. Он поправил на себе халат, повязал покрасивее чалму, распустил пошире пояс и еще глубже засунул длинный кинжал; потом отер пыль со своих туфель, взял в руки палку и с бодрым видом вошел в город.

Он прошел уже несколько улиц, но ни одна дверь не открылась перед ним, никто не сказал ему: «Маленький Мук, войди сюда, покушай, напейся и дай отдохнуть твоим ногам».

Вот он стоит перед большим прекрасным домом и с тоскою глядит в его окна. И вдруг одно из них раскрылось, старая женщина выглянула на улицу и проговорила нараспев:

— Сюда, сюда, пожалуйте, стол уже накрыт, суп давно кипит! Сюда, сюда, пожалуйте!

Тут двери дома растворились, и Мук увидел, что в дом вбежало много собак и кошек. Несколько минут он простоял в нерешительности, последовать ли этому приглашению или нет. Наконец, он собрался с духом и вошел в дом. Впереди него бежали две кошечки, и он решился идти за ними, полагая, что они лучше его знают дорогу в кухню.

Поднявшись по лестнице, Мук увидел старую женщину, которая раньше выглядывала из окна. Она сердито посмотрела на него и спросила, что ему угодно.

— Ты ведь приглашала всех на обед,— отвечал Маленький Мук,— а так как я очень голоден, то вот я и пришел.

Старуха рассмеялась и сказала:

— Да ты откуда явился, странный малый? Весь город знает, что я готовлю обед только для своих милых кошек и изредка приглашаю к ним гостей из соседних домов.

Тут Маленький Мук рассказал старухе, как тяжело ему пришлось после смерти отца, и стал просить ее хоть на этот раз накормить его вместе с кошками. Старуха, которой чистосердечный рассказ карлика очень понравился, разрешила ему остаться и угостила на славу. Когда Мук утолил голод, хозяйка внимательно оглядела его и сказала:

— Слушай, Маленький Мук, поступай ко мне на службу. Работы у тебя будет немного, а содержание будешь получать хорошее.

Маленький Мук, которому кошачий обед очень понравился, согласился и сделался, таким образом, слугою госпожи Ахавзи.

Служба действительно была легкая, но очень странная.

У госпожи Ахавзи жили два кота и четыре кошки, и Маленький Мук каждое утро должен был расчесывать им шерсть гребнем и натирать их благовонными мазями. Когда хозяйка выходила со двора, он вместо нее присматривал за кошками, подавал им обед, а ночью укладывал их на шелковые подушки и накрывал бархатными одеялами. В доме было еще несколько собачек, за которыми Мук также должен был ухаживать. Но на собак здесь обращали гораздо меньше внимания, чем на кошек, которых хозяйка любила, как родных детей.

Вообще Мук вел здесь такую же уединенную жизнь, как и в доме

отца, и, кроме хозяйки, он в течение дня видел одних лишь собак да кошек. Но, несмотря на это одиночество, первое время Маленькому Муку жилось очень хорошо: еды у него было вдоволь, работы мало, и хозяйка, по-видимому, была им очень довольна. Но мало-помалу кошки стали шалить. Как только старуха уходила со двора, они, словно шальные, начинали прыгать по комнатам, разбрасывали все, что попадалось им под лапы, и разбили, таким образом, много дорогой посуды. Но, чуть заслышав шаги возвращающейся хозяйки, они опять забирались на свои подушечки и начинали к ней ласкаться, как ни в чем не бывало.

Заметив беспорядок в комнате, хозяйка страшно сердилась и сваливала всю вину на Мука. Напрасно тот оправдывался: старуха верила больше своим кошкам, у которых был такой невинный вид, чем своему слуге.



Грустно было Маленькому Муку, что и тут ему не удалось найти своего счастья, и, наконец, он решился оставить службу у госпожи Ахавзи. Но прежде он решил получить себе каким-нибудь способом то жалованье, которое хозяйка ему вначале обещала.

В доме старухи была одна комната, которая всегда оставалась запертою и в которую Муку ни разу еще не удалось заглянуть. Он только частенько слышал, как хозяйка возилась там, и давно уже сгорал от любопытства узнать, что там скрыто.

Однажды утром, когда хозяйка вышла из дома, одна собачка стала теребить его за панталоны, как будто выражая желание, чтобы он последовал за ней. Мук исполнил ее желание, и собака повела его в комнату, которая служила спальней хозяйке. Там была маленькая дверь, которой он раньше не замечал. Дверь эта была полуоткрыта, собачка проскользнула в нее, а за нею и Мук. Каково же было его удивление, когда он убедился, что попал в ту самую комнату, которая давно уже возбуждала его любопытство!

В комнате находились старое платье и разная посуда очень причудливых форм. Один из сосудов обратил на себя его особенное внимание. Он был из хрусталя, и на нем были вырезаны прекрасные фигуры. Мук взял его в руки и стал поворачивать во все стороны, но — о, ужас! — он не заметил, что у сосуда была крышка, которая неплотно прилегала: крышка упала на пол и разбилась вдребезги.

Долго Маленький Мук стоял без движения, словно оцепенев от ужаса. Теперь судьба его была решена: ему оставалось только одно — бежать, иначе старуха убьет его на месте. Он еще раз оглянулся, чтобы посмотреть, нельзя ли воспользоваться хоть чем-нибудь из имущества хозяйки для своего путешествия. Тут ему бросилась в глаза пара огромных туфель. Они, правда, были не очень красивы, но его собственные пришли уже в полную негодность, и к тому же величина их показалась ему очень соблазнительной. Он был уверен, что, когда на ногах у него будут подобные туфли, никто не сочтет его больше ребенком.

Не долго думая, он сбросил свою старую обувь и въехал ногами в хозяйкины туфли. В углу стояла палка с красивым набалдашником в виде львиной головы, он взял и ее и выбежал из комнаты. В одну минуту он успел побывать в своей каморке, надел свой старый халат, отцовскую чалму, засунул кинжал за пояс и со всех ног бросился вон из дома, а потом из города.

Страх перед старухой был так велик, что, даже очутившись за городом, Мук продолжал бежать сломя голову. Еще никогда в жизни он не бежал так скоро, ему даже казалось, что он не может остановиться, словно невидимая сила толкала его все вперед и вперед. Мало-помалу он пришел к убеждению, что туфли его необыкновенные, потому что они сами как будто увлекали его вперед. Он пробовал несколько раз остановиться, но ему это не удавалось. Наконец, в полном отчаянии он крикнул так, как обыкновенно кричат лошадям: «Тпру! Стой!» В ту же минуту туфли остановились, и Мук, задыхаясь, упал на землю.

Обладание такими туфлями чрезвычайно обрадовало Мука. Значит, он все-таки приобрел на службе у старухи нечто такое, что могло ему в жизни пригодиться. Однако, несмотря на свою радость, он скоро заснул от усталости, потому что его маленькое тело, которому приходилось носить такую большую, тяжелую голову, было совершенно истощено. Во сне ему явилась собачка из дома госпожи Ахавзи и сказала ему: «Любезный Мук, ты еще не знаешь хорошенько употребления туфель. Знай же, что если ты трижды повернешься на каблуке, то можешь полететь куда угодно. Палка же поможет тебе найти скрытые в земле клады. Там, где спрятано золото, она стукнет три раза, а там, где серебро,— два раза».

Проснувшись, Мук долго раздумывал о своем странном сне и решил сейчас же сделать опыт. Он надел туфли, поднял ногу и стал вертеться на каблуке. Если вы сами пробовали когда-нибудь проделать этот фокус, имея на ногах огромную туфлю, то, конечно, не удивитесь, что Маленькому Муку это удалось далеко не сразу.

особенно если принять в расчет, что его тяжелая голова перетягивала тело то на одну, то на другую сторону.

Несколько раз бедный карлик падал и расшибал себе нос, но все-таки не отчаивался и, наконец, добился-таки своего. Словно колесо, завертелся он на каблуке, думая при этом о том, как бы перенестись в ближайший город,— и в ту же минуту туфли взвились вместе с ним на воздух и с быстротою вихря помчали его сквозь облака.

Не успел Маленький Мук оглянуться, как уже очутился на большой площади, где было много лавок и где сновала толпа людей. Он вмешался в эту толпу, но вскоре счел более благоразумным пройти в менее людную улицу, потому что на площади ему поминутно наступали на туфли, так что он чуть не падал с ног, или же он сам задевал своим длинным кинжалом прохожих и едва спасался от их побоев.

Теперь Маленький Мук стал серьезно раздумывать, как ему быть дальше. Правда, у него была палка, которая могла указать ему скрытые клады, но ведь для этого надо раньше напасть на такое место, где такие клады действительно спрятаны. Наконец, ему пришло в голову воспользоваться волшебным свойством своих туфель. «Быть может,— подумал он,— они-то и доставят мне средства к жизни». И он решил поступить на службу в качестве скорохода. Полагая, что скорее всего его услуги могут понадобиться королю, он осведомился, где дорога во дворец. У ворот дворца стояла стража, которая спросила, что ему нужно. Узнав, что он ищет себе службу, караульный отослал его к смотрителю над рабами. Но когда Маленький Мук выразил смотрителю желание поступить на службу к королю в качестве скорохода, тот смерил его глазами с ног до головы и сказал:

— Как, с такими ножками, как твои, ты хочешь сделаться королевским скороходом? Убирайся вон отсюда! Мне некогда болтать со всяким дураком!

Но Маленький Мук продолжал уверять его, что он ничуть не шутит и что он готов состязаться в быстроте с самым лучшим из скороходов. В конце концов, предложение это показалось смотрителю очень забавным. Он приказал Муку готовиться к состязанию, повел его на кухню и позаботился о том, чтобы ему дали хорошенько поесть и попить; сам же отправился к королю и рассказал ему о карлике и о его предложении.

Король был очень доволен, что смотритель оставил у себя Мука для потехи, и приказал сделать на большом лугу за дворцом все нужные для состязания приготовления, так чтобы он сам и весь его двор могли любоваться оттуда на редкое зрелище. Вслед за тем король рассказал о готовящемся состязании своим принцам и принцессам; те, в свою очередь, пересказали это своим слугам, так что, когда наступил вечер, весь двор находился уже в напряженном ожидании. Все, кто только мог двигаться, сбежались на луг, где было устроено возвышение, с которого король должен был следить за состязанием.

Когда король и все его сыновья и дочери уселись на возвышении, Маленький Мук вышел на луг и сделал им грациозный поклон. Появление его было встречено криками. Маленькое тельце с огромной головой, халат и широкие панталоны, длинный кинжал за широким поясом, крошечные ножки в огромных туфлях — все это было так забавно, что не было никакой возможности удержаться от смеха.

Но Маленький Мук нисколько не смутился всеобщим хохотом. Он стоял гордо, опираясь на свою палку, и ждал своего противника.

Смотритель за рабами, по желанию Мука, выбрал для состязания лучшего из королевских скороходов. Тот выступил вперед и стал подле карлика в ожидании сигнала.

Наконец, принцесса Амарца подала условленный знак, взмахнув своим платочком, и оба скорохода, словно две стрелы, пущенные в одну цель, понеслись через луг.

Сначала противник Мука значительно опередил его, но скоро тот, благодаря своим туфлям, догнал его, потом перегнал и давно уже находился у цели, когда скороход, тяжело дыша, только что добежал до нее. В течение нескольких минут все зрители словно онемели от удивления, но потом толпа разразилась громкими криками, и все в один голос воскликнули:

— Да здравствует Маленький Мук, победитель в состязании!

Маленького Мука привели к королю; Мук поклонился ему и сказал:

— Государь! Я показал тебе лишь часть своего искусства, соблаговоли же принять меня в число своих скороходов.

На это король отвечал ему:

— Я делаю тебя своим главным скороходом, и ты будешь всегда состоять при моей особе. Жалованья назначаю тебе сто червонцев ежегодно и, кроме того, разрешаю обедать за одним столом с моими первыми слугами.

Весело и радостно стало на душе у Маленького Мука. «Наконец-то,— думал он,— я нашел то счастье, которое так долго искал!» Король был к нему очень милостив и пользовался им лишь для самых спешных и тайных поручений, которые Мук исполнял всегда с величайшей точностью и непостижимой быстротой.

Но зато прочие слуги короля относились к нему далеко не дружелюбно: им было досадно, что карлик, не умевший делать ничего иного, как только бегать, приобрел особенное расположение государя. Они придумывали всякие козни, чтобы очернить его в глазах короля.

Однако Мук, от которого не ускользнули все их проделки, не думал о мщении — для этого у него было слишком доброе сердце. Он старался только найти такое средство, чтобы сделаться необходимым даже своим врагам и заслужить их дружбу. Тут он вспомнил о палочке, о которой совсем было забыл, упоенный своим счастьем. «Если я найду клад,— думал он,— то эти люди станут относиться ко

мне иначе». Он не раз слышал, что отец короля зарыл в землю большую часть своих сокровищ в то время, когда неприятель напал на страну. Говорили также, что он умер, не успев открыть своей тайны сыну. И вот Мук стал брать с собой на прогулку свою палочку, надеясь, что ему когда-нибудь придется пройти по такому месту, где зарыты сокровища покойного короля.

И действительно, однажды вечером случай привел его в отдаленную часть дворцового сада, которую он до сих пор редко посещал. Вдруг он почувствовал, как палка в его руке задрожала и вслед за тем трижды стукнула по земле. Мук отлично знал, что это означает. Не долго думая, он вытащил из-за пояса кинжал, сделал на окружающих деревьях зарубки и тихонько вернулся во дворец. Он раздобыл себе заступ и стал дожидаться ночи для осуществления задуманного предприятия.

Однако откопать клад оказалось не так легко, как он думал; руки у него были слабые, а заступ — большой и тяжелый. Он проработал уже не менее двух часов, а между тем успел разрыть землю не глубже, чем на два фута. Наконец, он наткнулся на что-то твердое, зазвеневшее, как железо. После этого он стал копать еще усерднее и скоро увидел большую железную крышку. Тогда он спустился в яму, чтобы посмотреть, что скрывается под крышкой; оказалось, что то был большой горшок, наполненный золотыми монетами. Но Мук был слишком слаб, чтобы вытащить весь горшок; поэтому он наполнил все свои карманы и пояс золотыми монетами, наложил золота в свой халат и, тщательно прикрыв остальное богатство землей, взвалил себе на плечи добытое сокровище. Правду сказать, не будь у него на ногах волшебных туфель, он не смог бы даже двинуться с места — так тяжела была его ноша. Но благодаря туфлям ему удалось незаметно добраться до своей комнаты, где он и спрятал свое золото под подушками дивана.

Когда Маленький Мук увидел себя обладателем такого богатства, он вообразил, что теперь дела примут другой оборот и что он приобретет себе среди прежних врагов покровителей и добрых друзей. Уже по одному этому вы можете заключить, что бедный карлик не получил хорошего воспитания, иначе он не мог бы вообразить себе, что золотом можно приобрести истинных друзей. Увы, для него было бы в тысячу раз лучше, если б он тут же надел свои туфли и убрался бы со своим сокровищем подобру-поздорову...

Золото, которое Маленький Мук стал теперь раздавать полными пригоршнями, разбудило зависть среди придворных. Смотритель над кухней, Ахули, говорил: «Он фальшивомонетчик». Смотритель над рабами, Ахмет, уверял, что он выманил эти деньги у короля, но казначей Архаз, злейший враг Мука, сам от времени до времени запускавший лапу в королевскую казну, объявил во всеуслышание: «Он просто украл эти деньги». После этого все царедворцы сговорились погубить Мука. С этой целью главный виночерпий Корхус пришел однажды к королю, прикинувшись, будто он чем-то расстро-

ся. Его печальное лицо настолько бросалось в глаза, что король не мог этого не заметить и спросил, что с ним.

— Ах,— отвечал тот,— как же мне не быть печальным, потеряв милость своего государя?

— Что тебе взбрело на ум, любезный Корхус? — возразил король.— С каких это пор я перестал относиться к тебе милостиво?

На это главный виночерпий отвечал, что король осыпает золотом своего скорохода, между тем как верные старые слуги лишены его милостей.

Слова эти очень удивили короля. Он велел рассказать о том, как Мук раздает всем деньги, и таким образом заговорщики скоро навели его на подозрение, что Мук украл эти деньги из царской казны. Особенно был доволен таким оборотом дела казначей, который давно уже побаивался предстоящего отчета.

Король приказал тайно следить за Маленьким Муком и по возможности поймать его на месте преступления.

Случилось так, что в ночь, последовавшую за этим доносом, Мук, у которого благодаря его щедрости касса уже опустела, взял заступ и прокрался в дворцовый сад, чтобы набрать себе новый запас денег. Но стража, предводимая смотрителем над кухней Ахули и казначеем Архазом, последовала за ним и в ту минуту, как он хотел переложить деньги из горшка в свой халат, напала на него, связала и тотчас же привела к королю.

Король, и без того бывший не в духе, оттого что прервали его сон, принял своего бедного скорохода очень немилостиво и тотчас же приступил к допросу. Горшок с деньгами был вырыт из земли и вместе с заступом и халатом, наполненным золотом, представлен королю. Казначей сообщил, что он вместе со стражей поймал Мука в тот момент, когда он намеревался зарыть в землю горшок с деньгами.

Тогда король спросил у обвиняемого, правда ли все это и откуда он достал деньги, которые хотел закопать. Но Мук, не чувствуя себя виновным, сказал, что этот горшок он нашел в саду и что собирался не зарывать его, а вырыть.

При этом объяснении все присутствующие громко расхохотались. Король в страшном негодовании на мнимую дерзость карлика воскликнул:

— Негодяй, ты еще осмеливаешься нагло лгать своему королю после того, как обокрал его? Казначей Архаз, признаешь ли ты, что эти деньги как раз те самые, которых не хватает в моей казне?

Казначей ответил, что он совершенно уверен в этом, что именно столько и даже больше не хватает с некоторого времени в царской казне и что он готов дать присягу, что это именно и есть украденные деньги.

Тогда король приказал заковать Маленького Мука в тяжелые цепи и отвести в башню; золото же отдал казначею, чтобы внести его обратно в казну. Обрадованный счастливым исходом дела, казначей вернулся к себе и стал считать сверкающие золотые монеты. Но злой человек никому не признался, что на дне горшка нашел следующую

записку: «Неприятель напал на страну, и потому я скрываю здесь часть своих сокровищ. Да падет мое проклятие на того, кто, найдя их, не передаст тотчас же моему сыну. Король Саади».

Между тем Мук, сидя в темнице, предавался грустным размышлениям. Он знал, что за кражу королевского имущества полагается смертная казнь, но все-таки не мог решиться выдать королю тайну своей палочки, потому что справедливо опасался, что тот отнимет у него и палку, и туфли. Хотя в сущности туфли не могли теперь принести ему никакой пользы, так как, будучи крепко прикован к стене короткими цепями, он никак не мог повернуться на каблуке.

Когда на другой день ему прочли смертный приговор, он все же рассудил, что лучше лишиться волшебной палочки, чем жизни, и, выпросив разрешение переговорить с королем наедине, открыл ему свою тайну.

Сначала король не поверил его признанию, но Мук сказал, что представит доказательства, если король обещает его не казнить. Король согласился и велел тайно от Мука закопать в землю несколько золотых монет, после чего приказал ему отыскать спрятанный клад.

Через несколько минут золото было найдено, потому что палочка стукнула три раза. Тогда король понял, что казначей обманул его, и, по восточному обычаю, послал ему шелковый шнурок, чтобы тот сам удавился. Муку же он сказал:

— Правда, я обещал даровать тебе жизнь, но мне кажется, что ты обладаешь не только тайной этой палки; поэтому ты останешься в вечном заключении, если не объяснишь, каким образом ты можешь так скоро бегать.

Маленький Мук, у которого одна ночь, проведенная в башне, отбила всякую охоту к более продолжительному заключению, признался, что все его искусство зависит от туфель, причем, однако, не сказал, что для летания нужно трижды повернуться на каблуке. Король сейчас же надел туфли, желая испытать их силу, и, словно сумасшедший, понесся по саду. Несколько раз хотел он остановиться, но не знал, как управлять туфлями, а Мук, не желавший отказать себе в этой маленькой мести, допустил его бежать до тех пор, пока тот не упал без чувств на землю.

Когда король, наконец, очнулся, он пришел в страшную ярость на Маленького Мука за то, что тот не остановил его вовремя.

— Я дал слово даровать тебе жизнь и свободу, но даю тебе двенадцать часов сроку, чтобы оставить мою страну, иначе я велю тебя повесить.

Туфли же и палку он велел отнести в свою сокровищницу.

Бедным, как и в былое время, вышел Маленький Мук из города, проклиная свою глупость, вследствие которой мог вообразить, что ему удастся играть при дворе важную роль. К счастью, государство, из которого он был изгнан, было невелико; таким образом он уже через восемь часов очутился за его пределами, хотя, лишенный своих туфель, он двигался теперь очень медленно.

Перейдя границу, он свернул с большой дороги и углубился в лес.

В глубине леса он нашел местечко, которое показалось ему особенно приятным. Светлый ручеек, окруженный большими тенистыми смоковницами, и мягкая трава, казалось, манили его к себе. Он бросился на землю с твердым решением не принимать больше никакой пищи и дожидаться смерти. Среди этих печальных мыслей он заснул. Но когда он проснулся, ему пришло в голову, что голодная смерть — слишком неприятная штука, и он стал оглядываться, нет ли поблизости чего-нибудь съедобного.

На дереве, под которым он сидел, висели великолепные спелые фиги. Он влез на дерево и, нарвав плодов, наелся досыта, после чего спустился вниз к ручейку, чтобы утолить жажду. Но как же велик был его ужас, когда он увидел в воде отражение своей головы, украшенной двумя огромными ушами и длинным толстым носом! Вне себя от изумления он схватился руками за уши, и они оказались длиною чуть не в пол-аршина.

— Да, я заслужил ослиные уши,— воскликнул он,— потому что сам, как осел, затоптал ногами свое счастье!

Долго бродил он в горьком раздумье по лесу, но, почувствовав опять голод, принужден был снова прибегнуть к смоковнице, так как других плодовых деревьев в лесу не было. Но когда после второй порции ему пришло в голову спрятать свои уши под большой чалмой, он почувствовал, что уши исчезли. Он тотчас же побежал к ручью, чтоб убедиться в этом. И действительно, его уши и длинный, безобразный нос приняли прежнюю форму. Теперь только он догадался, как это случилось. Плоды от первой смоковницы вырастили ему длинный нос и уши, а от второй вылечили его. Он с радостью сказал себе, что счастливая судьба еще раз доставила ему средство найти свое счастье. Нарвав с каждого дерева столько плодов, сколько может унести человек, он немедленно вернулся в ту страну, которую недавно оставил. В первом же городе он переменил костюм, чтобы сделать себя неузнаваемым, и затем отправился в столицу, где жил изгнавший его король.

Дело происходило в такое время, когда спелые плоды были еще большой редкостью. Маленький Мук сел у ворот дворца, где, как ему было известно, царский повар закупал всякие редкости для царского стола. Скоро смотритель над кухней действительно явился; он стал осматривать товары продавцов, собравшихся у ворот, и, наконец, заметил корзину Мука.

— А! Вот лакомое кушанье, которое, наверно, понравится его величеству. Что хочешь за всю корзину?

Маленький Мук запросил недорого, и они скоро сошлись в цене. Смотритель над кухней передал корзину невольнику и пошел дальше; Мук же поспешно удалился, опасаясь, что когда откроется волшебное свойство плодов, то не замедлят отыскать и наказать продавца.

За столом король был очень весел и поминутно благодарил смотрителя над кухней за вкусный обед. Смотритель же, знавший, какое лакомство имеется еще в запасе, так самодовольно улыбался и ронял такие таинственные замечания, вроде: «А вот посмотрим, что

дальше будет!» или: «Конец венчает дело», что принцессами овладело сильнейшее любопытство узнать, что же будет дальше. И когда, наконец, на стол были поданы прекрасные, соблазнительные фиги, то из уст обедающих вырвались восклицания изумления.

— Какие спелые! Какие аппетитные! — вскричал король.— Смотритель, ты знаток своего дела и заслуживаешь нашей особой милости.

С этими словами король собственноручно роздал обедающим фиги. Принц и принцессы получили по две, придворные дамы — по одной, остальные же он поставил перед собой и стал с удовольствием ими лакомиться.

— Ах, боже мой, какое у тебя странное лицо, отец! — воскликнула вдруг принцесса Амарца.

Все с удивлением взглянули на короля, у которого появились огромные уши и длинный нос, спускавшийся до самого подбородка.

Вслед за тем они посмотрели друг на друга, и ими овладел ужас. Каждый в большей или меньшей мере был украшен таким же странным головным убором.

Можно себе представить смятение всего двора! Немедленно было послано за всеми городскими врачами; те явились толпами, прописывали пилюли и микстуры, но уши и носы от этого не убавлялись. Одному из принцев даже сделали операцию, но отрезанные уши немедленно выросли вновь.

Когда Мук в своем убежище, куда он удалился, узнал обо всем этом, он решил, что теперь пора действовать. За деньги, вырученные от продажи фиг, он купил себе костюм, придававший ему вид ученого; длинная борода из козьей шерсти сделала его неузнаваемым. Взяв с собою мешочек с фигами, он отправился во дворец к королю и, выдав себя за приезжего врача, предложил ему свои услуги.

Сначала к его словам отнеслись недоверчиво. Тогда Маленький Мук дал принцу одну из своих фиг, и в ту же минуту уши и нос принца приняли прежнюю форму. После этого все наперерыв стали просить врача вылечить их. Но король молча взял его за руку и повел в свою комнату; там он отпер дверь, ведшую в его сокровищницу, и дал знак Муку, чтобы он последовал за ним.

— Вот мои сокровища,— сказал король,— выбирай себе, что хочешь: я не откажу тебе ни в чем, если ты только избавишь меня от этого позорного украшения.

Словно чудная музыка, прозвучали эти слова в ушах Маленького Мука. С первого взгляда он увидал на полу свои туфли, а подле них стояла его палка. Он стал прохаживаться по зале, делая вид, что любуется сокровищами короля, но как только приблизился к туфлям, он поспешно сунул в них ноги, схватил свою палочку и, сорвав свою фальшивую бороду, показался изумленному королю в своем настоящем виде.

— Вероломный король,— воскликнул он,— ты отплатил неблагодарностью за мою верную службу! Прими же свое теперешнее уродство как заслуженное наказание — я оставлю тебе эти уши, чтобы они ежедневно напоминали тебе о Маленьком Муке.

Сказав эти слова, он поспешно повернулся на каблуке, и, прежде чем король успел позвать на помощь, Маленький Мук исчез из виду.

С тех пор он живет здесь в довольстве, но совершенно одиноко. Благодаря опыту своей жизни он сделался мудрым человеком и, несмотря на свою внешность, более заслуживает удивления, чем насмешек».

Вот что рассказал мне отец. Я выразил ему свое полное раскаяние в грубом обращении с маленьким человеком. Я рассказал товарищам про удивительную судьбу карлика, и с тех пор мы все так полюбили его, что никогда больше не смеялись над ним — напротив, выказывали ему величайшее уважение.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ САИДА

В царствование Гарун-аль-Рашида, калифа багдадского, жил в Бальсоре человек по имени Бенезар. Состояние было у него небольшое, но все же денег хватало, чтобы жить спокойно и в довольстве, не занимаясь ни торговлей, ни каким-либо ремеслом. Даже когда у него родился сын, Бенезар не изменил своего образа жизни.

— Стоит ли на старости лет приниматься за торговлю и барышничать,— говорил он своим соседям,— для того только, чтобы оставить своему сыну Саиду на тысячу золотых больше, если дела пойдут хорошо, или на тысячу меньше, если мне не повезет? «Где едят двое, там будет сыт и третий»,— говорит пословица. Только бы из него вышел хороший человек, а нужды он терпеть не будет.

Так говорил Бенезар и сдержал свое слово. Он действительно не приучал сына ни к торговле, ни к какому-нибудь ремеслу, но зато усердно читал с ним разные мудрые книги, а так как, по его мнению, кроме учености и почтения к старшим, молодого человека ничто так не украшает, как ловкость и храбрость, то он рано начал учить его владеть оружием. Скоро Саид прослыл между своими сверстниками и даже между юношами постарше весьма искусным борцом, а в верховой езде и в плавании у него не было соперников.

Когда Саиду минуло восемнадцать лет, отец послал его в Мекку поклониться гробу пророка, как это принято у мусульман. Перед самым отъездом отец призвал Саида к себе, похвалил его за прежнее поведение, снабдил добрыми советами и золотом, а в заключение прибавил:

— Вот что, сын мой Саид. Ты должен знать, что я стою выше предрассудков толпы. Правда, я с удовольствием слушаю иногда истории о волшебницах и волшебниках, так как за этим занятием время проходит незаметно; но сам я далек от того, чтобы верить, подобно многим невежественным людям, будто эти духи, или кто бы они ни были, имеют влияние на людей. Но зато твоя мать,— вот уже двенадцать лет, как ее нет в живых,— твоя мать твердо верила в это. Однажды, взяв с меня клятву, что я не открою ее тайны никому, кроме ее ребенка, она сообщила мне, что со дня своего рождения состоит

в дружбе с одной феей. В то время я, конечно, только посмеялся над ее словами, но должен тебе признаться, Саид, что при твоем рождении произошли некоторые события, которые привели меня в изумление. Весь этот день лил дождь и гремел гром; небо было так черно, что нельзя было читать без свечи. В четыре часа пополудни мне пришли сказать, что у меня родился мальчик. Я, конечно, поспешил в покои твоей матери, чтобы увидеть и благословить своего первенца; но все ее горничные стояли у дверей и заявили мне, что теперь никто не может войти в ее комнату. Земира, твоя мать, выслала их всех вон, желая остаться одна. Я постучал в дверь, но напрасно, она оставалась запертой.

Пока я, в досаде, стоял вместе с горничными у дверей, небо, точно чудом, внезапно прояснилось; но что было всего удивительней, так это то, что чистое, голубое небо раскинулось только над нашим городом Бальсорой, между тем как кругом оно по-прежнему было обложено черными-пречерными тучами, и молния то и дело сверкала между ними. Пока я с любопытством созерцал это зрелище, дверь в комнату моей супруги быстро распахнулась. Я велел служанкам подождать и вошел в комнату один, чтобы спросить твою мать, по какой причине она заперлась. Но тут меня обдал такой одуряющий запах роз, гвоздики и гиацинтов, что у меня чуть не закружилась голова. Земира поднесла тебя ко мне и тут же указала мне на серебряный свисток, который висел у тебя на шее на тонкой, как шелк, золотой цепочке.

— Сейчас была здесь добрая фея, о которой я тебе рассказывала,— сказала твоя мать,— она принесла в подарок вот эту вещицу.

— Так вот та колдунья, которая так внезапно прояснила небо и оставила после себя запах роз и гвоздики! — сказал я, недоверчиво смеясь.— Ну, она могла бы подарить нашему сыну кое-что и получше этого свистка, хотя бы, например, кошелек с золотом или коня.

Но тут Земира стала заклинать меня, чтобы я не смеялся, так как феи очень обидчивы и легко могут переменить свое благословение на проклятие.

Я замолчал, не желая раздражать больную женщину; мы и потом не говорили больше об этом странном случае до тех пор, пока — шесть лет спустя — она не почувствовала приближения смерти. Тогда она дала мне свисток и завещала, чтобы я отдал его тебе, когда тебе минет двадцать лет, и чтобы до того времени я не отпускал тебя никуда. Она умерла. Вот это и есть подарок феи,— продолжал Бенезар, вынимая из ящика серебряный свисток, висевший на длинной золотой цепочке.— Я отдаю тебе его на восемнадцатом году, вместо двадцатого, так как ты уезжаешь и, может быть, по возвращении не найдешь меня более в живых. Я не вижу никакой разумной причины держать тебя здесь еще два года, как желала твоя заботливая мать. Ты добрый и смышленый малый, умеешь владеть оружием не хуже двадцатичетырехлетнего, поэтому я могу тебя и сегодня

объявить совершеннолетним, как будто бы тебе минуло уже двадцать лет. А теперь поезжай с миром и не забывай в счастии и несчастии своего любящего отца.

Так говорил Бенезар из Бальсоры, отпуская своего сына. Растроганный Саид простился с отцом, надел цепочку на шею, засунул свисток за пояс и, вскочив на коня, поскакал к тому месту, где должен был собраться караван, отправлявшийся в Мекку. В короткое время там набралось восемьдесят верблюдов и несколько сот всадников. Караван двинулся в путь, и Саид выехал из ворот Бальсоры, своего родного города.

Новизна путешествия, множество невиданных предметов, представлявшихся его взору, сначала очень развлекали юношу; но по мере того, как путешественники приближались к пустыне и местность кругом становилась все однообразнее, он стал задумываться, между прочим, и о тех словах, которые сказал ему на прощанье отец.

Вынув из-за пояса свисток, он осмотрел его со всех сторон и поднес ко рту, чтобы послушать, какой у него звук. Но — увы! — свисток не издал никакого звука. Как ни старался Саид, как ни надувал щеки, свисток упорно молчал. Раздосадованный бесполезным подарком, он опять заткнул его за пояс. Вскоре, однако, мысли его снова обратились к таинственным словам отца. Ему часто рассказывали о феях, но никогда еще ему не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь из жителей Бальсоры дружил со сверхъестественными существами. Саид целый день просидел на коне, погруженный в свои грезы и не принимая участия ни в разговорах путешественников, ни в их песнях и шутках.

Саид был очень красивый юноша. Взгляд у него был смелый, отважный, черты лица очень выразительные, и, несмотря на его молодость, вся его осанка была полна достоинства, что так редко встречается в его возрасте. Его красивая, уверенная посадка на лошади, его воинственный наряд — все привлекало к нему внимание путешественников. Один старик, ехавший рядом с ним, по-видимому, заинтересовался юношей и старался разными вопросами испытать его ум. Саид, воспитанный в уважении к старшим, отвечал скромно, но умно и рассудительно, так что старик остался им очень доволен. Но так как ум молодого человека в течение целого дня был занят только одним предметом, то неудивительно, что, наконец, Саид напрямик спросил старика, верит ли он в существование фей, добрых и злых духов, которые охраняют или преследуют людей.

Старик погладил бороду, покачал головой и сказал:

— Нельзя, конечно, отрицать существование подобных существ, хотя сам я до нынешнего дня не видал ни духов, ни волшебников, ни фей.

И вслед за тем он рассказал молодому человеку так много удивительных волшебных историй, что у последнего голова пошла кругом. Саид был теперь уверен, что все случившееся при его

рождении — перемена погоды, чудный запах роз и гиацинтов,— все это предвещало ему великую и счастливую будущность и что сам он находится под особенным покровительством могущественной и доброй феи. Она подарила ему свисток не для чего другого, как для призыва ее в минуту опасности. Всю ночь ему грезились замки, волшебные кони, духи, и он словно перенесся в волшебное царство.

Но — увы! — уже на другой день опыт показал ему, как обманчивы были все его грезы во сне и наяву. Уже более половины дня караван медленно подвигался вперед, причем Саид все время ехал рядом со стариком, как вдруг на отдаленном краю пустыни показались какие-то темные тени. Одни приняли их за песчаные холмы, другие — за облака, третьи, наконец,— за встречный караван, но старик, совершивший уже несколько путешествий, громко крикнул остальным, чтобы они были осторожны, так как приближается отряд арабских разбойников.

Немедленно мужчины взялись за оружие, женщины и товары были помещены посредине каравана, и все приготовились к обороне. Между тем темная масса медленно подвигалась по равнине, издали напоминая большую стаю аистов, направляющуюся в чужие края. Затем они стали приближаться все быстрее и быстрее, и не успели наши путешественники различить людей и копья, как разбойники с быстротою вихря напали на караван.

Мужчины храбро защищались, но разбойников было четыреста человек, так что они окружили караван со всех сторон, многих убили стрелами издали, а затем набросились на остальных с копьями в руках. В эту ужасную минуту Саид, сражавшийся все время в передних рядах, вспомнил о своем свистке. Он быстро вытащил его из-за пояса и поднес ко рту, но с горечью должен был опустить, потому что свисток по-прежнему не издавал ни малейшего звука. Взбешенный этим жестоким разочарованием, он прицелился и выстрелил прямо в грудь одному арабу, который отличался от прочих великолепием своего наряда. Тот зашатался и упал с лошади.

— Аллах! Что вы сделали, молодой человек! — воскликнул старик, сражавшийся рядом с Саидом.— Теперь мы все погибли.

И в самом деле было так. Как только разбойники увидали падение этого человека, они подняли страшный крик и с яростью набросились на уцелевших путешественников. В одну минуту Саид был окружен пятью или шестью всадниками; но он так искусно владел копьем, что никто не осмеливался приблизиться к нему. Наконец, один из арабов прицелился в него из лука и только что хотел спустить тетиву, как другой сделал ему знак остановиться. Молодой человек приготовился было к новому нападению, но не успел он оглянуться, как один из арабов набросил ему на шею петлю. Напрасно старался Саид порвать веревку — петля затягивалась все туже и туже, и он был взят в плен.

Скоро все люди в караване были либо перебиты, либо взяты в плен. После этого арабы, принадлежавшие к разным племенам, поделили между собою пленных и добычу и разъехались в разные стороны.

Подле Саида ехало четверо вооруженных людей, которые часто посматривали на него с ненавистью и осыпали проклятиями. Из этого он заключил, что человек, убитый им, был знатного рода — быть может, даже принц. Но рабство, ожидавшее пленных, казалось ему горше смерти; поэтому он считал даже особым счастьем, что успел навлечь на себя ненависть всей шайки, так как надеялся, что по возвращении в лагерь разбойники убьют его. Всадники следили за малейшим его движением и каждый раз, как он оглядывался назад, грозили ему копьями. Но, выбрав время, когда лошадь под одним из них споткнулась, Саид быстро повернул голову и, к великой своей радости, увидал между пленными своего бывшего спутника, старика, которого не считал уже в живых.

Наконец, вдали показались деревья и шатры, и когда арабы подъехали ближе, навстречу им высыпала большая толпа женщин и детей. Но как только встречавшие обменялись с разбойниками несколькими словами, они подняли страшный вой. Взгляды всех обратились на Саида, все подняли руки с угрожающим видом и осыпали его проклятиями.

— Вот он! — кричали они. — Вот тот, который убил великого Альманзора, храбрейшего из людей! Смерть ему! Пусть его тело достанется шакалам пустыни!

Тут они кинулись на Саида с палками, камнями и всем, что попалось им под руку, так что сами разбойники должны были вмешаться в дело.

— Прочь, прочь, дети, прочь, женщины! — кричали они, разгоняя толпу копьями.— Он убил великого Альманзора в бою и должен поэтому умереть, но не от руки женщины, а от меча храброго воина.

Когда отряд прибыл на открытую площадку между палатками, все остановились. Пленные были перевязаны попарно, добыча отнесена в шатры; один только Саид был связан и помещен отдельно ото всех и отведен в самый большой шатер. Там сидел богато одетый старик, по его серьезной и величественной осанке нетрудно было догадаться, что он предводитель племени. Воины, приведшие Саида, предстали пред ним с печальными лицами и поникшими головами.

— Плач женщин заставляет меня догадаться о том, что случилось,— сказал величественный старик, окинув взглядом разбойников.— Ваши лица подтверждают это. Альманзор убит?

— Альманзор убит! — отвечали воины.— Но вот, Селим, повелитель пустыни, вот его убийца. Мы привели его к тебе, чтоб ты присудил, какой смертью он должен умереть. Пронзить ли нам его издали своими стрелами, прогнать ли через строй копий? А может быть, ты хочешь, чтобы мы повесили его на дереве или разорвали лошадьми?

— Кто ты? — спросил Селим, мрачно глядя на пленника, стоявшего перед ним с видом человека, готового смело, не моргнув, встретить смерть.

Саид кратко, но откровенно отвечал на его вопрос.

— Ты убил моего сына предательски? Пронзил его сзади стрелой или копьем?

— Нет, повелитель! — возразил Саид.— Я убил его в открытом бою при нападении на наш караван, после того как он на моих же глазах убил восьмерых моих товарищей.

— Правда ли то, что он говорит? — спросил Селим у людей, приведших пленника.

— Да, повелитель, он убил Альманзора в открытом бою,— отвечал один из них.

— Ну, в таком случае он сделал лишь то, что сделал бы всякий из нас на его месте,— возразил Селим.— Ведь он лишь защищался и убил врага, собиравшегося лишить его свободы и жизни. Развяжите его!

Воины с изумлением взглянули на Селима и медленно, с видимой неохотой исполнили его приказание.

— Итак, убийца твоего сына, убийца славного Альманзора, останется в живых? — спросил один из воинов, бросая яростный взгляд на Саида.— Лучше бы мы его убили на месте.

— Он не должен умереть! — воскликнул Селим.— Я даже приму его в свою собственную палатку. Я беру его как свою законную долю в добыче — он будет моим слугой.

Саид не находил слов, как благодарить старика, но воины с гневом вышли из палатки. А когда они сообщили женщинам и детям, собравшимся на площади в ожидании казни Саида, о решении Селима, те подняли страшный вой и стали кричать, что сами отомстят за смерть Альманзора, если этого не хочет сделать его собственный отец.

Остальные пленные были разделены между победителями; некоторых отпустили на волю, чтобы собрать выкуп для более богатых, другие были приставлены к стадам в качестве пастухов. Не таково, однако ж, было положение Саида. Был ли он обязан этим своему мужественному виду или же таинственному очарованию, которым наделила его благосклонная фея,— как бы то ни было, но старый Селим, по-видимому, почувствовал к юноше особенную привязанность. Саид жил в его палатке скорее в качестве сына, чем слуги, но зато эта непонятная привязанность старика навлекла на него ненависть остальных слуг. Со всех сторон Саид встречал лишь неприязненные взоры, а когда ему случалось одному пройтись по лагерю, он слышал кругом лишь брань и проклятия. Несколько раз мимо него пролетели стрелы, очевидно, предназначавшиеся для него, причем то обстоятельство, что они не попадали в цель, он приписывал исключительно действию свистка, который все еще носил на своей груди. Не раз жаловался он Селиму на эти покушения, но тот напрасно старался отыскать вероломных убийц, так как вся шайка, очевидно, была в заговоре против чужестранца. Кончилось тем, что однажды Селим призвал его к себе и сказал:

— Я надеялся, что ты со временем заменишь мне сына, погибшего от твоей руки. Не твоя и не моя вина, что это оказалось невозможным.

Здесь все ожесточены против тебя, и я не в состоянии тебя охранить. Да и что толку, если я накажу виновных после того, как ты будешь изменнически убит? Когда воины вернутся из похода, я скажу им, что твой отец прислал мне за тебя выкуп, и прикажу нескольким надежным людям проводить тебя через пустыню.

— Но могу ли я положиться на кого-нибудь, кроме тебя? — спросил смущенный Саид.— Не убьют ли они меня по дороге?

— От этого охранит тебя клятва, которую они должны будут дать мне и которой у нас никто еще не нарушал,— спокойно отвечал Селим.

Несколько дней спустя воины вернулись в лагерь, и Селим сдержал свое обещание. Он подарил юноше оружие, платье и коня, собрал своих подчиненных и, выбрав из них пять человек, заставил их поклясться в том, что они не убьют Саида, а затем отпустил своего пленника.

Молча и с мрачным видом ехали пять арабов с Саидом через пустыню. Юноша видел, как неохотно они исполняют данное им поручение. Немало беспокоило его и то обстоятельство, что двое из них участвовали в том сражении, в котором он убил Альмансора. В дороге Саид заметил, что спутники его перешептываются между собою, и при этом лица их стали еще мрачнее прежнего. Он напряг все свое внимание и услышал, что они говорят на языке, который был известен только этой шайке и употреблялся лишь при самых таинственных предприятиях. Селим, имевший намерение оставить у себя Саида навсегда, постарался научить его и этому таинственному языку. Но то, что Саид услыхал теперь, было для него далеко не утешительно.

— Вот то место,— сказал один из разбойников,— где мы напали на караван. Вот тут храбрейший Альмансор пал от руки мальчишки.

— Ветер развеял следы его лошади, но я не забыл этого места,— заметил другой.

— И, к стыду нашему, тот, от чьей руки он погиб, должен остаться в живых и наслаждаться свободой! Слыхано ли было когда-нибудь, чтобы родной отец не отомстил за смерть своего единственного сына? Селим становится стар и впадает в детство...

— Но если отец не делает этого,— сказал четвертый,— то долг друга — отомстить за павшего товарища. Вот тут, на этом самом месте, мы должны убить его — таков обычай, существующий с древнейших времен.

— Но ведь мы поклялись старику! — вскричал пятый.— Мы не смеем его убивать, мы не смеем нарушить нашей клятвы.

— Это правда,— сказали прочие,— мы поклялись, и убийца ускользнет из наших рук.

— Стой! — вскричал один, самый мрачный из всех.— Старый Селим — умная голова, но все же он не так умен, как полагает. Разве мы клялись ему, что отведем этого молодца в какое-нибудь определенное место? Нет, он только взял с нас клятву, что мы пощадим его

жизнь. Что ж, мы его и в самом деле не убьем — жгучее солнце и острые зубы шакала сделают это не хуже нас. Вот здесь, на этом самом месте, мы оставим его связанным по рукам и ногам.

Так говорил разбойник. Но Саид еще в начале разговора приготовился к самому ужасному. При последних словах араба он повернул коня в сторону, пришпорил его и, словно птица, понесся через равнину. С минуту пятеро всадников смотрели ему вслед с немым изумлением, но затем, как опытные в подобного рода преследованиях, разделились и поскакали — один направо, другие налево. Так как они знали лучше Саида, как следует скакать в пустыне, то двое из них скоро перегнали беглеца и набросились на него спереди. Тот было устремился в сторону, но нашел там двух других противников, а пятый напал на него с тыла. Клятва действительно удержала их от того, чтобы употребить в дело оружие, но они набросили на него петлю, стащили с лошади, немилосердно избили, после чего, связанного по рукам и ногам, оставили лежать на раскаленном песке пустыни.

Напрасно Саид молил их о милосердии, напрасно сулил им громадный выкуп. Разбойники со смехом вскочили на коней и помчались прочь. Несколько минут прислушивался он с тревогой к легкому топоту коней, но затем счел себя окончательно погибшим. Вспомнил он о своем отце, о горе старика, если сын больше не вернется к нему; подумал и о собственном несчастье, о том, что он должен умереть таким молодым... Он ни минуты не сомневался, что ему предстоит либо умереть мучительной смертью от голода и жажды, либо быть растерзанным хищными зверями.

Между тем солнце поднималось все выше и выше и немилосердно пекло ему голову. С величайшим трудом удалось ему перевернуться на другой бок, но это не принесло ему большого облегчения. Пока Саид ворочался, свисток, висевший на цепочке, выскользнул у него из-за пояса. Саид стал всячески изворачиваться, стараясь дотронуться до него губами. Наконец, это ему удалось, и он попробовал засвистеть, но — увы! — и теперь, в этом отчаянном положении, свисток отказывался служить ему. Полный тоски, Саид уронил голову на песок, и скоро жгучие лучи солнца погрузили его в бесчувственное состояние.

Через несколько часов Саид очнулся от какого-то шума поблизости. В то же время он почувствовал, что кто-то хватает его за плечи. Он испустил крик ужаса, воображая, что на него напал шакал, готовящийся его растерзать. Но вслед за тем его взяли за ноги, и тут только он сообразил, что это не лапы хищного зверя, а руки человека, который заботливо хочет его поддержать. Вскоре он услыхал подле себя голоса двух или трех людей.

— Он жив,— шептали они,— но принимает нас за врагов.

Наконец, Саид открыл глаза и увидел склонившегося над ним маленького толстого человечка с крохотными глазками и длинной бородой. Человек этот ласково заговорил с ним, помог ему встать и в то время, как Саид подкреплял себя пищей и питьем, рассказал ему, что он купец из Багдада, по имени Калум-Бек, торгует шалями и

женскими покрывалами, что ездил он по делам и теперь, возвращаясь домой, нашел Саида на песке, связанным и без чувств. Великолепный наряд и сверкающие камни кинжала обратили на себя его внимание; он употребил все усилия, чтобы привести Саида в чувство, и это ему, наконец, удалось.

Юноша горячо поблагодарил купца за спасение, и так как у него не было средств продолжать путешествие на собственный счет и в то же время не было никакой охоты идти через пустыню пешком и без провожатых, то он с радостью принял предложенное ему место на одном из тяжело нагруженных верблюдов купца и решился прежде всего ехать вместе с ним в Багдад. Быть может, там ему удастся примкнуть к каравану, который отправляется в Бальсору.

Купец дорогой много рассказывал своему спутнику о жизни знаменитого повелителя правоверных Гарун-аль-Рашида. Он рассказал ему о справедливости и необыкновенной проницательности калифа, благодаря которой тот умеет удивительно простым образом решать самые запутанные тяжбы. Между прочим, он сообщил ему историю о канатном мастере, историю о горшке с оливами,— словом, все те истории, которые теперь известны каждому ребенку, но которые Саид слышал еще впервые и с глубоким изумлением.

— Наш государь, повелитель правоверных,— продолжал купец,— удивительный человек. Если вы думаете, что он спит, как обыкновенные смертные, то вы очень ошибаетесь: ему достаточно поспать всего лишь часа два-три, на рассвете. Мне это лучше всех известно, потому что Мессур, его первый камердинер, приходится мне двоюродным братом, и хотя он во всем, что касается тайн своего государя, нем, как могила, но все-таки он не может удержаться, чтобы не поделиться кое-какими сведениями со своими добрыми родственниками, если видит, что кто-нибудь из них сгорает от любопытства. Так вот, вместо того, чтобы спать, подобно другим людям, калиф по ночам бродит по улицам Багдада, и не проходит недели, чтобы он не натолкнулся на какое-нибудь приключение. Надо вам знать,— впрочем, вы и сами из истории с горшком олив могли это заметить,— что он делает свой ночной обход не на коне, в полном параде, а одетый просто, то купцом, то матросом, то солдатом или духовным лицом. Таким образом ему удается видеть и узнавать, все ли в городе в порядке. Вот почему ни в каком другом городе не бывают так вежливы ночью со всяким встречным, как в Багдаде. Ведь очень легко может случиться, что невзначай наткнешься на калифа, переодетого грязным арабом пустыни, а кому же охота отведать палочных ударов?

Так говорил купец, и Саид, как ни горел желанием вернуться к отцу, все-таки был рад, что увидит Багдад и знаменитого Гарун-аль-Рашида.

Через десять дней они прибыли в Багдад. Саид с изумлением созерцал великолепие этого города. Купец пригласил молодого человека к себе в дом, и Саид охотно принял это предложение. Теперь

только, среди окружающей роскоши, он понял, что, кроме воздуха, воды из Тигра и ночлега на ступенях храма, здесь ничего нельзя получить даром.

На другой день после приезда, едва только Саид успел переодеться, невольно думая при этом, что в таком великолепном, воинственном наряде ему не стыдно показаться даже в Багдаде, к нему в комнату вошел хозяин. Он посмотрел на красивого юношу с коварной улыбкой, погладил себе бороду и сказал:

— Все это прекрасно, молодой человек, но что вы, собственно, намерены с собою делать? Мне кажется, вы — большой мечтатель и совершенно не задумываетесь о завтрашнем дне. Но, может быть, у вас достаточно денег, чтобы жить сообразно со своим костюмом?

— Милейший Калум-Бек,— сказал юноша, покраснев от смущения.— Денег у меня, признаться, нет, но, может быть, вы согласитесь дать мне взаймы столько, сколько потребуется на обратный путь. Мой отец с благодарностью возвратит вам этот долг.

— Твой отец, любезный?! — воскликнул купец с громким смехом.— Мне кажется, что солнце выжгло у тебя весь мозг в голове. Неужели ты думаешь, что я так-таки на слово поверил тому, что ты рассказал мне: будто твой отец — богатый человек в Бальсоре, а ты — его единственный сын, да и вообще всей этой сказке о нападении арабов, о твоей жизни среди них? Уже тогда я был возмущен твоим враньем и бесстыдством. Я знаю, что в Бальсоре все богатые люди — купцы, а с купцами я со всеми имел торговые дела и, наверно, слышал бы о каком-нибудь Бенезаре, если б таковой действительно там водился. Значит, или неправда то, что ты из Бальсоры, или твой отец просто нищий, сбежавшему сынку которого я, конечно, не поверю ни одного медного гроша. А затем это нападение в пустыне... Да слыхано ли было с тех пор, как мудрый калиф наш Гарун-аль-Рашид очистил все торговые пути через пустыню, слыхано ли было, чтобы разбойники осмелились разграбить караван и даже увести в плен людей? Наконец, если бы даже нечто подобное и случилось, то оно стало бы известно всем, а между тем ни в пути, ни здесь, в Багдаде, куда съезжаются люди со всех стран света, я не слыхал ни о чем подобном. Вот вторая твоя ложь, бесстыдный молодой человек!

Бледный от гнева и негодования, Саид хотел прервать речь злого человека, но тот перекричал его и продолжал, размахивая руками:

— А третья твоя ложь, дерзкий лгун,— это история в лагере Селима! Имя Селима знакомо всем, кто когда-либо видел араба, но Селим известен как самый свирепый и жестокий из разбойников, а ты осмеливаешься утверждать, будто убил его сына и все-таки не был тотчас же изрублен в куски! Мало того, твое бесстыдство доходит до того, что ты расска́зываешь такую невероятную вещь, будто Селим защищал тебя против своей же шайки, будто он принял тебя в свою собственную палатку и отпустил без выкупа, вместо того чтобы повесить тебя на первом же дереве. Это Селим-то, который часто вешает путешественников для того лишь, чтобы видеть, какую рожу они при этом скорчат! О, ты отъявленный лгун!

— А все-таки,— воскликнул юноша,— я утверждаю, что все сказанное мною — правда! Клянусь в этом спасением своей души и бородой пророка!

— Как, ты клянешься спасением своей души,— вскричал купец,— своей черной, лживой души? Кто же тебе поверит? Да еще клянешься бородою пророка, когда у тебя самого нет бороды! Как бы не так, поверю я тебе!

— Конечно, у меня нет свидетелей,— продолжал Саид,— но разве вы сами не нашли меня связанным и покинутым на произвол судьбы?

— Ну, это ровно ничего не доказывает,— отвечал Калум-Бек.— Ты одет, как разбойник, и очень может быть, что ты напал на другого такого же разбойника, который оказался сильнее тебя и, победив, связал тебя по рукам и ногам.

— Хотел бы я видеть такого человека или даже тех людей,— возразил Саид,— которые могли бы повалить меня на землю и связать, не накинув мне раньше на шею петли! Вы, как человек торговый, может быть, и не знаете, на что способен один человек, если он умеет владеть оружием. Вы спасли мне жизнь, и я никогда этого не забуду. Что же вы, однако, намерены со мной делать? Если вы не хотите мне помочь, мне остается только просить милостыню, а на это я не согласен. Придется разве обратиться к самому калифу...

— Вот как! — сказал купец, насмешливо улыбаясь.— Вы не согласны обратиться ни к кому иному, как лишь к нашему государю! Вот так гордый нищий! Ха, ха, ха! Не мешает вам, однако, знать, мой важный барин, что добраться до калифа можно лишь через моего двоюродного брата Мессура и что стоит мне только шепнуть словечко, чтобы камердинер убедился, с каким отъявленным лгуном он имеет дело. Однако меня трогает твой юный возраст, Саид. Ты можешь еще исправиться и сделаться порядочным малым. Хочешь, я возьму тебя в свою лавку на базаре? Тебе придется прослужить у меня год. Если по истечении этого времени ты не захочешь остаться у меня, то я выплачу тебе твое жалованье и отпущу на все четыре стороны. Можешь тогда отправиться, куда хочешь: в Алеппо или Медину, в Стамбул или Бальсору — пожалуй, хоть к неверным. Даю тебе до полудня срок на размышление. Если согласен, хорошо, а если нет, то я представлю счет тем издержкам, которые ты причинил мне в дороге, включая и плату за место на верблюде, возьму в уплату твое платье и все, что у тебя есть, и выброшу тебя на улицу; можешь тогда просить милостыню у калифа или у судьи, на пороге храма или на базаре.

С этими словами Калум-Бек оставил несчастного юношу. Саид с презрением посмотрел ему вслед. Он был глубоко возмущен поведением этого человека, который нарочно завлек его в свой дом, чтобы забрать потом в свои руки. Саид попробовал, не удастся ли ему бежать, но окно было заделано решеткой, а дверь заперта на ключ. Наконец, несмотря на все свое негодование, он должен был согласиться принять предложение купца и остаться служить у него в лавке. Ничего другого ему не оставалось. Ведь если бы ему даже удалось

бежать, все-таки без денег у него не был возможности добраться до Бальсоры. Впрочем, он решил при первом же случае прибегнуть к защите калифа.

На следующий день Калум-Бек повел нового слугу в свою лавку на базаре. Он показал Саиду все шали, покрывала и другие товары, которыми он торговал, и объяснил ему, в чем будут заключаться его обязанности. Они состояли в том, что Саид, одетый, как обыкновенный приказчик, должен был, стоя у дверей лавки с шалью в одной руке и с покрывалом в другой, зазывать проходящих мужчин и женщин, показывать им товары и уговаривать их покупать. Только тут Саид понял, почему Калум-Бек так хотел заполучить его к себе. Сам он был маленький, безобразный старик, и когда стоял в лавке и зазывал покупателей, последние частенько отпускали на его счет разные остроты, мальчишки издевались над ним, а женщины называли его птичьим пугалом. Зато каждый с удовольствием смотрел на молодого, стройного Саида, который с достоинством приглашал покупателей и умел ловко показывать им разложенные на прилавках шали и покрывала.

Когда Калум-Бек заметил, что число покупателей в его лавке увеличивается с тех пор, как у него служит Саид, он сделался приветливее с молодым человеком, стал кормить его лучше и заботиться о том, чтобы он всегда был хорошо одет. Но Саида мало трогали подобные заигрывания хозяина. Наяву и во сне он только и мечтал о том, как бы вернуться в свой родной город.

Однажды в лавке перебывало особенно много покупателей; все слуги, которые разносили купленные товары по домам, были уже разосланы, как вдруг появилась еще одна покупательница. Она выбрала себе, что нужно, и потребовала, чтобы кто-нибудь из приказчиков за вознаграждение снес товар к ней на дом.

— Через полчаса я вам все пришлю,— отвечал Калум-Бек.— Вам придется подождать немного или же взять какого-нибудь другого посыльного.

— Какой же вы купец, если хотите, чтобы ваши покупатели пользовались чужими носильщиками? — воскликнула женщина.— Разве носильщик не может скрыться в толпе с моей покупкой? К кому же я тогда обращусь? Нет, вы обязаны доставить мне покупки на дом, и ни к кому другому я обращаться не буду.

— Но в таком случае подождите хоть полчасика, сударыня! — сказал купец, тревожно озираясь по сторонам.— Все мои слуги заняты.

— Плохая же это лавка, если в ней нет лишнего человека,— возразила неугомонная женщина.— Да вот там у вас стоит один без дела. Поди сюда, малый, возьми мой узел и неси его за мною.

— Нет, нет! — вскричал Калум-Бек.— Это моя вывеска, моя приманка, мой магнит,— ему нельзя отлучаться из лавки ни на шаг!

— Вздор! — возразила старая женщина и сунула прямо в руки

...за свою покупку.— Плох тот купец и плохи те товары, которые себя не рекомендуют и нуждаются в каких-то живых вывесках. ...ай, ступай, малый, получишь от меня за труды.

— Ну, так беги же скорее! — пробормотал Калум-Бек своему «магниту».— И смотри, возвращайся тотчас же. Эта старая ведьма, пожалуй, начнет кричать на весь базар, если я буду ей противиться.

Саид последовал за покупательницей, которая пошла через рынок гораздо проворнее, чем можно было ожидать от такой старухи. Наконец, она остановилась перед большим великолепным домом и постучалась; тяжелая дверь растворилась, и старуха стала подниматься по широкой мраморной лестнице, сделав Саиду знак следовать за нею. Пройдя множество комнат, они очутились в обширной, роскошно убранной зале; подобной роскоши и великолепия Саид никогда еще не видал. Тут старуха с усталым видом опустилась на подушки дивана, сделав знак молодому человеку, чтобы он положил на пол свой сверток, дала ему мелкую серебряную монету и отпустила домой.

Он был уже у дверей, как вдруг услышал за собой звонкий, приятный голос, назвавший его по имени: «Саид!» Изумленный тем, что его тут знают, он оглянулся... И что же? Вместо старухи на диване сидела молодая женщина необыкновенной красоты, окруженная многочисленными невольниками и невольницами. Саид, безмолвный от изумления, скрестил руки на груди и отвесил низкий поклон.

— Саид, мой милый мальчик! — сказала прекрасная женщина.— Как я ни сожалею о тех несчастиях, которые заставили тебя приехать в Багдад, все же это единственное, самой судьбой предназначенное место, где твоя участь должна измениться к лучшему, раз уж ты оставил родительский дом, не дождавшись двадцатилетнего возраста. Саид, есть ли еще у тебя твой свисток?

— Да, конечно! — радостно воскликнул Саид, вынимая золотую цепочку.— Верно, вы та самая фея, от которой я получил его в подарок при рождении?

— Да, я была другом твоей матери,— отвечала фея.— Я и тебе буду другом, пока ты останешься честным. Ах, отчего твой отец, этот легкомысленный человек, не последовал моему совету? Ты избежал бы тогда многих страданий.

— Что делать! Видно, так должно было случиться,— возразил Саид.— Но теперь, моя добрая фея, теперь вы, конечно, запряжете в вашу облачную колесницу какой-нибудь сильный северо-восточный ветер и отвезете меня в несколько минут к моему отцу в Бальсору. Там я спокойно пережду те шесть месяцев, которые остаются еще до моих двадцати лет.

Фея улыбнулась.

— Ты умеешь, надо тебе отдать справедливость, разговаривать с особами нашего рода,— отвечала она.— Но, увы, бедный Саид! То, о чем ты меня просишь, невозможно. Теперь, когда ты находишься вне родительского дома, я не могу для тебя сделать ничего чудесного. Я даже не в состоянии вырвать тебя из рук этого негодяя Калум-Бека:

он находится под покровительством другой феи, твоей могущественной неприятельницы.

— Итак, я имею не только доброго друга, но и врага? — спросил Саид.— Да, его-то влияние мне уже не раз приходилось испытывать. Но я надеюсь, что вы можете, по крайней мере, помочь мне советом. Не отправиться ли мне к калифу просить его защиты? Он человек мудрый, он защитит меня против Калум-Бека.

— Да, Гарун мудр,— возразила фея,— но он, к сожалению, все-таки человек. Он верит своему главному камердинеру Мессуру, как самому себе. И он, конечно, прав, потому что убедился в его верности и честности, но Мессур верит своему другу Калум-Беку так же, как самому себе, и в этом совершенно не прав, так как Калум-Бек — злой человек. К тому же этот Калум-Бек очень хитер и по приезде сюда рассказал о тебе своему двоюродному брату целую басню. Тот, в свою очередь, рассказал ее калифу, так что если бы ты теперь отправился прямо во дворец Гаруна, то был бы принят калифом очень скверно. Но есть другие средства и пути, как приблизиться к нему. Я вычитала в звездах, что ты со временем приобретешь милость калифа.

— Да, это плохо, — сказал Саид с унылым видом.— Придется мне, значит, еще некоторое время быть приказчиком у негодяя Калум-Бека. Но все-таки, моя добрейшая фея, вы могли бы мне оказать одну милость. Я приучен к военному делу, и нет для меня лучшего удовольствия, как участвовать в разных воинских состязаниях, где можно выказать свое искусство владеть копьем, луком и мечом. Я знаю, что здесь самые благородные юноши города еженедельно устраивают подобные игры, но только люди в полном вооружении, и притом люди свободные, имеют право выступать на арене; служащие же с базара туда не допускаются. Если бы вы могли устроить так, чтобы каждую неделю я имел платье и вооружение и чтобы мое лицо нелегко было узнать...

— Такое желание вполне законно и достойно благородного молодого человека,— прервала его фея.— Отец твоей матери был храбрейший человек в Сирии, и, как видно, ты унаследовал его смелый дух. Заметь же себе этот дом! Каждую неделю ты найдешь здесь коня и двух оруженосцев верхом, кроме того, оружие и платье, а также особую воду для лица, которая сделает тебя неузнаваемым для всех. А теперь, Саид, прощай! Будь терпелив, рассудителен и добродетелен. Через шесть месяцев твой свисток зазвучит, и Зулейма не останется глуха к его звукам.

Юноша с благодарностью и глубоким почтением простился со своей чудесной покровительницей; заприметил себе дом и улицу и вернулся на базар.

Он подоспел туда как раз вовремя, чтобы выручить своего хозяина Калум-Бека. Около лавки собралась большая толпа; мальчишки плясали вокруг купца и насмехались над ним, старики хохотали, а сам Калум-Бек стоял у дверей, дрожа от ярости и смущения, с шалью в

[illegible] и покрывалом в другой. Оказывается, что по уходе Саида Калум-Бек стал сам у дверей и начал зазывать покупателей, но никто не хотел покупать у безобразного старика. В это время на рынке показались двое людей, желавших купить подарки для своих жен. Они уже несколько раз прошли мимо лавки Калум-Бека, как будто ища чего-то. Калум-Бек, заметив это, стал зазывать их к себе.

— Пожалуйте сюда, пожалуйте! Что вам угодно? Прекрасные покрывала, отменный товар...

— Добрый старик,— возразил один,— может быть, твой товар и хорош, но у наших жен свои причуды: у них вошло в моду покупать покрывала ни у кого другого, как у прекрасного Саида. Вот уж с полчаса, как мы ходим и разыскиваем его. Если ты скажешь нам, где его лавка, то мы в другой раз купим у тебя.

— Хвала аллаху! — [illegible] усмешкой.— Сам пророк привел [illegible] покрывала только у прекрасного прик[illegible] это и есть его лавка.

Один из муж[illegible] фигурой маленького Калума и [illegible] есть прекрасный приказчик Саид, [illegible]-Бек только хочет поднять их на смех, [illegible] остаться в долгу и осыпал его бран[illegible] Он призвал своих соседей в свидетел[illegible] какая-нибудь иная, называется лавкой пр[illegible] соседи, уже давно досадовавшие на старика [illegible] покупателей, не захотели его поддерж[illegible] покупателя серьезно напали на старого лгуна, как они его называли. Калум-Бек защищался более криком и руганью, чем кулаками и, таким образом, привлек к своей лавке толпу людей. Полгорода знало его как скупого, жадного старикашку, и все окружающие радовались тому, что ему теперь хорошенько намнут бока. Уже один из мужчин схватил его за бороду, как вдруг кто-то удержал его руку и одним толчком повалил на землю, так что его чалма и туфли полетели в разные стороны.

Толпа, жаждавшая видеть, как будет избит Калум-Бек, громко зароптала. Товарищ обиженного оглянулся, чтобы посмотреть, кто посмел повалить на землю его друга, но когда он увидел пред собою высокого, сильного юношу со сверкающими глазами и мужественным лицом, он не осмелился напасть на него, тем более что Калум, ободренный этой неожиданной помощью, закричал, указывая на молодого человека:

— Ну, чего же вам еще? Вот же он, вот Саид, прекрасный приказчик! — Окружающие расхохотались, так как и без того отлично знали, что Калум-Бека напрасно обижают; человек же, поваленный Саидом, смущенно встал и, прихрамывая, удалился со своим товарищем, не купив ни шали, ни покрывала.

— О ты, звезда всех приказчиков, венец базара! — вскричал

Калум, входя с Саидом в лавку.— Вот что я называю прийти вовремя! Ведь этот молодец лежал на земле, как будто никогда и не стоял на собственных ногах, а я... да приди ты двумя минутами позже, я не нуждался бы более в цирюльнике, чтобы расчесывать мою бороду. Чем могу я отблагодарить тебя за это?

Только чувство сострадания побудило Саида поспешить на помощь своему хозяину. Теперь, когда это чувство улеглось, он почти раскаивался, что помешал злому человеку понести должное наказание. «Жаль,— подумал он,— потеряй он с дюжину волос из бороды, он сделался бы, по крайней мере, на двенадцать дней более кротким и сговорчивым». Однако он постарался воспользоваться милостивым расположением купца и в благодарность за оказанную услугу выпросил себе один свободный вечер в неделю. Калум согласился: ведь он отлично знал, что его приказчик слишком рассудителен, чтобы бежать без денег и без хорошего платья

Таким образом Саид достиг того, чего хотел. В следующую среду — день, когда молодые люди высших сословий собирались на большой площади города для воинских упражнений,— он сказал Калуму, что хочет провести этот вечер вне дома, и, получив его позволение, отправился на ту улицу, где жила фея. Как только он постучался, двери растворились; по-видимому, слуги уже дожидались его прибытия, потому что, не спрашивая о том, что ему угодно, повели его по лестнице в прекрасную комнату. Там они прежде всего принесли ему воду для умывания, благодаря которой он должен был сделаться неузнаваемым. Он вымыл ею лицо, потом взглянул на себя в металлическое зеркало и почти не узнал самого себя. Лицо его словно загорело от солнца и было обрамлено красивой черной бородой. В таком виде он казался, по крайней мере, на десять лет старше своего возраста. После этого слуги повели его в другую комнату, где он нашел великолепный костюм, который не постыдился бы надеть и сам калиф багдадский в тот день, когда он во всем своем блеске делает смотр войскам. Кроме чалмы из тончайшей ткани с застежкой из бриллиантов и больших страусовых перьев да платья из тяжелой красной шелковой материи, затканной серебряными цветами, Саид нашел панцирь из серебряных колец, сработанный так тонко, что он поддавался малейшему движению тела, и в то же время настолько прочный, что его нельзя было пробить ни копьем, ни мечом. Дамасский кинжал в богатой оправе, с рукояткой, осыпанной драгоценными камнями, довершал этот воинственный наряд. Когда Саид, в полном вооружении, вышел из комнаты, один из слуг вручил ему шелковый платок, говоря, что этот платок послан ему хозяйкою дома: как только он вытрет им лицо, борода и смуглый цвет кожи тотчас же исчезнут.

На дворе стояли три оседланные лошади; на одну из них, самую лучшую, вскочил Саид, на две другие сели его слуги, после чего он радостно поскакал на площадь, где происходили воинские игры. Уже по дороге великолепие его костюма привлекало к нему всеобщее

когда же он въехал в тот круг, за которым стояли зрители, со всех сторон послышался шепот изумления.

Увидев юношу, по-видимому, не знакомого всем присутствующим, сын великого визиря с несколькими друзьями приблизился к нему, почтительно поклонился, приглашая принять участие в играх, и спросил, как его зовут и откуда он родом. Саид отвечал, что зовут его Альманзором, что родом он из Каира и что, находясь тут проездом, так много наслышался о храбрости и ловкости багдадских юношей, что пожелал и сам познакомиться с ними.

Мужественный вид и достоинство, с каким держал себя Альманзор, очень понравились молодым людям. Они велели подать ему копье и предложили присоединиться к какой-нибудь партии, так как все участники игры разделялись на две группы и боролись друг против друга или поодиночке, или небольшими отрядами.

Но если уже одна наружность Саида обратила на него всеобщее внимание, то теперь он еще более изумил всех своею необыкновенною ловкостью и проворством. Конь его носился быстрее птицы, а меч еще проворнее летал направо и налево. Он так легко и ловко бросал копье в цель, как будто это была стрела, вылетающая из хорошего лука. Он победил самых храбрых из своих противников и к концу состязания был провозглашен победителем.

На другой день во всем Багдаде не было другого разговора, как о прекрасном и храбром незнакомце. Все, видевшие его, даже те, которых он победил, восхищались его благородными манерами. Даже в лавке Калум-Бека в присутствии самого Саида говорили о его подвигах, и все выражали сожаление, что не знают, кто он такой и где живет.

В следующий раз Саид нашел в доме феи еще более великолепное платье и более богатое оружие. На этот раз чуть ли не пол-Багдада собралось на место состязаний; сам калиф смотрел на это зрелище с соседнего балкона. Он также пришел в восторг от чужестранца Альманзора и по окончании игр повесил ему на шею большую золотую медаль на золотой цепи в знак своего благоволения. Однако эта вторая, еще более блестящая, победа возбудила зависть в молодых багдадцах. «Как,— говорили они между собой,— какой-то чужестранец является в наш город, чтобы отнять у нас славу, честь и победу! Не допустим, чтобы он мог хвастаться в других городах, что среди отборной багдадской молодежи не нашлось ни одного юноши, который мог бы осилить его!» И они решили в следующий же раз напасть на него, как будто бы случайно, впятером или вшестером.

От зоркого взгляда Саида не укрылись эти признаки неудовольствия. Он видел, как побежденные шептались по уголкам и указывали на него с неприязненным видом.

По какому-то странному совпадению один из молодых людей, смотревших на Саида-Альманзора особенно неприязненным взором, был не кто иной, как тот человек, которого он недавно повалил на землю у лавки Калум-Бека. Этот человек глядел на Саида как-то особенно внимательно и злобно. Правда, последний несколько раз

побеждал его, но все же это не могло быть достаточною причиною для подобной враждебности. Саид начинал уже побаиваться, что тот узнал его по росту или по голосу и не замедлит предать его насмешкам и мщению остальных. Заговор, устроенный завистниками Саида, однако, не удался благодаря его осмотрительности и храбрости. Более четырех месяцев Саид выказывал таким образом свое искусство, к изумлению всего Багдада.

Однажды вечером, возвращаясь с состязания, Саид услыхал несколько голосов, показавшихся ему знакомыми. Впереди него шло четверо людей, по-видимому, совещавшихся между собою о чем-то важном.

Подойдя поближе, Саид разобрал, что они говорят на наречии шайки Селима, и его осенила догадка, что эти четыре человека замышляют какое-то злодеяние. Первым его движением было сойти с дороги и скрыться от этих людей, но вслед за тем, сообразив, что, быть может, ему удастся предотвратить какое-нибудь несчастье, он тихонько подкрался, чтоб послушать, о чем они говорят.

— Привратник сказал очень ясно, что улица эта находится направо от рынка,— заметил один.— Там он будет, наверное, сегодня ночью вместе с великим визирем.

— Ладно! — ответил другой.— Великого визиря я не боюсь: он уже стар и не отличается особенным мужеством, но калиф, говорят, хорошо владеет мечом, и я не верю, что он будет без охраны,— наверно, за ним издали следит дюжина здоровенных телохранителей.

— Ни души! — возразил третий.— Если кому-нибудь случалось его видеть ночью, то всегда он оказывался либо один, либо с визирем или с главным камердинером. Сегодня ночью он будет в наших руках. Но только мы не должны причинять ему вреда.

— Я думаю, лучше всего будет,— сказал первый,— если мы набросим ему на шею петлю. Убивать его не следует, потому что за мертвого не дадут такого выкупа, как за живого, а то и совсем ничего не дадут.

— Итак, за час до наступления полуночи! — сказали все четверо и разошлись в разные стороны.

Саида не на шутку испугал этот заговор. Он тотчас же поспешил во дворец, чтобы предупредить калифа об угрожающей опасности, но, пробежав несколько улиц, он вдруг вспомнил слова феи, сказавшей ему, что он на дурном счету у калифа. Ему пришло в голову, что при таких обстоятельствах его предостережение может быть осмеяно или принято за попытку подольститься к повелителю Багдада. Под влиянием этих мыслей он замедлил шаги и, наконец, счел более благоразумным положиться на свой добрый меч и лично спасти калифа от рук разбойников.

Саид не вернулся поэтому в дом Калум-Бека, а уселся на ступеньках мечети. Едва наступила ночь, он отправился через рынок на ту улицу, которую назвали разбойники, и спрятался за выступом одного дома. Так простоял он около часа, как вдруг заметил двух людей, медленно приближавшихся к тому же месту. Сначала Саид подумал,

что это калиф и его великий визирь, но тут один из прохожих захлопал в ладоши, и в ту же минуту двое других осторожно подбежали с другой стороны рынка. Заговорщики с минуту пошептались, а потом разошлись. Трое спрятались недалеко от Саида, а четвертый стал прохаживаться взад и вперед. Ночь была тихая, но темная, так что Саиду оставалось только положиться на свой чуткий слух.

Прошло еще с полчаса, и со стороны базара снова раздались шаги. Очевидно, их расслышал и разбойник, ходивший по улице, потому что он тихонько проскользнул мимо Саида по направлению к базару. Шаги звучали все ближе; Саид различил уже несколько темных фигур, как вдруг разбойник захлопал в ладоши, и вслед за тем трое остальных выскочили из засады. Однако подвергшиеся нападению, по-видимому, были вооружены, потому что Саид услыхал звук ударяющихся друг о друга мечей. В ту же минуту он вытащил свою дамасскую саблю и с криком: «Долой врагов великого Гаруна!» — бросился на разбойников. Уже первым ударом сабли он повалил на землю одного из них, а затем набросился на двух других, собиравшихся обезоружить человека, на шею которого они только что накинули петлю. Саид замахнулся было саблей, чтобы разрубить веревку, но при этом так сильно ударил одного из разбойников по руке, что та отскочила от тела. Разбойник с пронзительным криком упал на землю. Четвертый заговорщик, сражавшийся с другим человеком, повернулся к Саиду, вступившему было в борьбу с третьим, но человек, на которого была накинута петля, почувствовав себя освобожденным, в свою очередь бросился на помощь Саиду и, выхватив свой кинжал, вонзил его сбоку в грудь нападающего. После этого четвертый разбойник, оставшийся в живых, бросил свою саблю и пустился бежать.

Саид недолго оставался в неизвестности относительно того, кому он спас жизнь. Тот из спасенных, который был повыше ростом, подошел к нему и сказал:

— Это покушение на мою жизнь и на мою свободу кажется мне столь же странным, как и твоя неожиданная помощь. Как ты узнал, кто я? Каким образом ты проведал о замысле этих людей?

— Повелитель правоверных! — отвечал Саид.— Сегодня вечером я возвращался по улице Эль-Малек и случайно подслушал разговор нескольких людей, говоривших на особом наречии, которое мне некогда удалось изучить. Они сговаривались взять тебя в плен, а твоего визиря убить. Так как было уже поздно, чтобы предостеречь тебя, то я решил отправиться на то место, где они хотели подкараулить тебя, и оказать тебе помощь.

— Благодарю тебя! — сказал Гарун.— Впрочем, нам не следует оставаться долго на этом месте. Возьми это кольцо и приходи с ним завтра ко мне во дворец. Тогда мы поговорим с тобой подольше, и я посмотрю, чем могу лучше отблагодарить тебя. Пойдем, визирь, здесь нельзя оставаться: разбойники могут снова напасть на нас.

Сказав это, калиф хотел увлечь за собою визиря, предварительно

надев юноше на палец кольцо. Но визирь попросил его подождать еще минуту, обернулся и вручил изумленному Саиду тяжелый кошелек.

— Молодой человек,— сказал он ему,— мой повелитель, калиф, может сделать тебя всем, чем захочет, даже моим преемником; но сам я могу сделать для тебя лишь немногое, и то, что могу, я лучше сделаю сегодня, чем завтра. Возьми поэтому мой кошелек. Впрочем, этим я не хочу откупиться от своей признательности. Каждый раз, как тебе понадобится моя помощь, приходи ко мне.

Словно опьяненный счастьем, Саид возвратился домой; но здесь его ждал плохой прием. Калум-Бек сначала сердился на него за долгое отсутствие, а потом стал беспокоиться, так как боялся, что может потерять прекрасную вывеску для своей лавки. Он встретил поэтому Саида бранью и долго неистовствовал, как сумасшедший; но Саид, успевший заглянуть в кошелек и заметивший, что тот набит одними золотыми монетами, сообразил, что теперь может вернуться на родину и без обещанной награды калифа, которая, наверно, оказалась бы не менее щедрой, чем награда визиря. Саид не захотел остаться в долгу и в ответ на брань хозяина твердо объявил ему, что не останется у него больше ни одного часа. В первую минуту Калум-Бек сильно испугался, но вслед за тем насмешливо расхохотался и сказал:

— Ах, ты нищий бродяга! Куда же ты пойдешь, если я лишу тебя своего покровительства? Где найдешь ты себе пищу и ночлег?

— Это не ваше дело! — дерзко отвечал Саид.— Прощайте, меня вы более не увидите!

С этими словами он выбежал из дома Калум-Бека, который глядел ему вслед, безмолвный от изумления. Но на другое утро, после долгих размышлений, он послал своих слуг на разведку. Долго искали они Саида, но напрасно; наконец, один из слуг вернулся и сообщил, что видел Саида, выходящего из мечети и направляющегося к гостинице, но что вид у него теперь совершенно другой: на нем прекрасное платье, кинжал и сабля, а на голове великолепная чалма.

Услыхав это, Калум-Бек стал кричать и браниться: «Без сомнения, этот негодяй обокрал меня. Вот откуда он добыл себе денег на платье! О, я — несчастный человек!» Недолго думая, он побежал к начальнику полиции, а так как было известно, что он родственник Мессура, главного камердинера калифа, то ему нетрудно было получить несколько полицейских, чтобы арестовать Саида.

Между тем Саид сидел в гостинице и спокойно беседовал с одним купцом, обсуждая с ним путешествие в Бальсору, свою родину. Вдруг на него напали несколько человек и, несмотря на его сопротивление, ему связали руки назад. На его вопрос, по какому праву они позволяют себе это насилие, ему отвечали, что это делается от имени полиции и его законного хозяина. В ту же минуту явился и сам Калум-Бек и, запустив руки в карман Саида, с торжествующим видом вытащил оттуда кошелек с золотом.

— Смотрите, все это он понемногу наворовал у меня, негодяй! — воскликнул он, и окружающие с негодованием посмотрели на пойманного.

— Как, такой молодой, такой красивый и такой испорченный! В суд его, в суд, пускай получит заслуженное наказание!

После этого Саида увели. Со всех сторон сбежались толпы людей, все кричали:

— Смотрите, вот прекрасный приказчик с базара! Он обокрал своего хозяина и убежал! Он украл целых двести золотых монет!

Начальник полиции принял арестанта очень сурово. Саид хотел защищаться, но начальник приказал ему молчать и выслушал только одного купца. Он показал купцу кошелек и спросил: у него ли украдены эти деньги? Калум-Бек подтвердил это под присягой; однако ему удалось получить лишь золото, но не вернуть себе обратно прекрасного приказчика, которого он ценил гораздо дороже. Судья объявил ему:

— По закону, обнародованному лишь несколько дней назад нашим могущественным калифом, всякая кража на сумму, превышающую сто червонцев и притом совершенная на базаре, наказывается вечным изгнанием на пустынный остров. Этот воришка явился очень кстати; теперь у нас как раз будет двадцать таких молодцов. Завтра их посадят на барку и увезут в море.

Саид был в отчаянии. Напрасно умолял он начальника полиции дозволить ему сказать только одно слово калифу: никто не обращал внимания на его слова. Калум-Бек теперь и сам раскаивался в своей клятве и тоже заступился за него. Но судья и слушать его не стал.

— Ты получил обратно свои деньги, — заметил он строго, — и с тебя довольно; ступай домой и не беспокой меня, не то я тебя оштрафую на десять червонцев.

Смущенный Калум-Бек замолчал, а начальник сделал знак, чтобы Саида увели.

Несчастного поместили в мрачную, сырую темницу; там на соломе валялось девятнадцать преступников, встретивших его как товарища по несчастью грубым смехом, проклятиями и жалобами. Саид горько ошибался, полагая, что на корабле его положение станет лучше. Всех двадцать преступников спустили вниз в одну тесную и темную каюту, где люди даже не могли стоять во весь рост и где между ними тотчас же поднялась драка за лучшие места.

Вскоре судно снялось с якоря. Только раз в день заключенным доставляли немного хлеба, плодов и глоток пресной воды. В каюте было так темно, что всякий раз, когда арестанты должны были обедать, туда приносили свечи. Почти каждые два-три дня кто-нибудь из заключенных умирал: так ужасен был воздух в этой темнице. Только молодость и цветущее здоровье Саида спасли его от той же участи.

Так прошло четырнадцать дней, но на пятнадцатый волны

зашумели сильнее, и на корабле поднялась необыкновенная суета. Саид догадался, что приближается буря, но мысль эта его не пугала — она была ему даже приятна, так как он теперь желал лишь одного: умереть.

Все сильнее и сильнее качало корабль, и наконец с ужасным треском он наскочил на камень. Крики ужаса и стоны раздались с палубы, сливаясь с ревом бури. Но скоро воцарилась тишина, и вслед за тем один из арестантов заметил, что вода проникает в трюм. Несчастные стали стучать в дверь, но напрасно: никто не отвечал им. Между тем вода все прибывала. Тогда, обезумев от страха, заключенные бросились к двери и выбили ее.

В одну минуту они взбежали по лестнице на палубу, но там не видно было ни одной живой души: экипаж корабля спасся весь на лодках. Большая часть арестантов пришла в отчаяние, потому что буря свирепствовала все сильнее, корабль трещал и заметно погружался в воду.

Еще несколько часов просидели они на палубе и в последний раз попировали за счет тех запасов, которые нашли на корабле. Потом буря возобновилась с еще большею силою, корабль сорвался с утеса, на котором застрял, и пошел ко дну.

В последнюю минуту Саид догадался ухватиться за мачту, а когда корабль разбился, он уцепился за нее еще крепче. Волны бросали его во все стороны, но Саид, работая ногами, удерживался на поверхности воды. Только было он [illegible], как вдруг цепочка со свистком выскочила у него из-за пояса. Саиду захотелось еще раз попробовать, не издаст ли свисток звука. Крепко держась одною рукою за мачту, он другою поднес к губам свисток, дунул и — что же? Против ожидания, свисток издал громкий чистый звук. В ту же минуту буря улеглась, волны исчезли, как будто на них вылили масло. Не успел Саид опомниться от изумления, как мачта под ним стала вытягиваться и двигаться каким-то особенным образом, и он, к немалому своему ужасу, заметил, что плывет теперь не на дереве, а на огромном дельфине. Однако через несколько минут он вполне успокоился, так как убедился, что дельфин спокойно продолжает свой путь. Приписав свое чудесное спасение волшебному свистку и своей покровительнице, благосклонной фее, Саид громко вознес ей благодарственную хвалу.

С быстротой стрелы чудный конь мчал его между волн, и, прежде чем наступил вечер, Саид увидел твердую землю и широкую реку, в которую и завернул верхом на дельфине. Теперь, когда приходилось подниматься вверх по течению, дельфин стал плыть медленнее, и проголодавшийся Саид, вспомнив о том, как витязи в старинных волшебных сказках добывали себе пищу, достал снова свисток, громко засвистел и смело пожелал себе хорошего ужина. В ту же минуту дельфин остановился, и из воды вынырнул стол, такой сухой, как будто бы он простоял на солнце целую неделю, богато уставленный отборными яствами. Саид с жадностью набросился на них, так как успел порядочно изголодаться во время своего заточения. Наевшись

[?]ыта, он проговорил: «Спасибо!», после чего стол опять нырнул в глубину, а дельфин поплыл с ним дальше, вверх по реке.

Солнце близилось уже к закату, когда Саид заметил в отдалении большой город, минареты которого показались ему очень похожими на багдадские. Мысль о Багдаде была ему не особенно приятна, но его доверие к благосклонной фее было так велико, что он не боялся более попасть в руки гнусного Калум-Бека. В стороне от города, приблизительно на расстоянии одной мили, у самого берега реки, виднелся великолепный загородный дом, к удивлению Саида, дельфин поплыл прямо туда.



На крыше дома стояло несколько великолепно одетых людей, а на берегу Саид увидел толпу слуг, которые все глядели в его сторону и от изумления всплескивали руками. Дельфин остановился у мраморной лестницы, спускавшейся прямо к реке, и едва только Саид успел ступить на нее, как его чудесный конь уже бесследно исчез. В ту же минуту несколько слуг сбежали по лестнице и от имени своего повелителя попросили его войти в дом и переменить платье. Саид быстро переоделся и последовал за слугами на крышу, где нашел трех людей, из которых один, самый высокий и красивый, пошел к нему навстречу с ласковым и приветливым видом.

— Кто ты, чудесный чужестранец,— сказал он,— укрощающий дельфинов и направляющий их в любую сторону, словно искусный всадник своего боевого коня? Волшебник ли ты или такой же человек, как и все мы?

— Господин! — отвечал Саид.— В последнее время я испытал много злоключений, и если это может доставить вам удовольствие, то я расскажу вам все.

И тут он рассказал своим слушателям всю свою историю, с той самой минуты, когда он покинул дом отца, вплоть до своего чудесного спасения. Не раз во время его рассказа его прерывали возгласами

изумления, но когда он кончил, хозяин дома, встретивший его так ласково, сказал:

— Я верю твоим словам, Саид! Но ты рассказывал нам, что получил на состязании цепь и что сам калиф подарил тебе кольцо. Не можешь ли ты показать нам эти предметы?

— Конечно, могу! Я храню их у себя на груди,— сказал юноша, и с этими словами он достал цепь и кольцо и показал их собеседникам.

— Клянусь бородою пророка, это мое кольцо! — вскричал высокий, красивый мужчина.— Великий визирь, давай обнимем его, это он, наш спаситель!

И с этими словами оба бросились обнимать Саида, которому казалось, что он видит все это во сне. Скоро, однако, он опомнился и воскликнул:

— Теперь я знаю, что ты не кто иной, как сам Гарун-аль-Рашид, калиф багдадский.

— Да, это я, твой друг! — отвечал Гарун.— С этой минуты наступил конец всем твоим несчастиям. Последуй за мною в Багдад и оставайся при мне. Ты доказал мне в ту ночь, что жизнь Гаруна тебе дорога.

Саид поблагодарил калифа и обещал остаться у него навсегда, но просил только позволения прежде съездить к отцу, который, по всей вероятности, сильно о нем беспокоится. Калиф нашел такое желание вполне справедливым и законным. После этого они сели на коней и еще до заката солнца прибыли в Багдад.

КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК

Я родом из Басары, где отец мой был мелким торговцем. Он меня вырастил и приучил к своему ремеслу, я вскоре стал его помощником. Мы были не богаты, и торговля наша была самая ничтожная, потому что отец был человек робкий, нерешительный. Однажды, когда мне уже минуло восемнадцать лет, отец вдруг решился пустить в оборот тысячу золотых; деньги эти он послал за море для покупки товаров и надеялся получить на них большие барыши. Вдруг на него напал страх, как бы корабль не утонул и не пропали бы его деньги. Он стал тосковать, заболел и вскоре умер. Опасение его сбылось. Судно погибло, и с ним пропали деньги. Я продал все, что осталось после отца, и пошел на чужбину искать счастья. Старый слуга отца моего не захотел меня покинуть и отправился со мною.

Мы сели на корабль и отплыли в Индию.

Путь наш начался благополучно, но после двухнедельного тихого, спокойного плавания капитан однажды сообщил нам в тревоге, что нас ожидает буря. Как видно, он не был уверен в крепости судна или не знал вовсе тех мест, потому что он сильно трусил. Ночь настала холодная и светлая, и нам казалось, что капитан ошибся. Вдруг мимо нас проплыл корабль, которого мы до того не видали. Дикая радость и веселье слышались на нем. Я удивился. Что это значит? «Мы боимся

[illegible], а там радуются ей!» — сказал я капитану. Но капитан стоял возле меня бледный, как полотно. «Погибло мое судно! Вот идет смерть!» Не успел я его спросить, что он этим хотел сказать, как вся команда с воем и криком была уже на палубе. «Видели, видели,— кричали матросы,— погибли мы, погибли!»

Капитан храбрился, по его приказанию началось чтение корана. Ветер становился все сильнее и сильнее; не прошло и часа, как судно закряхтело; стали спускать лодки, и едва успел спастись последний человек, как судно пошло ко дну. Я остался нищим среди бурного моря. Но этим не кончились мои бедствия. Море бушевало, мы со слугой, сидя в лодке, крепко держали друг друга в объятиях. Наконец рассвело; в это время сильный порыв ветра опрокинул нашу лодку, и что было дальше, я не помню. Когда я опомнился, то лежал на руках моего верного друга; он сидел на опрокинутой лодке, и, кроме нас, никого не осталось в живых. Кругом все было пусто; буря стихла. Корабль наш исчез, но я увидал другой и с ужасом узнал в нем встретившийся накануне с нашим злополучным судном. Мертвая тишина царила на нем, никто не ответил на наш зов и никто не показывался на палубе.

С носа корабля [illegible] мы ухватились за него и стали кричать, но напрасно [illegible], тогда мы решили подняться на судно. Я [illegible]. Палуба была залита кровью, команда [illegible] я едва дышал. Наконец, влез и мой спутник [illegible] и мы решились спуститься в каюту и осмотреть [illegible] найдется ли живой души. Внизу была та же тишина, раздавались лишь наши шаги. Мы прислушались у дверей каюты, все тихо, ничего не слыхать. Я отворил дверь. В каюте валялись разбросанные платья, оружие и прочие принадлежности; по-видимому, еще недавно тут были люди. Мы пошли из каюты в каюту и всюду встречали съестные припасы, одежду и даже ценную утварь. «Вот находка! — говорил я.— Все это мы можем взять себе, ведь тут нет хозяина, мы вольны распоряжаться сами». «К чему тебе все эти вещи,— отвечал мне Ибрагим,— ты позаботься наперед о том, чтобы самому остаться живым».

Однако мы присели за стол и поели, затем отправились наверх и хотели перекинуть за борт убитых матросов, лежавших на палубе, но, странно, они были словно прикованы, их нельзя было сдвинуть с места, и мы должны были отказаться от этой работы. Грустно провели мы день; к ночи Ибрагим пошел спать, а я остался на палубе караулить; но около одиннадцати часов у меня стали слипаться глаза, я не мог удержаться от сна и, свалившись за бочку, задремал. Сначала я спал довольно чутко. Мне казалось, будто судно ожило, народ зашевелился, раздавалась команда, поднялась суета. Я хотел встать, но не мог. Странная тяжесть во всем теле мне не давала шевельнуться. Когда же я проснулся, то солнце был высоко, а на судне все так же тихо и мертво, как накануне. Я думал, что это был сон. Но, пришедши к



Ибрагиму, убедился в противном. Он мне также рассказал, что ему чудилось ночью, и прибавил даже, как он видел спросонок самого капитана, сидевшего в каюте за ужином.

Мы условились с Ибрагимом не спать следующую ночь и, чтобы освободиться от чар, стали читать молитвы. Провертев дырочки в двери каюты, где ужинал капитан, мы сели наблюдать. Ибрагим написал имя пророка на всех четырех стенах. Часов в одиннадцать меня снова стало клонить ко сну; мы принялись читать молитвы. Вдруг наверху все ожило; раздавались шаги, послышались голоса, загремел канат, и наконец по лестнице стал кто-то спускаться. Мы увидали, как дверь в каюту растворилась и вошел сам капитан, а с ним еще кто-то в красной одежде. Они пили, ели, говорили на непонятном нам языке, наконец, покончив с ужином, ушли наверх, где возня становилась все громче и громче: стук, шум, крик и стон оглушали нас. Затем все вдруг снова затихло, и к утру все покойники лежали по своим местам.

Днем мы подвигались к востоку, то есть к берегам, ночью же мы, вероятно, шли назад, потому что утром мы стояли на том же месте, где были накануне. Очевидно, наши мертвые не хотели нас везти вперед;

[illegible] мы с Ибрагимом придумали сделать следующее: отдать [illegible] замотав их пергаментными ремнями, надписав на них имя пророка. Средство это помогло: на другое утро паруса были в том же виде, как мы их оставили с вечера.

Таким образом мы стали подвигаться вперед, и на седьмой день увидели землю. Мы благодарили аллаха и великого пророка за чудесное спасение наше. Весь этот день и следующую ночь мы плыли вдоль пустынного берега, а к утру приблизились к городу. Бросив якорь, мы с великим трудом спустили лодку, сели в нее и погребли к материку. Вскоре мы вошли в устье реки, на которой стоял город, а через несколько времени, пристав, с радостью вступили на твердую землю. Подойдя к городу, мы осведомились о названии его: это был индийский городок, именно в тех местах, куда я намерен был ехать. Выйдя на берег, мы зашли в караван-сарай поесть и отдохнуть от такого страшного путешествия. Мне хотелось с кем-либо поделиться рассказом о наших приключениях в надежде услышать объяснение; а потому я спросил, нет ли здесь какого-нибудь толкователя снов и разных чудес. Мне указали на такого человека, улицу и дом, где он живет, и велели спросить Мулея.

Там меня встретил маленький, [illegible] человечек с длинным-предлинным носом. На вопрос [illegible] нужно? — я отвечал, что пришел к старцу Мулею; тогда он [illegible] сказал, что он и есть Мулей. Тут я ему рассказал наше приключение и просил объяснить его мне. «Вероятно, люди эти за какое-либо злодеяние свое,— отвечал он мне,— приговорены [illegible] в море. На земле чары исчезнут, а потому нужно вырубить доски и перевезти покойников на берег. По праву судно это со всем добром — ваше, потому что вы его нашли и оно без хозяина. Держите [illegible] частицу своего имущества,— продолжал старик,— [illegible] что и как сделать; дам вам даже помощников [illegible].

Я обещал, что поделюсь с ним добычею, и мы отправились на корабль с пятью невольниками, взявшими с собою пилы и топоры. Дорогою Мулей похвалил нашу выдумку замотать паруса изречениями корана и именем пророка. Это было единственное средство спасения.

Было еще довольно рано, когда мы приплыли на корабль. Все усердно принялись за работу. В один час мы вырубили четверых и отправили их на берег. Невольники вернулись оттуда с известием, что мертвецы избавили даже от труда зарывать их, рассыпавшись в прах, как только коснулись земли. Капитан судна был приколочен гвоздем к мачте, вырвать этот гвоздь не было никакой возможности. Не рубить же из-за этого всей мачты? Мулей послал одного из невольников на берег за горшком земли. Когда землю привезли, то он, нашептав над ней заклинание, высыпал на голову капитана; в ту же минуту капитан открыл глаза, вздохнул, и гвоздь легко выдернулся.

— Кто привел меня сюда? — спросил капитан, как бы очнувшись. Мулей указал ему меня.

— Благодарю тебя, незнакомец,— сказал он,— ты избавил меня от

долгих страшных мучений. Вот уже пятьдесят лет плавает мой корабль, и я был осужден каждую ночь пробуждаться и снова приводить его на старое место. Но теперь голова моя коснулась земли, и я могу с миром идти к праотцам моим.

На мой вопрос: как и за что он был в таком ужасном состоянии? — он отвечал: «Пятьдесят лет тому назад я был сильное и знатное лицо в Алжире; жадность к деньгам довела меня до того, что я однажды ограбил судно, и с тех пор стал разбойничать на море. Однажды на острове Цанте я принял на судно дервиша, который хотел ехать бесплатно.

Мы с товарищами были народ грубый, необузданный, мы не понимали всей святости звания его и стали над ним издеваться. Он мне начал выговаривать за мою дурную жизнь, и это оскорбило мое самолюбие; в ту ночь я кутил и пил и наконец до того разгорячился, что бросился с кинжалом на бедного дервиша и зарезал его. Умирая, он проклял меня и всю команду, чтобы нам не жить и не умирать, доколе не коснемся лицом земли. Дервиш умер; мы сбросили его в море и смеялись над его проклятиями. Но в ту же ночь сбылись слова его. Часть команды моей взбунтовалась. Драка и резня поднялись ужасные; наконец бунтовщики осилили, перерезали моих товарищей, меня пригвоздили к мачте, но и сами не встали от ран своих и также погибли. Я думал умереть, но только замер. На другую ночь, в тот самый час, в который мы накануне сбросили дервиша, все мы очнулись. Но не могли ни действовать, ни говорить по своей воле; каждую ночь повторялось одно и то же. Так прошло пятьдесят лет. Мы не живем и не умираем, потому что не можем достичь земли. Мы радостно летели навстречу буре, ожидая, что она разобьет наш корабль и мы сложим усталые наши головы на дне моря. Но и этому не суждено было сбыться. Теперь же ты избавил нас, благодарю тебя еще раз. Если сокровища могут наградить тебя за доброе дело, то возьми себе все, что найдешь после нас на корабле, возьми также и самый корабль».

Сказав это, он опустил голову и мгновенно рассыпался в прах; мы бережно его собрали и схоронили на берегу. Из города я взял работников, которые починили и исправили мне судно; бывшие на нем товары я выгодно обменял на другие и, одарив Мулея, отправился к себе на родину. Но я ехал не прямо, а заезжал на острова, где торговал с барышами. Пророк благословил мое предприятие, и я вернулся домой, удвоив наследство, полученное от капитана. Земляки дивились моему богатству и не могли понять, откуда оно взялось. Такой пример поощрял всех молодых людей, которые с ранних лет отправлялись в море, чтобы разбогатеть.

Я живу спокойно и счастливо, но каждые пять лет хожу в Мекку благодарить аллаха за его милости и просить, чтобы капитана с его командою он принял в рай.

Михаил Алексеев

Хлеб — имя существительное

Кишинев
Литература артистикэ
1985

ЦЕНА ЕМУ—ЖИЗНЬ

слово о хлебе

...Но хлеб от горьковатого привкуса не перестает быть хлебом! И благодатным кажется он тому, кто работает, умываясь солеными слезами и тут же щедрую силу дает он человеку, чтобы назавтра было чего тратить ему в горячем и тяжком труде!

Михаил Шолохов
«Слово о Родине».

I

Иногда думается: а сыщут ли люди в своем языке другое слово, которое могло бы сравниться по своему значению вот с этими: «Земля» и «Хлеб»? Разве что слово «Мать» имеет приблизительно равное с ними — другим не дано. Когда мы пишем слово «Земля» с большой буквы, то разумеем целую планету, ... обиталище великого множества живых существ и, может быть, единственную в своем роде среди иных, ... составляющих Вселенную. Как бы сужаясь, слово это заключает в себе и большое поле, и крохотный крестьянский надел на нем, и просто горсть того загадочного праха, не имеющего для нас вроде бы какого-либо определенного запаха и вкуса, из которого, однако, в конечном счете рождаются все вкусы, все запахи, все виды жизни в их немыслимом сочетании и разнообразии.

Постепенно преображаясь, оно, это слово, то становится метафорой, то входит в мудрую народную пословицу или поговорку, то явится символом, обозначающим и крайнюю бедность и неслыханное богатство, когда одного называют «безземельный», а другого «землевладелец». Неизменно неся на себе огромную социальную нагрузку, слово «Земля» часто ставится в заголовки политических, философских, экономических трактатов, революционных лозунгов, воззваний, декретов. Нередко оно употребляется и для обозначения страны. В этом случае люди говорят: «Моя земля», что для нас ассоциируется с понятием Родины, дорогой нам до слез, до сладкого сердцебиения.

Досталась нам эта земля воистину дорогой ценой. Трудно сказать, чем больше поливали ее наши предки — потом или кровью своей. Того и другого было пролито так

много, что сравнение с морем и даже океаном не было бы гиперболой. И проливал эту кровь и этот пот по большей части человек, которому по логике вещей земля должна была бы принадлежать, ибо он и ее сеятель, и ее хранитель. Однако злою волей социальной несправедливости в течение веков он либо вовсе не имел своей земли, либо располагал самой малой ее долей.

Попеременно становясь то пахарем, то воином, крестьянин всякий раз спасал землю, на которой, в общем-то, никогда не был счастлив, ибо всегда его обкрадывали привилегированные сословия, обкрадывали самым бессовестным образом. Его похваливали, с ним заигрывали, когда над страной сгущались тучи, его называли чудо-богатырем, поскольку понимали, что это единственно реальная сила, которая [illegible] и может отвратить от русской земли иноземные [illegible]. Но едва опасность отвращалась, и о «чудо-богатырях» начисто забывали. Он возвращался к сохе, то есть опять становился мужиком — без всяких уж льстивых [illegible] к этому слову. И — вновь: «Ну, тащися, Сивка...»

Истосковавшиеся по [illegible] руки с наслаждением, о коем знает лишь земледелец, ложились на поручни сохи. Случалось, что вчерашний герой (нередко полный георгиевский кавалер) [illegible], полагая, что теперь-то уж он должен быть [illegible] хозяином на земле, а не барин, однако дорого [illegible] ему эта забывчивость! Тотчас же появлялись на своих сытых конях блюстители порядка. Нагайка урядника вволюшку ходила по тощей спине пахаря. Хорошо, коли этим дело и оканчивалось. А то ведь могли назвать бунтарем, посягнувшим на священную собственность помещика, и надолго упрятать в тюрьму.

Доведенный до крайности, народ нередко действительно бунтовал — это тогда, когда чаша терпения переполнялась и выплескивалась через край, когда выдвигались крестьянские предводители — Иван Болотников, Степан Разин, Емельян Пугачев...

Однако кончалось одним и тем же: жесточайшим подавлением крестьянских волнений. И слово «земля» опять сокращалось до размеров той делянки, на которой крестьянин трудился от зари и до зари в самом буквальном смысле этих слов и которая все-таки не могла прокормить его семью. Подумать только: хлеба хватало лишь до рождества для подавляющего большинства крестьянских дворов! А засухи, а нашествия саранчи, а другие бедствия,

которые были частыми гостями крестьянских полей! А он, сеятель, был одинок перед этим грозным нашествием. И удивительное дело: земля тем не менее была для него «матерью», «кормилицей» — так, по крайней мере, называл он ее, хотя мог бы назвать и мачехой, и это было бы только справедливо. Но крестьянин не может сказать худого слова о земле: в ней, и только в ней, видит он смысл всей своей жизни. Может, в глубине-то души своей он, сеятель и хранитель, прятал и берег до поры заветную думу и святую веру в то, что придет же такое время, когда вся земля будет принадлежать тем, кто на ней трудится испокон веку, то есть ему? Может, эта думка и эта вера были источником его почти сказочного мужества и героизма в делах ратных и безмерного терпения в делах трудовых? Кто знает...

Подавив самым свирепым образом крестьянские выступления, царь, очевидно, полагал, что исполнил свой предначертанный долг. В судьбе же крестьянина мало что изменилось и после отмены крепостного права. Достаточно вспомнить, что к началу XX века тридцать тысяч помещичьих семей (около ста пятидесяти тысяч населения) владели семьюдесятью миллионами десятин земли, а на десять с половиной миллионов крестьянских дворов (около пятидесяти миллионов населения) оставалось семьдесят пять миллионов десятин, а ежели прибавить, что из этого числа большая часть землицы скорехонько оказалась в цепких, ухватистых руках кулака, то картина для основной массы крестьянства Российской империи выглядела совсем уж безотрадной, если не сказать жуткой.

Между тем крестьянин долго, многие-многие годы верил. Верил всем: царю, богу, местному попу, краснобайствующему, медоточивому либералу, наконец, эсеровскому оратору, взявшему на себя позорную роль горьковского Луки-утешителя, претендовавшему к тому же на право быть единственным выразителем дум и чаяний крестьянства. Стены Государственной думы сотрясались от звучного глагола этих господ, а помещик и сельский богатей-мироед и в ус не дули: речи крестьянских «заботников» не могли обмануть их, владельцев большей части земли. Крестьянин, находясь в окопах, оглушенный разрывами гранат и бризантных снарядов, сквозь грохот войны напряженно прислушивался к доносившейся до него из столицы этой словесной перепалке: как-никак ведь там обсуждался вопрос о земле, что может быть для него, мужика в солдатской шинели, дороже этого?! Не вдруг, не сразу

дошел до него трезвый голос, не сразу крестьянин понял истинное: землю можно получить только из рук единственного надежного союзника — рабочего человека, иными словами говоря — через революцию, рабоче-крестьянскую, социалистическую. Других возможностей получения священных и вечных прав на землю у крестьянина нет и быть не может! Это было исторически неизбежно для массы крестьянства многонациональной России.

Простая, ясная, как безоблачный полдень, мысль, что землю тебе отдаст рабочий класс, самый бескорыстный из всех классов, какие только бывают в людском миру,— мысль эта, едва достигнув сердца простого пахаря, где б он ни находился на ту пору, сейчас же сделала его верным союзником пролетариата. Революционная смычка (употребим это привычное для тех дней слово), таким образом, окончательно оформилась, грозовая ситуация для Октября созрела.

Великая Октябрьская социалистическая революция совершилась!

II

Что могло означать слово «октябрь»? Очевидно, лишь одно: осенний месяц, отмеченный частыми холодными дождями и тем еще, что природа, грустно присмирев, тихо сбрасывает с себя летнее убранство, готовясь к долгой зимней спячке.

Для нас слово «Октябрь» обрело совершенно иной смысл, смысл настолько значительный, что само это слово мы стали писать с большой буквы, где б оно ни находилось: в начале строки, в середине или в конце ее. Эхо выстрела «Авроры» как бы переселилось в это слово, рождая в сердцах людей надежду.

Вероятно, грохот этого выстрела стоял еще в ушах человека, поздней ночью склонившегося над бумагой, чтобы вывести первые строчки декрета новой власти. Вновь и вновь вчитываюсь в эти строки. В подзаголовке мелкими буквами помечено: «принят на заседании 26 октября в 2 часа ночи». На Втором Всероссийском съезде Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов все рассчитано было не только по часам, но и по минутам. Промедление могло бы дорого обойтись революции. Земля была обещана крестьянину. И он должен был получить ее быстро, сейчас же.

Как литератору мне хотелось бы живее представить

себе Ильича, торопливою рукой, своим стремительным, летящим почерком набрасывавшего строки декрета.

«1) Помещичья собственность на землю отменяется...»

Возможно, после этого слова поначалу была поставлена точка, но Владимир Ильич решительно прибавляет:

«...немедленно без всякого выкупа».

Нетрудно представить, что творилось в душе мужика, когда он услышал такое! В один час крестьяне получили от только что родившегося рабоче-крестьянского государства более ста пятидесяти миллионов гектаров земель сверх тех, которые принадлежали им уже раньше. И это еще не все: революция избавила крестьян от необходимости погашать арендные платежи помещикам, а также от расходов на покупку земли, а это — семьсот миллионов рублей золотом ежегодно.

Наступил час, когда Ленин мог, наконец, вынести слово «земля» в заголовок одного из первых декретов Советской власти. Отныне в нашей стране извечно трудящийся на земле — народ — стал единственным и полноправным ее хозяином.

III

Речь теперь могла идти лишь о том, чтобы уберечь эту землю не только от вражеских нашествий, но и от нерадивости, от равнодушия от мелкого и вредоносного эгоизма людей с незрячим умом и холодным сердцем, тех, кто рассуждает примерно так: живем на земле один раз, потому возьмем от нее все, что можем. Один, уже старый человек, сажает сад, зная заведомо, что самому-то ему не вкусить плодов от этого сада, однако же сажает — сажает для потомков; другой, со слепым, эгоистическим сердцем, сбивает эти плоды вместе с ветками, чтобы усладить свое чрево, а то, что дерево, покалеченное им, помрет, его не касается.

В свое время я рассказывал о двух таких, противостоящих друг другу, человеческих типах. Первый, по прозванию Полесовый, списанный с натуры в родном моем селе Монастырском, на Саратовщине, добровольно возложил на себя обязанности охраны лесных и иных природных богатств; другой, по кличке Мильен, присвоил себе сомнительное право распоряжаться этими богатствами по своему усмотрению.

Вернувшись с войны, мой Полесовый вскоре обзавелся ружьишком и стал выходить в лес в самое неожидан-

ное для порубщиков время: в глухую полночь, в лютую стужу, в жуткую метель или в проливной дождь,— тогда, когда хороший хозяин, как говорится, собаку во двор не выгонит из дома. Именно в такое-то гиблое время можно услышать в урочище внезапное и властное: «Бросай топор, пилу — не то я палю!» Дело неизменно кончается тем, что нарушитель лесного закона бросит и топор, и пилу, а на другой день, получая их обратно, [illegible] наставление относительно лесных богатств [illegible] надлежат всем, а не отдельным [illegible] стям.

Совсем другой тип — Мильен. Повстречал я [illegible] среди русских лесов и называл про себя [illegible] льен, потому что на все [illegible] в рыб он отвечал [illegible] Но [illegible] сти, я квартировал [illegible] страшным и [illegible] ня обстоятельства. [illegible] прекратить, например, его [illegible] старик с удивлением [illegible] глазки и изрекал с [illegible] выловишь? Ее туточки мильен.

Два человека, [illegible] Советской страны. А разница — [illegible] — добрый и мудрый союзник земли, второй — ее враг, губитель. Между тем оба дети одной матери-земли. Один — рачительный и умный множитель ее богатств, другой — расточитель, вор. Первый хорошо знает, а второму вроде бы это и невдомек, что на землю имеем право не только мы, ныне здравствующие, но и те, кто еще не родился. Такие, как Мильен — дай им волю,— обдерут природу как липку! Эти не задумываются над тем, что богатства, полученные нами безвозмездно от матушки-земли, являются неделимым фондом для всех сменяющихся поколений людей, что обокрасть своего современника — гнусно, но еще гнуснее обокрасть, ограбить далекого потомка, который ничего не ведает, ничего не знает и не может вступиться за себя. Оборонить, защитить его интересы обязаны мы, ныне живущие и здравствующие. Защитить его — значит защитить будущее нашей Родины.

Отношение человека к земле, к природе — категория не только экономическая, но раньше всего нравственная. Убежден, что хороший человек не может плохо относиться к породившей его природе,— можно ли назвать хорошим сына, который бы плохо относился к своей матери?!

К тому же земля в нашей стране является общенародным достоянием, за нее несет личную ответственность каждый член нашего общества, а не только государство, на плечи которого мы нередко склонны взвалить положительно все.

Кстати сказать, именно эту-то смысловую нагрузку и несет в себе статья 67-я новой нашей Конституции, обязывающая всех без исключения граждан беречь природу и охранять ее бесценные сокровища.

Не скрою, я, делегат XXIV съезда нашей партии, был глубоко взволнован, когда услышал в Отчетном докладе то, что так сильно тревожило меня все последние годы:

«Принимая меры для ускорения научно-технического прогресса, необходимо сделать все, чтобы он сочетался с хозяйским отношением к природным ресурсам, не служил источником опасного загрязнения воздуха и воды, истощения земли. Партия повышает требовательность к плановым, хозяйственным органам и проектным организациям, ко всем нашим кадрам за дело проектирования и строительства новых и улучшения работы действующих предприятий под углом зрения охраны природы. Не только мы, но и последующие поколения должны иметь возможность пользоваться всеми благами, которые дает прекрасная природа нашей Родины».

Лишь следуя неукоснительно этим указаниям партии, воздвигая грандиозные промышленные объекты, жизненно важные для всех нас и властно диктуемые стремительным процессом технического перевооружения, научного прогресса, мы не будем терять по пути и рядом нечто такое же ценное и жизненно необходимое, дарованное нам и нашим наследникам природою на вечное пользование.

Так, и только так, могла и может ставить вопрос партия, движимая самыми гуманными целями: все для человека, все во имя человека! Причем в емкую эту формулу с дней Октября мы заключаем далеко не только наши национальные цели. Земля — матерь всех народов, населяющих ее. На несчастье, появляются на ней особи похлеще и поопаснее моего Мильена. И вооружены они не рыбоглушителями и не острогой, а напалмом и другими сверхразрушительными средствами, обращенными к тому же против людей, ни в чем не повинных и беззащитных. Не считаются они с тем, что, кромсая живое тело земли, совершают неслыханное преступление не только перед отдельными народами, но и перед всем человечеством. Скоро ли обретет материнскую силу плодоношения земля там,

где прошла военщина с оружием, все сжигающим, с химическими средствами, все отравляющими, с потоками мазута, хлынувшего из прорванных железных утроб их танков?! Скоро ли?! И вообще: сможет ли отравленная мертвым металлом земля рожать то, без чего невозможно, немыслимо биологическое существование на ней? Для нас же, людей, важнее важного знать: может ли на такой земле родиться Хлеб?..

IV

Речь должна идти о хлебе, скажут мне, а вы почему-то все говорите о земле. Да, говорю и полагаю, что поступаю правильно. Согласитесь, земля тоже имеет прямое отношение к хлебу... Говоря о земле, я ни на минуту не забываю, что партия наша, как и прежде, одной из главных задач в сельском хозяйстве считает увеличение производства зерна. И тут имеются в виду не только одни наши национальные интересы. Известно, что сотни миллионов человеческих существ на планете голодают в буквальном смысле или живут впроголодь. И чаще всего не хватает как раз хлеба, который родится только на земле, и нигде больше. Статистиками подсчитано, что в мире за одну лишь минуту от голода умирают сорок детей. Знали ли об этом люди, о которых в начале прошлого года рассказывал мне Федор Трофимович Моргун, первый секретарь Полтавского обкома партии.

— Осматривая как-то луга,— говорил он,— в одном из пойменных мест у речки Ворсклы, я случайно обнаружил на тропинке брошенные продукты: кусок сала — в пятьсот-шестьсот граммов, крупную рыбину, две лишь наполовину съеденные банки рыбных консервов и банку сгущенного молока, много хлеба, остатки колбасы, четыре вилки, блюдечко и три бутылки из-под спиртного. Это кощунственное зрелище больно хлестнуло меня по сердцу. Недалеко от того места были разбиты палатки, и, похожу — там молодые люди. Я понял, что это не их рук дело. Но на всякий случай спросил:

— Не ваша работа?

— Нет.

— А не можете ли вы помочь найти след компании, которая здесь гуляла и оставила после себя вот такое безобразие?

Я невольно начал рассказывать им о том, как наголодался наш народ в дореволюционное время, как нелегко

нам было в 1921, 1933 годах. И вдруг один из молодых людей, лет так двадцати двух — двадцати трех, берет за руку девушку и равнодушно произносит: «Пойдет, Лена, мы это уже проходили».

Компанию ту разыскать все-таки удалось. Кем же они оказались? Заведующая детским садиком, шофер и два человека вполне интеллигентной профессии. Всю ночь пьянствовали и бросили на полянке недоеденные продукты. Меня это потрясло. Значит, сытый, верней, пресыщенный человек, в какой бы области труда он ни был занят, способен на недоброе... И вот тут-то вопросы этики и морали приобретают особое значение.

С глубокой грустью выслушал я это короткое повествование человека, написавшего замечательную книгу с весьма емким и многозначительным заглавием: «Хлеб и люди».

Конечно, бессмысленно внушать великие идеи, высокие принципы этики и морали голодному человеку. Он их попросту не воспримет. На голодный желудок никакие внушения не подействуют. Но еще более невосприимчивым становится пресыщенный. Поэтому и говорят: сытый голодного не разумеет, то есть они друг друга понять никогда не смогут. Об этом не следует никогда забывать. Мы часто говорим о создании изобилия продуктов и материальных ценностей, но необходимо помнить и о том, что пресыщенность — это, пожалуй, болезнь неизлечимая. Голодного можно накормить, разутого — обуть, раздетого — одеть. Сытого, пресыщенного, который тебе скажет «мы это уже проходили», трудно вернуть на путь истинный. Можно потерять такого человека вообще для общества, потому что он заболевает тягчайшим недугом — безразличием, а страдающий им создает вокруг себя как бы некий вакуум, отталкивающий других.

История, рассказанная Федором Трофимовичем Моргуном, представляется мне просто трагической. Я даже зрительно представляю того юношу, который бросил человеку, прожившему большую и трудную жизнь, бывшему воину и ныне несущему тяжелое бремя забот на своем ответственном посту, отвратительные по своему цинизму слова: «Мы это уже проходили».

Нет, милый мой, ты *этого* не проходил и благодарить должен своего отца, деда — ровесников Федора Моргуна, коего ты походя оскорбил! Прости, молодой человек, но для меня ты — пропащий человек, во всяком случае, почти пропащий.

Вернусь, однако, к хлебу.

В праздничные дни россияне его пекут с капустой, с грибами, с калиной, с картошкой, с поздникой, с вишнями, с черной и красной смородиной, с крыжовником, с яблоками и брусникой — какая там еще ягода-малина не пришлась бы к лицу хлебу! Все перечисленные — а сколько их тут еще не названо! — великие земные блага, однако пусть они и лакомые, но все же приложения к основному, к главному — к воистину Его Величеству Хлебу! И как тут не согласиться со старым землепашцем, который в патетическую минуту воскликнул: «Хлеб!.. Что может быть важнее хлеба?! Хлеб — имя существительное, а весь остальной продукт — прилагательное!» Сказано весьма энергично, пожалуй, [illegible], и все-таки слова эти не лишены [illegible] и притом глубокого смысла.

В самом деле: в семье, в государстве, если есть на столе хлеб, остальное [illegible]. Хлеб, как известно, может с успехом [illegible] с золотым запасом, по которому принято [illegible], сколь богата или бедна страна, сколь [illegible] вес среди других государств. Хлеб — он [illegible], и [illegible] пропагандист, политик и [illegible] — [illegible] мира. Хлеб, наконец, — это рука друга, [illegible] голодающему или пострадавшему от стихийных [illegible] соседу. Не потому ли, кроме всех прочих войн, больших и малых, долгих и коротких, локальных и мировых, которые, к несчастью человеческому, периодически (а теперь, сдается, уже непрерывно) потрясают нашу исстрадавшуюся планету, есть еще одна война, или, точнее сказать, еще одна битва, которую люди ведут постоянно, из века в век, ведут тысячелетиями,— это битва за хлеб, ибо она означает в конечном счете битву за жизнь на земле. И все-таки битва эта по сей день в глобальном масштабе остается невыигранной; мы уже сказали, что половина рода человеческого и ныне либо голодает, либо живет впроголодь.

V

Во многих русских селениях в прежние времена часто можно было слышать, как малыш, простирая к матери худенькие ручонки, канючил: «Мам, папы хочу, дай папы!»

Когда, кому впервые пришла счастливейшая и справедливейшая мысль назвать хлеб именем отца — кормильца семьи?! Не потому ли считалось великим грехом, свя-

тотатством бросить на пол хотя бы черствую корку (слышите вы, ночные гуляки на приречной полянке!), хотя бы крошку хлебную — и это во всех семьях, в том числе и в тех, где не испытывалось, подобно большинству крестьянских семей, недостатка в хлебе.

Я помню себя примерно с трех лет, то есть с 1921 года. Я мог бы, вероятно, свой отсчет времени с момента сознательного приобщения к земному бытию начать и чуть раньше и чуть позже, но для этого должно было произойти что-то очень важное, очень яркое в окружающем меня мире.

Произошло же это именно в двадцать первом. По ленинскому декрету землей уже распоряжались не помещики, а крестьяне. Но не был еще повергнут, да и по сей день не побежден окончательно, другой страшный и беспощадный враг земледельца — засуха. Родился я в степном краю, в Поволжье, где этот враг свирепствовал особенно часто. Бывают времена, когда пахаря перестают радовать ясные зори, когда с тщетной надеждой отыскивает он на раскаленном, побелевшем от зноя небосводе хотя бы малое облачко, когда самое солнце, воспетое всеми поэтами мира, становится проклятием. В пору дружной весны снег исчезает в течение нескольких дней. Обнажившаяся земля высыхает, едва в нее успеют бросить семя. А затем наступают дни томительного ожидания. Май на исходе, вот уже июнь подоспел, а дождя все нет и нет. Состарившиеся прежде времени растения жухнут, листья заостряются, на них уже явственно, как на лице смертельно больного человека, проступает зловещая желтизна. И тогда-то верующий и неверующий невольно обращали свой взор к небу, тогда отчаявшиеся люди звали священника, чтобы тот попросил всевышнего о ниспослании на землю спасительной влаги. Нет, пожалуй, более печального и трагического шествия, чем эти молебственные походы на умирающие поля!

Бог, однако, оставался равнодушным к горячей молитве хлебороба, к подворью которого уже приближался голод. Черный этот гость навещал крестьянина так часто, что уже казался неотвратимым, как судьба. Явился он и в том, 1921 году. Страшный пришелец постучался в крестьянские избы в пору, когда страна и без того была истощена тяжкими годами гражданской войны.

Помню, я сидел на печи совершенно голый, как неоперившийся птенец в гнезде, и совершенно голодный, когда тетка Феня, высокая и красивая молодая женщина, оз-

раясь по сторонам, но не опасаясь меня, несмышленыша, прятала под подушку большую черноголовую, лоснящуюся и оглушительно вкусно пахнущую краюху ржаного хлеба. От кого она его прятала — от нас ли, детей, коих в семье было великое множество, на беду взрослым, от нищих ли, которые шли через селения полчищами, как солдаты разгромленной армии,— не знаю, от кого, но хорошо помню, как при виде этого хлеба, при его душновато-вкусном запахе я на какое-то время задохнулся, а потом заорал так-то уж громко и отчаянно, что из передней выскочила моя насмерть перепуганная мать, схватила на руки и унесла к себе, утешая. Но и сейчас, кажется, в ушах моих стоит этот мой пронзительный, голодный крик: «Теть Феня-а-а! Папы хочу-у-у!»

Вспомнил я еще раз про тот год и совсем недавно, когда переводил на русский язык с эрзя-мордовского роман Александра Мартынова «Дети своих отцов». Автор этой книги постарше меня, помнит тот страшный год полнее и описал его с жуткой убедительностью. Голодающих людей мог спасти лишь новый урожай, который обещал быть щедрым, но хлеб поспевал, как нарочно, очень медленно. И вот герой романа Константин Павлович Марков, собрав последние силы, выходит на недозревшую свою делянку.

«Он ходил по меже позади своей делянкой, срывая колосок за колоском из тех, что были покрупнее других и казались спелее. Срывает колоски и бросает в мешок, который держал в левой руке. Истощенные руки быстро ослабли, немощно дрожали. Дрожали от слабости, но, пожалуй, еще больше они дрожали оттого, что коснувшийся колосьев до срока сеятель и на своем загоне чувствовал себя вором. «Что скажут люди, ежели увидят сейчас меня? — испуганно думал он.— Подумают еще, что чужие колоски обрываю... Кто же будет губить свое?!» Оттого-то он и подымает так часто голову, оттого и глядит с опаской вокруг, не наблюдает ли кто за ним... Но, слава богу, никого на поле не было, и он мог продолжать свое дело»

Хлеб был испечен, когда хозяин, коротая время, возился во дворе. Послушаем же, что было дальше.

«Хозяин не успел еще открыть избяной двери, как в нос ему ударил упоительно вкусный, начавший было забываться запах только что испеченного хлеба. А сама изба была полным-полна этого дурманящего, пьянящего запаха. Константин Павлович, почувствовав легкое головокружение, даже покачнулся на своих слабых ногах. А хозяйка приглашала:

— Садитесь, садитесь же поскорее! — Она говорила так, словно бы перед ней были долгожданные гости.— Поспели, хорошо испеклись и давно уж ждут вас,— говорила так, а сама все смахивала уголком платка навернувшиеся ненароком слезы.

Как ни хотелось Константину Павловичу сейчас же наброситься на это пахучее чудо, он все-таки превозмог себя: подошел к рукомойнику, вымыл над лоханью руки, вытер их досуха чистым холщовым утиральником и только уж потом присел к столу, с краешку, на привычном своем месте.

То же самое сделал и Серега.

Перед затуманенным взором хозяина вдруг обвязались черные, зеленые, красные круги. Ничего не видя, он ощупью отыскал нож, затем хлеб, кончиком ножа, как водится, но по-прежнему ничего не видя, перекрестил его и, прижав к груди, отвалил горбушку. Собрал двумя пальцами, пропустив между ними нож, хлебные крошки и кинул их себе в рот. Скулы его задергались. Опершись локтем о стол и прижмурившись, он долго прожевывал эти крошки...

Константин Павлович медленно открыл глаза: перед ним лежал, розовея румяной коркой, хлеб и еще чуть дымился там, где только что прошелся острый нож. Хозяин пошевелил губами, щеки его опять задергались, по ним пробежали слезы. Вот они уже покатились по бороде и задержались на концах волосинок прозрачными капельками, точно росинки поутру на соломенной крыше.

Серега и его мать сидели будто каменные. Молча смотрели на главу семьи. Потом Прасковья Карповна поднялась, подошла к мужу сзади и положила на его плечи свои руки. Константин Павлович вздрогнул от их прикосновения, встряхнулся как-то, словно после глубокого сна, взял хлеб и стал не спеша нарезать его ломтиками».

Хлеб...

Он вместил все — и любовь, и отчаяние, и горе, и счастье.

Битву за хлеб русский крестьянин столетиями вел почти в одиночку, если не считать тех не очень-то легких для него случаев, когда он прибегал к помощи других, то есть созывал «помочь». Мудрено ли поэтому, что, ведя битву таким образом, он редко выходил победителем. Половине всех крестьянских семей, как уже сказано прежде, хлеба хватало до рождества, другим его хватало до крещения, и лишь богатые дотягивали до нового урожая.

Самые горькие и самые сладкие ощущения детства у меня так или иначе связаны с хлебом.

В разгар страды меня не с кем было оставить дома, и мать брала с собой в поле. Там оставляла где-нибудь в тени, под телегой, под присмотром моей восьмилетней сестры. Нянька, разумеется, старалась как можно поскорей от меня избавиться: неподалеку был [illegible] пруд, и там уже плескались и визжали от восторга ее [illegible] подружки. Нажевав черного хлеба в тряпицу, она совала мне в рот и начинала яростно баюкать — я засыпал.

Проснувшись однажды и не обнаружив сестры, я поднялся на собственные ноги и пошел, [illegible] в рожь. Забрел в нее и, конечно, заблудился. Ленивый шепот колосьев, [illegible], [illegible] солнцем воздух, [illegible], отдаленный размеренный свист [illegible], разморили меня, я [illegible] и, поплакав немного, опять заснул.

Между тем, как мне рассказывали позже, отец совершил с косой очередной заход. Он [illegible] и махал ею, делая короткие, [illegible] Пот капал с прилипших к мокрому лбу волос, [illegible], почти невидяще глядели вниз, на мерцающее [illegible] косы... Лишь в последний миг, когда крюк готов был [illegible] захватить порцию спелой ржи, отец увидел меня. Крюк полетел в сторону. Бледный, помертвевший, отец схватил меня и побежал к телеге, как безумный. Он долго сек чересседельником сестренку мою, рядом стояла плачущая мать.

А по небу уже побежали тучи, застучал по телеге крупный дождь, на сжатой лишь наполовину полосе валялись снопы, которые не успели уложить в кресты. Отец запряг лошадь и, совершенно несчастный, повез всех нас домой. Ночью он много раз просыпался, выбегал во двор и с ненавистью, понятной лишь хлеборобу, глядел на закрытое тучами небо.

От хлеба, оставленного под дождем в поле, пахло голодом...

Позднее случалось, что отец брал меня с собой смотреть хлеба,— это великий праздник для русского землепашца. Смотрят хлеба обычно по воскресным дням, ранней-преранней порою и в то время, когда можно уже определить с известной долей точности, быть урожаю или не быть. Село мы покидали вместе со стадами коров и овец, покидали еще затемно, а когда подымались на гору, из-за этой самой горы навстречу нам выкатывалось огромное огнен-

но-красное солнце, и тогда росинки на траве казались брызгами, оброненными на степь, когда солнышко умывалось,— оно было и впрямь свежеумытое, веселое, улыбающееся нам.

Отец, умиротворенный, веселый, как и солнышко, тихо, незлобиво понукал нашу Карюху, она бежала нешибкой рысью, то и дело нагибалась, чтобы прихватить росного пырейка; из-под ее ног часто выпархивали стрепеты и улетали на восток, красные в солнечных лучах и прекрасные, как жар-птицы. У своей полосы отец останавливался, не заходил — заплывал, широко разводя руками, в стремительно подымающуюся рожь, выдергивал пучки в разных местах, выравнивал, приносил их мне в телегу, и я пьянел от неповторимого, единственного в своем роде, упоительно сладкого запаха — уже и не травы, но еще и не хлеба.

О, поля российские, кто от дней своего детства дышал этими вашими запахами, тот уж никогда не позабудет их, в каком бы краю ни оказался потом!..

Мы ехали дальше, и всем троим было очень хорошо. Карюхе — оттого, что было еще прохладно, солнышко хоть и светило вовсю, но еще не обжигало, слепни не одолевали, комары разлетелись, испугавшись солнечных лучей. Отцу хорошо было оттого, что рожь не подвела, стало быть, будем с хлебом. Мне — оттого, что еду вместе с отцом, что не старших моих братьев, Саньку и Леньку, взял он с собой в зоревую нашу степь, а меня, что уже дважды отец, закуривая, передавал вожжи мне, и что я успел выкупаться в росе, и что — самое главное — дорога еще вся впереди, мы еще не глядели просо, пшеницу, овес, что по пути я примечу, где и кто посеял горох, примечу это с тем, чтобы потом совершать свои гороховые набеги наверняка.

Впрочем, я не ждал позднего лета. Уже сейчас, заметив сизовато-белесые листочки, спрыгивал с телеги, рвал эти листья и набивал ими рот. Они хранили в себе вкус и аромат зеленого гороха той поры, когда он бывает особенно сочен и сладок, то есть самой опасной для него поры, потому что именно в это время деревенские мальчишки целыми полчищами штурмуют его и никаким сторожам не справиться с ними.

В полдень мы возвращались домой. Рожь, привезенная нами, потом долго еще находилась в красном углу передней избы, под образами.

Случалось, однако, что отец возвращался с таких вот «смотрин» чернее и мрачнее самой черной тучи. Никто не смел ни о чем расспрашивать его: все понимали, что их

ждет впереди. В доме воцарялась тягостная тишина, как при покойнике.

И вот теперь я думаю, помним ли мы все это, когда сейчас, в наши дни, заходя в булочную, долго ощупываем хлеб, достаточно ли мягок он, дышит ли он под нашими капризными пальцами, и отворачиваемся от прилавка, и уходим, обидчиво поджав губы, коли, хоть и мягок хлеб, да не пахнул на нас теплым духом печи?

VI

Мне кажется, что у каждого из нас, помимо огромной земли, являющейся для всех общей родиной, где-то на ее просторах должен быть, пускай небольшой, пускай не обозначенный ни на каких картах, кусочек, или краешек, который был бы тебе и ближе, и роднее, и понятнее других, то есть тот милый, возлюбленный уголок, к которому ты прирос пуповиной, прикипел сердцем, душой своей. Как в крохотной капельке утренней росы на травяном листочке при определенном освещении могут отразиться и земля, и небо, и солнце, и все, что на этой земле и на этом небе, так в жизни какого-нибудь сельца, ничем с виду не примечательного, можно увидеть большую, сложную и напряженную жизнь всей страны. Но чтобы увидеть, надо очень сильно любить и селение, и людей, нашедших в нем кров, пищу, все свои великие, малые ли радости и огорчения. Только в таком случае у этих людей не будет от тебя секретов — душа их распахнется перед тобою, что называется, настежь, и ты, согретый ее теплом, вдруг как бы обретешь другое, самое острое, внутреннее прозрение и увидишь многое из того, что до этого было сокрыто от тебя, притом нередко как раз самое важное.

Для меня, например, таким кусочком, таким уголком на великой нашей земле является село Монастырское на Саратовщине, где я родился, где рос, где с шести лет сошелся на «ты» с древним и вечно молодым делом землепашца-сеятеля. До тысяча девятьсот тридцать восьмого года жил в родном селе почти безвыездно, затем — служба в армии, потом — четыре года войны, давшей мне, как и многим моим сверстникам, не только круто посоленный черный ломоть житейского опыта, но совсем иное, казалось бы, далекое от землепашеского, жизненное направление. Однако, начиная с 1947 года и кончая нынешним, не было и единого из них, когда бы я не побывал в Монастырском, мало сказать — побывал, я жил там

и работал часто по нескольку месяцев подряд. Не удивительно после сказанного выше, что в каждом — не почти, а именно в каждом! — моем «деревенском» произведении, будет на то желание, вы без труда отыщете героя или героиню, у которых есть в реальной жизни своего рода дублеры, или, как принято их именовать, прототипы. И обнаружить их можно лишь в Монастырском или в соседних деревнях. Родничок вроде бы мал — всего-навсего сто пятьдесят домов, – а поди-ка вычерпай его!

В середине двадцатых годов, в пору детства, мне нередко приходилось наведываться — с отцом, а чаще с дедом — в соседние деревни и села, что разбросаны на приволжских степных просторах. По названиям их было уже видно, что некогда селения эти принадлежали помещикам — графам да князьям Шереметеву, Нарышкину, Голицыну, Чаадаеву, [illegible] и другим, а в трех верстах от нас было село, входившее во владения самой Салтычихи. Помнится, по дороге я то и дело приставал к деду с одним и тем же вопросом: видел ли он собственными глазами барина такого-то или такого-то, видал ли он лютую бабу Салтычиху?

Дед хмыкал и усмешливо поглядывал на меня.

— Глупый ты, Мишуха,— говорил как бы между прочим, а потом все-таки пояснял:— Как же я увидел бы того барина или барыню, ежели они ни в кои веки не приезжали в наши края?

Для меня это был не ответ. Он лишь побуждал спрашивать снова и снова. И я спрашивал:

— А где же они жили?

— Кто?

— Да помещики!

— Мало ли где. В Петербурге, в Москве, а иной, глядишь, в какие ни то заморские края укатит.

Совершенно сбитый с толку, я вновь теребил деда:

— А кто же пахал землю, сеял, убирал, молотил?

— Как кто? — в свою очередь удивлялся старик.— А вот такие, как твой дед, то есть такие, как я. Земли-то своей у меня, Мишуха, не было вовсе. Вот и проходилось ургучить на барина.

Но и эти слова ничего не могли объяснить мне. И перед дедом сейчас же ставился новый вопрос:

— Как же так, деда, ты эту землю пашешь, а она не твоя? Такого же не может быть!

— Вот могло, Мишуха. Кто богат, у того и земля.

— Разве землю покупают на деньги?

— Покупают, внучек. На деньги все покупают,— говорил дед и тяжко вздыхал, и только тут я догадывался, что надобно умолкнуть, не лезть больше в дедушкину потревоженную душу.

Но идти молча я мог не больше одной минуты. А потом на старика вновь сыпались мои вопросы:

— А где ты взял деньги? У нас же теперь своя земля.

— Есть, Мишуха, у нас теперь своя земля. И дали нам ее бесплатно.— Дед говорит тихо, но торжественно.

— Кто же ее дал нам, деда?

После минутного раздумья дед говорит еще тише и еще взволнованнее:

— Ленин.

Нагнувшись, он подхватил меня огрубевшими ручищами и легко подбрасывал на плечо себе.

Я ни о чем уж более не спрашивал его. Шел он быстро, и обоим нам было хорошо в тот день.

Однако дома я продолжал долго еще думать о том, почему до Ленина никому не пришла в голову такая простая, ясная, более чем естественная и справедливая мысль — отдать землю тем, кто на ней трудится?

В то время я ничего не знал о крестьянских бунтах, волнениях и восстаниях, раз за разом прокатывавшихся по нашей земле и порою до самого основания потрясавших устои российского самодержавия. Не знал того, что за одну мысль, каковая представлялась мне, мальчишке, столь ясной, простой, естественной и справедливой, многим, очень многим людям пришлось сложить свои головы. Что потребовалась не одна, а несколько революций, и среди них главная — Октябрьская социалистическая революция, чтобы справедливость восторжествовала наконец: на земле стал твердо истинный хозяин — простой крестьянин, которого по великим его заслугам нарекли сеятелем и хранителем земли.

Я мог бы извиниться перед читателем за экскурс то в отдаленное, то в близкое прошлое, но, право, же, он необходим.

Свыкшиеся с повседневностью мои современники, особенно юные, принимают все как само собой разумеющееся, их не удивляет тот в высшей степени многозначащий, а в смысле социальном великий факт, что на земле, где не в такие уж далекие времена корка черствого хлеба считалась едва ли не единственным продуктом, где полчища нищих осаждали города и веси от зари до зари, где каждый неурожайный год уносил миллионы человеческих жиз-

ней, где деревянная соха считалась чуть ли не вершиной технического оснащения землепашца,— что на земле этой о хлебе насущном говорят ныне уже в ином, более глобальном, что ли, смысле. Даже засуха в одном либо в нескольких районах страны не воспринимается теперь как роковое, страшное бедствие, ибо на помощь этим районам немедленно придут другие.

В ту далекую уж теперь пору, когда В. И. Ленин оставил партии, народу свой гениальный кооперативный план, крестьяне все еще продолжали вести войну за хлеб в одиночку. Степь прямо-таки кишела людьми. Весною, летом и осенью в поле выезжали семьями, все село поголовно. И все-таки это были бойцы-одиночки, не способные выиграть генеральное сражение; одни, как бы там ни исправляли эту мудрую народную поговорку, все-таки в поле не воин, даже теперь, когда на поле почти не видно людей, какой-нибудь десяток механизаторов управляется с пятью, шестью и десятью тысячами гектаров пахотных земель.

Но полно, десяток ли? А зачем же мы забыли в такую минуту тысячи рабочих, которые послали в степь все эти тракторы, все эти комбайны, все эти сложнейшие и умнейшие агрегаты, которые с помощью одного лишь человека и пашут, и сеют, и косят, и обмолачивают, и развозят зерно по государственным закромам?!

Когда я думаю об всем этом, я часто вспоминаю один совсем, вроде бы незначительный эпизод коему оказался случайным свидетелем.

Как-то по весне подымался я из своего села Монастырского в поля. Недалеко от пашни встретил знакомого тракториста — моего односельчанина Ивана Яковлевича Коротина.

— Куда ты, Иван? — спрашиваю его.

— Домой. Прикорну малость.

— Что, сменился?

— Нет,— говорит,— трактор поломался.

— Какой у тебя трактор?

— «ДТ-54»,— отвечает как-то даже весело.

— Ну, и как же теперь ты?

— А что? — не понял Иван.

— Что же будешь делать?

— А что мне делать? Завтра привезут запчасти, отремонтируют или новый трактор дадут. Только и делов. Ну, бывай! — и, насвистывая беспечно, мой приятель бойко пошагал в сторону села.

Он ушел, а я еще долго стоял на прежнем месте. И вот

что думалось мне. Я представил себе, в общем-то, возможную, но трагическую сцену, которая могла бы быть в нашем доколхозном селе. Что бы, скажем, случилось, если б вдруг, в один, что называется, час, в разгар посевной пали пятьдесят четыре лошади? Стон и рев стояли бы на всю Саратовскую губернию, потому что полсотни дворов после такой беды пошли бы по миру, разорились бы вчистую. А тут никто, пожалуй, даже и не узнает, что выпали из строя сразу пятьдесят четыре лошадиных силы, потому что никто на себе даже в малой степени не ощутит урона, который понесло коллективное хозяйство от этой поломки. Привезут новые запасные части или заменят старый трактор новым, и посевная закончится в срок — подумаешь, какая беда!

Я привел пример негативный, но он, тем не менее, своею предельной обнаженностью, что ли, общедоступной наглядностью самым что ни на есть решительным образом голосует за коллективную форму хозяйствования на земле, которая принадлежит народу. Сколько бы мы ни писали, сколько бы ни говорили о перегибах, каковые действительно имели место при коллективизации, как бы ни огорчали и ни удручали нас различного рода промахи при неудачном экспериментировании, мы знаем: без колхозов мы бы не построили своей индустрии и не выдержали бы тяжкого испытания, какое выпало на долю нашего народа и нашей страны в годы Великой Отечественной войны, и не смогли бы в немыслимо короткий срок восстановить порушенное войной и накормить досыта не только свой, но и многие другие народы из братских дружественных нам стран.

Повторяю, сеятелем и хранителем земли назвал крестьянина великий его певец Николай Алексеевич Некрасов, раскрыв, таким образом, основу национально патриотической героики своего народа.

«Хлебороб»,— говорим мы теперь, и голос наш непременно обретает глубоко уважительную интонацию. Мне [лич]но кажется, что о хлебе давно надо было говорить во всю силу легких, в полный, что называется, голос. Ведь производство зерна, по значимости, ничуть не меньше, чем производство высококачественной стали. Впрочем, можно ли с чем-нибудь сравнить хлеб?!

История показывает, что хоть и не хлебом единым жив человек, но все-таки именно хлебом, повторяю, раньше всего мы определяем меру человеческого благополучия. Замечу еще раз: хлеб — он большой политик. Вспомним

1963 год. Плохой урожай в ряде важнейших районов нашей страны понудил нас закупить большое количество пшеницы за границей. Недруги наши постарались немедленно извлечь из этого факта елико возможно больше политической выгоды для себя — какой торжествующий вой поднялся в их стане по этому поводу!

В самом деле, засуха, неурожай могут постигнуть любую страну, и, если мы сумели купить недостающее нам количества хлеба, значит, мы — люди состоятельные. Только и всего.

И все-таки предпочтительнее выращивать хлеб на родной ниве, а не привозить его. Как говорили в старину, «за морем телушка — полушка, да рубль перевоз». К тому же бушель американской или канадской пшеницы за полушку не купишь...

В одном из очерков, посвященных селу, я прочитал:

«Велик сеятель. Никогда не забывал о нем мир и никогда не забудет — ни в радости, ни в беде. И никакая глыба золота не перевесит крошку хлеба!»

Отлично сказано!

На золотых приисках случается найти самородок весом в столько-то и столько-то граммов, даже килограммов. Но нет в природе хлеба-самородка. Хлеб сам не родится. Его выращивают золотые руки сеятеля, и, выращенный таким образом, хлеб сам становится золотом редчайшего достоинства.

Больше шести десятков лет прошло от исторических дней великих ленинских Декретов о мире, о земле. Далеко позади остались времена, когда забота о хлебе лежала на одном лишь мужичке-землепашце, когда верна была пословица: «Один с сошкой, а семеро с ложкой», когда хрестоматийной картинкой виделся на фоне ранней зари согбенный мужичок, медленно бредущий по неглубокой борозде за своим Сивкой.

VII

Чуть ли не каждую весну я выезжаю в свое родное село Монастырское. Иногда — я уже говорил об этом — бываю там с весны до весны. О пережитом и увиденном там за это время обычно рассказываю в газете, в журнале: люблю публицистику. Не впервой приходится писать о весенней поре на селе, и всякий раз я завидовал поэту. Приметил ли первого грача, вразвалку расхаживающего по заснеженному еще придорожью; жаворонок ли прозве-

нся над головой; подснежник ли высунулся из-под хрусткой тающей льдинки своей нежно-голубой головкой; остановился ли возле сапога или там туфли кровлечный ручеек, с настойчивостью младенца донскивающийся взрослого, более сильного ручья, с тем, чтобы на его груди побежать дальше, к большой реке, а уже с рекою в обнимку — прямо к морю-окияну; а тут до чуткого уха донесся недоступный простому смертному звук [illegible] шей почки; или же попалась ненароком в [illegible] божья коровка, выползшая погреться на солнышке где-нибудь у плетня либо у завалинки; и в довершение всего — скворец, ну, какой же из поэтов не приметит и не услышит скворца, после [illegible] по [illegible] на?! Вот тебе и [illegible] Вот [illegible] и [illegible] пулась где-то [illegible] К [illegible] говоря, [illegible] ворение готово. [illegible] и [illegible].

У прозаика же [illegible] как-то [illegible], потруднее.

Ровно месяц, [illegible] селе Монастырском...

Сказал «сижу», [illegible] пребывать на ногах, потому как я [illegible] но, тоже не слепой и тоже [illegible] дружески подтрунивая [illegible] справедливости, то [illegible] бой. Не одну эту весну я [illegible] и других весен, и все они были разные, и обо всех хлеборобы говорили одно и то же: трудная весна. Легких весен для земледельца не бывает, равно как и легкой летней страды. То она, весна, значит, придет слишком рано, то слишком поздно, то ветреная очень, выдувает из почвы прежде времени влагу, то с сильными заморозками по утрам, что задерживает посевную.

Нынешняя весна должна была быть вроде бы ранней — в конце марта прошел сильный и неожиданно теплый дождь, в два дня согнал в реки и озера весь снег, земля закурилась паром, как в только что протопленной деревенской бане. Но вдруг опять холод, опять морозы, да еще с ветрами, да не с какими-нибудь, а северными и восточными, всегда немилыми для всех людей на свете, для крестьян же в особенности.

Конец апреля, а сев только начался, под первым почвенным покровом — лед, колеса тракторов «Беларусь» скользят по нему, а гусеничные движутся еле-еле. Что же делать?

Первый секретарь райкома собирает совещание — заметьте себе, первое совещание за весь месяц. По прежним нормам оно, верно, было бы десятым, ежели не двадцатым. А кто приглашен на совещание? Специалисты сельского хозяйства. Это председатели колхозов, директора совхозов, секретари парторганизаций, агрономы, механизаторы, мелиораторы. Их стали называть иначе — теперь они технологи, приравняли труд сельских специалистов к труду инженеров на заводе, и вообще работу на поле привычнее стало называть производством.

Город и деревня. Проходили годы, десятилетия, века, а они не понимали друг друга, город и деревня. Глухая стена подозрительности и открытой вражды разделяла их. С приходом Октября настал конец этой извечной вражде. Люди заговорили о смычке города и деревни... Впрочем, рецидивы прежней болезни нет-нет да и проявлялись у отдельных личностей.

Жил-был в нашем селе упрямец Яков Тверсков, прозванный Соловьем почему-то, хотя больше, пожалуй, смахивал на каркающую ворону. Страшный ворчун, Яков ни с кем из односельчан не дружил, и не припомню теперь, был ли с кем-нибудь из них хотя бы в отдаленном родстве. Крайне недоверчивый, он почему-то особенно боялся города, полагал, что именно оттуда сельскому жителю надлежит ожидать всяческих напастей; всех городских называл не иначе как нахлебники, на всякие возражения с угрюмой настойчивостью всегда твердил одно и то же:

— Я и без вашего города проживу. Хлеб выращу сам, а на одежку жена холсты соткет...

Наши мужички, решив проучить каркающего Соловья, в одну ночь унесли у него топор, в другую — мотыгу, в третью — однолемешный аксайский плужок. Наш Соловей бушевал, грозил самыми страшными карами всем односельчанам подряд. Пропажа в конце концов, разумеется, отыскалась, но получил ее владелец не прежде чем выслушал от мужиков внушение:

— Ты же, Соловей, уверял нас, что можешь прожить без города. Вот бы и жил. Топор, мотыга, плужок, вся утварь на твоей посудной лавке, чугуны, ухваты, кочерга городскими людьми поделаны — зачем бы тебе все это в твоем хозяйстве, а? Молчишь? То-то и оно.

Яков Тверсков был посрамлен и укрощен.

О смычке города и деревни теперь уж и не говорят, ибо это закон нашей жизни, наша суть, наши альфа и омега. Даже многие слова, рожденные городом, незамет-

но для нас перекочевали в село и быстро прижились там. Прежде говорили, сказать к примеру, о производстве чугуна, стали, теперь говорят еще и о другом: о производстве хлеба, мяса, молока, яиц, шерсти, хлопка. Город решительно, по высокому закону дружбы, принял на себя часть, и притом немалую часть, забот, которые в прежние времена лежали исключительно на плечах крестьянских.

Техническое перевооружение всего нашего народного хозяйства, на которое взяла с самого начала курс Коммунистическая партия, совершило революцию и в человеческом сознании. Приглядитесь хорошенько к названным мною председателям колхозов, директорам совхозов, агрономам, механизаторам, мелиораторам — ко всем специалистам, которых собрал в райкоме его первый секретарь, приглядитесь к сельским парторгам и комсоргам,— приглядитесь: на груди у многих рядом с орденами и медалями — университетские значки. В недалекие еще времена, говоря о сельской интеллигенции, мы разумели лишь учителей, врачей, клубных и библиотечных работников. Теперь под эту социальную категорию с полным и законным правом может стать неисчислимый отряд сельских специалистов — инженеров, механиков, мелиораторов, агрономов, зоотехников, бухгалтеров, экономистов.

Коротко говоря, нынче сельский житель не хочет отставать от городского и по уровню знаний. Это сделалось его насущной потребностью, и ее надобно хорошенько понять и все время помнить о ней, если мы хотим, чтобы многие наши люди, в особенности молодые, навсегда связали свою судьбу с землей. Одним заработком, как бы он велик ни был, юношу или девушку в деревне не удержишь. Они должны найти на селе то, что дает обычно город: максимальную возможность духовного совершенствования или, как еще принято говорить, утоления культурных своих потребностей, неизмеримо возросших с общим ростом образованности.

Вернемся, однако, в райком и послушаем, что говорят специалисты сельского хозяйства. Примечаем, что секретарю райкома, да и другим ораторам, пришлись явно по душе новые на селе термины. Слово «технолог» попадается в их речах столь часто, что чувствуется даже малый перебор. Беды, однако, большой нет: ведь в новинку же.

Важно другое. Важно, чтобы все поняли, какая роль возлагается страною на этих вот загорелых на весенних ветрах людей. Важно еще, что собрал их секретарь не для того, чтобы скомандовать, как им сеять, что сеять,

где сеять и в какие сроки. Он их собрал, чтобы послушать: а что они сами-то думают на этот счет? Собрал посоветоваться, а если и посоветовал что-то сам, так это то, чтоб они, какими бы высокими специалистами ни были, посоветовались у себя в бригадах и в отделениях с рядовыми полей — с колхозниками и рабочими совхозов. И ни одной при этом сердитой реплики, оглушающей людей, не поднаторевших в состязаниях словесных. А ведь еще недавно такая манера была на вооружении едва ли не всех руководителей — что называется, сверху донизу. По простоте душевной мы иной раз приходили даже в восторг: «Эх, как он его ловко одернул, эх, как подсек!»

Весна, как и все прежние весны, была, конечно же, трудной. Она не убавила, а прибавила забот сеятелю. Люди думают о земле. Они — ее хозяева в прямом, более узком, и в самом широком смысле. Каждый из них — не просто сельский житель, это личность, это вместилище житейской мудрости и житейского опыта, к ним ныне прислушивается в напряженном внимании вся наша страна и очень многие за рубежом нашей страны. Настоящий же хозяин не живет одним днем, взгляд его должен быть устремлен прежде всего в день завтрашний, и человек, в руки которого государство доверчиво отдало такое бесценное сокровище, как земля, обязан помнить: обидеть землю — значит обидеть наше будущее.

Люди думают о земле, люди думают о хлебе. Думают и те, что привыкли быть исполнителями воли других, — теперь думают и они. С них за все спросится, поскольку дано им великое право решать важнейшие дела самим. Отсюда и заботы, отсюда и отсутствие громких слов.

Около месяца, в самый разлив, на селе безвременье. В поле не выйдешь. Робко и редко затюкали топоры — то в одном, то в другом конце села. Один «перетряхивает» старую избушку, обновляет ее, другой рубит новую, третий обстругивает бревна, делает заготовки. У некоторых домов можно приметить запасец леса и камней, а под навесом — шифер либо железо. Деревня понемногу строится. Особенно радует, когда вижу, что строятся молодые. Душу согревает надежда: может быть, хоть вот эти решили пустить корни или, лучше сказать, бросить якорь. Как бы это было хорошо!

VIII

Похоже на то, что будущие историки, говоря о последней трети XX века, без малейшего колебания назовут привычное для нас сочетание слов: научно-техническая революция, НТР. В самом деле, едва ли сегодня найдется формула, которая могла бы сравниться с этой по количеству употреблений. Ее повторяют и стар и млад. Повторяют в городе и в деревне. В заводском цехе, на полевом стане, в школе и в семейном кругу. НТР — выражение это стало до некоторой степени модным и отнюдь не только среди технической интеллигенции.

Едва родившись, это понятие недолго задержалось в городе, а быстро перекочевало в деревню, поскольку процессы, скрытые за понятием НТР, носят глубокий и всеобъемлющий характер. В мире сейчас происходит грандиозное состязание умов в сфере научно-технической мысли, и она, эта сфера, не могла не проникнуть во все поры нашей хозяйственной, общественно-политической, социальной жизни, не обойдя такой тонкой области, как нравственно-психологическая.

Производство...

Мы уже говорили о том, что еще совсем недавно слово это было чисто городским, его естественно было услышать и употребить на заводе, на фабрике, на разного рода промышленных предприятиях. А теперь? Теперь оно в полную силу звучит как в городах, так и в селах во всех концах нашего обширного Отечества. Его произносит и человек, стоящий у мартена, и комбайнер, ведущий свой степной корабль по хлебному морю, и пастух на каком-нибудь отдаленном горном пастбище или на «черных землях»; произносят и птичница на ферме, и колхозная доярка, потому что в один уверенный и многозначительный ряд выстраиваются ныне: производство промышленных изделий и продуктов сельского хозяйства.

Производство, производство, производство...

Мы и не заметили, как сельский житель свыкся — нет, не свыкся, а прямо-таки породнился со словом, некогда чуждым для его уха. Породнился потому, что за словом этим стоит огромный и чрезвычайно важный для него, земледельца, смысл. Отныне и навсегда кончилось для него безотрадное, нерадостное одиночество в борьбе за хлеб насущный, навеки забыты и лукошко, из которого он бросал пригоршнями в тощую землю такое же тощее зерно, а потом с весны до осени с мучительною тревогой

всматривался в небо, ждал со страхом и сердечной тоской, что оно пошлет на его горемычную полоску: дождь или лютую засуху в пору вызревания хлебов или непроглядное ненастье в пору жатвы? Куда как увереннее почувствовал себя крестьянин, когда заботу о хлебе и всем прочем, без чего немыслима жизнь на земле, поровну разделил с ним городской рабочий, двинувший на поля неисчислимое множество механизмов. И поля эти, возделанные и ухоженные, год от году делаются все щедрее и щедрее.

В прежнее время пахарь один противоборствовал всем превратностям судьбы. Достался ли, невезучему, солончак при дележе земли, подкинул ли какой-нибудь злодей «красного петуха» на гумно, когда только что привезли туда снопы и сложили перед молотьбой, сопрело ли зерно в дырявых закромах, подстерегла ли засуха — иди, мужичок, по миру, ибо никто не поспешит к тебе на помощь. А теперь твоя малая судьба, твоя доля входит составной частью в большую судьбу, в большую долю твоей великой Советской Родины, которая не оставит тебя в беде

Взять хотя бы 1972 год, сложившийся для нашего сельского хозяйства столь драматически: обширные районы, считающиеся традиционно главными производителями зерна, были подвержены невиданной, жесточайшей засухе и не могли дать того, что от них ожидалось. Человеку пожилому, тому, что прихватил еще в своей жизни периода доколхозного, легко представить, что творилось бы при таком-то вот стихийном бедствии. Слезами бы горючими была полита, орошена землица, на которую за все лето не упало ни единой капли дождя.

Страна же наша вышла с честью и из этого тягчайшего испытания и доказала — в какой уж раз! — свою великую жизнетворящую силу, доказала, что Советской нашей власти все по плечу.

Большой хлеб Казахстана и Сибири, взятый буквально с бою, позволил всем нам свободно вздохнуть.

Целина!

Слово это для всех нас давно вышло за рамки своего изначального смысла. Послушаем, что сказано о нем автором книги, ставшей ныне настольной для всех советских людей:

«В старых словарях вы найдете слово «целина», но не найдете слова «целинник». Оно родилось в 50-е годы, точно так же, как в годы коллективизации появилось слово «колхозник». Само понятие «целина» утратило тог-

ла свое чисто земледельческое значение, оно стало термином общественным, ибо за ним стояли высокая гражданственность и глубокий советский патриотизм. Целинник — фигура историческая, определившая собой героическое время». Далее, уточняя эту мысль, Л. И. Брежнев добавляет: «Люди растили хлеб на земле — земля растила людей».

Целина — явление эпохального порядка и в определенном смысле уникальное, и по этой причине приковывает к себе внимание миллионов людей как в нашей стране, так и за ее рубежами: слишком многое решалось в середине пятидесятых годов в разбуженных от вековой спячки степях Казахстана, Зауралья, Алтая и Западной Сибири. Существовала настоятельная необходимость не только в том, чтоб раз и навсегда коренным образом решить для страны зерновую проблему, но и в том, чтобы выбить из рук наших противников пропагандистский «козырь», суть которого состояла и состоит в настойчивом до назойливости утверждении: социалистический-де строй, может, и привился в промышленности, но оказался несостоятельным в области сельского хозяйства.

Целина, помимо всего прочего, должна была лишить и лишила наших идейных недругов и этого их «аргумента». Думается, об этом как раз шла речь, когда Леонид Ильич Брежнев, на которого Центральный Комитет КПСС возложил невероятной трудности задачу по подъятию целины на востоке, говорил одному из первоцелинников:

«Тут приводились аргументы, так сказать, агрономические и технические и ничего не говорилось о политической стороне вопроса. Между тем надо считаться не только с возможностью, но и с необходимостью сеять хлеб на целине именно ныне. Это не только экономическая необходимость, это и дело политики. Пусть весь мир еще раз узнает, что мы, коммунисты, способны решать крупнейшие задачи в течение короткого времени».

И битва за хлеб на миллионах гектаров началась. Да, это была именно битва. Этим только и можно объяснить, что автор «Целины» во множестве случаев, рассказывая о разворачивающихся событиях, прибегает к чисто военной терминологии, хотя сражение носило мирный характер. «В моем кабинете в ЦК,— рассказывает Леонид Ильич,— висела большая карта Казахстана. Точно так же в былые времена на фронте я обозначал на картах расположение армейских частей, районы их действия и на-

правления ударов, так и теперь на карте республики отмечал дислокацию сотен хозяйств и опорных пунктов. Кружками на ней были обозначены основные базы наступления — ближайшие к районам освоения города, станции, поселки, затерянные в необъятной степи. Зелено-красными флажками были отмечены старые колхозы и совхозы, также значительно расширявшие посевной клин за счет целины».

Мирная битва. Но и она не обошлась без человеческих жертв. Нельзя без волнения и острой боли читать страницы, где рассказывается о гибели двух первоцелинников — тракториста Даниила Нестеренко, у которого обнаружили в кармане удостоверение Героя Советского Союза (звание это он получил за форсирование Днепра осенью сорок третьего года, а погиб при переправе через немудрящую степную речушку Жаныспайку), и студента-заочника Львовского строительного института Василия Рагузова, замерзшего в снегах Казахстана. Перед самой смертью он успел написать письмо-наказ своей жене и двум малым своим сыновьям, письмо, исполненное горячего патриотизма и непоколебимой веры в дело, во имя которого он жертвует своей жизнью.

Письмо это напомнило мне другое подобное же послание. Найдено оно было осенью 1944 года в кармане гвардии младшего лейтенанта Петра Королева, убитого в бою на Украине.

Вот что писал Петро Королев жене и дочери:

«Милые мои Валюшенька и Галочка!

Это письмо пишу вам, мои дорогие, на случай своей смерти. Получите вы его в том случае, если погибну в бою. Его вам перешлют мои товарищи. Носить его буду в кармане. Пишу потому, что, может быть, сегодня ночью пойдем в бой.

Валюшенька, жить хочется, очень хочется!

Ведь мы имеем право на жизнь, наша жизнь была и будет прекрасной.

Мы очень часто недооценивали своей жизни и осознали это только в минуту опасности.

Вот потому, что я очень люблю жизнь, что я безумно люблю тебя, моя милая, люблю свою милую доченьку, весь свой народ, люблю свою Родину и ненавижу врага, я без страха иду в бой и, если потребуется, отдам свою кровь до последней капли, отдам свою жизнь в битве с ненавистным врагом. Я знаю — не уничтоживши врага, нельзя жить. И если умру на поле боя, то своей смертью

я завоевывал счастливую жизнь своему народу, тебе и своей дорогой доченьке.

Будь уверена, любимая, что я с честью выдержу испытания и тебе не придется за меня краснеть ни перед кем.

Ты с гордостью можешь говорить, что твой муж погиб на фронте священной войны.

Моя дочурка с гордостью будет говорить своим товарищам: «Мой папка погиб, защищая нашу счастливую жизнь».

Я знаю, любимая, что моя смерть будет для тебя тяжелым ударом в жизни. Я знаю, что ты меня любишь больше своей жизни. Но собери всю силу и выдержи этот удар. Говори себе, что твой муж погиб за святое дело, и помни, что ты должна жить ради Галочки, ты должна ее воспитать. Я очень надеюсь [illegible] за ее судьбу я буду спокоен.

Ну, а еще, Валичка, [illegible] тебе написать, что никогда мне не хотелось так жить, как сейчас.

Ну, вот и все, мои дорогие!

Прощайте!

Крепко вас целую. [illegible] жить счастливо, радостно и не забывать [illegible].

Еще раз целую тебя [illegible]...

Твой Петя».

В одной из [illegible] статей, куда было включено это письмо, я [illegible]:

«Очень хочется знать о вашей судьбе, Валя и Галя! Мы верим, что она прекрасна, так же прекрасна, как была прекрасна жизнь, [illegible], к сожалению, короткая жизнь вашего мужа и отца.

Где вы теперь, Валентина и Галочка?

Ты, Галя, конечно, уже стала совсем взрослой, твой отец и не узнал бы тебя. Может, со своими сверстницами, такими же [illegible], горячими и юными, поднимала алтайскую целину?»

Прошло совсем немного времени, и почта доставила мне маленький листочек, исписанный четким девичьим почерком. Привожу это письмо полностью в уверенности, что оно принесет немалую радость читателям, точно так же, как оно принесло ее мне:

«Я прочитала письмо моего отца, Петра Антоновича Королева. Большое спасибо Вам за теплые слова. Вы обещали выслать нам эти письма, и я буду очень Вам благо-

дарна, если Вы сможете сообщить мне хоть что-нибудь о папе. Когда он погиб, мне было 6 лет. Знаю его по фотографиям и маминым рассказам. Я горжусь своим папой и утешаю себя мыслью, что он погиб не напрасно — он завоевал мне счастливую жизнь. Я учусь в Казахском государственном университете, на IV курсе физико-математического факультета. Только через год я смогу (как Вы предполагали) управлять умной вычислительной машиной, а на целину мы ездим каждый год на 2—3 месяца (в этом Вы правы).

Еще раз очень прошу Вас ответить мне.

Королева Галина.
21/IV 1959 г.»

Стоит ли что-либо добавлять к этому письму? Может быть, лишь то, что два десятка лет спустя на целину, где погиб Василий Рагузов, приехали его сыновья. Так два поля великих битв — ратной и трудовой — свели вместе три поколения советских людей-патриотов. Это ли не многозначительный факт!

А в дни, о которых рассказывает в своей книге Л. И. Брежнев, напряжение битвы нарастало.

«Обстановка ее,— говорит автор,— более всего напоминала политработу в дни большой наступательной операции. Для меня эти первые месяцы обернулись бесконечными поездками, сотнями встреч, коротких знакомств, когда и людей нельзя было надолго отрывать от дела, и у меня не хватало времени, потому что постоянно надо было двигаться дальше, потому что все время тянуло на передовую». [...] Суть партийно-политической работы состояла тогда в том, чтобы сплотить огромную массу людей, вооружить их конкретной программой действий и ясным сознанием общей цели».

Целина оказалась, пускай очень строгим, даже суровым, но в высшей степени толковым учителем и для рядовых бойцов, и для руководителей; для миллионов она явилась оселком, на котором оттачивались воля, мужество, стойкость и способности человека. Как и на войне, целина не принимала малодушных; на степных просторах, продуваемых злыми ветрами, как на лакмусовой бумаге, тотчас же проявлялись скрытые до тех пор душевные качества человека. У истинных бойцов — бойцовские. У нестойких — душевный их изъянец. К счастью, последних было неизмеримо меньше в сравнении с первыми.

Некоторых, даже, в общем-то, честных людей целина поначалу испугала грандиозностью замысла, не говоря уже о прямых ее противниках, которые всячески сопротивлялись и самому замыслу, и его осуществлению. Нужно было сломить это сопротивление, а сомневающимся помочь, чтобы они подавили в себе скепсис и поверили в целину, как поверили в нее тысячи, сотни тысяч коммунистов, комсомольцев и беспартийных ратников грандиозного сражения, развернувшегося в необозримых просторах Казахстана и Сибири. Нужна была победа, и только победа.

«В случае успеха,— говорится в книге Леонида Ильича,— зерновой баланс страны мог быть изменен коренным образом, я бы сказал, революционно».

А заграничная ворона между тем каркала:

«В диких условиях целины человек не может существовать. Вот почему можно успокоиться: целина так и останется непереваренным куском в желудке России».

Хотелось бы глянуть хоть одним глазом на этого «пророка». Не страдает ли он [illegible] теперь несварением желудка, услышав о великих победах, одерживаемых нашим сельским хозяйством на ниве, возделанной первоцелинниками и теми, кто продолжает их святое дело. Уже в пятьдесят шестом году получен миллиард пудов отборного зерна на целине. Несмотря на яростное сопротивление неласковых к ней стихий, целина уже несколько раз повторила этот свой подвиг; в 1978 году страна получила еще один миллиард пудов целинного хлеба, и мы думаем, и не без основания, что это станет нормой поведения целины, что она превращается в надежную нашу кормилицу.

Хлеб! Как нелегко он дался нашим славным целинникам! В первый год — победа. А второй, 1935 год мог бы вновь вооружить скептиков. Небывалая даже для этих мест засуха обожгла не только казахстанские степи, но и сердца отважных целинников. Но в конце концов они победили.

Природа как бы нарочно приготовила для них тяжкое испытание, словно бы она решила испытать прочность того здания, которое мы назвали: дружба народов. Да, помимо всего прочего, действительно испытывалось именно это — как велика и сколь жизнедеятельна дружба. Гигантскую битву за хлеб на целине вели все народы, все республики нашего Союза. Мы все теперь знаем, какое веское слово сказала о себе целина. Думается, уместно

будет вспомнить при этом, что ее осваивали представители ста двух национальностей нашей страны.

Целина едва перевалила за юношеский возраст. Что успеешь сделать ты, человек, отдельно взятый, за столь короткий срок? Очень немного. А целина, объединив вокруг себя миллионы горячих человеческих сердец, миллионы советских граждан, наших с вами соотечественников, преимущественно молодых, направляемых волею партии и ею воодушевленных, за мизерный этот срок успела дать стране более десяти миллиардов пудов хлеба из одного только Казахстана.

Вот что могут сделать руки людей, живущих в семье великой, вольной и новой!

X

Рядовой колхозник — что сказать о нем? Тот ли он, что был вчера и позавчера? Вопрос этот скорее риторический, и ставят его обычно для того, чтобы сейчас же ответить: разумеется, не тот. Рост производительных сил сельского хозяйства, постепенное превращение сельского труда в разновидность труда индустриального, подъем культуры деревни (более половины сельских тружеников имеет среднее и высшее образование!) и коренная перестройка сельского быта — все это ведет к изменению социального облика и психологии крестьянина. И этот факт, казалось бы, настолько очевидный, что не видеть его может разве что незрячий или человек, по какой-то странной причине не желающий замечать и видеть. Чудно наблюдать в наших, скажем, литературных кругах такое явление, к сожалению и удивлению нашему, довольно нередкое.

Родившийся и выросший в деревне, иной из нас, перебравшись в городскую квартиру со всеми ее современными удобствами и услугами, на страницах своих книг льет слезу горькую по поводу утраты современным селом некиx, с его точки зрения, привлекательно романтических признаков, как-то: избушки с соломенной крышей, деревенской баньки, которая топилась бы по-черному, колодезного журавля где-то на пригорке, от которого, согнувшись в три погибели, деревенская женщина несла на коромысле к себе в дом полные ведра воды,— о, сколько поэтических строк затрачено для воспевания этого тяжкого, если не сказать каторжного, труда! А сколько песен про ту самую девицу, которая ходила по воду и встрети-

ла по пути добра молодца! А что-то не слышно песен по поводу того, что теперь эта чистая-пречистая водица сама приходит в избу колхозницы либо — в виде колонки — прямо к ее окну или калитке. И еще больше поэтических строк посвящено керосиновой лампе.

Между тем современный сельский житель не желает — и не будет! — жить в курной избе при коптилке. Ему нужно все, чем пользуется городской человек в наш цивилизованный век: воду, электричество, газ, холодильник, телевизор, паровое отопление, стиральную машину, Дворец культуры для всех, стадион и прочая и прочая. Что-то я не видел, чтобы кто-то из моих земляков плакался относительно того, что его соломенную крышу заменила красивая кровля из шифера или железа, а под потолком висит не семилинейная керосиновая лампа, а электрическая в семьдесят или сто свечей.

Слов нет, не со всем [illegible] в деревне при нашествии техники мы расстаемся без горечи. Кое-что хотелось бы сохранить на день нынешний и прихватить с собой на день грядущий. Разве, к примеру сказать, знаменитые сельские посиделки и [illegible] были бы менее поэтичными и целомудренными оттого, что проходили бы они не в тесной каморке, а в просторной комнате, прекрасно освещенной [illegible]? И разве плохо было бы оттого, что парни и девушки, [illegible] на такие посиделки, состязались в [illegible] и острословии и в традиционном крестьянском рукоделии — вязании чулок и носков, в вышивании полотенец, платков, кружев? Не помешали бы современной деревне и многие веселые зрелища, которыми было так богато старинное наше село и которые теперь начисто исчезли. А хороводы, а праздник венков из живых цветов на сельском лугу, где-нибудь над речкой или на лесной поляне? [illegible] бы дополняло и еще более украшало быт и облик современного села. Кажется, лишь [illegible] русская деревня сумела сохранить многое из того, что другие [illegible]. Вот об этом думаешь с невольной грустью. И особенно, пожалуй, о том, что не сохранили мы ни в наших городах, ни даже в селах молитвенного отношения к хлебу, что было характерно для русского, во всяком случае, человека в прежние времена.

«В двадцатые — тридцатые годы, — пишет мне из Перми мой ровесник, учитель по профессии, Константин Александрович Королев, — в русских семьях (впрочем, у всех народов и во все времена) и в городе и в деревне суще-

ствовало, говоря современным языком, нечто похожее на культ хлеба — в лучшем, чистом, добром и благородном смысле сего понятия. «Хлеб — всему голова»,— сказано давно, точно и глубоко.

Я хорошо помню,— сообщает он далее,— строгий, точно соблюдаемый обряд в нашей большой (шесть человек детей) семье: после еды — завтрака, обеда и ужина — мы, дети, маленькие и взрослые, были обязаны подойти к отцу и сказать ему спасибо «за хлеб, за соль» и поклониться в пояс, затем помолиться на темную, прокопченную икону, перед которой горела неугасимая лампадка, сказав при этом: «Великий боже, не оставь нас и впредь без куска хлеба»... Вот ведь как! Но перепадали и такие годы, когда хлеба не было в доме вовсе. И мы, четверо братьев, мал мала меньше, слезно с утра до вечера просили нашу бедную мать: «Мама, хочется есть... Дай хлеба... Хоть маленький кусочек дай...» Боже мой, разве я когда-нибудь забуду эти голодные дни? И тихо плачущую мать — высокую, сильную крестьянку. И безмолвно сидевшего за столом отца, в руках которого тряслась самокрутка, ходила ходуном цигарка.

Но вот что достойно удивления и пугающей тревоги: нынешнее поколение относится к хлебу насущному не только без святости, без трепета души, но и без элементарного уважения к нему самому и к труду тех, кто посеял и взрастил хлебное зерно, собрал, сохранил, испек и на полку магазина доставил. Какая уж там святость, когда сплошь и рядом приходится видеть не только не бережливое отношение к хлебу, но прямо-таки варварское. И это меня, старого солдата, ветерана Великой Отечественной войны, и печалит, и тревожит, и, не скрою, возмущает до глубины души...

«Лександрыч, подойди-ка ко мне и посмотри, что делается на белом свете, ведь это беда-то какая»,— не раз говаривал мне с болью в душе человек моих лет, бывший рядовой минувшей войны, рабочий-мусорщик, проживающий в нашем девятиэтажном огромном городском доме, честный гражданин, работящий человек, отец большой семьи, мой хороший знакомый Василий Егорович.

Я подхожу ближе и глазам своим не верю: в больших, емких жестяных банках полным-полно белого хлеба, выброшенного вместе с мусором. Тут и маленькие куски, но и больше половины и даже целые батоны и буханки, булки, сухари, баранки, пряники, белая мука россыпью и в

пакетах — чего только нет, прямо булочная, да и только. Мы смотрим на хлеб, выброшенный холодной, равнодушной рукой на помойку, и, потрясенные увиденным, долго молчим. «А ты помнишь тридцать третий год? А войну помнишь? Как люди умирали с голоду, а?» — спрашивает меня Василий. «Помню, Вася, помню. Я все помню и не забуду до гробовой доски. И тридцать третий и войну...»

Прерву на минуту это горестное повествование знакомого мне человека, с которым, однако, полностью готов разделить эти душевные, глубокие тревоги. Прерву, потому что и сам помню многое. Тридцать третий год остался и останется и в моей памяти самой ужасной отметиной. Многие мои родные и товарищи по школе, по беспечным ребячьим забавам померли у меня на глазах, многих из них закапывали в землю там, где их настигала голодная смерть. Не могу забыть человека-скелетика, который разбил в нашей избе окошко, протянул костлявую ручонку к вытащенному для остуды чугуну с кашей и прямо пригоршнями черпал ее и отправлял в рот...

Послушаем, однако, еще автора письма из Перми.

«Я часто спрашиваю себя, — пишет он, — почему в наше просвещенное время, в наши дни, хлеб — источник жизни на земле — перестали ценить, беречь и начали относиться к нему, к хлебу, не [illegible], но, [illegible] ро-щения, по-свински. В чем дело? Как могло произойти такое? Наверное, потому, что хлеб стоит очень дешево, видимо, в несколько раз дешевле себестоимости. Но ведь дешевый хлеб, когда он всегда есть, это великое человеческое благо, [illegible] превратившееся в быт. И благо это надо беречь, как жизнь, как зеницу ока.

Сегодня в нашей торговле дешевле хлеба ничего нет. У нас в Перми на рынке один килограмм свеклы [illegible] сейчас один рубль, то есть столько же, сколько стоят пять килограммовых буханок пшеничного белого вкусного — язык проглотишь — хлеба. А свежие помидоры, привезенные в июне предприимчивыми южанами, продаются по десяти рублей за кило, что [illegible] сяти буханкам того же белого хлеба. [illegible] И [illegible] — покупают, берут и свеклу и помидоры, так как не хлебом единым жив человек...

А что делается в столовых, в кафе, ресторанах, в домах отдыха, в санаториях — сколько продуктов, в их числе хлеба, идет на помойку, на свалку, реже — на корм скоту, несъеденное людьми, положенное на стол сверх всякой меры, без разума и души, без хозяйского расчета...

А я вновь вспоминаю двадцатые и тридцатые годы — годы своего далекого полунищенского, босоногого детства... В пасмурный, дождливый, холодный день в окно нашего дома несмело, тихо постучали. Высокий, сутулый, согбенный старик с непокрытой головой, с белой до пояса бородой, в разбитых лаптях и мокрых онучах, одетый в немыслимое тряпье, с большой, в заплатах, домотканой котомкой за плечами стоит под окном. «Православные, подайте ради христа кусочек хлебушка... Не себе прошу, а деткам малым»,— слышу я негромкий голос нищего.

На мокрой, залитой дождями холодной земле рядом со стариком — отцом большого семейства (это были погорельцы, несчастные, у которых сгорела изба в их родной деревне, как потом я узнал) стояли, опустив головы, его дети — мальчики и девочки, скверно одетые и босоногие, бледные, худые как смерть, кожа да кости. Они стоят долго́ и молчат. Во всей их позе мучительный вопрос: «Подадут или не подадут?» А подавали нищим не всегда — бывало и так. И было мне, малому, невыносимо жалко нищих, больно до слез (после ухода нищих, которым мама ничего не могла дать, я забивался на печку и, накрывшись драным тулупчиком, плакал беззвучными слезами ребенка), когда мать тихо и смущенно говорила: «Бог подаст, родимые, дали бы, да у самих ничего нет». Было и так. Было!

И уходили нищие куда глаза глядят, убитые горем, непогодой, не зная, где они, родители и их несчастные дети, приклонят на ночь свои головы... Горек, ах как горек был кусок хлеба, омытого соленой слезой бедного человека!..

Тяжко мне и больно сегодня вспоминать и писать о минувшем. Но ведь это тоже кусочек истории Отчизны нашей, и забывать о тех далеких днях было бы грешно... А история, как известно, лучший учитель современности. Слава богу, сегодня нет для нашего народа кошмаров войны и голода. Какое это великое счастье — жить в мире без войн и с хлебом в достатке! Но хлеб — не манна небесная, сам по себе на стол не приходит, булки в поле родятся только в сказках».

В конце своего письма Константин Александрович приводит выдержки из высказываний, из рассказов, даже из стихов, принадлежащих людям, которые хорошо знают цену хлебу. Приведу их и я.

Вот они.

«В небольшом музее в Ленинграде я видел кусочек за-

[illegible] хлеба величиной с мизинец. Таков был в [illegible] месяцы блокады дневной паек для жителей осаж[illegible]енного немцами города. Он был меньше того, что получали узники Бухенвальда...»

(Лев Гинзбург.
Потусторонние встречи, «Новый мир», 1969, № 11, с. 133).

«...9 марта 1942. Грахов рассказал — в хлебном магазине мальчишка схватил кусок у женщины и ест, его бьют, а он ест, его бьют, а он ест... В сарайчике на носилках трупы. Мальчик Вова говорит: «Дяденька, почему они все одинаковые, нестрашные?» Вове 8 лет...»

(Александр Яшин.
Из дневников [illegible] «Октябрь», 1975, № 4, с. 167).

«...Но хлеб от горьковатого привкуса не перестает быть хлебом! И благодатным кажется он тому, кто работает, умываясь солеными слезами, и ту же щедрую силу дает он человеку, чтобы назавтра было чего тратить ему в горячем и тяжком [illegible]

(Михаил Шолохов.
Слово о Родине, «[illegible]», 1965, № 4, с. 14).

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Не мечтаем мы о чуде,
К нам полей живая речь:
«Берегите хлеб, вы — люди,
Научитесь хлеб беречь!»

(Николай Тихонов.
«Звезда», 1973, № 12, с. 129).

XI

Жестоко ошибается тот, кто решит про себя, что в нынешние времена, когда нива оснащена современной мощной техникой, хлеб легко дается в руки. Нет, он по-прежнему добывается в поте лица, и слово «страда» не утратило своего изначального смысла.

Неизмерима цена хлеба!

Это тревожные ночи, труд и пот, не измеряемые никаким самым наихитрейшим прибором.

Великая хлебная страда!

Когда она завершается, отовсюду, со всех концов обширного Отечества, идут рапорты о собранном, обмолоченном и свезенном в государственные закрома зерне. Украинский миллиард, за ним поспешает миллиард казахстанский, целинный, сотни миллионов пудов хлеба Кубанского, Ставропольского, Ростовского, Волгоградского, Саратовского — всех краев и не назовешь, откуда, умножая нашу мощь и величие, приходит Большой Хлеб.

За двумя этими словами, написанными с большой буквы, слышится трепетное, то радостно-взволнованное, то тревожное биение миллионов человеческих сердец, видятся героические усилия громадной армии хлеборобов, к которым по нынешним временам мы с одинаковым правом причисляем не только сельского жителя, но и жителя городского, одарившего наши нивы великолепной техникой. За праздничным столом сельского труженика он, горожанин, будет не только желанным гостем, но и хозяином.

Когда-то деревня ждала свои сто тысяч тракторов, о которых говорил Ленин. Сейчас село получает их свыше трехсот тысяч только в год, так что ленинская цифра кажется весьма скромной, а когда-то она захватывала и поражала воображение. Триста тысяч — это триста тысяч не один трактор, который в тридцатом году вкатился на улицу моего села и всполошил всех жителей от мала до велика. По нынешним понятиям, его и трактором-то трудно назвать. Однако вся ребятня, сколько ее ни было на селе, мчалась за ним, задыхаясь в пыли и дыму, до самой околицы, где этот огромный жук, черный и железный, остановился, наконец, и замолчал. Не удивительно, что именно дети, которым принадлежало завтра, так бурно и реагировали на всякую новь, вторгающуюся в деревни и села. Деды и отцы, разумеется, поначалу были сдержаннее нас, они хотели бы увидеть железного коня в работе. Сколько там, в «фордзоне», десять или двенадцать лошадиных сил? Трудно поверить, чтобы в этаком самоваре могла поместиться столь могучая энергия...

Как это ни странно, но первым вышел на поле, где урчал трактор, Яков Соловей, уже знакомый читателю. Вернувшись в село, он поспешил поделиться с мужиками своими впечатлениями. Я случайно оказался возле своего отца и потому хорошо запомнил то, что сказал дядя Яков:

«Ну, как вы думаете, а? Трахтур, трахтур! Шуму-то, грому-то, гаму-то сколько было!.. И что же? Ползает, как неша вошь... И вонищи от него — не продохнешь, всю

[illegible] нефтой пропитает, на ней не то что хлеб — и репей аль осот не вырастут!»

Сообщение Соловья мало кого смутило: от Якова иного и нельзя было услышать.

Если что и смущало моих односельчан, так разве лишь то, что трактор был ненашенским, а заграничным, «странским», как говорилось у нас, и стоил он, как выяснили мужики, зело дорого. «Не разорит ли нас мериканец, не обдерет ли до сиин за энти трахтуры?» — с тревогой думал мужичок перед тем, как написать заявление о приеме в колхоз.

Когда же на Неве, а затем и на Волге из заводских цехов один за другим [illegible]ехали отечественные тракторы, это сомнение, насчет дороговизны заморских машин, отпало. Я за коммуну, сказал мужик! Даже строптивый Соловей что-то в конце концов уразумел. Прозванный еще и музейным экспонатом за то, что один-одинешенек в нашем селе оставался единоличником, он в сорок втором году, когда фронт [illegible] подкатился к Волге, а стало быть, и к его подворью, пришел в правление колхоза и положил перед [illegible] заявление, присовокупив к нему еще и устное:

— Принимайте, [illegible] стало.

Позади него стояла [illegible] дочь — она уже давно была в колхозе, а [illegible], как и многие ее сверстницы, села на руль трактора.

Обычно наш брат литератор не любит оперировать цифрами: цифры, мол, и разная там статистика подсушивают стиль, делают его казенным, холодноватым. Но, думается, цифры только равнодушному оку могут показаться мертвыми, неподвижными, холодными. Для живого — они живые, трепетные, горячие. А потом — как на них взглянуть.

В восьмой пятилетке наша промышленность дала сельскому хозяйству 1 467 300 тракторов. По сравнению с нынешними потребностями, оказывается, еще маловато. За годы девятой пятилетки их уже поставлено 1 700 000. Уже к семидесятому году на каждого сельского работника приходилось в нашей стране свыше одиннадцати лошадиных сил. А ведь было время, когда семья, насчитывавшая иной раз десять и более ртов, но имевшая двух лошадей, считалась на селе зажиточной. А тут на одного — свыше одиннадцати! В среднем теперь на каждый колхоз приходится 63 трактора. А в начале коллективизации три-четыре машины считались великим богатством.

Мы говорим о тракторах, однако землю не только пашут, но и засевают. Убирают хлеб, обмолачивают. К началу десятой пятилетки селу было поставлено 1100 тысяч грузовых автомобилей и 543 тысячи зерновых комбайнов. И все-таки хлебороб наш говорит: давайте машин побольше и получше качеством!

Доживи Яков Соловей до сегодняшних времен, вряд ли даже он решился бы сказать городскому рабочему «Я тебя кормлю!» А если бы и сказал такое, тотчас услышал бы в ответ не менее горделивое и справедливое: «А я тебя!»

Научно-техническая революция, век умного металла, устремившиеся на наши поля из города, решительным образом наступают на монополию сельского жителя на производство продуктов земледелия и животноводства. И — что особенно важно подчеркнуть — никто даже из самых потомственных хлеборобов что-то не сокрушается по такому поводу, напротив, чувствует себя куда лучше сейчас, когда [illegible] механизаторов и распахивают поля, и засевают их, и проводят уборочную страду, и отвозят хлеб в государственные закрома,— куда лучше, чем тогда, когда на поле выходили все от мала до велика и трудились от зари до зари. Да, теперь главная фигура на селе — механизатор. Он и сеет, и пашет, и выращивает, и жнет хлеб, и даже выпекает его на колхозных хлебопекарнях для нужд семьи. Во многих деревнях женщины спрятали квашни за ненадобностью куда-то на чердак, выходят к магазину одновременно с появлением только что выпеченного, пахнущего вкусно хлеба и уже по-городскому ощупывают его: мягок ли, «дышит» ли, не пригорел ли... Хозяйка вернется домой, где за столом сидят и ждут ужина муж, сын, дочь, которые у нее не просто колхозники. В иной семье за столом сразу могут оказаться и инженер, и электрик, и электросварщик, и механик, и мелиоратор — ведь в колхозном производстве в настоящее время насчитывается до ста двадцати профессий и специальностей, и среди них являвшиеся «чисто промышленными».

Как и следовало ожидать, в условиях развитого социалистического общества город и село стремительно двинулись навстречу друг другу, и вот уже передовые их отряды сомкнулись, влились друг в друга. Смычка города и деревни, о которой много говорилось в первые послереволюционные годы, обрела зримые, совершенно реальные черты, за которыми уже слышится голос завтрашнего

ния. Придет время, и рабочие городов и сел будут отличаться друг от друга только тем, что трудятся в разных отраслях производства.

> Гармонь, гармонь,
>   родимая сторонка,
> Поэзия российских
>   деревень!

Гармонь и поныне любят на селе. Правда, концерты, передаваемые по местному и Центральному телевидению, приглушили малость голоса балалаек и гармоний. Но куда важнее другое: культурные ценности, в том числе и музыкальные, перестают быть принадлежностью города. Через радио, телевидение, сельские Дворцы культуры и клубы, тесно связанные с городом, эти ценности пришли сегодня в село и стали доступными для деревенских жителей. Кто же они нынче, люди нашего села?

Я пишу эти строки и вижу, как мой восьмилетний племянник Вовка, сын комбайнера, сидит в кабине «Жигулей» и отыскивает в портативном приемнике радиостанцию «Маяк» — он знает, на какой волне ее искать, давно наловчился. А его брат, десятилетний Колька, уже успел облазить весь комбайн, который водит отец. Было бы у этого Кольки побольше силенок, он бы повел комбайн на поле, потому как изучил его до тонкостей. Вот вам потомственный механизатор, иначе говоря — потомственный рабочий.

А что с того, что живет он не в городе, а на селе?

Металл и хлеб ныне побратались.

И все-таки хлеб по-прежнему — подчеркиваю это — добывается в поте лица. Я вновь подумал об этом, когда вернулся из большой поездки по родным саратовским краям, в ожидании той минуты, когда первый секретарь областного комитета партии оторвется наконец от своих телефонов и когда я смогу поделиться с ним впечатлениями.

Перед ним, как перед командующим в разгар сражения, развернута карта боевых действий — карта Саратовской области, на которой опытный глаз увидит всю картину разворачивающихся событий: в одном районе осталось столько-то неподобранных валков, в другом — столько-то, в третьем — столько-то. Из его разговора с невидимыми для меня людьми улавливаю хорошо знакомые мне имена: Колосов... Бебешко... Луговец... Точка... Бабушкин... Белопахов... Рогожин... Это — секретари Хва-

лынского, Ершовского, Калининского, Балашовского, Екатерининского, Аткарского, Лысогорского райкомов партии. Часто называются и люди, незнакомые мне, среди них партийные работники других районов области, директора многочисленных саратовских предприятий. Весь сложный технический, хозяйственный, экономический механизм, людские ресурсы, пропагандистские силы — все приведено в действие и подчинено одному — Хлебу.

На Саратовщине, перенесшей три года подряд засуху, большой, очень большой хлеб. И было бы преступлением не вырвать его у немилосердно раскапризничавшейся природы: дожди, да не простые, а ливневые, и не кратковременные, а обложные, зарядили и полирали неподобранные валки и открытые тока со свезенными туда многими миллионами пудов золотого зерна, поливали денно и нощно.

Капля драгоценнейшей влаги, за которую в иной год хлебороб готов был вознести молитву небесам, сейчас оборачивалась лютым врагом. Где же вы были, дождички, в прошлом-то году?! Никто, разумеется, ни тогда, ни теперь не вспоминает про бога. Старые люди — потому, что по собственному горькому опыту знают: бог тут не помощник, ну, а молодые, те и вовсе не верят ни в какие потусторонние силы, для этого они слишком грамотный народ.

Секретарь обкома продолжает давать свои короткие, и вправду очень похожие на боевые, приказы, распоряжения руководителям районов, а я занялся книгой-альбомом под названием «Саратовская областная партийная организация в борьбе с последствиями засухи 1972 года». Это документ, бесстрастно, как и полагается документу, засвидетельствовавший с помощью, казалось бы, холодных и равнодушных цифр весь драматизм той страды.

Коротко, без всяких комментариев, в книге сообщается о том, что из 4613 прудов 1900 не были заполнены водой, а в оставшихся прудах имелось только 180 миллионов кубометров воды, против 550—600 миллионов в обычные годы.

Знаем ли мы, ни на один час, ни на один день не испытавшие, что такое нехватка хлеба,— знаем ли мы, что в хозяйствах Заволжья, ставших одними из основных производителей пшеницы, и в части Правобережных районов в результате жесточайшей засухи в колхозах и совхозах зерновые культуры погибли на площади в один миллион четыреста тысяч гектаров? Знаем ли мы и про то, мы, которые не можем себе представить накрытого стола без

…ного блюда, — знаем ли мы про то, что в тех же хозяйствах почти полностью погибли посевы кормовых культур и травы на естественных пастбищах, что моим землякам — да только ли им одним! — чтобы спасти скот, сберечь его от бескормицы, пришлось двинуться в Молдавию, в Прибалтику, в алтайские, казахстанские и в другие далекие края, чтобы заготовить там солому, каковая в том году тоже ценилась на вес золота?! Хорошо, что наше общество и беды, и радости делит поровну между всеми. Не оставило оно в беде пострадавших в засушливом тяжелом году, пришло вовремя на помощь; все, с кем бы я там ни встречался в те дни, в один голос утверждали, что ни люди, ни животные и не почувствовали жестокого удара, который неизбежно обрушился бы на них после столь страшного стихийного бедствия.

И все-таки нам должно указать на ту разницу, на то различие, которое покамест еще существует и, вероятно, всегда будет существовать между цехом заводским в городе и гигантским цехом, в котором производится хлеб. В цех землепашца-сеятеля пока еще мы не сможем в должном масштабе и в надлежащее время подвести спасительную влагу (придет время, и такая возможность явится!), но вот еще что надобно иметь в виду: над почти не имеющим границ — так он велик! — цехом хлебороба нет крыши, под которой бестревожно и спокойно в любое ненастье можно было бы продолжать работу, то есть косить, подбирать валки, провеивать и просушивать не торопясь драгоценное зерно. И не возведешь такой крыши во веки веков — материала не хватит!..

XII

Люди, землепашцы, казалось, сделали все, что надо было сделать. В помянутом мною альбоме об этом сказано так: «В соответствии с мероприятиями, намеченными в свете решений партийных органов, весенний сев 1972 года был проведен в сжатые сроки. За посевами был организован тщательный уход». Сделано, значит, было все, кроме одного: русский чернозем, которому отдавали благоговейную дань Докучаев и Тимирязев, не получил влагу, воду. В наших условиях, говорил в Балашове на партийном активе первый секретарь Саратовского обкома, вода — урожай, влага — хлеб. Говоря так, он, как и все мы, участники того совещания, вспомнил про матушку-Волгу, которая теперь, дав людям свет, устремилась в

заволжские степи, чтобы дать им еще хлеб, чтобы преобразить коренным образом флору и фауну этого некогда дремлющего, почти мертвого, богатейшего в потенциале края. Вспомнились сводки погоды, которые падали на склоненные в горьких думах головы моих земляков как проклятья.

«16 мая. Переменная облачность без осадков, температура воздуха +30. Интенсивность суховеев усиливается»; «2 июня. Без осадков. Суховей. Температура воздуха +35»; «28 августа. Малооблачно, без осадков. Температура воздуха +30—35. Сильные ветры, пыльные бури».

Заметьте, эти самые суховеи и пыльные бури пожаловали на наши поля как раз в пору, когда закладывается будущий урожай — в мае кончается сев яровых, в августе начинается сев озимых. Можно ли себе представить коварство больше и злее этого!

Стоит ли удивляться, что в 1972 году моя родная Саратовщина смогла продать государству лишь 430,7 тысячи тонн зерна, что составило только 15 процентов не от обязательств даже, а от плана. Но уже в году 1973-м была обнародована ошеломляющая цифра, когда на стол государства положен каравай саратовский весом в 311 миллионов пудов, — мы могли бы сказать, что и у небесных сил есть все-таки совесть, что и природа вроде бы устыдилась и вернула сполна нашим нивам влагу, отнятую в течение последних трех лет.

Но полно, так ли уж она была милостива стихия к хлеборобу и в урожайном году? Спасибо за то, что в пору всходов и вызревания хлебов вдосталь дала им и воды и тепла. А вот в горячую, страдную пору уборки...

Набрасывая на бумагу эти строки, я держал перед собой саратовскую газету «Коммунист». Наверху полосы большими красными буквами напечатано: «Трудящиеся области верны слову, данному партии и государству: в закромах Родины 280 миллионов пудов саратовского хлеба!»

В течение месяца, находясь на саратовской земле, я мог наблюдать за преображением этой цифры. Она постоянно присутствовала, располагаясь правее и чуть ниже названия газеты. Рядом с нею — столбик, похожий на градусник, поделенный на равные отрезки, в самом нижнем поставлена цифра 20, а в самом верхнем — 280. Когда эта, последняя, впервые объявилась в газете, она была заполнена изображением хлебных зерен лишь на одну треть, где-то между отметкой 10 и 120. Но магическая, маня-

ды и пугающая одновременно цифра 280 уже жила в сердце каждого моего земляка задолго до того, как была произнесена вслух и обнародована.

Следует сказать, что цифра 280 стала заполняться золотыми крупицами зерна особенно стремительно, а названа она как высокий рубеж тогда, когда на смену погожим дням пришли дни сплошь ненастные, хлестал дождь, который потом не переставал в течение многих дней. Не было ли с их стороны риска, когда такая огромная цифра названа в такую непогодь, спросил я секретаря обкома. Сперва он улыбнулся, заметив, что в хлеборобском деле без риска вообще не обойтись. А потом — уже совершенно серьезно:

— На подвиги людей можно звать, лишь поставив перед ними трудную задачу и указав высокую цель. Легкие рубежи героев не рождают.

Рубеж назван, цель намечена. Теперь надобно было взять этот рубеж и достигнуть намеченной цели.

«Коммунисты, вперед! — прозвучало опять, как во все горячие времена и [illegible].

Одно за другим появлялись [illegible] областного комитета партии к [illegible] трудящимся Саратовской области. А [illegible] поля колонны комбайнов и грузовых [illegible]. Мне, жителю столицы, было радостно слышать и видеть, как из-за московских колонн автомобилистов шли настоящие баталии между руководителями совхозов и колхозов, ибо всем хотелось заполучить водителей-москвичей, оставивших по себе по прежним годам самую добрую память.

Едва разгрузившись на станции, люди эти, не в пример другим, тотчас же просят, чтобы им поскорее указали место работы, а не то, где они будут жить, не спрашивают москвичи и о том, сколько они заработают, как будут питаться, отдыхать и прочее,— они знают, что приехали на великую хлебную Страду, которая потребует от них собранности, напряжения всех их физических и душевных ресурсов. Я видел московских водителей в деле, видел их и днем и ночью, и на хлебных трассах, и на полях у комбайнов, многие из них работали по восемнадцати и более часов в сутки, и никто не слышал от этих людей жалобы на усталость, на неудобства, неизбежные во время страды, да еще в столь трудных погодных условиях.

«Трудные погодные условия»...

Написав такое, я подивился тому, как мало отражают эти три слова то, что было в действительности. Может

быть, о ней кое-что расскажет случай, о котором я не решился бы поведать людям, если б не узнал о нем от очень авторитетного свидетеля — первого секретаря Хвалынского райкома партии, носящего к тому же весьма многозначительную фамилию: Колосов. Речь идет об одном молодом, почти юном для руководителя такого ранга председателе колхоза. Он молод и по возрасту и по стажу работы. Но он полон жизненных сил, его недавно избрали колхозники, год обещал быть хорошим, урожайным; не славившаяся даже в благоприятные годы хвалынская земля на этот раз взяла да и показала свою удаль: 29 центнеров с гектара пшеницы на круг! А у того председателя половина хлебов была еще в валках, а тут дождь, дождь, дождь... Но вдруг проглянуло солнышко, озарило не только поля, но и хлеборобские души; заулыбался и юный председатель: назавтра можно будет возобновить подборку, и большой хлеб, выращенный колхозом, вновь потечет на элеватор.

Всю ночь не спал, все смотрел на небо, усеянное звездами,— отлично! Заснул на какой-то час с третьими кочетами и сквозь сон слышит: шу-шу-шу... Проснулся вмиг от недоброй догадки — дождь льет как из ведра. От досады, от горькой обиды, от собственной беспомощности, поскольку угомонить стихию было за его человеческими возможностями, от всего этого заплакал молодой председатель, слезы, натуральные слезы, потекли из его бесстрашных глаз.

Вот ведь какое может быть в хлебную страду!

С первым секретарем Калининского райкома партии Владимиром Семеновичем Луговцом мы ездили по колхозам. И вот в колхозе, носящем имя А. С. Пушкина, увидели на одном из комбайнов человека с перевязанной рукой, не левой, а правой. Увидев нас, остановился, слез на минуту, опустился на землю. Спрашиваем, что случилось,— улыбается и вроде бы даже виновато: проявил неосторожность, угодил пальцем в какую-то шестерню, которых, как известно, у комбайна великое множество, и лишился этого пальца, перевязал наспех и — на комбайн, подбирает валки, как ни в чем не бывало,— к тому времени он уже успел намолотить около восьми тысяч центнеров.

Я не отыскал в своем блокноте его фамилию, почему-то не занес ее туда, может, потому, что рассказал механизатор об этом случае как-то уж очень буднично, а может быть, потому, что понадеялся на свою память. И дейст-

…тельно, фамилия запомнилась — Замаров, а вот, как …личают его по имени и отчеству, не знаю, не знаю также и о том, как кончилась для него страда, сколько намолотил, скольким помог, но не сомневаюсь, что его имя следует искать где-то вверху списка комбайнеров, отличившихся на хлебный ниве в том году.

С Владимиром Семеновичем Луговцом, поскольку он руководил районом, в котором расположено мое родное село, мне, естественно, и в прошлые годы, и в том году, о котором идет речь, приходилось встречаться гораздо чаще, чем с другими руководителями. В этот раз, я, право, не мог понять, когда этот человек спит, и спит ли он вообще. Понять его, конечно, можно: ведь Луговец был в числе тех, кто брал от имени хлеборобов района свои более чем высокие обязательства по продаже хлеба государству: при плане около семи миллионов пудов теперь надо было продать четырнадцать миллионов, а затем, когда эта цифра материализовалась, всплыла другая — ее не называли, но ею полнились и тревожились сердца — шестнадцать миллионов. Надо было видеть, с каким ревнивым любопытством и, кажется, даже тревогою учинял он мне допрос относительно того, как обстоят дела с миллионами в других районах, откуда я только что возвратился, скажем, в Ершовском, Балашовском, Екатерининском... Особенно — Ершовском, который, кажется, единственный из тех, которые еще могли бы отодвинуть Калининский на одну строчку ниже.

— Как там Яков Игнатьич поживает? — допытывался Луговец, имея в виду Я. И. Бебешко, первого секретаря Ершовского райкома партии.

— Ничего, жив, здоров.

— Я не о том. Знаю, что здоров. Как у него с хлебом?

— Прекрасно.

— Он, наверное, в общую цифру включает и тот хлеб, который возвращает государству как прошлогодний долг.

— Разумеется.

— А мы не брали в долг. Даем хлебец прибыльный!

Я смеюсь, смеется и он, понимая, конечно, что хлеб есть хлеб, из какого бы района он ни был, важно, что он выращен и в конечном счете влился в ту поразительную цифру, о которой говорят повсюду и с удивлением и радостным воодушевлением: 311 миллионов пудов, это чуть меньше одной трети того, что продала в том году вся Украина, целая республика, издавна считавшаяся нашей

житницей (погодите, придет время, и цифра 311 для саратовцев покажется весьма скромной).

Нелишне, пожалуй, будет сказать и о том, что в число собранного хлеба вошли и тридцать миллионов пудов саратовского проса — ценнейшей крупяной культуры, в которой страна всегда испытывала крайнюю нужду; недаром же сложена когда-то у нас поговорка: «Щи да каша — пища наша». А именно пшенная каша — традиционно-русская еда.

Секретарь обкома рассказал мне, что эти тридцать миллионов пудов проса были обещаны саратовцами Л. И. Брежневу во время его пребывания в области, а может быть, еще раньше, потому как всеми было замечено, что первый секретарь областного комитета партии особенно пристальное внимание уделял просу. Он даже настоял на том («как же без риска?!»), чтобы пустующие по разным причинам поля засевались просом в середине... июля. Надо ли говорить о том, сколько отыскалось скептиков, людей, которые не верили в полезность такого позднего сева. Оказался правым секретарь обкома: позднее просо дало урожай не хуже раннего — двадцать пять, тридцать, а в иных местах и сорок с лишним центнеров с гектара.

Я бы мог еще долго вести свое повествование о моих земляках-хлеборобах. И если не сейчас, то в самом ближайшем будущем продолжу его. Ведь я еще не рассказал о заволжских полях Саратовской области, где ныне вершатся дела воистину удивительные: в поля хлынули живительные волжские струи, которым, знаю и верую в это, суждено решительным образом преобразовать и обновить эти богатейшие края. Пока что скажем нашей возлюбленной матушке-Волге: в добрый путь, родимая, неси людям свет и влагу, а они ответят тебе вечной любовью, передавая ее, как эстафету, от поколения к поколению.

XIII

В статье 40-й новой нашей Конституции сказано:

«Граждане СССР имеют право на труд...»

В малые мои лета, вероятно, такие слова меня бы очень удивили, ибо в голову не могло прийти такое, чтобы кто-то или что-то помешало тебе трудиться, что для этого нужны какие-то гарантированные законом права. Как же не трудиться, коли у тебя есть руки и данная человеку от природы неукротимая и неутолимая жажда деятельности, когда труд всегда был для нормального человека глав-

ним источником земного существования, а значит, и радости?! Только ты народился на свет, только стал на ноги и начал свое «открытие мира», а на тебя уже со всех сторон, отовсюду так и сыплется: «Без труда не вынешь и рыбку из пруда», «Под лежачий камень вода не течет», «Глаза страшатся, а руки делают», «Поздняя птичка глазки продирает, а ранняя — носок прочищает», «Терпение и труд все перетрут».

Это ты слышишь, а руки как бы сами собой тянутся то к маленькой лопатке, загодя для тебя приготовленной, то к молоточку, как раз по твоим силам, то к ведерку, чтобы зачерпнуть из ближней речки водицы и напоить капустные грядки; затем — к нарядному карандашу, чтобы нарисовать тот же молоток либо серп, поскольку ты уже видел, что молот и серп сочетались в нерасторжимом единстве на Красном знамени нашей Советской Родины, на Государственном нашем гербе.

Позднее ты поймешь сам, какой ценой за право трудиться люди пролили моря крови. Но речь, конечно, идет о труде свободном, раскрепощенном, о труде для и ради трудящихся, а такое могло быть лишь в стране, где трудящиеся завоевали государственную власть, то есть в стране, где ты имел счастье родиться и где тебе никогда не придется познать, что такое безработица, что значит иметь руки и не найти им приложения. А ведь — и это ты давно приметил — люди говорят о других людях с глубоким уважением только в том случае, если эти последние любят и умеют хорошо трудиться. О таком человеке непременно скажут со значительностью: «работящий», вкладывая в одно это слово глубокий смысл. Ленивец и краснобай, что в представлении человека-работника почти одно и то же,— наиболее презираемая часть общества.

Впрочем, тут, пожалуй, более чем уместно вспомнить и о статье 60-й Конституции, той, что хоть и отстоит от 40-й на целых двадцать номеров, а по многому, по главной сути стоять бы им рядом. «Обязанность и дело чести,— говорится в этой 60-й,— каждого способного к труду гражданина СССР — добросовестный труд в избранной им области общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой дисциплины».

Хотел бы обратить внимание читающих на точность и глубину формулировки этой до чрезвычайности важной в условиях нашего социалистического общежития статьи. Слово «обязанность» поставлено рядом и, разумеется, на равных правах со словами «дело чести». Или еще: «доб-

росовестный труд в избранной им области общественно полезной деятельности». Тут указывается и на священное право человека самому избрать себе профессию с необходимой оговоркой, чтобы деятельность этого человека была общественно полезной, ибо интересы общества всегда были, есть и будут для советского гражданина превыше всего. Общество в свою очередь никогда не останется в долгу перед гражданином, который трудится на совесть.

С самых малых лет, со школьной скамьи, может быть, и того раньше, мы должны внушать, что лишь труд, нареченный в революционной песне Владыкой Мира, обладает чудодейственной способностью бесконечно продлевать жизнь человеческую, ограниченную в силу физических законов обидно коротким отрезком времени,— продлевать и во времени, и в пространстве. Листая книги или дивясь на «музыку из камня» — дворцы и храмы, пережившие на многие столетия своих творцов, вслушиваясь в мелодию, которая впервые прозвучала века назад и продолжает звучать и теперь, я всем своим существом, духом своим, нервами своими прикасаюсь к трепетному и живому дыханию давно минувших эпох и какое-то время сам живу жизнью людей той далекой-предалекой поры.

Пройдут еще столетия, и не мы — другие люди будут в благоговейном молчании смотреть на дело рук наших, жить в тех самых дивногорских и ангарских краях, нами освоенных, мчаться по Байкало-Амурской магистрали, прикасаться украдкой от экскурсовода к «Востоку-1», впервые вынесшему за пределы земного притяжения Человека — добавим не без гордости: Советского Человека — Юрия Гагарина, имя которого останется в людских сердцах на многие-многие лета. Далекие потомки, листая книги, рожденные нашим временем, пройдут вместе с Павкой Корчагиным и Левинсоном, Семеном Давыдовым и Макаром Нагульновым, с Василием Теркиным через все тяжкие испытания, выпавшие на долю людей, первыми рискнувших построить свою жизнь на разумных, человеческих началах.

Я пишу эти строки, а рядом на столе лежит фотография Михаила Александровича Шолохова, снятого в его рабочем (р а б о ч е м !) кабинете в середине октября не то прошлого, не то позапрошлого года. Правая рука от долгой работы вся в тугих, четко обозначенных жилах; то же напряжение труда и мысли на высоком лбу и в чуть прищуренных глазах. Передо мной портрет мыслителя и работника одновременно.

Александр Сергеевич Пушкин сказал, что он памятник воздвиг себе нерукотворный. Думаю, что в известном смысле он все же рукотворный, тот памятник, поскольку потребовал от гения титанического труда, творения. Великие художники всех времен и всех народов были и великими тружениками. Могучую силу, мощь своего разума и сердца они должны были сообщить своим рукам, ибо только такое союзничество способно создавать памятники дивной красоты и долговечности.

«Человек при деле» — это произносится у нас с неизменно уважительной интонацией, ибо в наше время это всеми понимается как постоянный человеческий взнос в общую копилку национальных, государственных ценностей. Человек строит в городе дом чаще всего не для себя — строит для других, и мы говорим: человек при деле; человек пишет книгу, сочиняет музыку, и он тоже при деле, поскольку его творения нужны всем людям (вспомните статью 60-ю об «общественно полезной деятельности»).

Человек сеет и убирает хлеб, и он не просто при деле, а на великом поприще, ибо кормит всех работников и творцов на свете,— в этом его высокие права и обязанности.

В конце страды на газетных полосах обычно мелькают слова в набранных крупным шрифтом заголовках: «Осеннее золото». Опять золото! Как будто хлеб нуждается в таком сравнении. Миллионы людей и в руках-то не держали золота — и ничего, живут. А попробуй пожили хоть недельку без хлеба!..

Говорю это, конечно, не для противопоставления одного работника другому, сталевара, скажем, или золотодобытчика — хлеборобу. Просто хотелось лишний раз (что, впрочем, никогда не бывает лишним) напомнить и себе, и другим о великом деле, которое делается скромными и часто малозаметными людьми. Однако «малозаметными» — не то слово. Он очень даже стал заметным и замечательным, наш хлебороб. О нем думал Ленин в огневые ночи и дни Октября более шести десятков лет назад, когда выводил строки своего бессмертного Декрета о земле, о нем думалось и говорилось, когда чествовали героев хлебной целины по случаю двадцатипятилетия ее освоения

Мудрено, не правда ли, по одной зернинке собрать столько, чтобы из них составились миллиарды пудов. А возьми на ладонь зернинку, ты не ощутишь и веса ее. Мыслимо ли это: из невесомости — и такой вес?! Мысли-

мо, когда за дело принимаются руки человеческие. Вспомним пословицу: «Глаза страшатся, а руки делают». Перед нами усилиями ленинской партии открылась правда жизни, и глаза наши широко распахнулись навстречу этой правде. Людям все стало по плечу. И глядят они в свой завтрашний день с гордо поднятой головой и с ощущением великого своего назначения на Земле. Правда нынешнего века в их руках. Важно, чтобы руки эти были всегда при деле.

Вспоминается XXV съезд КПСС. Для меня это был уже третий съезд, на котором был делегатом. Как на предшествующих, так и на этом мое внимание неизменно останавливала одна черта на лицах делегатов-хлеборобов: спокойствие и достоинство.

Вот две женщины. Они шли во Дворец, взявшись за руки. Шли, немного торопясь — так они обычно идут на работу у себя в селе,— две молодые крестьянки, с Золотыми Звездами Героев Социалистического Труда. Они и в зале будут сидеть рядом, войдя в него задолго до начала заседания. Великолепие поистине сказочного дворца, по-видимому, поразило их. Медленным, очарованным взором оглядывали они потолок, откуда обрушивались на людей потоки света, золотистые стены, портрет Ильича на алом полотнище, огромную сцену с длинным, пустым сейчас, столом президиума.

Все это пришло к этим женщинам через их руки. Трудились где-то далеко от столицы, на своих полях, трудились — и все. И скорее всего, не думали вовсе, что стоят на прямом и самом верном пути к звездам, к тем, что горят теперь на их костюмах, и к тем, что полыхают на башнях Московского Кремля. Хлебная Нива — вот их космодром, вот их Байконур!

XIV

Так уж устроен человек, что ему раньше и прежде всего хочется заглянуть в лицо другому человеку, а если говорить еще точнее, в его глаза — так легче всего самым, стало быть, коротким путем проникнуть в человеческую душу. До начала съезда и в перерывах по движущимся лестницам дворца проплывают тысячи людей. И глаза — синие, зеленовато-серые, карие, жгуче-черные, такие разные и в то же время такие похожие в отражении сердечного состояния этих удивительных людей. Глядя на них, невольно спрашиваешь себя: кто же они у себя дома, как

выглядят, когда стоят за станком на заводе или за штурвалом комбайна,— ведь именно там, как мы уже сказали, находится та главная ступенька, которая привела их на эту сверкающую, непрерывно движущуюся вверх лестницу?

Перед большими событиями, когда страна живет нетерпеливым ожиданием чего-то необычайного, наиважнейшего, когда пульс бьется взволнованнее, я люблю приезжать в родимые мои края, встретиться и наговориться вволюшку со знакомыми и незнакомыми мне земляками, пожить их жизнью и не только своим, но [illegible] их сердцами прикоснуться к ожидаемому всеми [illegible]му событию.

Два года кряду терзала моих [illegible] засуха. А тут почти два месяца, январь и февраль, [illegible] морозы, да такие, что даже [illegible] воробьи замерзают на лету. Мы тут всё о хлебе да о хлебе. А как же тревожилась душа хлебороба о скотине! Как быть с животноводческими комплексами, в которых откармливаются десятки тысяч рогатого скота и содержится такое же количество дойного стада?

— Много голов-то сбросили? — осторожно спрашиваю Владимира Семеновича Лу[illegible].

— Что, что? — переспрашивает он, вроде бы не понимая, о чем это я.— То есть как это сбросили? И кто бы это нам позволил?

— Но ведь с кормами...— начал было я.

— А что с кормами? Мы еще с июня прошлого года знали: с кормами будет плохо — и приняли меры.

Несколькими днями позже я перед отъездом в Москву, зашел в кабинет первого секретаря Саратовского обкома партии. Перед ним и теперь на столе разложена карта области и бесчисленное количество испещренных цифрами сводок, которые сюда поступают со всех районов.

— Кормовых единиц у нас сейчас вдвое меньше, чем на эту пору было в прошлом году, а удои не только не уменьшились, но даже увеличились. Главное же качество молока улучшилось.

— Как же это?

— Люди. Все в них,— коротко говорит секретарь.— Суровые условия всех заставили всех подтянуться, внутренне мобилизоваться. И конечно, съезд партии. Всем хотелось встретить его достойно. Вы, я слышал, были у Захарова. Видели все своими глазами.

Я был у Захарова Николая Андреевича, председателя

колхоза имени В. И. Ленина, депутата Верховного Совета РСФСР (сейчас — Герой Социалистического Труда),— был за неделю до съезда. Тогда он не выглядел таким нарядным и пышным, как я видел его на съезде: заботы, одна больше другой, лежали не только на его плечах, но и на сердце. Однако люди со всем управляются, скот обеспечен кормами, центральная усадьба по имени Тростянка хорошеет изо дня в день и улыбается свету вольному большими окнами новеньких, под железом и шифером домов.

— Что же это ты все о селе да о селе! — упрекает меня секретарь обкома, переходя на «ты».— А о рабочем классе неужели забыл? Съездил бы в Энгельс на капроновый завод «Химволокно» да поговорил с Анастасией Филипповной Когачевой. Подумать только: сейчас лишь начало 1976 года, а она уже работает в счет 1982 года. И вот что удивительно: ей мало того, что сама герой, она хочет, чтобы и другие были бы такими же. Семь тысяч работников объединения трудятся по ее почину. На съезде при желании ты сможешь увидеть нашего славного железнодорожника Александра Николаевича Сапрыкина. Девятую пятилетку он по своей линии выполнил на полгода раньше срока, сэкономил сорок пять тонн дизельного топлива...

А потом разговор опять перекинулся на село. И тут я услышал: «Пятилетке животноводства — гарантия земледельца». Речь шла о создании устойчивой кормовой базы, без коей немыслимо постоянное увеличение продуктов животноводства. Кто из нас не знает старой пословицы о том, что цыплят по осени считают. А разве не справедливо было бы сказать так: «Хлеб по осени считают». Тот самый хлеб, без которого, между прочим, и цыпленок-то никогда не станет курицей.

Хлеб — он только тогда хлеб, когда, выращенный, обмолоченный, просушенный, в закрома упрятан.

Проезжая из селения в селение по буквально прорубленным в высоких снегах дорогам, услышал от моих спутников еще и другое: «Хлеба надо смотреть зимой». А это что-то уже всем новое и непривычное. Бывало (я уже рассказал об этом в начале этих заметок) хлеба смотрели в конце мая, в начале июня, когда с известной долей достоверности можно определить, быть хлебу или нет. Сейчас стараются определить то же самое, но только уже зимой. Как это делается, я понял, когда увидел караваны могучих «Кировцев», вздымающих белые пласты снега на ты-

с тех гектаров полей. А в правлении моего родного колхоза имени Максима Горького женщина-агроном показала мне два монолита — смерзшиеся пласты земли, вырубленные из-под снега вместе с дожидающимися весны всходами озимой пшеницы и ржи. Почуяв в помещении тепло, всходы эти тотчас же воскресли, распрямились и буйно пошли в рост.

— Выжили, милые! — радовалась женщина, лаская растения по-матерински добрыми, любящими глазами.— Быть хлебу!

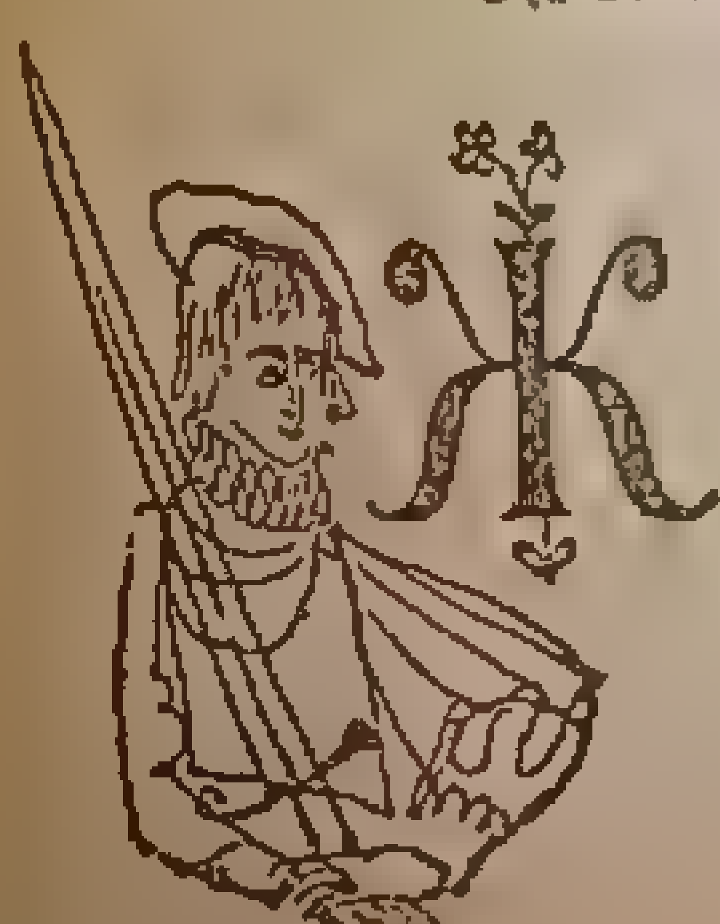
* * *

Хлеб, он — не волшебник, но все может. Мы еще спим в своих постелях, а машины с крытыми кузовами, на которых крупными буквами написано вот это самое слово «хлеб», развозят его по магазинам. В утреннюю свежесть воздуха вплетается непередаваемо живительный и сладостный запах теплого хлеба. В урожайный год он приходит на наш стол особенно многоликим. И все это зависит прежде всего от хлебороба.

Поклонимся же ему и будем честны и совестливы перед его великим подвигом, великим и скромным одновременно; перед тем как выйти из булочной с батоном или кирпичиком теплого хлеба, еще и еще раз вспомним с благоговейным сердечным участием о руках, посеявших, вырастивших этот хлеб и положивших нам его на стол. А заодно будем всегда помнить мудрое изречение, пришедшее к нам из глубин веков, рожденное народным опытом: «Да отсохнет рука, бросившая под ноги хотя бы крошку хлеба».



КРАСНЫЕ БАШМАКИ



Жила-была девочка, премиленькая, прехорошенькая, но очень бедная, и летом ей приходилось ходить босиком, а зимою — в грубых деревянных башмаках, которые ужасно натирали ей ноги.

В деревне жила старушка башмачница. Вот она взяла да и сшила, как умела, из обрезков красного сукна пару башмачков. Башмаки вышли очень неуклюжие, но сшиты были с добрым намерением — башмачница подарила их бедной девочке. Девочку звали Карен.

Она получила и обновила красные башмаки как раз в день похорон своей матери. Нельзя сказать, что-

бы они годились для траура, но других у девочки не было; она надела их прямо на голые ноги и пошла за убогим соломенным гробом.

В это время по деревне проезжала большая старинная карета и в ней — важная старая барыня. Она увидела девочку, пожалела ее и сказала священнику:

— Послушайте, отдайте мне девочку, я позабочусь о ней.

Карен подумала, что все это вышло благодаря ее красным башмакам, но старая барыня нашла их ужасными и велела сжечь. Карен приодели и стали учить читать и шить. Все люди говорили, что она очень мила, зеркало же твердило: «Ты больше чем мила, ты прелестна».

В это время по стране путешествовала королева со своею маленькой дочерью, принцессой. Народ сбежался ко дворцу; была тут и Карен. Принцесса, в белом платье, стояла у окошка, чтобы дать людям посмотреть на себя. У нее не было ни шлейфа, ни короны, зато на ножках красовались чудесные красные сафьяновые башмачки; нельзя было и сравнить их с теми, что сшила для Карен башмачница. На свете не могло быть ничего лучшего этих красных башмачков!

Карен подросла, и пора было ей конфирмоваться; ей сшили новое платье и собирались купить новые башмаки. Лучший городской башмачник снял мерку с ее маленькой ножки. Карен со старой госпожой сидели у него в мастерской; тут же стоял большой шкаф со стеклами, за которыми красовались прелестные башмачки и лакированные сапожки. Можно было залюбоваться на них, но старая госпожа не получила никакого удовольствия: она очень плохо видела. Между башмаками стояла и пара красных, они были точь-в-точь как те, что красовались на ножках принцессы. Ах, что за прелесть! Башмачник сказал, что они были заказаны для графской дочки, да не пришлись по ноге.

— Это ведь лакированная кожа? — спросила старая барыня. — Они блестят.

— Да, блестят! — ответила Карен.

Башмачки были примерены, оказались впору, и их купили. Но старая госпожа не знала, что они красные, — она бы никогда не позволила Карен идти кон-

фирмоваться в красных башмаках, а Карен как раз так и сделала.

Все люди в церкви смотрели на ее ноги, когда она проходила на свое место. Ей же казалось, что и старые портреты умерших пасторов и пасторш в длинных черных одеяниях и плоеных круглых воротничках тоже уставились на ее красные башмачки. Сама она только о них и думала, даже в то время, когда священник возложил ей на голову руки и стал говорить о святом крещении, о союзе с богом и о том, что она становится теперь взрослой христианкой. Торжественные звуки церковного органа и мелодичное пение чистых детских голосов наполняли церковь, старый регент подтягивал детям, но Карен думала только о своих красных башмаках.

После обедни старая госпожа узнала от других людей, что башмаки были красные, объяснила Карен, как это неприлично, и велела ей ходить в церковь всегда в черных башмаках, хотя бы и в старых.

В следующее воскресенье надо было идти к причастию. Карен взглянула на красные башмаки, взглянула на черные, опять на красные и — надела их.

Погода была чудная, солнечная; Карен со старой госпожой прошли по тропинке через поле; было немного пыльно.

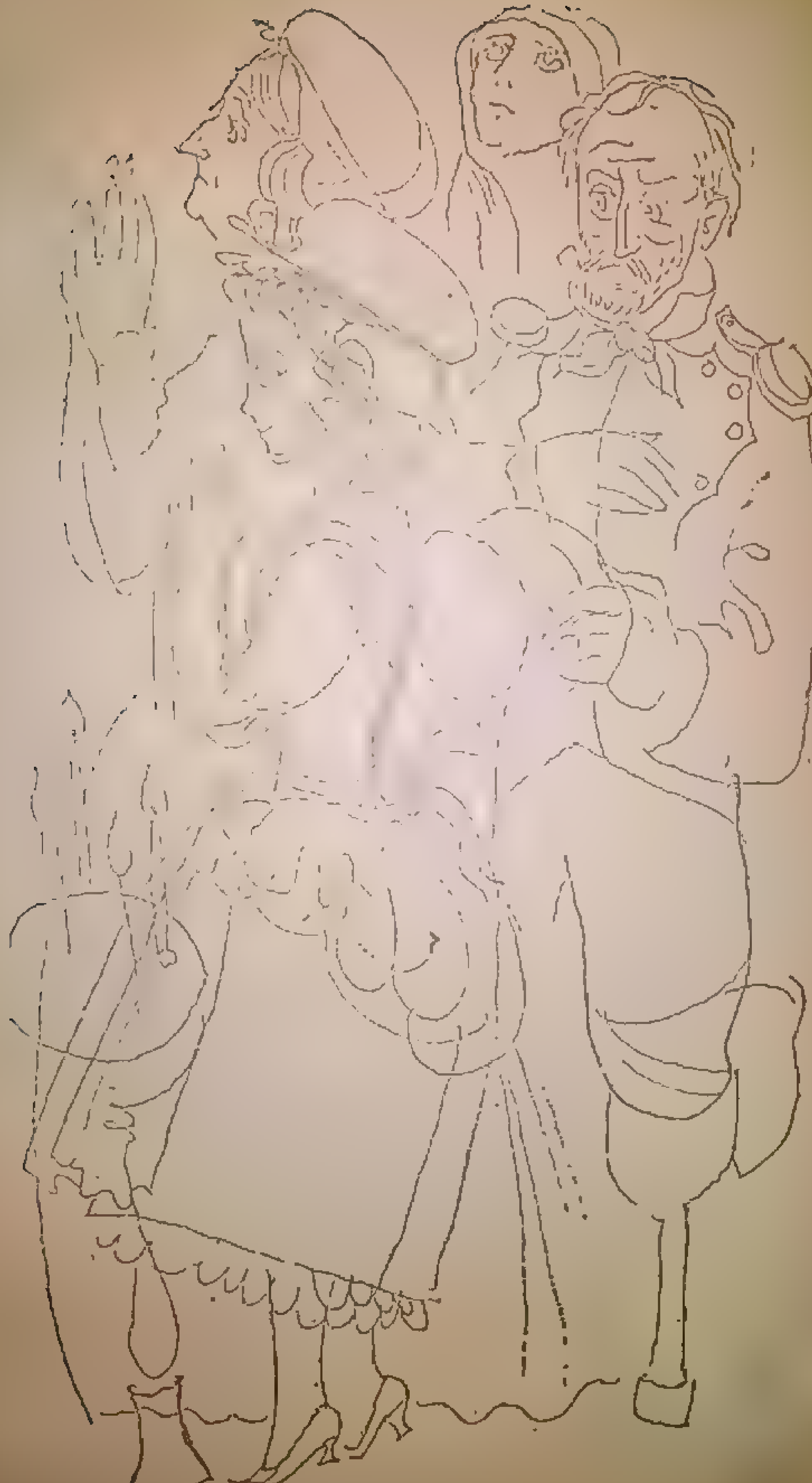
У церковных дверей стоял, опираясь на костыль, старый солдат с длинною, странною бородой: она была скорее рыжая, чем седая. Он поклонился им чуть не до земли и попросил старую барыню позволить ему смахнуть пыль с ее башмаков. Карен тоже протянула ему свою маленькую ножку.

— Ишь, какие славные бальные башмачки! — сказал солдат. — Сидите крепко, когда запляшете!

И он хлопнул рукой по подошвам.

Старая барыня дала солдату скиллинг и вошла вместе с Карен в церковь.

Все люди в церкви опять глядели на ее красные башмаки, все портреты — тоже. Карен преклонила колена перед алтарем, и золотая чаша приблизилась к ее устам, а она думала только о своих красных башмаках, — они словно плавали перед ней в самой чаше. И Карен забыла пропеть псалом, забыла прочесть «Отче наш».



Народ стал выходить из церкви; старая госпожа села в карету, Карен тоже поставила ногу на подножку, как вдруг возле нее очутился старый солдат и сказал:

— Ишь, какие славные бальные башмачки!

Карен не удержалась и сделала несколько па, и тут ноги ее пошли плясать сами собою, точно башмаки имели какую-то волшебную силу. Карен неслась все дальше и дальше, обогнула церковь и все не могла остановиться. Кучеру пришлось бежать за нею вдогонку, взять ее на руки и посадить в карету. Карен села, а ноги ее все продолжали приплясывать, так что доброй старой госпоже досталось немало пинков. Пришлось наконец снять башмаки, и ноги успокоились.

Приехали домой; Карен поставила башмаки в шкаф, но не могла не любоваться на них.

Старая госпожа захворала, и сказали, что она не проживет долго. За ней надо было ухаживать, а кого же это дело касалось ближе, чем Карен. Но в городе давался большой бал, и Карен пригласили. Она посмотрела на старую госпожу, которой все равно было не жить, посмотрела на красные башмаки — разве это грех? — потом надела их — и это ведь не беда, а потом... отправилась на бал и пошла танцевать.

Но вот она хочет повернуть вправо — ноги несут ее влево, хочет сделать круг по зале — ноги несут ее вон из залы, вниз по лестнице, на улицу и за город. Так доплясала она вплоть до темного леса.

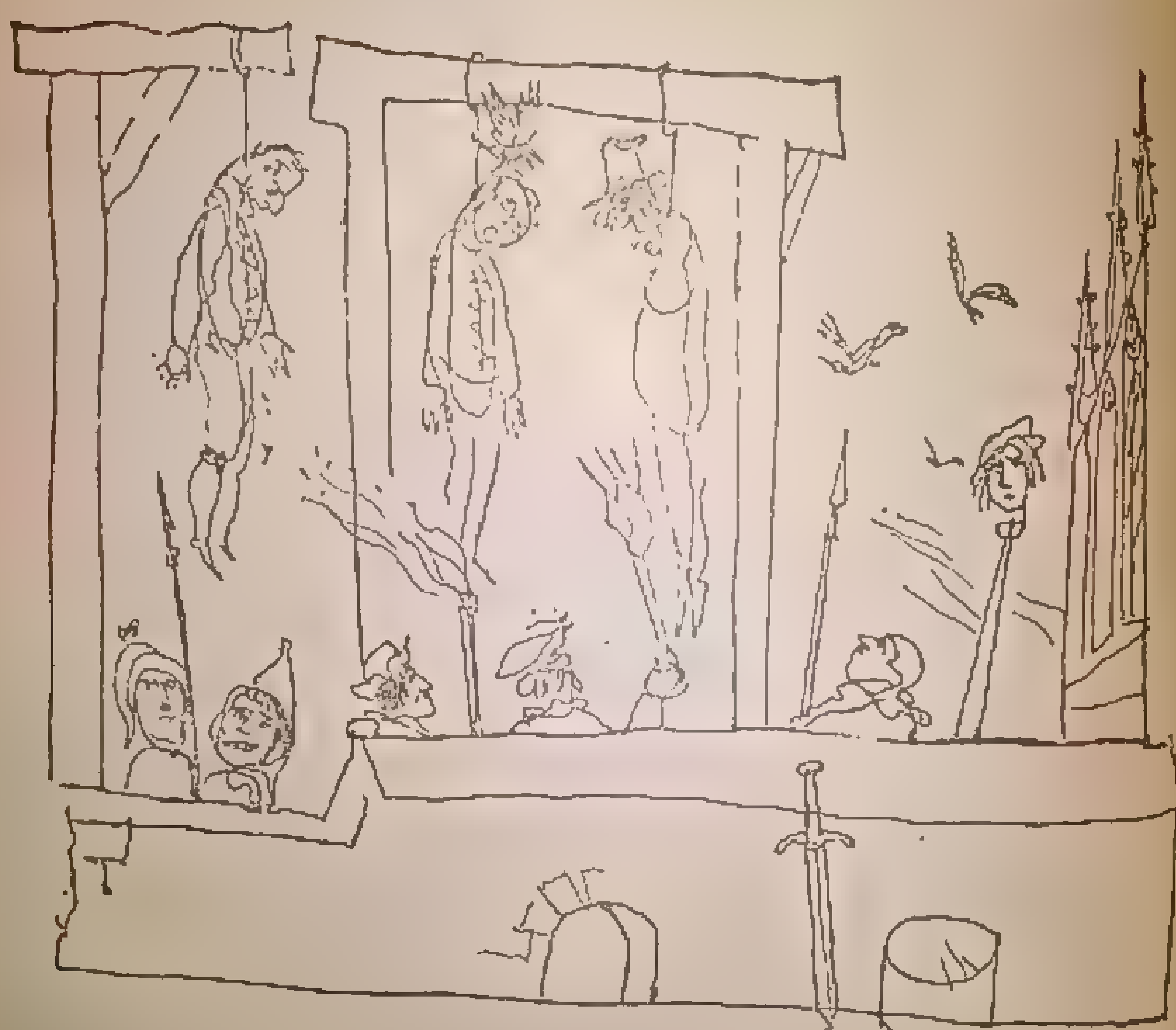
Что-то засветилось между верхушками деревьев. Карен подумала, что это месяц, так как виднелось что-то похожее на лицо, но это было лицо старого солдата с рыжею бородо. Он кивнул ей и сказал:

— Ишь, какие славные бальные башмачки!

Она испугалась, хотела сбросить с себя башмаки, но они сидели крепко; она только изорвала в клочья чулки; башмаки точно приросли к ногам, и ей пришлось плясать, плясать по полям и лугам, в дождь и в солнечную погоду, и ночью и днем. Ужаснее всего было ночью!

Танцевала она, танцевала и очутилась на кладбище; но все мертвые спокойно спали в своих могилах.

У мертвых найдется дело получше, чем пляска. Она хотела присесть на одной бедной могиле, поросшей дикою рябинкой, но не тут-то было! Ни отдыха, ни покоя! Она все плясала и плясала... Вот в открытых дверях церкви она увидела ангела в длинном белом одеянии; за плечами у него были большие, спускавшиеся до самой земли крылья. Лицо ангела было строго и серьезно, в руке он держал широкий блестящий меч.



— Ты будешь плясать, — сказал он, — плясать в своих красных башмаках, пока не побледнеешь, не похолодеешь, не высохнешь как мумия! Ты будешь плясать от ворот до ворот и стучаться в двери тех домов, где живут гордые, тщеславные дети; твой стук будет пугать их! Будешь плясать, плясать!..

— Смилуйся! — вскричала Карен.

Но она уже не слышала ответа ангела — башмаки повлекли ее в калитку, за ограду кладбища, в поле, по дорогам и тропинкам. И она плясала и не могла остановиться.

Раз утром она пронеслась в пляске мимо знакомой двери; оттуда с пением псалмов выносили гроб, украшенный цветами. Тут она узнала, что старая госпожа умерла, и ей показалось, что теперь она оставлена всеми, проклята ангелом господним.

И она все плясала, плясала, даже темною ночью. Башмаки несли ее по камням, сквозь лесную чащу и терновые кусты, колючки которых царапали ее до крови. Так доплясала она до маленького уединенного домика, стоявшего в открытом поле. Она знала, что здесь живет палач, постучала пальцем в оконное стекло и сказала:

— Выйди ко мне! Сама я не могу войти к тебе, я пляшу!

И палач отвечал:

— Ты, верно, не знаешь, кто я? Я рублю головы дурным людям, и топор мой, как вижу, дрожит!

— Не руби мне головы! — сказала Карен. — Тогда я не успею покаяться в своем грехе. Отруби мне лучше ноги с красными башмаками.

И она исповедала весь свой грех. Палач отрубил ей ноги с красными башмаками, — пляшущие ножки понеслись по полю и скрылись в чаще леса.

Потом палач приделал ей вместо ног деревяшки, дал костыли и выучил ее псалму, который всегда поют грешники. Карен поцеловала руку, державшую топор, и побрела по полю.

— Ну, довольно я настрадалась из-за красных башмаков! — сказала она. — Пойду теперь в церковь, пусть люди увидят меня!

И она быстро направилась к церковным дверям; вдруг перед нею заплясали ее ноги в красных башмаках, она испугалась и повернула прочь.

Целую неделю тосковала и плакала Карен горькими слезами; но вот настало воскресенье, и она сказала:

— Ну, довольно я страдала и мучилась! Право же, я не хуже многих из тех, что сидят и важничают в церкви!

И она смело пошла туда, но дошла только до калитки, — тут перед нею опять заплясали красные башмаки. Она опять испугалась, поверну-

ла обратно и от всего сердца покаялась в своем грехе.

Потом она пошла в дом священника и попросилась в услужение, обещая быть прилежной и делать все, что сможет, без всякого жалованья, из-за куска хлеба и приюта у добрых людей. Жена священника сжалилась над ней и взяла ее к себе в дом. Карен работала не покладая рук, но была тиха и задумчива. С каким вниманием слушала она по вечерам священника, читавшего вслух Библию! Дети очень полюбили ее, но когда девочки болтали при ней о нарядах и говорили, что хотели бы быть на месте королевы, Карен печально качала головой.

В следующее воскресенье все собрались идти в церковь; ее спросили, не пойдет ли она с ними, но она только со слезами посмотрела на свои костыли. Все отправились слушать слово божье, а она ушла в свою каморку. Там умещались только кровать да стул; она села и стала читать псалтырь. Вдруг ветер донес до нее звуки церковного органа. Она подняла от книги свое залитое слезами лицо и воскликнула:

— Помоги мне, господи!

И вдруг ее всю осияло, как солнцем, — перед ней очутился ангел господень в белом одеянии, тот самый, которого она видела в ту страшную ночь у церковных дверей. Но теперь в руках он держал не острый меч, а чудесную зеленую ветвь, усеянную розами. Он коснулся ею потолка, и потолок поднялся высоко-высоко, а на том месте, до которого дотронулся ангел, заблистала золотая звезда. Затем ангел коснулся стен — они раздались, и Карен увидела церковный орган, старые портреты пасторов и пасторш и весь народ; все сидели на своих скамьях и пели псалмы. Что это, преобразилась ли в церковь узкая каморка бедной девушки, или сама девушка каким-то чудом перенеслась в церковь?.. Карен сидела на своем стуле рядом с домашними священника, и когда те окончили псалом и увидали ее, то ласково кивнули ей, говоря:

— Ты хорошо сделала, что тоже пришла сюда, Карен!

— По милости божьей! — отвечала она.

Торжественные звуки органа сливались с нежными детскими голосами хора. Лучи ясного солнышка

струились в окно прямо на Карен. Сердце ее так переполнилось всем этим светом, миром и радостью, что разорвалось. Душа ее полетела вместе с лучами солнца к богу, и там никто не спросил ее о красных башмаках.

